



Борис
ВИАН

**БЛЮЗ
ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА**

Роман,
рассказы, пьеса, стихи, песни

Москва

Э К С М О

2002

УДК 840
ББК 84(4 Фра)
В 41

Перевод с французского

Составление В. Орлова

Вступительная статья М. Аннинской

Серийное оформление А. Саукова

Виан Б.

В 41 Блюз для черного кота: Роман, рассказы, пьеса, стихи, песни / Пер. с фр. Сост. Вал. Орлова. Вступ. статья М. Аннинской. — М.: Изд-во Эксмо, 2002. — 528 с. (Серия «Двадцатый век»).

ISBN 5-699-009831-6

Борис Виан, французский писатель и вообще человек разнообразных талантов, представлен в сборнике своим самым загадочным романом «Красная трава», актуальной и по сей день пьесой «Строитель империи», рассказами, часть из которых публикуется на русском языке впервые, и стихотворениями.

Но подлинным открытием станут тексты двадцати пяти песен, до сих пор неизвестных русскому читателю... И пусть это пока лишь малая толика из более чем четырехсот песен, созданных одним из ярких творцов минувшего века, впечатление все равно останется неизгладимым...

**УДК 840
ББК 84(4 Фра)**

© М. Аннинская. Вступительная статья. 2002
© Вал. Орлов. Составление. 2002
© ООО «Издательство «Эксмо». Издание
на русском языке, оформление. 2002

ISBN 5-699-009831-6

ВЕЛИКИЙ МИСТИФИКАТОР ИЗ СЕН-ЖЕРМЕН-ДЕ-ПРЕ

О жизни Бориса Виана написано предостаточно, в том числе по-русски. И все же — по разным причинам — читателю все еще не хватает информации об этом удивительном человеке, чья реальная жизнь переплетается с вымыслом, слухами, мифами и ошибками.

Ничего удивительного, что Виан, человек умный, разносторонне одаренный, изобретательный и общительный, едва заявив о себе как писатель, оброс легендами, иногда им же самим придуманными. Он любил дразнить судьбу, сочинять небылицы, веселиться — он вообще делал все не так, как другие. Внешне он тоже был вполне подходящим объектом для поклонения и ненависти: высокий, с красивым бледным лицом и больным сердцем, предвещавшим безвременную кончину. И имя носил не вполне «французское» — какое-то русско-армянское... Так что одна из легенд касалась его якобы русского происхождения — хотя в действительности фамилия Виан корнями уходит в Италию. А вот об имени «Борис» стоит рассказать отдельно. С этого и начнем.

Будущий скандальный творец мифов явился на свет 10 марта 1920 года в городке Виль-д'Авре, что приютился между Парижем и Версалем. Его отец, Поль Виан, жил на доход с капитала, был человеком образованным и талантливым, знал несколько языков, переводил, писал стихи. Мать Бориса, урожденная Ивонна Вольдемар-Равене (в домашнем варианте «матушка Пуш») была восемью годами старше своего супруга и происходила из богатой эльзасской семьи. Она великолепно играла на фортепьяно и арфе и страстно любила оперу. Четверых своих детей она нарекла звучными, непривычными для французского уха именами: Ален, Лелио и Нинон. Борис был назван в честь «Бориса Годунова», любимой оперы матушки Пуш.

Большое счастливое семейство жило в двухэтажной вилле, носившей название «Ле Фовет» и окруженной пышным садом, где детвора могла играть с утра до позднего вечера. Учителя приходили на дом. Родители тоже занимались детьми — каждый по-своему. Мать пыталась привить своим отпрыскам любовь к классической музыке и уст-

раивала домашние концерты. Отец учил их мастерить и делил с ними детские забавы.

Райская жизнь длилась до 1929 года: грянул мировой кризис. Вианы разорились. Семейство перебралось в домик привратника, особняк сдали, прислугу распустили. Поль Виан вынужден был подыскать себе работу. Кое-как удавалось сводить концы с концами.

Меж тем дети подросли, пришлось отдать их в лицей. Матушке Пуш нелегко было решиться на этот шаг. Больше всего тревожной материнской опеки досталось Борису — мальчик был слаб здоровьем. Ивонну Равене можно понять: когда двухлетний ребенок после очередной ангины получает ревматизм, а в 15 лет переносит тиф, приводящий к сердечной недостаточности, есть от чего сходить с ума.

Учился Борис легко. В пятнадцать лет сдал экзамены на бакалавра по латыни и греческому, в семнадцать — по философии и математике. Много читал. В 1939-м поступил в Эколь Сантраль — Высшую центральную инженерную школу. Когда началась Вторая мировая война и немцы оккупировали Париж, Вианы временно перебрались в Капбретон, курортный городок на берегу Бискайского залива. Там Бориса ждала его судьба — пока еще только личная.

На берегу моря война казалась далекой страшной сказкой. Семейство Вианов арендовало виллу, молодежь купалась и беспечно радовалась жизни. Борис познакомился с Клодом и Мишель Леглиз — это были брат и сестра. Мишель, невысокая пухленькая блондинка, которую все находили прелестной, была ровесницей Бориса, ей как раз исполнилось двадцать. Вместе с Леглизами в компании появился их троюродный брат Жак Лустало: впоследствии он станет одним из ключевых персонажей многих произведений Виана. Лустало получил прозвище Майор. Вот кто умел творить мифы! «Блаженный Майор, недавно из Индии», — представлялся он при знакомстве. Майор был полон противоречий: в свои пятнадцать он выглядел совершенно взрослым. Внук депутата и сын мэра, он был тем не менее всецело предоставлен себе. Отца он ненавидел за то, что тот бросил мать, и старался с ним не встречаться. Этот эрудированный, энергичный, эксцентричный юноша, великолепный танцор и пламенный любитель джаза, смотрел на мир единственным (левым) глазом; он рассказывал душераздирающую историю о неудавшемся самоубийстве (в действительности Жак потерял глаз в десять лет при вполне прозаических обстоятельствах). К реальному миру Майор был демонстративно равнодушен — не учился и не работал, жил в своих фантазиях, сочинял всякие истории, разговаривал с вещами, молчаливо и безнадежно обожал свою кузину Мишель. Еще он любил гулять по крышам. С вечеринок он редко уходил через дверь — обычно прыгал в окно. Один такой уход окажется для него последним — это случится в янва-

ре 1948-го. Майору будет двадцать три года. Никто так и не узнает, был ли то несчастный случай или самоубийство.

В августе 1940-го, проведя два месяца на море, Вианы все же вернулись домой. Франция подписала перемирие с Германией, в Париже хозяйничали немцы. Впрочем, в Виль-д'Авре их было мало, и молодежь не обращала на них внимания. Гораздо больше всех занимала романтическая история Бориса и Мишель.

Мишель Леглиз происходила из семьи педагогов. Родители, оправдывая свое высокое предназначение, были с собственными детьми предельно строги и контролировали каждый их шаг. В 1941-м один из поклонников Мишель сделал ей предложение. Она отказала. Разразился семейный скандал: девушка из приличной семьи не должна тянуть с замужеством. Мишель пожаловалась Борису. «Ну что ж, в таком случае поженимся!» — решил Виан. Пятого июля состоялась свадьба с венчанием, а месяц спустя молодая чета уже ждала потомство.

Поселились они в «Ле Фовет». Времена были трудные, голодные, но молодежь веселилась еще бесшабашней, чем прежде. Вечеринки в танцевальном зале, который своими руками построил когда-то Поль Виан, следовали одна за другой. Борис на этих праздниках выступал в роли опытного и неистощимого на выдумки организатора. Танцевальный зал Вианов начал пользоваться в округе небывалой славой.

Кроме вечеринок у Вианов практиковались и другие развлечения. Так, еще в 1941-м Борис учредил в Виль-д'Авре любительское общество авиамоделирования. Члены его увлеченно конструировали и испытывали авиамодели. Обязанности строго регламентировались; существовала, например, должность испытателя; были также «эконом», «возвратники», «флюгероносцы». Все, что происходило, — запомнилось, обсуждалось, постепенно превращалось в миф и впоследствии фиксировалось Борисом в каком-нибудь из текстов (в данном случае — в романе «Осень в Пекине»).

Кроме того, молодежь музицировала. Классика их совсем не привлекала — домашние концерты возымели обратное действие, — зато все поголовно и всерьез увлеклись джазом. В «Ле Фовет» образовался домашний оркестр: Лелио играл на гитаре и аккордеоне, Ален — на ударных, а Борис освоил трубу, хотя при его сердце такой род деятельности был строго противопоказан.

Бурная и веселая жизнь Бориса была в этот период ознаменована следующими важными событиями:

— март 1942-го — знакомство с Клодом Абади, руководителем самодеятельного джаз-банда;

— апрель 1942-го — рождение сына Патрика;

— июль 1942-го — окончание Эколь Сантраль и устройство на работу в АФНОР, Ассоциацию по нормализации (организация с этим загадочным названием занималась совершенствованием и стандартизацией формы разнообразных бытовых предметов).

Клод Абади окончил Высшую политехническую школу. В своем оркестре он играл на кларнете, судя по всему, недурно: в том же 1942-м на конкурсе джазистов-любителей его оркестр завоевал кубок Hot-Club de France). Абади пригласил братьев Виан к себе, и в 1943-м оркестр некоторое время даже назывался «Абади-Виан». Музыканты выступали в парижских кафе, постепенно приобретая все большую популярность. Играли они в новоорлеанском стиле, вдохновляясь примером Дюка Эллингтона. Сам Борис подражал Биксу Бейдербеку — знаменитому американскому джазисту, игравшему на рояле и корнете и умершему в двадцативосьмилетнем возрасте (кстати, родился он тоже 10 марта).

Один из друзей Бориса, Клод Леон, так выражал свое восхищение:

«В истории джаза было мало трубачей, которые бы играли так же: не копируя Бикса, а вдохновляясь его примером. Борис перенял у Бикса сладострастный, романтический стиль, сильно отличавшийся от жесткого стиля трубачей новой эпохи».

Клод Леон тоже был джазистом-любителем, которого Абади взял в свой оркестр. Он стал новым легендарным персонажем в жизни Бориса. В начале войны еврей Клод Леон попал в концлагерь. Как он оттуда выбрался живым, история умалчивает, во всяком случае, он вернулся в Париж, участвовал в Сопротивлении и жил под чужим именем, работая в химической лаборатории Сорбонны. В оркестр Клод Леон смог вернуться только в 1944-м, после освобождения. Тогда-то они с Борисом и познакомились. На одной из репетиций Виан попросил ударника Клода Леона играть громче. Тот изумился — к такому он не привык. У них оказалось много общего: оба — талантливые «технари» (тут необходимо «лирическое отступление»: на счету Виана несколько хитроумных, официально запатентованных изобретений, в том числе колесо с внутренней амортизацией), живут по соседству, сходятся во вкусах... За Клодом Леоном закрепилось прозвище Доди. Под этим именем, а иногда под своим собственным, он вошел впоследствии в книги Виана.

В 1943—44 годах оркестр Абади принимает участие в нескольких турнирах джазистов-любителей Франции, но пальма первенства достается не им. Зато в 1945-м их ждет грандиозный успех: на международном турнире в Брюсселе оркестр завоевывает четыре кубка и главный приз. На следующий год в Париже, на IX конкурсе джазистов, оркестр Абади получает наконец Гран-при! За ними закрепляет-

сы слава самого старого любительского оркестра: по этому случаю для выступления музыканты приклеивают себе длинные белые бороды.

В 1943-м Борис делает первые шаги не только в джазе, но и в литературе. В юности он никогда не мечтал стать писателем. Стихи, правда, сочинял лет с двадцати, но в семье, где любимой игрой было буриме, никто не воспринимал стихосложение всерьез. Работая в АФНОРе, Борис составил сборник, который назвал «Сто сонетов». Он включает сто двенадцать стихотворений и десять сонетов-баллад, написанных на жаргоне александрийским стихом.

В 1942-м Борис пишет для болеющей Мишель «Волшебную сказу для не вполне взрослых», затем многословно-веселую юношескую хохму «Разборки по-андейски». Мишель перепечатывает текст, и он становится достоянием бесчисленных друзей. Войдя во вкус, Виан сочиняет длинный-предлинный рассказ, или короткий роман «Сколопендр и планктон», в котором увлеченно описывает устраиваемые им вечеринки. Скучая в своей конторе, составляет «Стандартизированный перечень ругательств среднего француза».

Одним из первых слушателей «Сколопендра» стал Жан Ростан (этот известный французский биолог, сын драматурга Эдмона Ростана, жил в имении по соседству с «Ле Фовет» и охотно позволял своим детям дружить с молодыми Винами). Он столь благосклонно отнесся к виановскому юмору, что передал рукопись уже очень известному Рэймону Кено, своему другу. Мастер пародии, вербальных игр и черного юмора сразу полюбил и книжку, и ее автора, и предложил «Сколопендра» к публикации в издательстве «Галлимар», где служил литературным консультантом.

В ноябре 1944-го случилось несчастье. Ночью в имение Вианов забрались воры. На шум вышел отец. Прогремел выстрел. Поль Виан был убит наповал. Счастливая жизнь семейства кончилась. Вилла пошла с молотка, Борис и Мишель перебрались на улицу Фобур-Пуассоньер, в квартиру родителей Мишель. Теперь они жили с начавшим пить Клодом Леглизом, а в дальнейшем — с парализованной мадам Леглиз. Перед тем как навсегда покинуть «Ле Фовет», Борис заперся один в танцевальном зале и долго играл на трубе.

Когда человеку в реальном мире плохо, он придумывает себе другой мир. Не потому ли Борис все больше и охотней пишет? Из-под его пера появляются первые новеллы, публиковать которые он не спешит. Мишель их перепечатывает. Кено, возможно, читает. Во всяком случае, с его подачи Виан заключает с «Галлимаром» договор на сборник рассказов «Часики с подвохом» — проект, так никогда и не осуществившийся, хотя предисловие к сборнику было Вианом написано.

В феврале 1945-го случилось радостное событие: Борис поменял работу и перешел в Государственное управление бумажной промыш-

ленности, куда устроил его Клод Леон. Но и там ему не сиделось спокойно: он все время что-то писал и с загадочным видом прятал. Даже Мишель ничего не знала. Через пару месяцев выяснилось, что Виан сочинил роман. Это была ныне знаменитая «Пена дней». Мишель рыдала, перепечатывая текст, а Борис надеялся получить за него премию «Плеяды» от издательства «Галлимар». (Увы, судьба оказалась благосклонной к другому автору.)

В 1946-м Кено представил Виана Симоне де Бовуар, одной из первых французских интеллектуалок и подруге Сартра. Поначалу Симона де Бовуар держалась настороженно и недоверчиво; она отметила, что Виан с удовольствием слушает самого себя и любит шокировать окружающих парадоксальными утверждениями, к тому же бравирует своей аполитичностью. Впрочем, ко второй встрече, когда она прочла «Сколопендра» и наслушалась о «Пене дней», лед растаял. Вскоре на «торто-пирожной вечеринке» у Бориса и Мишель новые друзья проговорили на кухне всю ночь напролет. Потом в Париж из Соединенных Штатов вернулся уже известный как родоначальник новой философии Жан-Поль Сартр, и Симона с гордостью «подарила» ему очаровательную пару: талантливого молодого писателя, в придачу еще и джазиста, и его прелестную молчаливую жену. Правда, к Мишель Симона долго присматривалась, finding ее скучной и пресной. Мишель и в самом деле говорила мало — ей не разрешал Борис, — зато обладала редким талантом слушать. Сартр оценил ее по достоинству.

Теперь Борис Виан был в самом расцвете творческих сил; он был образован и начитан, великолепно рассказывал, мог часами говорить о джазе и Америке, которую знал по книгам. С окружающими он держался дружески-сердечно, но независимо, был уверен в себе и уже заявлял: «Я не рассуждаю о литературе, я ее делаю».

Журнал «Тан модерн», провозвестник экзистенциалистской мысли, распахнул перед Вианом свои страницы. Сартр специально для него открыл новую рубрику: «Хроники лжеца». Главной задачей хроникера было развлекать читателя и, не говоря ни слова правды, прозрачно намекать на реальные события — то, что Борису лучше всего удавалось. «Лжец» острил по поводу несуществующих фильмов, подтрунивал над популярностью кинозвезд и знаменитостей, сочинял невесть что про Америку. За год с небольшим Виан написал для «Тан модерн» пять хроник и одну статью (правда, опубликовано было не все); кроме того, на страницах журнала увидели свет отдельные главы «Пены дней» и новелла «Мурашки», полюбившаяся Сартру своей антивоенной идеей и кровавым юмором.

Обычно Борис начинал свой день с присутствия в Управлении бумажной промышленности, где украдкой от начальства и Клода Леона,

сидевшего напротив, писал новый роман «Осень в Пекине». Вечера после восьмичасового сидения в присутствии были сплошь заняты выступлениями в ресторанах и кафе — теперь уже в самом популярном квартале Парижа, Сен-Жермен-де-Пре. Дома Виан постоянно что-то мастерил, по ночам (когда не мог спать из-за сердечных приступов) писал рассказы, статьи для журналов, переводил. Нередко ему помогала Мишель. Борис торопился все успеть. «Каторжник — не тот, кто работает по принуждению, а кто не делает того, что обязан делать», — записано в его дневнике. С окружающими он тем не менее оставался весел и приветлив, не умел отказывать, когда о чем-то просили. Говорят, у него была особая манера дружить: каждый был уверен, что именно его отношения с Борисом окрашены каким-то неповторимым теплом и смыслом. Он жил и дружил взахлеб.

За что бы Виан не брался, он все делал талантливо и по-особенному. Это создавало его индивидуальный стиль. Вот пример: в декабре 1945-го литературный журнал «Нувель ревю франсез» организовал в галерее «Плеяды» выставку картин и рисунков французских писателей. «Если вы умеете писать, значит, умеете и рисовать», — гласил девиз. Галерея получила рисунки и картины Верлена, Аполлинера, Арагона, Бодлера, Кено и других известных авторов. Кено предложил участвовать Виану. И вот за несколько недель Борис, никогда не державший в руках кисти, написал специально для выставки с полдюжины картин. Это удивительно, но в них соблюдены законы композиции, есть глубина пространства, бинокулярная перспектива, движение... Все уравновешено, значимо, талантливо. Правда, из шести работ галерея приняла только одну... К этому же времени относятся и первые киноопыты Бориса: вместе с оркестром Клода Абади он снимается в фильме «Мадам и ее любовник». Как джазист Виан все более популярен, чему немало способствует слава квартала Сен-Жермен-де-Пре.

В этом квартале бурлит светская жизнь, о нем ходят легенды — именно там они рождаются легче всего. Потому что легенды во Франции создают для того, чтобы в них участвовать. Сен-Жермен-де-Пре — один из центральных кварталов Парижа, расположенный на левом берегу Сены. В 30-е годы парижане творческих профессий, до того предпочитавшие Монмартр, затем Елисейские Поля и Монпарнас, облюбовали сен-жерменские бистро и кафе для встреч и общения. Это перемещение отчасти объяснялось тем, что здесь, по соседству с Латинским кварталом, расположились переплетные мастерские, книжные магазины и солидные издательства, такие как «Грассе», «Сток», «Фламма-рион», «Галлимар». Некоторые писатели даже снимали квартиры в этом районе. На улице Дофин жил одно время Жак Превер, на улице Бонапарт — Сартр, на улице Сен-Бенуа — Маргерит Дюрас. Еще там проживали Робер Деснос, Рэймон Кено, Леон-Поль Фарг и многие другие.

Самые знаменитые и колоритные заведения Сен-Жермен-де-Пре — это «Липп», «Дё Маго» и «Флора». Перед Второй мировой «Флора» привлекла к себе внимание благодаря шумным сходкам «компании» Жака Превера, то есть театральной группы «Октябрь». Кроме того, по соседству находился театр «Вьё Коломбье», так что во «Флору» приходили не только литераторы, но и актеры, режиссеры, художники. Зимой 1942-го во «Флоре» появился Жан-Поль Сартр в сопровождении своей подруги Симоны де Бовуар, преподававшей философию в лицее. Они расположились как дома и погрузились в работу. Шли дни: Сартра во «Флоре» стали навещать ученики, знакомые начали звонить в кафе по телефону. Постепенно «Флора» превратилась в рассадник экзистенциализма. В этом-то мире Виан-джазист и воцарился в 1946-м как «принц Сен-Жермен-де-Пре». Но сначала должна была родиться главная и самая скандальная легенда.

Среди друзей Бориса было два брата: Жорж и Жан д'Аллюэн. Оба были без ума от джаза; Жорж (по прозвищу Зозо) играл на контрабасе и жаждал попасть к Абади; Жан (по прозвищу Скорпион) мечтал раскрутить собственное издательство. Для хорошего старта требовался захватывающий американский роман — единственное, чем можно было в ту пору удивить Париж. Но где такой взять? И Скорпион обратился за помощью к Борису: он все на свете знает, все книги читал и в американской литературе разбирается как никто другой. Июльским днем Жан разыскал Бориса на Елисейских Полях в очереди перед кинотеатром и попросил подыскать что-нибудь для издания. После десятиминутного разговора судьба еще не родившегося издательства была решена: Борис сам напишет роман, да такой, какого еще никто никогда не читал.

В августе Виан, Мишель, Патрик и несколько их друзей отправились отдыхать на море в Вандею. Там Патрик немедленно подхватил коклюш. Взрослые по очереди дежурили у его кровати. Черед Бориса наступал ночью, когда можно было спокойно писать. Он сочинял мрачный и кровавый «американский» роман, который собирался назвать «Я приду сплестись на ваших могилах». Через неделю Патрику стало хуже, Мишель повезла его в Париж, а Борис остался работать. По вечерам он читал готовые главы Зозо. Имена он заимствовал из уже нашедших романов, географические названия выдумывал, хотя и держал все время перед глазами карту Америки. Через две недели роман-пародия был готов. Зозо с Борисом привезли его в Париж и представили на суд Мишель, Скорпиона и Клода Леона. Рукопись вызвала всеобщий восторг, оставалось утвердить название и придумать имя автора. Мишель предложила назвать роман покруче: «Я приду плюнуть на ваши могилы». Вариант приняли единогласно. С автором обошлись по-свойски: его нарекли Верноном в честь Поля

Вернона, музыканта из ансамбля Абади, а фамилию ему дали Салливен — в память о Джо Салливене, знаменитом джазовом пианисте. Сочинили интригующую легенду: будто бы Салливен — начинающий писатель, «белый» негр, то есть мулат, потерявший видимые признаки негроидной расы; будто бы на родине ему грозит суд Линча и потому роман можно издать только за границей, да и то под псевдонимом. Как переводчик и специалист по американской литературе Виан даже проанализировал в предисловии литературные корни нового американского прозаика, уловив влияние Генри Миллера, Джеймса Кейна, Фолкнера и Колдуэлла. С издательством «Скорпион» был заключен официальный договор, согласно которому Виан как будущий переводчик всех будущих произведений вышеупомянутого автора являлся также его официальным представителем во Франции. К моменту выхода романа атмосфера в Париже и без того была накалена: два издателя, Галлимар и Робер Денозль, обладали правами на «Черную весну» и «Тропик Рака» Генри Миллера. Запустить обе книги одновременно им не удалось, так как в конце 1945-го Денозля убили. Сначала вышел только «Тропик Рака», вызвавший негодование официальной общественности, которая в те годы очень пеклась о моральном облике французского гражданина. Тут выяснилось, что издательство «Шен» раздобыло права на «Тропик Козерога» Миллера и собирается его печатать. Против трех книг Миллера выступила организация с устрашающим названием «Картель социального и морального действия». Во главе этой организации стоял протестант Даниэль Паркер. В противовес «Картелю» в Париже образовалось «Общество друзей Генри Миллера». Книги его раскупались на ура. Вот на эту почву и упали зерна, посеянные Вианом. Кто посеет ветер, пожнет бурю, как известно. Так оно и вышло.

Очень скоро критики и журналисты стали догадываться, что Виан не переводчик, а автор скандального романа и что речь идет о беспардонной мистификации. Кто-то кому-то намекнул, а иные сами додумались, сравнив диалоги «американской» книги с «Хрониками лжеца» и «Сколопендром», который к тому времени уже вышел, ни у кого, правда, не вызвав особого интереса. Сам Борис с лукавым видом увиливал от прямых ответов: «Я не могу доказать, что Салливен существует, как вы не можете доказать, что его нет. Вы вольны верить во что хотите». Сартр в подлог не верил и хвалил «американца» за блестящую картину противоречий буржуазного общества. Жан Ростан огорчился, предположив, что его юный друг мог сам написать столь грубую и неприличную вещь. Гастон Галлимар не скрывал радостного удовлетворения по поводу заметно выросшей популярности открытого им молодого автора. Кено был заинтригован и все допытывался, правда ли то, о чем пишут газеты. А газеты писали следующее:

«Насколько можно судить, ни один американский издатель не рискнул публиковать этот горячечный бред метиса, что делает им честь. Мы вынуждены с горечью признать, что во Франции нашлись-таки переводчик и фирма, решившие обнародовать эту непотребную галиматью.

Если уж плевать, то на саму книгу».

«Депеш де Пари», 21 ноября 1946 г.

«О Борисе Виане как о литераторе не имеет смысла долго рассказывать, потому что всем и каждому он теперь известен как переводчик «Я приду плюнуть на ваши могилы», ошеломляющего романа, подписанного Верноном Салливером, автором, о котором мы знаем только то, что он негр. Определенное сходство стиля и ряд совпадений давно наводят на мысль, что переводчик и автор — одно лицо. Борис Виан отпирается, не желая признавать за собой авторство столь компрометирующей книги. У него со своими-то произведениями хлопот по горло. Возьмите, например, его роман о вечеринках, озаглавленный «Сколопендр и планктон». За сим туманным названием скрывается подтвержденное документально исследование (поскольку Борис Виан сам был организатором немалого количества вечеринок) своеобразных обычаев, принятых на такого рода увеселениях. Книгу эту можно давать в руки не каждому, и меньше всего — родителям, которые, если бы знали, что на самом деле происходит на праздниках у их отпрысков, запретили бы им там появляться и отправились бы туда сами».

«Пуэн де вю», 8 мая 1947 г.

В феврале 1947 года «Картель» Даниэля Паркера подает в суд на автора романа «Я приду плюнуть на ваши могилы», обвиняя его в нанесении ущерба общественной морали и нарушении закона о семье и браке. Виан пытается убедить читателей в реальном существовании Салливена и пишет новый роман о белокожем метисе — «Мертвые все одного цвета». Главный герой (ну как тут удержаться от мести?) — Дэн Паркер. Кроме того, Виан переводит «Я приду плюнуть...» на английский. Все напрасно: он уже разбудил фурий. Имя Виана становится одиозным. 29 апреля происходит событие, в котором косвенно опять замешан Виан: в одной из парижских гостиниц мужчина убивает свою любовницу, а потом скрывается, чтобы покончить с собой. Все бы ничего, но молодая женщина задушена, а рядом на кровати лежит первый роман Салливена, раскрытый на сцене аналогичного убийства. Парижане мгновенно забыли про Миллера и бросились читать ужасную книгу. «Скорпион» затеял переиздание. «Картель» Паркера возобновил судебное преследование, сумев привлечь на свою сторону «Ассоциацию ветеранов войны 1914 года». В невиновность Бориса не верил даже его адвокат. Не действовала и написанная Вианом статья «Я не

убийца», в которой он, подкрепляя свои доводы примерами из литературы, доказывал, что всякий писатель имеет право на вымысел и не в ответе за возможную реакцию читателей.

Скандалная слава, похоже, пришлась Борису по вкусу. Ни на какое «разумное» поведение он, вероятно, способен не был. Поэтому, продолжая дразнить фурий, в 1948 году он пишет трехактную пьесу «Я приду плюнуть на ваши могилы» и подписывает ее своим именем. Пьеса оживает на сцене в апреле того же года. Акценты в спектакле смещены от эротики в сторону бесправного положения американских негров, но ярлык «порнографии» настолько прочно прирос к названию, что в афишах оно стыдливо опускается, указаны только автор и тема.

Устав сопротивляться, Борис в конце концов сознался, что автор скандального романа он сам, и даже повторил это в суде. Ему грозили два года лишения свободы, штраф в триста тысяч франков и запрещение книги. Дело передали опытному адвокату, и тот сумел свести наказание к уплате ста тысяч франков штрафа; правда, тянулось все это до мая 1950-го. Ничего удивительного, потому что Салливен не успокаивался: в 1948-м он написал «Уничтожим всех уродов» (самая талантливая вещь этого мифического писателя), а в 1950-м — «Женщинам не понять». Через три года состоялся новый суд, на этот раз Виана приговорили к двум неделям лишения свободы... с тем, чтобы тут же объявить о помиловании.

Артистическая судьба Виана складывалась куда счастливей писательской. Во-первых, литературные скандалы привлекли к нему внимание и симпатию публики, и у него появилось большое количество поклонников и поклонниц. Во-вторых, в Сен-Жермен-де-Пре обнаружили подвалы — обыкновенные подвалы, в которых когда-то хранили вино или старую мебель и про которые давно забыли. Не желая участвовать в претенциозных и скучных развлечениях «взрослого» общества, молодежь облюбовала эти погребки.

«История сен-жерменских подвалов 45—50-х годов, — читаем мы во французском путеводителе по кварталу, — это история нескольких десятков заведений, не отделяемая от легенды целого поколения. Завсегдатаи кафе, баров и ресторанов в те годы находили джаз слишком шумным, и молодым музыкантам пришлось спрятаться в подвалы. Собственно говоря, подвалов как таковых было совсем не много: «Табу», «Клуб Сен-Жермен», «Квод либет», «Клуб Вьё-Коломбье», «Красная роза» и еще несколько. История одного из них, «Табу», особенно замечательна и богата событиями».

Первым парижским подвальчиком такого рода был «Лорианте», и находился он не в Сен-Жермен, а рядом, в Латинском квартале. Официальное открытие состоялось в июне 1946-го. Хозяин пригласил

к себе Виана и кларнетиста Клода Лютера; в течение нескольких месяцев они играли там каждый вечер. Потом Борис ушел в «Табу», а Лютер остался и превратил прежний винный погреб в «храм новоорлеанского джаза».

Подвал в доме №33 по улице Дофин, будущий «Табу», согласно преданию, открыла Жюльет Греко. Как-то она сидела в бистро, повесив пальто на перила лестницы; пальто упало. Отправившись его искать, Греко обнаружила заброшенное подвальное помещение. Вдохновленный успехом «Лорианте», уступая уговорам своих именитых клиентов, среди которых были Сартр, Камю и Кено, хозяин бистро решил устроить в этом подвале танцевально-музыкальный клуб. Так в апреле 1947 года открылся знаменитый «Табу». В качестве музыкантов туда были приглашены братья Вианы, Клод Абади и известный контрабасист.

Жизнь в «Табу» начиналась вечером и затихала ранним утром, когда открывалось метро. С наступлением сумерек сюда стекалась молодежь со всего Парижа. Здесь вершились судьбы, рождалась мода. Двадцатилетние «подвальные крысы» копировали тех, кто стоял у истоков сен-жерменского стиля. У Виана молодежь «заимствовала» вельветовую куртку и галстук-бабочку. Для женщин наибольшим шиком считался вид «утопленницы», то есть а-ля Жюльет Греко.

Из газетной статьи 1947 года:

«В «Табу», разумеется, ходят экзистенциалисты, хотя Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар показываются достаточно редко. Зато там частенько встречаются Альбера Камю с его командой из газеты «Комба», Жана Кокто с Жаном Маре, сыновей Клода Мориака, (...). Так что теперь считается «хорошим тоном» туда захааживать, хотя вы и рискуете, выходя, получить на голову содержимое помойного ведра».

Еще одна характерная черта сен-жерменских «экзистенциалистов»:

«Поскольку у экзистенциалиста нет стола, то свою настольную книгу он постоянно носит под мышкой: это «Я приду плюнуть на ваши могилы» Салливена», (Б. Виан «Учебник по Сен-Жермен-де-Пре»).

В течение целого года Виан был символом «Табу», поэтому в октябре 1949-го издательство «Тутен» заказало ему путеводитель по Сен-Жермен-де-Пре для тех несчастных туристов, которые, «заблудившись ночью в переулках квартала, просыпаются утром на помойке какого-нибудь двора или тупика». То, что сделал Виан, сильно отличалось от первоначального плана и превратилось скорее в «детскую сказку, в которой неизвестно, происходит все наяву или во сне» (Нозль Арно, предисловие к изданию 1997 г.). Издатели книги уведомляли: «Борис Виан — хоть он в этом и не признается — играл наиглавнейшую роль в организации сен-жерменских погребков, осаждаемых сумасшедшими красотками и кинозвездами всех стран мира. Он собрал там богатейший урожай анекдотов и баек,

порой достаточно фривольных, проиллюстрировал их сотней рисунков лучших французских юмористов, и получился этот вот учебник, ставший катехизисом истинного сен-жерменца».

Громкая слава парижского джаза докатилась до Америки, и заокеанские джазисты зачастили во французскую столицу. Здесь побывали Рекс Стюарт, Чарли Паркер, Коулмен Хокинс, Эррол Гарнер, Майлс Дэвис и другие. Встречали их, сопровождали и развлекали Борис и Мишель. Приехал даже «великий» Дюк Эллингтон, главный кумир Вианов. На вокзале его встречала ликующая толпа, а Мишель привезла с собой четырехмесячную дочь Кароль, которая родилась в апреле 1948 года. Эллингтон пробыл в Париже около недели, после чего торжественно отбыл на гастроли в Германию. Но не прошло и двух дней, как он вернулся инкогнито и среди ночи позвонил в дверь на бульваре Фобур-Пуассоньер. Несколько часов протекли в душевной беседе, а в половине восьмого утра Борис доставил Дюка на вокзал и снова посадил в поезд.

В 1947—49 годах Виан много работает: переводит с английского, организует вечера и концерты, готовит и записывает радиопередачи, сочиняет рассказы, киносценарии (как правило, «в стол»), статьи о джазе, пьесу «Живодерня для всех», роман «Красная трава». «Скорпион» выпускает сборник его новелл «Мурашки». Другой издатель, Жак Ружери, публикует поэтический сборник «Кантилены в желе» — правда, тираж составляет всего 200 экземпляров. Виан по-прежнему в центре внимания, у него множество друзей и поклонниц. Только все больше чувствуется усталость, да и сердце постоянно напоминает о себе. В оркестре Борис почти не играет. Тем не менее, все, за что он берется, отмечено печатью его абсурдно-провокационного гения, признано его особым юмором. Все талантливо и на грани дозволенного.

В 1949-м, сложив с себя корону «принца», Борис появляется в клубах Сен-Жермен-де-Пре уже как почетный гость. Зато по-прежнему много пишет (статьи о литературе, известных артистах, начинающих бардах, джазовых фестивалях); он становится главным редактором журнала «Джаз-Ньюс», где под разными псевдонимами сочиняет многочисленные статьи. Кроме того, он сотрудничает в журнале «Сен-Синема-де-Пре» и защищает кино-вымысел от нападок неореализма. Так продолжается до 1950 года.

К этому времени в жизни Виана наступает кризис: он будто дошел до какой-то черты, исчерпал возможности, хотя в запасе еще столько нереализованных идей. У Бориса случаются регулярные приступы апатии, сменяющиеся вспышками ярости. Он становится нетерпим к близким, особенно к жене и матери. Отворачивается даже от старых друзей. Он чувствует себя очень одиноким.

...как вдруг на горизонте появляется Женщина.

На коктейле у Галлимара Борис повстречал Урсулу Кюблер.

Урсуле исполнился двадцать один год, она была балериной и дочерью известного швейцарского художника и журналиста Арнольда Кюблера. В 1948-м родители отправили ее в Швецию, потом в Париж, под опеку дяди-дипломата. Здесь ее взял в свою труппу Морис Бежар, затем — Ролан Пети. Урсула была хороша собой, независима и упряма, ценила изысканное общество.

Им с Борисом понадобилось несколько случайных встреч, чтобы обратить друг на друга внимание. Как-то она зашла к нему на бульвар Фобур-Пуассоньер, потом прочла «Пену дней» и поняла: это — ее. Весной 1951-го они решили жить вместе и сняли крошечную мансарду на бульваре Клиши. А еще некоторое время спустя Борис, который до этого и слышать не хотел о разводе (вероятно, из-за детей), сам предложил Мишель официально расторгнуть их брак.

Насколько сильно Борис влюбился, можно судить по записям в его дневнике. Однажды Урсула уехала в горы лечить осложнение после гриппа. Борис остался один. По несколько раз в день он отправлял любимой письма. Дождавшись ответа, ненадолго успокаивался. «Получил от Урсулы сразу три письма, — записывает он. — Ангел. Повторяю, я обожаю ее». И дальше: «Вечер, я опять страшно устал, но нельзя не написать о звуке ее шагов, о том, как я узнавал ее по этим шагам, когда она поднималась на седьмой этаж своей чеканящей походкой». Он даже сочинил «Колыбельную для медведей, которых нет рядом». («Урс», медведь — уменьшительное от Урсулы; так он называл свою подругу).

Борис продолжал писать. В 1951-м появляется еще одна пьеса в антимилитаристском духе, названная «Полдник генералов», затем одноактная комедия «Голова кругом», потом роман «Сердцедёр». Галлимар, хоть и подписал договор на публикацию всех произведений Виана, от права своего отказался, и виановские тексты выходят в малоизвестных издательствах, не раскупаются и вообще остаются незамеченными. «Я пытался рассказывать людям истории, которых они никогда не читали, — записывает Борис в дневнике. — Полный идиотизм, более чем идиотизм; им нравится только то, что они уже знают. А я — наоборот, от того, что уже знаю в литературе, не получаю никакого удовольствия». В одном письме Борис отмечает: «Интересно, когда я пишу всякую дурашливую галиматью, это выглядит искренне, когда же пишу правду, все думают, что я шучу».

Время шло, жизнь понемногу налаживалась. Борис ушел из Управления бумажной промышленности и зарабатывал теперь публикациями. Он принял участие в создании сценария для грандиозного представления в кабаре «Роз руж». Это были «Киновраки», сборник скетчей на тему кино. Спектакль имел оглушительный успех и выдержал около 400

представлений. После этого Виана приглашали на другие постановки, и они с Урсулой смогли переехать в квартиру побольше. Новое жилище находилось у подножия Монмартра, в живописном тупике Сите Верон. С террасы под открытым небом были видны крыши и торчащие меж ними лопасти «Мулен Руж». На эту же террасу выходили окна квартиры Жака Превера.

Борис и Урсула были одной из самых элегантных пар артистического и интеллектуального Парижа. Несмотря на скудные средства, лето они проводили в Сен-Тропе. У моря Борис оживал: он загорал, плавал и даже нырял, несмотря на запреты врачей. Урсула хорошо его понимала, она тоже любила радости жизни. В Сен-Тропе их окружала большая компания сен-жерменских друзей. Молодой режиссер Поль Павио как-то затеял снимать невероятный полудокументальный фильм о Сен-Тропе. Борис написал для него сценарий, Ален Рене, еще не успевший стать известным режиссером, взял на себя монтаж; в одной из главных ролей снялся молодой Мишель Пикколи.

В 1954 году Борис Виан и Урсула Кюблер, поддавшись уговорам друзей и увещаниям мадам Кюблер, решили наконец пожениться. Свадебная вечеринка состоялась 8 февраля; Борис был мрачен и после свадьбы две недели с женой не разговаривал.

В 50-е годы Виан увлекся научной фантастикой. Это было в некотором роде поветрие: его интересы разделяли Рэймон Кено и многие другие известные люди того времени. Любители фантастики учредили закрытый клуб «Савантюрье», название которого произошло от соединения «savants» — «ученые» и «aventuriers» — «искатели приключений». Виан сочинял теперь сценарии для скетчей и фильмов на фантастические темы, переводил фантастику и даже написал статью для «Тан Модерн»: «Новый литературный жанр: научная фантастика». Движение «савантюристов» опиралось на твердый научный базис: теорию философа Альфреда Кожибского. Польский инженер и гражданин Соединенных Штатов граф Кожибский был основоположником лингвистической философии, которую назвал «общей семантикой». Это своего рода теория относительности, согласно которой убеждения человека неизбежно вступают в противоречие с системой лингвистических знаков, усвоенных в детстве. Кожибский предлагал оздоровить человечество путем выработки новых нейро-лингвистических навыков и выдвинул принципы этического перевоспитания людей.

В июне 1952 года Виан был торжественно принят в ряды другой таинственной организации, которая пристально следила за его творчеством и оказывала ему моральную поддержку. Это была «Коллегия патафизиков», основанная в Париже в 1948 году неким доктором Сан-домиром. Целью Коллегии было исследование тех областей челове-

ского знания, на которые не обращали внимания физика и метафизика. Члены Коллегии почитали себя детьми «короля абсурда» Альфреда Жарри и отсчитывали новую эру со дня его рождения, то есть с 8 сентября 1873 года. Все дела Коллегии окружались строжайшей тайной, так что посторонние видели в этой организации лишь клуб шутников и любителей абсурда. Членами Коллегии в 50-е годы были Рэймон Кено, Жак Превер, Макс Эрнст, Эжен Ионеско, позже — Хоан Миро, Рене Клер и другие. «Коллегия патафизиков», высоко оценившая Виановскую пьесу «Живодерня для всех» (1947 г.), присвоила Виану звание «Живодера первого класса» и опубликовала другую его пьесу, «Полдник генералов» (1951 г.), в своих «Тетрадах». В мае 1953-го Виан был принят в ряды Сатрапов Коллегии, что являлось следующей ступенью к вершинам патафизики.

С каждым годом Борис жил все интенсивней, он старался объять необъятное, проявить себя во всех областях: стал сочинять либретто для балетов и опер, потом увлекся песней. В 1953-м устроители театрального фестиваля в Нормандии заказали ему либретто для оперы о приключениях рыцарей Круглого стола, и Виан написал «Снежного рыцаря» (музыка Жоржа Делерю). Театральный фестиваль, на котором разыгрывалось грандиозное представление, проходил в северо-французском городе Кан на фоне руин старинного замка. Представление длилось четыре часа и поражало богатством декораций, костюмов, количеством статистов. В спектакле были задействованы даже живые лошади... За август «Снежный рыцарь» был дан семь раз и имел неизменный успех у публики и критики.

После «Снежного рыцаря» Виан написал «Фиесту» (музыка Дариуса Мийо), которую поставили в 1958 году в Берлинской опере. В том же году он задумал оперу «Лили Страда», переделав на свой манер известную пьесу Аристофана «Лисистрата», но либретто так и не дописал. В 1964 году, уже после смерти Виана (1959), эти наброски превратились в спектакль для кабаре; хореографию поставила Урсула Виан-Кюблер, музыку сочинил Эрик Бишофф. В 1959-м Виан сделал заготовку для оперы «Арн Сакнуссем, или Досадная история», взяв за основу собственную новеллу «Печальная история»; после смерти Виана Жорж Делерю положил текст на музыку, и «Арн Сакнуссем» прозвучал по радио «Франс I Пари Интер».

Существует также проект оперы «Наемник», которую Виан начал незадолго до смерти. Спектакль открывается появлением на сцене настоящих танков, ворвавшихся в разбомбленный город. Танкисту кажется, что руины что-то ему напоминают, он начинает разгребать камни и находит под ними тело своей возлюбленной, которую покинул, уйдя в наемники. Отдельные фрагменты этого текста не раз использовались в спектаклях, посвященных памяти Виана.

Теперь обратимся к песне — жанру, в котором Борис Виан оставил заметный след. В середине 50-х авторская песня еще только утверждалась во Франции как самостоятельный вид литературного творчества. Еще только начинали звучать голоса Шарля Трене, Лео Ферре, Жоржа Брассанса, Феликса Леклера, Мулуджи... Всерьез заняться песней Бориса уговаривали многие, в том числе Урсула, которой почему-то хотелось петь. В 1954-м Борис принес в Союз авторов и композиторов текст и музыку песни «Дезертир». Гармонизацию сделал Арольд Берг. Правда, первоначальная версия «Дезертира» была достаточно воинственной, а вовсе даже не антимилитаристской, и Мулуджи, заинтересовавшийся песней, заставил Бориса изменить текст. Впоследствии, когда «Дезертир» сделался популярным, Мулуджи пытался оспорить у Виана авторство окончательного варианта, но так в этом и не преуспел.

Кто-то познакомил Виана с молодым композитором Джимми Вальтером, и через несколько месяцев у них было готово около тридцати песен. Мелодическую канву Борис часто придумывал сам. Сначала дело как будто заладилась, и песни разошлись по исполнителям, но следующую серию никто брать не хотел. Жак Канетти, знакомый Виана по «Киновракам», владелец театрального зала, нескольких театральных компаний и радиопрограмм, а кроме того, директор парижского отделения фирмы «Филипс», посоветовал Борису петь самому.

Через месяц после разговора с Канетти Виан начал петь в его кабаре «Труа Боде» («Три Осла»). Он страшно волновался перед каждым выходом, от смущения порой не слышал музыку, сбивался с ритма. Ему не хватало дыхания, свободы, уверенности. Это было даже не вполне пение, скорее декламация под музыку. Публика с интересом ходила слушать, как поет автор скандального романа, знаменитый сен-жерменский трубач, хотя восторга не проявляла и реагировала вяло. Тем не менее, Серж Гензбур, начинающий бард, уже тогда сумел оценить песенный стиль Виана; в 1984 году он написал в журнале «Ар»: «Только потому, что я услышал Виана, я решил попытаться счастья в этом непритязательном жанре».

Фирма «Филипс», угадав виановский стиль и его будущий успех, предложила Борису напеть пластинку. Сначала он напел Правила дорожного движения, положенные на мотив популярных песен, чтобы изучающим было легче запоминать, потом записал с дюжину собственных песен под аккомпанемент оркестра. Эта первая пластинка в 45 оборотов называлась «Невозможные песни». В том же году появилась вторая «сорокапятка» — «Возможные песни». Третья, в 33 оборота, вышла в 1956-м и называлась «Возможные и невозможные песни». На конверте была напечатана небольшая заметка об авторе. Прежде Виан писал о Брассансе; теперь Брассанс написал о Виане:

«Борис Виан — это одинокий странник, бросившийся на поиски новых песенных миров. Если бы этих песен не было, нам, без сомнения, не хватало бы их. В них есть то необъяснимое, что делает любое произведение искусства нужным и важным. Кому-то они не нравятся, пусть так, на это у всех есть право. Но придет время, сказал мне один человек, и песни Виана будут нужны всем».

Летом 1955-го Борис гастролировал со своими песнями по Франции. Сопровождал его друг и аккомпаниатор Ален Гораге. В Париже Виана хорошо знали, провинция же о нем слухом не слыхала, в лучшем случае уловила смутное эхо скандала с Салливеном. И вдруг является человек со странным русско-армянским именем и распевает со сцены непривычные для слуха песни про дезертиров. Сначала публика недоверчиво прислушивалась, затем стала возмущаться и свистеть. Группа пожилых мужчин из Нанта, следуя за Вианом из города в город, пыталась сорвать его выступления. Исполнение «Дезертира» всякий раз сопровождалось криками «Убирайся в Россию!» и угрозами. Позже выяснилось, что это были ветераны Второй мировой, которые почему-то приняли песню на свой счет, хотя писалась она по следам событий в Индокитае. Однажды едва не дошло до драки, и Борис пошел ва-банк, пригласив лидера группы выпить и поговорить по душам. После разговора все недоразумения были улажены, и собеседники расстались почти друзьями.

Летние приключения снова привлекли к Борису внимание парижан, и осенью вся столица ходила в «Труа Бодэ» на Виана: он был безоговорочно признан как автор оригинальных песен.

Самыми популярными песнями Виана, кроме «Дезертира», стали «Славянская душа» («русскость» имени по-прежнему преследовала Бориса), «Я — сноб», «Пью всякое пойло...», «Жертва прогресса» (фирма «Филипс» предоставила Виану самому рекламировать эту песню и послала его на выставку «Салон бытовой техники», которая состоялась весной 1956-го) и многие другие.

Сценическая карьера Бориса продлилась год и три месяца. Каждое выступление стоило ему большого напряжения, сердечные приступы участились, общее состояние сильно ухудшилось. Тем не менее Виан продолжал сотрудничать с «Филипсом» и в 1957-м даже стал заместителем арт-директора ее парижского филиала. Он составил каталог записей джаза и создал комический рок-н-ролл — первый французский рок. Тут опять не обошлось без мистификации — причем участвовала в ней с легкой руки Бориса вся фирма.

Композитор Мишель Легран привез из Америки новинку: рок-диски, по которым сходила с ума американская молодежь. Борису и его другу, молодому композитору Анри Сальвадору, новая музыка не понравилась: она звучала как пародия на джаз. Тогда они сочини-

ли четыре комические песни с издевательскими названиями типа «Рок-н-ролл мопс» или «Рок-икота» и выпустили пластинку якобы по американской лицензии, обозначив Анри Сальвадора как композитора Генри Кординга, Виана как переводчика американского текста Вернона Синклера, а обладателя прав Жака Канетти как Джека К. Нетти. Сотрудники фирмы «Филипс» веселились, точно дети. Кроме того, Виан сочинил очень популярную до сих пор во Франции песенку «Сделай мне больно, Джонни» (музыка Алена Гораге) и записал ее сам вместе с актрисой Магали Ноэль. Они выпустили целую пластинку женского рока — в противовес мужскому, американскому. Рок получился очень эротический и агрессивный, так что пластинка произвела шокирующий эффект. Канетти пришлось объясняться в высоких инстанциях.

После этого Виан не на шутку увлекся новым для него жанром и стал писать тексты ко всякому року: и мужскому, и женскому. За 1956—1958 гг. вышли более двадцати его «роковых» песен.

Чем хуже Борис себя чувствовал, тем напряженнее и интенсивнее жил. Новая работа не на шутку его увлекла, вдохнула новые силы, но все же в 1956 году всерьез встал вопрос об операции. Во Франции искусственные клапаны на сердце еще не ставили, единственное, что можно было сделать, это «беречь себя». Борис этого делать не умел. К тому же сын Патрик успел за это время вырасти и превратился в трудного подростка. Мишель отдала его отцу. Несходство характеров и привычек приводило к конфликтам. Неустроенность быта, теснота квартирных условий, неуверенность в завтрашнем дне не могли не угнетать Бориса. Из-под его пера появляется пьеса, отмеченная тревогой, постоянным предчувствием опасности, тоской по прошлому: это «Строители империи». Пьеса была закончена в 1957-м, а в феврале 1959-го напечатана в «Досье № 6» «Коллегии патафизиков». Уже после смерти Виана, в декабре того же года, ее поставил на сцене «ТНП» режиссер Жан Негрони.

Первый профессиональный контакт с кинематографом состоялся у Бориса, напомним, в 1945-м году, но отношения с кино не складывались: сценарии, которые он писал, так и не нашли своих режиссеров. Тем не менее, в середине 50-х Борис снимается в фильме Анри Грюэля «Джоконда» и пишет закадровый текст к этому фильму. На кинофестивале в Туре (1957) фильм занял первое место, затем получил Золотую пальмовую ветвь в Каннах (1958). К настоящему моменту от ленты сохранился лишь маленький кусочек, где Борис изображает учителя загадочной джокондовской улыбки. Тогда же его приглашает Жорж Деланнуа — на роль кардинала в «Соборе Парижской Богоматери». Затем Борис играет у Пьера Каста в фильмах «Карманная любовь» и «Прекрасный возраст».

«Я любил его снимать, — признавался Каст в 1962 году. — Он весь светился какой-то фантастической странностью». В 1958-м, по заказу канадского телевидения, режиссер Марсель Дельям выпускает документальный фильм, посвященный Виану. И наконец, в год своей смерти, Виан снимается в полнометражном фильме Роже Вадима «Опасные связи».

Судьба распорядилась, чтобы связи с кино стали для Виана более чем опасными: роковыми. Еще в 1948 году ему предложили написать киносценарий «Я приду плюнуть на ваши могилы». Он нехотя согласился, изменил скандальное название и заключил контракт. Фирма-заказчик сначала надолго исчезла, потом продала права другой фирме. Прошло почти десять лет, и новая фирма предложила Борису перезаключить контракт, сохранив за фильмом название романа. Эта фирма в свою очередь исчезла, и ей на смену неожиданно явилась третья. Виан согласился написать диалоги, но к сроку не успел; фирма стала угрожать иском. Это длилось довольно долго, пока 22 июня 1959 года кто-то не сказал Борису, что фильм не только уже готов, но просмотр назначен на следующий день. Виан заявил, что хочет снять свое имя (которое, надо заметить, появляется в титрах лишь однажды: Б. Виан обозначен как один из авторов первоначального сценария). Накануне у него так сильно стучало сердце, что Урсула, сидя в другом углу комнаты, отчетливо слышала его удары. Борис волновался: идти на просмотр или нет. Урсула отмалчивалась. Он позвонил Мишель; та сказала «не ходи». Но Борис все-таки пошел.

Просмотр начался в десять утра в зале «Пети Марбёф». Несколько минут спустя Борис уронил голову на спинку кресла и потерял сознание. Он умер, не приходя в себя, по дороге в больницу.

Так, мифологически-красиво и изысканно-трагично закончилась увлекательная история жизни Бориса Виана. Хоронили его 27 июня на кладбище в Виль-д'Авре. Среди родственников и друзей, одетых в траур, ярким пятном выделялась фигура своенравной Урсулы: синий костюм, белый шарф вокруг головы, букет пунцовых роз. И совсем в духе виановских историй: могильщики объявили в этот день забастовку...

М. Аннинская

КРАСНАЯ ТРАВА

Роман

Теплый, сонный ветер бросал охапки листьев в окно. Вольф заворуженно следил за краешком дня, который время от времени приоткрывался взмахом ветки. Ни с того ни с сего Вольф вдруг встряхнулся и встал, опершись руками о край стола. Проходя по комнате, он скрипнул скрипучей половицей, зато дверь открыл очень тихо. Спустился по лестнице, вышел на улицу и зашагал по вымощенной кирпичом аллее, поросшей по обеим сторонам обуюдообжигающей крапивой. Дорога вела его в Квадрат. Вокруг росла красная трава, встречающаяся только в этой местности.

В ста шагах от него стальные лопасти Машины кромсали небо, перерезая его серыми жесткими треугольниками. Комбинезон бортмеханика Сапфира Лазурита, словно бронзовый майский жук, трепыхался около мотора. Сам Сапфир был внутри комбинезона. Вольф издали окликнул его, майский жук выпрямился и фыркнул.

Он направился навстречу Вольфу, и до Машины они дошли вместе.

— Вы хотите ее испытать? — спросил Сапфир.

— Думаю, пора.

Вольф посмотрел на Машину. Кабина была приподнята, между четырьмя мощными опорами зияла глубокая шахта. В ней в строгом порядке были установлены деструктивные элементы, которые быстро включались в работу один за другим, как по нотам.

— Хоть бы не подвела, — сказал Вольф. — Может не выдержать. Хотя рассчитано точно.

— Если такая Машина подведет, — проворчал Сапфир, — я выучу тарабарский язык и буду на нем разговаривать всю оставшуюся жизнь.

— И я выучу, — сказал Вольф. — Надо же тебе будет с кем-то поговорить, а?

— Ну вот еще, — возбужденно сказал Лазурит. — До тарабарщины пока еще далеко. Может, заведем эту штуку? Позовем вашу жену и Фолавриль. Пусть посмотрят.

— Пусть посмотрят, — повторил Вольф неуверенно.

— Я возьму мопед, — сказал Сапфир, — и вернусь через три минуты.

Он оседлал маленький мопед, который с урчанием завелся и загромыхал по плиткам дороги. Вольф остался один посреди Квадрата. Стены из розового камня возвышались метрах в трехстах от него. Их линии были строги и четки.

Вольф ждал возле Машины, утопая в красной траве. Зеваки уже давно не появлялись: они ожидали официального открытия, а пока предпочитали в Эльдорамо глазеть на сумасшедших боксеров и выставку отравленных крыс. Небо было близко и тихо светилося. Встань на стул, и сможешь коснуться его пальцем, но достаточно было легкого дуновения ветра, чтобы оно отдалилось и взметнулось бесконечно высоко...

Вольф подошел к пульту управления, и его широкие плоские ладони ощутили прочность металла. По привычке Вольф слегка наклонил голову, и его жесткий профиль отпечатался на толе контрольного ящика, более мягком и податливым. Белая рубашка и голубые штаны колыхались на ветру.

Немного взволнованный, он ждал возвращения Сапфира. Все начиналось так обыкновенно. День был похож на любой другой, и только очень внимательный наблюдатель мог бы заметить причудливую царапину, как бы золотистую трещину, пересекающую голубизну неба прямо над Машиной. Но задумчивый взгляд Вольфа блуждал по красной траве. Время от времени из-за западной стены Квадрата беглое эхо доносило шум автомобиля. Звуки разносились далеко, потому что был воскресный день и люди скучали в тишине.

Но вот моторчик мопеда застрекотал на мощеной дороге; прошло несколько секунд, и Вольфа настиг белокурый аромат его жены. Он поднял руку и пальцем нажал на пуск. С тихим посвистыванием мотор завертелся. Машина задрожала, и стальная клетка заняла свое место над шахтой. Вольф и Лазурит стояли неподвижно. Сапфир держал за руку Фолавриль, и она прятала глаза под завесой светлых волос.

ГЛАВА II

Все четверо глядели на Машину, и тут раздался резкий стук — сменный элемент, зацепленный когтями головного, занял свое место над клеткой. Маятник раскачивался бесшумно и неумолимо. Мотор уже набрал обороты, выхлопы оставляли длинную борозду в пыли.

— Работает, — сказал Вольф.

Лиль прижалась к нему, и он почувствовал через ткань рабочих штанов шов на ее тонких чулках.

— Теперь-то, — сказала она, — ты хоть отдохнешь несколько дней?

— У меня еще здесь остались дела.

— Но ты же сделал свою работу, — сказала Лиль. — Теперь с этим кончено.

— Нет, — сказал Вольф.

— Вольф, — прошептала Лиль. — Что же... Никогда...

— Потом... прежде всего... — он заколебался, затем продолжил: — Как только она обкатается, я ее испытаю.

— Что же ты хочешь забыть? — раздраженно сказала Лиль.

— Когда ничего не помнишь, — ответил Вольф, — все, наверно, совсем по-другому. — Но Лиль настаивала:

— Ты же должен отдохнуть! Я желаю хотя бы два дня побыть с мужем, — призывно произнесла она вполголоса.

— Я с удовольствием останусь с тобой завтра, — согласился Вольф. — Но послезавтра она уже войдет в рабочий режим, и надо будет ее испытать.

Неподалеку от них Сапфир и Фолавриль застыли обнявшись. Впервые он осмелился коснуться губами губ своей подруги и теперь впитывал их свежий малиновый вкус. Он закрыл глаза, и монотонное урчание Машины уносило его далеко-далеко. А потом он поглядел на губы Фолавриль, на ее приподнятые в уголках глаза лани-пантеры, и вдруг почувствовал присутствие кого-то еще. Не Вольфа, не Лиль... Чужого. Сапфир оглянулся. Рядом стоял человек и внимательно смотрел на них. Сердце Лазурита бешено заколотилось, но он не тронулся с места. Он помедлил, потом провел рукой по векам. Лиль и Вольф разговаривали, до него доносились обрывки фраз... Лазурит сильно зажмурился, перед глазами поплыли огненные пятна... Открыл глаза — никого. Фолавриль ничего не замечала. Она стояла, прижавшись к Сапфиру, почти безучастная. Он и сам не понимал, что с ними творится.

Вольф протянул руку и тронул Фолавриль за плечо.

— Во всяком случае, — сказал он, — ты и твой охламон сегодня ужинаете у нас.

— Конечно, — сказала Фолавриль. — И пусть хоть разочек Сенатор Дюпон тоже побудет с нами. Он всегда на кухне, бедный старикан.

— Скоро сдохнет от обжорства, — заметил Вольф.

— Замечательно, — произнес Лазурит, сделав усилие, чтобы казаться веселым. — Значит, устроим настоящую оргию.

— Непременно, — сказала Лиль.

Ей очень нравился Лазурит. У него был такой юный вид...

— Завтра, — сказал Вольф Сапфиру, — ты сам будешь следить за всем хозяйством. У меня день отдыха.

— Не отдыха, — прошептала Лиль, прижимаясь к нему. — Каникул. Со мной.

— А я могу побыть здесь вместе с Лазуритом? — спросила Фолавриль.

Сапфир нежно пожал ей руку в знак благодарности.

— Ладно, — сказал Вольф, — я не против, но халтуры не допущу.

Снова ужасный скрежет, и следующий элемент сменил предыдущий.

— Она сама справляется, — сказала Лиль, — пошли отсюда.

Они немного прошлись. Чувствовалась усталость, как после сильного напряжения. В сумерках возник серый лохматый силуэт Сенатора Дюпона, которого служанка спустила с поводка. Он бежал им навстречу, мяукая во все горло.

— Кто его научил мяукать? — спросила Фолавриль.

— Маргарита, наша служанка, — ответила Лиль. — Она сказала, что предпочитает кошек, а Сенатор ни в чем не может ей отказать. Хотя от мяуканья у него ужасно болит горло.

По дороге Сапфир взял за руку Фолавриль и несколько раз оглянулся. Второй раз ему показалось, что за ними следит какой-то человек. Очевидно, нервы. Он потерся щекой о длинные светлые волосы девушки, которая шла с ним в ногу. Далеко позади слышалось стрекотание Машины в изменчивом небе, а Квадрат был мертв и пуст.

ГЛАВА III

Вольф выбрал в своей тарелке самую лучшую кость и положил ее в миску Сенатора Дюпона, который восседал напротив него с салфеткой, элегантно повязанной вокруг облезлой шеи. Ликующий Сенатор от избытка чувств жовиально гавкнул, но, почувствовав на себе гневный взгляд служанки, плавно перевел лай в великолепно модулированный «мяв». Та не осталась в долгу. И дар — большой комок хлебного мякиша, скатанный черными-пречерными пальцами Маргариты, — был проглочен Сенатором со звучным «плям».

Четверо остальных разговаривали в духе обычной застольной беседы: «передай мне хлеб», «у меня нет ножа», «одолжи ручку»,

«куда делись шарики», «у меня голова не варит», «кто победил при Ватерлоо», «игра не стоит свеч», «пуганая ворона куста боится». Все, конечно, в двух словах, потому что Сапфир был влюблен в Фолавриль, Лиль — в Вольфа, и наоборот — для симметрии этой истории. Лиль и Фолавриль были похожи: у обеих были длинные светлые волосы, манящие губы и тонкие талии. Фолавриль носила ее повыше — у нее были потрясающие ноги, зато у Лиль — более изящные плечи, и потом, она была замужем за Вольфом. Без своего бронзового комбинезона Сапфир Лазурит выглядел более влюбленным; его чувство было в первой стадии — он пил чистое вино. Жизнь была бездумной, вовсе не грустной, полной ожиданий. Для Вольфа. Для Сапфира — бьющей через край и неизъяснимой. Для Лиль — небурливой. Фолавриль вовсе не думала. Она просто жила и была чудесна, потому что краешки ее глаз лани-пантеры были приподняты.

Кто накрывал на стол и убирал посуду, Вольф даже не знал. Он не мог смотреть на прислугу, ему было стыдно. Он налил вина Сапфиру, и тот выпил, потом Фолавриль — и та засмеялась. Служанка вышла в сад и вернулась, неся консервную банку с мокрой глиной, которую стала запихивать в Сенатора Дюпона, чтоб немного его подразнить. Он поднял адский шум, достаточно при этом владея собой, чтобы время от времени мяукать, как полагается порядочному домашнему коту. Подобно всем действиям, повторяющимся изо дня в день, ужин не предполагал особенного развития событий. Он просто проходил, вот и все, в красивой комнате с деревянными лаковыми стенами, большими окнами голубоватого стекла и потолком, разлинованным темными балками.

Пол был вымощен бледно-оранжевыми плитками и слегка опускался к центру комнаты, чтобы создать интим. На камине из разноцветного кирпича царил портрет Сенатора Дюпона в возрасте трех лет — в замечательном ошейнике, инкрустированном серебром. В прозрачной вазе стояли привезенные из Крайней Азии спиралевидные цветы, между их изогнутыми стеблями плавали маленькие морские рыбки. За окном слезы сумерек оставляли на черных щеках туч длинные следы.

— Передай мне хлеб, — сказал Вольф. Сапфир, сидящий напротив него, вытянул правую руку, взял хлебницу и подал ее левой рукой — можно и так.

— У меня нет ножа, — сказала Фолавриль.

— Одолжи мне ручку, — ответила Лиль.

— А где шарики? — спросил Сапфир.

Затем они немного помолчали, так как сказанного было вполне достаточно для беседы к жаркому. В этот вечер, впрочем, жар-

кого не подавали — это был праздничный ужин: посреди стола на блюде австралийского фарфора кудахтал под сурдинку золотистый цыпленок в фольге.

— Где шарики? — повторил Сапфир.

— У меня голова не варит, — заметил Вольф.

— Кто победил при Ватерлоо? — неожиданно вставил Сенатор Дюпон, перебив Лиль.

Поскольку это не было предусмотрено программой, все опять замолчали. Как на параде, хором взвились голоса Лиль и Фолавриль.

— Игра не стоит свеч, — твердо заявили они.

— Пуганая ворона куста боится, — единым духом ответили Сапфир и Вольф.

Однако они явно думали о другом, потому что смотрели в разные стороны.

Тем временем ужин продолжался, к вящему удовольствию всех присутствующих.

— Будем продолжать вечеринку? — спросил Сапфир за десертом. — Мне не очень-то улыбается идти спать. — Он занимал половину второго этажа. Фолавриль жила на другой половине. Так получилось.

Лиль хотела было уже пойти с Вольфом спать, но подумала, что вечеринка бы его развлекла. Развела бы. Оттянула. Поправила. Встретиться с друзьями. Немножко выпить.

— Позвони друзьям, — сказала она.

— А кому? — спросил Вольф, снимая трубку. Ему сказали кому, он позвонил — те были не против. В это время Лиль и Фолавриль улыбались на публику.

Вольф положил трубку. Он думал, что делает приятное Лиль. Так как она, стесняясь, обычно недоговаривала, он ее плохо понимал.

— А что мы делать-то будем? — спросил он. — То же, что всегда? Диски, бутылки, танцуйки, разодранные шторы, забитая раковина? Хорошо, пусть будет по-твоему, милая Лиль.

Лиль хотелось плакать. Спрятать лицо в голубую пуховую подушку. Она с трудом проглотила обиду и попросила Лазурита достать из бара напитки, чтобы все же казаться веселой. Фолавриль почувствовала, что происходит, встала и, проходя мимо Лиль, крепко сжала ей руку.

Служанка на сладкое давала Сенатору Дюпону прирученной Кольмановской горчицы. Она накладывала ее маленькой ложечкой в левое ухо Сенатора, и он усердно мотал головой, опасаясь, что противоположное движение — хвостом — примут за благодарность.

Лиль выбрала светло-зеленую бутылку из числа тех десяти, что извлек из бара Лазурит, и налила себе полный стакан, не оставив места для воды.

— По стаканчику, Фоль, — предложила она.

— Охотно, — дружелюбно сказала Фолавриль.

Сапфир скрылся в ванную комнату, чтобы поправить кое-что в своем туалете. Вольф смотрел в окно, выходящее на запад.

Одна за другой алые ленты облаков затухали с легким шипением, как раскаленная железная стружка в воде. Секунду все оставалось неподвижным.

А спустя четверть часа на эту веселую вечеринку прибыли друзья. Сапфир вышел из ванной с покрасневшим от спешки носом. Он поставил первый диск. Дисков хватило бы на три с половиной, а то и четыре часа. Тем временем посреди Квадрата Машина по-прежнему ворчала, и мотор буравил ночь своим слабым никчемным светом.

ГЛАВА IV

Две пары еще танцевали, одну из них составили Лиль и Лазурит. Лиль была довольна: ее приглашали весь вечер, и с помощью нескольких бокалов ее настроение окончательно исправилось. Вольф взглянул на них, затем выскользнул из комнаты и зашел в свой кабинет. Там, в углу, на четырех ножках стояло большое зеркало из полированного серебра. Вольф подошел к нему и, вытянувшись во весь рост, прислонился лицом к металлу, чтобы поговорить с собой как мужчина с женщиной. Серебряный Вольф ждал напротив. Первый Вольф надавил руками на холодную поверхность, чтобы убедиться в своем присутствии.

— Что с тобой? — спросил он. Его двойник пожал плечами.

— Чего тебе не хватает? — спросил Вольф. — Смотришься ты там неплохо.

Он нащупал на стене выключатель. Комната провалилась во мрак. Только отражение осталось освещенным. Очевидно, на него падал свет из другого источника.

— Что ты сделал для того, чтобы вырваться? — продолжал Вольф. — А впрочем, откуда вырваться?

Отражение устало вздохнуло. Вольф злобно рассмеялся.

— Вот-вот, похнычь. В общем, все не так. Но знай, приятель, завтра я испытаю эту Машину.

Двойник явно затосковал.

— Здесь, — сказал Вольф, — что я могу увидеть? Туманы, глаза, люди... невесомая пыль... и это проклятое небо, как диафрагма.

— Успокойся, — твердо сказала отражение. — Ну и зануда же ты.

— Неприятно, да? — продолжал глумиться Вольф. — Ты боишься, что я окончательно разочаруюсь в жизни, когда все забуду? Лучше уж разочароваться, чем смутно надеяться неизвестно на что. В любом случае, надо все выяснить, раз уж представилась такая возможность. Ну ответь же ты, черт тебя побери!

Но его собеседник мрачно безмолвствовал.

— Не забывай, что Машина мне ничего не стоила, — сказал Вольф. — Мне выпал шанс. Шанс всей моей жизни, вот что. Думаешь, я его упущу? И речи быть не может. Твердое решение, даже ведущее к гибели, лучше любой неуверенности. Согласен?

— Не согласен, — отозвался двойник.

— Ладно, — резко сказал Вольф. — Сейчас говорю я. Ты вообще в расчет не принимаешься. Ты мне больше ни к чему. Я сделал свой выбор. Я выбрал ясность. Ха-ха. Какой, однако, пафос.

Вольф с трудом выпрямился. Перед ним стоял его образ, как бы выгравированный на серебряном листе. Он снова включил свет, образ сгладился. Рука Вольфа на выключателе была такой же белой и твердой, как металл зеркала.

ГЛАВА V

Вольф слегка привел себя в порядок перед тем, как вернуться в гостиную, где пили и танцевали. Он вымыл руки, отпустил усы, обнаружил, что они ему не идут, тут же сбрил их и сменил галстук на другой, пошире, так как мода только что изменилась. Потом, рискуя шокировать коридор, пошел по нему вспять. Проходя, он дернул за рычаг, регулировавший состояние атмосферы долгими зимними вечерами. Обычный свет сменился рентгеновским излучением, испускаемым в малых дозах с большой осторожностью. Оно проецировало на светящиеся стены увеличенные силуэты сердец танцующих. По ритму их пульсации можно было проследить, насколько партнеры нравятся друг другу.

Лазурит танцевал с Лиль. У них все было как надо, и сердца их, довольно красивые по форме и тем не менее очень разные, трепетали рассеянно и спокойно. Фолавриль стояла около буфета, ее сердце замерло. Две остальные пары составились так, что в каждой был заменен законный супружеский элемент, и ритм сердцебиений подсказывал, что эта система распространялась не только на танец.

Вольф пригласил Фолавриль. Она слушалась тихо и безучастно. В танце они прошли мимо окна. Было поздно (или рано), и

ночь струилась на крышу дома, клубясь, крутясь, как тяжелый дым, вдоль полосы сияющего света, который его тут же испарял. Вольф все замедлял движения и наконец остановился. Они были у двери.

— Пойдем пройдемся, — сказал Вольф Фолавриль.

— С удовольствием, — ответила она.

Выходя, Фолаврильхватила пригоршню вишен с тарелки. Вольф посторонился, пропуская ее. Они окунулись в ночь. Небо покрылось тьмой, подвижной, колеблющейся, как брюхо черного кота, дремлющего после еды. Вольф держал Фолавриль за руку; они шли по усыпанной гравием дорожке, их шаги оставляли за собой маленькие резкие нотки в форме кремневых колокольчиков. Споткнувшись о бордюр газона, Вольф ухватился за Фолавриль. Она не удержалась на ногах, оба плюхнулись в траву, сели и, обнаружив, что земля теплая, вытянулись рядом во весь рост, не касаясь друг друга. Ночь вздрогнула, приоткрылись звезды. Фолавриль ела вишни, было слышно, как они лопались у нее во рту, истекая свежим душистым соком. Вольф раскинулся по земле, его пальцы ворошили и мяли душистые былинки. Уснуть бы тут.

— Тебе весело, Фоль? — спросил он.

— Да... — сказала Фолавриль неуверенно. — Но Сапфир... он сегодня какой-то странный. Не решается меня поцеловать. Все время оборачивается, как будто кто за ним следит.

— Теперь все наладится, — сказал Вольф. — Он просто перетрутился.

— Надеюсь, что так, — сказала Фолавриль. — Вы уже все закончили?

— Основное сделано, — сказал Вольф. — Но завтра я ее испытаю.

— О, я хочу посмотреть, — сказала Фолавриль. — Вы возьмете меня с собой?

— Не могу, — сказал Вольф. — Видишь ли, она не для того предназначена. Да и кто знает, что я там найду. Ты не хотела бы туда заглянуть, а, Фоль?

— Нет, — сказала она, — я слишком ленива. И потом, мне почти всегда хорошо, значит, незачем быть любопытной.

— Ты сама нежность, — сказал Вольф.

— Почему вы говорите мне это, Вольф? — задумчиво спросила Фолавриль.

— Я не сказал ничего такого, — прошептал Вольф. — Дай мне вишен.

Он почувствовал, как прохладные пальцы погладили его по лицу, нашли рот и вложили в него вишню. Он согрел ее во рту,

прежде чем проглотить, и разгрыз увертливое ядро. Фолавриль лежала рядом с ним, и аромат ее тела смешивался с запахами земли и травы.

— От тебя чудесно пахнет, Фоль, — сказал Вольф. — Мне нравятся твои духи.

— Я не пользуюсь духами, — ответила она.

Она смотрела, как звезды гоняются друг за другом в небе, сталкиваются и ярко вспыхивают. Три звездочки в правом верхнем углу исполняли восточный танец. Время от времени завитки ночи скрывали их от посторонних глаз.

Вольф медленно повернулся на бок. Ему не хотелось ни на минуту отрываться от травы. Правой рукой он нащупал маленького пушистого зверька, лежащего неподвижно. Вольф всмотрелся, пытаясь разглядеть его в темноте.

— Рядом со мной маленький чудный зверек, — сказал он.

— Спасибо, — ответила Фоль. Она тихо рассмеялась.

— Нет, не ты, — сказал он. — Тебя бы я сразу заметил. Это крот. Или кротенок. Он не двигается, но он живой. Ого, послушай, я его глажу.

Кротенок начал мурлыкать. Его маленькие красные глазки сверкали во тьме, как бледные сапфиры. Вольф приподнялся и посадил его на Фолавриль, в то место, где вырез платья, как раз между грудей.

— Приятно, — сказала Фолавриль. Она опять засмеялась.

— Так хорошо.

Вольф снова лег на траву. Его глаза привыкли к темноте. В нескольких сантиметрах перед ним была рука Фолавриль, светлая и гладкая. Он вытянул голову и коснулся губами тенистой впадинки на сгибе локтя.

— Фоль... Ты красивая.

— Не знаю, — прошептала она. — Здесь хорошо. Что, если мы тут уснем?

— Можно, — сказал Вольф. — Я уже думал об этом. — Он прислонился щекой к ее плечу, еще по-юношески угловатому, как у подростка.

— Мы проснемся в кротах с ног до головы, — сказала Фолавриль и приглушенно засмеялась низким грудным голосом.

— Трава хорошо пахнет, — сказал Вольф. — Трава и ты. И столько цветов вокруг. Почему-то пахнет ландышами? Они ведь давно отцвели.

— Ландыши я помню, — сказала Фоль. — Раньше их было как волос на сапожной щетке. Сядешь посреди поля и рвешь их, не вставая. Полным-полно ландышей. А это другие цветы, оран-

жевые, похожие на маленькие круглые бляшки. Не знаю, как они называются. Под головой у меня ночные фиалки, а по другую руку — асфодели.

— Ты уверена? — спросил Вольф словно издалека.

— Нет, — сказала Фолавриль, — я никогда не видела асфodelей, но мне нравится это слово и эти цветы, вот я и соединила их вместе.

— Все делают что-то в этом роде, — сказал Вольф. — Соединяют то, что любят. Не люби мы себя так, мы оставались бы одинокими.

— И ты, и я сегодня в одиночестве. Два одиночества! — отозвалась Фолавриль.

Она умиротворенно вздохнула.

— Это-то и хорошо, — прошептала она.

— Завтра что-то начнется, — сказал Вольф. Они замолкли. Фолавриль нежно гладила кротенка, который порывивал от удовольствия, как обычно рычат в таких случаях маленькие кроты. В небе над ними открывались ходы, заполненные пустотой, которую нагоняла ползущая тьма, скрывавшая от них звезды. Вольф и Фолавриль уснули, лежа на теплой земле, среди аромата кровавых цветов. Занимался день. Из дома доносился неясный гул, замысловатый, как блюз Жестяной крыши. Травинка клонилась под легким дыханием Фолавриль.

ГЛАВА VI

Вольфу надоело ждать пробуждения Лиль; она могла проснуться и к вечеру. Он нацарапал записку, положил на столик у кровати и вышел, облачившись в зеленый костюм, специально предназначенный для игры в плук.

Сенатор Дюпон, уже снаряженный служанкой, следовал за ним, волоча небольшую тележку, где были уложены мячики, флажки, лопатка-копатка и сажалка, а также счетчик ударов и мячиковвод. Вольф нес через плечо клюшки для игры в плук. Их было несколько: с углом вертикальным, вообще без угла и та, что сверкает не хуже стекла.

Было одиннадцать часов. Вольф чувствовал себя отдохнувшим, он не танцевал, как Лиль, до самого утра без перерыва. Сапфир с утра пораньше работал на Машине. Фолавриль, скорей всего, еще спала.

Сенатор ругался, как извозчик. Он вовсе не любил игру в плук и особенно протестовал против тележки. Вольф время от

времени впрягал в нее Дюпона, чтобы согнать с того жир. Хотя сердце Сенатора обливалось кровью, брюхо его не опадало, слишком оно было набито. Каждые три метра он вскидывался и заглаживал пучок пырея.

Площадка для игры в плук простиралась до самых границ Квадрата. Трава на ней была не красной, а весьма приятного цвета — ненатурально-зеленого. Для украшения были разбросаны рощицы и стайки косых зайцев. Здесь можно было играть в плук часами, не возвращаясь назад, — одно из основных достоинств этого места. Вольф шел быстрым шагом, смакуя свежесвеженный утренний воздух. Порой он останавливал Сенатора Дюпона и потешался над ним.

— Опять есть хочешь? — спрашивал он, когда Сенатор набрасывался на особенно высокий кустик пырея. — Надо было сказать заранее. Тебя бы накормили.

— Ладно-ладно, — ворчал Сенатор. — Легко насмеяться над старым больным псом, который и так еле таскает ноги, а тут еще его заставляют волочить тяжелые виды транспорта.

— Тебе это необходимо, — сказал Вольф. — Ты толстеешь. Еще немного, и у тебя выпадут волосы, появится склонность к апоплексии и ты будешь ходить под себя.

— Поскольку я не более чем животное, меня это вполне устраивает. В любом случае, служанка и так вырвет мне все оставшиеся волосы: уж больно рьяно она меня причесывает.

Вольф шел впереди, засунув руки в карманы, и говорил не обращившись.

— А ты представь, что кто-нибудь здесь поселится и у него будет, скажем, миленькая сучка.

— Меня на мякине не проведешь, — сказал Сенатор. — Я выше этого.

— Пырей, один пырей у тебя на уме, ветки и сучки, — продолжал издеваться Вольф. — Станный у тебя вкус. Лично я бы предпочел хорошенькую маленькую сучку.

— В добрый час! — сказал Сенатор. — Я не ревнив. И к тому же у меня болят кишки.

— Еще бы, если учесть, сколько ты съел, — сказал Вольф. — Но кушал ты с удовольствием.

— Вау, — сказал Сенатор, — кроме земляного бульона и горчицы в ухо, все было нормально.

— Надо было защищаться. Ты ведь вполне можешь заставить служанку тебя уважать.

— Я не внушаю уважения, — сказал Сенатор. — Я старый вонючий пес, я жру с утра до вечера. Бэ-э, — вдруг исторг он,

поднося жирную лапу к морде. — Извините, я на секундочку. Этот пырей отличного качества, он уже начал действовать. Отвяжите тележку, если вам не трудно, она мне будет мешать.

Вольф, наклонившись, освободил Сенатора от кожаной сбруи, проходящей у него под мышками. Сенатор удалился, опустив голову, в поисках небольшого пахучего куста, способного скрыть от Вольфа сей позорный акт.

Вольф остановился, поджидая его.

— Можешь не спешить, — сказал Вольф. — Мы не опаздываем.

Поскольку Сенатор Дюпон из всех сил старался икать в такт, он ничего не ответил. Вольф сел на корточки и, обняв руками колени, стал раскачиваться взад-вперед. Чтобы качаться было интереснее, он мурлыкал какой-то сентиментальный мотивчик.

Минут через пять появилась Лиль. Сенатор никак не мог закончить свои дела, и Вольф хотел было пойти похлопать его по спине. Звук торопливых шагов Лиль остановил его; не оборачиваясь, Вольф почувствовал, что это она. На ней было платье из тонкой материи, длинные волосы были распущены. Обняв Вольфа за шею, она опустилась на колени рядом с ним и зашептала ему на ухо: «Почему ты меня не подождал? У меня выходной или нет?»

— Я не хотел тебя будить, — сказал Вольф. — У тебя был усталый вид.

— Я и правда очень устала, — ответила она. — Ты действительно намерен играть в плук сегодня утром?

— Прежде всего я хотел немного пройтись, — сказал Вольф. — Сенатор тоже, но по дороге у него изменились планы. Так что я в твоём распоряжении.

— Очень мило с твоей стороны, — улыбнулась Лиль, — но я как раз шла тебе сказать, что у меня важное дело и ты можешь играть в плук сколько хочешь.

— У тебя есть хотя бы десять минут?

— Это деловое свидание, я не могу не пойти.

— У тебя есть хотя бы десять минут? — повторил Вольф.

— Конечно, — сказала Лиль. — Бедный Сенатор. Я так и знала, что он заболел.

— Я не заболел, — отозвался Сенатор из-за куста. — Я отравился.

— Ну уж, — сказала Лиль, — только не говори, что все было плохо приготовлено.

— Глина была плохо приготовлена, — проворчал Сенатор и снова принялся за свое.

— Давай прогуляемся, пока я еще здесь, — сказала Лиль. — Куда пойдем?

— Куда хочешь, — ответил Вольф. Они одновременно встали, и Вольф бросил клюшки для плука в тележку...

— Я вернусь, — сказал он Сенатору. — Делай свое дело и береги себя.

— Не беспокойтесь, — сказал Сенатор. — Боже, как дрожат лапы.

Они шли навстречу солнцу. Луга, как заливы, омывали темно-зеленые заросли. Издали деревья казались так плотно прижатыми друг к другу, что хотелось стать одним из них.

Земля была суха и ветвениста. Площадка для плука осталась слева от них, немного внизу, так как дорога шла в гору. Два или три человека старательно играли в плук с применением всех аксессуаров.

— Ну что, — сказал Вольф, — хорошо повеселилась вчера?

— Отлично, — сказала Лиль, подпрыгивая, — я все время танцевала.

— Я видел, — сказал Вольф. — С Лазуритом. Я очень ревновал.

Они повернули направо и вошли в лес. Дятлы общались друг с другом, перестукиваясь морзянкой.

— А ты что там делал с Фолавриль? — перешла в контратаку Лиль.

— Спал на траве, — ответил Вольф.

— Она хорошо целуется?

— Вот дурочка, — сказал Вольф, — я об этом даже и не думал.

Лиль засмеялась и прильнула к нему, стараясь шагать в ногу.

— Я бы хотела, чтобы всегда были каникулы. И все время вот так гулять с тобой.

— Тебе бы это быстро надоело, — сказал Вольф. — Ведь даже сейчас ты спешишь на свое свидание.

— Неправда, — сказала Лиль. — Так случайно получилось. А вот ты предпочитаешь свою работу. Ты без нее не можешь. Безделье сводит тебя с ума.

— Работа тут ни при чем. Я и так сумасшедший. Ну, может, не сумасшедший, а просто не в себе.

— А когда ты спишь с Фолавриль?

— Даже когда я сплю с тобой, — сказал Вольф. — Но в этот раз спала ты, и я предпочел уйти.

— Почему?

— Иначе я бы тебя разбудил.

— Зачем? — невинно спросила Лиль.

— За тем, — сказал Вольф и показал зачем. Они растянулись на траве.

— Только не здесь, — сказала Лиль. — Здесь полно народу. — Но ей самой показался неубедительным этот довод.

— Ты потом не сможешь играть в плук, — добавила она.

— А эту игру я тоже люблю, — прошептал ей Вольф в ушную раковину, чуть не проглотив ее.

— Я хотела бы, чтобы всегда были каникулы, — почти счастливо вздохнула Лиль.

И уже вполне счастливая, после разнообразных вздохов и некоторой деятельности, она вновь раскрыла глаза.

— Я это очень, очень люблю, — заключила она.

Вольф нежно поцеловал ее в глаза, чтобы подчеркнуть, что ему мучительно трудно оторваться от нее даже на миг.

— А что у тебя за дела? — спросил Вольф.

— Так, дела, — сказала Лиль. — Пошли, а то я опоздаю.

Она встала и взяла Вольфа за руку. Они побежали к тележке. Выбившийся из сил Сенатор Дюпон лежал на пузе и слюнявил камни.

— Вставай, Сенатор, — сказал Вольф. — Пора играть в плук.

— До свидания, — сказала Лиль. — Возвращайся поскорее.

— А ты? — спросил Вольф.

— Я уже буду дома, — прокричала она, убегая.

ГЛАВА VII

— Ммм... неплохой удар, — отметил Сенатор. Мячик улетел очень высоко; его след оранжевой дымкой выделялся на фоне неба. Вольф бросил свою клюшку, и они пошли дальше.

— Да, — равнодушно ответил Вольф, — я совершенствуюсь. Если бы я имел возможность тренироваться...

— Вам никто не мешает, — сказал Сенатор Дюпон.

— В любом случае, — ответил Вольф, — всегда найдется кто-нибудь, кто играет лучше меня. Стало быть, зачем?

— Пустое, — сказал Сенатор. — Игра есть игра.

— Именно потому, что это игра, в ней надо быть первым. Иначе это просто идиотизм. А кроме того, я уже пятнадцать лет играю в плук. Можешь себе представить, как мне это осточертело.

Маленькая тележка шкандыбала за Сенатором и при малейшей заминке исподтишка наподдавала ему под зад. Сенатор ныл.

— Какое коварство, — всхлипывал он. — Через час мне разобьет всю задницу.

— Нельзя быть таким неженкой, — сказал Вольф.

— Но все же, — сказал Сенатор, — в мои-то годы. Это унизительно!

— Тебе полезно немного прогуляться, уверяю тебя.

— Что может быть полезного в неприятном, — сказал Сенатор.

— В конечном счете все достаточно неприятно, но надо все равно что-то делать.

— Ох, — сказал Сенатор, — под предлогом того, что вам ничто не мило, вы считаете и других такими же разочарованными.

— Ладно, — сказал Вольф, — скажи, чего бы тебе сейчас хотелось?

— А если б вам задали такой вопрос, — проворчал Сенатор, — вы бы небось затруднились на него ответить.

Действительно, Вольф заговорил не сразу. Он поиграл клюшкой, сбивая кривляющиеся стручки недотроги, разбросанные там и сям по плуковому полю. Каждый сбитый стебель выбрасывал струю черного сока, которая надувалась в воздухе маленьким черным шариком с золотой монограммой.

— Я не затруднюсь, — сказал Вольф. — Я просто скажу тебе, что мне ничего не хочется.

— Что-то новенькое, — фыркнул Сенатор. — А ваша Машина?

— Это скорей вынужденное решение, — усмехнулся Вольф в свою очередь.

— Все-таки, — сказал Сенатор, — вы еще испробовали не все варианты.

— Это правда, — сказал Вольф. — Еще не все. Но и это придет. Нужно трезво смотреть на вещи. Однако я не услышал ответа на свой вопрос: чего бы тебе хотелось?

Сенатор стал серьезен.

— Вы не смеетесь надо мной?

Уголки его губ увлажнились и задрожали.

— Нисколько, — сказал Вольф. — Если я уверюсь, что хотя бы кто-нибудь чего-то хочет, это придаст мне бодрости.

— С тех пор, как мне исполнилось три месяца, — доверительно сказал Сенатор, — я хочу упити.

— Упити, — повторил Вольф рассеянно. И тут же воскликнул: — Упити!..

Сенатор осмелел. Голос его окреп.

— По крайней мере, это определенное и четкое желание. Упити — это такая зеленая штука в красную крапинку, и она делает «плюх», когда ее бросают в воду. По-моему, это и есть упити.

— Так, значит, вот чего ты хочешь?

— Да, — гордо сказал Сенатор. — У меня есть цель в жизни, и я счастлив. Я хотел сказать, был бы счастлив без этой вонючей тележки.

Вольф хмыкнул и прошел несколько шагов, оставив в покое чертополох. Потом он остановился.

— Хорошо. Я отвяжу твою тележку, и мы пойдем искать уапити. Ты увидишь, изменится ли что-нибудь, когда обретаешь желаемое.

Сенатор тоже остановился, вздрогнул и от испуга заржал.

— Как, — воскликнул он, — вы сделаете это?

— Я же сказал.

— Без шуток, — бормотал Сенатор, задыхаясь. — Не стоит так обнадеживать старого больного пса.

— Раз тебе выпало счастье чего-то хотеть, — сказал Вольф, — я помогу тебе, это так естественно.

— Тысяча чертей! — воскликнул Сенатор. — Это то, что в катехизисе называется занимательной метафизикой.

Вольф снова нагнулся и освободил Сенатора. Оставив себе одну клюшку для плука, он положил остальные в тележку. Он был уверен, что никто их не тронет, поскольку моральный кодекс игрока в плук очень суров.

— В дорогу! — сказал он. — Чтобы найти уапити, надо идти согнувшись и на восток.

— Даже согнувшись, — сказал Дюпон, — вы будете повыше меня. Так что я пойду в полный рост.

Они пошли, осторожно обнюхивая траву. Бриз шевелил серебряное брюхо неба, которое колыхалось, опускаясь иногда до голубых зонтиков майского спаржовника в цвету. Их терпкий запах дрожал в теплом воздухе.

ГЛАВА VIII

Расставшись с Вольфом, Лиль заспешила по своим делам. Маленькая голубая лягушка (ей недоставало дополнительного желтого пигмента) перегнала ее в два прыжка и запрыгала по дорожке от дома. Лягушка хотела было продолжить игру, но Лиль, ускользнув, быстро поднялась по лестнице: ей надо было снова накраситься и взглянуть на себя в зеркало. Пинцетом по бровям, щеткой по ресницам, кремом по щекам, взбивалкой по волосам, пилкой по ногтям — и дело сделано. Не больше часа на все. На бегу она попрощалась с няней и выскочила во двор.

Пересекла Квадрат и через маленькую дверь в стене вышла на улицу.

Улица скукожилась от скуки, и для разнообразия вся покрылась причудливыми длинными трещинами.

Сквозь извилистые полосы тьмы просвечивали яркие цветные камушки, неясные отблески света, блики, которые позволяли заглянуть в потайную жизнь земли. Свечение опала и горного хрусталя — камня, который не дается в руки, оставляя, как ящерица, хвост из сверкающей пыли в руках ловца, — резкий свет дикого изумруда, яркие вспышки колонии берилла-дичка. Торопливо семена по дороге, Лиль обдумывала вопросы, которые она задаст. Платье Лиль сочувственно, а порой и льстиво следовало за ее шагами.

Появились дома, сперва едва проклюнувшиеся из земли, затем побольше, и вот она оказалась на настоящей улице с большими зданиями и оживленным движением. Пройдя три квартала, Лиль повернула направо: пронюхивательница будущего жила в высокой избушке на мозолистых ножках, с перекошенной лестницей. С перил свисали отвратительные грязные тряпки для протирания местного колорита. Запахи кэрри, чеснока и пумперника висели в воздухе. На пятой ступеньке к ним добавлялись запахи гнилой капусты и тухлой рыбы. На самом верху лестницы сидел ворон с головой, выбеленной сильным раствором перекиси водорода. Ворон принимал посетителей, протягивая каждому дохлую крысу, которую он бережно держал за хвост. Крыса уже давно служила для этой цели, поскольку посвященные от нее отказывались, а другие и не приходили.

Лиль благодарно улыбнулась ворону и трижды постучалась в дверь деревянным молотком, который — к вашим услугам — висел на шнурке у двери.

— Войдите, — сказала гадалка, которая поднималась по лестнице вслед за ней.

Лиль вошла, сопровождаемая хозяйкой. В комнате было по пояс воды. Им пришлось перескакивать по надувным матрасам, чтобы не испортить паркет. Лиль предусмотрительно направилась к покрытому выцветшим репсом креслу, которое предназначалось для посетителей, в то время как пронюхивательница лихо-радожно вычерпывала воду ржавой кастрюлей и выливала в окно. Когда в комнате стало посуше, она в свою очередь уселась за нюхательный столик, на котором стоял ингалятор на полупроводниках. Под ингалятором, прижатая его тяжестью, без сознания лежала большая бежевая бабочка.

Пронюхивательница подняла прибор и подула на бабочку.

Потом, положив аппарат слева, она достала из-за корсажа колоду карт, по которой струился дымящийся пот.

— Я раскладываю весь пасьянс? — спросила она.

— У меня не так много времени, — сказала Лиль.

— Значит, полупасьянс и остаток.

— Да, остаток тоже.

Бабочка чуть затрепетала и тихо вздохнула. Колода карт воняла зверинцем. Пронюхивательница быстро разложила шесть верхних карт на столе. Шумно втянула воздух носом.

— Йоксель-моксель, — сказала она. — Что-то я ничего не могу унюхать в вашем раскладе. Плуньте вот сюда, на пол, и разотрите ногой.

Лиль повиновалась.

— Теперь уберите ногу.

Лиль убрала ногу, и пронюхивательница зажгла маленький бенгальский огонь. Комната наполнилась дымом, сверкающими искрами и запахом зеленого пороха.

— Так-так, — сказала пронюхивательница, — теперь запахи говорят яснее. Прекрасно, я обоняю для вас новости кое о ком, к кому вы равнодушны. И еще деньги. Не бог весть какая сумма. Но все же немного денег. Ничего особенного. Объективно говоря, ваша финансовая ситуация не изменится. Погодите-ка.

Она разложила поверх шести первых карт еще шесть.

— Ага, — воскликнула она, — как раз то, что я говорила. Вам предстоят небольшие расходы. Но вот письмо, касающееся непосредственно вас. Может быть, от мужа? То есть, скорее всего, он с вами просто поговорит, а то с какой стати ему писать вам письмо? Смешно даже. Продолжим. Выберите карту.

Лиль взяла первую попавшуюся карту, а именно пятаю слева.

— Глядите-ка! — сказала пронюхивательница. — Все в точности так, как я вам говорила. Большое счастье кое для кого в вашем доме. Он найдет то, что долго искал, после того как чем-то переболеет.

Лиль подумала, что Вольф был прав, когда построил Машину, и теперь его усилия будут вознаграждены, но вот его печень внушает опасения.

— Это правда? — спросила она.

— Правдивей быть не может, — ответила пронюхивательница, — запахи никогда не лгут.

— Я знаю, — прошептала Лиль.

В этот момент пергидролевый ворон начал выстукивать клювом по двери мотив внезапного расставания.

— Мне надо закругляться, — сказала пронюхивательница. — Будем раскладывать остаток?

— Нет, — сказала Лиль. — Мне достаточно знать, что мой муж обретет то, что ищет. Сколько я вам должна, мадам?

— Двенадцать пелук.

Большая бежевая бабочка билась все сильнее. Внезапно она вспорхнула, но полетела тяжело и неуверенно, как летучая мышь-калека. Лиль вздрогнула. Ей было страшно.

— Ничего, — успокоила ее гадалка.

Она открыла ящик стола и достала револьвер. Не вставая, она прицелилась в бархатистое создание и выстрелила. Что-то жирно хрустнуло. Подстреленная на лету бабочка сложила крылья на груди и глухо шмякнулась об пол. Брызги шелковистой пыльцы поднялись в воздух. Лиль толкнула дверь и вышла.

Ворон вежливо попрощался с ней. На лестнице ждала следующая посетительница: худенькая девочка с беспокойными черными глазами, сжимавшая в грязном кулачке серебряную монетку. Девочка вдруг остановилась и обратилась к Лиль.

— Извините, мадам, она предсказывает правду?

— Нет, — сказала Лиль, — она предсказывает будущее. Это не одно и то же, вы сами знаете.

— Ей можно доверять? — спросила девочка.

— Иногда можно.

— Я боюсь этого ворона, — сказала девочка. — И дохлая крыса ужасно воняет. Я не люблю крыс.

— Я тоже не люблю крыс, — сказала Лиль. — Но это не самая шикарная пронюхивательница. Она не может позволить себе дохлых ящериц, как гадалки более высокого полета.

— Тогда я пойду к ней, мадам, — решила девочка. — Спасибо, мадам.

— Счастливо, — сказала Лиль.

Девочка побежала вверх по кособоким ступенькам. Лиль зашла домой, и всю дорогу волнистые карбункулы озаряли яркими вспышками ее красивые ноги. В это время день уже примерял на себя янтарную дымку и звонкое потрескивание сумерек.

ГЛАВА IX

Сенатор Дюпон прибавил шаг, поскольку Вольф шел очень быстро. И хотя у Сенатора было четыре ноги, а у Вольфа в два раза меньше, каждая нога Вольфа была в три раза длиннее ноги Сенатора, и потому последний время от времени высовывал язык и отдувался, чтобы продемонстрировать свою усталость.

Земля стала каменистой и покрытой густым жестким мхом,

среди которого попадались маленькие цветочки, похожие на шарики душистого воска. Между ними летали насекомые, впиваясь в соцветья челюстями, чтобы добраться до душистой влаги внутри чашечек. Сенатор подпрыгивал и ловил хрустящих тварей. Вольф широко шагал, держа в руке клюшку для плука, и напряженно смотрел под ноги, как будто расшифровывал с листа «Калевалу». К увиденному примешивались его собственные мысли, и он вписывал в пейзаж прекрасную головку Лиль. Один или два раза он даже пытался включить в картину профиль Фолавриль, но какой-то неясный стыд заставил его прекратить это занятие. Сделав усилие, Вольф сосредоточился на мысли об упити.

По неразборчивым указаниям, с отвращением выплюнутым чьей-то печатной машинкой, он определил близость искомого существа и приказал взволнованному Сенатору сохранять спокойствие.

— Мы правда сможем его найти? — прошептал Дюпон.

— А как же, — тихо ответил Вольф. — А теперь без глупостей. Ложись!

Он лег на землю и пополз по-пластунски. Сенатор начал было ворчать, что ему-де натирает между ног, но Вольф велел ему умолкнуть. Метрах в трех Вольф заметил то, что искал: большой камень, на три четверти вросший в землю, на верхушке которого темнело маленькое, идеально квадратное отверстие. Вольф подполз к камню и трижды постучал по нему клюшкой.

— С четвертым ударом придет твой срок! — произнес Вольф, подражая голосу Монсеньора.

Он ударил четвертый раз. И тотчас с ужасными гримасами из норы выскочил всполошенный упити.

— Смилуйтесь, Монсеньор, — заныл он, — я верну алмазы! Слово джентльмена! Я ничего такого не сделал, уверяю вас!

Вожделеющий глаз Сенатора Дюпона уставился на него, обливаясь, если можно так сказать о глазе.

Вольф сел и внимательно посмотрел на упити.

— Попался, — сказал он. — Сейчас только половина шестого. Ты пойдешь с нами.

— Нет, нет и нет, — запротестовал упити. — Так не годится. Я так не играю.

— Если бы даже было двадцать часов двенадцать минут и мы были бы здесь, это бы все равно случилось.

— Вы пользуетесь предательством одного из моих предков, — сказал упити. — Это подло. Вы же знаете, как мы чувствительны ко времени.

— Сие не есть смягчающее обстоятельство, — сказал Вольф, дабы впечатлить его стилем своей речи.

— Хорошо, я пойду. Но держите подальше от меня это чудовище со злобным взглядом, оно, кажется, жаждет моей крови.

Косматые усы Сенатора повисли от огорчения.

— Но ведь, — забормотал он, — у меня самые благие в мире намерения...

— Мне нет дела до мира, — гордо сказал уапители.

— Ты долго будешь занудствовать? — спросил Вольф.

— Я ваш узник, Монсеньор, и полагаюсь на вашу добрую волю.

— Прекрасно, — сказал Вольф. — Пожми руку Сенатору и пойдем.

Взволнованно отдуваясь, Сенатор Дюпон протянул свою лапищу уапители.

— Могу ли я сесть на спину Монсеньора? — спросил уапители, указывая на Сенатора.

Последний утвердительно кивнул, и уапители, очень довольный, расположился на его спине. Вольф пошел обратно. Одуревший от счастья Сенатор направился за ним. Наконец его идеал обрел плоть, его мечта осуществилась. Блаженство переполняло его душу, он не чувствовал под собой ног.

Вольф же был мрачен.

ГЛАВА X

Издавек Машина напоминала тончайшую паутину. Со вчерашнего дня ее работа не прерывалась. Лазурит присматривал за движением тонких шестеренок в моторе. Фолавриль рястянулась рядом, на подстриженной траве, и дремала, зажав в зубах гвоздик. Вокруг Машины слегка дрожала земля, но это было даже приятно.

Лазурит выпрямился и посмотрел на свои замасленные руки. Он не мог подойти к Фолавриль с такими руками. Он открыл толевый шкаф и достал оттуда самую большую пемзу. Потом намылил руки хозяйственным мылом и стал их сильно тереть. Пемза царапала ему ладони, он сполоснул руки в помятом ведре. Под ногтями осталась грязь, а так все было терпимо. Он закрыл шкаф и обернулся. Теперь можно было спокойно любоваться Фолавриль: длинные волосы падали ей на лоб, подбородок был округлым, даже своевольным, а уши тонкими, как раковинки в лагуне. Ее губы были полными, высокая грудь подтя-

гивала вверх слишком короткий свитер, и на поясе обнажилась полоска золотистой кожи. Лазурит скользнул глазами по волнующим линиям ее тела и присел рядом, чтобы поцеловать ее. Но тут же вздрогнул и вскочил на ноги. Рядом стоял человек и смотрел на него. Лазурит отпрянул и оперся на металлическую балку. Его пальцы впились в холодный металл, и он тоже уставился на человека. Под руками вибрировал мотор, это придавало Сапфиру сил. Человек не шевелился, серел, расплывался и наконец растаял в воздухе, как будто его и не было.

Лазурит вытер пот со лба. Фолавриль молчала и ждала, даже не удивившись.

— Что ему от меня надо? — пробормотал Сапфир как бы про себя. — Каждый раз, когда мы оказываемся вдвоем, он тут как тут.

— Ты слишком много работал, — сказала Фолавриль. — И устал прошлой ночью. Ты все время танцевал.

— Когда ты ушла, — сказал Лазурит.

— Я была недалеко. Мы разговаривали с Вольфом, — продолжала она. — Иди ко мне. Успокойся. Тебе надо отдохнуть.

— Да, хорошо.

Он провел рукой по лбу.

— Но этот человек все время здесь.

— Уверю тебя, никого здесь нет. Почему я никогда ничего не вижу?

— Ты никогда ни на что не смотришь, — сказал Сапфир.

— Никогда не смотрю на то, что мне неинтересно, — ответила Фолавриль.

Лазурит сел рядом, не касаясь ее.

— Ты прекрасна... как зажженный китайский фонарик.

— Не говори глупостей, — возмутилась Фолавриль.

— Я не могу сказать, что ты прекрасна, как день, — объяснил Лазурит. — Дни бывают разные. А китайские фонарики всегда красивы.

— Мне все равно, красива я или нет. Мне важно, чтобы я нравилась тем людям, которые мне интересны.

— Ты нравишься всем на свете. Таким образом, нужные тебе люди автоматически попадают в этот список.

Вблизи он заметил, что у нее маленькие веснушки и золотистые прозрачные ниточки на висках.

— Не думай о нем, — сказала Фолавриль. — Когда я здесь, думай обо мне и рассказывай мне всякие истории.

— Какие истории?

— О! — сказала Фолавриль. — Раз нет историй, может, споешь мне песню?

— Зачем все это? — сказал Лазурит. — Я хочу обнять тебя и попробовать на вкус твою малиновую помаду.

— Да, — прошептала Фолавриль, — это прекрасно, это лучшие истории и песен.

Фолавриль позволила ему себя поцеловать и ответила на поцелуй.

— Фолавриль... — прошептал Сапфир.

— Сапфир... — прошептала Фолавриль.

А потом они опять стали целоваться.

Пришел вечер. Он увидел их и остановился неподалеку, чтобы не потревожить. Ему больше было по душе красться вслед за Вольфом, который в этот момент возвращался домой. Спустя час было уже темно, светился лишь круг, в котором оставались только закрытые глаза Фолавриль, поцелуи Лазурита и пар, идущий от их тел.

ГЛАВА XI

В полусне Вольф сделал последнюю попытку изловить звенящий будильник, но скользкая тварь вывернулась из-под его руки и свернулась кольцами в углу ночного столика, где и продолжала трезвонить, задыхаясь от ярости, пока не выбилась из сил. Тело Вольфа вытянулось в квадратной нише, выстеленной белым мехом.

Он приоткрыл глаза, и стены комнаты закачались, повалились на пол, подняв при падении волны какой-то бесформенной вязкой массы, они покрывались пленкой и застывали, словно замерзающее море. Посередине, на неподвижном острове, Вольф медленно погружался во мрак, а вокруг по безбрежным пространствам гулял ветер и неустанно шумел. Прозрачные пленки колыхались, как плавники; с невидимого потолка спускались полотна эфира, окутывая голову. Растворяясь в воздухе, Вольф ощущал, как все вокруг проникает в него; и когда ветер стих, Вольф внезапно почувствовал резкий зеленый запах, похожий на запах китайских астр, — запах вспыхнувшего сердца.

Вольф открыл глаза. Все было тихо. Он с усилием встал; оказалось, что он спал в носках. Солнечный свет струился сквозь шторы. Но Вольф все еще чувствовал себя не в своей тарелке; чтобы стало полегче, он взял кусок пергамента, цветные мелки и попытался изобразить свой сон; но мелок упал в пыль, и на пергаменте осталось только несколько темных пятен, напоминающих

по форме мертвую (и давно) голову. Растерявшись, он уронил рисунок и подошел к стулу, на котором были аккуратно сложены брюки. Вольф шатался, как будто земля тряслась под его ногами. Запах китайских астр был уже едва различим; к нему примешивался сладковатый аромат цветущего жасмина, окруженного роем пчел. Сочетание, пожалуй, слегка тошнотворное. Надо спешить, подумал Вольф: на этот день было назначено торжественное открытие, и муниципальные чиновники, наверное, уже ждали. Он быстро стал одеваться.

ГЛАВА XII

У Вольфа в запасе оказалось все же несколько минут, и он воспользовался этим, чтобы взглянуть на Машину. В шахте оставалось с десятков элементов, и мотор, заботливо проверенный Лазуритом, работал как часы. Делать нечего, только ждать. Он принялся ждать.

Мягкая почва еще сохраняла отпечаток изящного тела Фолавриль, и гвоздика, которая была у нее в губах, пышная и кружевная, тоже покоилась тут, уже привязанная к земле тысячью невидимых пут — нитями белой паутины.

Вольф нагнулся и подобрал цветок. Вкус гвоздики огорошил и оглушил его. Он уронил ее. Гвоздика погасла и стала совсем незаметной на земле. Вольф улыбнулся. Если оставить гвоздику здесь, муниципальные чиновники ее наверняка раздавят. Он провел рукой по земле и нащупал тонкий стебелек. Почувствовав, что ее взяли в руки, гвоздика вновь обрела свой естественный цвет. Вольф осторожно обломил узловатый стебелек и вставил цветок в петлицу. Он вдыхал его запах, не наклоняя головы.

Из-за стены Квадрата донеслась музыка: рыдания волынки и глухие удары барабана. Вдруг стена проломилась под давлением стенодробильной машины, которой управлял бородастый пристав в черном мундире с золотой цепью. В брешь ввалились первые представители толпы и тут же почтительно выстроились в две шеренги. Музыка появилась вслед за ними, бурная и раскатистая. Бум, Бум и Дзиннь. Хористы визжали, едва не срывая голоса. Выкрашенный в зеленый цвет тамбурмажор шел впереди, помахивая маленьким ястребом, которым он безуспешно пытался зацепить висящее в небе солнце.

Он дал знак, сопроводив его рискованным двойным сальто, и хористы затянули гимн:

Это мэр, наш господин,
Бум, Бум и Дзиннь.
Он сегодня к нам пришел,
Бум, Бум и Дзиннь,
Чтобы, сударь, вас спросить,
Бум, Бум и Дзиннь,
Не желаете ли вы,
Бум, Бум и Дзиннь,
Нам налоги заплатить,
Бум, Бум и Дзиннь,
Что должны давно, увь.
Бум, Бум и Дзиннь,
Дзиннь Тюрлибонбон.

Тюрлибонбон состоял из удара двух металлических тарелок в форме лимонов по медному тюрбану, в результате чего они обменялись частями. Все вместе составляло старинный марш, который сплошь и рядом употреблялся не по делу, поскольку уже давно никто никому не платил никаких налогов. Но это была единственная мелодия, которую умел играть оркестр.

Мэр появился вслед за музыкантами, держа свой слуховой рожок, в который он тщетно пытался запихнуть носок, чтобы не слышать ужасного шума. Его жена, чрезвычайно толстая особа, вся красная и совершенно голая, показалась следом за ним, стоя на колеснице и держа плакат, рекламирующий продукцию главного торговца сырами: поскольку тот знал за муниципалитетом кое-какие темные делишки, он вертел чиновниками как хотел.

Большие тяжелые груди хлопали ее по животу, потому что повозку подбрасывало, да еще сын торговца сырами постоянно пытался вставить палки в колеса.

За колесницей торговца сырами ехала колесница торговца скобяным товаром, который не располагал такой политической поддержкой, как его соперник, и вынужден был довольствоваться большой парадной подстилкой, на которой пузатый орангутанг толкал на путь греха примерную девственницу. Прокат орангутанга стоил очень дорого и так и не дал желаемых результатов, поскольку девственница выдохлась минут через десять и перестала кричать, тогда как жена мэра, хотя и вся полиловела, но зато на ней повсюду было много клочковатых спутанных волос.

Следующей ехала колесница торговца младенцами, приводимая в действие реакторами в виде сосок. Хор младенцев скандировал старинную застольную песню.

Кортеж остановился поодаль, ведь кортежи никому особенно не интересны, и четвертая повозка, на которой расположились

торговцы гробами, потерпела аварию, — ее водитель умер на ходу, не успев даже исповедаться.

Вольф, наполовину оглушенный фанфарами, увидел, что официальные лица устремились навстречу ему в сопровождении стражи, вооруженной большими выкидными ружьями. Он встретил их как полагалось, в то время как плотники за несколько минут соорудили маленькую деревянную эстраду, на которой заняли свои места мэр и подмэрья, мэриха же продолжала елозить по своей площадке. Торговец сырами тоже занял приличествующее ему место.

Раздался чудовищный грохот барабанов, из-за чего флейтист сошел с ума и, зажав уши обеими руками, ракетой взмыл в воздух; все проследили глазами его траекторию и пригнулись, когда он пронесся вниз головой и рухнул на землю, как улитка-самоубийца.

Все перевели дух, и мэр встал. Оркестр смолк. Густое марево повисло в воздухе от дыма праздничных наркотических сигарет; пахло толпой, со всеми разнообразными запахами ног, которые включает это понятие. Некоторые родители поддались на просьбы своих детей и подняли их на плечи, но держали при этом вверх тормашками, чтобы не поощрять ротозейство.

Мэр кашлянул в свой слуховой рожок и взял слово за горло, чтобы удушить его. Но оно выстояло.

— Господа и дорогие однокорытники! Смею вас заверить: мой дух суров и бодр, исполненный огня, не уступает он торжественности дня, поскольку вы не хуже меня знаете, что я, как только к власти пришла подлинная, независимая демократия, то грязные политические интриги и подлая демагогия, которые запятнали подозрением последние десятилетия, ох, черт, неразборчиво написано, проклятая бумага, ни хрена не поймешь, текст весь стерся... Я хочу добавить, что если расскажу вам все, что знаю, и особенно, кстати, что касается этой лживой гадины, которая претендует на звание торговца сырами...

Толпа принялась бешено аплодировать. Торговец сырами встал, раскланялся и в свою очередь принялся читать черновик доноса, адресованного муниципальному совету, в котором доказательно излагался список грехов и вин (причем сухих, лучшего качества) главного городского работорговца.

Оркестр вновь завыл, чтобы заглушить его голос, а жена мэра, желая спасти мужа, активизировала свою возню на колеснице.

Вольф бездумно улыбался. Он не слышал ни слова. Ему было не до того.

— Со злобной радостью, — продолжал мэр, — мы приветствуем сегодня великолепное решение, пришедшее в голову нашему при-

существующему здесь однокорытнику, чтобы полностью избавиться от трудностей, происходящих от перепродукции металла для производства машин. И поскольку я не могу говорить долго, потому что лично я, согласно обычаю, решительно не знаю, о чем, собственно, идет речь, и так как являюсь официальным лицом, я передаю слово оркестру, который исполнит отрывок из своего репертуара.

Тамбурмажор ловко наподдал ногой себе в зад, сделав в воздухе «полубочку» и «мертвую петлю», и в ту же секунду, как он коснулся земли, труба выпустила низкую ноту, которая принялась грациозно порхать в воздухе. И тотчас же музыканты начали наяривать, и все узнали знакомый мотив. Поскольку толпа оказалась чересчур ретивой, стража произвела небольшую чистку, в результате которой одни умили пыл, тогда как тела других были разорваны в клочья и развеяны по ветру.

В несколько мгновений Квадрат опустел. Остались только Вольф, труп флейтиста, несколько замусоленных бумажек и кусок разрушенной эстрады. Спины стражников удалялись, чеканя шаг, и вскоре исчезли.

Вольф вздохнул. Праздник был окончен. За стеной Квадрата еще угадывался шум оркестра, который удалялся, поднимаясь и опадая, как вода в гейзере. Мотор сопровождал музыку своим непрерывным урчанием.

Вольф увидел вдали Лазурита, который направлялся в его сторону. С ним была Фолавриль. Она отделилась от Сапфира раньше, чем тот подошел к Вольфу. Она низко наклоняла голову и в своем черно-желтом платье напоминала белокурую саламандру.

ГЛАВА XIII

И снова Вольф и Лазурит остались одни, как в тот вечер, когда впервые был запущен мотор. Вольф был в красных кожаных сапогах, оттороченных шкурой неубитого медведя. Он переоделся в стеганный комбинезон и натянул специальный шлем, оставлявший открытыми глаза и лоб. Он был готов к отправке. Лазурит взглянул на него и слегка побледнел. Вольф опустил глаза.

— Все готово? — спросил он, не поднимая головы.

— Все, — ответил Лазурит. — Кофр пуст, элементы на месте.

— Уже пора?

— Минут через пять-шесть. Вы выдержите?

Вольф был тронут его ворчливым тоном.

— Не бойся, — сказал он, — выдержи.

— Вы надеетесь на что-нибудь? — спросил Лазурит.

— Очень. Впервые за долгое время. Но я, конечно, не уверен. Скорее всего будет то же, что и раньше.

— А что было раньше?

— Ничего, — ответил Вольф. — Когда все кончалось, не оставалось ничего. Только разочарование. Ну и что? Нельзя же так и прожить всю жизнь, не отрываясь от земли.

Лазурит судорожно сглотнул.

— У всех свои проблемы, — сказал он. И ему снова вспомнился тот человек, молча смотревший, как он целует Фолавриль.

— Конечно, — сказал Вольф.

Он поднял глаза.

— На этот раз, кажется, мне удастся вырваться. Там, наверное, все совсем другое.

— Это довольно опасно. Будьте осторожны. Скорей всего, там сильный ветер.

— Прорвемся, — сказал Вольф. Вне всякой связи с предыдущим он добавил: — Ты любишь Фолавриль, она тебя. Ничто не может вам помешать.

— Почти ничто... — ответил Лазурит, как фальшивое эхо.

— Итак, начнем? — сказал Вольф.

Ему хотелось какого-нибудь сильного чувства, порыва. Это бы прочистило мозги. Он открыл дверь кабины, шагнул внутрь и схватился за поручни. Он ощущал под пальцами вибрацию мотора. словно паука в чужой паутине, подумалось ему.

В этот самый момент он начал вспоминать. Он не пытался бороться со своими воспоминаниями и обретал силы, погружаясь в прошлое. Хрустящая изморозь покрыла его кожаные доспехи сверкающей коркой, треснувшей на локтях и коленях.

Лоскутья прошлого теснились вокруг него, то тихие и юркие, как серые мыши, то сверкающие, полные жизни и солнца, а иные струились прохладным, неспешным ручьем — невесомые, как морская пена.

Некоторые были неподвижны и отчетливы — подделки, возникшие из его детских фотографий и памяти других людей, — невозможно было ощутить их вновь, так давно выветрилось из них все живое. Другие воскресали нетронутыми, словно являлись на его зов: воспоминания о садах, траве и воздухе, о тысячах оттенков зеленого и желтого, об изумрудной зелени газонов и густой, почти черной, зелени крон.

Вольф весь дрожал в мертвенно-бледном свете и вспоминал еще и еще. Прошлое вспыхивало перед ним в волнообразных пульсациях памяти.

Справа и слева от него поток тяжелой смолистой жидкости заливал стенки кабины.

— Пора, — сказал Лазурит.

Вольф кивнул головой и машинально занял нужную позицию. Серая стальная дверь захлопнулась за ним. В клетке стало дуть. Сначала ветер был слабым, потом стал постепенно твердеть, как масло на морозе. Не предупреждая, он то и дело менял направление, и когда он хлестал в лицо, Вольф изо всех сил прижимался к стене и чувствовал на щеках холод тусклой стали. Чтобы не выбиться из сил, Вольф глубоко и ровно дышал. Кровь размеренно стучала в его висках.

Он еще не осмеливался взглянуть вниз. Постепенно он наберется сил, а пока он принуждал себя не открывать глаз, когда от усталости опускал голову. От бедер Вольфа поднимались два смазанных жиром кожаных ремешка, которые заканчивались крючками; он прицепил эти крючки к двум кольцам, чтобы таким образом руки могли отдыхать.

Становилось трудно дышать, начали болеть колени. Воздух делался все более разреженным; Вольф почувствовал, что пульс участился и в легких как будто образовалась пустота. Подняв глаза и посмотрев направо, он заметил на стене темную блестящую дорожку, похожую на потек глазури на боку керамического кувшина. Вольф остановился, пристегнул ремешки и осторожно попробовал пальцами ее поверхность. Она была липкой. Вольф поднял руку и посмотрел на свет. На конце его указательного пальца повисла ярко-красная капля. Она приняла форму груши и медленно и тягуче, как густое масло, оторвалась... Почему-то это было очень противно. Преодолевая отвращение, он постарался продержаться еще немного, пока дрожь в ногах и усталость не одержат верх.

Превозмогая себя, он выдержал сколько смог и пристегнул ремешки. На этот раз он не стал бороться с собой — и бессильно обвис на опоясывающих его кожаных лентах. Он чувствовал себя раздавленным собственным весом. Прямо у него под носом, в углу кабины, красная жидкость все стекала, медленно и лениво; ее движение было почти неощутимо — так, отсвет, тень, просто след на стене. Лишь время от времени можно было заметить, что извилистая дорожка на стальной поверхности становится длиннее.

Вольф подождал еще. Сердце билось ровнее, мышцы стали привыкать к учащенному ритму дыхания. Он был один в клетке, и никто не мог подсказать ему, движется он или стоит на месте.

Он сосчитал до ста. Хотя руки были в перчатках, он чувствовал, что под пальцами — иней. Стало очень светло. Так светло, что

глаза начали слезиться. Освободив одну руку, Вольф опустил защитные очки на шлеме. Он перестал моргать, отпустило щипавшие веки. Все стало четко, как в аквариуме. Вольф робко бросил взгляд вниз, и у него перехватило дыхание: земля с головокружительной скоростью уходила из-под ног. Он был в центре гигантского веретена, один конец которого терялся в небе, а второй — глубоко под землей.

Вольф закрыл глаза, чтобы не стошнило. На ощупь он отстегнул крючки и прислонился к стене. Расставив ноги и найдя наиболее устойчивое положение, он попробовал приоткрыть глаза. Он сжал кулаки так, что раздавил бы камень. Вокруг него неслись неведомые пространства, неясные следы сверкающей неосязаемой пыли, и в бесконечности трепетало пронизанное отсветами поддельное небо. Лицо Вольфа наполовину заиндевело. Ноги дрожали, но уже не из-за вибрации мотора: они дрожали сами по себе. Постепенно Вольф пришел в себя и сосредоточился.

ГЛАВА XIV

Сначала они шли дикими ордами, как лавины запахов, света и звуков.

Было дерево шариконосец с маленькими шершавыми плодами — их высушивали и жесткую колючку бросали за воротник. Некоторые называют эти деревья платанами, но такое имя ничего не меняет в их свойствах.

Тропические растения с коричневыми толстыми крючьями, похожими на шипы сражающихся насекомых.

Короткие волосы девочки из девятого класса и коричневый передник мальчика, к которому Вольф ее ревновал.

Большие красные горшки с геранями вдоль перрона, по вине сумерек и орфографической путаницы неотличимые от диких гуронов.

Охота на земляных червей крутящейся длинной ручкой от метлы.

И огромная комната, где потолок похож на сферический купол, если выглядываешь из-под перины, вздувшейся, как живот великана, пожирающего овец.

И тоска осыпающихся каштанов, падающих из года в год, конских каштанов, спрятавшихся за желтыми листьями; их мягкие скорлупки с неколками колючками служили для игр: из них делали маски, похожие на гномов, нанизывая из них бусы в три-четыре ряда, как при игре в солдатики; и еще были сгнившие

каштаны, сочившиеся отвратительным соком, и каштаны, которыми швыряли в окна.

А это было в тот год, когда, вернувшись с каникул, он увидел, что мыши беззастенчиво сгрызли в шкафу маленькие свечки, которыми украшались пасхальные пряники; и какая радость, что в соседнем ящике уцелел пакет с макарончиками в виде букв: за вечерним бульоном он выкладывал из них свое имя.

Где были ясные картины прошлого? К ранним воспоминаниям всегда примешивались более поздние и меняли их до неузнаваемости. Да и нет никаких воспоминаний, это другая жизнь, переживаемая другим человеком, который на половину и сам только воспоминание. Время не повернуть вспять, разве только жить, закрыв глаза и заткнув уши.

Вольф углублялся все дальше, и перед ним разворачивалась звучащая четырехмерная карта его мнимого прошлого. Погружение шло очень быстро, стенка кабины вдруг исчезла. Отступив крючки, которые до сих пор удерживали его, Вольф шагнул вперед.

ГЛАВА XV

Неяркое осеннее солнце светило сквозь желтую листву каштанов.

Перед Вольфом открылась аллея, которая шла слегка под уклон. В центре аллеи земля была сухой и пыльной, а по бокам темнели тонкие полоски грязи — дань прошедшему ливню.

Между шуршащих листьев отливали красным деревом каштаны, их цвет плавно переходил от нежно-бежевого к бледно-зеленому.

С обеих сторон аллеи заросшие лужайки подставляли свою неровную поверхность ласкающим лучам солнца. Из пожелтевшей травы кое-где торчали чертополохи и засидевшиеся в декушках многолетние растения.

Аллея упиралась в какие-то развалины, окруженные невысоким колючим кустарником. За развалинами Вольф заметил большую каменную скамью и на ней тень старика в льняной рубаше. Подойдя поближе, он увидел: то, что он принимал за одежду, было на самом деле бородой, длинной серебристой бородой, пять или шесть раз обернутой вокруг тела.

Рядом с ним на скамье была прикреплена начищенная до блеска медная табличка, на которой было выгравировано чернью: «Господин Перл». Вольф подошел еще ближе и увидел, что лицо

старика было морщинистым, как наполовину сдутый красный воздушный шарик. У г-на Перла был кривой нос с изрядными ноздрями, из которых угрюмо торчали волосы. Кустистые брови нависали над сверкающими глазками и круглыми блестящими яблочками скул. Его остриженные под ежик волосы напоминали чесалку для хлопка. Узловатые старческие руки с большими квадратными ногтями лежали на коленях. Костюмом ему служили лишь кальсоны от старинного купального костюма в зелено-белую полоску и сандалии, слишком широкие для его мозолистых ног.

— Меня зовут Вольф, — сказал Вольф.

Он показал на медную табличку.

— Это ваше имя?

Старик утвердительно кивнул.

— Да, господин Перл — это я. Леон-Абель Перл. А теперь, господин Вольф, ваша очередь. Поглядим, что вы можете рассказать.

— Не знаю, — сказал Вольф.

Старик слегка удивился, но принял вид человека, задавшего риторический вопрос и не ожидающего на него какого-либо ответа.

— Конечно, вы не знаете, само собой разумеется...

Продолжая что-то бормотать себе под нос, он вынул откуда-то кипу листов бумаги и принялся их изучать.

— Посмотрим, посмотрим... — бормотал он. — Господин Вольф... родился... так, инженер... прекрасно, все это прекрасно. Итак, господин Вольф, можете ли вы мне подробно рассказать о первых проявлениях вашего неконформизма?

Этот старик показался Вольфу немного странным.

— Я не понимаю, почему это может вас интересовать.

Старик зацокал языком:

— Ну уж, я думаю, вас учили отвечать по-другому.

В его тоне явно чувствовалось превосходство. Вольф пожал плечами.

— Я правда не понимаю, почему вас это интересует. Начнем с того, что я никогда не протестовал. Я радовался, когда мне удавалось одержать верх, в противном случае я просто старался не замечать вещей, которые мне не подчинялись.

— Вы их замечали хотя бы потому, что хотели не замечать, — сказал старик. — И вы знали о них достаточно, поэтому и старались не замечать. Так что теперь попробуйте ответить прямо и не вдаваясь в пространные рассуждения. Итак, вы постоянно встречали противодействие?

— Послушайте, господин Перл, — сказал Вольф, — я не знаю ни кто вы, ни какое вы имеете право задавать мне такие вопросы. Но поскольку я приучен быть почтительным со старшими, я вам охотно отвечу в двух словах. Я всегда пытался быть беспристрастным в любых ситуациях; когда мне что-то противостояло, я никогда не мог против этого бороться: я понимал, что позиция соперника столь же правомерна, как и моя, и нет никакого смысла отдавать предпочтение той или иной. Вот и все.

— Это слишком схематично, — сказал старик. — У меня здесь записано, что вы бывали порой субъективны, и перед вами стояла проблема выбора. Вот тут у меня отмечена одна ситуация...

— Я играл в орлянку, — сказал Вольф.

— Фу! — сказал старик с отвращением. — Какая мерзость. Ну так что, может, вы мне скажете наконец, зачем вы сюда прибыли?

Вольф посмотрел направо, потом налево, перевел дыхание и решительно сказал:

— Чтобы поставить точку.

— Ну вот и хорошо, — сказал г-н Перл, — это как раз то, что я вам предлагаю, а вы мне вставляете палки в колеса.

— Вы очень непоследовательны, — сказал Вольф. — Я же не могу рассказать все разом неизвестно кому. У вас нет ни плана, ни метода. Вот уже десять минут вы меня допрашиваете, а не продвинулись ни на йоту. Я требую более четкой постановки вопросов.

Г-н Перл погладил свою бороду, пожевал челюстями и строго посмотрел на Вольфа.

— Да, я вижу, с вами не так-то просто справиться. То есть, вы считаете, что я спрашиваю вас как попало и без четкого плана?

— Это очевидно, — сказал Вольф.

— Представьте себе точильный камень. Вам известно, как он устроен?

— Я никогда специально не изучал точильные камни, — сказал Вольф.

— В точильном камне, — сказал г-н Перл, — есть абразивные частицы и наполнитель, скрепляющий их между собой. Наполнитель изнашивается быстрее, чем частицы, и они оказываются на поверхности. Конечно, основную работу производят кристаллы, но наполнитель не менее важен. Без него ничего бы не было, только куча ни на что не годных крепких и острых штук, разобщенных, как сборник цитат.

— Да, — сказал Вольф. — И что же?

— А вот что, — сказал г-н Перл, — у меня есть план, замечательный план, и я буду задавать вам четко сформулированные

вопросы, изощренные и каверзные, но имейте в виду, что соус, под которым вы будете подавать факты, для меня не менее важен, чем сами факты.

— Понял, — сказал Вольф. — Расскажите мне немного об этом плане.

ГЛАВА XVI

— Мой план очень прост. Мы располагаем двумя определяющими началами: вы европеец и католик. Из этого следует, что мы должны избрать следующий хронологический порядок:

- 1) Отношения с вашей семьей.
- 2) Учеба в школе и дальнейшее образование.
- 3) Первые религиозные опыты.
- 4) Отрочество, половое созревание, предполагаемая женитьба.
- 5) Деятельность в качестве члена общества.

6) Возможные метафизические проблемы, рожденные от более тесного соприкосновения с миром, которые можно включить в пункт 3, если, в отличие от большинства людей вашего типа, вы не прервали всякие отношения с религией после первого причастия.

Вольф подумал, все тщательно взвесил и сказал:

— Это подходящий план. Впрочем...

— Разумеется, — сказал г-н Перл. — Можно придерживаться какого-нибудь иного порядка или поменять пункты местами. Что касается меня, мне поручено задавать вопросы по первому пункту, и только по нему: отношения с вашей семьей.

— Тут нет вопросов, — сказал Вольф. — Родители все одинаковы.

Г-н Перл поднялся и принялся ходить взад-вперед. Его старенькие кальсоны обвисали на тощих коленях, как паруса во время штиля.

— Последний раз прошу вас: не ведите себя как ребенок. Все родители одинаковы! Да неужто! Значит, ваши не слишком вас стесняли, раз вы говорите такие глупости.

— У меня были хорошие родители, это так, но с плохими можно было меньше церемониться, и в конце концов это лучше.

— Нет, — сказал г-н Перл. — Уходит больше энергии, но в результате та же неразбериха. Очевидно, что, преодолев больше препятствий, кажется, что отдалился на большее расстояние. Это не так. Борьба — не значит продвигаться.

— Все это в прошлом, — сказал Вольф. — Я могу сесть?

— Так-так, — сказал г-н Перл. — Я вижу, вы решили вести себя нагло. Во всяком случае, раз мое трико столь вас веселит, представьте себе, что его могло и вовсе не быть.

Вольф помрачнел.

— Я не смеюсь, — осторожно сказал он.

— Вы можете сесть, — добавил г-н Перл.

— Спасибо, — сказал Вольф.

Невольно он проникся серьезностью г-на Перла. Он видел перед собой добродушное лицо старца, выделяющееся на фоне листьев, которые осень покрыла тонким налетом медной окалин. Один каштан упал, взрыл листья, и они зашуршали, как будто взлетела птица. Скорлупа и плод внутри нее приземлились с тихим шлепком.

Вольф собрал воедино свои воспоминания. Теперь он понял, что г-н Перл был прав, говоря, что планом можно и пренебречь. Образы разом нахлынули, беспорядочно, как номера лото из мешка. Вольф сообщил об этом г-ну Перлу:

— Все смешалось!

— Я разберусь, — сказал г-н Перл, — Помните: наполнитель и абразив, и форму абразиву придает наполнитель.

Вольф сел и закрыл лицо руками. Потом заговорил тусклым, невыразительным и монотонным голосом.

— Был большой дом. Белый дом. Я не помню самого начала, только вспоминаю лица прислуги. Утром я часто приходил в кровать к родителям, иногда при мне они целовались в губы, и это было неприятно.

— Как они относились к вам?

— Меня никогда не били, — сказал Вольф. — Их невозможно было рассердить. Надо было делать это нарочно. Надо было притворяться. Каждый раз, когда мне хотелось сорваться, я придирался ко всяким мелочам, а иногда и вовсе не мог найти никакого повода для раздражения.

Он перевел дыхание. Г-н Перл молчал. Его лицо сморщилось от напряженного внимания.

— Они всегда за меня боялись, — сказал Вольф. — Мне не разрешали высовываться из окна и одному переходить улицу; стоило чуть подуть ветерку, и меня уже кутали в шубку из козленка, зимой и летом я не снимал теплой жилетки. Она была из желтоватой шерсти, которую прядут в деревнях. Мое здоровье было пунктиком родителей. До пятнадцати лет мне не давали пить ничего, кроме кипяченой воды. Но вот в чем главная подлость: сами-то они не очень береглись и чем больше пренебрегали собственным здоровьем, тем сильнее пеклись обо мне. Волей-неволей я сам стал за себя бояться и не

без удовольствия потел в двенадцати шерстяных шарфах. Родители взяли на себя задачу оберегать меня от всего, с чем придется столкнуться в жизни. В душе я чувствовал некоторую неловкость, зато мое изнеженное тело исподтишка блаженствовало.

Он усмехнулся.

— Однажды я встретил на улице молодых людей, которые прогуливались, перекинув через руку легкие плащи, я же в это время задыхался в зимнем пальто. Вернувшись домой, я посмотрел на себя в зеркало и увидел заторможенного увальня в шляпе, закутанного, как куколка бабочки. Через два дня, когда лил сильный дождь, я вышел на улицу без куртки. Я долго возился у дверей, чтобы мать могла меня остановить, но все-таки вышел, потому что дал себе слово это сделать. И хотя боязнь простудиться подпортила мне радость победы, зато мне уже не нужно было стыдиться своего малодушия.

Г-н Перл кашлянул.

— Гм-гм, — сказал он. — Все это очень интересно.

— Вы меня именно об этом спрашивали? — Вольф внезапно опомнился.

— Это почти то, что надо, — сказал г-н Перл. — Вот видите, это так легко, стоит только начать. Что произошло после вашего возвращения?

— Был ужасный скандал. Чего и следовало ожидать.

Вольф поднял глаза и задумался.

— Многое теперь мне видится яснее, — сказал он. — Желание победить слабость, ощущение того, что этой слабостью я обязан родителям, стремление моего тела ей поддаться. Вот видите, как забавно: моя борьба с принятым порядком вещей началась с тщеславия. Не взгляни я тогда в зеркало... Карикатурность моего отражения открыла мне глаза. И от очевидного абсурда некоторых семейных радостей меня начало просто тошнить. Представьте себе, на пикники они приносили с собой охапки травы, чтобы не подхватить блох. Если бы мы были одни, как в пустыне, может быть, мне бы это понравилось... салат оливье, устрицедавки, моталки для макарон... Но вот кто-то проходил мимо, и все эти унижительные формы семейной цивилизации, вилочки, тарелочки из алюминия, — от всего этого стыд заливал меня до ушей, я краснел как рак, бросал тарелку, делал вид, что я тут ни при чем, или садился за руль пустой машины — так я сразу выглядел мужественнее. В это время мое другое изнеженное «я» шептало: «Еще остался салат оливье, еще осталась ветчина», — и мне было стыдно за себя и своих родителей, я ненавидел их.

— Но при этом вы их очень любили, — сказал г-н Перл.

— Конечно, — сказал Вольф. — Тем не менее вид хозяйственной корзины со сломанной ручкой, из которой торчат термос и батоны хлеба, и сейчас приводит меня в такое бешенство, что я готов убить...

— Другими словами, вас беспокоило, как это выглядит со стороны.

— С того момента, — сказал Вольф, — моя внешняя жизнь полностью зависела от того, как это выглядит со стороны. Это меня и спасло.

— Вы считаете себя спасенным? — сказал г-н Перл. — Короче говоря, вы упрекаете родителей в том, что они потакали вашему малодушию. По физической слабости вы склонны были этому малодушию поддаться, и в то же время находили это унижительным. Все вместе и привело вас к попыткам навести на жизнь недостающий глянец, к тому же вы все время наблюдали себя со стороны. Вашей жизнью управляли противоречивые требования, поэтому вас ожидало разочарование.

— И еще о чувствах, — добавил Вольф. — Я был перегружен чужими чувствами: меня слишком любили, а сам я себя не любил и приходил к естественному выводу о чужой глупости... а может быть, и лицемерии. И мало-помалу я перестраивал мир на свой лад: без шарфов и родителей. Этот мир был пустынным и сияющим, как полярный пейзаж, и я брел по нему, неустойчивый и могучий; у меня был, конечно, римский профиль и орлиный взгляд — немигающий и непреклонный. Закрыв дверь, я часами вырабатывал такой взгляд, так что выступали слезы, и я не колеблясь орошал ими мой алтарь героизма; несокрушимый, бесстрашный и высокомерный, я жил полной жизнью...

Он весело засмеялся.

— Я ни на секунду не задумывался о том, что я всего лишь маленький толстый мальчик и что презрительная складка моего рта между толстыми щеками похожа на гримасу ребенка, которому хочется сделать пи-пи.

— Верно, — сказал г-н Перл, — мечта о героизме очень распространена у маленьких детей. Что ж, всего этого вполне достаточно, чтобы вас аттестовать.

— Смешно, — сказал Вольф. — Такая реакция на нежность близких, такая забота о мнении окружающих... Все это были шаги к одиночеству. Чем больше я боялся, чем больше я этого стыдился, тем больше я играл в независимого героя. Кто может быть более одиноким, чем герой?

— Кто может быть более одиноким, чем мертвый? — сказал г-н Перл как бы в пространство.

Вольф, казалось, не услышал этих слов. По крайней мере, он ничего не ответил.

— Итак, — сказал г-н Перл, — благодарю вас. Вам туда. — Он показал пальцем на поворот аллеи.

— До свидания, — сказал Вольф.

— Не думаю, — сказал г-н Перл. — Счастливо.

— Спасибо, — сказал Вольф.

Г-н Перл завернулся в свою бороду и удобно расположился на скамье, а Вольф направился в сторону поворота. Вопросы г-на Перла разбудили в нем безумный калейдоскоп воспоминаний: тысячи лиц, тысячи дней проплывали перед его глазами.

И внезапно — крошечная тьма.

ГЛАВА XVII

Лазурит дрожал от холода. Там, где он стоял, внезапно наступил черный ветренный вечер, и небо, затаив угрозу, воспользовалось темнотой и украдкой приблизилось к земле. Вольфа все еще не было, и Лазурит раздумывал, не пойти ли на поиски. Впрочем, Вольфу это вряд ли понравится. Стараясь согреться, Лазурит прижался к мотору, но мотор был едва теплым.

За несколько часов стены Квадрата заволокло туманом, и во тьме, где-то недалеко, мигали красные глаза дома. Вольф наверняка предупредил Лиль, что будет поздно, но все же Лазурит ожидал, что с минуты на минуту в темноте мелькнет огонек карманного фонарика. Поэтому внезапное появление Фолавриль застало его врасплох. Он увидел ее совсем рядом, и его бросило в жар.

Гибкая, как лиана, она дала себя обнять. Он погладил ее нежную шею, прижал к груди и, полузакрыв глаза, зашептал слова любви; но вдруг она почувствовала, что он судорожно сжался и словно окаменел.

Завороженный, он видел перед собой бледного человека, одетого в черное, — вот он, стоит рядом и смотрит на них. Рот его походил на темную черту, проведенную на лице, взгляд был отрешенным и далеким. У Лазурита перехватило дыхание. Он не мог допустить, чтобы кто-то подслушивал то, что он говорит Фолавриль. Он отодвинулся от нее, его скулы побелели.

— Что вам надо? — проговорил он. Не глядя, он почувствовал удивление девушки и повернулся к ней. Смушенная, растерянная полуулыбка. Но ни тени тревоги. Лазурит снова взглянул туда, где стоял человек: никого. Лазурита начало трясти, холод

жизни леденил ему сердце. Он стоял возле Фолавриль, подавленный, постаревший. Они молчали. Улыбка сползла с лица Фолавриль. Она обняла его за шею и бережно, как ребенка, гладила по голове.

В этот миг послышался глухой удар башмаков об землю и они увидели Вольфа. Он стоял на коленях, бессильно согнувшись, обхватив голову руками. На щеке застыло большое темное пятно, густое и липкое, словно клякса на небрежно написанном сочинении. Пальцы свело от боли.

Забыв о своем наваждении, Сапфир вглядывался в Вольфа, пытаясь разобрать следы иной тревоги. Вся ткань его защитного комбинезона была покрыта крохотными жемчужными капельками; бессильно, как труп, он скорчился у подножия Машины.

Фолавриль высвободилась из объятий Сапфира и подошла к Вольфу. Она взялась теплыми пальцами за его запястья и, не разнимая его рук, сжала их нежно и ласково. При этом она что-то приговаривала певучим обволакивающим голосом, просила Вольфа вернуться домой, в тепло, где над столом светит лампа и где его ждет Лиль; Сапфир наклонился над Вольфом и помог ему подняться.

Шаг за шагом они повели его сквозь темноту. Вольф шел с трудом, слегка подволакивая правую ногу и опираясь рукой на плечи Фолавриль. Сапфир поддерживал его с другой стороны.

Они шли в полном молчании. Взгляд Вольфа оставлял на кровавой траве быстро тускневший светящийся след, зловещий и холодный. Они дошли до дверей дома, и тяжелый занавес ночи закрылся за ними.

ГЛАВА XVIII

Лиль в легком пеньюаре сидела перед туалетным столиком и приводила в порядок ногти. Уже три минуты она отмачивала их в декальцинированном соке вьюнка, чтобы размягчить кожу вокруг каждого ногтя и привести луночку к виду месяца в первой его четверти. Она заботливо подготовила маленькую клеточку с выдвижным дном, в которой натачивали челюсти два специально тренированных жука, уничтожавшие заусенцы. Ободрив их несколькими тщательно подобранными выражениями, Лиль поставила клетку на ноготь большого пальца и потянула за шнурок. С довольным урчанием насекомые принялись за работу, одержимые духом соревнования. Под быстрыми укусами первого жука кожа превращалась в мелкую пыль, в то время как второй наводил

лоск и сглаживал неровности, оставленные его маленьким товарищем.

В дверь постучали. Вольф, вымытый и чисто выбритый, выглядел неплохо, хотя и был слегка бледен.

— Я могу поговорить с тобой, Лиль? — спросил он.

— Присаживайся, — сказала она, показывая на обитую атласом скамеечку.

— Я только не знаю, о чем.

— Это не важно. Мы обычно так редко разговариваем. Ты это хорошо придумал. Ну, что ты там увидел, в твоей Машине?

— Я пришел не за тем, чтобы разговаривать о ней, — возмутился Вольф.

— Не сомневаюсь, — сказала Лиль. — Но тем не менее тебе бы хотелось, чтобы я спросила.

— Я не могу рассказать. Это очень неприятно.

Лиль переставила клетку с большого пальца на указательный.

— Не принимай это так близко к сердцу, — посоветовала она, — ведь от тебя ничего не зависит.

— Как сказать, — возразил Вольф. — Когда жизнь проходит какой-нибудь крутой поворот, это не ее вина.

— Твоя Машина, это наверно опасно, — сказала Лиль.

— Неплохо иногда очутиться в опасной ситуации или даже в слегка безнадежной, если это не совсем нарочно, — а у меня это именно так.

— Зачем же не совсем нарочно? — спросила Лиль.

— Этого не «не совсем» как раз хватит, чтобы потом, когда станет страшно, сказать себе: «Ты сам этого хотел».

— Это ребячество, — сказала Лиль.

Клетка переместилась с указательного пальца на средний. Вольф посмотрел на жуков.

— Все, в чем нет ни запаха, ни цвета, ни музыки, — все это ребячество.

— А женщина? — спросила Лиль. — Жена?

— Женщина, естественно, нет: она соединяет в себе как минимум все три эти вещи.

Минуту они помолчали.

— Ты решил, видимо, наговорить мне ужасно заумных вещей, — сказала Лиль. — Я знаю способ тебя остановить, но сейчас я занимаюсь ногтями, а это дело хлопотное. Так что я предлагаю тебе взять денег и сходить с Лазуритом в город поразвлечься.

— Когда видишь все изнутри, — сказал Вольф, — ко многому как-то пропадает интерес.

— Ты безнадежный пессимист, — сказала Лиль. — Забавно, что с таким настроением ты продолжаешь заниматься своим делом. Ты, однако, еще не все перепробовал.

— Лиль... — сказал Вольф.

Она была такая нежная и теплая в своем голубом пеньюаре. Она пахла душистым мылом и духами, разогретыми ее телом. Он поцеловал Лиль в шею.

— Но с вами-то, мадам, я надеюсь, все перепробовал? — поддразнил он ее.

— Абсолютно все, — ответила Лиль, — и надеюсь, еще не раз попробуешь. Но теперь ты мне мешаешь, ты щекочешь меня и я попорчу себе ногти. Сейчас лучше иди валять дурака со своим помощником. Чтоб я тебя не видела до вечера... И можешь ничего мне не рассказывать. Только никакой Машины сегодня, Вольф, поживи хоть день нормально, хватит переливать из пустого в порожнее.

— Сегодня мне не нужно никакой Машины, — сказал Вольф. — И еще дня три я о ней даже не вспомню. Но почему ты хочешь, чтоб я пошел без тебя?

— Ты и сам не так уж любишь ходить со мной, — сказала Лиль. — Кроме того, сегодня мне есть чем заняться, так что лучше иди без меня. Возьми с собой Лазурита. А уж Фолавриль оставьте мне, ладно? А то ты под этим предлогом уйдешь вместе с ней, а Лазурита пошлешь возиться с вашим проклятым мотором.

— Ты глупая... и коварная, — сказал Вольф.

Он встал и поцеловал ту грудь Лиль, которая была предназначена для утренних поцелуев невзначай.

— Вали, — сказала Лиль, щелкнув пальцами свободной руки.

Вольф вышел, закрыл за собой дверь и поднялся на этаж выше. Он постучал в комнату Лазурита.

— Войдите, — сказал Лазурит, высовываясь из-под одеяла.

Вид у него был понурый.

— Ты грустишь? — спросил Вольф.

— Ох! Да, — вздохнул Лазурит.

— Вставай, — сказал Вольф. — Мы устраиваем мальчишник.

— А именно? — спросил Лазурит.

— Пойдем в город и будем валять дурака.

— То есть, я не беру с собой Фолавриль?

— Ни в коем случае, — сказал Вольф. — Кстати, где она?

— Она у себя, — сказал Лазурит. — Занимается ногтями. Фу!

Они спустились по лестнице. Проходя мимо своей комнаты, Вольф остановился.

ГЛАВА XIX

— Ты в неважном настроении, — констатировал он.

— Вы тоже, — сказал Лазурит.

— Надо привести себя в чувство, — сказал Вольф. — У меня есть специально предназначенный для этого глотвейн 1924 года. Он сможет нас утешить.

Он увлек Лазурита в столовую и открыл буфет. Там стояла бутылка глотвейна, уже наполовину пустая.

— Нам хватит, — сказал Вольф. — Вздвогнем?

— Да, — сказал Лазурит. — Как настоящие мужчины.

— Мы и есть настоящие мужчины, — сказал Вольф, чтобы укрепить свою решимость.

— Жахнем, — сказал Лазурит в то время, как Вольф пил.

— Жахнем винца — и никаких гвоздей. И да здравствуют новообращенные члены нашего Общества. Передайте бутылку, а то мне не достанется. — Вольф вытер губы тыльной стороной ладони.

— Ты что-то слишком нервничаешь, — сказал он.

— Буль-буль, — ответил Лазурит. И добавил: — Я ужасный притворщик.

Пустая бутылка, осознав свою совершенную бесполезность, сжалась в комочек и исчезла со стола со звуком «дзиннь».

— Пошли, — сказал Вольф.

Они ушли, печатая шаги при помощи печатного пряника.

Это их развлекло.

Слева от них появилась, а потом исчезла Машина.

Они пересекли Квадрат.

Прошли через отверстие в стене.

Вышли на дорогу.

— Что будем делать? — спросил Лазурит.

— Пойдем к девочкам.

— Отлично, — сказал Лазурит.

— Как это отлично? — возмутился Вольф. — Это я должен был сказать. Ты-то холост.

— Вот именно. Я имею право развлекаться как хочу.

— Да, — согласился Вольф, — но ведь ты не расскажешь Фолавриль?

— Ни за что, — сказал Лазурит.

— Она больше не захочет тебя знать?

— Посмотрим, — лицемерно сказал Лазурит.

— Может, я расскажу ей за тебя? — не менее лицемерно предложил Вольф.

— Лучше не стоит, — признался Лазурит. — Но что бы там ни было, я имею право, честное слово.

— Вот именно, — сказал Вольф.

— С ней, — сказал Лазурит, — у меня ничего не получается. Я никогда не могу остаться с ней наедине. Как только я перехожу к делу, словом, вкладываю всю душу, появляется человек...

Он умолк.

— Я, наверное, спятил. Это все выглядит как-то по-идиотски... Ладно, я ничего не говорил.

— Появляется человек? — повторил Вольф.

— Вот и все. Появляется человек, и я больше ничего не могу.

— Что же он делает?

— Смотрит, — ответил Лазурит.

— На что?

— На то, что я делаю.

— Но это скорей ему должно быть неудобно, — неуверенно сказал Вольф.

— Нет, — сказал Лазурит, — потому что из-за него я ничего такого не могу сделать.

— Ну и шуточки, — сказал Вольф. — Как ты до этого дошел? Не проще ли сказать Фолавриль, что ты больше не хочешь ее?

— Но я же хочу! — простонал Лазурит. — Я ужасно хочу!

Город приблизился к ним. Появились маленькие дома-зародыши, потом почти взрослые полудомики, уже частично проросшие, хотя окна их еще были наполовину под землей, и над всеми витала дымка разнообразных цветов и запахов. Вольф и Лазурит двинулись по центральной улице и повернули к кварталу любви. Миновав золотую решетку, они очутились в шикарном месте. Фасады домов были вымощены бирюзовой розовой лавой. Дорогу покрывала густая, толстая шкура лимонно-желтого цвета. Над улицами нависали купола из тонкого хрусталя или узорного стекла, прозрачные и розоватые. Светильники с душистым газом освещали номера домов, а на цветном экране можно было наблюдать деятельность их обитательниц в едва освещенных, обитых черным бархатом будуарах.

Музыка, очень тихая, с легким запахом серы, продирала по позвоночнику, особенно затрагивая шесть последних позвонков. Девушки, которые не были заняты, стояли у дверей в хрустальных нишах, омываемые потоком розовой воды, — умиротворенные и нежные. Волны красного тумана над их головами то прятали, то приоткрывали причудливые рисунки на тонком стекле куполов.

На улице было несколько мужчин, слегка хмельных, которые шли куда-то нетвердым шагом. Другие спали прямо на до-

роге, набираясь сил. Бортик тротуара под лимонной шкурой был из пружинистого мха, отзывчивого к ласке; и дома омывали ручейки красного пара, струясь по желобам из толстого стекла, через которые отчетливо было видно происходящее в ваннных комнатах.

По улицам взад-вперед ходили продавщицы перца и шпанских мушек — одеждой им служили гирлянды цветов в волосах. Они разносили небольшие металлические тарелочки с матовым отливом, на которых лежали уже готовые сэндвичи.

Вольф и Лазурит сели на тротуар. Мимо них прошла высокая, тонкая, смуглая продавщица, напевая на ходу медленный вальс. Она слегка задела бедром щеку Вольфа. Повеяло песком далеких островов. Вольф протянул руку и удержал девушку. Он погладил ее, следуя линиям ее упругого мускулистого тела. Она села между ними. Все трое принялись жевать сэндвичи с перцем. После четвертого воздух закачался вокруг них, и Вольф с комфортом разлегся в ручье. Продавщица растянулась рядом. Вольф лежал на спине, а она на животе, приподнимаясь время от времени на локтях, чтобы запихнуть Вольфу в рот новый сэндвич.

Лазурит поднялся, ища глазами продавщицу напитков. Она подошла, и все они выпили по стаканчику ананасовой настойки, горячей и пряной.

— Что будем делать? — сладострастно спросил Вольф.

— Здесь так хорошо, — сказал Лазурит, — но, наверное, в одном из этих красивых домиков еще лучше.

— Вам больше не хочется есть? — спросила продавщица перца.

— Или пить? — добавила ее подруга.

— А вы не хотите пойти с нами в один из этих домиков? — поинтересовался в ответ Вольф.

— Нет, — сказали продавщицы. — Мы более или менее девственны.

— Но трогать вас можно? — спросил Вольф.

— Да, — сказали продавщицы. — Потрогать, потискать, полизать языком, но ничего больше.

— Ну вот еще, — удивился Вольф, — стоит только войти во вкус — и уже все.

— У всех свои обязанности, — объяснила разносчица напитков. — Нам надо заниматься своей работой. А потом, это может не понравиться девочкам в домах.

Они упруго поднялись. Вольф сел и запустил дрожащую руку в шевелюру. Не вставая, он обнял ноги продавщицы перца и коснулся губами такого желанного тела. Потом он встал и потянул Лазурита за собой.

— Пошли, — сказал он. — Пусть себе работают.

Продавщицы ушли, помахав им на прощание.

— Отсчитаем пять домов, — сказал Лазурит, — и войдем.

— Согласен, — сказал Вольф. — Почему пять?

— Потому, что нас двое.

Он посчитал: три, четыре, пять. Пожалуйте.

Они подошли к маленькой агатовой двери, обрамленной сверкающей бронзой. На экране было видно, что все спали. Вольф толкнул дверь. В комнате горел бежевый свет, и на кровати, обитой кожей, лежали три девушки.

— Все в порядке, — сказал Вольф. — Разденемся, не надо их будить. Та, что в середине, будет нас разделять.

— Это прочистит нам мозги, — сказал обрадованный Лазурит.

Вольф сбросил одежду к своим ногам. Лазурит долго возился со шнурками и наконец тоже разделся. Оба оказались абсолютно голыми.

— А если та, что в середине, проснется?

— Это не наша забота, — сказал Лазурит. — Как-нибудь разберемся. Они должны знать, как себя вести в такой ситуации.

— Они мне нравятся, — сказал Вольф. — От них такой женский запах.

Он лег возле рыженькой, которая была поближе. Она была теплая спресонок и даже не открыла глаза. Внизу она проснулась, верх же продолжал спать, в то время как убаюканный Вольф вновь стал молодым. И никто не смотрел на Лазурита.

ГЛАВА XX

Придя в себя, Вольф потянулся и высвободился из объятий своей возлюбленной, которая уже заснула целиком. Он встал, поиграл мускулами и наклонился, чтобы разбудить ее. Она уцепилась за его шею, и он отнес ее в ванную, где лилась непрозрачная душистая вода. Вольф удобно уложил девушку в ванну и начал одеваться. Лазурит был уже готов и ждал его, между делом лаская двух остальных, которые не без удовольствия позволяли ему это делать. На прощанье девушки поцеловали их обоих и последовали за своей подругой.

Засунув руки в карманы, Вольф и Лазурит шагали по желтой земле и с жадностью вдыхали молочный воздух. Навстречу им брели другие мужчины, также довольные жизнью. Время от времени некоторые садились на землю, снимали ботинки и удоб-

но располагались на ковре, чтобы немного поспать, а затем продолжить свои игры. Некоторые проводили всю жизнь в квартале любви, питаясь перцем и ананасовой настойкой. Они становились худыми и жилистыми, глаза их горели, движения были плавными, а рассудок дремал.

На углу улицы Вольф и Лазурит столкнулись с двумя высокими моряками, которые вышли из голубого домика.

— Вы здешние? — спросил тот, что повыше. Высокий, мускулистый, с темными вьющимися волосами, он походил на римлянина.

— Да, — сказал Лазурит.

— Вы покажете нам, где тут играют? — спросил другой моряк, внешне ничем не замечательный.

— Во что? — спросил Вольф.

— В кровянку или в отворот, — сказал первый моряк.

— Квартал игр — там, — сказал Лазурит, показывая вперед. — Пойдем.

— Мы идем с вами, — хором сказали моряки. И они пошли, разговаривая на ходу.

— Когда вы высадились на берег? — спросил Лазурит.

— Два года назад.

— А как вас зовут?

— Меня зовут Карп, — сказал высокий, — а моего друга — Борзинг.

— И эти два года вы провели здесь? — спросил Лазурит.

— Да, — сказал Карп. — Здесь хорошо. Мы очень любим играть.

— В кровянку? — уточнил Вольф, который читал много морских рассказов.

— В кровянку и в отворот, — сказал Борзинг, который был немногословен.

— Пойдемте поиграем с нами, — предложил Карп.

— В кровянку? — спросил Лазурит.

— Да, — сказал Карп.

— Для нас вы слишком сильные соперники, — сказал Вольф.

— Это хорошая игра, — сказал Карп. — Проигравших нет. Все в большей или меньшей степени выигрывают, и чужим выигрышем пользуешься как своим.

— Я почти соблазнился, — сказал Вольф. — Придется поременить с возвращением. Все в жизни надо попробовать.

— К черту время! — сказал Борзинг. — Я хочу пить.

Он подозвал разносчицу напитков. Ананасовая настойка кипела у нее в серебряных чарках. Разносчица выпила вместе с ними, и они крепко поцеловали ее в губы.

Они все шагали по густой желтой шерсти, изредка над ними клубился туман, и, умиротворенные, они брели дальше живые вплоть до кончиков пальцев на ногах.

— А много ли вам приходилось плавать? — спросил Лазурит.

— Ах, моряк, ты слишком долго плавал, — хором спели матросы.

А Борзинг добавил:

— Вранье!

— Да, — сказал Карп. — В действительности мы не останавливались. То, что мы сказали долго-долго, это постольку-поскольку хотели-желали петь песню.

— Нам все-таки неясно, где именно вы были, — сказал Лазурит.

— Видели Пустые острова, — сказал Карп. — И были там три дня.

Вольф и Лазурит посмотрели на них с уважением.

— Ну и как там? — спросил Вольф.

— Пусто, — сказал Борзинг.

— Разрази меня гром! — воскликнул Лазурит.

Он ужасно побледнел.

— Не надо думать об этом, — сказал Карп. — Это все в прошлом. К тому же, тогда мы не очень понимали, в чем дело.

Он остановился.

— Все, — сказал он. — Пришли. Вы были правы, это именно здесь. За два года мы так и не смогли найти это место.

— А как же вы ориентируетесь в море?

— В море, — сказал Карп, — есть какое-то разнообразие. Не бывает двух одинаковых волн. А здесь все так похоже: дома и дома. Просто невозможно.

Он толкнул дверь, и дверь приняла этот довод. Внутри был большой зал, облицованный моющим кафелем. Игроки сидели в кожаных креслах, напротив них стояли привязанные голые люди, мужчины и женщины, — на выбор. У Карпа и Борзинга уже были трубки для кровянки, отмеченные их монограммами, и Лазурит тоже взял пару, себе и Вольфу, а также коробку с иглами.

Карп сел, поднес трубку ко рту и дунул. Его целью была девушка лет пятнадцати. Игла вонзилась ей в мякоть левой груди, большая капля крови выкатилась из раны и потекла по телу.

— Карп порочен, — сказал Борзинг. — Он целится в грудь.

— А вы? — спросил Лазурит.

— Во-первых, — сказал Борзинг, — я выбираю только мужчин. Женщин я люблю.

Карп метал уже третью иглу. Она вонзилась так близко к двум другим, что послышался тихий звон стали.

— Ты хочешь сыграть? — спросил Вольф у Лазурита.

— Почему бы и нет, — сказал тот.

— Мне, например, вовсе не хочется.

— А если в старушку? — предложил Лазурит. — В старушку, это ведь не страшно. Куда-нибудь под глаз.

— Нет, — сказал Вольф. — Не хочу. Что-то не тянет.

Борзинг выбрал себе мишень: парня, истыканного стальными стрелами, который безразлично смотрел себе под ноги. Моряк набрал побольше воздуха и дунул изо всех сил. Стрела вошла в тело и исчезла в паху. Парень подскочил от боли. Подошел охранник.

— Вы стреляете чересчур сильно, — сказал он Борзингу. — Она вошла так глубоко, что теперь ее не вынешь.

Он достал из кармана пинцет из хромированной стали, нагнулся и осторожно порылся в плоти. Блестящая красная иголка упала на пол.

Лазурит колебался.

— Мне очень хочется попробовать, — сказал он Вольфу. — Но я не уверен, что получу такое же удовольствие, как они.

Карп уже метнул свои десять иголок. Руки у него дрожали, он судорожно сглатывал слюну. Глаза закатились так, что виднелись только белки. Он бессильно откинулся в кресле, с ним было что-то вроде судорог.

Лазурит крутил рукоятку, чтобы поменять мишень. Внезапно он замер. Перед ним с грустным видом стоял одетый в темное человек и смотрел на него. Лазурит провел рукой по векам.

— Вольф, — простонал он, — вы видите его?

— Кого?

— Человека напротив меня.

Вольф посмотрел. Ему было скучно. Хотелось уйти.

— Тебе показалось.

Рядом с ними раздался какой-то шум. Это Борзинг опять выпалил слишком сильно, и в наказание получил пятьдесят иголок в лицо. Оно превратилось в бесформенное красное месиво, и матрос громко стонал, пока два охранника уводили его. Лазурит, смущенный этим зрелищем, отвел глаза. Он посмотрел перед собой. Мишени не было. Тогда он встал.

— Я иду с вами, — пробормотал он, обернувшись к Вольфу. Они вышли. От недавней эйфории не осталось и следа.

— Зачем мы только встретили этих моряков? — сказал Лазурит.

Вольф вздохнул.

— Вокруг столько воды, — сказал он. — И так мало остро-
вов.

Они быстрым шагом удалялись от квартала игр, и вскоре перед ними выросла черная решетка городской стены. Преодолев это препятствие, они оказались во тьме, сотканной из сумрачных нитей; до дому был еще час ходьбы.

ГЛАВА XXI

Не разбирая дороги, они брели ребро в ребро, словно желали породить Еву. Лазурит слегка волочил ногу, и его комбинезон из шелка-сырца обвис, как на вешалке. Вольф шел, опустив голову и глядя под ноги. Вдруг он поднял голову:

— А может, пройдем через пещеры?

— Да, — сказал Лазурит, — а то здесь слишком много народу.

И действительно, уже третий раз за последние десять минут они наталкивались на какого-то помятого старика. Вольф показал, что нужно повернуть налево, и они вошли в первый же дом. Это был обычный пригородный домишко, едва проклюнувшийся из земли приблизительно на один этаж.

По замшелой лестнице они спустились в подвал и вошли в большой коридор. Оттуда легко можно было попасть в пещеры. Для этого надо было только оглушить сторожа — дело плевое, поскольку у того остался всего один зуб.

За спиной сторожа виднелись узкая дверь в готической арке и новая лестница, вся сверкающая крохотными кристаллами. То тут, то там горели лампы, освещающая дорогу, и при каждом шаге под ногами поскрипывали блестящие гранулы. Лестница кончилась, подземелье стало шире и воздух тут был горячим и пульсирующим, как кровь в артерии.

Молча они прошли двести или триста метров. Местами в стене были провалы и ответвления от основного пути, и на каждом повороте цвет кристаллов менялся. Они были то темно-розовые, то ярко-зеленые, то опаловые с молочно-голубым и оранжевым отливом. Казалось, что коридор выложен кошачьими глазами. В других камнях мерцал нежный свет и билось маленькое опаловое сердце. Заблудиться здесь было довольно трудно, поскольку из города вела только одна дорога. Они иногда останавливались, чтобы полюбоваться игрой света в какой-нибудь из ниш. На перекрестках стояли белые каменные скамьи, где можно было присесть.

Вольф задумался о том, что Машина уже, наверно, заждалась его, и спрашивал себя, не пора ли вернуться.

— Там какая-то жидкость струится в кабине.

— Это то самое, что было у вас на лице? Такая черная и клейкая дрянь?

— Она почернела, когда я спустился. Там она была красной. Красной и клейкой, как загустевшая кровь.

— Но это была не кровь, — сказал Лазурит. — Может быть, дело в конденсации?

— Это значило бы подменить тайну словом. Возникает новая тайна, вот и все. С этого все начинают, заканчивают колдовством.

— Ну и что? Разве не колдовство вся ваша затея с клеткой? Что это, как не остатки древнего галльского суеверия?

— Какого суеверия?

— Вы, как все галлы, боитесь, что небо упадет вам на голову, и принимаете меры. Забиваетесь в свою скорлупу.

— Бог ты мой, — сказал Вольф, — как раз наоборот. Я хочу увидеть все как есть.

— Как может течь что-то красное, если там ничего нет? Конечно же, это конденсация. Но вас ведь тревожит что-то другое. Что вы там все-таки видели? Вы мне так ничего и не сказали, хотя я работал с вами с самого начала. Вам просто наплевать на...

Вольф не ответил. Лазурит некоторое время колебался, потом решил:

— В водопаде важна не вода, а то, что она падает.

Вольф поднял голову.

— Оттуда все видно так, как было на самом деле. Вот и все.

— И поэтому вы хотите туда вернуться, — сказал Лазурит, расцветая в саркастической улыбке.

— Это не желание, — сказал Вольф. — Это неизбежность.

— Ха! — хмыкнул Лазурит. — Смешно слушать.

— А почему у тебя такой идиотский вид, когда ты вместе с Фолавриль? — перешел в контратаку Вольф. — Может быть, расскажешь?

— Ни за что, — сказал Лазурит. — Мне нечего рассказывать, ничего особенного не происходит.

— Ты теперь успокоился, да? — сказал Вольф. — Поскольку только что сделал это с девушкой из квартала любви. Теперь ты думаешь, что с Фолавриль получится. Не тут-то было. Как только вы окажетесь вдвоем, к тебе опять явится этот тип.

— Нет, — сказал Лазурит. — После того, что произошло, нет.

— Но разве ты не видел его сейчас, когда мы играли в кро-
вянку? — спросил Вольф.

— Нет, — нагло солгал Лазурит.

— Ты лжешь, — сказал Вольф. И добавил: — Нагло лжешь.

— Мы скоро придем? — спросил Лазурит, чтобы перевести
разговор на другую тему.

— Еще добрых полчаса.

— Я хочу посмотреть на танцующего негра, — сказал Лазу-
рит.

— Это на следующем перекрестке, — сказал Вольф, — в двух
минутах ходу. Ты прав, это нам не повредит. Какая все-таки
идиотская игра — кровянка!

— В следующий раз сыграем в отворот.

ГЛАВА XXII

Вскоре, можно сказать, почти сразу, они пришли в то место, где можно было посмотреть на танцующего негра. Негры теперь больше не танцуют на улице, потому что слишком много зевак приходят на них поглазеть, и негры думают, что над ними смеются. Ведь негры очень чувствительны, и они имеют на это право. В конце концов, белый цвет кожи — это всего лишь отсутствие пигмента, а не какое-нибудь особое достоинство, и непонятно, почему люди, которые изобрели порох, считают себя выше всех в мире и полагают, что могут вмешиваться в столь серьезные вещи, как музыка и танец. Вот как получилось, что негр выбрал именно это место, чтобы ему никто не мешал: пещера охранялась, и сначала нужно было отделаться от сторожа; совершивший сие получал в глазах негра что-то вроде неписаного пропуска. Ведь если человек настолько хотел видеть негра, что решился убрать сторожа, значит, он имеет на то право: он доказал, что начисто лишен предрассудков.

По сути дела, негр неплохо устроился: сверху по специальной трубе ему поступали настоящее солнце и свежий воздух. Он расположился в ответвлении из оранжевых хромированных кристаллов: место было довольно просторное и с высоким потолком; там росли тропические травы, колибри и другие необходимые пряные приправы. Негр располагал усовершенствованной музыкальной машиной. Утром он по частям разучивал танцы, которые полностью и во всех деталях исполнял вечером.

Когда появились Вольф и Лазурит, он как раз начал танец змеи, в котором двигались только ноги, от бедер до кончиков

пальцев, — все остальное оставалось неподвижным. Негр вежливо подождал, когда они подойдут ближе, и начал. Его музыкальная машина сопровождала танец потрясающим аккомпанементом; среди инструментов можно было узнать пароходную сирену, заменившую при записи саксофон-баритон.

Вольф и Лазурит молча смотрели на негра. Тот был необыкновенно ловок и выгибал колени примерно пятнадцатью различными способами, что немало даже для негра. Это зрелище постепенно стирало из памяти Машину, муниципальный совет, Фолавриль и игру в кровянку.

— Я не жалею, что мы пошли через пещеры, — сказал Лазурит.

— Это точно, — ответил Вольф. — К тому же на улице сейчас ночь, а у него здесь еще солнце.

— Надо вернуться сюда и жить вместе с ним, — предложил Лазурит.

— А работа? — неуверенно сказал Вольф.

— Ах, работа! Ну да, работа, конечно! — воскликнул Лазурит. — Разумеется, вы хотите вернуться в вашу проклятую клетку. Работа — это хороший предлог. А я вот хочу проверить, вернется ли тот человек.

— Цыц, — сказал Вольф. — Смотри на негра, а меня оставь в покое. Тем самым вы избавитесь от лишних мыслей.

— Естественно, — сказал Лазурит. — Но все-таки у меня сохранились остатки профессиональной этики.

— Иди ты в задницу со своей профессиональной этикой! — сказал Вольф.

Негр широко улыбнулся им и остановился. Танец змеи был окончен. На лице негра блестели капли пота, он обтерся клетчатым носовым платком немалых размеров и без промедления приступил к танцу страуса. Он ни разу не сбился и поминутно придумывал новые ритмы, безостановочно выбивая чечетку.

Негр закончил второй танец и опять широко улыбнулся.

— Вы здесь уже два часа, — честно сказал он. Вольф посмотрел на часы — негр сказал правду.

— Не обижайтесь на нас. Мы были зачарованы.

— На это и рассчитано, — согласился негр.

Но Вольф как-то почувствовал — когда негры обижаются, это сразу чувствуется, — что они здесь уже слишком долго. Со вздохом сожаления они откланялись.

— До свидания, — сказал негр.

На прощание он перешел на шаг хромого льва. Перед тем, как выйти на основную дорогу, они обернулись в последний

раз, в тот самый момент, когда негр изображал антилопу, несущуюся галопом. Потом они повернули, — и их давно успели позабыть.

— Черт! — сказал Вольф. — Как жаль, что нельзя остаться еще!

— Мы и так уже опаздываем, — сказал Лазурит, нисколько при этом не торопясь.

— Сплошное расстройство, — сказал Вольф. — Потому что все ненадолго.

— Чувствуешь себя обманутым.

— Но даже если бы это продолжалось дольше, — сказал Вольф, — все равно когда-нибудь наступил бы конец.

— Дольше никогда не бывает, — сказал Лазурит.

— Нет, — сказал Вольф.

— Да, — сказал Лазурит.

Вольф понял, что они запутались, и решил сменить тему.

— Нам предстоит неплохо поработать, — сказал он.

Подумал и добавил:

— Вот работа никогда не кончается.

— Нет, — сказал Лазурит.

— Да, — сказал Вольф.

На этот раз им оставалось только замолчать. Они шагали быстро, дорога поднималась вверх. Внезапно она перешла в лестницу. Правее в будке стоял — добро пожаловать! — старый сторож.

— Как вас сюда занесло? — спросил он. — Вы грохнули моего коллегу на том конце?

— Не очень сильно, — уверил его Лазурит. — Завтра он уже будет на посту.

— Тем хуже, — сказал старый сторож. — Признаться, мне скучновато, когда никто сюда не приходит. Желаю удачи, мальчики!

— Вы пустите нас назад, если мы вернемся? — спросил Лазурит.

— И речи быть не может, — сказал старый сторож. — Инструкция есть инструкция. Только через мой труп.

— Договорились, — обещал Лазурит. — До скорого.

Небо было в серых бледных разводах. Поднялся ветер, близился рассвет. Проходя мимо Машины, Вольф остановился.

— Возвращайся один, — сказал он Лазуриту. — Я остаюсь.

Лазурит молча отправился домой. Вольф открыл шкаф и начал одеваться. Его губы вздрагивали. Он нажал на рычаг, открывающий дверь, и вошел в клетку. Серая дверь с лязгом хлопнулась за ним.

ГЛАВА XXIII

На этот раз Вольф выбрал клавишу максимальной скорости и не почувствовал, как протекло время. Когда его рассудок прояснился, он обнаружил, что стоит на том же самом месте, в конце большой аллеи, где они расстались с г-ном Перлом.

Перед ним была та же серо-желтая земля, каштаны, скорлупки и осенние листья. Однако никого не было видно возле руин и в зарослях ежевики. Заметив поворот, Вольф незамедлительно направился туда.

Перемена декораций сразу бросалась в глаза; это, однако, не вызывало у Вольфа ощущения новизны и временного скачка. Теперь перед ним была унылая мощеная улица, круто поднимающаяся вверх, с правой стороны виднелось большое серое строение, перед которым росли липы, с левой — мрачная стена, утыканная битым стеклом. Над всем царило безмолвие. Вольф медленно шел вдоль стены; пройдя метров двадцать, он очутился перед дверью с окошечком, толкнул дверь и вошел. В этот момент коротко зазвенел звонок и тут же смолк. Вольф оказался посреди большого квадратного двора, напомнившего ему школу. Планировка тоже показалась ему знакомой. Смеркалось; там, где по его воспоминаниям было окошко кабинета главного воспитателя лицея, горел желтый свет. Двор был довольно чисто выметен. Над черепичной крышей скрипел флюгер.

Вольф пошел на свет. Подойдя поближе, он увидел через застекленную дверь человека, сидящего за маленьким столиком и словно чего-то ждущего. Вольф постучал и вошел.

Человек вытащил из кармана своего серого жилета часы, круглые часы в стальном корпусе.

— Вы опоздали на пять минут, — сказал он.

— Прошу прощения, — ответил Вольф.

Кабинет был уныл и выдержан в классическом стиле.

Пахло чернилами и хлоркой. Рядом с человеком, на прямоугольной медной табличке было выгравировано чернью: Господин Брюль.

— Садитесь, — сказал человек.

Вольф сел и посмотрел на него. Перед господином Брюлем лежала открытая папка мышиного цвета, из которой торчали разные бумаги. Ему было лет сорок пять, он был худ, желтая кожа туго обтягивала выступающие скулы. Острый нос придавал ему грустный вид. Под редкими клочковатыми бровями блестели подозрительные глазки, волосы были примяты, как будто он только что снял шляпу.

— Вы уже были у моего коллеги Перла? — спросил г-н Брюль.

— Да, месье, — ответил Вольф. — У Леона-Абеля Перла.

— Согласно плану, — сказал г-н Брюль, — я должен поговорить с вами о ваших школьных занятиях.

— Да, месье, — сказал Вольф.

— Досадно, — сказал г-н Брюль, — что моему коллеге аббату Грилю придется возвращаться назад. По сути дела, ваши взаимоотношения с религией были весьма недолгими, тогда как школьные занятия продолжались вплоть до вашего совершеннолетия.

Вольф согласно кивнул головой.

— Сейчас вы пройдете по коридору до третьего поворота. Там вы легко найдете аббата Гриля и отдадите ему эту записку. Потом вернетесь ко мне.

— Да, месье, — сказал Вольф.

Г-н Брюль заполнил формуляр и протянул Вольфу.

— Таким образом, — сказал он, — у нас будет время как следует узнать друг друга. По коридору. Третий поворот.

Вольф встал, попрощался и вышел. Он чувствовал себя немного подавленным. Длинный гулкий коридор со сводчатым потолком шел вдоль внутреннего дворика и печального сада с аллеями, усыпанными гравием и обсаженными мелким кустарником. Высохшие розовые кусты торчали на голых клумбах, где едва виднелись жалкие травинки. Шаги Вольфа глухо отдавались в коридоре, и ему вдруг захотелось побежать, как он бегал когда-то, опаздывая на урок, через привратническую, когда обитые тусклым железом ворота были уже закрыты. Ноздреватый цементный пол перемежался возле колонн полосами более истертого белого камня, в котором еще искрились редкие ископаемые ракушки. С другой стороны двора зияли дверные проемы и видны были пустые классы со скамейками амфитеатром. Иногда Вольф замечал черный угол классной доски и мрачную, суровую кафедру на потрепанном временем помосте.

У третьего поворота Вольф обнаружил белую эмалевую табличку с надписью: «Катехизис». Он робко постучался и вошел. Это был обычный класс, но без столов, с одними изрезанными и исписанными скамейками и висящими на длинных проводах лампами в эмалевых абажурах; стены до высоты примерно полутора метров были коричневыми, выше их цвет становился грязно-серым. На всем лежал давний слой пыли. Тонкий и изящный аббат Гриль сидел за своим столом и явно нервничал. Вольфу бросилась в глаза маленькая остроконечная борода и хорошо сшитая сутана. На столе лежала черная кожаная папка. Без всякого удив-

ления Вольф отметил, что аббат держит в руках то самое досье, которое минуту назад находилось у господина Брюля.

Он протянул записку.

— Здравствуйте, сын мой, — сказал аббат Гриль.

— Здравствуйте, господин аббат, — ответил Вольф. — Господин Брюль меня...

— Знаю, знаю, — сказал аббат Гриль.

— Вы спешите? — спросил Вольф. — Я могу уйти.

— Вовсе нет, вовсе нет, — сказал аббат Гриль. — У меня много времени.

Его хорошо поставленный, чересчур манерный голос стеснял Вольфа, как будто рядом с ним стояла громоздкая хрустальная ваза.

— Поглядим, — прожурчал аббат, — что тут по моей части. Гм... ведь вы ни во что не верите, правда? Что ж, скажите-ка, когда именно вы перестали верить в Бога? Это ведь легкий вопрос, не так ли?

— Ну-у... — протянул Вольф.

— Садитесь, садитесь, — говорил аббат. — Хотя бы вот на этот стул... Не спешите, не бойтесь...

— Чего мне бояться, — немного устало сказал Вольф.

— Вам это скучно? — спросил аббат Гриль.

— Нет-нет, — сказал Вольф, — это, пожалуй, слишком просто, вот и все.

— Подумайте хорошенько, это не так просто, как вам кажется.

— За детей берутся слишком рано, — сказал Вольф. — В том возрасте, когда они еще верят в чудо. Вот они и хотят немедленно получить чудо, а когда чуда не происходит, для них все кончается.

— Может, для других детей это и справедливо... — сказал аббат Гриль. — Но с вами все было иначе, все было иначе. Вы отвечаете так, словно не хотите утруждать себя, и я вас понял... я вас понял, но в вашем случае все было иначе, не правда ли?

— Что ж, — раздраженно сказал Вольф, — если вы так хорошо обо мне информированы, вы и сами все знаете.

— В сущности, — сказал аббат Гриль, — мне-то нет нужды ничего выяснять. Это необходимо вам... именно вам.

Вольф подвинул стул и сел.

— У меня был такой аббат, как вы, он преподавал катехизис. Но его звали Вольпиан де Ноленкур де ла Рош-Бизон.

— Гриль — это не полное мое имя, — сказал аббат, любезно улыбнувшись Вольфу. — У меня еще есть титул...

— И к детям он относился по-разному, — продолжал Вольф. — В первую очередь его интересовали те, кто был хорошо одет, и особенно их матери.

— Все это еще не является достаточным основанием, чтобы перестать верить, — примирительно сказал аббат Гриль.

— Во время первого причастия, — сказал Вольф, — я так сильно верил, что чуть не потерял сознание в церкви. Я был уверен, что это причастие так на меня действует. Просто мы три часа провели на ногах, воздух был спертый и страшно хотелось есть.

Аббат Гриль рассмеялся.

— Вы злитесь на религию, как маленький мальчик.

— Это у вас религия для маленьких мальчиков, — сказал Вольф.

— Вы недостаточно компетентны, чтобы судить об этом.

— Я не верю в Бога, — сказал Вольф.

Он несколько секунд помолчал.

— Бог — враг прибыли.

— Прибыль — враг человека, — сказал аббат Гриль.

— Человеческого тела, — парировал Вольф.

Аббат Гриль улыбнулся.

— Дело у нас не клеится. Мы уходим от темы, вы не отвечаете на мой вопрос, не отвечаете...

— Меня смущают формы вашей религии, — сказал Вольф, — все как-то дешево. Сплошное притворство, песенки, красивые костюмчики. Католицизм — это разновидность мюзик-холла.

— Попробуйте вспомнить, каким вы были двадцать лет назад, — сказал аббат Гриль. — Поймите, я здесь, чтобы помочь вам... как священник или не как священник... мюзик-холл — это тоже очень важно.

— Тут не может быть аргументов за и против, — сказал Вольф. — Человек либо верит, либо нет. Я, например, всегда стеснялся входить в церковь. Я стеснялся смотреть на людей в возрасте моего отца, когда они преклоняли колени перед маленьким шкафчиком. Мне делалось стыдно за отца. Я никогда не сталкивался с дурными священниками, вроде тех, о которых пишут всякие гадости в разных книгах про педерастов, я ни разу не подвергался несправедливым гонениям — я даже не знал, что так бывает, — но тем не менее я всегда стеснялся священников. Может быть, из-за сутан.

— Когда вы сказали: «Я отрекаюсь от Сатаны, от его мишуры и его помпы...»? — спросил аббат Гриль.

Он пытался помочь Вольфу.

— Я думал о помпе, — сказал Вольф, — помнится, во дворе у соседей была помпа, с рычагом, крашенная в зеленый цвет. Вы

знаете, я почти не открывал катехизис... Я не мог верить... Так уж меня воспитали... Это была простая формальность, чтобы получить золотые часы и чтобы не возникло препятствий при вступлении в брак.

— Кто вас вынуждал венчаться в церкви?

— Это позабавило моих друзей, жене нравилось свадебное платье и вообще... Ох! Как это скучно! Мне на это глубоко наплевать. И всегда было наплевать.

— Хотите увидеть фотографию Бога? — предложил аббат Гриль. — Показать?

Вольф взглянул на него. Тот не шутил. Любезный и нетерпеливый, аббат ждал ответа.

— Я не думаю, что у вас она есть, — сказал Вольф.

Аббат Гриль сунул руку во внутренний карман сутаны и достал красивый коричневый бумажник из крокодиловой кожи.

— У меня тут отличная серия.

Он вынул три фотографии и протянул их Вольфу. Вольф небрежно просмотрел их.

— Так я и думал. Это мой приятель Ганар. Он всегда играл Бога, когда в школе ставили пьесу, и просто так, на переменах.

— Вот-вот, — сказал аббат Гриль. — Ганар, кто бы мог подумать? Был такой лодырь. Лодырь Ганар. Он — и Господь Бог, кто бы мог подумать! Посмотрите вот на эту, в профиль. Она самая четкая. Вы помните его?

— Да, — сказал Вольф. — У него была большая родинка возле носа. Иногда во время урока он приделывал к ней лапки и крылышки, чтобы все думали, что это муха. Бедняга Ганар.

— Не надо его жалеть. Ему повезло. Ему крупно повезло.

— Да, — сказал Вольф, — крупно повезло, нечего сказать.

Аббат Гриль положил фотографии обратно в бумажник. Из другого отделения он достал маленький картонный прямоугольник и протянул его Вольфу.

— Держите, сын мой. В целом вы не так-то плохо ответили. Даю вам похвальный жетон. Когда у вас будет десять таких, я подарю вам образок. Очень красивый образок.

Вольф оцепенело поглядел на него и покачал головой.

— Это неправда, — сказал он. — Вы не такие. Вы не такие терпимые. Это все ложь и охмурение, провокация и агитация.

— Нет, нет, — сказал аббат, — вы заблуждаетесь. Мы действительно очень терпимы.

— Постойте, — сказал Вольф, — кто может быть терпимее атеиста?

— Мертвый, — небрежно сказал аббат Гриль, засунув бумаж-

ник себе в карман. — Все, благодарю вас, благодарю. Можете быть свободны. Пригласите следующего.

— До свидания, — сказал Вольф.

— Вы найдете дорогу? — спросил аббат Гриль, не рассчитывая услышать ответ.

ГЛАВА XXIV

Вольф уже ушел. Он вспомнил теперь все это, все, что сама личность аббата Гриля мешала ему вызволить из памяти: стояния на коленях в полумраке часовни, доставлявшие такую муку и которые он все же вспоминал не без удовольствия. Саму часовню — прохладную и немного таинственную. Направо, при входе, была исповедальня. Ему припомнилась первая исповедь: бессвязные, общие слова, как, впрочем, и всякий раз в дальнейшем; голос священника из-за маленькой решетки казался ему иным, чем обычно: глухим и торжественным, как будто и впрямь роль исповедника поднимала его выше повседневности, вернее сказать, выводила из привычного состояния, одаривая мимолетной способностью к всепрощению, безграничному пониманию и различению добра и зла. Смешнее всего было что-то вроде парада перед первым причастием: вооружившись деревянной трещеткой, священник муштровал их, как солдат, чтобы они не оскандалились в день церемонии. От этого часовня теряла часть своей магической власти, становилась более домашней. Казалось, ее старые камни вступили в сговор со школьниками, которые, выстроившись в две шеренги справа и слева от центрального входа, репетировали построение в одну колонну и проход к ступенькам, где они опять строились в две шеренги и получали облатки из рук священника и викария, помогающего ему в праздничные дни. «Священник или викарий протянет мне облатку?» — спрашивал себя Вольф и разрабатывал сложные маневры, чтобы оказаться на месте одного из своих товарищей; получив облатку не от самого аббата, он непременно упал бы, пораженный громом небесным, или угодил бы прямо в лапы Сатаны. А потом они учили гимны. Церковь сотрясалась от звуков «Агнца», от речитативов, полных величия, восторга, надежды. Вольф поразились теперь при мысли, что эти слова любви и поклонения становились в устах детей лишенным всякого смысла звонким гулом. Забавное было тогда это первое причастие: напротив стоял младший класс, еще младше их, и казалось, они поднялись чуть выше по социальной лестнице, получили новую звездочку на погоны. По отношению к более старшим появлялась возможность догнать их, быть с

ними на равных. И ко всему этому — повязка на рукаве, голубой костюм, крахмальный воротничок и начищенные ботинки, ощущение праздника, украшенная часовня, толпа народу, запах ладана, отблески свечей, смешанное чувство участия в представлении и причастности к великой тайне, желание свернуть горы своей молитвой, боязнь проглотить облатку — «все ли это взаправду?» и «все взаправду» — и, по возвращении домой, тягость в желудке и ощущение, что тебя обвели вокруг пальца. Остались от этого золоченые образки, которыми менялись его школьные товарищи, голубой костюм, который он потом носил, крахмальный воротничок, который ни разу не пригодился, и золотые часы, сослужившие ему впоследствии добрую службу: он продал их безо всякого сожаления, когда был на мели. И подаренный одной из набожных кузин молитвенник с красивым переплетом, который поэтому никто не решался выбросить, но никто так ни разу и не открыл... Ленивое разочарование... убогая комедия... и еще сожаление оттого, что нельзя точно выяснить, видел ли ты на самом деле Иисуса, или просто голова закружилась от жары, запахов, недосыпа и чересчур тесного воротничка.

Пустота. Единица измерения отсутствия.

Вольф наконец очутился перед дверью г-на Брюля и перед самим г-ном Брюлем. Он провел рукой по лбу и сел.

— Вот и все... — сказал господин Брюль.

— Все, — сказал Вольф, — и совершенно впустую.

— Как это? — спросил г-н Брюль.

— У нас с ним ничего не получилось. Мы оба пороли какую-то чушь.

— Но потом, — сказал г-н Брюль, — вы сами все себе рассказали. Дело именно в этом.

— Ах так? — сказал Вольф. — Хорошо. Однако этот пункт свободно можно было опустить. Он лишен всякого содержания.

— Вот потому-то я и послал вас сначала туда, — сказал г-н Брюль, — чтобы побыстрее избавиться от всего лишнего.

— Абсолютно лишнего, — сказал Вольф. — Это меня никогда всерьез не волновало.

— Конечно, конечно, — пробормотал г-н Брюль, — но так получается более подробно.

— А Господом Богом оказался просто Ганар, мой школьный товарищ. Я видел его фотографию. Это ставит все на свои места. Так что наша беседа не была вовсе бесполезной.

— А теперь, — сказал г-н Брюль, — поговорим серьезно.

— Столько лет прошло, — сказал Вольф, — столько всего намешалось. Пора во всем разобраться и навести порядок.

ГЛАВА XXV

— Нам необходимо определить, — сказал г-н Брюль, тщательно выговаривая слова, — насколько школьные занятия способствовали вашему разочарованию в жизни. Это ведь и есть та причина, что привела вас сюда.

— Вроде того, — сказал Вольф. — Почему же все-таки и здесь ждало разочарование?

— Но прежде всего, — сказал г-н Брюль, — лежит ли на вас часть ответственности за эти занятия.

Вольф очень хорошо помнил, что ему хотелось в школу, и сказал об этом г-ну Брюлю.

— Но, — добавил он, — честно говоря, если бы я и не хотел, меня бы все равно туда отправили.

— Вы уверены? — спросил г-н Брюль.

— Я был способным ребенком, — ответил Вольф, — и к тому же мне хотелось иметь учебники, ручки, портфель и тетрадки. Вот в чем дело. Но так или иначе родители все равно не оставили бы меня дома.

— Можно было заняться чем-нибудь другим, — сказал г-н Брюль. — Музыкой. Рисованием.

— Нет, — сказал Вольф.

Он рассеянно оглядел комнату. На запыленной папке стоял старенький гипсовый бюст, которому кто-то неумелой рукой пририсовал один ус.

— Мой отец, — объяснил Вольф, — рано прекратил учебу, поскольку его средства позволяли ему без этого обойтись. Может быть, именно поэтому он так и настаивал, чтобы я доучился до конца. А для того, чтобы завершить учебу, сперва нужно ее начать.

— Короче, — сказал г-н Брюль, — вас поместили в лицей.

— Мне хотелось общаться со сверстниками. Это тоже сыграло свою роль.

— И тут все было в порядке, — сказал г-н Брюль.

— В некоторой степени да, — сказал Вольф. — Но те склонности, от которых я страдал в детстве, развивались потом все сильнее и сильнее. С одной стороны, лицей освободил меня, показав мне людей другого круга, с незнакомыми привычками и причудами; в результате я стал сомневаться решительно во всем, и из всех привычек и причуд выбирал только наиболее для меня подходящие.

— Без сомнения, — сказал г-н Брюль.

— Но при этом, — продолжал Вольф, — лицей усилил те черты характера, о которых я уже говорил г-ну Перлу: с одной стороны, жажда героических поступков, с другой — физическая слабость — и, соответственно, разочарование.

— Ваша жажда подвига заставляла вас всегда стремиться к первенству?

— Но лень не позволяла мне удерживать это положение.

— Вполне уравновешенная жизнь, — сказал г-н Брюль. — Что тут плохого?

— Это неустойчивое равновесие, — заверил Вольф. — Изматывающее равновесие. Система, в которой все векторы сил были бы равны нулю, мне бы гораздо больше подошла.

— Что может быть устойчивее, чем... — начал было г-н Брюль, но как-то странно взглянул на Вольфа и умолк.

— Я становился все более лицемерным, — продолжал Вольф, глядя в одну точку, — но не в общепринятом смысле слова: я не притворялся, лицемерие было связано только с учебой. Мне повезло со способностями, и я делал вид, что стараюсь, — держась чуть выше среднего уровня без малейших усилий. Но одаренных людей не любят.

— Вы хотите, чтобы вас любили? — с безразличным видом спросил г-н Брюль.

Вольф побледнел, по лицу его прошла тень.

— Оставим это, — сказал он, — мы сейчас говорим об учебе.

— Ну что ж, давайте говорить об учебе, — сказал г-н Брюль.

— Задавайте мне вопросы, — сказал Вольф, — я буду отвечать.

— Какое воздействие, — тут же спросил г-н Брюль, — оказывала на вас учеба? Не довольствуйтесь детскими воспоминаниями, прошу вас. Скажите мне, каков был результат ваших занятий, поскольку вы все же занимались и проявляли старательность, хотя, возможно, и показную. Ведь регулярность привычек не может не отразиться на характере индивидуума, если эти привычки сохраняются достаточно долгое время.

— Достаточно долгое... — повторил Вольф. — Да это крестный путь! Шестнадцать лет... Шестнадцать лет протирать задом жесткие скамейки... Шестнадцать лет то — честности, то — обмана... Шестнадцать лет скуки, а что осталось? Пустые разрозненные картинки... запах типографской краски от новых учебников первого октября, осенние листья, которые рисовали на уроках, отвратительное тельце расчлененной лягушки, пахнущее формалином; и последние дни школьного года, когда замечаешь, что учителя тоже люди, потому что они тоже ждут каникул, и

школьников стало меньше. И жуткий страх перед экзаменами, который теперь кажется бессмысленным. К чему ведет регулярность привычек... Да знаете ли вы, господин Брюль, что просто подло навязывать детям регулярность привычек на шестнадцать лет вперед? Нам подменили время, господин Брюль. На самом деле время не делится механически на минуты и часы. Время субъективно, каждый носит его в себе. Попробуйте-ка вставать каждый день в семь утра. Обедать в полдень, ложиться в девять. И ни одна ночь не будет принадлежать вам... И вы никогда не узнаете, что есть миг, когда подобно тому, как море замирает между приливом и отливом, когда ночь и день становятся неотличимы друг от друга и тают и сливаются в горячке, словно реки при встрече с океаном. У меня украли шестнадцать лет ночи, господин Брюль. В шестом классе мне внушили, что единственной целью является переход в пятый; в первом мне надо было сдавать на бакалавра, потом писать диплом. Я думал, что у меня есть цель, господин Брюль. Ничего у меня не было. Я шел по коридору без конца и начала, впереди меня шли такие же безмозглые идиоты, а следующие наступали мне на пятки. Жизнь заворачивают в ослиную шкуру, как горькие порошки закладывают в капсулы, чтобы их легче было проглотить... Но теперь я знаю, что предпочел бы все-таки подлинный вкус.

Г-н Брюль молча потерял руки и стал громко хрустеть пальцами. Как неприятно, подумал Вольф.

— Вот почему я мухлевал, как мог, — заключил Вольф. — Я мухлевал... чтобы меня не трогали, чтобы мне дали спокойно посидеть и подумать в своей клетке, и так и просидел в ней рядом с теми, кто ни о чем не думал, и вышел оттуда вместе с ними, не раньше и не позже. Конечно, все считали, что я такой же, как они, и этим вполне ограничивалась моя забота о мнении окружающих. Однако все это время я жил в своем мире. Я был ленив и думал о другом.

— Послушайте, — сказал г-н Брюль, — я не вижу в этом никакого обмана. Ленивы вы были или нет, вы достойно завершили свои занятия. То, что вы думали о другом, вовсе не означает вашей вины.

— Это меня состарило, господин Брюль, — сказал Вольф. — Я ненавижу учебу, потому что она меня состарила, как бы изнасила. Я ненавижу старость.

Он хлопнул ладонью по столу.

— Посмотрите на этот старый стол. Все, что связано с учебой, превращается в рухлядь. Старые, грязные, пыльные вещи. Краска на стенах, облезающая засохшими струпьями. Засижен-

ные мухами пыльные лампы. Повсюду чернильные пятна. Столы, изрезанные перочинным ножиком. Чучела птиц, изъеденные червями. Вонючие кабинеты химии, душные гимнастические залы. Кучи мусора в школьном дворе. Престарелые кретины-учителя. Маразматики. Школа маразма. Называется образование. Все это больше похоже на лепрозорий. Кожа слезает, и видишь, что там внутри. Сплошная мерзость.

Г-н Брюль слегка нахмурился и недовольно сморщил свой длинный нос.

— Мы все стареем и изнашиваемся, — сказал он.

— Да, конечно, — ответил Вольф. — Но не настолько. Мы распадается на листы, как старые книги. Наше старение идет изнутри. Это не так уродливо.

— Старость не порок, — сказал г-н Брюль.

— Еще какой порок, — сказал Вольф. — Стареть стыдно.

— Но, — заметил г-н Брюль, — так происходит со всеми.

— Это не страшно, — сказал Вольф, — если человек успел пожить по-настоящему. Но меня возмущает то, что делают с детьми в самом начале их жизни. Видите ли, господин Брюль, все очень просто: пока существует место, где есть воздух, солнце и трава, человек должен жалеть, что он не там. Особенно, если он молод.

— Вернемся к нашей теме, — сказал г-н Брюль.

— Мы ее не оставляли.

— Какие положительные качества сформировала у вас учеба?

— Ох, господин Брюль, — сказал Вольф, — зря вы у меня это спрашиваете...

— А что? — спросил г-н Брюль. — Мне-то, как вы понимаете, совершенно все равно.

Вольф поднял глаза, и тень еще одного разочарования легла на его лицо.

— Да, конечно, — сказал он. — Прошу прощения.

— Однако, — сказал г-н Брюль, — я должен знать.

Вольф кивнул головой, закусил нижнюю губу и начал:

— Просто так не проживешь, если не научиться находить определенную доступную прелесть в существующем порядке вещей, и как естественно поэтому просто поплыть по течению.

— Нет ничего естественнее, — подтвердил г-н Брюль, — хотя ваши утверждения скорее характерны лично для вас, а не для всех, но не будем об этом.

— Я обвиняю учителей в том, что своим тоном и своими книгами они заставили меня верить в неподвижность мира. Заставили мои мысли застрять на некоей определенной стадии (которую никто никогда не определял, но они не видят в этом противоре-

чия) и убедили меня, что где-то когда-то возможен некий идеальный порядок.

— И прекрасно, — сказал г-н Брюль, — вам не кажется, что такая уверенность внушает надежду?

— Когда понимаешь, что этот порядок для нас недостижим, что его обретут разве что в будущем, столь же далеком, как небесные туманности, надежда превращается в безнадежность и осаживается на дно вашей души, как серная кислота осаживает соли бария. Я привел такое сравнение, чтобы остаться в рамках школьной программы. Но в случае с барьером осадок хотя бы белого цвета.

— Знаю, знаю, — сказал г-н Брюль, — не вдавайтесь в бессмысленные подробности.

Вольф злобно посмотрел на него.

— Хватит, — сказал он. — Я вам сказал вполне достаточно. Дальше разбирайтесь сами.

Г-н Брюль нахмурил брови и забарабанил пальцами по столу.

— Мы разбираем шестнадцать лет вашей жизни, и вы считаете, что сказанного достаточно. И это все, что вам запомнилось. Одним словом, вы это ни в грош не ставите.

— Господин Брюль, — сказал Вольф, отрубая каждое слово, — послушайте, что я вам скажу. Слушайте внимательно. Ваша учеба — сплошная ерунда. Нет ничего легче в мире. Людям вбили в головы, что инженер или ученый принадлежит к элите. Мне просто смешно: ведь кроме этих представителей элиты, все знают, что боксу научиться трудней, чем математике. Иначе боксеров было бы больше, чем математиков. Стать хорошим пловцом труднее, чем научиться правильно писать по-французски, иначе инструкторов по плаванию было бы больше, чем учителей французского. Кто угодно сможет сдать на бакалавра, а вот посчитайте, сколько вы наберете человек для соревнований по десятиборью? Господин Брюль, я ненавижу учебу, потому что слишком много идиотов умеют читать; и хорошо, что эти идиоты рвут друг у друга спортивные журналы и болеют на стадионах. Лучше учиться правильно заниматься любовью, чем корпеть над книгой по истории.

Г-н Брюль робко поднял руку.

— Это вы будете обсуждать с моими коллегами. Не выходите за рамки темы, прошу вас.

— Любовь — это настолько же запущенный вид физической деятельности, как и все остальные.

— Возможно, — сказал г-н Брюль, — но ей тем не менее посвящена отдельная глава.

— Ладно, — сказал Вольф, — не будем об этом. Вы теперь знаете, что я думаю о вашей учебе. Об этом маразме. О всей вашей пропаганде, книгах, вонючих классах и двоечниках-онанистах. О сортирах, забитых дерьмом, о тихих пакостниках, об очкастых математиках, жеманных политехниках и зажавшихся филологах, о вороватых медиках и продажных юристах. Давайте лучше поговорим о хорошем боксерском поединке. Там тоже полно обмана, но все-таки как-то полегче на душе.

— На душе полегче только по контрасту. Если бы студентов было бы так же мало, как боксеров, за каждый удачный диплом носили бы на руках.

— Может быть, — сказал Вольф, — но люди сделали ставку на интеллектуальные занятия. Тем лучше для физических. А теперь, если вы отправите меня отсюда к чертовой матери, я буду вам очень благодарен.

Он обхватил голову руками и несколько секунд не смотрел на г-на Брюля. Когда он снова поднял глаза, тот уже исчез, кругом была пустыня и золотистый песок; свет лучился, казалось, отовсюду, и сзади слышался шум воды. Обернувшись, Вольф увидел в ста метрах от себя море, синее, теплое, неизменное, и сердце у него забилося и расцвело. Он бросил на песок свои ботинки, куртку и шлем и побежал навстречу кружеву сверкающих брызг, которые плела лазурная гладь.

И снова все смешалось, слилось и закружилось в вихре пустоты; и опять леденящий холод клетки.

ГЛАВА XXVI

Вольф очнулся у себя в кабинете и прислушался. Наверху, в комнате Лазурита, раздавались беспокойные шаги. Лиль занималась хозяйством где-то неподалеку. Вольф чувствовал себя в ловушке — он так быстро исчерпал все свои развлечения, что голова его опустела, и осталась лишь скука, лишь железная клетка; да и попытка разделаться с воспоминаниями казалась теперь крайне сомнительной.

Вольф встал; ему было не по себе. Он пошел искать Лиль по всем комнатам. Она была на кухне и стояла на коленях перед конурой Сенатора Дюпона. Лиль смотрела на Сенатора, ее глаза были полны слез.

— Что случилось? — спросил Вольф.

Между лап Сенатора дремал уапити. Глаза Сенатора были мутны, он мямлил какие-то невнятные обрывки песен и пускал слюни.

— Сенатор... — сказала Лиль.

Ее голос дрожал.

— Что с ним?

— Не знаю, — ответила Лиль. — Он несет какую-то чушь и не отвечает на вопросы.

— Но он, видимо, доволен? Он даже поет.

— Мне кажется, он спятил, — прошептала Лиль.

Сенатор шевельнул хвостом, и проблеск сознания мелькнул в его глазах.

— Точно! — заявил он. — Я впал в маразм и надеюсь, что навсегда.

И вновь затянул свою ужасную песню.

— Ничего страшного, — сказал Вольф, — пойми, он уже стар.

— Он так радовался, когда у него появился упити, — всхлипнула Лиль.

— Радоваться — все равно, что спятить. Когда тебе больше ничего не хочется, остается только впасть в маразм.

— Ох, — сказала Лиль, — бедняга Сенатор.

— Заметь также, — сказал Вольф, — что есть два способа ничего не хотеть: иметь все, что тебе хочется, или привыкнуть к мысли, что у тебя этого нет.

— Но он же не может остаться таким насовсем! — воскликнула Лиль.

— По крайней мере, ему так хочется. Он теперь блаженствует. Лиль, он получил все, что хотел. Оба варианта кончаются одинаково: помутнением рассудка.

— Это меня убивает, — сказала Лиль.

Сенатор сделал еще одно усилие.

— Послушайте, — сказал он. — Это мое последнее просветление. Я счастлив, понимаете? Мне больше не надо ни о чем думать. Я безусловно удовлетворен, влачу вполне растительное существование и больше никогда не буду говорить. Я припадаю к земле, возвращаюсь к корням. Теперь, когда я ожил и все мои желания исполнились, — я утратил их, и мне больше нет нужды быть умным. Жаль потраченных лет.

Он смачно облизнулся и пробурчал что-то неразборчивое.

— Я функционирую, все остальное — ерунда. Теперь я попал в свою колею. Я вас очень люблю, я, может быть, буду вас понимать, но это — мои последние слова. Я нашел своего упити. Ищите вашего.

Лиль вытерла слезы и погладила Сенатора. Он вильнул хвостом, положил голову на шею упити и уснул.

— А если упити на всех не хватит? — сказал Вольф.

Он помог Лиль встать.

— Ох, — сказала она, — я не могу на это спокойно смотреть.

— Лиль, — сказал Вольф, — я тебя так люблю. Почему я не могу быть таким счастливым, как Сенатор?

— Я, наверно, слишком маленькая, — сказала Лиль, прижавшись к нему. — Или ты ни в чем не можешь разобраться. Ты все путаешь, Вольф.

Они вышли из кухни и сели на диван.

— Я уже почти все испытал, и нет ничего такого, что я хотел бы испытать еще раз.

— Даже поцеловать меня? — спросила Лиль.

— Пожалуйста, — сказал Вольф и сделал это.

— А твоя гадкая Машина? — спросила Лиль.

— Она внушает мне страх, — прошептал Вольф. — То, что там с тобой делается...

Ему стало так неприятно, что свело шею.

— Эта штука устроена, чтоб забыть, — продолжал он, — но сначала вспоминаешь все. Все. С мельчайшими подробностями. И при этом не чувствуешь того, что раньше.

— Это так неприятно? — спросила Лиль.

— Это убийственно. Волочишь за собой себя прежнего.

— Ты не хочешь как-нибудь взять меня с собой? — спросила Лиль, лаская его.

— Ты красивая. Ты милая. Я тебя люблю. И я разочарован во всем.

— Разочарован? — повторила Лиль.

— Не может быть, чтобы все сводилось к этому, — сказал Вольф, сделав неопределенный жест рукой, — игра в плук. Машина, квартал любви, работа, музыка, жизнь, другие люди.

— А я? — спросила Лиль.

— Да, конечно, — сказал Вольф. — Конечно, есть ты, но ведь нельзя влезть в чужую шкуру. Нас все равно будет двое, потому что ты самодостаточна, и если бы тебя можно было дополнить, это была бы уже не ты.

— Ты можешь быть в моей шкуре вместе со мной, — сказала Лиль. — Я была бы только рада. Мы были бы одни на свете.

— Это невозможно, — сказал Вольф. — В шкуре другого можно очутиться, только если его убить или содрать с него эту шкуру.

— Сдери ее с меня, — сказала Лиль.

— Мы тогда все равно не будем вместе. Это опять буду я, только в другой шкуре.

— Ох, — грустно вздохнула Лиль.

— Так оно и бывает, — сказал Вольф. — Можно иметь все и быть несчастным. Это неизлечимо и неизбежно.

— Неужели нет никакого выхода? — спросила Лиль.

— Только Машина, — сказал Вольф. — У меня есть Машина, и не так уж много времени я в ней провел.

— Когда ты снова туда пойдешь? — спросила Лиль. — Я так боюсь этой клетки. И ты мне ничего не рассказываешь.

— Я отправлюсь туда завтра, — сказал Вольф. — Теперь я должен работать. А рассказать тебе я ничего не могу.

— Почему? — спросила Лиль. Вольф помрачнел.

— Потому что я ничего не помню, — сказал он. — Я знаю, что воспоминания там возвращаются, но Машина сразу их уничтожает.

— А ты не боишься разрушить сразу все воспоминания?

— Вообще-то, — сказал Вольф уклончиво, — я еще ничего особенно не разрушил.

Он прислушался. Дверь комнаты Лазурита хлопнула, и тот с грохотом промчался по лестнице. Они встали и посмотрели в окно. Лазурит шел, почти бежал, в направлении Квадрата. Не дойдя до него, он упал в красную траву и обхватил голову руками.

— Поднимись к Фолавриль, — сказал Вольф. — Что у них случилось? Он вне себя.

— Ты не пойдешь его утешить?

— Мужчины утешаются в одиночку, — проговорил Вольф, входя в свой кабинет.

Он лгал вдохновенно и искренне. Мужчины утешаются точно так же, как женщины.

ГЛАВА XXVII

Лиль было немного неудобно идти к Фолавриль с утешениями, ей это казалось нескромным, но с другой стороны, с Лазуритом такого раньше никогда не случилось. И к тому же в его бегстве угадывался скорее ужас, чем гнев. Лиль вышла на лестницу, поднялась на восемнадцать ступенек и постучалась к Фолавриль. Фолавриль открыла дверь и поздоровалась.

— Что случилось? — спросила Лиль. — Лазурит чего-то испугался или, может быть, заболел?

— Я не знаю, — тихо и сдержанно ответила Фолавриль. — Он так внезапно ушел.

— Я не хочу быть нескромной, но у него был такой странный вид.

— Он целовал меня, — объяснила Фолавриль, — а потом опять кого-то увидел, и на этот раз не выдержал и ушел.

— А на самом деле никого не было? — спросила Лиль.

— Мне как-то все равно, — ответила Фолавриль. — Но он точно кого-то видел.

— Что же делать? — спросила Лиль.

— Я думаю, он меня стыдится, — сказала Фолавриль.

— Нет, — сказала Лиль, — он стыдится быть влюбленным.

— Я ведь, кажется, никогда ничего плохого не говорила о его матери, — заметила Фолавриль.

— Я верю вам, — сказала Лиль, — но что же делать?

— Не знаю, идти ли к нему: мне кажется, причина его мук во мне, и мне бы не хотелось опять его мучить.

— Что же делать? — повторила Лиль. — Я могу сходить за ним, если хотите.

— Не знаю, — сказала Фолавриль. — Когда он рядом, ему так хочется коснуться меня, поцеловать, обнять, я чувствую это и хочу того же; но он не осмеливается, он боится, что вернется тот человек. Мне-то все равно, я его не вижу, но Сапфира он парализует. А теперь и того хуже, Сапфир стал его бояться.

— Да, — сказала Лиль.

— А вскоре, — сказала Фолавриль, — это приведет его в бешенство, потому что он желает меня слишком сильно. А я его.

— Вы оба еще слишком молоды для этого, — сказала Лиль.

Фолавриль рассмеялась своим коротким и легким смехом.

— Вы сами слишком молоды для таких замечаний.

Лиль грустно улыбнулась.

— Я, конечно, не говорю, что я старушка, но я как-никак уже несколько лет замужем за Вольфом.

— Лазурит совсем другой; не то, что он лучше, просто его мучит нечто другое; но вы же не станете отрицать, что и Вольфа тоже что-то мучит.

— Да, — сказала Лиль.

Фолавриль говорила почти то же самое, что минуту назад объяснял ей Вольф. Это показалось Лиль любопытным.

— Все могло быть так просто, — вздохнула она.

— Да, — ответила Фолавриль, — но вокруг столько простых вещей, что в совокупности они становятся сложными и теряются из виду. Надо уметь смотреть на все со стороны, издалека.

— И тогда, — сказала Лиль, — охватывает ужас, что все так просто, но нельзя помочь, нельзя прогнать наваждение.

— Похоже, что так, — сказала Фолавриль.

— Что же делает человек, когда его охватывает ужас?

— Он поступает, как Лазурит: пугается и спасается бегством.

— Или же его обуревают гнев, — прошептала Лиль.

— Этого-то я и боюсь.

Они замолчали.

— Но что мы можем сделать, чтобы расшевелить их? — спросила Лиль.

— Я делаю все, что от меня зависит. И вы тоже. Мы красивы, мы стараемся не ограничивать их свободу, мы пытаемся быть достаточно глупыми, потому что по традиции нам так положено, хотя это и чертовски трудно; мы даем им наше тело, а они нам — свое; по крайней мере, это честно. А они уходят, потому что боятся.

— Причем боятся-то не нас.

— Это было бы слишком просто. Им надо, чтобы даже их страх исходил от них самих.

Солнце бродило вокруг окна и порой бросало сияющие блики на полированный паркет.

— Почему же мы лучше защищены? — спросила Лиль.

— Потому что против нас предубеждение, и это дает нам силу единства. А они считают нас слишком сложными из-за этого единства. Как раз то, о чем я только что говорила.

— Ну и дураки же они, — сказала Лиль.

— Только не обобщайте. Это их тоже сделает сложными. А ни один из них этого не заслуживает. Никогда не нужно говорить «мужчины». Надо говорить «Лазурит» или «Вольф». Они вот все время говорят «женщины». Это-то их и губит.

— Где вы всего этого набрались? — удивленно спросила Лиль.

— Не знаю, — сказала Фолавриль. — Я их слушаю. Вообще-то все, что я сказала, довольно глупо.

— Может быть, — сказала Лиль, — но, по крайней мере, понятно.

Они подошли к окну. Там, на алой траве, бежевый силуэт тела Лазурита дырявил рельеф. Иные сказали бы — горб, что ли? А рядом на коленях стоял Вольф, держа руку на плече Сапфира. Он наклонился над ним и, видимо, что-то говорил.

ГЛАВА XXVI

На другой день в комнате Лазурита, приятно пахнувшей северным лесом и смолой, дремала Фолавриль. Лазурит вот-вот должен был прийти.

На деревянном потолке змеились желобки годичных колец, разделенные более темными и гладкими участками, отполированными зубьями пилы.

На улице ветер поднял дорожную пыль и рыскал вдоль живой изгороди вокруг дома. Пробежал рябью по алой траве, гонял ее извилистые волны с пеной новорожденных цветов на гребнях. Постель Лазурита оставалась свежей и прохладной. Фолавриль только отвернула покрывало, чтобы приникнуть головой к льняной подушке.

Сейчас придет Лазурит. Он ляжет рядом с ней и проведет рукой по ее светлым волосам. Другой рукой он обнимет ее за плечо, которое она сейчас гладит.

Как он робок!

Сны пробегали перед Фолавриль. На ходу она ловила их глазами, но не досматривала до конца: ей было лень. И вообще зачем спать, если придет Лазурит, который будет не во сне, а наяву. Фолавриль тоже жила наяву. Кровь толчками пульсировала в жилах, она ощутила это биение, проведя пальцем по виску, и с удовольствием несколько раз сжала и разжала кулаки, чтобы расслабить мышцы. Ее левая нога, впрочем, еще спала, и Фолавриль, предвкушая удовольствие, не торопилась ее будить.

Солнце раскололо воздух на множество частиц, в них плясали маленькие крылатые твари. Иногда они внезапно исчезали, проглоченные полосами тени, и каждый раз при этом у Фолавриль сжималось сердце. Потом она вновь погружалась в сон и не обращала больше внимания на танец сверкающих пылинок. Сквозь дрему она слышала знакомые домашние звуки: открывались двери, в трубах шумела вода, от сквозняка в гулком коридоре хлопал шнур от форточки.

В саду раздался свист. Фолавриль пошевелила ногой, и нога начала оживать клеточка за клеточкой; был даже момент, когда кишение клеток стало невыносимым. Это было приятно. Фолавриль потянулась и тихо застонала от удовольствия.

Лазурит, не торопясь, поднимался по лестнице, и сердце Фолавриль вдруг проснулось. Оно не забилося сильнее, наоборот, вошло в ровный, отчетливый и мощный ритм. Она почувствовала, как розовеют ее щеки, и удовлетворенно вздохнула. Это и значит — жить.

Лазурит постучал и вошел. Его светлые волосы, широкие плечи и тонкая талия четко вырисовывались в дверном проеме. Он был в блестящем комбинезоне и рубашке с открытым воротом. У него были глаза цвета дюралюминия, красиво очерченный рот с тенью под нижней губой; ворот рубашки романтически приоткрывался на мускулистой шее. Он поднял руку и оперся на прилобку. Посмотрел на Фолавриль. Она лежала на кровати и улыбалась, ее глаза казались ему двумя блестящими точками под прикрытием пушистых ресниц. Левая нога была согнута в колене и

слегка приподнимала платье. Лазурит заворуженно проследил взглядом линию другой ее ноги, от открытой туфельки до тени под коленкой.

— Здравствуй, — сказал Лазурит, не тронувшись с места.

— И ты здравствуй, — сказала Фолавриль.

Он не двигался и смотрел, как руки Фолавриль спокойно растегнули ожерелье из желтых цветов. Не сводя глаз с Лазурита, она спустила тяжелую нить на пол. Затем, неторопливо растегнув пряжку, сняла туфельку.

Туфелька упала, легко стукнувшись об пол каблуком, а в это время Фолавриль уже растегнула другую пряжку.

Лазурит часто задышал. Он зачарованно следил за движениями Фолавриль. Ее губы были яркими и сочными, как внутренняя поверхность лепестков только что распустившегося цветка.

Затем она спустила до щиколотки почти невесомый чулок, который упал на пол, как горстка пепла. Второй чулок последовал за ним.

Ногти на ногах Фолавриль были покрыты голубоватым перламутровым лаком.

На ней было шелковое платье, застегивающееся сбоку от плеча до икры. Она растегнула две пуговицы у плеча, потом еще две снизу. Осталась одна, на поясе. Полы платья разошлись, открыв гладкие колени. На ногах, освещенных солнцем, золотился пушок.

Двойной треугольник черного кружева повис на лампе у изголовья, и осталось только растегнуть последнюю пуговицу, поскольку пушистое одеяние внизу живота было неотъемлемой частью самой Фолавриль.

Улыбка ее притянула к себе все солнце комнаты. Восхищенный, не зная куда девать руки, Лазурит робко подошел к ней. В этот момент Фолавриль окончательно освободилась от платья и, как бы обессилев, застыла, скрестив руки на груди. Пока Лазурит раздевался, она не шелохнулась, лишь ее крепкие груди, упоенные покоем, неумолимо тянулись вверх острыми розовыми сосками.

ГЛАВА XXIX

Лазурит лег рядом с Фолавриль и обнял ее. Она повернулась на бок и ответила на его поцелуй. Она гладила тонкими пальцами его щеки и губами слегка касалась ресниц. Лазурит трепетал. Он чувствовал, как пламя разгорается внутри, прини-

мая устойчивую форму желания. Но он не хотел спешить, не хотел идти на поводу у плоти, и, кроме того, некое беспокойство маячило у него в голове, мешая расслабиться. Он закрыл глаза — нежное журчание голоса Фолавриль убаюкало его. Он лежал на правом боку, она — лицом к нему. Он поднял руку и провел по гладкой руке Фолавриль, от запястья до подмышки, едва прикрытой шелковистым пухом. Открыв глаза, он увидел жемчужинку пота, которая катилась по груди Фолавриль, наклонился и слизнул ее; у нее был привкус соленой лаванды. Он приник губами к упругой коже. От щекотки Фолавриль засмеялась и обняла его. Правой рукой Лазурит проскользнул под ее длинные волосы и обхватил ее за шею. Острые груди Фолавриль прижались к его груди, она больше не смеялась, рот ее был полуоткрыт, и она казалась еще более юной, чем обычно, — как только что проснувшийся ребенок.

За плечом Фолавриль с грустным видом стоял человек и смотрел на Лазурита.

Лазурит не шелохнулся, его рука стала искать что-то позади. Кровать была низкой, и он легко нашел свои штаны. На поясе он нащупал короткий нож с глубокой бороздкой на лезвии, оставшийся у него со скаутских времен. Он не спускал глаз с человека. Фолавриль лежала неподвижно и вздыхала, ее зубы блестели между призывно раскрытыми губами. Лазурит высвободил правую руку. Человек не двинулся с места. Медленно, не сводя с него глаз, Лазурит встал на колени и переложил нож в правую руку. Он задыхался, мелкие капельки выступили у него на лбу и на верхней губе. Пот разъедал глаза. Левой рукой Лазурит схватил человека за воротник и повалил на кровать. Он чувствовал в себе безграничную силу. Человек был неподвижен, как труп, но по некоторым признакам Лазурит понял, что сейчас он рассеется в воздухе, растает как дым. И тут, перегнувшись через Фолавриль, которая бормотала какие-то успокаивающие слова, он вонзил нож ему в сердце. Раздался глухой звук, будто удар по бочке с песком; лезвие вошло по самую рукоятку, затянув в рану ткань темной одежды. Лазурит вынул нож — липкая кровь мгновенно начала застывать. Он вытер нож пиджаком убитого человека.

Положив нож в ножны, он столкнул бездыханное тело с кровати. Труп беззвучно соскользнул на ковер. Лазурит провел рукой по взмокшему лбу. Он чувствовал, как во всех его мускулах закипает нечеловеческая мощь. Он поднял руку к глазам, чтобы посмотреть, не дрожит ли она. Она была тверда и непоколебима, как стальная длань.

На улице поднялся ветер. Клубы пыли взметнулись с земли и пробежали по траве. Ветер цеплялся за деревья и за скаты крыш, и везде, где он ни проносился, вырастало маленькое ухающее растение, голосистое перекаати-поле. То и дело хлопала форточка в коридоре. Перед окном комнаты Вольфа волновалось и шумело дерево.

В комнате Лазурита все было спокойно. Солнце постепенно передвинулось и сделало отчетливей цвета картинки над комодом. Это была очень красивая картинка: мотор самолета в разрезе. Вода изображалась зеленым цветом, горячее — красным, а выхлопные газы — голубым. В месте сгорания топлива при наложении красного на голубой образовывался замечательный пурпурный цвет, цвет сырой печени.

Взгляд Лазурита отдыхал на Фолавриль. Она уже не улыбалась и была похожа на ребенка, обиженного без причины. А причина была распростерта на полу, и из раны на ее груди сочилась кровь. Лазурит с облегчением склонился над Фолавриль. Его губы чуть коснулись ее шеи, спустились к плечу, потом пошли ниже, спустились на талию и взобрались на бедро. Фолавриль повернулась и легла на спину, и губы Лазурита соскользнули к ее паху. Под прозрачной кожей вена прочерчивала тонкую голубую линию. Руки Фолавриль обхватили голову Лазурита и повели его дальше — но тут Лазурит вырвался и яростно выпрямился. У подножия кровати стоял печальный человек в темном и смотрел на них.

Лазурит кинулся на него с ножом и ударил. Человек закрыл глаза, его веки упали, как тяжелые ставни. Но он все стоял, и тогда Лазурит еще раз погрузил ему лезвие ножа под ребра; человек зашатался и рухнул к подножию кровати, как сломанная мачта.

Все еще сжимая нож, Лазурит с бешенством и ненавистью смотрел на холодный труп, но не осмеливался пнуть его ногой.

Фолавриль, сидя на кровати, с беспокойством взглянула на Сапфира. Ее золотистые волосы, отброшенные на плечо, наполовину закрывали лицо, и она наклонила голову, чтобы лучше видеть.

— Иди сюда, — позвала она Сапфира, — иди сюда и оставь все это, ты сам себя мучаешь.

— Их уже двое, — сказал Лазурит.

Его голос был тусклым и доносился как бы издалека.

— Успокойся, — сказала Фолавриль, — ничего нет. Ничего нет, уверяю тебя. Уже ничего нет. Расслабься. Иди ко мне.

Лазурит в унынье опустил голову. Он сел рядом с Фолавриль. — Закрой глаза, — сказала она. — Закрой глаза и думай обо мне. Обними меня, Сапфир, обними, милый, я очень хочу тебя.

Лазурит по-прежнему держал нож в руке; затем он положил его под подушку и, опрокинув навзничь Фолавриль, бросился на нее. Она обвилась вокруг него, как белокурое гибкое растение, шепча что-то ласковое.

Было слышно только их дыхание и жалобы ветра, который завывал за окном и раздавал хлесткие пощечины деревьям. Солнце теперь то и дело пряталось за тучи, а ветер разгонял их, как полиция забастовщиков.

Руки Лазурита крепко сжимали вздрагивающее тело Фолавриль. Открыв глаза, Сапфир увидел ее грудь, прижавшуюся к его груди, от объятия тенистая ложбинка между сосками стала чуть влажной.

Вдруг иная тень заставила его вздрогнуть. Внезапно вспыхнувшее солнце высветило на фоне окна силуэт печального человека в темном, который смотрел на них.

Лазурит тихо застонал и крепче сжал свою золотоволосую подругу. Он хотел закрыть глаза, но веки не слушались его. Человек не двигался с места. Безразлично, с легким укором, он смотрел и ждал.

Лазурит отпустил Фолавриль, нащупал под подушкой нож, тщательно прицелился и метнул его.

Клинок вонзился в бледную шею человека по самую рукоятку. Потекла кровь, но человек не шелохнулся. Когда кровь полилась на пол, он покачнулся и рухнул навзничь. Едва лишь он коснулся пола, ветер завыл сильнее и заглушил звук падения. Но Лазурит почувствовал, как задрожал паркет. Он вырвался из объятий Фолавриль, которая пыталась его удержать, и, шатаясь, подошел к телу. Резким движением он выдернул нож из раны.

Заскрипев от ярости зубами, обернулся и увидел, что за его спиной стоит темный человек, такой же, как и трое остальных. Он занес нож и бросился на него. На этот раз он поразил его прямо в грудь. В этот момент еще один человек возник справа, и еще один — перед ним.

Фолавриль сидела на кровати с расширившимися от ужаса глазами и зажимала себе рот, чтобы сдержать крик. Но когда она увидела, что Лазурит вонзил себе нож в самое сердце, она страшно закричала. Сапфир упал на колени. Он пытался поднять голову, и след его окровавленной руки отпечатался на паркете. Он рычал,

как зверь, и при дыхании какое-то бульканье вырывалось из его груди. Он хотел что-то сказать, но начал кашлять. Он кашлял кровью, кровь толчками вырывалась из горла, заливая все вокруг. Скривив рот, он жалобно всхлипнул, рука подломилась, и он рухнул. Нож уперся об пол рукояткой, и лезвие вышло с другой стороны, прорвав кожу на обнаженной спине Лазурита. Больше он не шелохнулся.

И тогда Фолавриль увидела все остальные трупы. Один лежал на коврикe на полу, другой — у изголовья кровати, третий, с ужасной раной на шее, возле окна; и все раны, зияющие на их телах, проявились на теле Лазурита. Последнего человека Лазурит убил ударом ножа прямо в глаз. И когда Фолавриль бросилась к своему возлюбленному, пытаясь вдохнуть в него жизнь, его правый глаз зиял, как черная клоака.

На улице нарастал грозный шум душного дня — предвестник грозы. Фолавриль молчала. Ее губы дрожали, словно она озябла. Она встала, машинально оделась, не сводя глаз с неотличимых друг от друга трупов. Затем взглянула пристальнее — один из людей в темном, лежащий на животе примерно в такой же позе, как Лазурит, был до смешного похож на него в профиль. Тот же нос, тот же лоб. Шляпа слетела, и волосы тоже были такие же, как у Лазурита. Фолавриль почувствовала, что сходит с ума. Она беззвучно плакала, не смея пошевелиться: все убитые были вылитыми Лазуритами. Вдруг она заметила, что человек, убитый первым, расплывается и его силуэт тонет в дымке. Превращение совершалось на глазах: фигура растаяла в воздухе, черное одеяние превратилось в волны тумана, и стало видно, что и тело двойника было таким же, как тело Сапфира. Но вот уже только серая дымка струилась над полом и выплывала через щели в окне на улицу. Началось превращение второго трупа. Окаменевшая от страха, Фолавриль застыла в ожидании. Наконец она решилась взглянуть на Лазурита. Страшные раны на его теле исчезали по мере того, как убитые один за другим превращались в туман.

В комнате не осталось никого, кроме Фолавриль и Лазурита, который стал таким же юным и прекрасным в смерти, каким был при жизни. Его лицо было спокойным и умиротворенным. Правый глаз тускло блестел из-под длинных опущенных ресниц. Только маленький стальной треугольник выделялся на мощной спине странным пятном.

Фолавриль шагнула к двери. В комнате все было неподвижно. Последняя струйка серого дыма вкрадчиво и незаметно скользнула по подоконнику. Фолавриль кинулась к выходу,

выскочила, захлопнув дверь, и побежала по коридору на лестницу. Сильный порыв ветра неся по улице, раздался страшный удар грома, и тяжелые капли дождя застучали по крыше. Ярko вспыхнула молния, снова загредел гром; Фолавриль сбежала по лестнице и ворвалась в комнату Лиль. Тут она закрыла глаза: молния вспыхнула сильнее прежнего, оглушительно грянул гром. Дом зашатался, как будто огромный кулак обрушился на крышу. И от внезапной тишины у Фолавриль заложило уши, как при погружении на большую глубину.

ГЛАВА XXX

Фолавриль лежала на кровати подруги. Лиль сидела рядом и смотрела на нее с жалостью и нежностью. Фолавриль плакала навзрыд и держала Лиль за руку.

— Что случилось? — спросила Лиль. — Там всего лишь гроза, Фоль, не принимайте это так близко к сердцу.

— Лазурит умер, — сказала Фолавриль.

Она перестала плакать, села на кровати. Ее глаза были мутными и бессмысленными; казалось, она не понимает, что происходит вокруг.

— Что вы, — сказала Лиль, — это невозможно.

Она почувствовала, как в ней все сразу притупилось и замерло. Лазурит не мог умереть, это неправда.

— Он мертвый там, наверху. Он лежит на полу, голый, у него в спине лезвие ножа. А остальные исчезли.

— Что за остальные? — спросила Лиль.

Бредит Фолавриль или нет? Рука у нее не такая уж горячая.

— Люди в черном, — сказала Фолавриль. — Он пытался их всех убить, а когда понял, что не может, убил себя. И тут я их увидела. А я думала, что мой Лазурит сошел с ума. Но я сама их увидела, Лиль, когда он упал.

— А какие они были? — спросила Лиль.

Она не осмеливалась спрашивать о Лазурите. Лазурит еще наверху, с этим лезвием в спине. Мертвый. Она встала, не ожидая ответа.

— Надо пойти туда, — сказала она.

— Я боюсь, — сказала Фолавриль. — Они рассеялись, как дым, и они все были похожи на Лазурита. Очень похожи.

Лиль пожала плечами.

— Это какие-то сказки. Что у вас произошло? Вы отвергли его, и он убил себя, да?

Фолавриль оторопело уставилась на нее.

— Ох, Лиль! — сказала она и снова принялась рыдать.

Лиль встала.

— Нельзя оставлять его там одного, — прошептала она. —
Надо вынести его оттуда.

Фолавриль тоже встала.

— Я пойду с вами, — сказала она.

Лиль потерянно посмотрела на подругу.

— Лазурит не умер, — прошептала она. — Так не умирают.

— Он убил себя, — сказала Фолавриль. — А я так любила,
когда он меня целовал.

— Бедная девочка, — сказала Лиль.

— Они слишком сложные, — сказала Фолавриль. — Я бы так
хотела, чтобы всего этого не было, чтобы сегодня было все еще вчера
или сейчас было утро, и он меня целовал... Ох, Лиль!

Она последовала за Лиль, которая открыла дверь и вышла. Прислушавшись, Лиль решительно поднялась по лестнице. Слева была комната Фолавриль, справа — комната Лазурита. Слева была комната Фолавриль, а справа...

— Фолавриль, что случилось?

— Не знаю, — ответила Фолавриль, прижавшись к ней.

Там, где была комната Лазурита, осталась только часть крыши, нависшая над коридором, похожим теперь на лоджию.

— Где комната Лазурита? — спросила Лиль.

— Не знаю, — сказала Фолавриль. — Я не знаю, Лиль. Я хочу
уйти отсюда. Лиль, мне страшно.

Лиль открыла дверь комнаты Фолавриль. Ничего не изменилось: туалетный столик, шкаф, кровать. Идеальный порядок, легкий запах жасмина. Лиль и Фолавриль вышли. Из коридора теперь видна была черепичная крыша. Одна черепица в шестом ряду была разбита.

— Это гроза, — сказала Лиль. — Гроза унесла Лазурита и его комнату.

— Нет, — сказала Фолавриль.

Ее глаза были сухи. Она внутренне сжалась.

— Все правильно, — наконец проговорила она. — Не было никакой комнаты, и Лазурита тоже не было. И я никого не любила. Я хочу уйти отсюда, Лиль, пойдите со мной.

— Лазурит... — сдавленно прошептала Лиль.

Пораженная ужасом, она спустилась по лестнице. Открывая дверь своей комнаты, она едва осмелилась взяться за ручку, в страхе, что та рассеется в воздухе. Проходя мимо окна, Лиль вздрогнула.

— Жуть берет от этой красной травы.

ГЛАВА XXXI

Очутившись на берегу моря, Вольф глубоко вдохнул соленый воздух и потянулся. Перед ним, насколько хватало глаз, спокойно катил свои воды бесконечный океан, сзади расстилался песчаный пляж. Вольф разделся и вошел в воду. Она была теплой и ласковой, мокрый песок нежил ноги, как серо-коричневый бархат. Дно полого спускалось, и Вольфу пришлось долго идти, чтобы войти по шею. Вода была чистой и прозрачной. Вольф видел, как его ноги, которые казались в воде большими и белыми, взметали клубы песка при каждом шаге. Он поплыл, приоткрыв рот, чтобы почувствовать обжигающий вкус морской соли, и время от времени нырял, чтобы ощутить себя целиком в воде. Вольф долго плескался, потом повернул к берегу. Он увидел, что рядом с его вещами появились две черные фигуры, которые неподвижно сидели на хлипких складных стульях с желтыми ножками. Они сели к нему спиной, и поэтому Вольф, не стесняясь, вышел голышом на берег и подошел к своей одежде. Когда он уже был в пристойном виде, две старые дамы обернулись, как будто движимые неким тайным инстинктом. На них были бесформенные черные соломенные шляпки и выцветшие шали, какие старые дамы обычно носят на пляже. Каждая держала в руках вышитую крестиком сумочку с рукодельем. Более пожилая была в белых бумажных чулках и опорках из серой облезлой кожи а la Карл IX. На другой были ветхие сандалии, и под ее черными чулками проглядывал эластичный бинт от варикозного расширения вен.

Рядом с ними Вольф заметил медную пластинку. Ту, что была в опорках, звали мадмуазель Элоиза, а другую — мадмуазель Аглая. Обе носили пенсне с оправой из голубоватой стали.

— Это вы — господин Вольф? — спросила мадмуазель Элоиза. — Нам поручено задать вам ряд вопросов.

— Да, — подтвердила мадмуазель Аглая, — ряд вопросов.

Вольф с усилием восстановил в памяти план, который уже успел позабыть, и вздрогнул от ужаса.

— О... о любви? — спросил он.

— Разумеется, — сказала мадмуазель Элоиза. — Мы специалисты в этом деле.

— Специалисты, — заключила мадмуазель Аглая.

Тут она заметила, что ее щиколотки чересчур открыты, и стыдливо одернула платье.

— Я ничего не смогу вам рассказать, — пробормотал Вольф, — я никогда не решусь...

— Не бойтесь, — сказала Элоиза, — мы готовы выслушать все, что угодно.

— Все, что угодно, — заверила Аглая.

Вольф поглядел на песок, море и солнце.

— Об этом как-то не хочется говорить на пляже, — сказал он.

Впрочем, как раз на пляже он впервые почувствовал в женщинах некую тайну. Вместе со своим дядей он проходил мимо кабинок для переодевания, и из одной вышла молодая дама. Вольф считал неприличным разглядывать женщину моложе двадцати пяти лет, но дядя обернулся и доверительным тоном отпустил какое-то замечание по поводу красоты ее ног.

— Как ты это видишь? — спросил Вольф.

— Так и вижу, — усмехнулся дядя.

— Я не в состоянии это понять.

— Глупости, — сказал дядя, — поймешь, когда будешь старше.

Это странно взволновало Вольфа. Может быть, однажды он проснется и будет знать: у этой красивые ноги, а у той нет. Что, интересно, чувствуешь, когда переходишь из категории тех, кто еще не знает, в категорию тех, кто уже знает?

— Итак? — голос мадмуазель Аглаи вернул его к действительности. — Вам нравились девочки вашего возраста?

— Они волновали меня, — сказал Вольф. — Мне очень нравилось касаться их волос и шеи. На большее я не осмеливался. Мои друзья уверяли, что к двенадцати годам уже познали женщину; то ли я задержался в развитии, то ли мне не представилось случая. Но я думаю, что даже если бы я захотел, я бы сдержался.

— Почему же? — спросила мадмуазель Элоиза.

Вольф немного подумал.

— Послушайте, — сказал он, — я боюсь во всем этом запутаться. Можно, я немножко подумаю?

Они терпеливо ждали. Мадмуазель Элоиза вынула из своей сумки коробку зеленых леденцов. Аглая взяла, а Вольф отказался.

— Вот как в общих чертах развивались мои отношения с девушками до того, как я женился. В начале всегда было желание... конечно же, я не помню, когда первый раз влюбился... Очень давно... мне было лет пять или шесть, и я даже не помню, в кого... в какую-то даму в вечернем платье, которая была в гостях у моих родителей.

Он засмеялся.

— Я ей не признался в тот вечер. И ни в какой другой. Но я жаждал. Я был тяжел на подъем, но некоторые детали меня завораживали. Голос, кожа, волосы... Женщины так красивы.

Мадмуазель Элоиза кашлянула, а мадмуазель Аглая потупилась.

— Грудь меня тоже весьма возбуждала, — сказал Вольф. — Что же до всего остального, мое... сексуальное пробуждение произошло не раньше, чем к четырнадцати-пятнадцати годам. Кое-что я слышал от товарищей, впрочем, мои знания были крайне приблизительны... я... мне неудобно, сударыни.

Элоиза жестом подбодрила его.

— Ничего-ничего, мы готовы выслушать все, что угодно, повторяю вам.

— Мы работали сестрами милосердия, — добавила Аглая.

— Тогда я продолжаю, — сказал Вольф. — Мне хотелось к ним прижаться, потрогать их грудь, ягодицы. Половые органы волновали меня меньше. Я мечтал об очень толстых женщинах, в которых утопаешь, как в перине. И об очень стройных, о негритянках. Я думаю, все мальчики через это прошли. Но в моих воображаемых оргиях большую роль играл поцелуй, чем половой акт... под поцелуем я разумею довольно широкий спектр действий.

— Хорошо, хорошо, — сказала Аглая, — мы установили, что вы любили женщин. И в чем это проявлялось?

— Не будем торопиться, — сказал Вольф. — Слишком многое меня сдерживало...

— Что же именно? — спросила Элоиза.

— Ужасная глупость, — вздохнул Вольф. — Несусветная чушь... Я не отличал истинного от ложного... причины от предлогов. Вот, например, учеба. Я считал, что она важнее.

— Вы и сейчас так считаете? — сказала Аглая.

— Нет. Но я и не обольщаюсь. Если бы я тогда пренебрегал учебой ради девушек, я бы сейчас тоже жалел об этом. Потом гордость.

— Гордость? — переспросила Элоиза.

— Когда я вижу женщину, которая мне нравится, мне никогда не приходит в голову сказать ей об этом. Я думаю: раз она нравится мне, значит, нравится и кому-то еще, и меня ужасает мысль занять место кого-то, кто не хуже меня.

— Где вы тут видите гордость? — удивилась Аглая. — Милый мой, это скорее скромность.

— Я понимаю, что он хочет сказать, — объяснила Элои-

за. — То, что вы находите привлекательной женщину, которая нравится и другим, значило для вас считать свой вкус безупречным.

— Да, я так думал, — согласился Вольф, — и при этом все же полагал, что могу судить не хуже любого другого.

— Вам это было лестно, — сказала Элоиза.

— О чем и речь, — ответил Вольф.

— Какой странный подход, — продолжала Элоиза. — Не проще ли было, если вам нравилась женщина, откровенно сказать ей об этом?

— Тут мы дошли до третьей причины — или предлога — для моей сдержанности, — сказал Вольф. — Если я встречал женщину, которая меня пленяла, первым моим побуждением действительно было признаться ей в этом. Но представьте себе, я ей скажу: «Не хотите ли заняться любовью со мной?» Неужели она честно ответит «да» или «нет»? Они же вечно начинают ломаться, строить из себя недотрог, говорят какую-то чушь... или просто смеются.

— Но если женщина спросит то же самое у мужчины, будет ли он более честен? — заспорила Аглая.

— Мужчины всегда соглашаются.

— Хорошо, — сказала Элоиза, — но не путайте искренность с грубостью. Ваша манера выражаться в данном случае немного бесцеремонна.

— Уверяю вас, — сказал Вольф, — что на тот же вопрос, выраженный в вежливой форме, четкого ответа все равно не добьешься.

— Нужно быть галантным, — кокетливо заметила Аглая.

— Послушайте, — сказал Вольф, — я никогда не заговаривал с незнакомками, поскольку считал, что женщина имеет такое же право на выбор, как и я, а еще меня ужасала перспектива ухаживания испытанным способом, то есть разговоры о лунном свете, о тайне ее взгляда и глубине улыбки. Я-то в этот момент думал о ее груди, о ее коже или прикидывал, окажется ли она натуральной блондинкой, если ее раздеть. Что касается галантности, то, если признавать равенство полов, — достаточно просто вежливости, и нет никаких оснований обращаться с женщиной вежливее, чем с мужчиной. Все-таки женщины лживы.

— Как им было не стать такими в обществе, которое их притесняло? — сказала Элоиза.

— Вы несете околесицу, — добавила Аглая. — Вы относитесь к ним так, словно не было веков рабства.

— Возможно, они похожи на нас, — сказал Вольф, — поэтому

я и хочу, чтобы женщины научились выбирать, но они уже привыкли к другой тактике. Увы! Они не смогут вырваться из рабства, если не начнут вести себя по-другому.

— Тому, кто идет первым, всегда приходится трудно, — сентенциозно произнесла Аглая. — Вы доказали это, предъявляя к ним такие требования, и были правы.

— Да, — сказал Вольф, — но те, кто правы, всегда виноваты. Потому-то во все века убивали пророков.

— Но все же признайте, — сказала Элоиза, — что, несмотря на некоторую вполне извинительную сдержанность, женщины достаточно откровенно могут дать вам понять, что вы им нравитесь, если это действительно так.

— Чем же это? — спросил Вольф.

— Взглядом, — томно произнесла Элоиза.

Вольф ухмыльнулся.

— Вы уж меня извините, — ответил он, — но чего никогда не умел, так это читать во взгляде.

Аглая сурово посмотрела на него.

— Скажите лучше, что никогда не осмеливались, — презрительно сказала она. — Или просто трусили.

Вольф, смутившись, взглянул на нее. Что-то в ее поведении встревожило его.

— Именно так, — с усилием признался он. — Я хотел об этом сказать.

Он вздохнул.

— Еще одним я обязан своим родителям: боязнь подцепить какую-нибудь болезнь. Этот страх был столь же сильным, как и желание переспать со всеми девушками, которые мне нравились. И тогда я успокаивал себя вышеупомянутыми отговорками, о которых вам рассказывал: стремление не запускать учебу, опасение показаться навязчивым и отвращение к общепринятым способам ухаживания за женщинами — за всем этим по сути стоял страх. Причиной его были всякие истории, которыми меня пичкали в детстве и юности под видом широты взглядов: мне сразу объяснили, чем я рискую.

— И что из этого последовало?

— Из этого последовало, что, несмотря на мои желания, я оставался невинным, и, так же как в семь лет, мое брненное тело радовалось привычным запретам, против которых якобы боролся мой дух.

— Вы были верны себе... — заметила Аглая.

— В основе своей, — сказал Вольф, — все организмы похожи один на другой, у них одинаковые реакции и одинаковые

потребности; плюс еще понятия, которыми вы обязаны своему окружению и которые худо-бедно приспособливаются к вашим реакциям и потребностям. Можно, конечно, попытаться отступить от усвоенных норм. Иногда это удается, но с возрастом моральный скелет окостеневает...

— Смотри-ка, — сказала Элоиза, — вы становитесь серьезным. Расскажите нам лучше о вашей первой страсти.

— Глупая просьба, — сказал Вольф. — О какой страсти может идти речь? Игра запретов и ложных идей привела меня к более или менее осознанному выбору девушки из своего круга, выросшей примерно в таких же условиях; я мог быть уверен, что она здорова, вероятно, даже девственна, и, в случае необходимости, можно будет и жениться... Все те же правила, внушенные родителями: лишний свитер не повредит, пар костей не ломит. А для того, чтобы возникла страсть, каждый должен жадно стремиться к тому, чего он лишен и что в избытке есть у другого, союз должен быть внезапным и бурным, как химическая реакция соединения.

— Милый юноша, — сказала Аглая, — я была учительницей химии и могу вам напомнить, что существуют цепные реакции, которые начинаются очень медленно и, сами собой набирая силу, заканчиваются порой взрывом.

— Мои принципы представляли собой изрядное собрание антикатализаторов, — улыбнулся в ответ Вольф. — Цепная реакция тут бы тоже не прошла.

— В общем, страсти не было? — спросила Элоиза, заметно разочарованная.

— Я встречал женщин, — сказал Вольф, — к которым я мог бы испытывать страсть; но до женитьбы мной руководило в основном чувство самосохранения. После же это было чистой воды малодушие и добавился еще один мотив: я боялся причинить боль. Красиво, не правда ли? Я приносил себя в жертву. Кому? Для кого? Кому это было нужно? Никому. В действительности это была не жертва, а наипростейшее решение.

— Это правда, — сказала Аглая. — Теперь — ваша жена. Рассказывайте.

— Ну послушайте, — сказал Вольф, — после всего, что я тут наговорил, легче легкого понять мотивы моей женитьбы и ее особенности.

— Это нетрудно, — сказала Аглая, — но все же мы хотели, чтобы вы сделали это сами. Мы здесь ради вас.

— Ну что ж, — сказал Вольф. — Ладно. Мотивы? Я женился, поскольку физически нуждался в женщине. Мое отвращение

ко лжи и всяческому ухаживанию вынуждало меня жениться молодым, чтобы нравиться просто так. Я нашел одну особу, которую, как мне казалось, полюбил и которая подходила мне по своему воспитанию и образу жизни. Я женился, почти не зная до этого женщин, — и что в итоге? Никакой страсти, вялое обладание слишком целомудренной женщиной, вскоре мне это надоело... Когда она, наконец, этим заинтересовалась, я уже слишком устал, чтобы ее осчастливить. Слишком устал от ожиданий страсти, которой жаждал вопреки всякой логике. Моя жена была красива. Она мне нравилась, я желал ей добра. Этого оказалось недостаточно. Больше я вам ничего не скажу.

— Что вы, — запротестовала Элоиза, — говорить о любви — это так прекрасно!

— Да, может быть, — сказал Вольф. — Вы очень милы, но по зрелом размышлении мне все же представляется неприличным рассказывать такие вещи барышням. Я пойду искупаюсь. Мое почтение.

Он повернулся и направился к морю. Он заплыл глубоко и нырнул, открыв глаза в воде, взбаламученной песком.

Он пришел в себя, очутившись среди красной травы Квадрата. Сзади зловеще зияла дверь клетки.

Он грузно встал, снял свое снаряжение и сложил его в шкаф. Все увиденное вылетело у него из головы. Он шатался, как пьяный, едва удерживая равновесие. Впервые он спросил себя: а можно ли жить, когда разрушены все воспоминания? Эта мысль вихрем пронеслась у него в голове. Сколько же ему еще осталось сеансов?

ГЛАВА XXXII

Подходя к дому, Вольф едва обратил внимание, что крыша слегка накренилась. Он шел, не думая ни о чем, ничего не видя перед собой. Он только смутно ждал чего-то. Что-то должно было произойти. Подойдя ближе, он заметил, что дом выглядит довольно странно, поскольку куда-то исчезла часть второго этажа.

Он вошел в дом. Лиль занималась какой-то ерундой. Она только что спустилась сверху.

— Что случилось? — спросил Вольф.

— Ты же видел, — тихо сказала Лиль.

— Где Лазурит?

— Там больше ничего нет. Его комната исчезла вместе с ним, вот и все.

— А Фолавриль?

— Она лежит в нашей спальне. Не беспокой ее, она еще не оправилась от этой истории.

— Что за история?

— Ох, не знаю, — сказала Лиль. — Спросишь у Фолавриль, когда она будет в состоянии говорить.

— Она тебе ничего не сказала? — настаивал Вольф.

— Сказала, — ответила Лиль, — но я ничего не поняла. Я, наверное, глупая.

— Да нет, — вежливо сказал Вольф. — Опять, что ли, появлялся тот тип, что пялился на него? — продолжил он, помолчав. — А Сапфир вспыл и поссорился с Фолавриль?

— Нет, — сказала Лиль. — Он подрался с ним и в конце концов ранил себя, упав на нож. Фолавриль считает, что он умышленно нанес себе удар, но скорей всего, это несчастный случай. И, кажется, там был не один человек, а несколько, все похожие на Лазурита, и они исчезли, когда он умер. В общем, история — хоть стой, хоть падай.

— Мы и так уже встали, — сказал Вольф. — Надо заняться чем-нибудь другим. Например, упасть и поспать.

— А потом молния ударила в его комнату, и все исчезло вместе с ним.

— Значит, Фолавриль там не было?

— Она в тот момент спустилась ко мне за помощью.

Вольф подумал, что у грозы бывают странные проявления.

— У грозы бывают странные проявления, — сказал он.

— Да, — сказала Лиль.

— Я помню, как-то раз, когда я охотился на лисицу, ударила молния, и лисица превратилась в земляного червя.

— Да? — безразлично сказала Лиль.

— А в другой раз, — сказал Вольф, — во время грозы на дороге видели совершенно голого человека, выкрашенного голубой краской. А потом его облик изменился. Он превратился в автомобиль. А когда в него сели, он поехал.

— Да, — сказала Лиль.

Вольф умолк. Нет больше Лазурита. Надо все-таки подняться к себе, ведь ничего уже не изменишь. Лиль постелила скатерть и открыла буфет с посудой. Расставила на столе тарелки и стаканы.

— Дай мне большую хрустальную салатницу, — сказала она. Это была ваза, которой Лиль очень дорожила. Очень красивая, дорогая вещь, довольно, впрочем, тяжелая.

Вольф наклонился и взял салатницу. Лиль все еще раскла-

дывала приборы. Он поднес салатницу к окну и полюбовался игрой света в гранях. Потом ему это надоело, и он отпустил вазу. Она упала на землю и, задребезжав, разбилась в белую сверкающую пыль.

Лиль оторопело взглянула на Вольфа.

— А мне все равно, — сказал он. — Я сделал это нарочно и вижу, что мне все равно. Даже если тебе неприятно. Я знаю, что тебе очень неприятно, и тем не менее ничего не чувствую. А теперь я ухожу. Мне пора.

Он вышел не обернувшись. Его голова промелькнула в окне.

Лиль в смятении не стала его удерживать. Решение уже созрело. Они уйдут из дома вместе с Фолавриль, уйдут вдвоем.

— По сути дела, — произнесла она вслух, — они не созданы для нас. Они созданы для себя. А мы — просто так, ни для чего.

Она попросит служанку Маргариту присмотреть за Вольфом, когда он вернется. Если он вернется.

ГЛАВА XXXIII

Едва захлопнув за собой дверь кабины, Вольф почувствовал невыносимую тяжесть. Набухший воздух с трудом проникал в его жаждущие легкие, виски словно сжало стальным обручем. Нежные струи касались его лица, и вдруг он обнаружил, что очутился в воде, мутной от песка. Впереди была голубая воздушная пелена воздуха, и Вольф безнадежно поплыл к ней. Мимо мелькнул силуэт, затянутый в белый шелк. Машинально Вольф провел рукой по волосам и вынырнул. Когда он открыл глаза, задыхаясь и отряхиваясь от струящейся по лицу воды, он увидел прямо перед собой улыбку и кудрявые темные волосы молодой девушки, бронзовой от загара. Она быстро плыла к берегу. Вольф повернулся и поплыл за ней. Пожилых дам на берегу уже не было. Однако на некотором расстоянии от него, посреди пляжа, виднелась маленькая будка, которую он сначала не заметил. Вольф решил, что разберется с этим позже. Он зашагал по золотистому песку и подошел к девушке. Она стояла на коленях и подвязывала свой купальник так, чтобы загорели полосы от лямок. Вольф растянулся на песке рядом с ней.

— А где ваша медная табличка? — спросил он.

Она подняла левую руку.

— Я ношу ее на запястье, — сказала она. — Это не так официально. Меня зовут Карла.

— Вы появились, чтобы закончить интервью? — спросил Вольф с легкой горечью.

— Да, — сказала Карла. — Может быть, вы решитесь сказать мне то, что не смогли сказать моим тетушкам.

— Эти две дамы были ваши тетушки? — спросил Вольф.

— А что, мы даже отчасти похожи, — ответила Карла. — Вы не находите?

— Ужасные пиявки, — сказал Вольф.

— Ну, — сказала Карла, — раньше вы были более расположены к людям.

— Старые бесстыдницы!

— Пожалуй, вы преувеличиваете, — сказала Карла. — Они у вас ничего такого не спросили.

— Они сгорали от любопытства, — сказал Вольф.

— Кто же тогда достоин вашего расположения? — спросила Карла.

— Я уж не знаю, — ответил Вольф. — Была одна птица, она жила в кусте шиповника под моим окном и будила меня по утрам, стуча клювом в стекло. Была еще серая мышка, она прогуливалась возле меня по ночам и ела сахар, который я ей оставлял на столике у кровати. А еще была черно-белая кошка, ходила за мной по пятам и звала родителей, если я слишком высоко залезал на дерево и не мог слезть...

— Только звери, — констатировала Карла.

— Вот почему мне так хотелось сделать приятное Сенатору. Из-за птички, мышки и кошки.

— Скажите, — спросила Карла, — вы очень страдали, когда влюблялись в какую-нибудь девушку?.. Я хочу сказать, страстно влюблялись... И не добивались ее?

— Это сначала меня задевало, а потом перестало, я решил, что мелко и ничтожно мучиться не до смерти, и мне надоело быть ничтожным.

— Вы всегда сопротивлялись своим желаниям. Это даже забавно. Почему вы никогда не шли им навстречу?

— Мои желания всегда втягивали в игру кого-то еще.

— И конечно, вы никогда не умели читать во взгляде, — добавила Карла.

Он взглянул на нее: она была так близко, свежая, золотистая; пушистые ресницы прикрывали желтые глаза. Ее глаза, в которых Вольф теперь мог читать лучше, чем в раскрытой книге.

— Книга эта, — сказал он, чтобы избавиться от наваждения, — кажется, написана на непонятном мне языке.

Карла засмеялась, не повернув к нему головы. Выражение ее лица изменилось. Теперь было слишком поздно. Да, поздно.

— Вы всегда могли сопротивляться вашим желаниям, — сказала она. — И сейчас можете. Потому-то вы и умрете разочарованным.

Она встала, потянулась и вошла в воду. Вольф провожал ее взглядом, пока вода не сомкнулась над ее головой. Он ничего не понимал. Подождал немного: никто не появлялся. Недоумевая, он тоже поднялся. Он подумал о своей жене, о Лиль. Кто он сейчас для нее: посторонний? или уже мертвый?

Вольф вяло брел по вязкому песку пляжа. Разочаровавший и опустошивший сам себя. Его руки бессильно повисли, он весь взмок под палящим солнцем. Вдруг перед ним возникла тень. Тень будки. Вольф устремился туда. В будке было окошко, в котором виднелось морщинистое лицо чиновника в желтом канотье, крахмальном воротничке и узком черном галстуке.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил старик.

— Жду, когда вы зададите мне вопросы, — сказал Вольф, машинально опершись на выступ.

— Вы должны заплатить за вход.

— За что?

— Вы искупались, должны заплатить за вход.

— Чем заплатить? — спросил Вольф. — У меня нет денег.

— Вы должны заплатить за вход, — повторил старик.

Вольф задумался. Ему было хорошо в тени. Без сомнения, это последний или предпоследний пункт в том проклятом плане.

— Как ваше имя? — спросил он.

— Сначала надо заплатить, — твердил чиновник.

Вольф засмеялся.

— Нечем платить, — сказал он. — Так что я уйду, не заплатив.

— Нет, — сказал старик. — Вы не один на свете. Все платят, надо делать как все.

— А на что вы нужны? — спросил Вольф.

— Чтобы платили, — сказал чиновник. — Я делаю свое дело. А вы сделали свое? Вы-то на что нужны?

— Пора сводить счета с жизнью, — сказал Вольф.

— Вовсе нет, — отозвался старик, — нужно делать свое дело.

Вольф слегка потянул за край будки, и она поддалась.

— Послушайте, — сказал Вольф, — пока я не ушел. Бог с ними, с последними пунктами плана. Я вам их дарю. Я собираюсь тут кое-что изменить.

— Делать свое дело необходимо, — талдычил старик.

— Нет работы — нет безработицы, — сказал Вольф. — Так или не так?

— Нужно платить, — сказал старик. — Платить за вход. Не рассуждая.

Вольф усмехнулся.

— Я, пожалуй, уступлю своим инстинктам, — сказал он с воодушевлением. — В первый раз. Вернее, во второй. Я уже разбил хрустальную салатницу. Вы увидите сейчас, как вырвется наружу страсть всей моей жизни: ненависть к бесполезному.

Он навалился на будку и толкнул изо всех сил. Будка зашаталась и рухнула. Старик по-прежнему сидел на стуле в своем желтом канотье.

— Моя будка, — сказал он.

— Ваша будка валяется на земле, — объяснил Вольф.

— Вы за это ответите, — сказал старик. — Я буду жаловаться.

Вольф ухватил старика за шею и заставил его встать. Старик застонал.

— Пошли, — сказал Вольф. — Вместе будем жаловаться.

— Отпустите меня, — запричитал старик, пытаясь вырваться, — отпустите меня сейчас же, или я позову на помощь.

— Кого? — спросил Вольф. — Пойдемте лучше прогуляемся. Надо делать свое дело. Мое дело сейчас — увести вас отсюда.

Они шли по песку, рука Вольфа, как тиски, зажала шею старика, и тот, скрючившись, влачил за ним, загребая желтыми ботинками. Свинцовое солнце долбило их в затылки.

— Сначала увести вас отсюда, — повторил Вольф, — а затем опустить на землю.

Сказано — сделано. Старик тихонько подвывал от страха.

— Ведь вы бесполезны, — сказал Вольф. — Более того, вы мне мешаете. А я теперь решил избавляться от всего, что мне мешает. Ото всех воспоминаний. Ото всех препятствий. Вместо того, чтоб унижаться, сгибаться, насиловать себя, изнашиваться, стареть... Меня измучило все это! Ведь я старею, слышите меня! — завопил Вольф. — Я уже старше вас.

Он встал на колени рядом со стариком, который глядел на него обезумевшими глазами и ловил ртом воздух, как рыба, вынутая из воды. Вольф взял пригоршню песка и сунул ее в беззубый рот.

— Это за детство.

Старик отплевывался, давился и пускал слюни. Вольф взял вторую пригоршню.

— Это за религию.

От третьей пригоршни старик стал синеть.

— Это за учебу, — сказал Вольф. — А это за любовь. Вот, получайте, черт бы вас побрал!

Левой рукой он пригвоздил к земле дряхлую развалину. Развалина задыхалась и кряхтела.

— А это, — сказал Вольф, подражая голосу г-на Перла, — за вашу деятельность в качестве члена общества.

Правую руку он сжал в кулак и запихивал песок в десна своей жертвы.

— А последнее, — заключил Вольф, — я приберег для ваших метафизических поисков.

Но старик уже не двигался. Последняя горсть песка рассыпалась по его почерневшему лицу, скопившись вокруг выпученных, налитых кровью глаз. Вольф посмотрел на него.

— Кто может быть более одиноким, чем мертвый, — прошептал он. — И более терпимым? Эй, господин Брюль, кто может быть неприхотливей и терпеливей? Кто лучше соответствует своему назначению? Кто избавлен от любого беспокойства?

Он остановился.

— Пункт первый, — сказал он. — Нужно освободиться от всего, что вам мешает, и получить труп, то есть нечто совершенное и законченное. Весьма плодотворная операция. Можно сказать, одним ударом двух зайцев.

Вольф шагал по песку. Солнце спряталось, и легкая дымка поползла по земле, извиваясь серыми лентами. Вскоре он уже не мог различить в тумане свои босые ступни, но почувствовал, что почва под ногами стала твердой и каменистой.

— Мертвый, — продолжал Вольф, — это так прекрасно! Самое совершенное творение! У мертвого нет памяти. Все завершено. Человек не может быть совершенен, пока не умрет.

Дорога резко пошла в гору. Поднялся ветер и рассеял туман. Согнувшись и помогая себе руками, Вольф яростно карабкался вверх. Смеркалось, но он ясно видел перед собой скалистый пик, к которому тянулись ползучие растения.

— Конечно, со временем все забудется. Так тоже бывает. Но есть люди, которые не любят ждать.

Плотно прижавшись к камням, он поднимался по отвесной стене. Попал ногтем в трещину между камнями и сломал его. Отдернул руку: палец кровоточил.

— Если не любишь ждать и устал от самого себя, есть повод и смысл освободиться от всего этого и прийти к совершенству. Замкнуть круг.

Его мускулы напряглись от невероятных усилий, и упорно, как муха, он все полз по отвесной скале. Колючие растения исцарапали его с головы до ног. Задыхаясь, он подобрался к гребню.

— Можжевельовый огонь в очаге, сложенном из светлого кирпича, — сказал он вдруг.

В эту минуту Вольф достиг вершины скалы и, как во сне, почувствовал под руками холод стальной клетки; ветер хлестнул его по лицу. Он стоял нагишом на ледяном ветру, его била дрожь. Шквал ударил с такой силой, что он чуть было не разжал руки.

— Стоит лишь захотеть... — он стиснул зубы. — Я всегда мог сопротивляться своим желаниям...

Вольф опустил руки, его лицо разгладилось, мышцы расслабились.

— Но я умираю, потому что у меня их больше нет.

Ветер оторвал его от клетки и закружил в воздухе.

ГЛАВА XXXIV

— Ну, — сказала Лиль, — будем собирать вещи?

— Будем, — сказала Фолавриль.

У обеих был усталый вид.

— Теперь никаких серьезных мужчин.

— Ни за что, — сказала Лиль. — Только кошмарные бабники, которые танцуют, хорошо одеваются, всегда побриты и носят розовые шелковые носки.

— Для меня, пожалуйста, зеленые, — сказала Фолавриль.

— И ездят на машинах длиной двадцать пять метров, — сказала Лиль.

— Да, — сказала Фолавриль. — И они будут ползать перед нами на коленях.

— И на брюхе. И будут покупать нам норковые шубки, кружева, драгоценности и нанимать горничных.

— В крахмальных передниках.

— И мы не будем их любить. И не будем скрывать, что не любим. И ни разу не спросим, где они берут деньги.

— А если они будут чересчур умными, мы их бросим.

— Чудесно, — восхитилась Лиль. Она встала и на мгновение вышла. Вернулась она, волоча две большие сумки.

— Вот, по одной на каждую.

— Я никогда не смогу ее заполнить, — уверила ее Фолавриль.

— Я тоже, — сказала Лиль, — но так внушительней. К тому же полупустые они будут легче.

— А Вольф? — вдруг спросила Фолавриль.

— Его нет уже два дня, — очень спокойно ответила Лиль. — Он не вернется. Впрочем, мне он больше не нужен.

— Моя мечта, — задумчиво сказала Фолавриль, — моя мечта — выйти замуж за педераста с кучей денег.

ГЛАВА XXXV

Солнце было уже высоко, когда Лиль и Фолавриль вышли из дома. Обе были изысканно одеты. Немного вызывающе, но со вкусом. В конце концов они решили оставить тяжелые сумки в комнате Лиль. Их можно забрать потом.

Лиль была одета в шерстяное платье цвета перванш, которое чудно облегалo ее грудь и бедра. Сбоку был глубокий разрез, открывающий дымчато-серые чулки. Голубые туфельки с бантами, замшевая большая сумка соответствующего цвета и эгретка в белокурых волосах дополняли ее наряд. Фолавриль была в строгом черном костюме, блузке с пышным жабо, в длинных черных перчатках и черно-белой шляпе. На них трудно было не обратить внимание. Но никого не было в Квадрате, только Машина зловеще темнела на фоне неба.

Напоследок они решили еще раз взглянуть на Машину. Яма, в которой были погребены воспоминания, зияла перед ними, и, наклонившись, они увидели, что темная жидкость наполняла ее теперь почти до краев. На металле проступили следы коррозии, на редкость глубокие. Красная трава опять росла повсюду, где прежде Вольф и Лазурит расчистили место для своих аппаратов.

— Эта железка долго не протянет, — сказала Фолавриль.

— Еще одна вещь, которую он испортил, — отозвалась Лиль.

— Может быть, он достиг того, чего хотел, — заметила Фолавриль, явно думая о другом.

— Да, — рассеянно сказала Лиль, — может быть. Пойдем отсюда.

Они снова тронулись в путь.

— Пойдем в театр сразу, как только приедем в город, — сказала Лиль. — Я уже сто лет никуда не ходила.

— Ой, да, — подхватила Фолавриль. — мне так хотелось бы. А потом подыщем миленькую квартирку.

— Боже, — воскликнула Лиль, — как мы могли так долго жить с мужчинами!

— Это было чистое безумие, — согласилась Фолавриль.

Их каблучки застучали по дороге. И вот они вышли за стену Квадрата. Широкий прямоугольник опустел, и громадная стальная Машина начала тихо разваливаться по воле небесных гроз. В сотне шагов к западу от нее обнаженное тело Вольфа, почти невредимое, лежало лицом к солнцу. Голова, под неправдоподобным углом повернутая к плечу, казалось, не принадлежала телу.

Ничего не отражалось в его широко раскрытых глазах. Они были пусты.

БЛЮЗ ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА

Рассказы

I

Мы высадились сегодня с утра, и встретили нас паршиво — на побережье никого, только кучи мертвяков да ошметков от разбитых танков, грузовиков и парней. Пули сыпались со всех сторон, а я не любитель терпеть за здорово живешь такое безобразие. Мы спрыгнули в воду, там было глубже, чем казалось на взгляд, и я поскользнулся на консервной банке. Парню у меня за спиной снесло очередной пулей три четверти физиономии, и я прихватил консервную банку на память. Я сложил клочки его физиономии в свою каску и отдал ему, он отправился на перевязку, но, похоже, по дурной дорожке — ушел на глубину, а я не уверен, что под водой так уж хорошо видно и он не заблудится.

Потом я дунул куда ветер дует и подоспел как раз кстати: схлопотал ногой по морде. Я попробовал было разделить того типа под орех, но от него остались из-за мины одни никуда не годные куски, так что я плюнул на его фокусы и побежал дальше.

Метров через десять я наткнулся еще на троих парней: они засели за бетонной плитой и стреляли в выступ стены выше по склону. Они были потные и промокшие до нитки, и я, наверно, не лучше, так что я встал на колени и тоже начал стрелять. Вернулся лейтенант: он держался обеими руками за голову, а изо рта у него стекала красная струйка. Похоже, он был чем-то недоволен и без лишних слов растянулся на песке, разинув рот и вытянув вперед руки. Песок, наверно, здорово перепачкал. Тут было чуть ли не единственное чистое местечко на всем побережье.

Отсюда наш севший на мель корабль смотрелся сперва совершенно по-дурацки, а потом в него попали два снаряда, и смотреть стало вовсе не на что. Это мне не понравилось, потому что там осталось двое ребят; им влили пулю, когда они собирались

спрыгнуть в воду. Я хлопнул по плечу троицу, которая стреляла вместе со мной, и сказал: «Пошли, вперед». Само собой, вперед я пропустил их, нюх у меня что надо, ведь и первого и второго сняли двое тех, других, которые в нас палили, и передо мной остался только один, бедняга, не повезло ему — только избавился от самого большого негодяя, как другой его и ухлопал, прежде чем я успел заняться им самим.

У тех двух подонков за выступом стены был пулемет и куча патронов. Я развернул пулемет в противоположную сторону и нажал на гашетку, но скоро бросил это дело, потому что вконец оглох, и потом, его тут же заклинило. Их, наверно, специально так налаживают, чтобы против ветра не стреляли.

Тут было более или менее тихо. С высоты склона открывался хороший обзор. На море со всех сторон клубился дым и фонтаны воды взлетали очень высоко. Еще видны были вспышки залпов с тяжелых броненосцев, их снаряды летели над головой со странным глухим гулом, как будто сверлили в воздухе цилиндрическую гудящую дыру.

Пришел капитан. Нас осталось ровно одиннадцать. Он сказал, это не густо, но как-нибудь разберемся. Потом нам прислали пополнение. Пока же он приказал окопаться; я думал, это чтобы поспать, но нет — пришлось лезть в яму и стрелять дальше.

Слава Богу, небо расчищалось. Теперь ребята с кораблей высаживались прямо пачками, но тут рыбы стали мстить за переполох и бросаться им между ног, и большинство падали в воду и поднимаясь крыли все на чем свет стоит. А некоторые не поднимались, так и уплывали по волнам, и капитан тут же приказал двигаясь за танком подавить пулеметное гнездо — оно опять затарактело.

Мы пошли за танком. Я — замыкающим, потому что тормоза у этих машин лично мне доверия не внушают. Но за танком идти все-таки удобнее, не надо путаться в колючей проволоке, колья сами падают. Только мне не нравилось, как он давит трупы — с таким довольно характерным звуком, потом его уже трудно вспомнить. Не прошло и трех минут, как он подорвался на mine и заполыхал. Двое не смогли оттуда выбраться, а третий смог, но одна нога у него осталась в танке; не знаю, успел он это заметить перед смертью или нет. Короче, два снаряда уже попали в пулеметное гнездо и перебили там яйца и мужиков заодно. У тех, что высаживались с кораблей, дело пошло на лад, но тут еще начала лупить противотанковая батарея, и по крайней мере человек двадцать свалились в воду. Я растянулся на животе. Мне отсюда, если немножко свеситься вниз, было видно, как они на батарее стреляют. Горящий остов танка меня прикрывал, и я тщательно прицелился. Наводчик

упал, завертевшись волчком: я, наверно, попал чуть ниже, чем надо, но приканчивать его было некогда: сначала следовало снять остальных трех. Это мне стоило большого труда; по счастью, из-за треска горящего танка не было слышно, как они орут, — третьего я тоже с первого раза не уложил. Вокруг все было в разрывах снарядов и в дыму. Я хорошенько протер глаза, а то почти ничего не видел: глаза застилал пот. Тут вернулся капитан. У него действовала только левая рука. «Можете мне прибинтовать покрепче правую руку к туловищу?» Я ответил, что да, и стал обматывать его бинтами, а потом он со всеми потрохами взлетел на воздух и свалился мне на голову, потому что позади него упала граната. Он моментально окоченел — это бывает, когда умираешь смертельно усталый; так или иначе, но счищать его с себя в таком виде было удобнее. А потом я уже не мог не уснуть, а когда проснулся, бой громыхал в некотором отдалении и один из тех парней с красным крестом через всю каску наливал мне кофе.

II

После мы стали продвигаться в глубь территории и попытались применить на практике советы инструкторов и то, чему выучились на маневрах. Только что вернулся «джип» Майка. За рулем был Фред, а Майка разрезало пополам: они наскочили на проволоку. Сейчас на всех остальных тачках устанавливают спереди стальное лезвие, потому что кататься с поднятым ветровым стеклом слишком жарко. Пальба по-прежнему несется со всех сторон, и мы высылаем дозоры один за другим. По-моему, мы двигались быстрее, чем надо, и теперь трудно сохранять связь с базой снабжения. Те нам угробили сегодня утром по меньшей мере девять танков, и еще случилась потеха: у одного типа базука улетела вместе с ракетой, а она у него висела на ремне. Он подождал, пока поднимется на сорок метров над землей, и спустился вниз на парашюте. По-моему, скоро нам придется просить подкрепления: только что мне послышался как будто лязг громадного секатора — они, наверно, отсекали нас от тылов...

III

...Это мне напоминает, как они отрезали нас от тылов полгода назад. Сейчас мы, наверно, тоже в кольце, только лето уже прошло. Слава Богу, у нас еще есть еда и боеприпасы. Каждые два часа надо сменять часового и заступать на пост — это становится утомительно. Те, другие, отбирают форму у наших парней,

попавших в плен, и ходят одетые по-нашему, так что приходится быть начеку. В довершение всего нет электричества, а снаряды летят со всех сторон прямо в нас. В данную минуту пытаемся восстановить связь с тылом; пусть пошлют самолеты, а то сигареты скоро совсем кончатся. Снаружи какой-то шум — наверно, затевается что-то, теперь даже каску снять некогда.

IV

В самом деле что-то затевалось. К нам чуть ли не вплотную подошли четыре танка. Первый я увидел, когда выскакивал наружу: он тут же встал. Гранатой ему раскроило гусеницу, она мигом развернулась с чудовищным лязгом, но пушку у танка от такой малости не заклинит. Мы взялись за огнеметы. Противно, что при этом способе, прежде чем пустить в ход огнемет, надо сначала распилить башню танка, иначе она лопнет, как каштан в огне, и те, что внутри, плохо прожарятся. Мы втроем бросились распиливать башню ножовкой по металлу, но тут подоспели два других танка, и этот пришлось подорвать без распиловки. Второй тоже подорвался, а третий повернул назад, но это была военная хитрость, потому что шел он задним ходом, и мы еще удивлялись немножко, глядя, как он стреляет по тем, которые за ним бегут. Он нам преподнес в подарок дюжину 88-миллиметровых снарядов; теперь, если нам захочется еще пожить в старом доме, придется строить его заново, только быстрее выйдет занять другой. В конце концов мы избавились от третьего танка, зарядив базуку чихательным порошком; те, внутри, так колотились башкой о броню, что вытащили мы уже трупы. Один водитель подавал признаки жизни, но застрял головой в баранке и не мог ее вытащить, и мы, чем портить совсем целый танк, отрезали этому типу голову. За танком нагрянули мотоциклисты с ручными пулеметами и чуть не наломали дров, но мы их порубили и сложили в штабель. Еще за это время нам на голову свалилось несколько бомб и даже какой-то самолет — его сбила наша зенитная артиллерия, но не нарочно, потому что вообще-то она палила по танкам. В этом бою мы потеряли Саймона, Мортонна, Бака и командный пункт, но остались другие и еще рука от Слива.

V

Мы по-прежнему в окружении. Теперь вот третий день льет как из ведра. Черепицы на крыше сохранилась ровно половина, но капли падают как раз туда, куда надо, и всерьез мы пока не

промокли. Сколько это еще будет продолжаться, никому не известно. Мы все так же ходим в дозор, но глядеть в перископ без тренировки довольно трудно, а сидеть в грязи с головой дольше пятнадцати минут утомительно. Вчера наткнулись на другой дозор. Наши это были или противники, мы не поняли, но под грязью можно стрелять без всякого риска — вреда никакого, ружья сразу взрываются. Мы все испробовали, чтобы избавиться от этой грязи. Поливали ее бензином — если его зажечь, грязь подсыхает, зато потом не пройти: ноги спалишь. По-настоящему выход в том, чтобы докопаться до твердой земли, но в земле ходить в дозор еще труднее, чем в грязи. В конце концов как-нибудь, наверно, приспособимся. Противно, что натекло ее столько, что образуются болота. Пока еще ничего, она за порогом дома, но вот-вот, к несчастью, опять все зальет до второго этажа, а тут уж радости мало.

VI

Сегодня утром со мной вышла прескверная история. Я был под навесом, за сараем, и готовил славный гостинец парочке, которая старалась нас засечь, — их отлично было видно в бинокль. Я взял небольшой миномет 81-го калибра и начал прилаживать его к детской коляске, а Джонни должен был вырядиться крестьянкой и катить ее перед собой, но миномет грохнулся мне на ногу; ничего особенного, сейчас со мной все время такое случается, но потом, пока я, держась за ногу, катался по земле, он выстрелил, и одна такая штуковина с оперением ахнула по третьему этажу, прямоком по роялю капитана, который как раз сидел и играл холл-яву. Грохоту она наделала адского, рояль разлетелся в щепки, но всего обиднее, что с капитаном-то ничего не случилось — во всяком случае, ничего такого, что бы помешало ему как следует мне вмазать. К счастью, секундой позже в ту же комнату попал 88-миллиметровый снаряд. Капитану и в голову не пришло, что наводили по дымку от первого взрыва, и он сказал мне спасибо за то, что из-за меня ему пришлось спуститься, иначе сейчас бы он сыграл разве что в ящик. Но мне все было уже не интересно, потому что он выбил мне два зуба и еще потому, что ящик виски у него стоял как раз под роялем. Нас все плотней окружают, а сверху без конца что-то летит на голову. Слава Богу, немного распоживается, дождь льет всего восемнадцать часов в сутки — глядишь, через месячишко перебросят самолетом подкрепление. Провизии осталось на три дня.

VII

Нам стали сбрасывать с самолетов на парашютах какие-то штуковины. Первую я открыл — ничего хорошего, куча всяких лекарств внутри. Я на них выменял у доктора две плитки шоколада с орехами — хорошего, не то что эта дрянь пайковая — и полбутылки коньяка, но он отыгрался, когда приводил в порядок мою расплюснутую ногу. Пришлось отдать ему коньяк, не то нынче ходить бы мне на одной ноге. В небе опять что-то заурчало, потом легонько вспыхнуло — нам шлют еще парашюты, только на сей раз там вроде бы люди.

VIII

И в самом деле люди. Два больших шутника. Похоже, они всю дорогу упражнялись в приемах дзюдо, мордовали друг друга да катались клубком под сиденьями. Спрыгнули они одновременно и стали забавы ради резать друг у друга ножом парашютные стропы. К несчастью, их разнесло ветром, и им пришлось палить по стропам из винтовки. Таких классных стрелков редко когда встретишь. Минуту спустя мы их уже хоронили, потому что падать им было высоковато.

IX

Мы в кольце. Вернулись наши танки, и те, другие, дрогнули. Я со своей ногой не мог драться по-настоящему, но подбадривал своих. Очень возбуждающее было зрелище. Мне из окна было все прекрасно видно, а десантники, которых вчера сбросили, прямо из кожи вон лезли. У меня теперь есть шейный платок из парашютного шелка: желто-зеленые разводы на каштановом фоне, очень под цвет к моей бороде, но завтра я побреюсь: мне дали отпуск по ранению. Я так распалился, что запустил кирпичом в голову Джонни, который одного зевнул, и теперь у меня еще двух зубов не хватает. Эта война очень вредна для зубов.

X

Привычка притупляет любое впечатление. Это я сказал Югетте, — имена же у них! — когда танцевал с ней в Центре Красного Креста, и она заметила: «Вы самый настоящий герой», но ответить половчей я не успел, потому что Мак хлопнул меня по плечу и пришлось ему ее уступить. Другие по-нашему говорили плохо, и оркестр тутошний играл в чересчур быстром темпе. Нога еще бес-

покоит немножко, но через две недели — все, пора возвращаться. Я ухватился было за одну девицу из наших, но форменное сукно такое грубое, от него тоже все впечатления притупляются. Девочек здесь много, и они все-таки понимают, что им говоришь, так что мне пришлось краснеть, но делать с ними особенно нечего. Я вышел, немедленно нашел уйму других в ином роде, более понятливых, но это как минимум пятьсот франков, да и то потому, что я раненый. Забавно эти болтают с немецким акцентом.

Потом я потерял Мака и выпил много коньяка. Сегодня с утра у меня зверски болит голова в том месте, куда заехал тип из военной полиции. Деньги кончились, потому что под конец я купил у одного английского офицера французских сигарет: они мне влетели в копеечку. Только что я их выбросил — жуткая гадость, прав он был, что их сплавил.

XI

Когда вы выходите из магазинов Красного креста на улицу с картонкой, куда сложены сигареты, мыло, сладости и газеты, они смотрят вам вслед, я не могу понять, почему, ведь они наверняка продают свой коньяк за столько, что и сами могут все это купить, да и женщины у них тоже не дешевки. Нога моя почти совсем прошла. Не думаю, что застряну здесь надолго. Я продал сигареты, чтобы было немножко карманных денег, и потом перехватил у Мака, но он так просто не раскошеливается. Мне это все начинает надоедать. Сегодня вечером мы идем в кино с Жаклин, я с ней познакомился вчера вечером в клубе, но она, по-моему, не очень толковая, потому что каждый раз снимает мою руку, а когда танцует, совершенно не двигается. Солдаты здешние мне действуют на нервы — только дурака валяют, двоих в одинаковой форме не найдешь. В общем, нечего делать, надо ждать вечера.

XII

Опять я здесь. Все-таки в городе была еще не такая тягомотина. Вперед мы продвигаемся очень медленно. Как кончается артподготовка, так мы высылаем дозор, и каждый раз кто-нибудь из дозорных возвращается изуродованный — одиночные выстрелы. Тогда мы опять начинаем артподготовку, посылаем самолеты, они сметают все с лица земли, но не проходит и пары минут, как снова слышны одиночные выстрелы. В данную минуту возвращаются самолеты, я насчитал их семьдесят два. Не самые тяжелые бомбардировщики, но и деревня маленькая. Отсюда видно, как падают по спирали бомбы, а взрыв получается чуть приглу-

шенный, и поднимаются красивые столбы пыли. Скоро мы опять пойдем в атаку, но сперва надо выслать дозор. Повезло, само собой, мне, я готов. Придется тащиться пешком почти полтора километра, я не люблю так долго ходить, но на этой войне нас не спрашивают. Мы скрючились за грудой развалин, оставшейся от первых домов; по-моему, по всей деревне из конца в конец нет ни одного целого дома. Жителей, похоже, осталось не слишком много, и те, кого нам видно, строят кислые физиономии, когда есть из чего, но они же должны понимать, что мы не можем рисковать своими людьми, чтобы спасти их с домами в придачу; по большей части это никому не интересное старье. А потом, для них это единственный способ избавиться от тех, других. Впрочем, вообще-то они это понимают — правда, некоторые считают, что есть и другие способы. В конце концов, не наше это дело — может, они дорожили своим домом, только уж в теперешнем его состоянии наверняка дорожат не так сильно.

Иду дальше. Опять замыкающим: так безопаснее, а то первый у нас как раз свалился в воронку от бомбы, полную воды. Вылезает оттуда — полна каска пиявок. Еще он прихватил здоровенную и совершенно обалделую рыбину. Когда мы вернулись, Мак научил ее служить, но жевательная резинка ей не нравится.

XIII

Только что получил письмо от Жаклин; она, наверно, поручила отправить его кому-то из солдат, потому что конверт был как у нас. Чудная девица, честное слово, но у девиц, наверно, у всех мозги не так устроены. Со вчерашнего дня мы немного отступили, но завтра опять переходим в наступление. Кругом по-прежнему одни развалины деревень — просто тоска берет. Кто-то нашел новенький радиоприемник. Сейчас они пытаются его включить, но не знаю, в самом ли деле можно поставить вместо лампы огарок свечи или нет. Кажется, можно: я слышу, он играет «Чаттанугу», ее мы с Жаклин танцевали незадолго перед тем, как мне отправиться сюда. Если у меня будет еще время, скорей всего, я ей напишу. А теперь сам Спайк Джонс — такую музыку я тоже люблю, и мне бы так хотелось, чтобы все это кончилось и я бы пошел и купил себе цивильный галстук в сине-желтую полоску.

XIV

Через минуту выступаем. Фронт опять к нам приблизился, снова стали залетать снаряды. Идет дождь, тепло, «джип» исправно катит вперед. Скоро слезем и дальше пойдем пешком.

Похоже, дело движется к концу. Не знаю почему, но все это чувствуют, а мне хочется попробовать как-нибудь половчее выйти из игры. Есть еще места, где бьют смертным боем. Никогда не знаешь, как все обернется.

Через две недели мне опять дают отпуск, и я написал Жаклин, чтобы ждала меня. Может, и зря: чего доброго, попадешься к ней на удочку.

XV

Я все еще стою на mine. Сегодня утром мы отправились в дозор, и я, как всегда, был замыкающим; они все прошли мимо, а я почувствовал, как под ногой у меня щелкнуло, и застыл на месте. Они взрываются, только когда с них сойдешь. Я бросил остальным все, что у меня было в карманах, и велел им уходить. Теперь я один. Надо бы подождать, пока они вернутся, но я им велел не возвращаться; можно было бы попробовать броситься на живот, но что за ужас жить без ног... У меня остались только блокнот и карандаш. Их я выброшу перед тем, как переступить с ноги на ногу, а переступить обязательно придется, потому что я сыт войной по горло, а еще потому, что нога у меня затекла и по ней бегут мурашки.

ПРИЛЕЖНЫЕ УЧЕНИКИ

I

Люн и Патон спускались по лестнице Полицейской академии. Только что закончился урок рукоприкладной анатомии, и они намеревались пообедать, перед тем как заступить на пост у штаб-квартиры Партии конформистов, где совсем недавно какие-то гнусные мерзавцы переколотили окна узловатыми дубинками. Люн и Патон весело шагали враскачку в своих синих накидках, насвистывая марш полицейских; при этом каждый третий такт отмечался весьма чувствительным тычком белой дубинки в ляжку соседа; вот почему этот марш действительно требует четного числа исполнителей. Сойдя с лестницы, они свернули в галерею, ведущую к столовой. Под старыми каменными сводами марш звучал как-то странно, ибо воздух в галерее начинал вибрировать на ля-бемольных четвертях, каковых вся музыкальная тема содержала никак не менее трехсот тридцати шести. Слева, в узеньком дворике с деревцами, обмазанными известью, тренировались и разминались их собратья по профессии — будущие шпики и полицейские. Одни играли в «прыг-шпик-не-зевай», другие учились танцевать мазурку — на спинах мазуриков, третьи колотили зелеными (учебными) дубинками по тыквам — их требовалось разбить с одного удара. Люн и Патон даже бровью не повели: такое они и сами проделывали каждый божий день, не считая четвергов, когда учащиеся выходные.

Люн толкнул массивную дверь столовой и вошел первым. Патон замешкался: надо было досвистать марш, вечно он отставал от приятеля на пару тактов. Двери непрестанно хлопали, в столовую со всех сторон стекались слушатели Академии, они шли группами по двое-трое, очень возбужденные, так как накануне началась экзаменационная сессия.

Люн и Патон подошли к столику номер семь, где столкнулись с Поланом и Арланом — парой самых отъявленных тупиц по всей Академии, каковую тупость они с лихвой возмещали незаурядным нахальством. Все уселись под стоны придавленных стульев.

— Ну как оно? — спросил Люн у Арлана.

— Хреново! — отвечал Арлан. — Подсунули мне, гады, старушечью годов на семьдесят, не меньше, а уж костистая до чего, старая кобыла!..

— А вот я своей с одного маху девять жевалок вышиб, — похвастался Полан, — сам экзаменатор меня поздравил!

— Эх, а мне не повезло, — бубнил свое Арлан, — подложила она мне свинью, плакали теперь мои нашивочки!

— Все ясно, — сказал Патон, — им больше не удастся набирать для нас учебный материал в трущобах, вот они и выдают нам кого посытее. А такие — крепкий орешек. Бабы, правда, похлипче, но что касается мужчин, так вы не поверите: я нынче утром весь взопрел, пока вышиб одному глаз.

— Ну, вот это мне раз плюнуть, — обрадовался Арлан, — гляньте-ка, я тут чуток помозговал над своей дубинкой.

Он показал им свое изобретение. Конец дубинки был весьма изобретательно заострен.

— С лета вмазывается! — сказал он. — Верных два очка в кармане. Я уж поднатужился, надо же было отыграться за вчерашнее!

— Мелюзга в этом году тоже черт знает какая, просто руки опускаются, — заметил Люн. — Вчера мне дали одного мальчика, так я всего только и смог что перебить ему кисть, и это с моего удара! О ногах я уж и не говорю, тут даже дубинка не помогла, пришлось маленько каблуками поработать. Противно даже, ей-богу!

— Это точно, — согласился Арлан, — из приютов нам больше ни шиша не перепадает. А нынешние поступают к нам прямо из детприемника. Тут уж на кого налетишь, дело случая. Если мальчишке не пришлось голодать, его, твердокожего дьявола, ни одна дубинка не возьмет!

— А я гляжу, — прервал его Полан, — горят мои нашивочки ясным огнем, я и давай дубасить что было сил, чуть не сдох, ей-богу! У меня от натуги даже пуговицы с мундира посыпались, из шестнадцати всего семь на месте осталось. Но сержант только рад был придрататься. «В другой раз, — говорит, — будешь пришивать покрепче». И влепил мне наряд вне очереди! — Они замолчали, так как подоспел суп. Люн схватил поварешку и запустил ее в кастрюлю. Сегодня подали наваристый бульон из галушечки. Все четверо налили себе по полной тарелке.

II

Люн стоял на посту перед штаб-квартирой Партии конформистов. Скуки ради он разглядывал обложки на витрине книжной лавки, и от одних названий у него ум за разум заходил. Сам он в жизни не читал ничего, кроме «Спутника полицейского», содержащего описание четырех тысяч случаев нарушения общественного порядка: начиная с отправления малой нужды на улице и кончая словесным оскорблением полицейского. Всякий порядочный полицейский обязан был все их знать назубок. Каждый раз, когда Люн открывал картину на странице пятьдесят, где был изображен субъект, переходящий улицу в непопозволенном месте, он буквально вскипал от ярости и только перевернув страницу умиротворялся при виде «образцового полицейского». По какому-то странному совпадению «образцовый полицейский» как две капли воды походил на его дружка Патона, который в данный момент переминался с ноги на ногу по другую сторону здания.

Вдали показался тяжелый грузовик, набитый балками из барбандированной стали. На самой длинной из них, оглушительно хлопавшей концом по мостовой, пристроился мальчишка-подмастерье. Он размахивал красной тряпкой, разгоняя прохожих, но на машину со всех сторон бросались лягушки, и несчастный парень непрерывно отбивался от этих осклизлых тварей, привлеченных ярким лоскутом.

Громадные черные колеса грузовика подпрыгивали на камнях мостовой, и мальчишка плясал, как мячик на ракетке. Когда машина поравнялась с Люном, ее сильно тряхнуло. В тот же самый миг крупная ядовито-зеленая лягушка впрыгнула мальчишке за ворот и скользнула под мышку. Тот взвизгнул и отпустил балку. Перекувырнувшись и описав полулунную дугу, он врезался в самый центр книжной витрины. Отважный Люн не колеблясь засвистел во всю мочь и ринулся на мальчишку. Он выволок его за ноги из разбитой витрины и начал усердно вдальбывать ему в голову ближайший газовый рожок. Большой осколок стекла, торчащий из спины мальчика, тряся вместе с ним и отбрасывая солнечный зайчик, который весело плясал на горячем сухом тротуаре.

— Опять фашисты! — крикнул подбегая Патон.

Из магазина вышел служащий и подошел к ним.

— Я думаю, это чистая случайность, — сказал он, — мальчик слишком молод для фашиста.

— Да вы что! — заорал Люн. — Я же видел, он это нарочно!

— Гм... — начал служащий.

Разъяренный Люн на минуту даже выпустил мальчишку из рук.

— Вы что, учить меня вздумали? Глядите... а то я сам кого хочешь научу!

— Да... Понятно, — сказал служащий. Он поднял мальчика и скрылся вместе с ним в дверях.

— Вот паразит! — возмутился Патон. — Ну он об этом пожалеет!

— Еще как! — откликнулся довольный Люн. — Глядишь, и повышение заслужим. А фашиста этого мы все же постараемся отсюда выудить, сгодится нам в академии.

III

— Ну и скучища, чтоб ее!.. — проворчал Патон.

— Ага, — ответил Люн, — то ли дело на прошлой неделе! Чего бы сообразить, а? Хоть бы разок в неделю эдакое развлечение, и на том спасибо!

— Точно, — сказал Патон. — Эй! Глянь-ка вон туда!

В бистро напротив сидели две красивые девушки.

— Ну-ка, сколько там на твоих? — спросил Люн.

— Еще десять минут — и порядок, — ответил Патон.

— Ух вы цыпочки! — сказал Люн (он глаз не мог оторвать от девушек). — Пошли выпьем, что ли?

— Давай, — сказал Патон.

IV

— Ну а сегодня-то вы с ней встречаетесь? — спросил Патон.

— Нет, — сказал Люн, — она занята. Тьфу, что за проклятый день!

Они дежурили у входа в министерство прибылей и убытков.

— Ни одной живой души, — сказал Люн, — прямо...

Он умолк, так как к нему обратилась почтенная пожилая дама:

— Простите, мсье, как пройти на улицу Дзэколь?

— Действуй, — сказал Люн.

И Патон шархнул даму дубинкой по голове. Потом они аккуратно уложили ее на тротуар у стены здания.

— Старая дура, — сказал Люн, — не могла что ли подойти ко мне слева, как положено?! Ну вот, вроде и развлеклись, — заключил он.

Патон заботливо обтирал дубинку клетчатым носовым платком.

— Ну а чем она занимается-то, твоя красotka? — спросил он.

— А я почему знаю, — ответил Люн, — но она милашечка что надо!

— А это... ну, сам понимаешь, она здорово проделывает? — спросил Патон.

Люн залился краской.

— Патон, ты просто разнузданный тип! Ничего ты не понимаешь в чувствах!

— Значит, сегодня ты с ней не увидишься, — сказал Патон.

— Нет, — сказал Люн, — чем бы в самом деле вечерок заняться?

— Можно наведаться к Центральному складу, — предложил Патон, — вдруг какие-нибудь типы вздумают пошуровать там насчет съестного?

— Так ведь там не наш участок, — сказал Люн.

— Ну и что, ходим просто так, — ответил Патон, — может, зацапаем кого, вот смеху-то будет! Но если не хочешь, давай наладимся в...

— Патон, — сказал Люн, — я знал, что ты свинья, но это уж слишком! Как я могу этим заниматься — теперь?!

— Ты трехнулся, — сказал Патон. — Ладно, черт с тобой, смотаемся на Центральный склад. И прихвати на всякий случай свой успокоитель — мало ли что бывает, вдруг посчастливится убаюкать кого-нибудь!

— Ясное дело! — воскликнул Люн, дрожа от возбуждения. — Самое меньшее десятка два уложим!

— Эге! — сказал Патон. — Я гляжу, ты всерьез влюбился!

V

Патон шел впереди, Люн за ним, едва не наступая дружку на пятки. Пройдя вдоль искрошившейся кирпичной стены, они приблизились к аккуратному, тщательно ухоженному пролому: сторож содержал его в порядке, чтобы жулики не вздумали карабкаться на стену и, чего доброго, не повредили ее. Люн и Патон пролезли в дыру. От нее вела в глубь территории склада узенькая дорожка, с обеих сторон огороженная колючей проволокой, чтобы вору некуда было свернуть. Вдоль дорожки там и сям виднелись окопчики для полицейских, обзор и обстрел из них был великолепный. Люн и Патон выбрали себе двухместный и комфортабельно расположились в нем. Не прошло и двух минут, как они слышали фыркание автобуса, подвозящего грабителей к месту работы. Еле слышно звякнул колокольчик, и в проломе показа-

лись первые воры. Люн и Патон крепко зажмурились, чтобы не поддаваться искушению, — ведь гораздо занятнее перестрелять этих типов на обратном пути, когда они с добычей. Те прошли мимо. Вся компания была босиком — во-первых, во избежание шума, во-вторых, по причине дороговизны обуви. Наконец они скрылись из виду.

— А ну признайся, ты предпочел бы сейчас быть с ней? — спросил Патон.

— Ага, — сказал Люн, — прямо не пойму, что со мной творится. Должно быть, влюбился.

— А я что говорю? — подхватил Патон. — Небось и подарки делаешь?

— Делаю, — сознался Люн, — я ей подарил осиноый браслет. Он ей очень понравился.

— Немного же ей надо, — сказал Патон, — такие давно уж никто не носит.

— А ты откуда знаешь? — спросил Люн.

— Тебя не касается, — ответил Патон. — А ты хоть разок пощупал ее?

— Замолчи! — сказал Люн. — Такими вещами не шутят.

— И чего это тебя на одних блондинок тянет? — сказал Патон. — Да ладно, это пройдет, не она первая, не она последняя. Тем более там и взяться-то не за что, она худа как щепка.

— Сменил бы ты пластинку, — сказал Люн, — ну чего ты ко мне пристал?

— Потому что на тебя смотреть противно, — сказал Патон. — Гляди, влюбленный, замечтаешься — как раз попадешь в отстающие!

— За меня не бойся, — сказал Люн. — Тихо! Идут!

Они пропустили мимо себя первого — высокого тощего мужчину с лысиной и мешком мышиной тушенки за спиной. Он прошел, и тогда Патон выстрелил. Удивленно крикнув, тот упал, и банки из мешка раскатились по земле. Патон был с почином, настала очередь Люна. Он вроде бы уложил еще двоих, но они вдруг вскочили и пустились наутек. Люн изрыгнул поток проклятий, а револьвер Патона дал осечку. Еще трое жуликов проскочили у них под самым носом. Последней бежала женщина, и разъяренный Люн выпустил в нее всю обойму. Патон тут же выскочил из окопчика, чтобы прикончить ее, но она и так уже была готова. Красивая блондинка. Кровь, брызнувшая на ее босые ноги, казалось, покрыла ногти ярким лаком. Запястье левой руки охватывал новенький осиноый браслет. Девушка была худа как щепка. Наверняка умерла натошак. Что ж, оно и полезней для здоровья.

ПОЕЗДКА В ХОНОСТРОВ

I

Локомотив пронзительно заверещал. Машинист понял, что тормоза переусердствовали, сдавив его слишком сильно, и отвернул рукоятку в нужном направлении, а человек в белой фуражке засвистел в свисток, чтобы оставить за собой последнее слово. Поезд содрогнулся с головы до хвоста. Станция была сырая и темная, и торчать тут у него не было никакой охоты.

В купе находились шесть пассажиров: четверо мужчин и две женщины. Пятеро перебрасывались словами, шестой молчал. Считая от окна, на скамье напротив слева направо сидели: Жак, Раймон, Брис и молодая, очень красивая блондинка, Коринна. Напротив нее был мужчина, имени которого никто не знал, звали его Сатурн де Нектар, напротив же Раймона — вторая женщина, брюнетка, не очень красивая, зато она показывала ноги. Звали ее Гарамюш.

— Поезд тронулся, — сказал Жак.

— Холодно, — пожаловалась Гарамюш.

— Перекинемся в картишки? — предложил Раймон.

— Да ну их к бесу! — отозвался Брис.

— Не очень-то вежливо, — заметила Коринна.

— Что, если вам сесть между Раймоном и мной? — спросил Жак.

— Вот-вот, — поддакнул Раймон.

— Отличная идея, — сказал не очень вежливый Брис.

— Тогда она будет напротив меня, — поморщилась Гарамюш.

— Я пересяду к вам, — сказал Брис.

— Сидите где сидели, — сказал Раймон.

— Идите же, — позвал Жак.

— Иду, — откликнулась Коринна.

Все разом поднялись и перетасовались, поэтому придется начинать все сначала. Один только Сатурн де Нектар не двинулся с места и по-прежнему ничего не говорил. Итак, теперь, считая от окна, на другой скамье слева направо оказались Брис, Гарамюш, пустое место и Сатурн де Нектар. Напротив Сатурна де Нектара — пустое место. Затем Жак, Коринна и Раймон.

— Так лучше, — заключил Раймон.

Он метнул в сторону Сатурна де Нектара взгляд, попав ему прямо в глаз. Сатурн де Нектар сморгнул, но ничего на это не сказал.

— Так не хуже, — уточнил Брис, — но и только.

Гарамюш поправила юбку. Взглядам открылись никелированные застёжки на ее чулках. Она уселась так, чтобы с обеих сторон было видно одинаково хорошо.

— Вам нравятся мои ноги? — спросила она Бриса.

— Послушайте, вы дурно себя ведете, — заметила Коринна. — О таких вещах не спрашивают.

— Ну вы даете, — сказал Коринне Жак. — С таким портретом, как у нее, вы бы тоже старались показывать ноги.

Он взглянул на Сатурна де Нектара, и тот не отвернулся, но уставился на что-то весьма далекое.

— А не перекинуться ли нам в картишки? — спросил Раймон.

— Пфф! — отозвалась Коринна. — Это не по мне. Лучше поболтаем.

Наступил миг замешательства, и все знали отчего. Брис отбросил церемонии.

— Не будь в купе таких, что не желают отвечать, когда к ним обращаются, было бы еще куда ни шло, — заявил он.

— Эй вы! — воскликнула Гарамюш. — Что это вы, перед тем как это сказать, посмотрели на меня? Может, это я вам не отвечаю?

— Да не о вас речь, — заверил ее Жак.

У него были каштановые волосы, голубые глаза и отменный бас. Он был тщательно выбрит, но кожа его щек отливала синевой, как спинка сырой макрели.

— Если Брис имеет в виду меня, — произнес Раймон, — то пусть так прямо и скажет.

Он снова метнул в Сатурна де Нектара косой взгляд. Сатурн де Нектар выглядел человеком, глубоко погруженным в свои мысли.

— Вот раньше умели заставить людей разговариваться, — заметила Коринна. — Во времена инквизиции. Я кое-что об этом читала.

Поезд теперь шел быстро, но это не мешало ему высказывать колесами каждые полсекунды одно и тоже соображение. Ночь снаружи была грязна, и в степном песке отражалось несколько звезд. Время от времени встречное дерево, вытянув листья, хлестало ими по большому холодному стеклу.

— Когда прибываем? — спросила Гарамюш.

— Не раньше завтрашнего утра, — ответил Раймон.

— Успеет обрыднуть, — заметил Брис.

— Если б еще кое-кто устаивал ответом, — сказал Жак.

— Это не в мой огород камешек? — поинтересовалась Коринна.

— Да нет! — воскликнул Раймон. — Это о нем говорят!

Все вдруг умолкли. Вытянутый палец Раймона указывал на Сатурна де Нектара. Тот не шелохнулся, зато четверо остальных вздрогнули.

— Он прав, — заявил Брис. — Хватит уверток. Пора ему открыть рот.

— Вы тоже в Хоностров? — спросил Жак.

— Хорошо едем? — спросила Гарамюш.

Она заняла пустовавшее место между собой и Сатурном, оставив Бриса в одиночестве у окна. При перемещении взорам открылись верх ее чулок и розовые подвязки никелированных шутоквин. А еще — кожа на ляжках, отменно загорелая и гладкая.

— Вы играете в карты? — спросил Раймон.

— Вы слышали об инквизиции? — осведомилась Коринна.

Сатурн де Нектар не отреагировал, только укутал ноги шотландским пледом в синюю и зеленую клетку, что лежал у него на коленях. Лицо у него было очень юное, и белокурые волосы, аккуратно разделенные посередине пробором, двумя симметричными волнами ниспадали на виски.

— Черт возьми! — воскликнул Брис. — Да он издевается над нами!

Этот возглас не нашел отклика, что вполне естественно, если учесть, что переборки в вагоне благодаря материалу, из которого он изготовлен, звуконепроницаемы; к тому же не следует забывать и о его нешуточной семнадцатиметровой длине.

Молчание угнетало.

— Не перекинуться ли нам в картишки? — в третий раз предложил Раймон.

— Да отвяжитесь вы со своими картами! — взвилась Гарамюш: ей явно хотелось, чтобы с ней что-нибудь сделали.

— Оставьте нас в покое! — сказал Жак.

— Во времена инквизиции, — заметила Коринна, — людям, чтобы заставить их заговорить, поджаривали пятки. Раскаленным железом или еще чем. А не то вырывали ногти или глаза. Или...

— Годится, — сказал Брис. — Вот и нашли занятие.

Все разом поднялись, за исключением Сатурна де Нектара. Поезд влетел в туннель, издавая хриплый рык и гремя сметаемыми с пути камнями.

Когда он выскочил наружу, Коринна и Гарамюш сидели у окна друг против дружки. Рядом с Сатурном де Нектаром оказался Раймон. Между ним и Коринной оставалось пустое место. Напротив Сатурна был Жак, потом Брис, пустое место и, наконец, Гарамюш.

На коленях у Бриса лежал новенький чемоданчик желтой кожи с ручкой на никелированных кольцах и инициалами кого-то другого, чье имя тоже было Брис, но фамилия начиналась с двух «П».

— Вы едете в Хоностров? — спросил Жак.

Он обращался непосредственно к Сатурну де Нектару. Тот сидел с закрытыми глазами и дышал тихонько, чтобы не мешать себе спать.

Раймон надел очки. Это был высокий и сильный мужчина в массивных очках и с пробором сбоку, волосы его были в легком беспорядке.

— С чего начнем? — спросил он.

— С пальцев на ногах, — ответил Брис и открыл свой желтый чемоданчик.

— Нужно снять с него ботинки, — подсказала Коринна.

— По мне так лучше бы применить к нему пытку древних китайцев, — предложила было Гарамюш, но запнулась и покраснела, потому что все посмотрели на нее уничтожающе.

— Не трудитесь продолжать, — сказал Жак.

— Черт возьми, ну и стерва! — сказал Брис.

— Это вы уж чересчур, — заметила Коринна.

— А что это за пытка такая — древних китайцев? — поинтересовался Раймон.

На сей раз воцарилась воистину мертвая тишина, тем более что поезд проезжал в это время каучуковый участок пути, недавно проложенный между Костидермитровом и Смогогольцом.

Это разбудило Сатурна де Нектара. Его красивые ореховые глаза вдруг открылись, и он подпернул сползший с колен шотландский плед. Потом он закрыл глаза и, похоже, снова уснул.

Под скрежет тормозов Раймон залился краской и перестал

допытываться. Гарамюш ворчала в своем углу. Отыскав губную помаду, она украдкой несколько раз подряд проворно высовывала ее из тюбика, столь же быстро убирая назад, чтобы до Раймона дошло. Тот покраснел еще гуще.

Брис и Жак склонились над чемоданчиком, а Коринна смотрела на Гарамюш с гадливостью.

— Ноги, — сказал Жак. — Снимите-ка с него ботинки, — попросил он Раймона.

Тот, обрадовавшись, что может услужить, опустился подле Сатурна де Нектара на колени и попытался развязать у него на ботинках шнурки, но те при приближении его рук злобно зашипели и принялись извиваться. Потерпев неудачу, Раймон сплюнул, как рассерженный кот.

— Ну? — спросил Брис. — Вы нас задерживаете.

— Я стараюсь, — ответил Раймон. — Но их никак не развяжешь.

— Держите, — сказал Брис.

Он протянул Раймону маленькие блестящие кусачки. Раймон выкусил кожу ботинок вокруг шнурков, стараясь не повредить их, и, закончив операцию, намотал шнурки себе на пальцы.

— Порядок, — сказал Брис. — Осталось стащить с него ботинки.

Это проделал Жак. Сатурн де Нектар безмятежно спал. Жак забросил ботинки в сетку для багажа.

— Носки, может, оставим? — предложила Коринна. — Они сохраняют жар и загрязнят рану, а впоследствии смогут даже вызвать заражение.

— Прекрасная мысль, — одобрил Жак.

— Годится, — сказал Брис.

Раймон уже уселся на прежнее место рядом с Сатурном де Нектаром и теперь забавлялся с его шнурками.

Брис достал из желтого чемоданчика изящную миниатюрную паяльную лампу и небольшую бутылочку, из которой налил в лампу бензин. Жак чиркнул спичкой и поджег горючее. Из лампы вырвалось желто-голубое пламя дивной красоты и опалило Брису брови. Он разразился проклятиями.

Тут Сатурн де Нектар открыл было глаза, но тотчас закрыл их снова. Его красивые, ухоженные длинные руки покоились на шотландском пледе, переплетенные столь замысловато, что Раймон уже добрых пять минут ломал голову, пытаясь понять.

Коринна открыла свою сумочку, вынула оттуда гребешок и принялась причесываться перед стеклом — черный фон ночи позволял ей видеть себя как в зеркале. Снаружи бесновался ветер и

во весь опор мчались волки, пытаюсь согреться. Поезд обогнал ходока, который из последних сил ковылял по песчаной насыпи. Было уже недалеко до Брискипотольска. Степь простиралась до самого Корнопучика, что в двух с половиною верстах от Бранчо-чарновни. Вообще-то, названия этих городов выговорить никто не мог, и их привыкли заменять на Урвиль, Макон, Ле-Пюи и Сен-Хрен.

Паяльная лампа выбросила длинный язык пламени, и Брис подкрутил регулятор, пока не получился короткий голубой огонек. Он передал лампу Раймону и поставил желтый чемоданчик на пол.

— Ну что, попробуем в последний раз? — предложил Раймон.

— Пожалуй, — согласился Жак.

Он наклонился к Сатурну.

— Вы едете до Хонострова?

Сатурн открыл один глаз и закрыл его.

— Невежа! — возмутился Брис.

Он в свою очередь опустил перед Сатурном на колени и приподнял одну из его ног — не важно которую.

— Если сжечь сначала ногти, — объяснила Коринна, — будет больнее и не скоро зарубцуется.

— Дайте-ка лампу, — сказал Брис Раймону.

Раймон протянул ему инструмент, и Брис прошелся пламенем по двери купе, проверяя, достаточно ли горячо. Лак запузырился, и в купе отвратительно запахло.

Носки Сатурна запахли еще хуже, когда загорелись, и из этого Гарамюш заключила, что они из чистой шерсти. Коринна не смотрела: она уткнулась в книгу. Раймон и Жак ждали. От ноги Сатурна повалил дым, раздалось потрескивание, запахло паленым рогом, и на пол упали черные капли. Нога Сатурна корчилась в потной руке Бриса, и ему стоило немалого труда ее удерживать. Коринна, отложив книгу, чуть опустила стекло, чтобы выгнать запах.

— Пойдите-ка, — сказал Жак. — Попробуем еще разок.

— Вы играете в карты? — любезно осведомился Раймон, повернувшись к Сатурну.

Сатурн забился в угол купе. Рот у него слегка кривился, на лоб набегали морщины. Он все же сумел улыбнуться, после чего еще крепче зажмурил глаза.

— Без толку, — заключил Жак. — Не хочет разговаривать, и все тут.

— Каков мерзавец! — подивился Брис.

— Просто невоспитанный субъект, — заявил Раймон. — Ког-

да шесть человек едут в одном купе, нужно поддерживать разговор.

— Или развлекаться, — ввернула Гарамюш.

— Заткнитесь вы, — посоветовал Брис. — Всем уже известно, чего вам хочется.

— Может, попробуем кусачками? — произнесла Коринна. Она подняла голову, и веки затрепетали на ее прелестном личике подобно надкрыльям бабочки.

— По-моему, мякоть его ладоней — неплохое место приложения этого инструмента, — прибавила она.

— Паяльную лампу, выходит, гасим? — спросил Брис.

— Ни в коем случае. Продолжайте и то и другое, — ответила Коринна. — Куда спешить? До Хонострова путь не близкий.

— Рано или поздно, а придется ему заговорить, — сказал Жак.

— Черт, ну и стервец! — воскликнула Гарамюш.

По удивленному лицу Сатурна де Нектара скользнула мимолетная улыбка. Брис взял отставленную было паяльную лампу и принялся за вторую ногу, нацелив аппарат точно в середину стопы, а Раймон тем временем рылся в чемоданчике.

Голубое пламя прожгло ступню Сатурна насквозь в тот самый миг, когда Раймон добрался кусачками до нерва. Жак подбадривал его.

— Попробуйте потом под коленкой, — посоветовала Коринна.

Они уложили тело Сатурна на скамью, чтобы сподручней было работать.

Лицо Сатурна было бело как мел, и глаза уже не двигались под веками. В купе разгуливал ветер, потому что запах паленого мяса стал невыносим и Коринне это не нравилось.

Брис погасил паяльную лампу. Из ног Сатурна на изгвазданную скамью сочилась по капле черная меланхолия.

— Может, передохнем немного? — предложил Жак.

Он утер лицо тыльной стороной ладони. Раймон поднес руку ко рту, чувствуя, что к горлу подкатывает песня.

Правая кисть Сатурна походила на лопнувший инжир. С нее свисали клочья мяса и обрывки сухожилий.

— Вот же упрямец, — сказал Раймон.

И вздрогнул, увидев, как кисть Сатурна отвалилась и упала на скамью.

На скамье напротив все пятеро не помещались, и Раймон вышел в коридор, прихватив с собой тисочки из желтого чемоданчика, чтобы немного размять ноги. Так что от окна к двери сидели Коринна, Гарамюш, Жак и Брис.

— Вот невежа, — сказал Жак.

— Не желает, видите ли, разговаривать, — подхватила Гарамюш.

— Это мы еще поглядим! — посулил Брис.

— Могу посоветовать вам еще кое-что, — сказала Коринна.

II

Поезд все мчался по заснеженной степи, встречая на своем пути вереницы нищих, которые возвращались с подземного рынка в Гольдзине.

Было уже совсем светло, и Коринна разглядывала пейзаж, который, заметив это, застенчиво юркнул в кроличью нору.

У Сатурна де Нектара оставались только одна нога и полторы руки, но, поскольку он спал, трудно было ожидать от него, чтобы он заговорил.

Проехали Гольдзин. Скоро и Хоностров, каких-нибудь шесть верст.

Брис, Жак и Раймон вымотались до предела, но духом не падали: он держался у них на трех зеленых веревочках, у каждого на своей.

В коридоре грянул божественный перезвон, и Сатурн вздрогнул. Брис выронил шило, а Жак едва не обжегся утюгом, который держал в руке. Раймон упорно отыскивал точное местонахождение печени, но рогатке Бриса не доставало меткости.

Сатурн разлепил веки. Он сел — с трудом, поскольку из-за отсутствия левой ягодицы удерживать равновесие было непросто — и натянул шотландский плед на оставшуюся от ноги культю. Туфли его попутчиков хлюпали на скользком полу, и лужи крови стояли во всех углах.

Сатурн тряхнул белокурой шевелюрой и лучезарно улыбнулся.

— Не очень-то я болтлив, верно? — сказал он.

В эту самую минуту поезд прибыл на станцию Хоностров. Все они тут выходили.

I

Жак Тежарден лежал в постели и хворал. Во время последнего концерта, когда он играл на своей гнус-фистуле и в придачу на сквозняке, его продуло и он схватил бронхину. Времена были тяжелые, так что камерный оркестр, в котором он работал, соглашался выступать где угодно, даже в коридоре, и хотя это помогало музыкантам выстоять в трудную пору, но им часто приходилось потом отлеживаться. Жак Тежарден чувствовал себя скверно. Голова его распухла, а мозг остался каким был, и образовавшуюся за счет этого пустоту заполнили инородные тела, вздорные мысли и залила боль, острая, как кинжал или перец. Когда Жак Тежарден начинал кашлять, инородные тела бились о выгнутые стенки черепной коробки, взметаясь по ним вверх подобно волнам в ванне, и снова падали друг на друга, хрустя, как саранча под ногами. То и дело вздувались и лопались пузыри; белесые, липкие, как паучьи кишки, брызги разлетались под костяным сводом и тотчас смывались новой волной. После каждого приступа Жак Тежарден с тоской дожидался следующего, отсчитывая секунды по стоящим на ночном столике песочным часам с делениями. Его мучила мысль, что он не может, как обычно, упражняться на фистуле: из-за этого ослабнут губы, загрубеют пальцы и придется начинать все сначала. Гнус-фистула требует от своих адептов невероятного упорства, ибо научиться играть на ней очень сложно, а забыть все, чему научился, очень легко. Он мысленно наигрывал мелодию из восемнадцатой части симфонии ля-бемоль, и трели пятьдесят шестого и пятьдесят седьмого тактов усилили его боль. Почувствовав приближение нового приступа, он поднес руку ко рту, чтобы хоть немного сдержать его. Кашель подступал все ближе, распирали бронхи и наконец вырвался наружу.

Жак Тежарден побагровел, глаза его налились кровью, и он вытер их уголком красного платка — он нарочно выбрал такой цвет, чтобы не видно было пятен.

II

Кто-то поднимался по лестнице. Укрепленные на металлических прутьях перила гудели, как набат, — несомненно, это квартирная хозяйка несла ему липовый чай. При длительном употреблении липовый чай вызывает воспаление предстательной железы, однако Жак Тежарден пил его редко, так что у него был шанс избежать операции. Хозяйке осталось подняться еще на один этаж. Это была пышная красавица тридцати пяти лет, ее муж провел долгие месяцы в немецком плену, а едва вернувшись, устроился на работу по установке колючей проволоки — теперь настал его черед заточать других. С утра до ночи он возился с легавыми где-то в провинции и почти не давал о себе знать. Хозяйка не стучась открыла дверь и широко улыбнулась Жаку. Она принесла синий фаянсовый кувшин и чашку и поставила все это на ночной столик. Потом наклонилась, чтобы поправить подушки, и тут полы ее халата разошлись и взгляду Жака открылся темный островок. Он заморгал и сказал, указывая пальцем на этот срам:

— Извините, но...

Договорить он не смог и закашлялся. Не понимая, в чем дело, хозяйка рассеянно поглаживала живот.

— Там... у вас... — выдавил он.

Хозяйке захотелось рассмешить Жака, она взяла свой смехотворный инструмент в обе руки и произвела с его помощью звук, похожий на клецанье утиного клюва в тине, но больной закашлялся еще больше, поэтому она поскорее запахнула халат. Молодой музыкант слабо улыбнулся.

— Обычно я ничего не имею против, — сказал он, извиняясь, — но сейчас у меня голова как котел: кипит, бурлит и шумит.

— Я налью вам липового чаю, — материнским тоном предложила хозяйка.

Она наполнила чашку, подала Жаку, и полы ее халата снова разошлись; кончиком чайной ложки Жак пощекотал зверушку, а та вдруг схватила и крепко зажала ложку губами. Жак захохотал и тут же зашелся кашлем, так что у него чуть не разорвалась грудь. Согнувшись пополам, он не мог продохнуть и даже не чувствовал, как хозяйка заботливо похлопывала его по спине, чтобы помочь справиться с приступом.

— Дура да и только, — сказала она, браня сама себя за то,

что заставила его смеяться. — Могла бы догадаться, что вам сейчас не до забав.

Она снова подала ему чашку, и он, размешивая ложечкой сахар, стал маленькими глотками пить липовый чай, отдававший звериным духом. Затем принял две таблетки аспирина и сказал:

— Спасибо... Теперь я постараюсь уснуть.

— Попозже я принесу вам еще чаю, — сказала хозяйка, складывая пустую чашку и фаянсовый кувшин втрое, чтобы было удобнее нести.

III

Он проснулся, словно какая-то сила толкнула его. Так и оказалось: он пропотел от аспирина, и так как по закону Архимеда он потерял вес, равный объему вытесненного пота, то его тело оторвалось от матраса, увлекая за собой одеяло, и всплыло на поверхность лужи пота, поднимая легкие волны, на которых теперь и покачивалось. Жак вытащил затычку из матраса, и пот стек в сетку. Тело стало медленно опускаться и наконец снова оказалось на разгоряченной простыне — от нее с лошадиной силой валил пар. Постель была липкой от пота, и Жак скользил в ней, тщетно пытаясь приподняться и опереться на промокшую насквозь подушку. В голове снова что-то глухо задрожало и мельничные жернова принялись перемалывать мелкие частички, разлетающиеся по полости между мозгом и черепом. Он поднес руки к голове и осторожно ощупал ее. Что-то не так. Пальцы скользнули от затылка к раздавшемуся темени, коснулись лба, пробежали по кромке глазных орбит и спустились к скулам, легко прогибавшимся под нажимом. Жаку Тежардену всегда хотелось знать точную форму своего черепа. Ведь среди черепов попадаются такие пропорциональные, с таким идеальным профилем и так изящно закругленные. Как-то в прошлом году, во время болезни, он заказал рентгеновский снимок, и все женщины, которым он его показывал, быстро становились его любовницами. Шишка на затылке и вздутие на темени сильно тревожили его. Может быть, виной всему гнус-фистула? Он снова потрогал затылок, исследовал соединение черепа с шеей и нашел, что чашечка позвонка поворачивается без шума, но с трудом. Глубоко вздохнув и беспомощно уронив руки, он поерзал на постели, чтобы устроить себе уютное гнездышко в соленой корке пота, пока она еще не совсем затвердела. Двигаться приходилось осторожно, потому что стоило ему повернуться на правый бок, как весь пот устремлялся на правую сторону сетки, кровать наклонялась, и он чуть не падал. Когда же он поворачивался на левый,

кровать и вовсе опрокидывалась, так что сосед снизу стучал в потолок рукояткой бараньей ножки, запах которой просачивался сквозь половицы и кружил голову Тежардену. И вообще ему не хотелось разливать пот по полу. Булочник из соседней лавки давал ему за него хорошую цену, он разливал пот по бутылкам с этикетками «Пот лица», и люди покупали его, чтобы поливать и размачивать им свой насущный, на 99 процентов горелый, полученный по карточкам хлеб.

— Я уже меньше кашляю, — подумал он.

Грудь дышала свободно, легкие не хрипели. Он осторожно протянул руку, взял со стола свою гнус-фистулу и положил ее на постель рядом с собой. Потом снова поднес руки к голове, и его пальцы скользнули от затылка к раздававшемуся темени, коснулись лба и пробежали по кромке глазных орбит.

IV

— Здесь одиннадцать литров, — сказал булочник.

— Несколько литров пропало, — извинился Тежарден. — Сетка не герметична.

— И вообще пот не очень чистый, — прибавил булочник, — правильное было бы считать, что тут всего десять литров.

— Но вы же продадите одиннадцать, — сказал Жак.

— Разумеется, — сказал булочник, — но моя совесть пострадает. Или, по-вашему, это ничего не стоит?

— Мне нужны деньги, — сказал Жак. — Я уже три дня не выступаю.

— Мне самому не хватает, — сказал булочник. — У меня автомобиль в двадцать девять лошадиных сил, который дорого обходится, да прислуга, которая меня разоряет.

— Сколько же вы дадите? — спросил Жак.

— Господи! — сказал булочник. — Я заплачу вам по три франка за литр, считая ваши одиннадцать литров за десять.

— Прибавьте еще чуть-чуть, — сказал Жак. — Это так мало.

— Ладно! — сказал булочник. — Берите тридцать три франка, но это вымогательство.

— Давайте, — сказал Жак.

Булочник достал из бумажника шесть купюр по семь франков.

— Верните девять франков сдачи, — сказал он.

— У меня только десятка, — сказал Жак.

— Так и быть, в расчете, — сказал булочник.

Он положил деньги в карман, взял ведро с потом и повернулся к двери.

— Постарайтесь набрать еще, — сказал он.

— Не выйдет, — сказал Жак. — У меня уже нет температуры.

— Что ж, вам же хуже, — сказал булочник и вышел.

Жак поднес руки к голове и снова стал ощупывать деформированные кости. Попробовал приподнять голову руками — его интересовал точный вес, — но не смог; что ж, придется отложить это до тех пор, пока он не выздоровеет, и потом, все равно меша-ет шея.

V

Жак с усилием откинул одеяло. Перед ним лежали его ноги, усохшие от пяти дней полного бездействия. Он грустно посмотрел на них, попробовал растянуть, но, ничего не добившись, сел на край кровати и наконец кое-как встал. Усохшие ноги укоротили его на добрых пять сантиметров. Он расправил грудь и услышал, как затрещали ребра. Болезнь не прошла бесследно. Халат висел на нем унылыми складками. Дряблые губы, отечные пальцы — играть на фистуле он не сможет, это ясно.

В отчаянии он упал на стул и обхватил голову руками. Пальцы машинально стали ощупывать виски и отяжелевший лоб.

VI

Дирижер оркестра, в котором играл Жак, поднялся по лестнице, остановился перед дверью, прочел табличку и вошел.

— Привет, — сказал он. — Тебе, я вижу, лучше?

— Я только что встал с постели, — сказал Жак. — Еле держусь на ногах.

— Чем это здесь пахнет? — поинтересовался дирижер.

— Да это все хозяйка, — ответил Жак, — вечно у нее халат нараспашку.

— Приятный запах. Как в крольчатнике, — сказал дирижер.

— Да, — сказал Жак.

— Когда ты сможешь снова играть? — спросил дирижер.

— А что, мы будем выступать? — спросил Жак. — Мне не хочется больше играть в коридоре. В конце концов, мы камерный оркестр, а не коридорный.

— Так ты предпочел бы играть в камере? — сказал дирижер. — Может, по-твоему, ты подхватил бронхину из-за меня? Но ведь все играли в коридоре.

— Знаю, — сказал Жак, — но я был на самом сквозняке и загоразивал вас собой, поэтому вы и не заболели.

— Чепуха, — сказал дирижер. — Впрочем, ты всегда был привередой.

— Нет, — сказал Жак, — просто я не желаю болеть и имею на это право.

— Уволить бы тебя, — сказал дирижер. — С такими, как ты, невозможно работать, все тебе не так.

— Да я чуть не загнулся! — сказал Жак.

— Ладно, хватит, — сказал дирижер. — Я тут ни при чем. Когда ты сможешь играть?

— Не знаю, — сказал Жак. — Я еле держусь на ногах.

— Ну вот что, — сказал дирижер. — Так не работают. Я возьму на твое место Альбера.

— Заплати мне за два последних выступления, — сказал Жак. — Я должен отдать деньги за квартиру.

— У меня нет с собой, — сказал дирижер. — Пока. Я пошел к Альберу. У тебя несносный характер.

— Когда ты мне заплатишь? — спросил Жак.

— Да заплачу, заплачу! — сказал дирижер. — Я пошел.

Жак, прикрыв глаза, водил пальцами по лбу. Килограмма четыре будет.

VII

Маленькая спиртовка так воинственно гудела, что вода в алюминиевой кастрюле дрогнула. Конечно, для такой слабой горелки воды было слишком много, но Жак терпеливо ждал. Сидел, в воду глядел и от нечего делать упражнялся на гнус-фистуле. Он все время не дотягивал си-бемоль на два сантиметра, но наконец дотянулся, взял ноту и раздавил ее пальцами, довольный победой. Навык вернется!

Но пока что вернулась только головная боль, и он перестал играть. Вода закипала.

«Посмотрим, — подумал он, — может, окажется и больше четырех килограммов...»

Он взял большой нож и отрезал голову. Потом опустил ее в кипящую воду, куда всыпал щепотку соды — надо было удалить все лишнее, чтобы получить чистый вес черепной коробки.

А потом умер, так и не доведя дело до конца, потому что тогда, в тысяча девятьсот сорок пятом, медицина еще не достигла такого высокого уровня, как теперь.

В большом круглом как шар облаке он вознесся на небо. Иного он и не заслуживал.

I

Это звонила не Жасмен — она отправилась куда-то за покупками со своим любовником. И не дядюшка — он умер два года назад. Собака дергает шнурок дважды, а у меня свой ключ. Значит, кто-то еще. Звонок был очень выразительный: весомый, чтоб не сказать веский, нет, скорее полновесный... во всяком случае, неторопливый и внушительный.

Ясное дело, слесарь. Вошел, через плечо — какая-то нелепая сумка из кожи вымершего травоядного с позвякивающими в ней железками.

— Ванная там, — показал он.

Так, без тени колебания, с ходу, коротко и ясно, он сообщил мне, где в моей квартире находится ванная комната, которую без него я бы еще долго и не подумал искать там, где ей надлежало быть.

Поскольку Жасмен не было, дядя умер, собака дергала звонок два раза (как правило, два), а мои одиннадцать племянников и племянниц играли на кухне с газовой колонкой, — дома в этот час стояла тишина.

Указующий перст долго водил слесаря по квартире и наконец вывел в гостиную. Мне пришлось наставить его на путь истинный и провести в ванную. Я было вошел за ним, однако он остановил меня: не грубо, но с твердостью, присущей лишь мастерам своего дела.

— Без вас справлюсь. А то, чего доброго, хороший новый костюм запачкаете, — сказал он, напирая на слово «новый».

Вдобавок он ехидно улыбнулся, и я молча стал отпарывать висевший ярлык.

Еще одно упущение Жасмен. Но, в конце-то концов, ведь нельзя же требовать от женщины, которая с вами не знакома, имени вашего в жизни не слышала, даже и не подозревает о вашем

существовании, сама, возможно, существует лишь отчасти, а то и вовсе не существует, — нельзя же требовать от нее аккуратности английской гувернантки Алисы Маршалл, урожденной де Бриджпорт, из графства Уилшир; а я и Алису бранил за постоянную рассеянность. Она возражала мне, что нельзя одновременно воздерживаться от воспитания племянников и срезать ярлыки, и мне пришлось склониться перед этим доводом, чтобы не угодить лбом в притолоку двери из прихожей в столовую — притолоку, заведомо слишком низкую, о чем я не раз говорил глухому архитектору, нанятому нашим домовладельцем.

Собственноручно выправив непорядок в своем туалете, я на цыпочках тише тихого двинулся к спальне матери Жасмен, которой отдал одну из лучших в квартире комнат, что выходит окнами на улицу, а приходят, когда на них никто не смотрит, с другой стороны, лишь бы не выйти из себя вовсе.

Пора, пожалуй, обрисовать вам Жасмен, хотя бы вчерне (ведь окна здесь всегда зашторены, потому что раз Жасмен нет в природе, то и матери у нее быть не может, как вы сами непременно убедитесь к концу рассказа), — так вот, вчерне, то есть силуэтом, но ведь в темноте вы все равно ничего не разглядите.

Я прошел через спальню матери Жасмен и осторожно открыл дверь в бильярдную, смежную с ванной. В ожидании возможного прихода слесаря я заранее пробил здесь квадратное отверстие и мог в свое удовольствие следить теперь с этой точки зрения за его священнодействиями. Подняв голову от труб, он увидел меня и поманил к себе.

Пришлось спешно отправиться тем же путем в обратном направлении. По дороге я обратил внимание, что племянники все еще не расправились с газовой колонкой, и испытал (правда, мимолетное, ведь водопроводчик позвал меня, и лучше было не мешкать, а то моя степенность часто кажется чванством) чувство безотчетного, но глубокого презрения к этим трудноломким конструкциям — газовым колонкам. Из буфетной я попал в небольшой холл с четырьмя дверьми, одна из которых, не будь она заколочена, вела бы в бильярдную, вторая, тоже забитая, — в спальню матери Жасмен, и четвертая — в ванную. Я закрыл за собой третью и, наконец, вошел в четвертую.

Слесарь сидел на краю ванны и меланхолично созерцал толстые доски, которые в недавнем прошлом закрывали трубы, — он только что выломал их зубилом.

— Никогда не видел подобной конструкции, — заверил он меня.

— Она старая, — ответил я.

— Оно и видно, — подтвердил он.

— Вот я и говорю, — сказал я.

В том смысле, что точно не знаю, когда она сделана, раз никто этого точно не знает.

— Некоторые любят поговорить, — заметил он, — а что толку? Но это делал не специалист.

— Ваша контора. Я помню совершенно точно.

— Тогда я у них не работал. А если бы работал, — сказал он, — то ушел бы.

— Стало быть, так оно и есть, — не возражал я, — раз вы ушли бы, можно считать, что вы там были, поскольку вас бы там не было.

— Ну, во всяком случае, попадись мне этот недоделанный ублюдок, — высказался он, — сын вонючей шлюхи, которую по пьянке обратал вшивый кенгуру, сволочь, так паршиво сварганившая эту чертову бардачную дерьмовую хреновину, ему бы у меня не поздоровилось.

Потом он принялся ругаться, и от ругани вены на его шее стали похожи на веревки. Он наклонился над ванной, нацелил голос на дно и, добившись мощного резонанса, битый час продолжал в том же духе.

— Ладно, — с трудом переводя дыхание, заключил он. — Что ж, придется все-таки взяться за дело.

Я уже собирался устроиться поудобнее, чтобы наблюдать за его работой, когда слесарь извлек из кожаного футляра огромную сварочную горелку. Потом он достал из кармана склянку и вылил ее содержимое в углубление, заботливо для этого предусмотренное изобретательным изготовителем. Одна спичка — и пламя взметнулось к потолку.

Осиянный голубым светом, водопроводчик склонился, брезгливо изучая трубы горячей и холодной воды, газовую, трубы центрального отопления и еще какие-то, назначение которых мне было неизвестно.

— Самое лучшее, — сказал он, — это все к черту снести и начать с нуля. Но вам придется раскошелиться.

— Ну раз надо, — сказал я.

Не желая присутствовать при погроме, я на цыпочках удалился. В тот самый момент, когда я закрывал дверь, он повернул вентиль сварочной горелки, и рев пламени заглушил визг собачки дверного затвора, вернувшейся на свое место.

Войдя в комнату Жасмен (эта дверь вначале тоже была заколочена, но, по счастью, не покалечена), я прошел через гостиную и свернул к столовой, откуда уже мог попасть к себе.

Мне не раз случалось заблудиться в квартире, и Жасмен хочет во что бы то ни стало сменить ее, но пусть уж сама ищет другую, раз так упорно возвращается на эти страницы без моего приглашения.

Впрочем, я и сам упорно возвращаюсь к Жасмен просто потому, что люблю ее. Она в этой истории никакой роли не играет и, может быть, вообще никогда не сыграет, если, конечно, я не передумаю, но предвидеть это невозможно, а поскольку решение мое незамедлительно станет известно, чего ради застревать на такой малоинтересной теме, пожалуй, еще менее интересной, чем любая другая — скажем, разведение крупной рогатой тирольской мушки или доение гладкошерстной травяной вши.

Оказавшись наконец в своей комнате, я уселся возле полированного шкафчика, который давным — без преувеличения — давно превратил в проигрыватель. Манипулируя выключателем, размыкающим блок-схему, замыкание которой приводит в действие электроприбор, я запустил диск; на нем покоилась пластинка, позволявшая с помощью острой иголки выдирать из себя мелодию.

Сумеречные тона «Deep South Suite» вскоре погрузили меня в любимое летаргическое состояние. Все убыстряющееся движение маятников вовлекло солнечную систему в усиленное круговращение и сократило длительность существования мира почти на целый день. Так оказалось, что уже половина девятого и я просыпаюсь, встревоженный тем, что не прикасаюсь своими ногами к соблазнительным ножкам Жасмен; увы, она и не ведала о моем существовании. А я жду ее всегда, волосы ее струятся как вода на солнце, и мне бы хотелось сладострастно целовать ее и задушить в своих объятьях, только не в те дни, когда она становится похожей на Клода Фаррера.

«Половина девятого, — сказал я себе. — Слесарь, должно быть, умирает с голоду».

Мигом одевшись, я сориентировался в пространстве и пошел в ванную. Ее окрестности показались мне заметно изменившимися, будто претерпели не одно стихийное бедствие. Я тут же понял, что все дело в том, что на привычном месте нет труб, и смирился.

Вытянувшийся вдоль ванны слесарь еще дышал. Я влил ему бульон через ноздри — в зубах у него был зажат кусочек олова.

Едва ожив, он взялся за дело.

— Итак, — сообщил он, — основная работа позади, все разрушено начиная с нуля. Как будем делать?

— Делайте как лучше, — сказал я. — Я полностью доверяю вам как специалисту и ни за что на свете не хотел бы малейшим

положением сковать вашу инициативу... которая, следовало бы мне добавить, есть исключительное достояние тех, кто входит в сообщество водопроводчиков.

— Полегче, — посоветовал он. — В общем, я понимаю, но школу я окончил давно, и если вы мне будете голову морочить, я с вами разговаривать не смогу. Прямо удивительно, как это образованным надо всех на свете с дерьмом смешать.

— Уверю вас, я преисполнен почтения к вам и самого высокого мнения обо всем, что вы делаете.

— Ладно, я парень не злой. Вот что: я восстановлю то, что они тут соорудили. Все-таки коллега работал, а слесарь ничего зря делать не станет. Часто говорят: «Вон та труба — кривая». В чем дело, не понимают, и, конечно, у них виноват слесарь. Но если разобраться, то чаще всего на все своя причина. Они думают, что труба кривая, а кривая-то стена. Что до нашего случая, я сделаю в точности как было. Уверен, все было в порядке.

Я еле сдержался — все и раньше было в порядке, до его прихода. Но, может быть, я в самом деле был не в курсе. Притча о прямой трубе не шла у меня из головы, и я смолчал.

Мне удалось добраться до своей кровати. Наверху раздавались беспокойные шаги. Люди страшно надоедливы: нельзя, что ли, нервничать лежа в постели, а не вышагивать нервно из угла в угол? Пришлось признать, что нельзя.

Жасмен неотступно преследовала меня, как наваждение, и я проклинал ее мать за то, что она оторвала от меня Жасмен со злосовестностью, которой нет никакого оправдания. Жасмен девятнадцать, и я знаю, что у нее уже были мужчины, — тем более у нее нет оснований отталкивать меня. Это все материнская ревность. Я пытался найти другую причину, подумать о какой-нибудь бессмысленной пакости, но мне было так мучительно трудно представить себе ее конкретно как нечто компактное, упакованное и перевязанное красной и белой тесемками, что теперь и я на целый абзац потерял сознание. В ванной комнате голубоватое пламя сварочной горелки окаймляло границы моего сна нервно-окисленной бахромой.

II

Слесарь пробыл у меня безвылазно сорок девять часов. Работа еще не была закончена, когда я по дороге на кухню услышал стук во входную дверь.

— Откройте, — сказали из-за двери. — Скорее откройте.

Я отпер и увидел соседку сверху, в глубоком трауре. По ее

лицу было видно, что она недавно перенесла большое горе, и с нее буквально текло на ковер. Казалось, она только что из Сены.

— Вы упали в воду? — полюбопытствовал я.

— Простите за беспокойство, — сказала она, — но дело в том, что у меня хлещет вода... Я вызывала водопроводчика, он должен был прийти три дня назад...

— У меня тут один работает. Может, ваш?

— Семеро моих детей утонуло. Только двое старших еще дышат, вода пока доходит им до подбородка. Но если слесарь должен еще поработать у вас, я не хочу мешать.

— Наверно, он ошибся этажом, — ответил я. — Спрошу-ка его для очистки совести. Вообще-то у меня в ванной все было в порядке.

III

Когда я вошел в ванную, водопроводчик наносил последний штрих, украшая с помощью сварочной горелки голую стену цветом ириса.

— Вот так уже сойдет, пожалуй, — сказал он. — Я все сделал как было, только здесь кое-что еще подварил — это у меня лучше всего получается, а я люблю, когда работа хорошо сделана.

— Тут одна дама вас спрашивает. Вы не этажом выше должны были подняться?

— Это ведь пятый? — спросил он.

— Четвертый.

— Значит, я ошибся, — заключил он. — Я поднимусь к этой даме. Счет вам пришлют из конторы... Да вы не огорчайтесь. В ванной для водопроводчика всегда работа найдется.

ПУСТЫННАЯ ТРОПА

I

Молодой человек собирался жениться. Он заканчивал школу мраморщиков, специализирующихся по всем видам надгробий. Это был юноша из хорошей семьи: его отец заведовал отделом в Компании трубопроводов, а его мать весила шестьдесят семь килограммов. Они жили на улице Двух Братьев, пятнадцать, обои у них в столовой не менялись, к сожалению, с тысяча девятьсот двадцать шестого года: на фоне берлинской лазури апельсины апельсинового цвета, — а это ведь безвкусно. Теперь в моде обои вообще без рисунка, и притом на более светлом фоне. Его звали Фидель, что значит Верный, а отца — Жюст, что значит Справедливый. Мать тоже как-то звали.

Вечером он, как всегда, спустился в метро, чтобы доехать до школы. Под мышкой у него была надгробная плита, а в маленьком чемоданчике — инструменты. Он не скупился на билет в первом классе: когда едешь во втором с тяжелой громоздкой плитой, трудно избежать едких замечаний, которые могут испортить полированную поверхность мрамора.

На станции Данфер-Рошро в его купе вошел ученик той же школы, только старшего класса. Он держал под мышкой надгробную плиту больших размеров и нес еще хозяйственную сумку, в которой лежал красивый крест, отделанный фиолетовым бисером. Фидель поздоровался. Порядки в школе были строгие: всем учащимся полагалось носить черный костюм и менять белье дважды в неделю. Им следовало также воздерживаться от неуместных выходок: не выходить, например, без шляпы, не курить на улице. Фидель с завистью смотрел на фиолетовый крест; но время летит быстро, утешал он себя, через два месяца и он перейдет в старший класс. Тогда в его распоряжении будут большие над-

гробные плиты, два креста, отделанных бисером, и один гранитный — правда, его нельзя брать домой. На всех учебных пособиях стояло имя директора школы, так как они представляли большую ценность, но ученикам разрешалось работать над некоторыми композициями дома, чтобы закрепить полученные в школе знания и навыки. В младшем классе изучались надгробные плиты для детей до шестнадцати лет, затем учащиеся получали доступ к юношеским могилам и, наконец, в старшем классе имели дело с памятниками для взрослых — это была самая интересная и разнообразная работа. Занятия были, конечно, только теоретические; опираясь на приобретенные знания, ученики создавали проекты памятников, практическое же воплощение оставалось за отделением ваятелей. При школе имелась комиссия по распределению, где художников и ваятелей, успешно сдавших выпускные экзамены, объединяли в пары, руководствуясь индивидуальными особенностями каждого и серией тестов, разработанных Обществом парижского транспорта. Художники изучали, кроме всего прочего, коммерческую сторону дела и отношения с заказчиками; ввиду этого им необходимо было соблюдать полную корректность в одежде и манерах.

Оба ученика вышли на станции Сен-Мишель и направились вверх по бульвару. По специальному разрешению Ключийского аббатства школа была размещена в руинах древних терм Юлиана Заступника, и часть занятий проводилась по ночам среди развалин; такая атмосфера благотворно действовала на учащихся, способствуя развитию у них утонченного художественного вкуса, отвечающего требованиям современной погребальной эстетики.

Приближаясь к развалинам, Фидель и его спутник слышали похоронный звон и ускорили шаг: это был сигнал к началу занятий.

II

В полночь начиналась большая перемена, продолжавшаяся примерно час. Ученики выходили прогуляться среди развалин, подышать свежим воздухом и развлекались, стараясь разобрать древнееврейские надписи на могильных плитах, которых в руинах терм Юлиана было множество.

Им также разрешалось проводить свободный час в баре, открытом по соседству при музее ключийскими аббатами Лазаром Вейлем и Жозефом Симоновичем. Фидель любил зайти в бар и побеседовать с хозяевами: их глубокие познания в области искусства ваяния надгробий и оригинальность их суждений восхищали прилежного юно-

шу, который забывал о памятниках лишь для того, чтобы воскресить в памяти прелестный образ своей невесты Ноэми.

Ноэми — ее отец был инспектором, а мать прекрасно сохранилась — жила на бульваре Сен-Жермен в скромной двенадцатикомнатной квартирке на третьем этаже; у нее были две сестры одного с нею возраста и три брата, из которых один был на год старше, отчего в семье его называли старшим.

Иногда Ноэми заходила в бар при музее провести полчаса с женихом под отеческим оком Жозефа Симоновича, и молодые люди обменивались нежными клятвами, потягивая «Дух Смерти», шедевр Жозефа.

По правилам учащимся не полагалось пить ничего крепче черного кофе с капелькой ликера, но иногда они позволяли себе небольшие нарушения без серьезных последствий для своего морального облика: их корректность оставалась безупречной.

В этот вечер Фидель не виделся с Ноэми. Он назначил встречу Лорану, своему старому школьному другу, теперь практиканту в больнице Отель-Дьё. Лоран часто дежурил по ночам и мог отлучиться, когда бывало не слишком много работы.

На этот раз Лоран опоздал: когда он пришел, было уже без двадцати час. Ему пришлось задержаться: в больницу привезли какого-то пьяницу в сопровождении пяти-шести жандармов, как обычно бывает в подобных случаях. Врачи не могли понять, был ли он действительно пьян, однако добросовестность полицейских, избивших его до полусмерти, не оставляла сомнений, и так как он пребывал в бессознательном состоянии, снять с него показания не удалось.

— Он кричал: «Да здравствует свобода!» — сказал один из жандармов, — и переходил улицу в непопозволенном месте.

— Ну пришлось ему вмазать, — сказал другой. — Разве можно допустить, чтобы в студенческом квартале лица в состоянии опьянения подавали дурной пример молодежи?

От стыда бедняга скончался под наркозом еще до операции: это и задержало Лорана. К счастью, его коллега Петер Нья остался на дежурстве и занялся пострадавшим.

— Когда твоя свадьба? — спросил Лоран.

— На той неделе...

— А когда мы похороним твою холостяцкую жизнь? Ты готов к этому мероприятию?

— Ну, — рассмеялся Фидель, — наверно, тоже на той неделе.

— Знаешь, — сказал Лоран, — надо тебе серьезно этим заняться.

— Я и занимаюсь.

— Кого же ты пригласишь?

— Тебя, Пьера и Майора.

— Кто это — Майор?

— Друг Пьера. Пьер очень хочет нас познакомить.

— А что он собой представляет?

— Пьер говорит, что он посетил массу кладбищ и может быть полезен для моей карьеры. И вообще, это занятный человек.

— Майор так Майор, — согласился Лоран. — А девушки?

— О! — возмутился Фидель. — Никаких девушек! Подумай, ведь через три дня я женюсь.

— А зачем же, по-твоему, хоронят холостяцкую жизнь?

— Похороны — дело серьезное, — протянул Фидель, — и я хочу дать моей невесте то же, чего требую от нее.

— То есть абсолютную невинность? — уточнил Лоран.

— По крайней мере, относительную, — сказал Фидель, потупившись.

— Ладно! — заключил Лоран. — Стало быть — мальчишник.

— Разумеется, — ответил Фидель. — В среду в семь вечера у меня.

Пробило час ночи, и друзья вышли из бара. Лоран попрощался с Жозефом, пожал руку Фиделю и направился к больнице.

Фидель вернулся к своим одноклассникам в южный склеп, где проходили занятия. Там же помещался выставочный зал для курсовых и дипломных проектов.

Начался урок. Он был посвящен окраске в черный цвет гравия вокруг карликовых буксов, составляющих растительное окаймление памятника образца номер двадцать восемь из гранита с полурельефным крестом.

Фидель достал рабочую тетрадь и уселся на глыбу красного мрамора, предназначенного для надгробия фантазии.

III

В четыре началась получасовая перемена. Фидель вышел с приятелем прогуляться среди развалин.

Над ним сияли звезды, он ясно различал их все, кроме Бетельгейзе, которая слишком ярко горела в прошлом месяце и теперь, из-за перерасхода энергии, временно погасла. Фидель плотнее обмотал шарф вокруг шеи. С бульвара, проникая сквозь решетку, дул легкий ветерок, и Фидель старался держаться в безветренных полосах за железными прутьями. Дойдя до угла, где громоздились древнееврейские надгробия, которые разрешалось обследовать, он сел на одно из них.

Прямо перед ним лежал наполовину засыпанный землей обломок свода: все, что осталось от древней колоннады. Он был поразительно похож на устрицу: одна створка идеально закруглена, другая — плоская. Фидель поднатужился, пытаясь перевернуть камень, и наконец ему это удалось. Под камнем, в ямке, лежали крепко обнявшись две сонные ухвертки, рядом спала сороконожка и три отлично сохранившихся мятных леденца. Он принялся сосать их один за другим, а покончив с этим, опустил камень на место и, вдруг заметив его разительное сходство с устрицей, достал из кармана зубило, опустил на колени и попробовал открыть раковину.

После ряда бесплодных попыток ему удалось ввести острие зубила в забитую мхом и землей щель. Он нажал изо всех сил — и зубило сломалось. Он достал еще одно. Тут камень не выдержал и раскрылся. Фидель осторожно отложил верхнюю половинку в сторону и заглянул внутрь. На золотистом песке лежала фотография Нозми в резной рамке под стеклом, прелестная, как роза. Розу он вдел в петлицу и поднял портрет, потом положил его обратно в песок.

Губы Нозми шевельнулись, и он разбил стекло, чтобы услышать ее слова. И ответил, что тоже любит ее.

Занималась заря. Начинался последний урок. Птичка выпорхнула из гнезда, подергала одну за другой веточки, из которых оно было свито, встряхнулась, потянулась, улетела, неся в клюве завтрак, но Фиделя уже не было. Птичка позавтракала за двоих. От этого у нее все утро болел живот.

IV

Нозми читала у себя в комнате. Перед ней стоял завтрак, который только что принесли: ореховый торт и лангустин под майонезом. Она соблюдала диету: берегла печень.

Девушка читала житие пресвятой Елизаветы Венгерской, написанное виконтом де Монталамбер, и, дойдя до сцены гибели отважного ландграфа, молодого мужа Елизаветы, горько заплакала.

Но на душе у нее было светло и радостно, поэтому она захопнула грустную книгу и открыла «Трое в одной лодке», но вдруг в голову ей пришли серьезные мысли, и она бросила читать, так как пришлось бы встать, чтобы найти подходящее к случаю произведение: на ночном столике оставался только телефонный справочник.

Чтобы отвлечься, она проделала несколько упражнений из финского гимнастического комплекса; эти упражнения выполня-

ются в положении лежа, без движения, и состоят в последовательном напряжении и расслаблении строго определенных мышц.

Затем она встала, надела яркое полотняное платье, поднялась на три ступеньки, открыла дверь в соседнюю комнату и упала с полуметровой высоты: комната была расположена на одном уровне с ее спальней. Упала она так неудачно, что слегка вывихнула ногу, и, поднявшись, направилась в ванную комнату наложить повязку. Там она села перед зеркалом и, пригладив пышные темно-рыжие волосы, улыбнулась своему отражению. Однако боль в вывихнутой лодыжке помешала тому улыбнуться в ответ, и Нозми расплакалась от жалости. Тогда отражение через силу попыталось улыбнуться, чтобы успокоить ее, и все вновь вошло в свою колею, хотя, впрочем, из нее и не выходило.

V

Фидель начал готовиться к вечеринке. Родителей дома не будет. Вообще-то их присутствие не мешает чувствовать себя относительно свободным, но его старики — из тех, что по своей инициативе уходят в кино, чтобы не стеснять молодежь. Фидель вовсе не собирался устраивать оргию, но врожденная стыдливость не позволила бы ему даже на словах быть слишком вольным в присутствии старших, а Фиделю хотелось по крайней мере излить друзьям всю полноту своего счастья, и он уже трепетал в предвкушении этой словесной вакханалии.

Столовая — большая длинная комната с высоким потолком — прекрасно подойдет для праздничного ужина, думал Фидель. На стенах были развешаны фотографии роскошных надгробий, сделанных по его проектам: серые тона гранита приятно оживляли комнату. Мебели было совсем мало: низкий длинный буфет из мореной березы, на котором стояли два серебряных подсвечника с красными свечами. Стол такого же дерева, более темные, почти черные стулья из той редкой разновидности березы, которая встречается только в Африке и туземное название которой буквально означает: «черное дерево, отделанное красным сафьяном». Хозяин сядет, конечно, спиной к окну.

Все было прекрасно, кроме обоев с апельсинами апельсинового цвета на фоне берлинской лазури. Фидель позвонил по телефону и попросил прислать маляра. Он решил, что апельсины цвета берлинской лазури на апельсиновом фоне будут выглядеть лучше. Подумав, он пришел к выводу, что одноцветные обои беж с выделкой — тоже неплохо, и маляр оклеил столовую такими обоями, чередуя кремовые полосы полосами слоновой кости, отде-

лал все это ярко-красным бордюром, удачно сочетавшимся с красным сафьяном стульев, и заменил фотографии надгробий портретом Ноэми, который он, заговорщицки подмигнув Фиделю, достал из своего складного столика, заменявшего ему стремянку.

VI

В это утро Ноэми долго нежилась в постели. Она, впрочем, не бездельничала, а вязала. В лакированной корзиночке из ивовых прутьев лежали три больших мотка белого ангорского пуха и один моток простой красной шерсти. Она заканчивала перед: еще четырнадцать рядов. Весь перед был из белого пуха, только два ряда занимала красная полоса, потом — еще два ряда белым, а на следующих десяти рядах она хотела вывязать красным по белому имя своего жениха; ангорский пух наполовину скроет его и убережет от холода. Она вывяжет рунические письмена — так проще, вяжешь на девяти рядах восемь изнаночных петель белой шерстью и две лицевых красной. Выйдет очень красивый свитер.

После обеда она собиралась пойти с подружкой в кино, посмотреть новый фильм с участием Манфреда Карота; героиня этого фильма носила точно такой же пуловер, какой вязала Ноэми.

Они договорились встретиться в «Зеленой птице» в половине пятого, с тем чтобы успеть к началу картины, но опоздать на журнал, который они видели на этой неделе девятнадцать раз.

VII

В это же утро Пьер, один из приглашенных на вечеринку Фиделя, тщательно побрился и надел чистую рубашку, собираясь на работу; он был инженером на одном рискованном предприятии. Пьер ждал звонка Майора, чтобы продиктовать ему адрес Фиделя или договориться о встрече и пойти вместе.

А Майор вышел из своего личного самолета в четырнадцать часов двадцать минут, оставил пустой чемодан в камере хранения и, чтобы возместить потерю, забрал чемодан одного из соседей по очереди; громким криком подозвал такси, сообщил водителю, что у того нос в саже, сел в метро, после чего ни один пассажир не находил себе места; ровно в пятнадцать часов вышел на нужной станции и пешком добрался до своего особняка на улице Львиного Сердца.

Полчаса спустя он вышел оттуда, предоставив прислуге расправляться с кошмарным беспорядком, учиненным в этот рекордный срок. Он переоделся и размахивал элегантной тростью с че-

репаховым набалдашником, а его стеклянный глаз сиял как прожектор, ослепляя тех немногих, кого он достаивал взглядом.

Он зашел в кафе, взмахом трости снес голову случайному посетителю, безобиднейшему человеку, и, чтобы не слышать протестов официанта, заткнул ему глотку чаевыми, как кляпом. Затем заперся на два поворота ключа в телефонной будке, однако из-за неисправности диска пол не выдержал его веса и провалился.

Таким образом Майор оказался в винном погребе; пользуясь случаем, он прикарманил — то есть рассовал по своим многочисленным карманам — несколько бутылок, поднялся по лестнице с самым непринужденным видом и отправился на поиски заведения покрепче.

Он нашел то, что искал, удобно устроился в телефонной будке, опустил в щель жетон и набрал номер Пьера.

VIII

Лоран делал операцию гиппариона яичника. Четвертый случай за день. Петер Нья ассистировал ему. Начали, как обычно, с фиксации. Пациент лежал на операционном столе, представлявшем собой что-то вроде буквы «А» из металлических трубок. Большой удерживался в равновесии, опираясь позвоночником на острие буквы, по обе стороны свисали голова и ноги. Кожа на животе держалась натянута. Боль от неудобного положения заглушала жестокие боли, которые причинял гиппарион. Резкий свет от большой лампы над столом падал на оперируемый участок, и гиппарион беспокойно двигался под кожей: он не любил света.

— Эвипан! — сказал Лоран.

Петер Нья приготовил шприц, протер сгиб руки больного тампоном со спиртом, воткнул иглу в синеватую вену. Она лопнула, издав слабый хлюпающий звук. Петер искал, куда бы еще сделать укол, не нашел более подходящего места и быстрым движением всадил покривившуюся иглу под мышку, где курчавились густые волосы. Серебристая жидкость под давлением поршня вошла в тело, и под правым глазом больного вздулся маленький бугорок.

— Считайте до десяти, — приказал Лоран.

Больной остановился на шести.

— Странно, — заметил Петер Нья. — Обычно засыпают не раньше чем через двадцать секунд.

— Я не сплю, — пробурчал больной. — Я умею считать только до шести...

И тут же уснул. Мышцы, напряженные в состоянии бодрствования, расслабились, позвоночник как бы сложился пополам,

голова и ноги прижались к металлическим опорам, образовывавшим острый угол.

— Видишь? — тихо спросил Лоран.

— Да, — выдохнул Петер Нья.

Гиппарион, сильно обеспокоенный, пытался спрятаться от света.

— Иглу! — сказал Лоран.

Петер подал ему длинную стальную иглу с голубоватым отливом и с никелированной ручкой. Лоран тщательно прицелился и вонзил острие иглы прямо в темный желвак под кожей, который сразу перестал шевелиться. Лоран удерживал его, навалившись всем телом. Через минуту он отпустил иглу.

— Готово. Можно оперировать. Давай скорее, в семь я должен быть у друга.

IX

Служанка открыла дверь Пьеру и Майору, Фидель встретил их в прихожей.

— А где же Лоран? Вы не вместе? — спросил он.

— Он придет прямо из больницы, — ответил Пьер. — Познакомься, это Майор.

— Очень приятно, — сказал Фидель. — Вы не заставили себя ждать. Я сказал Лорану — в семь часов, а сейчас только четверть седьмого. Мы успеем поболтать.

— Вы так любезны, — улыбнулся Майор. — Мы могли бы и на лестнице подождать.

Фидель принял это за милую шутку, рассмеялся, двое друзей присоединились к нему, и хор замер на увеличенном трезвучии.

— Проходите в гостиную, — пригласил Фидель.

Они так и сделали. Стены гостиной были оклеены красивыми обоями: зеленые апельсины на лиловато-фиолетовом фоне. Небольшой бар, тахта, столик, кожаные кресла.

— Хотите виноградного соку? — предложил Фидель.

— Только перебродившего и выдержанного, — уточнил Майор. — Его еще иногда называют коньяком, а иногда арманьяком, смотря в какой местности он производится.

— Вы много путешествовали, — заметил Фидель с восхищением.

— Я... — сказал Майор.

Друзья, со стаканами в руках, расположились на тахте, а Майор утопал в мягком кресле.

— ...видел океаны и моря, Новый Свет и Старый, сперва Новый, из любви к новшеству. Старый — позднее, как полага-ется. Я обрыскал земной шар, обшаривая карманы своих ближ-них, и прожигал жизнь, вскрывал несгораемые шкафы, на ули-цах сорил золотом, то бишь окурками сигарет с золотым обод-ком, носил пальто производства Рубе и каждый день предвку-шал новые чудеса.

— А кладбища видели? — спросил Фидель.

— Я их даже заполнял! — холодно сказал Майор. — Я мог бы рассказать вам о красных могилах на Подветренных островах. Красные они потому, что вырыты в глинистой почве. Туземцы заворачивают своих мертвецов в саваны из листьев пандана и хоронят вечером, на восходе луны. Женщины с обнаженной гру-дью поют песнь предков:

Оари мена
Оари мени Татапи ойра татапи
Аруу Аруу Оари
Мена Татапоу...

Ну и так далее, я должен пощадить ваши уши, вы ведь, надо полагать, христиане. А потом местный колдун зажигает свечу и безмолвно склоняется перед ночным светилом.

— А надгробные камни у них есть? — спросил Фидель.

— Целые тонны камней, — заверил Майор.

— Обтесанные?

— Конечно, — сказал Майор.

— А в какой форме?

— В форме камней, — отрезал Майор и спросил: — Когда же ужин?

— Э-э, — замялся Фидель, — может быть, подождем Ло-рана...

— Так позвоните ему, скажите, чтоб поторапливался, — вос-кликнул Майор.

— Э-э... да-да... — сказал Фидель. — Сейчас.

Он встал и вышел из гостиной: телефон был в кабинете отца. Майор, воспользовавшись его отсутствием, перепробовал все напитки, какие только были в баре. Когда вернулся Фидель, он уже снова как ни в чем не бывало сидел в кресле.

— Ну что?

— Он задерживается, — объяснил Фидель. — К ним только что привезли женщину: у нее подбиты оба глаза и поврежден во-лосяной покров. Ее избил муж.

— А она что, сдачи дать не могла? — спросил Майор.

— Знаете, что она сказала Лорану? Говорит: «Не могла я при малыше... Это бы дурно повлияло...»

— До чего же порой добродетельны эти женщины из просто-народья, — вздохнул Майор.

Он икнул и, ничуть не устыдившись, отнес икоту на счет своего глаза.

— Да, — сказал Фидель. — Она вела себя безупречно. Лоран говорит, что освободится через четверть часа.

— Что ж, тем лучше, — кивнул Майор. — Так вот, в Гренландии...

X

Нозми и ее подружка вышли из кинотеатра. Только что Манфред Карот принял смерть от руки безжалостных палачей гораздо старше его. Глаза Нозми были полны слез, к тому же вывихнутая нога все еще болела.

Сгушались сумерки. Шел мелкий дождик, и вокруг фонарей мерцали ореолы. Улица кишела автомобилями и тяжеловозами на мехтяге, которые предназначены для транспортировки продуктов питания.

XI

— ...И надо заметить, — продолжал Майор, — что в полярном льду мертвецы не сохраняются свежими, а замораживаются и становятся твердыми, как мясо в холодильнике. Хотя в холодильнике оно замораживается без всякого льда. Попробуйте-ка объяснить это явление.

— Вы сказали, что эскимосы кладут на могилы глыбы льда, — прервал его Фидель. — А они не делают ледяных памятников?

— Нет, — заявил Майор. — По той простой причине, что могилы представляют собой не холмики, а углубления: вырезается кусок льда, клиента укладывают в образовавшуюся яму и заливают водой, но не до краев.

— Вот как? Почему же? — спросил Фидель.

— Это легко объяснить законами физики, — ответил Майор. — Воду получают, растопив вырезанный кусок льда, а ведь всем известно, что лед, когда тает, теряет в объеме.

— Но вода же потом замерзает, — не сдавался Фидель.

— Да, но не забывайте о пингвинах.

— А! — протянул Фидель, не понимая.

— Им все время хочется пить, — пояснил Майор. — И не только им, — добавил он с присущей ему скромностью и посмотрел на свой стакан.

Фидель наполнил его, и Майор заговорил снова:

— Пьер, старина, позвони-ка Лорану — он, наверно, уже кончил.

Пьер скрылся за дверью кабинета, и оттуда послышался его голос: он настойчиво уговаривал собеседника.

— Он не может прийти, — сказал наконец Пьер.

— Все возится с этой женщиной? — рявкнул Майор и выругался.

— Нет, с ее мужем. У него сломаны два ребра, нос и шейка бедра.

— Хорошо еще, что присутствие ребенка ее сдерживало, — вздохнул Майор. — Да, — он повернулся к Фиделю, — так вы завтра женитесь?

— Да, — подтвердил Фидель. — В мэрии...

— А как выглядит ваша невеста?

— Она красивая, — сказал Фидель. — Щеки у нее розовые, гладкие, как хорошо отшлифованный порфир, глаза — как две большие черные жемчужины, темно-рыжие волосы уложены венком вокруг головы, грудь — словно из белого мрамора, и у нее такой вид, будто она ограждена от всего мира изящной кованой решеточкой.

— Как образно! — воскликнул Майор; по спине у него пробежал приятный холодок.

XII

И правда, Ноэми была очень красива, даже после того как ее сшиб грузовик. Она упала, голова ее стукнулась о мостовую, зубы шелкнули. Подружка закричала. Машина «скорой помощи» задержалась, и пришлось отнести Ноэми на носилках в ближайшую больницу — это оказалась Отель-Дье.

По коридору сновали медицинские сестры с ведрами, полными удаленных миндалин и аппендиксов, которые ассистенты хирургов выставляют за двери операционных. Две молоденькие сестры перебрасывались, как мячом, кислородной подушкой в красную и желтую полоску.

Ноэми все еще была хороша: те же яркие, красиво очерченные губы, те же густые темно-рыжие волосы и прямой носик, но глаза ее были закрыты.

XIII

— Ну хватит, — заявил Майор, — скажите ему, пусть приходит немедленно, иначе я уйду.

— Ладно, — ответил Фидель, — постараюсь уговорить его. Надоед он со своими больными.

— ...Никак не могу, — сказал Лоран. — Только что привезли девушку, ее сбил грузовик.

— Приходи, — настаивал Фидель. — Пусть кто-нибудь еще ею займется.

— Послушай, — сказал Лоран. — Не хотелось бы... К тому же она очень красивая...

— Ну знаешь, — рассердился Фидель. — Довольно. Ты выдаешь себя с головой. Постарайся, я тебя очень прошу.

— Ладно, — ответил Лоран, — но если этот осел Дюваль ее погубит, это будет на твоей совести.

— К столу! К столу! — закричал Майор.

XIV

И конечно, операция прошла благополучно, но только не для Нозми. Она умерла, и, так как в морге не было свободных мест, ее родителям сразу позвонили и попросили забрать тело домой.

Ее завернули в простыню, чтобы избавить родных от тягостного зрелища, какое представляет пролом черепа, а волосы вынесли отдельно. Их пришлось отрезать — уж очень они были длинные.

I

Двери вагона, как обычно, не поддавались: в другом конце состава начальник поезда в фуражке давил на красную кнопку, отчего по шлангам струился сжатый воздух. Ассистент, напрягая все силы, пытался раздвинуть половинки двери. Ему было жарко; похожие на мушек капли серого пота зигзагами исчерчивали его лицо, под которым виднелся воротник его рубахи из бронированного зефира.

Лишь перед самым отходом поезда начальник отпустил кнопку. Из-под вагона радостно отрыгнуло, дверь неожиданно открылась, и ассистент с трудом удержал равновесие. Спотыкаясь, он вышел из вагона, пропоров при этом свою сумку — она зацепилась за дверную ручку.

Поезд тронулся, и образовавшаяся воздушная волна отшвырнула ассистента к стене вонючей уборной, где двое арабов дискутировали на политические темы, яростно размахивая ножами.

Ассистент отряхнулся и провел рукой по волосам, прилипшим к его влажному черепу подобно сгнившей на корню траве. От его приоткрытой груди с остро выступающими ключицами и уродливыми буграми неправильно посаженных ребер поднимался легкий парок. Тяжело ступая, он побрел по перрону, выложенному красными и зелеными шестиугольниками, местами в черных подтеках: днем здесь прошел дождь из осьминогов, но станционные служащие, вместо того чтобы согласно профессиональному уставу посвящать свое время уборке платформ, проводили его за неподобающими занятиями.

Ассистент порывлся в карманах и нащупал кусок грубого гофрированного картона, который надлежало предъявить при выходе. Ноги в коленях мучительно ныли, и от сырости прудов, кото-

рые ему пришлось облазить за день, скрипели проржавевшие су-
ставы. Зато добыча сегодня была на славу.

Он протянул билет человеку без обличия, стоявшему за ка-
литкой. Взяв его, тот плотоядно ухмыльнулся.

— Другого нет? — спросил он.

— Нет... — пролепетал ассистент.

— Ну а этот фальшивый.

— Но ведь его дал мне патрон, — заискивающе улыбнулся
ассистент и развел руками.

Контролер весело хмыкнул.

— Ну тогда меня не удивляет, что билет фальшивый. Утром
он купил у нас десяток.

— Десяток чего? — не понял ассистент.

— Фальшивых билетов.

— Но зачем? — продолжал недоумевать ассистент.

Улыбка постепенно сползала с его лица и свешивалась с ле-
вой стороны.

— Всучить их вам. Чтобы, во-первых, вас хорошенько про-
песочили, чем я сейчас и занимаюсь, а во-вторых, чтобы вы запла-
тили штраф.

— Штраф? За что? — изумился ассистент. — У меня так мало
денег.

— А чтоб не ездили без стыда и совести по фальшивому би-
лету.

— Но ведь вы же сами их и изготавливаете!

— Как же иначе? Раз уж находятся негодяи, которым только
того и надо — проехаться по фальшивому билету... Или вы дума-
ете, нам нравится фабриковать их днями напролет?

— Лучше бы вы занялись уборкой платформы, — сказал ас-
систент.

— Ну вот что, хватит разговоров, — заявил контролер. —
Платите штраф. С вас тридцать франков.

— Не может быть, — возразил ассистент. — За безбилетный
проезд штраф всего двенадцать франков.

— А проезд с фальшивым билетом — это куда более серьезное
нарушение, — парировал контролер. — Платите, или я кликну
собаку.

— Да не придет она, — сказал ассистент.

— Не придет, — согласился контролер, — зато у вас лопнут
барabanные перепонки.

Ассистент посмотрел на мрачное изможденное лицо контро-
лера — тот ответил ему враждебным взглядом.

— У меня так мало денег, — вздохнул ассистент.

— У меня тоже, — сказал контролер. — Давайте раскошеляйтесь.

— Патрон платит мне всего пятьдесят франков в день, — пожаловался ассистент. — Как на них проживешь?

Контролер потянул козырек своей фуражки вперед и вниз, и лицо его скрылось за синим забралом.

— Платите... — показал он, потерев большим пальцем об указательный и средний.

Ассистент достал свой залоснившийся, латаный-перелатаный кошелек и извлек из него две десятифранковые бумажки, шрамы на которых уже зарубцевались, и одну поменьше, пятифранковую, — та еще кровоточила.

— Двадцать пять... — неуверенно предложил он.

— Тридцать! — три трущихся друг об друга пальца контролера были неумолимы.

Ассистент вздохнул, и меж пальцев ног у него показалась физиономия патрона. Он плюнул в нее и попал точно в глаз. Сердце ассистента забилося сильнее. Физиономия съезжилась и почернела. Ассистент вложил деньги в протянутую руку и вышел. За спиной у него раздался щелчок — забрало фуражки контролера вернулось на свое прежнее место козырька. Ассистент медленно побрел по круто забирающей вверх тропинке к опушке. Сумка предельно стучалась о его костлявые бедра, а бамбуковая ручка сачка при каждом шаге хлопала его по немощным икрам.

II

Ассистент толкнул железную калитку, и та с немилосердным визгом отворилась. Над подъездом зажегся здоровенный красный фонарь, а из вестибюля донесся приглушенный звонок. Ассистент проворно юркнул в калитку и затворил ее за собой, но все равно не избежал удара током — выключателя охранной системы на обычном месте не оказалось.

Ассистент двинулся по аллее. На полпути он споткнулся обо что-то твердое, и из земли ударила струя ледяной воды, попавшая точно между ногой и штаниной и промочившая их обеих до колена.

Ассистент пустился бегом. Как всегда к концу рабочего дня, на него постепенно накатывала ярость. Сжимая кулаки, он преодолел три ступени крыльца. Наверху в ногах у него запутался сачок; ассистент дернулся, чтобы не упасть, и прорвал сумку в другом месте о невесть откуда взявшийся гвоздь. Внутри у него что-то ворохнулось, заклинило, и он шумно и тяжело ловил ртом

воздух. Спустя какое-то время он успокоился, и подбородок его отвис к груди. Нога в мокрой штанине заоченела, и он ухватился за ручку двери, но тут же отдернул руку. Завоняло паленым мясом, и лоскуток его кожи, приставший к раскаленному фарфору, начал чернеть и коробиться. Дверь открылась, и ассистент вошел внутрь.

Тощие ноги плохо держали его, и он опустился в уголке вестибюля на квадрат пола, пахнувший проказой. Сердце заходило под ребрами, сотрясая его тело неистовыми неравномерными толчками.

III

— Не густо, — поморщился патрон, изучая содержимое сумки. Ассистент, стоя перед столом, молча ждал.

— К тому же вы их попортили, — добавил патрон. — Вон у той зубцовка никуда не годится.

— Это все из-за сачка — он совсем износился, — ответил ассистент. — Хотите, чтобы я ловил для вас молодые марки в хорошем состоянии, так оплатите мне новый.

— А кто же изнашивает ваш сачок? — иронически спросил патрон. — Я или вы?

Ассистент промолчал. Обожженная рука мучительно болела.

— Отвечайте! — настаивал патрон. — Я или вы?

— Я, но для вас, — ответил ассистент.

— А я вас не заставляю, — возразил патрон. — Хотите зарабатывать пятьдесят франков в день — извольте потрудиться.

— Из этих пятидесяти надо вычесть тридцать за билет... — вставил ассистент.

— Какой еще билет? Я оплачиваю вам дорогу в оба конца.

— Ну да, фальшивыми билетами.

— Что ж, надо поменьше хлопать ушами, только и всего.

— А как их распознать?

— Это нетрудно, — сказал патрон. — Фальшивые билеты делают из гофрированного картона, а настоящие — из дерева.

— Ладно, — сказал ассистент. — Верните мне мои тридцать франков.

— Нет. Все ваши марки бракованные.

— Неправда, — возразил ассистент, — я ловил их целых два часа, пришлось даже буравить во льду лунки. А как я над ними тряся! Взгляните: из шестидесяти штук попорчены только две, да и то самую малость.

— Это все не то, что хотелось бы, — недовольно буркнул пат-

рон. — Мне нужна двухцентровая Гвиана 1855-го года. Куда я, по-вашему, дену эту серию Занзибара? Вы и вчера принесли мне такую же.

— Вытаскиваешь то, что ловится, — ответил ассистент. — Тем более таким вот сачком. К тому же для Гвиан сейчас не сезон. А Занзибары вы можете сменять.

— Как бы не так, — возразил патрон. — В этом году они попадают всем. Потеряли всякую ценность.

— А струя воды в штанину, а ток в калитке, а дверная ручка!.. — взорвался ассистент.

На его худом пожелтевшем лице еще резче обозначились морщины: казалось, он того и гляди расплатится.

— Это для вас хорошая закалка, — ответил патрон. — А чем мне, по-вашему, здесь заниматься? Скука заела.

— Возьмите и съездите сами за марками, — предложил ассистент.

Он еле-еле сдерживался.

— Я вам за это плачу, — сказал патрон. — Вы вор. Вы воруете мои деньги.

Ассистент устало провел рукавом своей поношенной куртки по лбу. Голова у него была полая, как колокол. Стол отпрянул от него, и он поискал, за что еще ухватиться. Но от него увернулся и камин, и ассистент рухнул.

— Сейчас же встаньте! — взвизгнул патрон. — Еще чего удумали — валяться на моем ковре...

— Мне бы пообедать... — заныл ассистент.

— В следующий раз вернетесь пораньше, — отрезал патрон. — Вставайте. Я не желаю видеть вас на своем ковре. Вставайте, черт бы вас побрал!

Голос его вибрировал от гнева, а узловатые пальцы отбивали на столешнице барабанную дробь.

Ценой неимоверного усилия ассистенту удалось подняться на колени. От голода у него подводило живот, из обожженной руки сочилась лимфа пополам с кровью. Он обмотал руку грязным носовым платком.

Патрон быстро отобрал три марки и швырнул их ассистенту в лицо. Те с негромким хлюпающим звуком присосались к его щеке.

— Отнесите их туда, где взяли, — приказал патрон.

Он отчеканивал слова, придавая им форму заостренных шипов.

Ассистент плакал. Влажные волосы липли ко лбу, в левую щеку впивались марки. Он тяжело поднялся.

— Чтобы это было в последний раз, — предупредил патрон. — Мне не нужны марки в плохом состоянии. И ни слова больше про сачок.

— Хорошо, мсье, — пролепетал ассистент.

— Держите свои пятьдесят франков, — сказал патрон.

Он вытащил из кармана купюру, плюнул на нее, наполовину надорвал и бросил на пол.

Ассистент с трудом нагнулся. Колени у него издавали хруст, напоминающий короткие сухие триоли.

— Опять вы в грязной рубашке, — сказал патрон. — Ночевать будете на улице.

Ассистент, подобрав наконец купюру, вышел из кабинета. Ветер дул с удвоенной силой, сотрясая волнистое стекло в двери вестибюля, забранной кованой решеткой. Закрывая за собой дверь кабинета, ассистент напоследок бросил взгляд в сторону патрона. Тот, вооружившись огромной желтой лупой, склонился над альбомом Занзибара и принялся сравнивать новый улов со вчерашним.

IV

Ассистент спустился по ступеням крыльца, кутаясь в свою длинную куртку, позеленевшую от постоянного контакта с прудовой водой и марками. Ветер устремлялся в прорехи в ветхой материи и надувал куртку на спине, делая ассистента похожим на горбуна, что было не без ущерба для его позвоночника; он страдал внутренним миметизмом и был вынужден изо дня в день бороться за то, чтобы сохранить нормальное функционирование и надлежащую форму своих изношенных органов.

Ночь уже полностью вступила в свои права, и почва испускала дешевое тусклое свечение. Свернув вправо, ассистент пошел вдоль стены дома. Он держался черной линии размотанного шланга, с помощью которого патрон топил в подвале крыс. Он добрался до стоящей неподалеку от дома трухлявой конуры, где уже провел предшествующую ночь. Соломенная подстилка отсырела и пахла тараканами. Круглое входное отверстие было занавешено обрывком старого одеяла. Едва ассистент приподнял его, намереваясь ощупью пробраться внутрь, как вспыхнула слепящая молния и прогремел взрыв: рванула большая петарда. Конура наполнилась удушливой пороховой гарью.

Ассистент вздрогнул, и сердце его забилося так, что чуть не выскочило из груди. Пытаясь унять сердцебиение, ассистент задержал было дыхание, но глаза его тут же полезли из орбит, и он

жадно глотнул воздуха. Проникшая в легкие гарь несколько успокоила его.

Дождавшись, чтобы все стихло, он вслушался в тишину и тихонько посвистел. Не оборачиваясь, залез в конуру и скрючился на вонючей подстилке. Еще раз свистнул и прислушался. К нему приближались легкие семенящие шажки, и в блеклом свечении земли он увидел свою ласковую мохнатую животинку, совсем ручную, — иной раз он подкармливал ее дохлыми рыбками. Она вошла в конуру и улеглась подле него. Тут он вспомнил кое-что и поднес руку к щеке. Все три марки уже начали сосать из него кровь, и он рывком отодрал их, сдерживаясь, чтобы не закричать от боли. Он отбросил их подальше от себя, наружу. На влажном грунте они наверняка сохранятся до завтрашнего утра. Животинка приняласьлизывать ему щеку, и он заговорил с ней, чтобы успокоиться. Говорил он еле слышно, потому что хозяин, как только оставался один, включал систему подслушивания.

— Как он мне осточертел, — шепотом пожаловался он животинке.

Та отозвалась кротким урчанием и удвоила усердие.

— Пора наконец что-то предпринять. Не позволять помыкать собой, надевать вопреки его запрету чистые рубашки и раздобыть фальшивые билеты из дерева. И еще — починить сачок и не давать ему его дырявить. Думаю, надо отказаться ночевать в конуре, и потребовать у него комнату, и попросить прибавки, потому что жить на пятьдесят франков в день уже немоготу. А еще — прибавить в весе, стать очень сильным и красивым, и неожиданно для него взбунтоваться, и запустить ему в рожу кирпичом. Думаю, я это сделаю.

Повернувшись на другой бок, он стал размышлять дальше, да так напряженно, что воздух стал выплескиваться из конуры через дыру входа упругими волнами, и внутри его уже не хватало для дыхания. Правда, какая-то часть воздуха вернулась через щели и снизу, из-под подстилки, но от этого усилился запах тараканов, к которому вдобавок начал примешиваться тошнотворный аромат прелых слизняков.

— Терпеть не могу эту конуру. Здесь так холодно. Счастье еще, что ты рядом. В подвале шумит — это вода заливают крысинные норы. Попробуй засни, когда в ушах весь вечер стоят вопли тонущих крыс. И чего ему, спрашивается, приспичило топить крыс, да еще водой? Крыс топят в крови.

Животинка уже прекратила его вылизывать. На сером фоне светящейся земли виднелись очертания ее изящной мордочки и остреньких ушек, а в желтых глазах приплясывали холодные от-

блески. Она свернулась в клубок и, выискивая местечко поудобней, прижалась к нему, положив нос ему на бедро.

— Мне холодно, — прошептал ассистент и принялся беззвучно рыдать. Слезы его сбегали на солому. Вскоре от нее начал подниматься легкий парок и очертания предметов стали расплываться.

— Разбуди меня завтра утром, — попросил ассистент животинку. — Мне надо отвезти эти три марки на место. Только бы он опять не всучил мне фальшивый билет на поезд.

Где-то вдалеке поднялась кутерьма: донеслись повизгивания и суетливый мелкий топоток.

— Ох... — простонал ассистент. — Началось! Опять он воюет с крысами. Вот бы он превратился в крысу. Я бы тогда сам взял в руки шланг. Надеюсь, завтра вечером я получу свои пятьдесят франков. Как хочется есть! Съел бы крысу живьем.

Он держался за живот и все плакал, но постепенно ритм его рыданий замедлился — так останавливается автомобиль, — и его скрюченное тело обмякло. Ноги его высовывались из конуры наружу, и он спал, уткнувшись щекой в дурно пахнущую солому. В пустом животе урчало, словно перекачивались камешки.

V

Патрон, ползая по полу, слышал мелодичный голос: это возвещала о своем появлении разносчица перца. Он встал на ноги, убедился, что может передвигаться и так, выбежал в вестибюль и нарочито грубо распахнул дверь. Стоя на крыльце, он смотрел на приближавшуюся девушку.

Она была в обычной форменной одежде: плиссированная юбочка, едва прикрывающая ягодицы, коротенькие красно-голубые носочки, курточка-болеро, открывающая снизу грудь, ну и, конечно, хлопчатобумажный колпак в красную и белую полоску, ставший привычным во всем мире благодаря долготерпению и настойчивости разносчиц перца с острова Маврикий.

Патрон жестом подозвал девушку, и она пошла по аллее. Он спустился по ступеням и двинулся ей навстречу.

— Здравствуйте, — сказал он. — Мне бы перцу.

— Сколько зерен? — спросила девушка с притворной улыбкой — она его ненавидела.

Ее черные волосы и матовая кожа действовали на патрона так же ошеломляюще, как если бы ему на гениталии плеснули целый стакан ледяной воды.

— Поднимитесь по ступенькам, — попросил он, — и я скажу, сколько зерен мне нужно.

— Вам хочется стоять внизу и глазеть на мои ляжки, так?

— Так, — признался патрон, истекая слюной.

Он уже тянул к ней руки.

— Сначала заплатите за перец.

— Сколько?

— Сто франков за зернышко, но сперва испробуйте.

— А тогда вы подниметесь?.. — запинаясь выговорил патрон. — Я дам вам серию Занзибара.

— Мой брат принес вчера домой целых три, — заявила она со слащавой усмешкой. — Отведайте-ка моего перца.

Она протянула патрону зернышко, и тот не заметил, что это семечко ядовитой гвоздики. Ничтоже сумняшеся он отправил его в рот и проглотил.

Разносчица перца тем временем уже пошла прочь.

— Как? — удивился патрон. — А ступеньки?

— Ах-ха-ха, — язвительно проговорила разносчица перца.

Пока она выговаривала это, патрон начал испытывать возбуждающее действие отравы и пустился бежать что было мочи вокруг дома. Разносчица перца наблюдала за ним, привалившись к калитке.

На третьем круге она подала ему знак и стала дожидаться, чтобы он посмотрел на нее. Ему удалось это только на четвертом круге, так быстро он несея. Тогда она задрала свою плиссированную юбочку и увидела, как физиономия патрона стала фиолетовой, потом совершенно черной, потом занялась пламенем, а поскольку он не отрывал глаз от того, что она ему показывала, то в конце концов запутался ногами в шланге для утопления крыс и рухнул как подкошенный лицом на острый камень, и тот вошел ему точнехонько между скул, в то место, где раньше были нос и челюсти. Ноги его, все еще пытавшиеся оттолкнуться от земли, прорыли в ней глубокую двойную борозду, в которой постепенно, по мере того как истиралась кожа его ботинок, стали вырисовываться следы пяти заскорузлых пальцев, служивших ему для того, чтобы не спадали носки.

Разносчица перца затворила за собой калитку и отправилась восвояси, насмешки ради сорвав с колпака толстый помпон и отшвырнув его в сторону.

VI

Ассистент безуспешно пытался открыть дверь вагона. В купе было невыносимо жарко, благодаря чему пассажиры, сойдя с поезда, тотчас же простужались, а все потому, что брат машиниста держал торговлю носовыми платками.

Весь день ассистент трудился в поте лица ради жалкой добычи, но в сердце его пела радость, потому что скоро ему предстояло убить патрона. В конце концов ему удалось раздвинуть половинки двери, потянув их вверх и вниз: он сообразил, что начальник поезда, решив сыграть с ним злую шутку, нарочно повернул дверь набок. Довольный тем, что раскусил коварный замысел, он легко спрыгнул на перрон и запустил руку в карман. Там он без труда отыскал кусочек гофрированного картона, который надлежало предъявить при выходе, и заспешил к проходу, который загораживал какой-то хитрован, в коем он признал давешнего контролера.

— А у меня фальшивый билет, — объявил ассистент.

— Вот как? — отозвался контролер. — Дайте-ка взглянуть...

Ассистент протянул билет, и контролер принялся разглядывать его с таким усердием, что фуражка его разошлась, вобрав внутрь себя его вытянувшиеся уши.

— Совсем как настоящий, — заключил контролер.

— Если не считать того, что он не из дерева, а из картона, — сказал ассистент.

— Да ну? — изумился контролер. — А ведь можно было побиться об заклад, что он из дерева — если, конечно, не знать, что он из картона.

— Подумать только, ведь патрон дал его мне вместо настоящего...

— Настоящий стоит всего двенадцать франков, — сказал контролер. — А за такие он платит гораздо дороже.

— Сколько? — спросил ассистент.

— Я дам вам за него тридцать франков, — сказал контролер и полез в карман.

Жест этот был у него до того отработан, что ассистент решил, будто контролер подвержен дурным привычкам. Но тот достал всего-навсего три десятифранковые купюры, от руки разрисованные коричневой краской.

— Вот, держите, — сказал он.

— Они, разумеется, фальшивые? — уточнил ассистент.

— Сами посудите, не буду же я платить настоящие деньги за фальшивый билет, — сказал контролер.

— Согласен, — кивнул ассистент. — Но я лучше оставлю билет при себе.

Он напрягся и хорошенько размахнулся, благодаря чему его костлявый кулак содрал кожу со всей правой половины лица под фуражкой. Контролер вскинул руку к козырьку, словно отдавал честь, да так и рухнул, в результате чего расшиб локоть о твер-

дый бетон перрона, выложенного шестиугольниками, которые тут были голубыми и фосфоресцировали.

Переступив через тело, ассистент миновал проход. Чувствуя себя полным горячего, светлого сока жизни, он чуть ли не бегом устремился вверх по тропинке. Сачок он отстегнул и использовал его как подспорье восхождению. Подходя к очередному железному столбу проволочного ограждения, что тянулось по обе стороны выкопанной в виде котлована тропы, он набрасывал на его макушку сачок и, подтягиваясь за ручку, с легкостью взбирался вверх, петляя меж усеивавших тропу острых камней. На первых же метрах подъема сетка сачка изодралась и отлетела прочь. Вот и хорошо, он наденет железный обруч патрону на шею.

Намного быстрее обычного добравшись до калитки, ассистент безбоязненно толкнул ее, с надеждой ожидая удара током, который подогрел бы его ярость, но ничего такого не ощутил и остановился. Впереди, у ступеней крыльца, что-то слабо подергивалось. Ассистент пустился бегом по аллее. Несмотря на холод, кожа его начинала гореть, и он чуял несвежий запах собственного тела, отдававшего соломой и тараканами. Он напряг тонкие веревочки бицепсов, и пальцы его стиснули бамбуковую рукоять сачка. Ясное дело, патрон кого-то убил.

Однако при виде знакомого темного костюма и сверкающего крахмалом воротничка он встал как вкопанный. На том месте, где у патрона раньше была голова, оставалась лишь какая-то черноватая масса, а ноги его уже завершали свой бег в прорытых ими бороздах с продольными углублениями по числу пальцев.

Чувство разочарования быстро сменилось у ассистента глубоким отчаянием, и он задрожал всем телом, охваченный злобой и жадной убийства. Ошеломленный, растерянный, он затравленно огляделся. Все те слова, что он приготовился высказать, рвались наружу. Надо было дать им волю.

— Зачем ты сделал это, свинья?

Последнее слово прозвучало в бесстрастном воздухе как-то вяло, с недостаточной убедительностью.

— Свинья! Мерзавец! Подонок! Мразь! Ублюдок! Ворюга! Сволочь непотребная! Гад проклятый!

Из глаз ассистента текли слезы, потому что патрон не отзывался. Он схватил бамбуковую палку и ткнул ею патрону в спину.

— Отвечай, старая гнида. Ты опять дал мне фальшивый билет.

Ассистент налег на ручку сачка всем своим весом, и та вошла в размягченную ядом плоть. Он повернул ручку вокруг оси, потревожив червей, начавших вылезать из трупа наружу, и стал крутить ее все быстрее, словно волчок.

— Фальшивый билет, солома с тараканами, мои тридцать франков, и я голоден, а мои сегодняшние полста?

Патрон уже почти не шевелился, и черви больше не ползли из него.

— Я хотел убить тебя, мразь поганая. Ох, как мне надо было тебя убить. Да я тебя и мертвого убью, старый хрен. Где мои пятьдесят франков?

Ассистент выдернул рукоять из трупа и принялся с размаху лупить ею по обуглившемуся черепу, который рассыпался под ударами подобно корочке подгоревшего суфле. На месте головы у патрона не осталось ничего. Все заканчивалось воротничком.

Ассистент перестал дрожать.

— Значит, ты решил смыться. Пусть так, но я все равно должен кого-нибудь убить.

Он сел на землю, заплакал, как накануне, и к нему легким шагом подбежала его животинка, испрашивая дружбы. Ассистент зажмурился. На щеке он ощутил робкое, ласковое прикосновение, и пальцы его сомкнулись на тонкой шейке. Животинка даже не попыталась высвободиться, и только когда ласковое прикосновение стало холодным, он понял, что задушил ее. Тогда он поднялся на ноги. Он побрел по аллее, вышел на дорогу и свернул вправо, не сознавая, куда идет, а хозяин уже совсем перестал шевелиться.

VII

Прямо перед собой ассистент увидел большой пруд с голубыми марками. Спускалась ночь, и вода играла загадочными далекими отблесками. Пруд был неглубокий; марки в нем вылавливали сотнями, но особой ценности они не имели, потому что плодились круглый год.

Ассистент достал из сумки два колышка и воткнул их в землю на самом берегу пруда, в метре один от другого. Между ними он туго натянул тонкую стальную проволоку и попробовал ее пальцем, извлекая при этом печальную ноту. Проволока проходила сантиметрах в десяти над землей параллельно берегу пруда.

Ассистент отошел на несколько шагов, повернулся лицом к водной глади и пошел прямо на проволоку. Глаза у него были закрыты, и он насвистывал нежную мелодию — ту самую, которую любила его животинка. Шагал он медленно, нешироко, и ноги его наткнулись на проволоку. Он упал головой в пруд. Тело его осталось недвижимым, а под безмолвной поверхностью юркие голубые марки уже торопились присосаться к его впалым щекам.

БЛЮЗ ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА

I

Петер Нья вышел с сестрой из кино. После душного кинозала, где воняло еще не просохшей краской, приятно было вдыхать свежий, чуть пахнувший лимоном ночной воздух. Показали глубоко безнравственный мультфильм, и Петер Нья был так разъярен, что стал размахивать курткой и нанес телесное повреждение одной пожилой, еще совсем не тронутой даме. Людей на улице опережали запахи. От света фонарей, фар машин и огней кинотеатров слегка рябило в глазах. Толпа загрохотала боковые улочки, и Петер с сестрой свернули к Фоли-Бержер. В каждом втором доме — бар, перед каждым баром — по паре девиц.

— Сплошь сифилитички, — пробурчал Нья.

— Неужели все? — спросила сестра.

— Все, — заверил Нья, — я вижу их в больнице. Иногда они предлагают себя: мол, они уже выздоровели.

Сестра поежилась.

— А как они это определяют?

— Они считают, что вылечились, когда реакция Вассермана становится наконец отрицательной, но это еще ни о чем не говорит.

— Видно, мужчины не очень-то разборчивы, — сказала сестра.

Они повернули направо, потом сразу налево; из-под тротуара доносилось мяуканье, и они остановились посмотреть, в чем дело.

II

Сначала коту вовсе не хотелось драться, но петух каждые десять минут пронзительно орал. Петух этот принадлежал даме со второго этажа. Его откармливали, чтобы съесть, когда придет

время. По праздникам евреи всегда едят кур, у них губа не дура, что и говорить. А у кота петух уже в печенках сидел; если бы еще он просто забавлялся: так нет, ходит на двух ногах и воображает о себе невесть что.

— Получай! — крикнул кот и как следует заехал ему лапой по голове.

События разворачивались на подоконнике у консьержки. Петух вообще-то драться не любил, но тут ведь дело чести... Он взревел и принялся обрабатывать клювом кошачьи бока.

— Сволочь, — возмутился кот, — что я тебе, какое-нибудь жестоккрылое?.. Ты у меня запоешь по-другому!..

Бах! Удар головой в куриную грудь петуха. Ну и скотина этот петух! Еще раз клюнул кота в позвоночник, а потом в крестец.

— Посмотрим, кто кого, — воскликнул кот и вцепился петуху в горло, но чуть не подавился перьями, и тут петух вlepил ему два прямых удара крылом, и кот, не успев опомниться, покатился на тротуар. Прошел человек. Наступил коту на хвост. Кот подпрыгнул, упал на мостовую и, отскочив от мчащегося велосипеда, установил, что глубина канализационного колодца около метра шестидесяти, что на расстоянии метра двадцати от земли есть уступ, но что колодец очень узок и полон нечистот.

III

— Это кот, — сказал Петер Нья.

Вряд ли какой-то другой зверь стал бы так коварно подражать крикам кота, обычно называемым по принципу онomatопеи мяуканьем.

— Как он туда свалился?

— Это все из-за чертова петуха в сообществе с велосипедом, — пояснил кот.

— Вы первый начали? — спросила сестра Петера Нья.

— Вовсе нет, — ответил кот. — Он сам меня вынудил своими бесконечными воплями, ведь знает, что я этого не перевариваю.

— Не надо на него сердиться, — сказал Петер Нья. — Ему скоро перережут горло.

— И поделом, — сказал кот, злорадно ухмыляясь.

— Нехорошо радоваться несчастью ближнего, — сказал Петер Нья.

— Вот еще, — возразил кот, — ведь я и сам попал в переплет. — И он горько заплакал.

— Мужайтесь! — строго сказала сестра Петера Нья. — Вы не первый кот, которому довелось свалиться в люк.

— Да плевать я хотел на других, — проворчал кот и добавил: — Может, вы попробуете вытащить меня отсюда?

— Конечно попробуем, — сказала сестра Петера Нья, — но если вы снова начнете драться с петухом, так не стоит и стараться.

— О, петуха я оставлю в покое! — сказал кот равнодушным тоном. — Он свое получил.

Из комнаты консьержки донесся радостный вопль петуха. К счастью, кот его не услышал. Петер Нья размотал шарф и лег на живот посреди улицы.

Вся эта суматоха привлекла внимание прохожих, и вокруг люка собралась толпа. Здесь была проститутка в меховой шубе, из-под которой виднелось плиссированное розовое платье. От нее чертовски приятно пахло. С ней были два американских солдата, по одному с каждой стороны. У того, что справа, не было видно левой руки, и у того, что слева, — тоже, но он был левшой. Были здесь также консьержка из дома напротив, судомойка из соседнего бистро, два сутенера в мягких шляпах, еще одна консьержка и старая кошатница.

— Какой ужас! — сказала проститутка. — Бедное животное, я не могу этого видеть.

И она закрыла лицо руками. Один из сутенеров предупредительно протянул ей газету с шапкой: «Дрезден разрушен до основания, около ста двадцати тысяч убитых».

— Люди-то ладно, меня это не трогает, — сказала, прочитав заголовок, старая кошатница, — но я не могу видеть, как страдает животное.

— Животное! — возмутился кот. — Сами вы животное!

Но пока только Петер Нья, его сестра и американцы понимали кота, потому что он говорил с сильным английским акцентом, который у американцев вызывал отвращение.

— The shit with this limey cat!¹ К черту этого дерьмового английского кота! (англ.), — сказал тот, что повыше. — What about a drink somewhere?² Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь выпить? (англ.)

— Да, дорогой, — сказала шлюха. — Его, безусловно, оттуда вытащат.

— Сомневаюсь, — сказал Петер Нья, поднимаясь, — у меня слишком короткий шарф, и он не сможет за него уцепиться.

— Это ужасно! — простонал хор голосов.

— Заткнитесь! — процедил кот сквозь зубы. — Дайте ему сосредоточиться.

¹ К черту этого дерьмового английского кота! (Англ.).

² Как насчет того, чтобы пойти куда-нибудь выпить?.. (Англ.).

— Ни у кого нет бечевки? — спросила сестра Петера Нья.

Бечевка нашлась, но было ясно, что коту за нее не уцепиться.

— Не годится, — сказал кот, — она проскальзывает у меня между ногтей, и это очень неприятно. Попадись мне сейчас скотина петух, я бы ткнул его носом в это дерьмо. Здесь отвратительно воняет крысами.

— Бедняжка, — сказала судомойка из бистро. — От его мяуканья прямо сердце разрывается. На меня это так действует...

— Как будто ребенок плачет, даже жалостней, — заметила шлюха.

— Это слишком тяжело, я ухожу отсюда.

— To hell with this cat!¹ — сказал второй американец.

— Where can we sip some cognac?..²

— Ты и так перебрал, — проворчала девица. — Вы тоже несносны... Пошли, не могу больше слышать этого кота.

— О! — возмутилась прислуга из бистро. — Вы могли бы немного помочь этим господам!..

— Я бы с удовольствием! — сказала шлюха, разрыдавшись.

— Эй, потише вы там, наверху, — повторил кот. — И поторопитесь, не то я простужусь...

С противоположной стороны улицы подошел человек без шляпы, без галстука, в тапочках. Видно, вышел покурить перед сном.

— В чем дело, госпожа Пьешь? — обратился он к одной из женщин, по всей видимости консьержке.

— Бедный котик, его, видно, мальчишки сбросили в эту канаву, — вмешалась кошатница. — Ох уж эти мальчишки! Будь моя воля, я бы всех их отправила в исправительные дома до совершеннолетия.

— Петухов бы туда отправить, — откликнулся кот. — Мальчишки хоть не орут весь день напролет под тем предлогом, что, может быть, взойдет солнце...

— Я сбегая домой, — сказал человек в тапочках. — У меня есть одна штука, которая поможет вытащить его оттуда... Подождите минутку.

— Надеюсь, он не шутит, — сказал кот. — Я начинаю понимать, почему в сточных канавах всегда застаивается вода. Попасть сюда легко, а вот обратный маневр чуточку сложнее.

— Не знаю, что и придумать, — сказал Петер Нья. — До вас никак не доберешься, уж очень место неудобное.

¹ К черту кота (англ.).

² Где бы нам хлебнуть коньяку?.. (Англ.).

— Сам знаю, — ответил кот, — если бы я мог, то вылез бы и без вашей помощи.

Приближался еще один американец. Он твердо держался на ногах. Петер Нья объяснил ему, что происходит.

— Can I help you?¹ — спросил американец.

— Lend me your flash-light, please², — попросил Петер Нья.

— Oh! Yeah!³ — сказал американец и протянул ему свой карманный фонарик.

Петер Нья снова лег на живот, и ему удалось краем глаза увидеть кота. Тот воскликнул:

— Вот-вот, посветите мне этой штуковиной... Похоже, так что-нибудь выйдет. Она чья, америкашкина?

— Да, — сказал Петер Нья. — Я вам спущу свою куртку, попробуйте за нее уцепиться.

Он снял куртку и опустил ее в канаву, держа за один рукав. Люди начинали понимать кота. Они привыкали к его акценту.

— Еще немножко, — сказал кот и подпрыгнул, чтобы уцепиться за куртку. Послышалось страшное ругательство — на этот раз на кошачьем языке. Куртка выскользнула из рук Петера Нья и исчезла в водостоке.

— Что случилось? — взволнованно спросил Петер Нья.

— А, черт побери! Я только что стукнулся башкой о какую-то штуковину. Чертовски больно!..

— А моя куртка? — поинтересовался Петер.

— I'll give you my pants⁴, — предложил американец и начал снимать брюки, чтобы помочь делу спасения.

Сестра Петера Нья его остановила.

— It's impossible with the coat. Won't be better with your pants⁵, — сказала она.

— Oh! Yeah, — согласился американец, застегивая брюки.

— Что он делает? — возмутилась шлюха. — Он в дымину пьян!.. Не давайте ему снимать штаны посреди улицы. Ну и свинья!..

Толпа вокруг все росла. Освещенная электрическим светом, дыра водостока приняла странный и зловещий вид. Кот чертыхался, и эхо его ругательств, странно усиленное, доносилось даже до последних прибывших.

¹ Не могу ли я вам помочь? (Англ.)

² Одолжите, пожалуйста, ваш фонарик (англ.).

³ Да, конечно (англ.).

⁴ Я дам вам свои брюки (англ.).

⁵ С курткой ничего не вышло, и с вашими брюками лучше не будет (англ.).

— Мне бы хотелось получить назад свою куртку, — сказал Петер Нья.

Человек в тапочках протискивался сквозь толпу. Он нес длинную палку от швабры.

— Вот теперь, может, что-нибудь получится, — сказал Петер Нья.

Но палка, прямая как палка, не прошла в глубину колодца, образовывавшего наверху колено. Для этого ей надо было бы изогнуться, а она заартачилась.

— Надо бы найти крышку люка и снять ее, — подсказала сестра Петера Нья.

Свое предложение она перевела американцу.

— Oh! Yeah, — сказал тот.

И он тотчас же начал поиски крышки. Просунул руку в прямоугольное отверстие, дернул, но поскользнулся и рухнул, стукнувшись головой о стену ближайшего дома.

— Позаботьтесь о нем, — велел Петер Нья двум женщинам из толпы, которые подхватили американца и повели к себе, чтобы проверить содержимое карманов его кителя. Среди прочего там оказалось душистое мыло «Lux» и большая плитка «O'Henry», шоколада с начинкой. Взамен он наградил их хорошей гонореей, которую заполучил от одной восхитительной блондинки, встреченной за два дня до этого на площади Пигаль.

Человек, который принес палку от швабры, хлопнул себя по лбу и, воскликнув: «Эврикот!» — снова отправился к себе домой.

— Он надо мной издевается, — возмутился кот. — Эй вы там, поторопитесь, а не то я возьму и уйду. Найду какой-нибудь другой выход.

— Если пойдет дождь, вас затопит, — предупредила сестра Петера Нья.

— Дождя не будет, — заявил кот.

— Ну, тогда вам встретятся крысы.

— Подумаешь!

— Ну что ж, счастливого пути, — сказал Петер Нья. — Но учтите, они бывают покрупнее вас. И очень мерзкие. Да, смотрите не напрудите на мою куртку.

— Если они грязные, это меняет дело. Но главное, от них воняет. Нет, кроме шуток, поторапливайтесь там! И не беспокойтесь о вашей куртке, я за ней присматриваю.

Было слышно, как кот падает духом. Появился человек в тапочках. Он нес авоську, привязанную к концу длинной веревки.

— Отлично! — воскликнул Петер Нья. — Теперь уж ему удастся зацепиться.

— Что это? — спросил кот.

— Вот, смотрите, — сказал Петер Нья, опустив ему авоську.

— Ну, теперь совсем другое дело, — одобрительно сказал кот. — Подождите тащить, я захвачу куртку.

Через несколько секунд показалась авоська, а в ней, удобно расположившись, сидел кот.

— Наконец-то, — сказал он, выкарабкавшись. — А куртку свою доставайте сами. Поищите крючок или еще что-нибудь. Уж очень она тяжелая.

— Дерьмо! — выругался Петер Нья.

Появление кота было встречено радостными возгласами. Его передавали из рук в руки.

— Какой красивый котик! Бедняжка! Он весь в грязи...

От кота чудовищно воняло.

— Вытрите его, — сказала шлюха, протягивая свою светло-голубую шелковую косынку.

— Вы ее потом не отмоете, — сказала сестра Петера Нья.

— Не важно, — ответила шлюха в порыве великодушия. — Косынка все равно чужая.

Кот пожал всем руки, и толпа стала рассеиваться.

— Так что же, — сказал кот, видя, что народ расходится, — теперь, когда меня вытащили, я уже никому не интересен? Кстати, где петух?

— Хватит! — сказал Петер Нья. — Пойдемте выпьем и забудем о петухе.

Вокруг кота теперь оставались только человек в тапочках, Петер Нья, его сестра, шлюха и два американца.

— Пошли выпьем за здоровье кота, — предложила шлюха.

— А девочка недурна, — сказал кот. — Но какого пошиба! А в общем-то, я бы охотно переспал с ней сегодня ночью.

— Успокойтесь, — сказала сестра Петера Нья.

Шлюха стала трясти своих спутников.

— Пошли!.. Пить!.. Коньяк!.. — объяснила она, стараясь произносить каждое слово как можно отчетливее.

— Yeah! Cognac!¹ — разом откликнулись проснувшиеся американцы.

Петер Нья шел впереди с котом на руках, остальные следовали за ним. Бистро на улице Ришер было еще открыто.

— Семь коньяку! — заказала шлюха. — Я угощаю.

— Вот это девочка! И живет же ее коту, — с завистью сказал кот. — Официант! Мне добавьте немного валерьянки.

¹ Да! Коньяк! (Англ.)

Подали коньяк, и все радостно чокнулись.

— Бедный котик, наверно, простудился! Может, дать ему выпить антигриппина?

Услышав это, кот поперхнулся и выплюнул коньяк.

— За кого она меня принимает, — обратился он к Петеру Нья. — Кот я или не кот, в конце концов?!

Теперь, при свете ламп дневного света, все увидели, что это за кот. Кот хоть куда! Толстый котище с желтыми глазами и длинными подкрученными усами а-ля Вильгельм Второй. Рваные уши с бахромой свидетельствовали о его доблестных похождениях, а спину пересекал широкий белый шрам, кокетливо оттененный по краю фиолетовым.

— What's that?¹ — спросил американец, потрогав шрам. — Вы были ранены, сударь?

— Yes, — ответил кот. — ФФИ²...

Он произнес как полагается на английский манер: «Эф, эфэ ай».

— Fine! — сказал второй американец, энергично пожав ему руку. — What about another drink?³

— O'key doke, — сказал кот. — Got a butt?⁴

Американец протянул коту свой портсигар, не досадуя на отвратительный для него английский акцент кота, который, желая быть приятным собеседнику, употреблял американский слэнг.

Кот выбрал самую длинную сигарету и прикурил от зажигалки Петера Нья. Остальные тоже взяли по сигарете.

— Расскажите, как вас ранили, — попросила шлюха.

Петер Нья клюнул и отправился выуживать куртку. Может, и она клюнет.

Кот покраснел и скромно опустил голову.

— Я не люблю говорить о себе. Можно мне еще коньяку?

— Вам будет плохо, — сказала сестра Петера Нья.

— Чепуха, — запротестовал кот. — У меня луженые кишки. Уж про меня-то не скажешь, что у меня кишка тонка. И потом, после этого стока... Брр! Как там воняло крысами!..

Он залпом выпил свою рюмку.

— Как он ловко опрокидывает! — с восхищением сказал человек в тапочках.

¹ Что это? (Англ.)

² Да (англ.). ФФИ — Французские внутренние силы движения Соппротивления.

³ Отлично. Как насчет того, чтобы выпить еще? (Англ.)

⁴ О'кей, док. Закурить не найдется? (Англ.)

— В следующий раз налейте мне в стакан для лимонада, — бросил кот.

Второй американец отошел, сел на скамейку, расставил ноги и стал блевать, поддерживая голову руками.

— Это было в апреле сорок четвертого, — начал кот. — Я возвращался из Лиона, где установил связь с котом Леона Плукка, который тоже участвовал в Сопротивлении. Кот что надо, между прочим; позже он был схвачен кошачьим гестапо и отправлен в Бухенкатце.

— Какой ужас, — сказала шлюха.

— Я за него не беспокоюсь, — продолжал кот, — он сумеет выпутаться. Так вот, я пробирался к Парижу, но в поезде, себе на беду, повстречал одну кошечку... Вот стерва...

— Выбирайте выражения! — строго сказала сестра Петера Ня.

— Простите! — извинился кот и отпил большой глоток коньяка.

При этом его глаза зажглись как две фары, а усы встопорщились.

— Ну и ночка была у меня в этом поезде, — сказал он, сладко потягиваясь. — Ух! Что было! Ик!.. — заключил он, одолеваемый икотой.

— И что же дальше? — спросила шлюха.

— Да так, ничего особенного, — сказал кот с наигранной скромностью.

— А как же вы получили рану? — спросила сестра Петера Ня.

— У хозяина кошечки башмаки были подбиты железом, и он целил мне в зад, но промахнулся! Ик!

— И это все? — разочарованно спросила шлюха.

— Вы что же, хотели бы, чтобы он меня убил, да? — язвительно осклабился кот. — Интересная у Вас психология! Кстати, Вы не бываете в Рах-vobiscum?

Речь шла об одной из гостиниц квартала — говоря точнее, о доме терпимости.

— Бываю, — напрямик ответила шлюха.

— Я на дружеской ноге с судомойкой. У нее всегда находится для меня выпивка.

— С Жерменой? — спросила шлюха.

— Да, — сказал кот, — с Жер-ик-меной... — Он залпом допил свой стакан.

— Я бы охотно подцепил трехцветную, — продолжал он.

— Как вы сказали? — переспросила шлюха.

— Трехцветную кошечку, — пояснил кот, — или совсем еще

зеленого котика. — Он пошло засмеялся и подмигнул правым глазом. — Или петуха! Ик!

Встав на все четыре лапы, кот потянулся, выгнул спину, задрал хвост и сладострастно задрожал.

— Черт возьми! — воскликнул он. — Меня так и разбирает...

Сестра Петера Няя, смутившись, стала рыться в сумочке.

— У Вас нет кого-нибудь на примете? — спросил кот у шлюхи. — Ваши подружки не держат кошечек?

— Вы свинья! — возмутилась шлюха. — В таком обществе...

Тип в тапочках был неразговорчив, но, возбужденный кошачьими речами, он приблизился к шлюхе и произнес:

— От вас приятно пахнет. Что это?

— Серный аромат старого партнера, — ответила та.

Положив руку на соблазнительную округлость, он спросил:

— А это, это что такое?

Он встал на место американца, которому стало плохо.

— Ну-ну, дорогуша, будь пайнкой, — сказала шлюха.

— Официант! — позвал кот. — Принесите мне мятной настойки!

— Хватит! — запротестовала сестра Петера Няя. — Наконец-то! — воскликнула она.

Дверь открылась и вошел Петер Няя. Он вернулся с перепачканной курткой.

— Не давай ему больше пить! — попросила сестра. — Он и так наедался.

— Подожди! — сказал Петер Няя. — Я должен почистить куртку. Официант! Принесите мне два сифона! — Он повесил куртку на спинку стула и обильно сифонизировал ее.

— Странно! — сказал кот. — Официант! Эта мятная настойка... Ик!.. Спаситель ты мой! — воскликнул он, облапив Петера Няя. — Выпьем! Я угощаю.

— Хватит, старик! — сказал Петер Няя. — А то инсульт заработаешь.

— Он спас меня! — прорычал кот. — Он вытащил меня из дыры, где было полно крыс; я там чуть не сдох!

От избытка чувств шлюха уронила голову на плечо человека в тапочках, но тот вдруг покинул ее, отошел в уголок и стал ублажать себя собственными средствами. Кот вскочил на стойку и залпом допил остатки коньяка.

— Брр! — произнес он, помотав головой. — Не то чтобы мелкими пташечками! Если бы не он, я бы погиб, погиб! — прохрипел он.

Шлюха рухнула на стойку, уронив голову на руки. Второй

американец тоже оставил ее и примостился рядом со своим соотечественником. Они стали блевать синхронно и изобразили на полу американский флаг. Второй позаботился о сорока восьми звездах.

— Приди в мои объятия! Ик! — закончил кот.

— Какой он милый! — сказала шлюха, прослезившись.

Чтобы не обижать кота, Петер Нья поцеловал его в лоб. Кот сжал его в объятиях, потом вдруг отпустил и рухнул на пол.

— Что с ним? — взволнованно спросила сестра Петера Нья.

Петер Нья вынул из кармана хирургическое зеркальце и ввел его в ухо коту.

— Он умер, — объявил Петер Нья. — Коньяк достиг мозга. Видно, как он просачивается.

— Господи! — сказала сестра Петера Нья и заплакала.

— Что с ним? — встревоженно спросила шлюха.

— Он умер, — повторил Петер Нья.

— Боже мой! — сказала шлюха. — После всех наших стараний!

— Такой славный котик! И какой собеседник! — сказал вернувшийся человек в тапочках.

— Да, — подтвердила сестра Петера Нья.

Официант пока ничего не говорил, но чувствовалось, что он уже выходит из оцепенения.

— С вас восемьсот франков.

— Ого! — встревоженно сказал Петер Нья.

— Я угощаю! — сказала шлюха, доставая тысячу франков из своей элегантной красной кожаной сумки. — Сдачи не надо, — сказала она, обращаясь к официанту.

— Благодарю, — ответил тот. — А что прикажете делать с этим? — Он с отвращением указал на кота. Струйка мятной настойки стекала по кошачьей шерсти, образуя замысловатый рисунок.

— Бедняжка! — всхлипнула шлюха.

— Не оставляй его здесь, — сказала сестра Петеру Нья. — Нужно что-то придумать...

— Он пил как лошадь! — сказал Петер Нья. — До чего глупо. Но теперь поздно об этом говорить.

Шум Ниагары, служивший с момента ухода американцев звуковым оформлением сцены, вдруг прекратился. Они разом встали и подошли к остальным.

— Коньяку! — спросил первый.

— Баиньки, мой мальчик, пошли спать, — и она обняла обоих американцев за плечи.

— Извините, господа, я должна пойти уложить своих малышей. А котика все-таки жалко. И вечер так славно начался...

— До свидания, мадам, — сказала сестра Петера Нья.

Человек в тапочках соболезнующе похлопал Петера Нья по плечу, огорченно покачал головой и вышел на цыпочках, не проронив ни слова.

Официанту явно хотелось спать.

— Что мы будем с ним делать? — спросил Петер Нья.

Сестра ничего не ответила.

Тогда Петер Нья завернул кота в свою куртку, и они вышли. Было холодно и темно. В небе одна за другой загорались звезды. Колокола церковей исполнили траурный марш Шопена, оповещая жителей города, что час ночи уже пробил. Дул резкий ветер, и было трудно идти. Брат и сестра добрались до угла. У их ног зиял черный люк, жадно поджидая добычу. Петер Нья развернул куртку. Он осторожно вынул уже совсем окоченевший труп кота, а сестра молча погладила его. Медленно, словно нехотя, кот исчез в водостоке. Раздался всплеск: яма, удовлетворенно хмыкнув, проглотила добычу.

I

Директор сумасшедшего дома смотрел на удалявшегося Андре. Тот шагал, прижав локти к бокам и запрокинув голову назад под прямым углом.

«Полностью излечился», — подумал директор.

Три месяца минуло с тех пор, как этот тихий пациент поступил на его попечение, — тогда он мог передвигаться только растопырив руки, уставясь себе на пупок и производя ртом шмелиное гудение.

— Любопытный случай, — добавил директор уже вслух.

Он вытащил пачку сигарет, воткнул одну себе в ухо, принялся разжевывать спичку, подпрыгивая то на одной ноге, то на другой, затем на четвереньках убежал в свой кабинет.

Андре, пройдя метров двести, почувствовал усталость. Он растопырил руки, опустил голову, надул щеки и зашагал дальше с гудением: бз-з-з-з...

Земля так и егозила у него под ногами, а придорожные деревья виляли хвостами. Гостеприимные домишки, попутанные виноградником, вглядывались в его бородатую физиономию, когда он проходил мимо, но остерегались извлекать из нее какие-либо выводы.

При виде подъезжающего трамвая Андре пребольно ударился в бег, и исторгнутый вследствие этого вопль перекрыл грохот от столкновения передка трамвая с теменными костями бегуна.

Как он и ожидал, его отвели в аптеку, где поднесли заживляющее на спирту, несмотря на то что был вторник. Оставив умеренные чаевые, он возобновил свой путь домой.

II

Из своего окна на шестом этаже он снова видел крышу дома напротив, пониже; чересчур надолго оставленные нараспашку ставни исчертили его стену горизонтальными полосами, совершенно, впрочем, невидимыми по причине того, что ставни всегда оставались открытыми. На четвертом этаже раздевалась девушка перед зеркалом гардероба и виднелся краешек кровати из заморенного палисандра, застланной ярко-желтой американской периной, на которой отчетливо выделялась пара чьих-то нетерпеливых ступней.

Впрочем, по зрелом размышлении то была, возможно, вовсе не девушка, о чем свидетельствовала хотя бы вывеска у двери: *«Гостиница «Спортивная», комнаты на час, на полчаса и на одну перепасовку»*. Но выглядела гостиница вполне пристойно: на фасаде первого этажа — мозаика, во всех окнах — занавески и лишь одна слегка поврежденная черепица в самой середине крыши. Остальные черепицы после последней бомбежки были заменены, и этими красными плитками, более светлыми, чем каштановая крыша, был искусно выложен профиль беременной Марии Стюарт с подписью мастера: Гюстав Лоран, кровельщик, улица Гамбетты. Соседний дом еще не отремонтировали: зияющую брешь в его правом крыле покрывал брезент, а у подножия стены громоздилась груда обломков и железяк, в ней кишмя кишели мокрицы и ядовитые гремучие змеи, которые трясли своими погремушками далеко за полночь, словно возвещая начало черной мессы в честь Князя тьмы.

Последняя бомбежка имела и другие последствия, и в числе прочих — водворение Андре в сумасшедший дом. Она была для бедняги уже второй по счету, и его мозг, привыкший свободно впитывать евангелия от святого Зано, пришел из-за этого в ярко выраженное вращательное движение, деля Андре в вертикальной плоскости на две почти одинаковые части и — с точки зрения того, кто наблюдал его в профиль, по ходу часовой стрелки, — тем самым устремляя его череп вперед и принуждая растопыривать руки, чтобы сохранить равновесие. Сию оригинальную позу он дополнял пульсирующим «бз-з-з-з...», что ставило его на несколько локтей ниже общего уровня.

Стараниями директора сумасшедшего дома эти последствия постепенно сошли на нет, и тот факт, что, едва скрывшись с глаз этого достойнейшего человека, Андре вернулся к прежнему, объяснялся как вполне понятной тягой к свободе, так и известным кокетством неистощимого выдумщика.

Этажом ниже часы адвоката пробили пять. Удары молоточка по бронзе отдавались в сердце Андре так, будто исходили сразу из четырех углов комнаты. Церкви поблизости не было. С внешним миром Андре связывали только часы адвоката.

Стенные часы из лакированного дуба. Гладкий круглый циферблат из потускневшего металла. Накладные цифры из красной меди, а внизу — окошко из толстого стекла, сквозь которое виднелся маятник — сплюснутый цилиндр, оканчивающийся бобышкой, скользящей по другому выгнутому стержню, образующему у стопора закругленную поперечину анкера. Как и полагаются всяким уважающим себя электрическим часам, они никогда не останавливались, и анкер оставался для всех невидимым. Но в тот вечер, когда была бомбежка, Андре увидел его в распахнутую дверь адвоката. Часы показывали шесть, половину вечности, и в этот самый миг его застигла бомба, грозно указав ему на дверь и пахнув в лицо смертоносным дыханием. Он кинулся прочь, и его падение кувырком по лестнице завершилось лишь в подвале, а одиннадцать ступенек лишились при этом своей бахромы из рифленой латуни.

Как только часы попадут к нему в руки, он остановит их и благодаря этому встанет на анкер, то бишь на якорь, во времени.

III

Температура все поднималась и упиралась в низкий потолок, постепенно сдавливая пригодную для дыхания атмосферу до узкой щелки под дверью, выходящей на лестничную площадку. Растянувшись на полу у своей кровати, Андре длинными вдохами втягивал в легкие лишь немногим более прохладный воздух, чьим незаметным движением по полу катало барашки пыли, загоняя их в и без того переполненные щели видавшего виды паркета. Кран, склонившийся над своей раковиной, с видом мученика орошал водой бутылку спиртного, стараясь не дать ему самовоспламениться. То была уже вторая по счету бутылка: содержимое первой кипело глубоко в нутре Андре, вырываясь наружу сквозь поры его кожи тонюсенькими струйками серого пара.

Припав ухом к полу, он явственно различил равномерный стук часов и переместился так, чтобы оказаться у них в зените. Складным ножом с крепким лезвием он старался проковырять в мытой-перемытой еловой паркетине отверстие, сквозь которое можно было бы их увидеть. Жилы древесины, что были пожелтее и пожестче, вздувались под ножом, тогда как промежутки, истертые щеткой, поддавались довольно легко. Сначала он перерезал по-

перечные фибры, потом, вонзая нож вдоль древесных волокон, нажимом отщеплял кусочки со спичку длиной.

В слепящем оконном проеме раздалось шмелиное гудение самолета — оно металось в вышине подобно тому, как мелькает туда-сюда перед полузакрытым из-за мигрени глазом светящаяся точка. Бомбежки не последовало. Установленные на оконечностях моста зенитные орудия безмолвствовали.

Он снова взялся за нож.

Начнись бомбежка, адвокат, возможно, опять оставит свою дверь открытой...

IV

Адвокат засучил рукава, яростно поскреб грудь в вырезе мант — точно с таким скрежетом чистят скребницей лошадь, — нахлобучил шапочку на сияющий череп балясины рядом с собой и приступил к защитительной речи.

— Господа присяжные, — сказал он, — давайте оставим в стороне побудительный мотив убийства, обстоятельства, при которых оно было совершено, а также сам факт убийства. Что же в таком случае вы можете инкриминировать моему подзащитному?

Присяжные, обескураженные столь неожиданной постановкой вопроса, тревожно перемалчивались. Судья спал, а прокурор уже давно продан немцам.

— Представим проблему по-иному, — продолжал адвокат, закрепляя нечаянный успех. — Если не принимать во внимание вполне понятное горе родных жертвы, перед которым я сочувственно склоняю голову; если отвлечься от необходимости, перед которой был поставлен — да будет мне позволено добавить: в порядке самообороны — мой подзащитный, от настоятельной, подчеркиваю, необходимости прикончить заодно и двоих полицейских, коим было поручено его арестовать, — короче говоря, если не учитывать всего этого, что же остается?

— Ничего, — вынужден был признать один из присяжных, учитель по профессии.

— Установив это, если мы далее примем к сведению, что с самого нежного возраста мой подзащитный находился в обществе одних только грабителей да убийц, что на протяжении всей жизни перед глазами у него был пример беспутной, разгульной жизни, что он втянулся в такой образ жизни и стал воспринимать его как нечто естественное, так что в конце концов и сам превратился в насильника, грабителя и убийцу, — и что же мы можем из этого заключить?

Присяжные совсем растерялись от такого красноречия, а крайне правый бородатый старик с мудрой сосредоточенностью наблюдал за тем, как падают на пол брызги адвокатской слюны. Учитель же счел своим долгом повторить: «Ничего!» — и густо покраснел.

— А вот и нет, мсье! — гаркнул адвокат, да с такою силой, что на публику посыпались осколки стекла. (Он наелся их утром.) — Из этого мы заключим, что, будучи помещен в среду добропорядочную, мой подзащитный приобрел бы исключительно добропорядочные привычки. *Asinus asinum fricat*¹, гласит пословица, но она не уточняет, что и противоположное может быть справедливо.

Учитель некоторое время мучительно соображал, что же такое могло бы явиться противоположностью ослу, и это усилие настолько истощило его, что он обмяк и не вставая с места скончался.

— Ну так вот, — перешел к финалу адвокат, — все, что я вам тут наговорил, — неправда. Мой подзащитный происходит из благородной фамилии с безупречной репутацией, он получил блестящее воспитание, и жертву он убил преднамеренно и с полнейшим знанием дела, чтобы отнять у него пачку сигарет.

— И правильно сделал, — в один голос воскликнули присяжные и после непродолжительного совещания приговорили убийцу к смертной казни.

Адвокат покинул Дворец правосудия и уселся на велосипед, чтобы ехать домой. Усаживаясь, он постарался расположить зад точнехонько на седле — с таким расчетом, чтобы ветер, забираясь под его просторную мантию от Пиге, открывал взору всякого встречного сверкание его волосатых ляжек, как того требовала мода. Под мантией у него оказался красный полотняный блузер с резиновыми подвязками на бедрах.

Немного не доехав до дому, он остановился как вкопанный перед витриной антиквара. Старинные голландские часы являли его восхищенному взору затейливый многофункциональный циферблат, на котором фазы луны отображались последовательностью полумесяцев, увенчивающейся черным и золотым великолепиями ново- и полнолуния. Еще там можно было прочесть день недели, месяц, число и — на резном фронте — возраст конструктора.

Клиент, чьи интересы он защищал в суде, в качестве гонора-ра отписал ему по завещанию все свое состояние. Зная, что на-

¹ Осел об осла трется (лат.).

следство вот-вот отойдет к нему, поскольку беднягу его стараниями приговорили к смерти, он решил, что не грех и отпраздновать такой радостный денек приобретением часов. С собой он их не взял, потому что уже носил на запястье наручные, а сказал, что пришлет за ними.

V

Сквозь квадратную дырку в полу просачивался свет и лениво распластывался на потолке у Андре бок о бок с пауком. Паук обглодал пятно с краев, постепенно придав ему форму циферблата, потом принялся выгрызать в нем цифры, и так Андре понял, что там, внизу, разговор зашел о Них.

Он приник к отверстию, свет влился в ухо, и он самым естественным образом услышал слова — светлыми буквами они отпечатывались у него в глазах.

Адвокат пригласил к ужину приятеля.

— Я собираюсь продать эти часы, — сказал он, указывая на клетку с анкером, и маятник у того дрогнул, прежде чем возобновить привычный путь.

— Они что, барахлят? — спросил приятель.

— Да нет, работают как часы. Но недавно я видел другие, куда роскошнее! — ответил адвокат, опустошая половину своего бокала с вином — ту, что перед этим была полной. — Пей же! — продолжал он, вновь наполняя стакан и подавая пример.

— Ну и какие они из себя? — поинтересовался приятель.

— Там есть даже фазы луны! — воскликнул адвокат.

А больше Андре ничего не услышал, потому что те двое перестали говорить о часах.

Он поднялся. Чтобы не привлекать внимания, он не стал включать электричество. Свет, идущий из-под пола, вновь обосновался на потолке, несколько наклонном оттого, что это была мансарда.

Полная и круглая, по заказу экипажей бомбардировщиков, луна дополняла освещение и слегка подергивалась, потому что становилось все жарче.

Кран умывальника еще сочился на бутылку спиртного. Андре отдыхал на кровати, и часы отбивали у него в голове все, на что только были способны. Время текло вокруг него, но не было под рукой анкера-якоря, чтобы бросить его и закрепиться в этом потоке.

Ветра не было, дождя тоже, и, несмотря на все ухищрения Андре, температура поднималась, как и всегда по вечерам, и так силь-

но давила извне на оконные стекла, что те прогибались внутрь комнаты, надувались и одно за другим лопались, после чего тотчас образовывались снова, как мыльные пузыри в шербатой миске.

Когда лопалось очередное стекло, в комнату еле-еле, на краткий миг, прорывались уличные шумы: шаги патрульных по булыжной мостовой внизу, визгливая перебранка котов на соседней крыше, бормотание радиоприемников за шторами, плотно занавешивавшими распахнутые окна. Если перегнуться вниз, можно было различить светлые пятна рубахи консьержа и платья консьержки, восседавших на двух обшарпанных стульях перед привратницкой, но следовало поторапливаться, поскольку оконный проем уже затягивался стеклом.

Журчание воды стало тише, потом возобновилось с прежней силой — признак того, что воду открывал кто-то из нижних жильцов. Еле слышно, в такт дыханию Андре, поскрипывала панцирная сетка.

Кровать принялась по-кошачьи скрести пол, подгибая ножки, а затем, приподнимая их одну за другой, стала равномерно покачиваться. К завтрашнему дню паркет будет непоправимо испорчен: ножки мало-помалу углублялись в него. Чтобы кровать не провалилась совсем, Андре слез с нее и растянулся на полу. Перед этим он воспользовался моментом и, пока кровать поднимала ножки, подсунул под каждую по старой туфле; кровать же воспользовалась этим, чтобы обойти комнату и задрать ножку у стены. В обуви было забавно и легко ходить.

Приятель адвоката ушел, и адвокат, должно быть, покинул гостиную: свет исчез с потолка.

Слышалось только перешептывание радиоприемников и доносившийся откуда-то модулированный пятью нотами сигнал глушения «Би-Би-Си», и вдруг в небе раздался невнятный гул. То пролетел самолет — так высоко, что направление полета по-прежнему было не определить.

Минуты все так же бежали, ведь анкером Андре так до сих пор и не завладел; при мысли о том, что он того и гляди уплывет из рук, у Андре на шее и на ляжках выступил пот.

И тут он услышал вдалеке тоненькое подвывание сирен соседней коммуны, а несколько секунд спустя к нему в свою очередь присоединился надрывной вой сирены здешней мэрии.

Зенитки пока отмалчивались, но два прожектора уже посадили на небо расплывчатые пятна — две гигантские мятущиеся туманные волны.

Теперь лишь узкие полоски света указывали очертания тщательно зашторенных окон, и дома наполнялись приглушенными шумами.

Крики внезапно пробудившегося младенца, потом нескончаемые шаги вниз по лестнице и падение в подвал консьержа — его нетрудно было опознать по используемому лексикону. Дверь адвоката все не отворялась. Он, верно, спал, сраженный чрезмерной дозой поглощенного за ужином вина. Повсюду одновременно погас свет.

Андре, по-прежнему лежавший на полу, дополз до окна и теперь с тревогой дожидался прилета бомбардировщиков и первых взрывов, которые уж наверняка разбудят адвоката.

Он встал, попытался открутить кран посильнее — какое-то время он уже не слышал робкого журчания, — но сумел извлечь лишь хриплое бульканье. Консьерж, видно, перекрыл воду в подвале. Все же он опустошил бутылку — спиртное свалилось в штопор по его пищеводу со страшным клекотом, под конец перешедшим в чмокающий всхлип, каким обычно завершает опорожняться ванна.

Человечность повелевала ему разбудить адвоката.

В потемках он ощупью отобрал у кровати две туфли и с трудом всунул в них ноги — для этого ему пришлось вступить в схватку с кроватью, и железное колесико разодрало ему запястье сантиметров на десять в длину. Но он исподтишка вывернул снизу два винта, и кровать, побежденная, рухнула наземь с грохотом мертвой железяки.

Адвоката шум не разбудил. Надо было спустаться.

Андре вышел на лестничную площадку, машинально захлопнув за собой дверь, и только потом обнаружил, что ключи остались в куртке на стуле. В этом он убедился, машинально обшарив карманы брюк. Там были только платок и нож.

С великими предосторожностями, вжимаясь в стену, он спустился, следя, чтобы вторая ступенька не скрипнула. Непроглядно черная дыра лестничной клетки, бездна, из которой в любой момент могло вынырнуть нечто неведомое, ужасное, источала смрадный дух — воняло зверинцем и клоакой. Это у консьержа на ужин тушили дикуу капусту.

Звонок у адвоката был слева от двери, на высоте метр двадцать от пола. Не нащупав его с первой попытки, Андре нажал рядом.

Наконец его рука, шарившая по косяку, наткнулась на гладкую латунную чашечку. Он надавил на упругий сосок, от прикосновения к которому его передернуло.

Электрический ток был прерван, но немного его еще оставалось в проводах, и этого должно было хватить, чтобы разбудить адвоката. На всякий случай Андре еще несколько раз с размаху пнул дверь ногой.

Плохо запертая проспиртованным адвокатом, она поддалась ударам, и Андре вступил во мрак.

Споткнувшись и налетев на стену, он добрался до гостиной. Широко распахнутое окно пропускало с полсотни крупнокалиберных лунных лучей, и замерший анкер слабо поблескивал за своей стеклянной загородкой.

И тут время наконец перестало течь, и Андре не услышал, как из спальни вышел адвокат — тот жил уже в другом мире, ставшем старше на целую минуту.

Но Андре увидел его где-то вдалеке и был вынужден метнуть свой нож, чтобы преодолеть расстояние, и смотрел, как тот уплывает в потоке времени с кровоточащим горлом и обмякшим телом адвоката.

Отбой воздушной тревоги рассек ночь своим нестройным аккордом. Одновременно зажглись все огни, и анкер перестал существовать.

VI

Мрак лестничного колодца уже бледнел близ окон с разноцветными квадратиками, оправленными свинцом.

Гудящие, тяжелые ноги вынесли Андре на улицу. Впереди побежали две белые кошки, брызнувшие из мусорного бака, как пена из бутылки шампанского.

До моста было рукой подать, и по гладкой поверхности парапета шагать было не в пример легче, чем по облупленному асфальту тротуара.

И тут силуэт Майора, разъяренного тем, что он не в курсе событий, возник у него за спиной. Рука сграбастала его за шиворот. Вздернув плечи, растопырив руки, нагнув голову, Андре, висевший в нескольких сантиметрах над парапетом, яростно жестикулировал и вопил: «Отпустите меня!» Но он один знал, что Майор держит его, поскольку тот секунду назад сделался невидим, и для всего остального мира Андре исчез в реке.

ЖЕЛТОРОТАЯ ТЕТЕРЯ

I

За восемнадцать километров до полудня (то есть за девять минут до того, как часы пробьют двенадцать, поскольку скорость движения была сто двадцать километров в час, и это в самоходном экипаже) Фазтон Нуитип остановился у обочины тенистой дороги, повинуясь призывному знаку поднятой руки, за которой следовало многообещающее тело.

Анаис не рассчитывала на автостоп, зная, что запчасти для тормозов — дефицит. Но ничего другого ей не оставалось: хорошая обувь — тоже дефицит, с этим приходилось считаться.

Фазтон Нуитип, которого на самом деле звали Оливье, открыл ей дверцу своей машины. Жаклин села (Анаис было ее вымышленное имя).

— Вы в Каркассон? — спросила она голоском сирены.

— Я бы с радостью, — ответил Оливье. — Но я не знаю, куда сворачивать за Руаном.

— Я вам покажу, — сказала Жаклин.

А находились они совсем недалеко от Гавра и ехали в сторону Парижа.

Еще через три километра Оливье, от природы застенчивый, снова остановил свой фазтон, достал разводной ключ и полез на левое крыло, чтобы повернуть зеркальце заднего вида.

Теперь, повернувшись влево, он мог со своего места видеть девушку в три четверти, а это все-таки лучше, чем совсем не видеть. Она сидела справа от него с лукавой улыбкой на губах — лукавой в глазах Оливье, а на самом деле обычной.

На заднем сиденье были только Майор, пес и два чемодана. Майор спал, а чемоданам было не с руки дразнить пса, он сидел слишком далеко от них.

Оливье убрал разводной ключ в жестяную коробку под фар-туком, сел за руль, и они поехали дальше.

Он мечтал об этом отпуске начиная с конца предыдущего, как все люди, которым приходится много работать. Одиннадцать месяцев готовился он к этой минуте, одной из самых приятных в жизни, особенно когда едешь поездом: однажды ранним утром — прочь из города, вперед, а там, впереди, — безлюдье раскаленных овернских тропиков, что тянутся до самой Од и гаснут лишь в сумерки. Он заново переживал свое последнее утро на работе: вот он кладет ноги по обе стороны телефона и бросает в корзину новую папку для деловых бумаг, вот уже ласковый ветер убегает от лифта, тихонько шурша; теперь он возвращается к себе на Набережную улицу, солнечный зайчик от металлического браслета пляшет у него перед глазами, кричат чайки, а газоны — серо-черные, в порту царит какое-то вялое оживление, из аптеки Ля-тюльпана, соседа снизу, доносится резкий запах дегтя.

В это время в порту разгружали норвежскую баржу с сосновым лесом, напиленным на кругляки в три-четыре фута длиной, и картины привольной жизни в бревенчатой хижине где-нибудь на берегах Онтарио носились в воздухе, а Оливье жадно ловил их глазами, отчего споткнулся о кабельтов и оказался в воде, отягощенной обычным летним мусором и мазутом — правда, мазут ее скорее облегчал, поскольку его удельный вес меньше.

Все это было вчера, а сегодня самые сокровенные мечты Оливье блекли в сравнении с действительностью: он — за рулем своей машины, а с ним Жаклин, пес, два чемодана и Майор.

Впрочем, Оливье еще не знал, что ее зовут Жаклин.

II

За Руаном Жаклин показала Оливье дорогу грациозным жестом, при этом она еще ближе придвинулась к нему, так что теперь ее темные волосы касались щеки молодого человека.

Глаза у Оливье затуманились, и он пришел в себя лишь на пять минут дальше и смог наконец отпустить педаль акселератора, которая ушла назад с явной неохотой — можно сказать, со скрипом, ведь с прежнего места она могла видеть сквозь маленькое отверстие в нижней части корпуса изрядный кусок дороги.

Дорога с большой скоростью накручивалась на шины, но специальное усовершенствованное приспособление на основе конструкции «Суперклещи» (имеется в продаже в магазине «Все для велосипедиста») автоматически отсоединяло ее, и она пада-

ла вниз мягкими волнами, растянутая от быстрого вращения колес. Дорожные рабочие, вынужденные непрерывно заниматься этим неблагоприятным трудом, разрезали ножницами полученную синусоиду; ее амплитуда находилась в прямой пропорциональной зависимости от скорости движения машины и, в свою очередь, влияла на коэффициент растяжения. За счет сэкономленного таким образом щебеночного покрытия каждый год строились новые дороги, отчего их поголовье во Франции неуклонно росло.

По обе стороны дороги стояли деревья; они не принимали участия во вращательном движении, поскольку их крепко удерживали в земле корни, специально для этого предусмотренные. Однако некоторые деревья все же иногда подпрыгивали от неожиданности, когда мимо них со страшным тархтеньем проезжала машина Оливье (двигатель был без глушителя), к чему они были морально не готовы, так как не могли быть предупреждены по телефону и не касались телефонных проводов — за малейшую попытку войти в контакт с ними ответственные лица подвергали виновных подрезке.

Птичьи гнезда привыкли к этим толчкам еще с тысяча восьмьсот девяносто восьмого года и потому на них не реагировали.

Маленькие облачка придавали небу вид неба, усеянного маленькими облачками, — да, собственно говоря, таким оно и было. Солнце обеспечивало освещение, а ветер — перемещение воздушных масс, или же наоборот — движущиеся массы воздуха создавали ветер. Об этом можно было бы вести долгую дискуссию, поскольку в «Малом Ларуссе» ветер определяется как движение воздуха, а движение можно рассматривать двояко: как сам процесс (активное действие) или же как результат (действие пассивное).

Время от времени дорогу перебегали косатики, но это был обман зрения.

Оливье все смотрел в зеркальце на три четверти Жаклин, и в сердце его зарождались неясные желания — несомненно, сам Макс дю Вези не смог бы это выразить иначе.

Толчок сильнее, чем предыдущие (их уже было несколько), вывел Майора из оцепенения. Он потянулся, поскреб лицо пятерней, вытащил из кармана расческу и привел в порядок свою пышную шевелюру. Затем он вынул один глаз (стеклянный) из соответствующей глазницы, тщательно протер его уголком носового платка, предварительно поплевав на него, после чего протянул псу, но тот меняться не захотел. Тогда он вставил глаз на место и наклонился к переднему сиденью, чтобы поддержать разговор,

до сих пор предельно короткий. Он облокотился на спинку сиденья между Оливье и Жаклин.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Жаклин, — ответила она, слегка повернувшись влево и показав Майору свой профиль, отчего Оливье теперь видел ее в зеркальце анфас.

Последняя четверть его зрения была настолько поглощена созерцанием новой части Жаклин, открывшейся перед ним, когда та повернулась к Майору, что он не смог вовремя отреагировать на появление на дороге одного фактора. Заметить Оливье этот фактор вовремя, у него сработал бы нужный рефлекс, но он ничего перед собой не видел и наехал на вышеупомянутый фактор в лице козы. Отскочив рикошетом от козы, он врезался в каменный столб, стоявший справа у двери авторемонтной мастерской, чтобы хозяин не мог перепутать правую сторону с левой, и по инерции пролетел на самую середину гаража, оставив оголодавшему столбу правое крыло.

Владелец мастерской счел своим долгом отремонтировать машину, и Оливье помог Жаклин выйти со своей стороны, так как правую дверцу тот уже снял.

Майор и пес тоже вышли из машины и отправились на поиски какого-нибудь ресторана, по возможности с баром, поскольку Майору хотелось пить.

По дороге они выяснили, что коза, явившаяся первопричиной аварии, была здорова как бык, ни один волос не упал с ее головы — правда, волос у нее и не было, поскольку коза была деревянной. Оказывается, это владелец мастерской собственноручно выкрасил козу белой краской, чтобы привлекать внимание клиентов.

Жаклин, проходя мимо, погладила козу, а пес в знак симпатии оставил у ее задней ноги свою визитную карточку.

Единственный в округе ресторан «Тапир венценосный» являл собой захватывающее зрелище. В углу стояло нечто напоминающее каменное корыто, полное пышущих жаром углей, вокруг сутились люди. Один человек изо всех сил бил молотком по куску раскаленного докрасна металла в форме лошадиной подковы. И, что еще более странно, рядом ждала своей очереди сама лошадь. Левая задняя нога ее была согнута, на шее висела холщовая торба, и лошадь с грустным видом что-то пережевывала — должно быть, свои мрачные мысли. Пришлось признать очевидное: ресторан был напротив.

Им подали на белой скатерти пустые тарелки, ножи, вилки, солонку-перечницу с горчицей посередине, затем салфетки, а

на закуску дали и поесть. Майор выпил стаканчик вермута и отправился с псом прогуляться в поле люцерны.

Оливье и Жаклин остались одни под деревьями.

— Так Вы, значит, знали, что я еду в Каркассон? — спросил Оливье, глядя ей не в бровь, а в глаз.

— Нет, не знала, — ответила Жаклин. — Но я рада, что и вам туда.

Подавленный счастьем, Оливье задохнулся и стал дышать как человек, которого душат, — для полного сходства недоставало лишь смеха палача.

Однако мало-помалу он взял себя в руки и снова поборол свою робость. Он слегка придвинул свою руку к руке Жаклин, которая сидела напротив него, и от этого сразу вырос в своих глазах на целых полголовы.

Под деревьями птички заливались, как собаки, и бросались крошками хлеба и мелкими камешками. Эта атмосфера всеобщего веселья постепенно опьяняла Оливье. Он снова спросил:

— Вы надолго в Каркассон?

— Думаю, на все каникулы, — ответила Жаклин с улыбкой более чем умопомрачительной.

Оливье еще ближе подвинул руку, и от пульсации крови в его артериях слегка задрожало золотистое вино в одном из бокалов, а когда кровеносные сосуды вошли в резонанс со стеклянным, последний не выдержал и разбился.

Оливье снова помедлил и, набравшись духа, продолжал расспросы:

— Вы едете к родственникам?

— Нет, — ответила Жаклин, — я останавливаюсь в привокзальном отеле «Альбигоец».

Оказывается, волосы у нее были вовсе не такие темные, особенно в лучах света, как сейчас, а крохотные веснушки на руках, загорелых от частого пребывания на воздухе (от этого еще и не то бывает), будили воображение, и Оливье покраснел.

Затем, собрав все свое мужество, он зажал его в левый кулак, а свободной рукой накрыл ближайшую к нему руку Жаклин. Какую именно, он не разглядел, поскольку она вся скрылась под его ладонью.

Сердце Оливье громко стучало, и он спросил: «Кто там?» — но сам заметил свою ошибку. Жаклин руки не отняла.

И тогда разом распустились все цветы и чудесная музыка разнеслась вокруг. Это Майор напевал Девятую симфонию в сопровождении хора и оркестра. Он пришел их известить, что ремонт окончен и можно ехать.

III

Они миновали Клермон и теперь ехали между двумя рядами цветущих электрических столбов, которые наполняли воздух чудесным ароматом озона. За Клермоном Оливье тщательно нацелился на Орильяк. Теперь он мог уже не менять траекторию движения. А поскольку ему больше не надо было держать руль, то он снова завладел рукой Жаклин.

Майор с наслаждением вдыхал нежный аромат столбов, держа нос по ветру, а пса на коленях. Он напевал грустный блюз, пытаясь при этом высчитать, сколько дней он сможет прожить в Каркассоне на двадцать два франка. Нужно было поделить двадцать два на четыреста шестьдесят, от такого усилия у него разболелась голова, и он махнул рукой на результат, решив попросту прожить месяц в лучшем отеле.

Тот самый ветер, который щекотал ноздри Майору, развевал локоны Жаклин и охлаждал пылающие от волнения виски Оливье. Отводя глаза от зеркала, он видел рядом со своей правой ногой прелестные туфельки Жаклин из кожи еще живой ящерицы, с золотой застежкой, которая стягивала ей рот, чтобы не было слышно писка. Изысканный контур ее икр золотисто-янтарного цвета четко выделялся на фоне светлой кожаной обивки переднего сиденья. Пора было бы заменить кожу, она разорвалась в клочки, так как Жаклин то и дело ерзала, но Оливье это совершенно не огорчало, ведь лохмотья — это память о ней.

Дороге теперь приходилось много работать над собой, чтобы держаться прямо под колесами машины. Оливье так точно нацелился на Орильяк при выезде из Клермона, что свернуть в сторону было абсолютно невозможно. При малейшем отклонении от заданного направления руль поворачивался на несколько градусов и принуждал дорогу возвращаться в нужное положение ценой судорожных усилий. Она вернулась на свое место лишь поздно ночью, успев к тому времени довольно сильно растянуться и вызвать немало столкновений.

Они проехали Орильяк, потом Родез, и вот взорам трех путешественников открылись наконец холмы знойной Оверни. На картах это место именуется Лангедок, но геологи не могут ошибаться. За Орильяком Оливье и Жаклин пересели назад, а Майор с псом взялись вести машину. Майор одним поворотом разводного ключа вернул зеркальце в нормальное положение. Теперь он мог всецело отдаться изучению пройденного пути.

Холмы знойной Оверни исчезли как раз в ту минуту, когда стало темно, но тут же появились снова: пес включил фары.

За час до Каркассона было только двенадцать, но когда они въехали в город, опять был час. Номера для Жаклин и Оливье были забронированы давно, а Майор, сопровождаемый псом, нашел себе пристанище в постели одной из горничных отеля, а затем и в ней самой, да так и остался там, пригрелся и уснул. Он решил, что назавтра подберет себе другую комнату.

IV

К завтраку путешественники снова собрались за круглым столом. Пес сидел под ним на равном удалении от всех, став таким образом центром окружности — правда, сохранив высоту, — и превратился в нечто вроде средней ножки стола.

Но — одно движение Майора, и он снова сделался псом. Майор двинулся к выходу в сад, и пес побежал за ним, виляя хвостом и лая из вежливости. Майор насвистывал стомп и проти-рал свой монокль.

Оставшись наедине, Оливье и Жаклин смотрели в разные стороны, потому что коричневые перекладки на потолке их пугали. Солнце рисовало портрет Жаклин в темных тонах на фоне светлого окна; ему пришлось переделывать свою работу несколько раз, пока наконец не было достигнуто полное сходство, но зато теперь она была действительно прекрасна.

Оливье только сейчас как следует разглядел ее. Она была еще очень молода. Кожа на щеках гладкая, цвет лица необычайного оттенка: чайная роза. В сочетании с бронзовыми волосами он казался особенным. Добавьте к этому светлые глаза, и портрет готов.

Оливье от души наслаждался съеденным абрикосом. Он сначала проглотил его, а потом отрыгнул на манер жвачных животных. Он чувствовал себя все более счастливым, и трудно объяснить это состояние, если забыть о Жаклин.

Она поднялась гибким движением, отодвинула стул и подала ему руку.

— Давайте погуляем до обеда, — сказала она.

А тем временем Майор в табачной лавочке напротив вокзала покупал открытки. Он заплатил за все двадцать один франк, а оставшиеся сто сантимов бросил псу. Это было, конечно, псу под хвост, но почему не сделать иногда приятное ближнему...

Майор смотрел вслед удаляющейся паре мутным взглядом своего единственного глаза. Второй глаз был по-прежнему стеклянный. Жаклин и Оливье под руку шли через поле.

Она была в светлом полотняном платье и сандалиях на высо-

ком каблуке, а волосы все так же горели — это солнце запуталось в них и никак не могло выбраться. Майор сменил стomp на медленное танго и, насвистывая, удобно устроился на террасе при- вокзального кафе «Альбигоец».

Дорога через поле была, как и все подобные дороги, особенно хороша, если на нее смотришь не в одиночку. Она состояла из собственно дороги, промежуточного участка поле-дорога, в свою очередь подразделявшегося на полосу травянистой растительности, канаву малой глубины, полосу зеленых насаждений, и, наконец, поля со всеми возможными компонентами: тут были и горчица, и рапс, и пшеница, а также различные и безразличные животные.

И еще была Жаклин. Длинные стройные ноги, высокая грудь, которую подчеркивал белый кожаный ремень, почти обнаженные руки — их закрывали только маленькие рукава фонариком, такие легкие, что казалось, их сейчас сдует и они улетят вместе с прицепленным к ним сердцем Оливье, которое болталось на кусочке аорты, достаточно длинном, чтобы сделать узел.

Когда они вернулись с прогулки и Жаклин выпустила руку Оливье, на ней остался негатив ее пальцев, но на теле Жаклин никаких следов не обнаружилось.

Наверное, Оливье был слишком робок.

Они подошли к вокзалу как раз в тот момент, когда Майор поднялся со своего места, собираясь отправить одиннадцать открыток, которые он исчеркал за одну минуту. Зная, что каждая из них стоила девятнадцать су, вы легко можете подсчитать, сколько еще открыток оставалось у Майора.

В отеле их уже ждал обед.

V

Пес сидел у дверей комнаты Майора и чесался. Его донимали блохи. Оливье, выходя из своей комнаты, отдал ему хвост. Он спешил на обед, потому что уже был звонок. Какой чудесный день был вчера, и как хорошо они съездили на реку... Но пес выразил свое неудовольствие, так как он поймал наконец блоху и мог теперь переключить свое внимание на Оливье.

Жаклин в белом купальнике лежала у самой воды, и вода на ее волосах была как серебристый жемчуг, на руках и ногах — как блестящий целлофан, на песке под ней — просто мокрая. Тут он нагнулся и дружески потрепал пса по спине, за что тот снисходительно лизнул ему руку.

Но он так и не осмелился сказать ей те слова, которые робкие

люди стесняются произносить вслух. Он вернулся с ней в отель поздно, но смог сказать лишь обычное «спокойной ночи». Сегодня он решил, что скажет наконец те слова.

Но тут открылась дверь комнаты Майора, заслонив Оливье, а из комнаты вышла Жаклин в белой шелковой пижаме, соблазнительно распахнутой на груди. Она прошла по коридору к себе в комнату, чтобы одеться и причесаться.

VI

Теперь, наверное, дверь комнаты Майора никогда не сможет закрыться: петли ее заржавели от соленых слез.

I

Все стрелки будильника он поставил на полседьмого — ехать нужно было в метро через весь Париж — и для вящей уверенности остановил его, дабы тот не убежал вперед. Потом засунул под будильник приглашение на киностудию, чтобы не забыть о нем вспомнить, приготовил свою пару белых носков и свежую рубашку. Старику он в грязное белье не положил, ведь он надел ее позавчера и еще день-другой поносит. Он вычистил ботинки, вдоль, вширь и вглубь выскоблил щеткой костюм, потом разделся и лег. Ночь в этот вечер спустилась по исключительно мокрому ливню и оттого настала немного раньше предусмотренного численником времени. От этого церковный календарь на целых два дня разладился.

Начиная с полуночи и до пяти минут четвертого происходили необычные явления: в частности, парадовальное отклонение круглого конца компасной стрелки, расцветание западного домкрата Эйфелевой башни, страшная буря на 239-й широте и дьявольское наложение Сатурна на туманность высоко в небе с левой стороны. Кроме того, проснувшись, он не увидел под будильником приглашения и теперь был вынужден добывать его на месте. В полвосьмого он выбрался из последнего вагона метро и, чтобы выйти с нужной стороны, пробежал весь перрон. Вверху лестницы, у газетного киоска, на витрине которого красовалось дубоватое лицо президента Крюгера — напоминание об англо-бурской войне, — рядом с контрабасом и разными смущающего вида продолговатыми предметами в черных футлярах ожидали трое парней.

Когда он проходил мимо них, тромбону удалось выскочить и, вибрируя на полном ходу, пуститься наутек вдоль белых плиток стены. Он помог его догнать и водрузить обратно в футляр: день начинался удачно.

По выходе из метро нужно было дойти до моста, пересечь реку и, повернув направо, пройти двести-триста метров по берегу.

Погода стояла хорошая, ясная, речная гладь подернулась морщинами озабоченности. В этот ранний час на мосту было немного свежо и ветрено.

Справа, на оконечности довольно зеленого острова, он заметил небольшое круглое строение с шиферной крышей, которую поддерживали восемь колонн с канелюрами, — точное представление о нем проще всего было бы дать, сравнив с Храмом Любви в Версале, департамент Сена-и-Уаза. Отважные пятичасовые купальщики по вечерам оставляют там одежду и добродетель.

От моста дорога спускалась к киностудии, внизу же кучи камней солидного размера загромождали метров пятьдесят берега. Предназначались они, без сомнения, для незавершенной облицовки подходов к мосту — элинда, если пользоваться профессиональным языком. Мелководье открывало полоску чахлой травы и черноватого гравия, заваленного отбросами, где хлюпики-мокрицы с помощью своих крючков выискивали себе хлеб насущный. Рыбаки в выцветших комбинезонах и холщовых туфлях на веревочной подошве уже махали протухшими червями под усталыми ногами мечущихся в воде рыб.

Из тротуара в нескольких десятках метров от него вылезли деревья. Перед тем как походя вырвать их с корнем, он увидел ворота киностудии. Их составляли две трубы из склепанного листового железа с металлической полоской сверху, а четвертой, нижней стороной рамы служила земля — та самая, по которой ступают ноги. Вся конструкция была выкрашена в темно-зеленый цвет, потускневший от снежных бурь и метеоров. Левее была дверь поменьше — калитка для пешеходов, куда он и вошел. Во дворе перед ним предстали красивое дерево (настоящее), старые и не очень старые машины, кран — коленчатая котельная труба на растяжках, оставшаяся, без сомнения, после кораблекрушения Дузе, в углу — труп лапландца.

В глубине двора, чуть левее, он увидел рядом с пробивными часами стеклянную будку привратника и длинный коридор со студиями и складами для декораций по бокам. Метров через двенадцать коридор поворачивал под прямым углом и растривался: одно его ответвление вело к павильону Б, второе — к артистическим уборным и павильону А, третье — на небо. В месте растривания находился также демонстрационный зал с кабиной киномеханика, тучного гермафродита, который уже в двенадцать лет сжирал за обедом по пять телячьих эскалопов. Все это покрывала стеклянная крыша, до которой не добирали стены коридоров,

склады и павильоны, что придавало киностудии вид городка в миниатюре и наводило на мысль о чудовищной случке, как сказал бы брат Золя, которой суждено дать жизнь лишь хилым, бесцветным на срезе плодам.

В артистические уборные дорога вела мимо мастерской оформителей и берлоги директора студии с его секретаршей, голубоглазой брюнеткой, у которой на обороте поясицы совсем нехоти шелушилась дерма. Артистические уборные вкупе с двумя гримерными располагались так причудливо, что удовлетворительное представление о них могло дать только фотограмметрическое описание.

Такой предстала перед ним студия Кинокагал.

По дороге он скрестил двух механиков и получил одного, маленького, в одежде такого же цвета. Вошел к директору, где секретарша поставила визу на приглашение, в последний момент обнаружившееся у него в кармане под будильником, и сказала, в какую уборную идти. Он вышел, пересек главный коридор и направился по другому, перпендикулярному коридорчику, ведущему в комнаты с 11-й по 20-ю; с двумя другими статистами он делил комнату 16. Это было тесное помещение с выкрашенными кремовой эмалью стенами, с двумя зеркалами, умывальником и тремя яркими лампочками, которые, глухо ворча, освещали участок пространства в форме конхоиды.

Гуано-порфирный умывальник блестел великолепием полированного хрома; затычка, однако, не работала.

Двое его коллег еще не пришли. Он снял пиджак, положил на полку чемодан с чистой рубашкой и обедом — двумя кусками хлеба с ломтиками маринованного пескадора и двумя на всякий случай анестезированными помидорами, выпил из пригоршни немного воды из-под крана — горло у него пересохло и шуршало, как наждачная бумага, — и вышел навстречу вновь прибывающим.

В главном коридоре его загарпунил какой-то вихреобразный тип, который, бросив: «Идите в гримерную, пока там еще никого нет», — заспешил к одной из дверей в глубине вышеупомянутого главного коридора, надпись над которой более чем недвусмысленно указывала на ее артистическое и каллифильное предназначение.

II

Помещение, которое в длину было больше, чем в ширину, с единственным, но протянувшимся вдоль всей стены столом делили две гримерши женского пола и одна — мужского; в зеркалах над столом можно было во всех подробностях наблюдать, как из

тебя варганят кинозвезду. Он попал в руки гримерши мужского пола, восхитительного педераста с лицом свежевыбритым, продеколоненным, продезинфицированным, промассированным, промазанным ланолином, спермацетом и каломельным карандашом, с черными волнистыми волосами, мягким голосом, обволакивающими жестами, чрезвычайно обходительными манерами, с подрагивающими глазами, веки которых вдруг раскрывались и тут же хлюпко опадали, каждый раз образуя в уголках ресниц красный пузырек. Влажные белые зубы, серо-бежевый костюм — пиджак, правда, снят.

Он промолвил:

— Кожа у вас светлая... наложу-ка я вам тридцать первый номер.

— Предаю себя в ваши руки, — отозвался статист.

Гример одарил его благодарным взглядом с тремя пузырьками.

Статист широко распахнул ворот своей чистой рубашки. Гример осторожно погрузил указательный и главенствующий пальцы в банку с рыжими румянами, слегка потрепал своего подопечного по лицу, покрывая его неровными овальными пятнами в таком порядке, что статист мог прочесть в зеркале: «Вы мне нравитесь». Он покраснел, и пальцы гримера дрогнули, соприкоснувшись с теплой краской его щек. Потом маленькая резиновая губка превратила все в ровный тон, посреди которого ярко светили синим глаза статиста, и гримеру, чтобы продолжать работу без дрожбиений, пришлось спрятать свои за темными очками.

Шелковой кисточкой, пропитанной румянами покраснее, он оживил окраску глазных впадин и скул, другой кисточкой с красной краской провел по губам, после чего ему пришлось на некоторое время удалиться, чтобы дать выход своему волнению, вызванному столь великолепным результатом.

Когда он, умиротворенный, возвратился, статист отметил про себя его бледность и вежливо и послушно дал гримеру кисточкой из слоновьей щетины нанести на свое лицо пудру. От прикосновения кисточки рот у него наполнился слюной, как от мысли, что во рту промокашка; кисточка прошла по его лицу с легким шуршанием свежестриженных ногтей по гладчайшему атласу. Опустошенный обилием ощущений, статист пошатываясь покинул гримерную. Слой румян позволял ему сохранить невинный вид.

Подтягивались и другие статисты. В своей уборной он обнаружил двух коллег, младшего из которых звали Жак, а старший откликался на Максима.

— Я очень рад, — начал статист после обмена приветствиями, — что нашел это место. Шесть лет назад, когда я еще учился в лицее...

— Извини, старик, — перебил его Жак, — но я пойду в гримерную, пока народ не набежал.

III

В узком коридорчике толпились люди. За дверью комнаты 14 он мельком увидел высокую худошавую девушку в купальнике — она причесывалась перед зеркалом. Сердце у него подпрыгнуло и опустилось чуть дальше, у комнаты 18, где ему пришлось посторониться, чтобы пропустить лохматого малого с контрабасом много выше владельца; два приделанных внизу колеса позволяли свободно передвигать эту махину. Лохматый и контрабас исчезли за дверью комнаты 18. Статист повернул назад и попробовал было вернуться в главный коридор, но его сшибло с ног огромным ящиком, катившимся со страшным грохотом, и двумя другими парнями ростом, колеблющимся между метром восемьдесят пять и метром девяносто, в которых статист узнал тех двоих, кому он в метро помог поймать сбежавший тромбон. Они тоже продемонстрировали хорошую память, в шутку саданув его каждый своим инструментом, — хорошо еще у пианиста в руках ничего не оказалось. Статист встал и, решив, что нашел выход, попятился из коридора, делая, однако, вид, что идет вперед, отчего выработал значительное количество пота. Зато ему представилась возможность удостовериться в отличном качестве грима: капли пота скользили по нему, не оставляя следа. Добравшись до выбритого утром подбородка, они мгновенно испарялись.

В этом месте коридор расширялся, и одну из стенок занимало большое зеркало. В нем люди видели себя спереди в двух цветах, со спины — тоже в двух, но уже несколько других, так что следовало избегать глядеться в него с обеих сторон сразу. Напротив зеркала, в нише, образованной выступом одной из комнат, склонной к экспансии, кипятильник с накопителем накапливал тошнотворное количество воды, несмотря на нагоняи от директора, которому претила подобная алчность. Этот худой и длинный мужчина, кудрявый и седоватый, рядился в зеленый домашний халат с роскошным витым поясом, прикрывавший черный фрак метрдотеля; поговаривали, что на фраке у него имеются синие кружочки для регулировки звука.

Из комнаты 18 через равные промежутки времени стали высыпать люди в коротких белых куртках с одинаковыми галстука-

ми в широкую косую красную и желтую полоску, оттого забавно походившие на ос-коммунистов. Видя, как они проходят мимо него белые, а возвращаются коричневые, статист по их странным нескоординированным движениям заключил, что они побывали в гримерной, и это предположение впоследствии блестяще подтвердилось.

Тем временем из комнаты 18 донесся пронзительный звук, сначала неясный, но постепенно оформившийся в мелодию; любой мало-мальски смысливший в иудейско-негритянской американской музыке мог распознать в ней «Розетту». Через некоторое время чья-то предусмотрительная рука притворила фрамугу, через которую упомянутое помещение проветривалось, так что статист отважился подойти поближе к источнику приглушенных таким образом звуков.

Он вошел в маленький коридорчик, но тут же отскочил назад: к нему, держа руки за спиной, направлялся брызгливого вида мужчина лет пятидесяти в костюме официанта с пятном в форме молодого месяца (и такого же цвета) прямо посередине лба.

Этот почти старик обратился к статисту:

— Башка трещит от их дикарской музыки, верно?

— Вы не любите джаз? — покраснев, спросил статист, и его впечатлительное сердце забилося в ритме на три счета.

— Вся нынешняя молодежь одинакова! Свинг — так, кажется, это называют? В наше время танцевать умели, теперь же... Нет, вы только послушайте... А барабан! Дичь какая-то...

«А ведь у кекуока мелодия более изысканная», — подумал сидящий в голове у статиста дирижер.

Они удалялись от комнаты 18, о чем статист очень сожалел.

— Я рад, что нашел это место, — сказал он. — Все-таки обстановка тут занятная.

— Да, со стороны так и кажется. Однако с театром, с подмостками это не сравнить.

— Помню, когда шесть лет назад умер мой отец... — начал статист.

— Я не советую вам продолжать заниматься этим ремеслом.

— Ремеслом статиста?

— Не говорите такого слова. Мы — актеры на вторых ролях. Впрочем, это не мое ремесло, я певец. Лауреат первой премии консерватории Суассона не может считать себя просто актером на вторых ролях.

— Вы были певцом?

— Я и сейчас певец. Правда, я на отдыхе.

— Уйдя из лица, — сказал статист, — я попытался...

— Дрянное ремесло, — заключил его собеседник. — Уж поверьте, его надо бросать.

И, напевая старинный романс, он отправился помочиться.

— Все в павильон, — выкрикивал тем временем директор картины, проходя по коридорам.

IV

Сразу после расширения, миновав площадь и сборный пункт, коридор достигал тупика гримерных и помещений для статистов, артистических уборных с 4-й по 8-ю, затем под прямым углом поворачивал налево и без всякой логики приводил к гримерной ведущих актрис и артистической уборной исполнительницы главных женских ролей Жизель Декарт, высокой худощавой особы темно-русой масти, с подвижным, хотя и довольно молодым лицом, переменчивым характером и высочайшим самомнением. В глубине вверху располагалось первое световое табло с крупной надписью «ТИШЕ» и вот эти слова: «ПАВИЛЬОН Б». Высота заметно росла, и барометр, возможно, позволил бы определить вероятное время, но не перепад уровней, проистекавший главным образом от вертикального толчка, какой почувствовал статист, когда читал на бронированной двери: «ПАВИЛЬОН Б». Он с воодушевлением распахнул ее и возродился в сложном запахе опилок, рассеянного света и свежеразведенной штукатурки. По земле тянулись провода. Слева он увидел задник декорации, кусты в ящиках, изображавшие зелень, неотесанный деревянный брус грязно-белого цвета, несметное количество штукатурки, драпку, решетки, кафель, рамы, проволоку, запасные прожектора — все объемистые, на ножках, на колесах, круглые, квадратные, прямоугольные. И механиков. Ему пришлось обогнуть декорацию, чтобы добраться до павильона; поднявшись и опустившись по двум ступенькам, он очутился в гроте.

Отовсюду исходил ни с чем не сравнимый запах дорогой халтуры; изысканно выполненные декорации говорили о богатстве продюсера, однако статист ощущал во всем лишь волнительный аромат будущей славы, который бил ему в ноздри.

Случайно он обратил внимание на то, что кованые железные решетки, так поражающие на суперроскошных студиях, изготовляют без особых затрат из небольших деревянных планок, ловко сложенных и сколоченных явно в расчете на то, что в будущем они еще пригодятся.

Декорация овальной формы воспроизводила внутреннее убранство шикарного кабаре якобы курортного города. Вдали — аль-

ков со сталактитами, переоборудованный под бар. От него по направлению часовой стрелки обычных часов — возвышение, представляющее собой побочный грот поменьше с прожекторами внутри. Далее — помост для оркестра. Широкие оконные проемы, за ними прожектора. Несколько столов, стульев, главный вход, где сейчас стоял статист, толстый столб, еще одно возвышение со столами и стульями, пространство, выдававшееся чуть вперед, украшенное розовыми гортензиями (здесь находился стол для звезд первой величины), еще один столб, соединенный с первым заштукатуренной аркадой, и снова столы и стулья до самого бара.

Пустое место в центре служило площадкой для танцев.

В самом верху, на подвесных лесах, прожектора, пока что погашенные, обнимали всю сцену пятьюдесятью двумя сходящимися лучами. Прожектора чередовались: большой, маленький и так далее. Внутри каждого, за стеклами, которые обкорнал под линзы Френеля студийный парикмахер, виднелся заметно увеличенный оптической системой человек — светодел.

На полу на ножках стояли другие прожектора, мал мала больше, с регулируемыми створками впереди, позволяющими отмерять силу света до дециграмма, чтобы не превысить смертельную дозу.

Отметив, что его коллеги не шибко спешат, статист спросил себя, что бы это значило. Немного оробевший из-за великолепия обстановки, он отступил назад, прошел по опилкам у входа, выдававшим себя за песок, но тут запутался в проводе и, чтобы передохнуть, плюхнулся на хромоногий столик, бывший явно не к месту, хотя и очутившийся здесь. Попавшийся в провод статист отбивался из последних сил, но провод не уступал, используя свое преимущество — длину. Статист тем не менее озадачил недруга, изловчившись скрутиться узлом; провод вытянулся в струнку и, электрясь на чем свет стоит, пополз восвояси. Измочаленный статист бесславно заковылял к своей уборной, восхитившись по пути огромным столитровым огнетушителем, которого он доселе не замечал, и погладив его рукой, чтобы заручиться его дружбой.

В коридоре он осмелел настолько, что обратился к статистке в простенькой юбчонке — ее звали Жаклин — и с отличительной приметой: следами усов под носом.

— А что не снимают-то?

— Сами не видите? — отозвалась она. — Декорации не готовы.

— На вид они ничего. Я только что оттуда...

— Я лучше знаю. Голову даю, до полудня не начнут. Тут всегда так.

— Вы сюда уже приходили сниматься?

— Да. Тут хуже, чем в Биланкуре, тут всегда бардак.

— Шесть лет назад, — начал статист, — когда я ушел из licey, мне пришлось зарабатывать на жизнь...

— С тех пор вы, наверно, много всего перепробовали, — перебила девушка.

— Да, но мне кажется, быть актером на вторых ролях — это то, что надо.

— Не иначе как старик Марне научил вас так говорить, — сказала она. — Так вы находите, что это такая уж стоящая профессия?

— Когда шесть лет назад я поступил на работу в...

— На самом деле я не статистка. Просто моего мужа забрали в армию — надо же как-то убивать время. Видите того высокого блондина? Это режиссер, Жозеф де Маргуйя. Славный мужик...

— Он вам нравится?

— О, постельные дела не по мне. И потом, он сейчас живет с малышкой Жинетт. Вы уж мне поверьте, ремесло не из приятных.

И она, напевая, удалилась, оставив статиста стоять посреди коридора. Ему было немного стыдно, что он всего лишь статист, но тут он увидел себя в зеркале и его настроение сразу улучшилось.

В коридоре по-прежнему царил некоторое оживление. Частенько мимо парами проходили какие-то существа, на вид такие же статисты, как и он. Смотреть на них было мало радости: нашпигованные разделенным тщеславием и излучавшие довольство, которого им хватало за глаза, чтобы ничем больше не заниматься. Один был такой, что и в гриме не нуждался. Очень смуглый, в светлом пиджаке и шелковом цветастом шейном платке, лет этак тридцати восьми-сорока, кичливый донельзя. Статисты напускали на себя таинственный, иносказательный вид.

Утро уже приближалось к концу, а снимать все не начинали. Однако незадолго до полудня в коридорах наметилось несколько более целенаправленное движение и все исподволь подтянулись к павильону.

V

— Вот вы, господин с саксофоном, — сказал режиссер, — встаньте там, сзади, у пианино. А вы, контрабасист, за ним. Вы... А кто у вас тут главный?

Трубач сделал шаг вперед и сжал протянутую руку Жозефа де Маргуйя, которая хрустнула, но выдержала.

— Понимаете, — сказал режиссер, — первый наезд на вас я делаю с панорамированием. Сначала в кадр попадает шейкер с барменом, затем камера поворачивается, захватывая танцующие

пары в малом гроте, потом вас, потом вход в кабаре, где на тан-деме появляются Робер и Жизель.

Трубоч кивнул.

— А теперь, — режиссер посмотрел на часы, — пойдем пообедаем.

Привычным жестом он откинул голову и, слегка покачивая бедрами, присоединился к своему первому ассистенту.

Очарованный обаятельной внешностью тенор-саксофониста Патрика Вернона, статист приблизился к музыкантам и робко попытался к ним пристроиться.

— Вы давно играете? — спросил он.

— Нет, — ответил Патрик, — всего год. Раньше я играл на трубе, но это куда скучнее.

— Шесть лет назад, — начал статист, — когда я ушел из лица, я немного играл на скрипке, но потом...

— Для джаза скрипка не годится, на ней слишком сложно не фальшивить. И потом, ей не хватает мощи.

— Вы все хорошо играете. Как вы называетесь?

— У нас не постоянный состав, — сказал трубач. — Когда Гнильом предложил мне изображать музыканта в оркестре, он сказал, что играть нам не придется. Достаточно надуть щеки под заранее записанную фонограмму.

Этот технический термин впечатляюще срезонировал в слуховом органе статиста и иррадиировал во все стороны.

— И то сказать, — продолжал трубач, — у меня два парня в группе не играют, два саксофониста. Один сидит на ударных, другой студент-политолог. С одним саксофоном получается лучше.

— Не надо было мне после лица бросать скрипку, — сказал статист. — В то время я не думал, что стану статистом. Я доволен, что я им стал. Шесть лет назад мне пришлось...

— Так вы статист? — спросил трубач.

— Мне больше хотелось бы стать музыкантом, — вежливо ответил статист.

— Вы не правы... Я вот инженер... Но и то правда, быть музыкантом все же не так муторно, как статистом...

К ним подошла миловидная девушка.

— Скажите, а как называется ваш оркестр? — спросила она.

— У нас не постоянный состав, — ответил трубач и зыркнул на статиста, потому что несколькими мгновениями раньше сказал ему точь-в-точь то же самое.

Статист вздохнул и, набравшись смелости (уж больно она была красивая), спросил:

— Вы статистка?

— Нет, я журналистка, это для газеты...

После этого статист пошел к себе в артистическую уборную, чтобы в одиночестве съесть свой бутерброд с пескатором; ему снова стало стыдно, но потом он решил, что непременно научится играть на гитаре, и приободрился.

VI

Времени на обед отводили немного.

Вспомнив прочитанное в киноеженедельниках, он пришел к выводу, что где-то тут должен быть бар, но не отважился отправиться туда в одиночку в первый же день. Он снова выпил воды из-под крана, и рассерженный кран, повернув свою лебединую шею, обильно полил его. Отфыркиваясь, статист отправился за полотенцем к полке, где лежал чемодан. Полка накренилась и свалила чемодан ему на голову, как раз когда он, наполовину ослепший, пытался нашарить в кармане ключ. Другие уже поели и высыпали в коридоры; теперь, когда он начинал их различать, он заметил, как их много, и почувствовал себя очень одиноким под доносившийся из окна топот. Наконец он отыскал ключ, отпер чемодан, вытер лицо и, прежде чем выйти из уборной, привел все в порядок.

Как раз в этот момент по коридору в темно-синей рубашке с засученными до локтей рукавами проходил первый ассистент режиссера Морей. Худой, лет тридцати пяти, довольно симпатичный, почти не обремененный волосами.

— Сейчас будут снимать? — спросил кто-то рядом.

— Не сразу... Придется обождать... Часок, чуть поменьше... А потом начнем, — ответил Морей и вытащил из кармана корнерезку, которой шалости ради перерезал трубу центрального отопления, тянущуюся вдоль коридора.

Вернувшись к себе, статист уселся на стул.

В комнате 18 музыканты настраивали свои инструменты и пробовали взять несколько трудных нот, когда на пороге появился Гнильом, автор музыки к фильму.

— Ну как, ребята, все путем? — осведомился он.

— Здравствуйте, господин Гнильом, — сказал руководитель оркестра, который у себя в конторе усвоил, какое значение некоторые придают тому, что их фамилия следует за обращением «господин», и часто пользовался этой коммерческой уловкой.

— Здравствуйте, господин Савен, — сказал Гнильом.

Гнильому было не больше тридцати пяти — малюсенький, симпатичный, по происхождению гитарист.

— Так вы знаете, что играете?

— Сейчас мы играем другое. Ваше мы сыграли чуть раньше, а это просто музыка для танцев, скорее медленная...

— Да, это для контраста, — сказал Гнильом, — у меня тут для вас есть один медленный вальсок, что-то вроде английского, вы можете сыграть его в этом эпизоде. Называется «Лишь мы вдвоем», я сейчас напую.

Он взял гитару и, аккомпанируя себе, напел мелодию.

Со второй репризы труба и тенор-саксофон с некоторой долей приближения подхватили тему и, чтобы она стала повеселее, продолжили в ритме свинга. Рефрен был в стиле Гнильома — из тех, что цепляется к вам и не дает покоя безумными ночами.

Вскоре, привлеченная шумом, в дверях показалась кинозвезда Жизель Декарт.

— Это вы сочинили? — спросила она Гнильома, протягивая ему руку. — Еще разок не сыграете? — обратилась она к Савену, одарив его улыбкой средней лучезарности.

— Попытаемся, — сказал тот, на мгновение остановившись передохнуть — ведь тихо взять на трубе столь высокие ноты требует определенного усилия и соответствует расходу примерно двадцати восьми калорий.

— Не хотите? Не так уж любезно с вашей стороны, — тем временем проговорила Жизель, скорчив недовольную мину.

— Да нет же, погодите секунду, мы сыграем! Не надо сердиться!

— Я не позволю над собой издеваться! Прощайте!

Продемонстрировав таким образом свой милый характер, она удалилась с гордо поднятой головой.

Музыканты переглянулись и, отсмеявшись, как положено, в фа-диез мажоре, принялись за старый семейный диксиленд и так наподдали жару, что температура в комнате поднималась от терции к терции.

Статист все слышал из своей комнаты: нет, решительно он будет учиться играть на кларнете. Пианист Жан Меркаптан и правда в эту минуту играл на кларнете, потому что пианино осталось в павильоне.

Шум все усиливался, и музыканты каждый раз после основной части темы все больше разоблачались. Контрабасист Зозо яростно дергал четыре струны своего инструмента, и пот стекал с него крупными каплями. Остановились они, лишь когда потолок, чтобы покончить с этим грохотом, уже собирался обрушиться им на головы.

Статист вновь добрался до центрального коридора и вновь столкнулся с ассистентом режиссера, возвращавшимся из бара.

Под мышкой тот нес охапку бумаг и, весело посвистывая, катил перед собой обруч.

— Ну что, теперь начнут снимать? — спросил статист.

— Да, уже скоро, не опаздывайте, — сказал Морей и припустился к павильону Б, исполнив по дороге прыжок ангела через обруч на манер Жана де Болоня.

Статист прошел немного в противоположном направлении и оказался бок о бок с руководителем джаз-оркестра и ударником; они лениво передвигали ноги, беседуя о музыке и о литературе.

— Неужели? — молвил ударник.

Звали его Клод Леон, он откликался на Додди и отправлял благородную профессию ассистента-химика в «Коллеж-де-Франс».

— Мне так кажется, — проговорил Савен.

— Не считите за бестактность... — поравнявшись с ними, вступил в разговор статист.

— А вы как считаете, — обратился к нему Савен, — есть тут красивые девушки?

— О Господи! — вырвалось у статиста.

— Глаза у вас есть, вы холостяк, чем же вы тут занимаетесь?

— А вы женаты? — осведомился статист.

— Женаты, тем более нам интересно, — ответил ударник. — Мы вот думаем, что здесь особенно-то и не с кем жене изменять.

— Вот эта ничего, — статист кивнул на проходившую мимо брюнетку, и правда высокую и ладно скроенную. Беатрис, одним словом.

— Губа у вас не дура, — одобрил Савен. — А чем вы занимаетесь помимо участия в массовых сценах?

— Шесть лет назад, — начал статист, — уйдя из лица, я поступил в одну контору письмоводителем...

— Пойдем, старик, расскажешь нам об этом в павильоне, — сказал Савен, заметив шестерых своих коллег, гуськом выходящих из коридора с артистическими уборными.

Все трое, смешавшись с толпой статистов, ускорили шаг. Тут же шел гример — он нес металлический футляр с баночками и кистями для окончательного марафета; вдруг из футляра вылез меринос цапли, и гример в ужасе отшатнулся.

Они вновь прошли через тяжелую металлическую дверь, пересекли задник студии и добрались до центра декорации.

Дюжина механиков заканчивали монтировать громоздкую штуковину на пневматических шинах, на платформе которой были установлены камера, оператор Андре и святой Христофор, покровитель автомобилистов, незаметно проникший сюда через дыру в крыше.

Андре двигал камеру туда-сюда, прильнув глазом к видеоискателю. Ассистент в плетеных кожаных сандалиях на босу ногу и синих полотняных шортах, маленький, коренастый, с очень светлыми волосами и в довершение всего усатый, управлял операторской тележкой, следуя указаниям Андре. Святой Христофор поглядел-поглядел, счел зрелище малоинтересным и исчез в золотом сиянии.

Восемь музыкантов взошли на небольшую специально приготовленную эстраду и расположились так же, как и в прошлый раз.

Кругом виднелись сталактиты из тянутого стекла, подвешенные гирляндами на невидимой проволоке, а изогнутые стеклянные трубочки имитировали струи воды вокруг стоящего рядом с входом толстого столба.

Ассистентка режиссера, заурядная блеклая блондинка с желтым выражением лица, уселась за пределами площадки и углубилась в свои записи. Статисты подходили к ней уточнить, что от них требуется, и рассеивались по площадке, на которой теперь роилось ни много ни мало человек шестьдесят самого пестрого народа.

Небрежной походкой, отбросив голову назад, как и подобает человеку его роста, вошел Де Маргуйя.

Оркестр коротал время, играя под сурдинку «On the sunny side of the street», и несколько статистов танцевали.

Сменив Андре у видеоискателя, де Маргуйя проверил эффект наезда и сошел с тележки. Он дал знак Сципиону обеспечить тишину, чего тот и достиг своим зычным голосом.

— Красный свет! — распорядился де Маргуйя.

Раздался сигнал клаксона, и один за другим зажглись прожектора. Режиссер направился к Савену.

— Наиграйте негромко какую-нибудь мелодию, пусть танцуют, пока мы будем снимать.

Кивнув Патрику, Савен обозначил ритм, и оркестр заиграл вальс «Лишь мы вдвоем». Однако уже на четвертом такте де Маргуйя их остановил:

— Эта ваша музыка нагоняет сон. У вас есть что-нибудь другое?

— Но именно это предложил господин Гнильом, — заметил Савен, во всем любивший точность.

— Плевать! Да и вообще, фонограмма ни к черту! Я все заставлю переделать, все это как-то невнятно звучит. Запишем большой оркестр... Или нет, сыграйте то, что играли перед этим.

Савен сыграл первые два такта «On the sunny side...».

— Отлично! Совсем другое дело! Как только я скажу «стоп», — де Маргуйя повернулся лицом к статистам на площадке, — оркестр смолкает, а вы продолжаете танцевать.

Затем он обратился к Роберу Монлери и Жизель Декарт:

— А вы двое на тандеме едете от оконного проема за господином... э-э... гитаристом и проезжаете перед вторым проемом в тот момент, когда камера проходит руководителя джаз-группы и когда я говорю «стоп». Повторим-ка все. Красный свет!

Второй помощник подошел к оркестру с банкой черной краски в руках и замазал ею спину гитариста.

— Вы слишком прозрачны, — пояснил он, — сквозь вас видно прожектор.

Бюбю Савен (брат руководителя джаз-группы) не стал перечить, приняв все по своему обыкновению молча и с совершенно равнодушным лицом.

Все статисты оставались на своих местах — кто на танцплощадке, кто в баре, кто на возвышении перед маленьким гротом на одном уровне с оркестром. На мгновение всеми овладело напряженное внимание: сейчас был бы услышан и негодующий вопль насилуемой мухи.

— Тишина! — заорал Сципион.

— Мотор! — скомандовал де Маргуйя.

Механик с хлопушкой в руках подошел к объективу и подсунул ему вышеупомянутого зверя.

— Приятель Мадам 358 дубль 1, — объявил он и отступил вниз, меж тем как шейкер бармена задергался перед огромным вытарашенным глазом в глубине черной бленды.

— Музыка! — скомандовал Де Маргуйя.

Статисты со старательным видом задвигались на месте, пытаясь не глядя на объектив все же попасть в кадр, и загораживали при этом, к его вящему неудовольствию, Савена, расположившегося чуть ниже других музыкантов; вдруг он выдал ужасно фальшивый звук.

— Стоп! — закричал де Маргуйя.

Музыка сразу смолкла, и начатая было фраза свалилась наземь со шлепком, с каким падает тронутое гнильцой мясо. Статисты продолжали танцевать, тандем двинулся с места, однако до второго проема не добрался. Раздался страшный шум и смех Жизель Декарт, Монлери меж тем с трудом выкарабкивался из ящика с землей из-под срубленной бирючины. Оставленный без присмотра тромбон воспользовался моментом и снова дал тягу.

— Кончайте! — крикнул де Маргуйя. — Все снова!

Статист сидел за столиком слева, у самого оркестра, рядом с

Беатрис. Он утонул в блаженстве: ведь его увидят на экране; в перерыве он попробовал закинуть удочку.

— Занятное у нас ремесло, не правда ли? — обратился он к девушке.

— Платят не густо. И без особых перспектив, — отозвалась Беатрис.

— Вы часто снимаетесь?

— Довольно часто. Здесь ничего, оркестр играет, а вот позавчера я снималась в костюмированном фильме «Колонан», так там было ужасно жарко и в перерывах нечем заняться.

— Шесть лет назад мне пришлось уйти из лицея и поступить на работу, — сказал статист, — сперва я был писмоводителем у...

— Мне больше нечего делать, — сказала Беатрис, — поэтому я и снимаюсь, чтобы заработать себе на туфли.

— Значит, вы не профессиональная статистка?

— Нет, я здесь по знакомству... но тут ничего не достигнешь, если с кем-нибудь не переспишь, а меня это не занимает... по крайней мере, если я не сама выбираю.

Статист покраснел.

— Но для мужчин, — продолжала Беатрис, — эта профессия, по-моему, самая последняя. С другими я вообще никогда не разговариваю, они все идиоты. Только и думают, как тебя облапать.

При взгляде на нее такое действительно приходило в голову.

— Красный свет! — очень кстати распорядился режиссер.

И вновь рывкнул клаксон — словно чихнула простуженная венгерская ящерица.

Умолкнув, статисты разбрелись по своим местам.

— Мотор! — скомандовал де Маргуйя.

Установилась полная тишина.

— Хлопушка!

— Приятель Мадам 358 дубль 2, — объявил инкриминируемый.

— Музыка!

Вновь оркестр заиграл «On the sunny side of the street».

Камера вместе с тележкой отодвинулась, а потом начала вращаться вокруг своей оси, давая панораму.

— Стоп! — скомандовал де Маргуйя, когда камера миновала Савена.

Музыка смолкла. На этот раз тандем тронулся с места без приключений и резко затормозил перед входом на площадку.

— Хватит! — сказал Маргуйя.

— Надо все сначала, — молвил Андре. — В камере не было пленки. Я только сейчас заметил.

Оркестр в пятьдесят третий раз подхватил «On the sunny side of the street», и теперь все сошло хорошо. Но эта мелодия уже навязла у них в ушах, и тромбон, изловчившись, в очередной раз выскользнул из рук владельца и забился под пианино, откуда его выудили с помощью ключа для настройки.

Статист обратился к статистке:

— Не знаете, музыку к фильму сочинил Гнильом?

— Да.

— Недурная мелодия.

Услышав такое, руководитель джаз-группы грохнулся в обморок — ведь общеизвестно, что «On the sunny side of the street» написал Римский-Корсаков.

Статист готовился уже возобновить незадавшийся разговор, но Беатрис встала и подошла к музыкантам, большинство из которых, как ей казалось, были мальчики что надо. К столу статиста подошел ассистент режиссера.

— Освободите-ка пространство, — сказал он, — мне нужно поставить на ваше место кастрюлю.

— Кастрюлю? — переспросил статист и поспешил прочь, чтобы его не сварили.

VII

Пока механики стыковали рельсовый путь для следующего наезда, вынырнувший из обморока Савен, чтобы обновить репертуар, под сурдинку заиграл «Let me dream», и ударник малопомалу заработал.

Статисты и статистки вновь расхватили друг дружку и заплясали.

Музыка была медленная, ничего особенного, и статист до того осмелел, что пригласил шикарную девицу, высокую и ядреную, на вид типичную манекенщицу с синими веками, огненно-рыжими волосами и забавным чуточку вздернутым носом.

— Приятно, — сказал он, — когда есть оркестр, который занимает тебя в перерывах.

В этот же миг он совершил досадную оплошность, отдавив партнерше левую ногу и поставив тем самым под сомнение возможность утвердительного ответа.

— Вы часто снимаетесь? — не давая ей опомниться, спросил он.

— Теперь не так чтобы очень.

— Когда шесть лет назад, — начал статист, — бросив лицей, я поступил на работу писмоводителем...

— Вы такой молодой? — удивилась девица.

Легкая, почти воздушная, она была восхитительной партнершей, повторяя даже его ошибки.

— Я дала бы вам лет тридцать, — сказала девица.

— Как вас зовут? — спросил он.

— Мюриэль.

— Знаете, Мюриэль, мне больше нравится моя теперешняя работа. Разве это не здорово — быть статистом?

— Я постоянно этим не занимаюсь, — сказала Мюриэль. — Я танцовщица. По-моему, довольствоваться ролью статиста нельзя, надо делать что-нибудь еще.

— Да, — принужденно согласился он и, чтобы поднять себя в ее глазах, прибавил: — Я буду учиться играть на кларнете.

Музыка умолкла.

— Посоветуйтесь с ними, — сказала Мюриэль. — Они славные ребята и играют здорово.

Савен меж тем спускался с эстрады:

— Можно вас пригласить?

— Разумеется, — с прищуром улыбнулась Мюриэль.

Лицо ее лучилось радостью.

— Меркаптан, сыграй-ка мне «I didn't know about you», эта мелодия меня окрыляет.

Вновь заброшенный, статист смотрел, как они танцуют. Мюриэль была очень высокая: метр семьдесят пять с каблуками, никак не меньше.

Пьеса кончилась, и Мюриэль упорхнула — ей предстояло участвовать в следующей сцене. Оркестр в ней не участвовал, но играть перестал, чтобы оператору не пришлось его перекрикивать, давая указания актерам.

Савен присел на край пятачка, служившего полом для малого гота справа от оркестра. Совершенно случайно он очутился рядом с Беатрис.

— Вас правда зовут Беатрис? — спросил он.

— Да...

— Красивое имя... и что-то такое напоминает.

Он привстал и с беспокойством провел рукой по тому месту, где сидел.

— Я весь изгваздаюсь! — воскликнул он. — Здесь все в штукатурке.

Она села, приподняв юбку.

— Если бы я мог сделать как вы, — сказал он. — Ага, вот что мне это напоминало.

Он сказал так нарочно.

— Беатрис передри...

— О нет! — запротестовала она.

— Небось в триста восьмой раз с утра?

— Тоже мне остряк!

— Я не для этого сказал. Это все из-за Меркаптана.

Тот как раз только что поднялся и стоял теперь прямо перед ней.

— Из-за него! — воскликнула она. — Вовсе нет!

— Не говорите так, — возразил Савен. — Кто может поручиться? Вы только взгляните: Меркаптан — парень что надо.

Меркаптан уселся справа от Беатрис.

— Ну ты, сиди спокойно, не ерзай, — сказал он ей.

— У вас такая манера — тыкать?

Она притворилась рассерженной и встала. Меркаптан последовал за ней.

Освободившееся место рядом с Савеном занял Додди. Отсюда было видно Мюриэль, которая сидела напротив в плетеном кресле, под светом прожекторов, около стола с четырьмя кинозвездами.

Рядом с Додди сел статист. С музыкантами он чувствовал себя уверенно.

— Надо же, погляди, Додди! — сказал Савен.

— Потрясно! — пробормотал тот.

Мюриэль поднялась, чтобы разгладить складку на юбке, и снова села боком к ним, обнажая целиком длинное трепетное бедро.

— У этой девицы потрясный зад, — одобрил Додди.

— Смотри, передам Мадлен, — пригрозил Савен.

— Да нет, старик, я с точки зрения чисто эстетической. У нее такой аппетитный зад, так и хочется отгрызть кусище.

— Уж лучше пощупать. Кажется, и вправду крепкий. Во всяком случае, зуб даю, танцует она отменно.

— Да? — сказал Додди. — Так вы ее знаете?

— Она мне сама сказала. Знаю? Нет, я ее сегодня увидел в первый раз.

— Старик, — молвил Савен, — не пялься на нее так. Глаза испортишь... ну и фигура, — проговорил он, побледнев, так как Мюриэль снова встала, выставив напоказ свои прелести.

— Она делает это нарочно, — сказал Додди. — Сил больше нет терпеть. Нет, все-таки это тяжелая работенка — сниматься в массовках.

— Ну-ну, не надо преувеличивать, — возразил Савен. — Есть тут и не хуже.

— Кто, например?

— Да хотя бы Беатрис. Ничего девчонка...

— Это разные вещи! — сказал Додди. — Что до Мюриэль, я хотел бы снять с ее ягодиц слепок и поставить к себе на камин, чтобы они всегда были перед глазами.

— Нет, — покачал головой Савен. — Мне бы это не доставило удовольствия.

— У нее зад в форме груши. Я знаю, это большая редкость, — произнес Додди. — Потрясная девица, ты уж мне поверь.

— Наверно, ты говоришь о нижней части груши.

Додди на мгновение задумался.

— Потому что если, как обычно, иметь в виду ее верхнюю часть, — продолжил Савен, — то это не слишком красиво.

— Подожди, дай подумать, — сказал Додди.

— Да это же очевидно. Однако почему тогда не сравнить с яблоком? Ведь внизу у яблока тоже самое.

— Это неважно, — ответил Додди.

— А вот я думаю, — не унимался Савен, — какой формы была бы груша, расти она в стране, где нет притяжения. Круглой или цилиндрической? Во всяком случае, уж яблоко-то не было бы круглым. Сверху был бы заворот.

Додди ничего не ответил, так как Мюриэль встала в третий раз, и Савен побежал в бар за стаканом воды, чтобы привести его в чувство.

Поддерживая Додди голову, статист увел его с площадки.

Савен вернулся к Беатрис, на которую по-прежнему наседали Меркаптан. Он продолжал ей «тыкать».

— Скажите, — спросила она, показывая на Меркаптана, — он всегда такой?

— Понятия не имею, — ответил Савен. — Я вообще впервые с ним играю.

— Как бы то ни было, — бросила она, — мне это не нравится.

И она удалилась небрежной походкой, отведя плечи назад, чтобы подчеркнуть бесстыдную округлость грудей.

Савен с Меркаптаном остались вдвоем.

— Выпороть бы ее хорошенько, — процедил сквозь зубы Меркаптан, глядя ей вслед.

— Ты за силовые методы?

— С ними только так и надо. Им самим же на пользу.

— Тебе хотелось бы с ней переспать?

— Нет, но выпороть ее не мешало бы.

— Вообще-то и я бы не прочь, — заметил Савен. — Но такое почтенный отец семейства позволить себе не может. Ей всего семнадцать с половиной, чего доброго загремишь за развращение малолетней.

— Подумаешь! — с притворным видом проговорил Меркаптан. — Через неделю я женюсь, и плевать мне на этих девок.

— Думаешь, хрен с ней?

— Да пошли они все! — выдал Меркаптан, катая шары в кармане.

— А по-моему, она симпатичная, — сказал Савен с похвальной откровенностью.

Послышался звук клаксона, и приятели замолчали. Они остались в павильоне, пока снимали новую сцену.

Декарт и Монлери слезали с тандема и входили в кабаре. Метрдотель — высокий мужчина в зеленом халате, примелькавшемся в коридорах, — направился к ним.

— Небольшое недоразумение, — сказал он, — пришли люди с такой же фамилией, и мы их посадили за стол, который забронировали для вас.

Прекрасно выговаривая слова с явным южным акцентом, он подвел их к столу, где уже расположились две другие звезды: Сортекс и Кики Горлодран.

Было видно, что они узнали друг друга, и Декарт слегка попятилась.

— Ничего себе! — сказала она, и они обменялись еще двумя ничего не значащими фразами.

— Так вы друзья-приятели, — вступил метрдотель с дьявольской ухмылкой. — Тем лучше, а то все-таки раки... было бы жаль...

— Хорошо, — перебил де Маргуйя, — только тебе, Робер, придется подать немного вправо, чтобы попасть в кадр. Продолжайте.

Глубина этих нескольких реплик так несказанно поразила Савена, что он зашел за декорацию, чтобы получше их обдумать. Там он столкнулся с Додди: ему было уже лучше.

— Как ты думаешь, завтра кончат? — спросил он.

— Ни в жисть! — отозвался Додди. — Какое там завтра! Ведь еще должна быть часовая забастовка механиков. Гнильом считает, что еще и в понедельник снимать будут.

— Ерунда какая-то, — сказал Савен. — Мне в понедельник уже пора к себе в контору. Все-таки за шесть сотенных в день нельзя вечно сниматься в кино. Что они там себе думают?

— Вы правда работаете в конторе? — удивился статист.

— Разумеется, правда, — ответил Савен. — Завтра я серьезно поставлю этот вопрос перед продюсером.

— И надо попытаться выторговать прибавку, — сказал Додди. — Ведь нас взяли участвовать в массовках, а заставляют без конца играть.

— Ну ты обнаглел, — возразил Савен. — Что бы мы иначе делали. Со скуки бы сдохли.

— Скажите, — обратилась к ним молодая брюнетка с роковым взглядом, — вы скоро будете играть?

— Вы что, издеваетесь над нами? — спросил Савен.

— И чего взъелся! — неуверенно произнесла она. — Я просто хочу потанцевать свинг.

Она пропела несколько тактов модной мелодии, и они сразу поняли, что играть будет безопасней. Они удалились в комнату 18, чтобы немного поджемсешновать.

VIII

В шесть вечера с реки пополз плотный туман, окрашивая красным стрелки часов, и все заметили, что пора заканчивать.

Из павильона А, где статист слонялся под видом автомобилиста, он вернулся к себе в уборную, чтобы снять грим. Вазелина не было, и он ужасно расцарапал себе морду, соскабливая грим всухую. В результате грима осталось много, почти столько же, сколько вначале, и ему сделалось неловко при мысли, что придется таким серо-буро-малиновым ехать в метро. Он снял чистую рубашку, воротник которой слегка запачкался румянами, повесил ее в комнате, надел старую и, попрощавшись с двумя коллегами, пошел в канцелярию за гонораром.

Там уже стояла очередь. Он оказался в хвосте и самый неумытый. Некоторые, однако, вовсе не снимали грима, считая, что будет больше шика ехать в метро прямо так, с небрежно повязанным на шее шелковым платком.

— Завтра придете? — спросил он у соседа.

— Наверно, — ответил тот.

— Сегодня вроде ничего не было.

— Ничего не подготовили. Можно было все прокрутить намного быстрее.

— Как вы думаете, завтра кончат?

— Не раньше понедельника. Ну, пошли скорее!

— Вы торопитесь на другую массовку?

— Нет, я и здесь-то только потому, что меня попросил об этом директор картины, мой хороший знакомый. На следующей неделе я еду чуть ли не в деревню, играть жоака нестигаемых во время оккупации. Вот это роль!

— По-моему, статистом быть интересно. Стоит мне вспомнить, как шесть лет назад я поступил письмоводителем в контору Дюмпье и весь день...

— По мне, так лучше быть мальчиком на побегушках в конторе, чем смириться с ролью статиста, — возразил его собеседник. — Здесь очень трудно выдвинуться, если за тобой никто не стоит, — добавил он скромно.

Он вошел — была его очередь, — а статист остался у дверей. Потом и он получил деньги и, покинув студию, отправился в метро.

Статист вернулся к себе домой, съел ломоть хлеба с двумя кусками сахара, выпил водопроводной воды, пересчитал свое богатство и прикинул, сколько дней ему довольствоваться хлебом и сахаром, чтобы можно было купить кларнет; потом он начал расчеты сызнова, имея в виду уже ударную установку, белую фланелевую куртку, шейный платок, чемоданчик из свиной кожи и галстук в вертикальную полоску, как у одного типа в студии; наконец он лег и уснул, предварительно заведя будильник до отказа, чтобы не опоздать.

IX

— Поймите же, — сказал руководителю джаз-группы Гниль-ом, пожимая ему руку, — для вас это отличная реклама. Все узнают, что это ваша группа, фильм очень коммерческий, он будет иметь успех, поэтому не надо слишком заклиниваться на том, что здесь не так уж много платят. Съемки приносят выгоды нематериального свойства, которые, право же, имеют для вас немалое значение.

— В принципе да, это очень важно, и реклама будет хорошая.

— Ну вот... Кто посмеет сказать, что у вас один из тех жалких оркестриков, которые не в состоянии сбацать свинг... тем более что идет фонограмма прекрасных музыкантов.

— Не буду скрывать от вас, — сказал его собеседник, — что мне в высшей степени наплевать на рекламу, потому что наша группа собрана как попало, а двое вообще не играют, но, в конце концов...

— Не важно, это только вам на пользу, сами увидите. А теперь прощаюсь. Сегодня утром я никак не могу остаться.

* * *

— Намотайте себе на ус, — сказал Жозеф де Маргуйя.

Они снова находились в съемочном павильоне, каждый на своем месте, готовые играть.

— Я хочу, чтобы было смешно. Вы должны заставить Жизель и Робера танцевать свинг в бешеном темпе. Делайте что хотите: корчите рожи, все, что угодно — но чтобы вид у вас был веселый,

и не бойтесь переусердствовать. Это конец вечеринки, общее неистовство, и вы отдаетесь ему с радостным сердцем.

— Вот так? — спросил Додди, взлохмачивая себе волосы.

— Так! — одобрил де Маргуйя. — Очень хорошо, и потом вот вы, размахивайте трубой во все стороны. А вы подойдите, мадам...

Он подал знак очаровательной статистке, у которой за плечами насчитывалось весен этак пятьдесят.

— Вы подниметесь, подойдете к тому господину, схватите его — да не стесняйтесь, можете даже дернуть за трубу, дунуть вовнутрь.

Савен побледнел.

— Ребята, — выдохнул он, обращаясь к своим единомышленникам, давившимся от смеха, — я попрошу прибавку гонорара для танцоров...

Патрик Вернон поперхнулся в свой саксофон, выдав звук весьма любопытный.

Статист у эстрады глядел на них с завистью.

— Это будет хороший кадр, — сказал он Савену.

— Я вспоминаю молодость, — сказал тот. — Когда мне было пятнадцать, я тоже так танцевал... И ведь нравилось...

— Шесть лет назад у Дюпомпье, где я был письмоводителем, давали бал... — начал статист.

— Ох, как это было недавно, — вздохнул Савен. — Десять лет назад. Однако же вот эта вполне могла сойти за мою мать, вернее за старшую сестру матери.

— Сестра матери называется тетка, — встрял в разговор гример, явившийся поправить грим.

— Послушайте, — обратился Савен к де Маргуйя, чтобы покончить с этими уточнениями, — не могли бы вы нам проиграть эту фонограмму? Мы ведь ни разу ее не слышали...

— Чтобы к этому не возвращаться, прямо сейчас и проиграем, — согласился де Маргуйя. — Включите фонограмму, — приказал он оператору, сидевшему в углу около допотопной машины, которой управляли с помощью отбойного молотка.

Послышалась специфическая мелодия, и певец-астматик заголосил в громкоговоритель так, что из его развеселых слов разобрать можно было только начало: «Заокеанский свинг пришелся бы вам впору...»

— Ах вот, значит, что... — пробурчал Патрик.

— Меркаптан, попытайся поймать мелодию, — сказал Савен.

— Пытаюсь.

Его попытка быстро увенчалась успехом, и Меркаптан раздужился от важности.

— Еще разок, пожалуйста, — попросил он по окончании отрывака.

И они заиграли одновременно с фонограммой. Рассердившись, аппарат замолк, но поздно, отрывок уже кончился.

Статист воспользовался музыкой, чтобы пригласить прелестную блондинку, которой высоко взбитые волосы, окаймляющие светлое свежее лицо, придавали вид пастушки из в высшей степени шикарного 17-го округа Парижа.

— Здорово, когда в твоём распоряжении оркестр, — затронул классическую тему статист.

— Очень здорово, — согласилась девушка.

Ободренный успехом, он продолжил:

— У этой профессии есть хорошие стороны.

— У профессии музыканта?

— Нет, статиста.

— Не знаю, — сказала она, — здесь довольно забавно, но везде ли так?

— У меня не хватает опыта, — признался статист, — я снимаюсь в первый раз. Шесть лет назад я работал письмоводителем у Дюпомпье, весь день раскладывал по папкам документы. После лица я сильно изменился.

— Вы изучали поэтов? — спросила девушка.

— Да... но... — ответил он, несколько смутившись, — между делом...

— Я поэтесса, — девушка покраснела. — Мои родители не местные. Мой отец норвежец.

— Через шесть месяцев, уйдя из конторы... — отважно гнул свое статист.

— Я могу прочитать вам одно из своих стихотворений, — предложила она, и лучистая волна прошла по ней с головы до ног.

Ее глаза напоминали нежный фарфор. Статист уловил, что речь в стихотворении шла о том, как бабочка любила с ветром, и до него дошел его поперечный метафизический смысл.

— Поэтом быть прекрасно, — сказал он, — но сегодня я доволен, что я статист. А вы?

— Нет, мне это занятие кажется отвратительным, лишенным таинственности. Впрочем, мужчина может чувствовать по-другому. Я же люблю только поэзию.

— Уйдя от Дюпомпье... — с надеждой в голосе начал было статист.

— Простите, — перебила девушка, — меня, кажется, зовут.

И действительно, Патрик Вернон делал ей знак подойти...

Уязвленный, статист вернулся в свой угол и сел за стол в ожи-

дании, когда настанет его очередь появиться перед объективом. Впредь он решил представляться таким богатым любителем, которому в поисках острых ощущений вздумалось знакомиться с жизнью сомнительных слоев общества. И чтобы придать себе нахальства, он небрежно сплюнул в воздух.

— Все в съемочный павильон, — распорядился Морей, — сейчас начнутся съемки.

Несколько прожекторов погасли: механики вылили на них сверху воду из ведер.

— Бастуем, — сказали они с несколько принужденным видом.

— Славно! — одобрил, рассердившись, Жозеф де Маргуйя. —

И это вы называете работой?

Все собрались за декорацией.

Один из механиков, молодой человек в синей блузе, взял слово и извергнул из себя следующее:

— Товарищи! Поскольку наше предупреждение, касающееся требований о пересмотре непомерно низких ставок заработной платы, не было принято во внимание, напоминая, что по согласованию с профсоюзом мы решили провести короткую забастовку в знак протеста против скудости нашего теперешнего жалования. С тридцатью франками в час сегодня нельзя противостоять удорожанию жизни, и мы собрались, чтобы продюсер отреагировал на наше забастовочное движение и обеспечил нам приличные условия жизни. Мы выполняем тяжелую работу, но зарплату машиниста за шесть месяцев так и не прибавили, в то время как в других цеховых организациях, например у чистильщиков казенной части или фальшивомонетчиков, после забастовок, устроенных, как и наша, по согласованию с профсоюзом, зарплата поднялась с шестнадцати до шестидесяти трех франков в самых благоприятных случаях. Многого мы не просим, но считаем, что настало время протестовать, и если этой одночасовой, чисто символической, забастовки будет недостаточно, мы наметили по согласованию с профсоюзом более продолжительную. В общем, в борьбе за свои права мы решили идти до конца.

Все время, пока он говорил, рабочие съемочного павильона принимали самые забастовочные позы. Какую-то статистку с ее согласия насиловали в укромном уголке, со стеклянной крыши дождем падали розы и гвоздики, угас толстый оранжевый тритон, разбрасывая снопы гладиолусов в самые неизведанные закоулки сцены.

Статист имел весьма смутные представления о социологии и потому живо заинтересовался возникшим здесь конфликтом, рассчитывая извлечь некоторую пользу для своего общего развития.

Продюсер, огромный тип без куртки и с ремнем, державшимся, похоже, на одной самоиндукции — хотя откуда бы ей взяться при такой жаре? — спросил:

— Короче, чего вы хотите?

Ореол цвета гусиного помета непонятно почему окутывал его тучную фигуру.

— Мы хотим сорок франков в час.

— Хорошо! Вы их получите! Если эти господа не против.

И он обернулся к своим компаньонам. Вспыхнувший в этот миг бенгальский огонь окрасил их всех в пурпур.

— Мы не против, — ответили компаньоны.

Оратор из противоположного лагеря был, похоже, раздосадован тем, что спор так быстро уладился, однако он счел необходимым произнести несколько слов благодарности.

— Ну что ж, думаю, от имени своих товарищей мы должны сказать вам спасибо. Жаль только, что вы не приняли наших условий раньше. Раз вы теперь согласны, удивительно, что вы не ответили тем же на наши требования, которые наверняка вам были переданы через профсоюз. Мы ведь требовали не больше того, что вы только что согласились нам предоставить.

— Нам не передавали никаких требований подобного рода, — сказал не повышая голоса продюсер. Его распирало от собственного великодушия, которое, словно метафизический символ, парило над его головой.

— В этом случае я пойду справлюсь в профсоюзе и, думаю, нам остается лишь приступить к работе.

— Мне тоже так кажется, — сказал режиссер.

Режиссер, разумеется, ел досыта каждый день, однако был, надо признать, не таким дородным, как продюсер. Толпа рассеялась и с медлительностью щупальцев тянулась теперь в павильон сквозь открывавшиеся ей навстречу отверстия.

Статист подошел к Додди, который в отчаянии заламывал руки, напоминая этим Муне-Сюлли у себя в ванной.

— Продюсер-то как расщедрился, — сказал статист. — Когда пять с половиной лет назад меня выставили из конторы Дю-помпье за то, что...

— Тупицы! — причитал тем временем Додди. — Стадо тупиц!

— Почему? — удивился статист. — Вам не кажется щедрым поступок продюсера?

— Да нет же, — ответил Додди. — Он обвел их вокруг пальца. Механики не должны были уступать, не согласовав это с профсоюзом. А так это лишь временно, и, как только съемки картины кончатся, зарплата снова станет прежней.

— Ах, вон оно что!

— Какая жалость, — не унимался Додди, — так дать себя облапошить! Пойду поговорю с ними.

— Я сунул один документ не в ту папку, — сказал статист, — и они выставили меня за дверь. Но после сегодняшнего я думаю, что лучше быть статистом, чем механиком...

— Вот и нет, — возразил Додди, — статист — это бесперспективно. А этих людей просто надо направлять и не давать им совершать подобные глупости.

— Да? Вы так думаете? — пробормотал статист, на которого слова Додди произвели впечатление.

В павильоне меж тем механики вытирали губками еще влажные прожектора и пытались снова их зажечь, вертя и растирая друг о друга угольки. Один из них, растиравший слишком быстро, ударился током и заорал что было мочи. Его быстро закопали в землю, чтобы электричество вытекло, и на этом месте нарисовали крестик, чтобы назавтра отыскать.

Убедившись, что подготовка к съемкам займет не меньше часа, Савен незаметно смылся с эстрады и пригласил Беатрис в бар выпить чего-нибудь.

В коридоре они столкнулись с Меркаптаном, который с присущей ему бестактностью развернулся и последовал за ними, чем поставил Савена в дурацкое положение.

Статист подошел к двум музыкантам, оставшимся сидеть на своих стульях с саксофонами на перевязи.

— Вы опять будете играть, как только все приготовят? — спросил статист.

— Опять будем делать вид, что играем, — поправил Юбер де Вертвиль, невысокий курчавый парень в очках, носивший английский воротничок с неподражаемым достоинством.

— Так вы совсем не играете? — удивился статист.

— Мы только имитируем игру.

— А ведь правда, быть статистом — занятие довольно приятное?

— Вообще-то я учусь в школе политических наук и на студии в первый раз, — сказал Юбер.

— Раньше я работал у биржевого маклера — когда ушел из конторы Дюпомпье, куда меня взяли письмоводителем, но через полгода выставили за дверь за то, что я по ошибке сунул не туда один документ. Но это был только предлог. А вот у маклера...

И он запнулся, переводя дыхание, — ему в первый раз дали говорить так долго и не перебивали.

— Занятие дурацкое, — сказал Юбер, — правда, нам, музы-

кантам, платят чуть побольше, а что там ни говори, накануне отпуска это не так уж и плохо.

— Письмоводителем я получал меньше, — возразил статист.

— Когда я стану атташе при посольстве, — сказал Юбер, — думаю, мне уже не придется об этом заботиться. К тому же родители не забывают подбрасывать мне денегжат. Однако небольшая добавка никогда не помешает. Правда, я каждый раз снимаю очки, ведь если меня узнают, будет целая трагедия. Проведай сейчас мои родители, что я снимаюсь в массовках, им бы нехорошо стало. В определенных кругах нельзя позволять себе подобные вещи.

Статист подавленно смолк.

Х

— Занятная девчонка, — сказал Патрик. — Ее отец норвежец, а сама она поэтесса.

— Что у нее радует глаз, — подал голос Савен, — так это общий колорит.

— Она словно прозрачная. Удивительное дело, но впечатление именно такое.

— Она тебе читала свои стихи?

— Да, последнее — история про маленькую бабочку, которая любила с ветром.

— Очень мило, — сказал Савен. — Верлибр?

— Да.

— Верлибр наводит тоску.

Верлибр, должно быть, потрясающая вещь, однако не всем доступная.

— Интересно, в понедельник мы еще понадобится? — вслух подумал Патрик.

— Надеюсь, нет, — сказал Савен. — Я должен идти к себе в контору, а то кончится тем, что меня оттуда вытурят.

— Поговорил бы ты с ними, — предложил Додди. — Вообще-то Гнильом сказал: два дня.

— С понедельником будет все четыре.

— Так или иначе, ты должен попросить надбавку, — сказал Додди. — Играй мы в кабаре, мы бы потеряли меньше времени и больше заработали.

— И играли бы не больше нынешнего!

Де Маргуйя только что закончил крупный план четырех кинозвезд за столом. Несколько мгновений те сидели неподвижно, пока фотограф не сделал три снимка, после чего механики засуетились у аппаратуры, готовя ее к очередной сцене.

Савен, набравшись нахальства, направился к де Маргуйя.

— Простите, мсье, — спросил он, — нам осталось еще много сцен?

— Много, — ответил Маргуйя. — По меньшей мере две. Вы должны присутствовать, когда Кики поет в гроте и еще когда Робер и Жизель танцуют свинг.

— Дело в том, — начал Савен, — что мне, вероятно, будет трудно собрать всех своих музыкантов в понедельник. Понимаете, нам сказали, что это займет два дня. А получается уже три, а с понедельником — четыре.

— Послушайте, улаживайте эти дела с директором картины. Меня это не касается, я не в курсе ваших уговоров с Гнильомом. Пойдите к директору...

— Хорошо.

Всем восьмерым в понедельник было решительно нечего делать, если, конечно, не считать конторы, но имеет же человек право иногда поболеть.

— Вы здесь не для того, чтобы играть, — сказал директор, — а для участия в массовках. Я не могу дать вам надбавку, потому что вы почти ничего не играете, а если и играете, то это не записывается для фильма.

— Но нас без конца заставляют играть, — заметил Савен.

— Я знаю расценки, и мне прекрасно известно, что как музыканты вы заработали бы много больше, но ведь Гнильом обязан был предупредить, что вам предстоит делать?

— Да, но он сказал: два дня, и только делать вид, что играем.

— Он был неправ, — покачал головой директор.

— В общем, — заключил Савен, — я постараюсь собрать в понедельник всех восьмерых, но ничего не обещаю.

Он ни в коей мере не был в обиде, но надо же было для виду немного покочевряться.

— Да уж, — сказал директор, — не подводите нас. Надеюсь, теперь дело улажено. Ведь мы договорились?

— Ладно, — ответил Савен и, погруженный в раздумья, удалился.

Один только Меркаптан и впрямь не мог прийти в понедельник, но их снимали почти все время со спины, и Майор, конечно, охотно его заменит.

Савен повернул обратно. Войдя к директору, он сказал:

— Я забыл вас спросить... Вы не будете возражать, если на студию придет моя жена? Она немного журналист, и ей было бы любопытно увидеть, как снимают этот фильм.

— Конечно, пусть приходит, — разрешил директор. — Мы будем рады ее видеть. Милости прошу.

Она была на студии уже к полудню. В эту минуту она сидела у входа на площадку и наблюдала, как взад-вперед ходят артисты и механики.

Слонявшийся около статист присел рядом с ней.

— Дело не движется, — сказал он.

— Точно, — согласилась она.

— В Бийянкуре не так, — уверил статист.

— Не знаю. Когда я была там последний раз, лучше не было.

Право же, везде одно и то же.

— На любой другой работе приходится трудиться более интенсивно. Когда я ушел из лица...

— Давно это было?

— Шесть лет назад. Я поступил на работу к Дюпомпье, но долго там оставаться не мог, скука была смертная, а потом я работал у биржевого маклера, но и это занятие не из веселых, и я стал рассильным, но тоже ненадолго. Тогда было очень трудно найти место.

— Еще бы! — сказала она.

— Теперь же я страшно доволен, что стал статистом, — произнес он без особого убеждения. — И вам, наверно, это занятие по душе.

— Правду сказать, мне бы это не слишком понравилось, я больше люблю танцевать.

— Так вы не... — статист побледнел.

— Я жена руководителя джаз-оркестра, пришла посмотреть, как его снимают.

Статист с удрученным видом поднялся.

— Я, наверно, единственный статист на студии, — пробормотал он. — Когда я разносил бакалейные товары...

— Да нет же! — сказала она. — Здесь много статистов. И потом, вы наверняка набредете на что-нибудь стоящее. Простите, меня зовет муж. К тому же сейчас, должно быть, уже около шести. В понедельник, надеюсь, увидимся...

XI

— Я не уверен, что ты действительно понадобишься, — сказал Савен, — но, как бы то ни было, даже если Вернон приведет Дидье, ты немного развлечешься — поглядишь на статисток, на декорации.

Майор молча кивнул и в знак своего удовлетворения сделал легкое антраша.

Они по мосту пересекли реку, метров двести прошли по берегу и вошли на студию.

— Ну вот, — сказал Савен. — Теперь развлечения ради можешь тут побродить. А хочешь, тебя загримируют.

— Спасибо, не надо!

Майор направился к павильону Б и исчез, окутавшись маскировочным дымом неведомой природы.

Все это утро ушло на съемку короткой сценки, во время которой владелец заведения представлял публике «Сирену песчаных вод» — другими словами, Кики Горлодран, прикрытую для такого случая толстым слоем жидкой пудры и двумя крохотными нашлепками на грудях.

Владелец заведения упорно говорил «Сирень непечатных вод», каждый раз вызывая в публике заметное оживление. Мало-помалу он запутался и вынужден был выговорить слово правильно, после чего зрители моментально покинули павильон.

Музыканты времени зря не теряли. Додди делился с Мюриэль своими впечатлениями от ее замечательной задницы, Вернон же жемсешновал с остальными за декорацией, среди тряпок и строительного мусора.

Статист сидел за плетеным столиком перед стаканом с апельсином и подносил его к губам всякий раз, когда сцену снимали сызнова. К одиннадцати ее довели до совершенства, засняли, и все пошли обедать, собираясь вернуться на съемки вскоре после полудня.

Меркаптана, как и предусматривалось, не было, так что Беатрис поступила в полное распоряжение Савена. Однако он совершил ошибку, не соблазнив ее, и в результате в ближайшую среду она переспала с Меркаптаном — как раз накануне его женитьбы. Но об этом никто никогда не узнает, потому что массовка закончилась в понедельник вечером. Однако кое-кто предчувствовал, что так и случится, так как Меркаптан неоднократно уверял, что, во-первых, ему это ни к чему и что, во-вторых, в понедельник он никак не может прийти. А между тем после трех часов его видели в студии: он как раз возобновлял контакт с Беатрис, но тут начались съемки.

— Красный свет! — скомандовал де Маргуйя.

— Красный свет! — заорал Сципион.

— Мотор!

— Музыка!

«Заокеанский свинг пришелся бы вам впору» — пара Монле-ри-Декарт испуганно задрогала ногами по моде трехлетней давности.

Пока Дидье, которого привел Вернон, дублировал Меркаптана, так и не задействованный Майор подложил два заряда динамита под пианино и, разобрав огнетушитель, подменил жид-

кость в нем на бензин из бака синей машины — предмета гордости де Маргуйя.

Завершив эту работу, он улегся поперек коридора и уснул.

— По-моему, — заметила ассистентка режиссера, когда все было готово к съемке, — один из этих господ был вчера в состоянии легкой эрекции.

— Надо добиться того, чтобы все было в точности как в прошлый раз, — подчеркнул Морей.

Патрику подсунили ворох соответствующих открыток, и один из механиков отобрал их у него сразу же после того, как был достигнут требуемый угол наклона.

— Мотор! — скомандовал де Маргуйя.

В этот последний день царило особенное возбуждение. Команды следовали одна за другой, и съемки велись в адском темпе.

В результате камера воспламенилась и, когда пустили в ход огнетушитель, получился премиленький пожар, но на Майора никто не подумал, ведь его и не видели.

Полузадохшийся статист, спотыкаясь в дыму, выбрался из павильона. Он добежал до артистической уборной, у дверей которой в великолепном пунцовом халате прохладился, куря сигарету, Сортекс.

Статист отважился обратиться к нему:

— Господин Сортекс!

— Что вам, старина?

— Вы участвовали в массовках, прежде чем стать кинозвездой?

— Нет, ты же знаешь, я был певцом. Это моя первая картина. Скудное занятие, даже для меня, а тебе, как я понимаю, это и вовсе обрыдло. Тебе следовало бы заняться пением. Уверен, голос у тебя хороший... но надо работать.

— В лице я немного пел, — сказал статист.

— Да? Очень хорошо. Продолжай и не отчаивайся. Извини, я должен идти сниматься.

И, отшвырнув окурок, он двинулся по коридору.

Статист побрел по направлению к павильону, но тут споткнулся о Майора. Наполовину уже разбуженный Сортексом, тот протер глаза, сел и обхватил колени руками, статист же устроился рядом.

— Пожар, — сказал он.

— Отлично сработано! — уверил Майор.

— Сегодня все закончили, — добавил статист, — завтра приходить не надо.

Майор не ответил, лишь, оттянув веко своего стеклянного глаза, отпустил его с резким щелчком, как от резинки на носках.

— Шесть лет назад, оставив лицей, — решительно начал статист, — я поступил письмоводителем к Дюпомпье, но задержался там недолго. Потом я работал у биржевого маклера, потом разносил бакалейные товары, потом некоторое время трудился в театре...

— Вы были рождены для сцены! — заметил Майор.

— Нет, я орудовал щеткой и натирал полы. Это позволило мне продержаться год. Потом я нашел место у портного, который обещал научить меня своему ремеслу. Противный был мужик, спустя неделю мне пришлось уйти. Некоторое время я ходил за собаками на псарне...

— А что вы думаете о леггорнах? — спросил Майор.

— Но...

— Впрочем, неважно. Продолжайте.

— После псарни я посещал вечерние курсы, а днем мыл стаканы в ресторане. Потом мне все-таки досталось небольшое наследство.

— Мне тоже! — подхватил Майор. — Придется ехать за ним в Байонну. Только этого не хватало!

— Но я все потратил. Потом, впрочем, устроился: нашел вот это место статиста и несказанно этому рад, — мрачно заключил статист.

— Думаю, нельзя найти занятия более идиотского, более дурацкого, более глупого, наконец, чем быть статистом, — этим словом все сказано, разве только ты сам дубина стоеросовая или осел недоразвитый.

— Вы не должны так говорить, — удрученно произнес статист и с надеждой добавил: — Но ведь вы тоже этим занимаетесь?

— Кто? Я? Майор? — и он разразился дьявольским смехом. — Впрочем, у меня стеклянный глаз и потому я не расслышал ни слова из того, что вы сказали.

Он встал, отряхнул пыль с ягодич и направился к выходу.

Оставшись в одиночестве, статист поплелся по коридору.

В субботу ударник, поддернув брючины, плясал перед большим зеркалом менуэт, а Беатрис у станка показывала ему движения классического танца.

Статист меж тем, продолжая свой путь, очутился перед кучей строительного мусора, оставшегося после разборки предыдущей декорации. Здесь он подобрал большой ржавый гвоздь и съел его. Так он и помер на двадцать втором году жизни.

РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ

КАТОРЖНАЯ РАБОТКА

— А эта штукавина для чего? — спросил Чарли.

— Чтобы менять скорость, — ответил Адмирал. — Если нажать до предела, будет семьдесят два кадра в минуту. Замедленная съемка.

— Странно, — сказал Чарли. — Мне казалось, что нормальная скорость — двадцать четыре в минуту. Семьдесят два — это же в три раза быстрее.

— Я и говорю. Снимаешь на семьдесят два и пускаешь на двадцать четыре — получается замедленная съемка.

— А-а... ну-ну, — сказал Чарли.

Он ровным счетом ничего не понял.

— В общем, отличная камера, — снова заговорил он. — Когда начнем снимать?

— Скоро, — ответил Адмирал. — Ника принесла потрясающий сценарий. Называется «Мексиканское солнце опалает сердца». На костюмы пойдут старые скатерти ее тетки.

— А как распределятся роли? — спросил Чарли с притворной скромностью: он не сомневался, что ему достанется главная.

— Я думаю так... — начал Адмирал. — Ника будет играть Кончиту, Альфред — Альвареса, Зозо — Панчо, Артур — трактирщика...

— Какой Артур? — перебил Чарли.

— Мой слуга... Я сыграю священника, а Лу с Денизой — слуганок.

— А я?

— Ты — единственный, кому я могу доверить камеру стоимостью в сто сорок три тысячи семьсот франков.

— Благодарю покорно... — сказал разобиженный Чарли.

— Надеюсь, на этот раз мне не придется напяливать овечью шкуру и изображать белого медведя, — сказал пес, почуяв, чем пахнет дело.

— Как ты мне надоел! — вздохнул Адмирал. — Только и умеешь ловить мух да жрать реквизит. Будешь делать, что велют. В сценарии есть попугай, на эту роль я наметил тебя...

— Что ж, так и быть, — сказал пес. — Мои условия — два бифштекса в день...

— Ладно, бесстыжая морда! — сказал Адмирал.

Потом обратился к приятелям:

— Всем гримироваться. А ты, Чарли, иди сюда, я объясню тебе, что делать в этом эпизоде. Альфреда все нет. Куда это он запропастился?..

Расстроенный тем, что ему не придется играть, Чарли, чтобы хоть как-то утешиться, нацепил полное операторское обмундирование: брюки-гольф, рубаху навывпуск и зеленый целлулоидный козырек, придававший ему сходство с пингвином.

— Альфред сейчас придет. Он собирался привести знакомую — должно быть, она опаздывает.

— На черта она нужна! — фыркнул Адмирал. — Наверняка уродина... Как всегда... И роли для нее нет.

Вдруг он осекся, побледнел и прошептал:

— Ничего себе!

Вошел Альфред, ведя под руку сногшибательную брюнетку. Ее глаза способны были опалить не только сердца, но всю съемочную площадку и весь прилегающий парк в придачу.

— Уже начали? — сказал Альфред. — Я еще не успел пересказать Кармен сценарий. Там найдется роль для нее?

— Да, — сказал Чарли, — она будет играть...

— Да, — перебил его Адмирал, — она будет играть Кончиту, я Альвареса, а ты — священника, то есть самого себя.

— Но... — возразил Чарли, — Альвареса же должен был играть Альфред...

— С чего ты взял? — сказал Адмирал, метнув на Чарли убийственный взгляд. — Позвольте, я объясню вам. Сначала идет любовная сцена: Альварес и Кончита в постели, эффектные кадры крупным планом.

Альфред вытер вспотевший лоб рукавом сутаны.

— Адская жарница... — пробормотал он, напирая на «р» еще в три раза сильнее, чем обычно.

В эту самую минуту пес поскользнулся на своей жердочке и сорвался вниз. Перья из хвоста остались на палке. Пес дико взвыл.

— В Мексике... — заговорила Кармен.

— Вы там были? — слащаво-ядовитым тоном осведомилась Ника.

Она была разжалована в третью служанку, и ее распирала ярость.

Адмирал, наряженный в малиновое пончо и шляпу садовника с зеленой бархатной лентой, пытался уговорить актеров.

— Не будет ли месье так добр, — обратился к нему Артур, — высказать мне свои соображения по поводу доверенной мне роли трактирщика. Она весьма далека от моего привычного амплуа...

— Значит, так, — объявил Адмирал. — Сейчас повторим для верности еще разок четыре крупных плана из первой сцены, а потом отснимем их... И тогда уж пойдем дальше.

— О, черт! — выругался Чарли.

— Ты повторяешь эти крупные планы уже одиннадцатый раз, — сказала Дениза.

— Мы понимаем, тебе приятно, — язвительно вставила Лу, — но остальным это уже осточертело.

— Ладно, — сказал Адмирал. — Тогда перейдем к сцене свадьбы.

— О-о-о... — простонал Чарли. — Ее тоже повторили уже семь раз! Давай лучше сцену смерти. Ты никак не можешь лежать спокойно, когда тебя закололи кинжалом, начнем снимать — все запорем.

— Ну, давай... — сдался Адмирал.

Он отошел в сторону, потом вернулся, широким жестом сложил руки на груди и, приняв боевой вид, вскричал:

— Где мой заклятый враг сеньор Панчо?

Тут же на него накинудся Зозо с длинным кухонным ножом.

— Ну вот, — сказал Чарли, — на съемку остается пять минут, пока не скрылось солнце. Начали!

— Начали! — унылым хором отозвались актеры.

Все были измотаны. У всех потек грим. На щеках Адмирала жженная пробка размазалась по темному тону и образовала омерзительного вида месиво, на которое Кармен посматривала с некоторой опаской. Актеры заняли свои места, и Чарли произнес сакраментальное: «Тихо! Идет съемка!» — непонятно зачем, потому что звука все равно не было. Пес при этих словах затрясся от смеха и потерял последние три пера. На нем остался только клей.

— Конец! — возвестил Чарли.

Актеры попадали друг на друга, а Адмирал взял у Чарли камеру. Открыл ее, заглянул внутрь, перевел взгляд на оператора и вдруг всплеснул руками, рухнул как подкошенный и на этот раз остался лежать неподвижно. Чарли тоже заглянул в открытую камеру и позеленел.

— Что такое? — спросил выбравшийся из груди безжизненных тел Альфред.

— Я... я забыл... забыл вставить пленку, — прошептал Чарли.

КУЛЬТУРНЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ

I

Адмирал налетел на Чарли, когда тот выходил из кафе «Полбубал», где его можно найти почти ежедневно с пяти часов вечера до двух ночи. Поскольку пробило лишь половину шестого, Адмирал очень удивился.

— А где же все? Разве они не там?

— Все на месте! — сказал Чарли.

— И Опс там? И Греко? И Анн-Мари тоже?

— Ну да... — ответил Чарли.

— Тогда я ничего не понимаю, — признался Адмирал.

— Садовая ты голова, — сказал Чарли. — Сегодня же понедельник.

— А! — сказал Адмирал. — Ты, как всегда, в фильмотеку?

— Пошли вместе, — предложил Чарли. — Зря ты все время отказываешься. Это очень познавательно. Это высокоинтеллектуальное развлечение, тебе понравится.

— Я слишком молод, чтобы умереть от удушья. Это послужило бы дурным примером, — сказал Адмирал.

— Для начала тебе не мешало бы похудеть, — заметил Чарли. — Так я тебя жду. Без четверти восемь у входа. Надо прийти пораньше.

— А сейчас ты куда? — спросил Адмирал, машинально пожимая руку Чарли и собираясь нырнуть в кафе.

— Хочу на всякий случай купить американский танк! Чтобы наверняка прорваться!..

II

— Вы обязательно должны пойти с нами, — уверенно говорил Адмирал. — Это чрезвычайно познавательно-культурное... в высшей степени интеллектуальное развлечение... — он плохо по-

мнил фразу, сказанную Чарли, поэтому для пущей убедительности нечленораздельно замычал.

— О да, — подхватила Опс, — это должно быть очень интересно. Вот только Астрюк обещал сводить меня сегодня на «Подарки Деда Мороза»... С Эдвардом Г. Робинсоном в главной роли. Не хотелось бы отказываться...

— Именно так, пренебрегая культурным развитием своего интеллекта, и становятся тем, что называется общеизвестным словом...

— Каким словом? — нетерпеливо спросила Опс, тряхнув светлыми, прямыми как палки пряжами.

Ее парикмахер тратил по четыре часа в неделю, распрямляя ей кудряшки; в дополнение к этому она питалась лакричными палочками, надеясь, благодаря ассимиляции, достичь желаемой прямизны волосяного покрова.

— Я уж и сам не помню!.. — сказал Адмирал.

— Но что это за общеизвестное слово? — не унималась Опс, демонстрируя сильный итальянский акцент и полное отсутствие такта.

— Неважно, — смущенно ответил Адмирал.

— Вы меня убедили, — заявила Опс. — Я пойду с вами и привachu с собой Джину.

— А это кто такая? — испугался Адмирал.

— Жаннетта, вы же ее прекрасно знаете. Моя кузина.

— Чарли говорит, надо прийти чуть пораньше, чтобы занять места, — предупредил Адмирал. — Пусть приходит ваша Джина. Вчетвером даже веселее.

III

— Жми сильнее! — просипел Чарли.

— Не могу! — сдавленно выдохнул Адмирал. — Придется приподнять Опс. Ее кусают за ноги.

— Танк я не достал, у них не оказалось, — объяснил Чарли. — Сумел раздобыть только жевательную резинку с салицилатом. Бимановскую.

— Жуй скорей, а потом подыши вокруг... — посоветовал Адмирал.

От запертых дверей зала их отделяло метров пять. Перед ними в рукопашной схватке копошилась почти безмолвная масса еще живого человеческого мяса. Время от времени над толпой поднимался глухой стон, немедленно перекрываемый стуком туго свернутых газет, которыми добивали несчастных, потерявших сознание. Чтобы освободить пространство, бездыханные тела отправляли к выходу, передавая с рук на руки.

— Чего сегодня крутят? — спросила Джина, чьи губы, по счастью, пришлись как раз напротив уха Чарли.

— «Черно-голубого ангела» Ватермана Апистона, с Марлих Дитрен в главной роли. Только не повторяйте это вслух: и без того полно народу.

Народ, впрочем, собрался своеобразный. В большинстве своем это были серьезного вида молодые люди с ежиком на голове. Особы женского пола под лесбийской наружностью скрывали полное безразличие к вопросам секса. Почти все держали под мышкой какой-нибудь литературный, а то и экзистенциалистский журнал. Те, у кого не было под мышкой журнала, испытывали чувство неловкости и мало-помалу отступали.

— Слушай, Чарли, — сказал Адмирал, — может, нам уйти?

Его ближайшая соседка — блондинка с золотистыми косами, стянутыми на затылке двумя черными обувными шнурками, с лицом без намека на косметику, в коротенькой, небрежно застегнутой зеленой курточке поверх двух едва заметных намеков на бюст без бюстгальтера — испепелила его взглядом. К счастью, металлическая цепочка для часов спасла Адмирала от верной гибели, заземлив разряд.

Вдруг толпа загудела, всколыхнулась, и двери зала, поддавшись, раскрылись. А все потому, что Фредерик, предводитель янычар, не выдержал натиска и отдал Богу душу по ту сторону дверей. Первые ряды устремились в образовавшийся прорыв. Адмирал ухватился за Опис; Опис отчаянно вцепилась ему в галстук. Чарли и Джина, подхваченные новой волной, пихнули их вперед. Описав в воздухе замысловатую кривую, Опис и Адмирал спланировали в свободное кресло. Потом все пятеро поудобней устроились на одном сидении, так как двинуться с места уже никто не мог. Фильм должен был вот-вот начаться. Зрители были повсюду: висели на занавесе, сидели на стенах, точно мухи, гроздьями свисали с единственной колонны. Пятеро качались на люстре над головами Адмирала, Джины и Чарли. Они пытались подтянуться и оседлать круглый стеклянный плафон. Адмирал поднял голову, но так ничего и не увидел, потому что в этот момент люстра оборвалась.

IV

— Я принес вам цветов, — сказал Чарли.

Опис, Джина и Адмирал с трудом кивнули ему забинтованными белоснежными головами. Их втроем положили в одну больничную койку, как это принято в Сен-Жермен-де-Пре.

— Интересный был фильм? — спросила Джина.

— Понятия не имею, — сказал Чарли. — В последний момент его заменили «Уступинским ураганом» режиссера Краковина-Брикустова.

— Черт подери! — сказал Адмирал. — Что же, ты так нам и не расскажешь «Черно-голубого ангела»?

Человек на соседней кровати поднял руку, пытаясь привлечь к себе внимание. Слова он произносил с видимым усилием.

— Я видел его... вчера... в кино-клубе... — выговорил он.

— Ну и что же?.. — оживились остальные.

— У них... у них сломался аппарат, — сказал человек и стих навеки.

Пришла санитарка и накрыла ему лицо простыней.

— Вы, конечно, его тоже не видели? — раздраженно спросил Чарли.

— Кого не видела?

— «Черно-голубого ангела».

— Почему же? Видела. Прежде чем стать санитаркой, я билетершей работала. А «Ангела» этого я сто с лишним раз смотрела.

— Ну и что же? — задохнулся Чарли.

— Да ну... — сказала бывшая билетерша. — Уж не помню, чего там было. Но только дребедень — страшная.

ЗВЕЗДА ЭКРАНА

— Какая там у нас погода? — потягиваясь, спросил Адмирал. Пес выглянул в окошко.

— Вполне человеческая, — сказал он. — Лучше, чем вчера. Кажется, не слишком холодно.

— Ну-ну, — сказал Адмирал. — Ты уже выходил?

— А как же, — сказал пес. — Или вы думаете, я буду валяться все утро, как вы!

— Ходил гулять? Видел кого-нибудь? Из наших знакомых сучек?

— Они все просто несносны, — с омерзением сказал пес. — Встретил сегодня еще одну... Тоже помешана на духах... я с ней поздоровался, а обнюхать пришлось нос — и это при всем честном народе! — до того с другой стороны воняло гвоздикой.

Он чихнул при одном воспоминании.

Адмирал посочувствовал ему и позвал завтракать.

* * *

Вошел Артур, с безгловым видом неся поднос с завтраком: ростбиф в мадере, майонез из лангуста, луковый торт, и все это сдобрено кофе с коньяком. Адмирал сидел на диете.

Следом ввинтился долговязый вихлястый малый с острым кадыком на шее и жиденьким узлом на галстукe, обличавшем завсегдатая бибоп-вечеринок.

— Кого я вижу! — воскликнул Адмирал. — Никак, Чарли!

— Вошел не доложившись, — заметил Артур.

— Привет, Адмирал! — сказал Чарли. — Все еще в постели! Ты знаешь, который час?

Пес проворчал сквозь зубы что-то насчет бесцеремонных личностей и неспешным шагом удалился в не столь многолюдные места.

— Без четверти двенадцать, — сказал Адмирал. — Я всегда так встаю. Мне нужно выспаться, потому что я плохо сплю по вечерам.

— Я пришел, чтобы захватить тебя с собой в кино, — сказал Чарли.

— Новая мания, — сказал Артур.

— Что смотреть? — спросил Адмирал. — И почему так рано?

Чарли покраснел. А поскольку у него была белая рубашка и синие глаза, Адмирал встал перед ним навытяжку.

— Я познакомился с одной прелестной девушкой, — отчаянно признался Чарли. — Ее зовут Луэлла Бинг, и она снимается в кино. Настоящая актриса. Звезда экрана.

— Не знаю такой! — сказал Артур.

— Я тоже, — сказал Адмирал. — Но я вообще редко хожу в кино, а читаю, по большей части, кулинарные книги.

— Ну так вот... — продолжал Чарли. — Она играет одну из главных ролей в грандиозном фильме «Каламбарский ад».

— Это что-то новое? — спросил Адмирал.

— Да, — ответил Артур. — Там снимались Пепе Бутон и Жозе Плаксидос.

— Сегодня утром тройная премьера: в «Аббатстве», «Звездном Клубе» и в «Кино-Кране». Надо быть на месте в половине первого — в час, — прибавил Чарли.

— О... — жалобно протянул Адмирал. — Что-то слишком рано.

— Она ждет в машине, — закончил Чарли. — Так что собирайся скорей.

— Выходит, мне все это тащить обратно? — сказал Артур. — Ничего себе!

Глядя, как он уходит с полным подносом, Адмирал изменился в лице: его жизнерадостная физиономия горестно вытянулась. Однако, не желая показаться неучтивым, он отбросил одеяло и принялся натягивать красные носки.

* * *

— Кого вы играете в этом фильме? — спросил Адмирал.

Они сидели в машине Чарли вчетвером. Пес на переднем сиденье, рядом с самим Чарли, а Адмирал с Луэллой сзади. Адмирал поглаживал свои тонкие черные усики ухоженным ноготком.

— Сюжет довольно занятный... — сказала Луэлла. — Действие происходит в тропиках, герой, колонист, побеждает всех соперников и находит месторождение алмазов. Но, на беду, влюбляется в коварную женщину, увозит ее в свою хижину, а она его предает. Сильная штука!

Луэлла была жгучей брюнеткой с черными, еще более эффектными благодаря яркому гриму глазами. Фигура тоже что надо, есть на что поглядеть.

— Отличная роль! — сказал Адмирал. — Очень выигрышная. Вы прямо созданы для нее.

— Да, — сказала Луэлла. — Но ее получила Мишель Сюсю. Знаете, как это делается... надо только переспать со всеми нужными людьми...

— А какая же роль у вас?

— О! — сказала Луэлла. — Я прислуживаю за обедом. Играю служанку-метиску.

— Значит, все происходит в тропиках? — спросил Адмирал. Видимо, у него появились интересные соображения на этот счет.

— Да. И мне было не слишком жарко на съемках.

Луэлла смущенно засмеялась. А Адмирал сделал отчаянное усилие, чтобы подумать о чем-нибудь другом, боясь покраснеть до ушей.

Чарли затормозил у «Аббатства». Все вышли из машины.

* * *

— Думаете, попадем? — спросил Чарли.

— Не знаю, — сказал Адмирал.

— Экие у вас, у всех троих, дурацкие рожи, — сказал пес, успевший обследовать местность.

Он задрал лапу и пустил струйку на пожилого господина. Тот вытянул руку и раскрыл зонтик. Они стояли уже почти час. Наконец очередь продвинулась в последний раз и окошечко кассы захлопнулось у них перед носом, издав сочный звук раздавленной клубничины.

— Мест больше нет! — объявил кассир.

— Тогда, может, пойдем позавтракаем? — сказал Адмирал.

— Живо!.. — скомандовал Чарли. — Поехали в «Звездный Клуб». Может, там еще есть билеты...

Машина дала залп и рванулась вперед. Чарли сидел за рулем в элегантных желтых перчатках и плоской шляпе, смотревшейся на нем, как ореол. Луэлла нервничала. Адмирал вслушивался в соло голодного живота и мысленно подбирал ритмический аккомпанемент. Пес разлегся на кожаной подушке, уткнул морду в лапы и задремал.

В «Звездном Клубе» они простояли с двух до половины пятого и тоже не попали. В «Кино-Кране» гильотинная заслонка опустилась в шесть сорок, отхватив кусок от задней части некой прыткой дамы.

Они вернулись к «Аббатству». В половине девятого им посулили, если дождутся, три откидных места на последний сеанс. В десять Чарли с Адмиралом, шатаясь, дошли до заветных мест. Вконец издерганная Луэлла на десяток шагов опередила спутников. А пес преспокойно спал в машине. Он проснулся около одиннадцати, взглянул на часы и хмыкнул с довольным видом.

В конце первой части Адмирал обмяк и только еле-еле поглаживал меховую шубку соседки. Та разомлела и тихонько мурлыкала. А герой еще только отплывал в Тарабумбию, столицу Каламбарского ада.

Негромкое похрапывание сидевшего позади Чарли сливалось с гулом машин в трюме уносящегося к тропическим островам парохода...

А тремя рядами впереди Луэлла жадно вглядывалась в экран.

* * *

— Да!.. — говорил Адмирал в трубку. — Да... Я, наверно, заснул с самого начала. Ну да... А проснулся от взрыва в лесу в самом конце.

— Я тоже, — отвечал голос Чарли на другом конце провода. — Так ты, значит, не видел этого злосчастного эпизода?

— Но я сказал ей, что мне очень понравилось. А что она ответила, я уж не помню... Жутко устал.

— Я тоже наговорил ей кучу комплиментов...

Чарли говорил с трудом, как будто набрал полный рот каши.

— Что это с тобой? — спросил Адмирал.

— Два зуба выбиты, — ответил Чарли. — Сцену с Луэллой вырезали при монтаже месяц тому назад. Ну и ладно, подумаешь, какая-то жалкая статистка.

Погрузнув в долгах так глубоко, как это не случалось с ним уже много лет, Майор решил приобрести автомобиль, дабы приятнее провести отпуск.

Для начала он ухлопал самые непосредственные свои резервы, обобрав трех закадычных приятелей, и крепко надрался: к тому времени его стеклянный глаз заметно поиндиговел, что было признаком сильной жажды. Все удовольствие обошлось ему в три тысячи франков, о которых он нимало не жалел, тем более что возвращать не намеревался.

Затяя начинала приобретать интерес, и он постарался усложнить ее до невозможности, вознести на высоту языческого чуда, отчудив очередную попойку на деньги, вырученные от продажи подбитого гвоздиками гвоздики средневекового пояса целомудрия, сплюшь из тисненой кожи и, понятно, тиснутого.

У него осталось всего ничего, но и то показалось ему лишним. Часами он расплатился за квартиру, брюки махнул на шорты, рубашку — на майку фирмы «Лакост» и, когда дело было в шляпе, отправился искать способ избыть недотраченные деньги.

(Пока искал, напоролся на наследство, но к радости своей обнаружил, что сможет воспользоваться им не раньше, как через несколько месяцев — срок более чем достаточный.)

Достаток Майора составлял теперь одиннадцать франков плюс продукты. Уехать в подобных обстоятельствах он не мог. А потому собрал у себя на среднюю ногу вечеринку.

По завершении вышеозначенной у него остался лишь стограммовый пакетик молотого и слегка выдохшегося карри, до которого просто руки не дошли. Вопреки предположениям Майора, большим успехом пользовалась соль с сельдереем, составившая основу большинства поданных напоследок коктейлей — в угоду ей и презрели специально приготовленный для этой цели карри.

(Беспримерная неудача, преследовавшая Майора по пятам, не обошла его и на сей раз: одна из гостей позабыла у него сумочку с пятьюстами франками. Казалось, все придется начинать сначала, но тут Майора посетило обычное для него в подобных ситуациях гениальное озарение: ему вздумалось заручиться законным образом приобретённым разрешением на езду; надобно сразу заметить, что оно притязание его и спасло.)

II

Майор вломился к своему другу Бизону аккуратно, когда тот сидел за стол с женой и Бизончиком под шквальный лязг челюстей; у них, вообразите, варились макароны, приготовлению которых Бизониха уделила полных десять минут; вся семейка ликовала в предвкушении пиршества.

— Я обедаю с вами! — заявил Майор, у которого от вида макарон начала обильно выделяться слюна.

— Свинья! — сказал Бизон. — Признайся, ты ведь еще издали учуял, а?

— Именно! — отвечал Майор, наливая себе изрядную порцию пайкового вина, специально для него сохраненного, подкисшего с целью приобретения дополнительного к букету вкуса и производящего, как известно, исключительный эффект.

Бизон достал из буфета еще одну тарелку и поставил ее перед Майором. Майор обыкновенно не возражал против того, чтоб его обслуживали, и обиды на тех, кто так поступал, не хранил.

— Дело вот в чем, — изрек он. — Вы куда едете в отпуск?

— К морю. Не хочу умереть, не увидев моря, — заявил Бизон.

— Вот и отлично, — сказал Майор. — Я покупаю машину и везу вас в Сен-Жан-де-Люз.

— Стоп! — возразил Бизон. — А деньги у тебя есть?

— Разумеется, — отвечал Майор. — Они у меня будут. Об этом не беспокойся.

— У тебя есть, где остановиться?

— А как же, — отвечал Майор. — Там имела квартиру моя покойная бабушка, и отец ее сохранил.

Со свойственной ему проницательностью Бизон сразу догадался, что речь идет о квартире, а не о бабушке.

Кипевшие в кастрюле макароны все разбухали и разбухали, Бизониха уже трижды спускалась с помойным ведром выносить излишки.

— Ну, допустим, — сказал Бизон. — Бензин, надо думать, у тебя имеется. Для автомобиля, знаешь ли, пригодится.

— Бензин можно достать, — заверил его Майор. — При наличии законного разрешения на него выдают талоны.

— Отлично! — сказал Бизон. — И ты знаешь кого-то в префектуре, кто тебе это разрешение выдаст.

— Я — нет, — ответил Майор, — но вы разве никого не знаете?

— Так вот что тебе было нужно, признайся, а?

Глаза Бизона укоризненно отсвечивали.

— Предупреждаю, — вмешалась тут его супруга, — что, если вы немедленно не съедите макароны, нам придется переходить в другую комнату, здесь не останется места.

Они вчетвером навалились на еду, восхищаясь и вспоминая гримасы, какие корчили немцы при виде нормандского масла и жирных сосисок.

Майор осушал красное стакан за стаканом и своим единственным глазом глядел в оба, дабы не упустить ни глотка.

Десерт состоял из ломтиков хорошо засушенного хлеба, заложенного между листиками розового желатина, надушенного душицей от душики Шерами на манер Жюля Гуффе. Майор подкладывал себе дважды, пока не подчистил все до конца.

— Не сможет ли Анни через свою газету составить нам протекцию в префектуре? — спросила Бизониха. — Я лично не поеду с тобой, если у тебя не будет разрешения.

— Превосходная мысль, — сказал Майор. — И не беспокойся. Полицию я не люблю одинаково с тобой. У меня от одного ее вида кишка с кишкой в узел завязываются.

— Только надо бы поторопиться, — заметил Бизон. — Отпуск у меня начинается через три недели.

— Вот и отлично! — обрадовался Майор, сообразив, что успеет просадить свои пятьсот франков.

Он опрокинул последний стакан, взял у Бизонихи из пачки сигарету, громогласно рыгнул и встал.

— Пойду посмотрю насчет автомобиля, — добавил он на прощание.

III

— Значит, так, — сказала Анни, — я свяжу вас с Пистолетти, который в префектуре выдает разрешения для газеты. Это проще простого, увидите, он очень мил.

— Идет, — сказал Майор. — Думаю, это то, что надо. Именно то, что надо. Пистолетти замечательный человек.

Они сидели на террасе «Флоры» и поджидали запаздывавших Бизониху с сыном.

— Полагаю, — продолжал Майор, — она принесет медицинскую справку на ребенка. Это поможет нам получить разрешение. Она должна была ее сегодня достать.

— Справку о чем? — переспросила Анни.

— Что он не переносит поезда, — ответил Майор, протирая дымчатый монокль.

— Вот и они! — воскликнула Анни.

Бизониха мчалась вдогонку за ускользнувшим от нее Бизончиком. Он оторвался метров на пятнадцать и вступил в объяснение со столиком в «Двух китайцах», имевшим до этого покрытие из мрамора, а после из мраморной крошки.

Майор поднялся и попытался мальчика со столиком расцепить. С негодующими воплями подоспел официант.

— Позвольте, — сказал Майор, — я свидетель. Начал стол. Если вы станете утверждать обратное, я вас за решетку упрячу.

Он достал поддельное удостоверение службы безопасности, и официант упал в обморок. Тогда Майор снял с него часы и, ухватив ребенка за руку, возвратился туда, где сидели Анни и Бизониха.

— Могла бы и последить за сыночком, — сказал он.

— Не нуди. Справку я получила. Ребенок рахитичен и не может путешествовать по железной дороге.

С этими словами она наградила сына увесистой оплеухой, вызвавшей у малыша приступ тихого веселья.

— Какое счастье для французских железных дорог... — прошептал Майор.

— Может, ты еще скажешь, что сам никогда не ломал столиков в кафе? — прошипела Бизониха с угрозой.

— В таком возрасте — нет, — парировал Майор.

— Понятно! Задержка развития.

— Ну ладно, — сказал Майор. — Прекратим спор. Давай справку.

— Покажите, — сказала Анни.

— Доктор выдал ее охотно, — сказала Бизониха. — Всякому видно, что у ребенка рахит. Оставь в покое стул!..

Бизончик уже ухватился за спинку стула посетителя у соседнего столика, стул рухнул, и звон разбившихся стаканов смешался с грохотом падения.

Майор поспешно улизнул, вроде как помочиться под дерево, а Анни сделала вид, что с присутствующими незнакома.

— Кто это сделал? — спросил официант.

— Майор, — ответил Бизончик.

— Вот как? — недоверчиво переспросил официант. — А может, это ваш сын, мадам?

— Вы спятили, — отвечала она. — Ему три года с половиной.

— Мориак маразматик, — подытожил Бизончик.

— Что верно, то верно, — подхватил официант и присел за стол поговорить о литературе.

Почувствовав себя в безопасности, Майор возвратился на свое место между двух дам.

— Итак, — сказала Анни, — выйдете к Пистолетти...

— А что ты думаешь о Дюамеле? — спросил официант.

— Вы думаете, сработает? — спросил Майор.

— Дюамель раздут, — отвечал Бизончик.

— Не сомневаюсь, — сказала Анни. — С письмом из газеты...

— Я дам тебе почитать мою рукопись, — сказал официант, — и ты скажешь мне, что ты о ней думаешь. Дело происходит в мохнатых копиях. Мне кажется, у нас полностью совпадают вкусы.

— Сколько с нас, официант? — спросила Анни.

— Нет, — перебила ее Бизониха, — плачу я.

— Позвольте мне, — вмешался Майор.

Поскольку у него не было ни гроша, официант одолжил ему денег, и Майор, щедро наградив его чаевыми, сдачу по рассеянности загреб в карман.

IV

— Я открою, — завопил Бизончик.

— Как ты мне надоел, — отвечал отец. — Ты же прекрасно знаешь, что не достаешь до замка.

От ярости тот в кошащем прыжке взлетел в воздух, но к своему удивлению очень скоро приземлился на пятую точку с зеленой искрой в глазах.

Вошел Майор. Он выглядел вполне нормально, не считая того, что шляпа на нем переливалась диковинными оттенками, и немудрено: он поел индейки.

— Ну что? — спросил Бизон.

— Машину я купил! «Рено» 1927 года, купе с задним багажником.

— А капот открывается спереди? — обеспокоился Бизон.

— Да... — с сожалением признался Майор. — Зажигание стартером и эзотерический тормоз на выхлопной трубе.

— Старовато, — заметил его собеседник.

— Сам знаю, — сказал Майор.

— За сколько?

— Двадцать тысяч.

— Недорого, — рассудил Бизон. — Хотя, впрочем, не даром.

— Нет, а потому придется тебе одолжить мне пять тысяч, чтоб я окончательно расплатился.

— Когда отдашь?

Бизон глядел недоверчиво.

— В понедельник вечером крайний срок, — заверил его Майор.

— Гм! — сказал Бизон. — Верится с трудом.

— Я тебя понимаю, — посочувствовал Майор и взял пять тысяч, не сказав «спасибо».

— Ты был в префектуре?

— Как раз иду... Меня не слишком прельщает перспектива окунуться в толпу наглых и упрямых сборщиков налогов.

— Как-нибудь разберешься, — сказал Бизон, вышвыривая посетителя на лестницу, — и давай побыстрей.

— До свидания! — крикнул Майор с нижнего этажа.

Он возвратился два часа спустя.

— Пока не клеится, старик, — сказал он. — Надо тебе подать декларацию, что ты располагаешь необходимым количеством бензина.

— Тысяча чертей! — вскричал Бизон. — Мне надоели эти проволочки. Уже неделя, как я в отпуске. Думаешь, весело мне здесь торчать? Куда лучше было бы тебе поехать с нами на поезде.

— Послушай, но ведь гораздо приятней ехать на машине, а там на месте со снабжением проще будет.

— Безусловно, — сказал Бизон, — но когда я туда приеду, мне придется немедленно отправляться назад, потому что у меня отпуск кончится. А кроме того, нас сцапают по дороге...

— Теперь все пойдет, как по маслу, — заверил его Майор. — Только напиши декларацию. Все будет в порядке, а если нет, я поеду с тобой на поезде.

— Пойдем, — сказал Бизон. — Заглянем ко мне в контору, секретарша мне отпечатает.

Сказано — сделано. Три четверти часа спустя они вошли в префектуру и по извилистому лабиринту коридоров добрались до кабинета Пистолетти.

Пистолетти, любезный, слегка чопорный пятидесятилетний господин, не заставил их ждать более пяти минут. После непродолжительных переговоров он поднялся и повел их за собой, неся в руках оправдательные и прочие документы, представленные Майором и Бизоном.

Они прошли сквозь узкий пассаж — род крытого моста, — соединяющий два здания. Сердце Майора вращалось с бешеной скоростью и ревело, как нюрнбергский волчок. У дверей кабинетов в сводчатой галерее выстроились длинные очереди, большин-

ство ожидающих ворчали и чертыхались, некоторые подыхали. Их оставляли, как есть, а вечером собирали.

Пистолетти вошел без очереди, но войдя, остановился и оробел, увидев не то лицо, которое предполагал.

— Здравствуйте, господин Пистолетти! — произнес тот.

— Здравствуйте, — ответил Пистолетти. — Я бы хотел получить вашу визу на данном прошении, документы в порядке.

Хозяин кабинета проглядел бумаги.

— Так! — сказал он. — Вы удостоверяете, что располагаете необходимым горючим, следовательно, мы ничего не должны вам предоставлять.

— Гм... — сказал Пистолетти. — Упомянутое свидетельство я по вашему совету... то есть по совету вашего предшественника... затребовал от господина Майора, в сущности, затем, чтобы получить бензин...

— Вот как? — удивился тот.

И написал на бумаге: «Разрешения не выдавать, поскольку проситель утверждает, что имеет горючее в достаточном количестве».

— Спасибо, — сказал Пистолетти и, забрав бумаги, покинул кабинет.

Он поскреб себе затылок, отчего по коридору полетели окровавленные клочья. Проходивший мимо служащий поскользнулся и чуть не упал. Майор засмеялся было, но осекся, увидев физиономию Пистолетти.

— Что-нибудь не так? — спросил Бизон.

— Вот что... — сказал Пистолетти. — Пойдемте теперь к Сибрикусу... Ерунда какая-то... Чиновник, у которого я был, по-видимому, сменился, и этот последний, похоже, не согласен с первым. В общем... Я думаю, что-нибудь все-таки получится. Но тот первый сказал мне, что с этой бумагой все пойдет как по маслу...

— Ну что ж, пошли, — сказал Бизон.

Пистолетти с соумышленниками прошел до конца коридора и снова пролез под носом у первого в очереди. Майор с дружкой уселись на скамью, окружавшую один из опорных столбов свода. Чтобы скоротать время, они считали до тысячи по четыре с половиной. Через пятнадцать минут Пистолетти вышел из кабинета. Лицо его не выражало ничего определенного.

— В общем, так, — начал он. — Он написал на прошении «удовлетворить». Поставил число, сказал «так», а после спросил: «Куда ехать?» Я назвал, точнее, он сам посмотрел, пощупал себе печень и произнес: «Слишком далеко!» — и зачеркнул то, что написал. У него с печенью не в порядке.

— Значит, отказ? — спросил Бизон.

— Да... — ответил Пистолетти.

— А как вы полагаете, — спросил Бизон, из ботинок которого уже валил густой пар, — если вашему Сибрикосу дать десять тысяч, мы получим разрешение?

— Да что же это делается! — запричитал Майор. — Не дают перевезти на машине ребенка, которому противопоказан поезд?

— Да что мы, в сущности, просим? — подхватил Бизон. — Ничего! Бензина не просим, поскольку он у нас есть. Просим только поставить подпись на листе бумаги, чтобы иметь возможность выехать, подразумевая, что с горючим разберемся на черном рынке! И что же?

— Зануды они, — сказал Майор.

— Послушайте... — сказал Пистолетти.

— Сволочи! — сказал Бизон.

— Можно попробовать еще раз после обеда... — робко намекнул Пистолетти.

— Нет уж, — ответил Бизон. — Нам все ясно! Пошли отсюда!

— Мы равным счетом ничего против вас не имеем, — сказал Майор. — Вы же не виноваты, что у Сибрикоса большая печень.

За поворотом коридора они зажали Пистолетти с двух сторон и оставили труп лежать в углу.

— Что будем делать? — спросил Бизон, когда они вышли.

— Мне плевать, — ответил Майор. — Я уезжаю без разрешения.

— Не пойдет, — сказал Бизон. — В таком случае я отправляюсь на вокзал за билетами. Не люблю легавых.

— Подожди до вечера, — остановил его Майор. — У меня есть еще кое-что на примете. Я сам их не люблю. Они на меня воздействуют супрафизически.

— Ладно, — отвечал Бизон. — Позвонишь тогда.

V

— Все в порядке, — произнес голос Майора в трубке.

— Получил? — спросил Бизон.

Сам он, разумеется, в это не верил.

— Нет, но получу. Я снова был там после обеда с одной девицей, подругой Фуэса, которого ты у меня видел. У нее есть связи в префектуре. Она заглянула к Сибрикосу и все уладила. Они мне обещали...

— Когда?

— В среду в пять.

— Что ж! — заключил Бизон. — Посмотрим...

VI

В среду в пять Майору ответили, что лучше ему прийти в четверг в одиннадцать. В четверг в одиннадцать предложили зайти после обеда. После обеда сказали, что в день выдается пятнадцать разрешений, а он аккурат шестнадцатый, и так как взятку он давать не пожелал, то разрешения не получил.

К сотрудникам ежесекундно заходили их приятели, не хватало рук выписывать всем им липовые разрешения. Майора попросили помочь заполнять бумаги. Он отказался и, уходя, забыл на столе гранату без предохранительной чеки, разрыв которой пролил балласт ему на сердце в ту минуту, когда он выходил из префектуры.

Бизон с женой и Бизончиком взяли билеты до Сен-Жан-де-Люза. Но аж на следующий понедельник, поскольку поезда все были переполнены. В субботу вечером Майор покинул фешенебельную однокомнатную квартирку на улице Львиного Сердца и тронулся в путь на своей «рено». Решено было, что в Сен-Жан-де-Люз он придет первым и подготовит жилье к приезду друзей. Рядом с ним сидел Жан Фуэс, которому Майор должен был три тысячи франков, а на заднем сиденье — Жозефинка, Майорова подруга, у которой он уже успел пропить половину денег из сумочки.

Кроме того, они везли багаж: десять кило сахара для мамы Фуэса в Биаррице, лимонное дерево с голубыми листочками, которое Майор намеревался вырастить в «краю басков», два вольера с жабами и огнетушитель, заполненный лавандовой водой, понеже четыреххлористый углерод пахнет прескверно.

VII

Дабы избежать встречи с парными двуногими в темно-синем, каковых именуют жандармами, Майор по выезде из столицы свернул на окольную дорогу, помпезно названную «национальная номер триста шесть». Боялся их, как черт ладана.

Маршрут он выбирал по указаниям Фуэса. Тот следил за дорогой по карте Мишлена, расстеленной у него на коленях. Подобного рода занятию он предавался впервые в жизни.

В результате к пяти утра, после восьми часов езды со средней скоростью пятьдесят километров, Майор заметил на горизонте Башню Монлери и, недолго думая, развернулся на сто восемьдесят градусов, ибо, двигаясь в прежнем направлении, они очень скоро въехали бы в Париж через Орлеанские ворота.

В девять они прибыли в Орлеан. Бензина оставался один литр, и Майор чувствовал себя совершенно счастливым. За все время им даже ни одной полицейской фуражки на глаза не попало.

У Фуэса еще имелось в запасе две тысячи пятьсот франков, которые они обратили в двадцать литров бензина и пять килограммов картофеля, поскольку, ввиду почтенного возраста автомобиля, бензин необходимо было смешивать с нарезанным картофелем в пропорции один к четырем.

Шины, похоже, пока выдерживали. После непродолжительной остановки, связанной с дозаправкой, Майор дернул за шнурок, приводящий в движение клапан коробки передач, дважды свистнул, отдал контрпар, и автомобиль тронулся.

Съехав с «национальной дороги номер сто пятьдесят два», они переправились через Луару по заднему мосту и вывернули на менее заезженную «национальную семьсот пятьдесят один».

Опустошения, произведенные оккупацией, немало способствовали расцвету среди колдобин и луж густой водяной растительности, направо и налево кланялись венчиками зверобои, а полевые скакуны разбавляли лиловизной перламутровое буйство скряг.

Редкие фермы там и сям только оттеняли однообразие дороги, оставляя приятное ощущение облегчения в мошонке, как бывает, когда пролетаешь на большой скорости по горбатому мосту. По мере того, как они удалялись в сторону Блуа, чаще стали попадаться куры.

Они поклевывали себе что-то вдоль канав по хитроумно установленному дорожными рабочими плану. В каждую из выковыренных клювами луночек закладывалась на другой день шелуха подсолнуха.

Майору захотелось курятины, и он принялся поигрывать рулем. Одновременно он поворачивал ключ выхлопной трубы, замедлив таким образом продвижение автомобиля до скорости человека, идущего по пасеке.

Откормленная уданская курица стояла к нему спиной, подняв зад. Майор потихоньку поддал газу, но курица внезапно обернулась и уставилась на него с вызовом. Майор, не подавая вида, однако находясь под сильным впечатлением, как ни в чем не бывало повернул руль на девяносто градусов, в результате чего им пришлось прибегнуть к помощи встреченного на дороге местного почтальона, дабы высвободить автомобиль из столетнего дуба, коему благоразумный рефлекс Майора нанес значительные повреждения.

Когда повреждения устранили, машина ни за что не захотела трогаться, пришлось Фуэсу вылезти и целых пять километров пыхтеть у нее на закорках, чем он уговорил ее поехать; она с большой неохотой приостановилась, чтобы позволить ему сесть в кабину.

Нимало не обескураженный Майор проехал Клери, Блуа, затем свернул на юг по «национальной семьсот шестьдесят четыре»

в сторону Пон-Левуа. Полицейские не попадались, и бодрость духа помаленьку возвращалась к нему.

Он насвистывал военный марш и конец каждого такта отмечал энергичным ударом каблука. Досвистеть марш до конца ему не удалось: нога его пробила пол, еще немного — и вывела бы из строя коробку передач, две из которых и так остались лежать на земле после стычки с деревом.

В Монришаре они прихватили буханку и устремились на Лельеж, однако на перекрестке «национальной семьсот шестьдесят четыре» и «департаментской десять» машина остановилась как вкопанная.

Тут проснулась Жозефинка.

— Что случилось? — спросила она.

— Ничего, — ответил Майор. — Купили хлеба и остановились поесть.

Он был расстроен. Перекресток! К ним могли подъехать, их могли заметить с четырех сторон.

Они вышли из машины и сели на обочину. Прятавшаяся во рву белая курица осмелела и подняла до уровня шоссе голову, увенчанную круто завитым гребешком. Майор замер, у него дух перехватило.

Он взял в руку хлеб, здоровенную двухкилограммовую буханку, поднял вверх, повернулся, будто бы желая рассмотреть ее на просвет, и неожиданно обрушил на курицу.

На беду неподалеку располагалась ферма знаменитого голкипера Да Рюи и курица оказалась оттуда: уроки хозяина не прошли для нее даром. Мастерским движением головы она приняла пас, отправила хлеб за пять метров в сторону, почесала за ним во все лопатки и поймала еще на лету.

С тем она скрылась в облаке пыли, унося хлеб под крылом.

Фуэс поднялся и бросился за ней вдогонку.

— Жан! — крикнул ему Майор. — Оставь, наплевать. А то еще жандармов привлечешь.

— Ах ты, дрянь! — задыхался от быстрого бега Жан.

— Оставь, говорю! — рывкнул Майор, и Жан, чертыхаясь, возвратился. — Пускай себе, — пояснил Майор, — я уже в булочной хлебец съел.

— Мне от этого проку мало! — злобно прорычал Жан.

— Теперь, когда она подержала его под крылом, он, должно быть, курицей пахнет, — брезгливо передернулся Майор.

— Благодарю за заботу, — проговорил Жан. — Давай попробуем тронуться и купить новый, а ты, пожалуйста, в следующий раз охоться на куриц чем-нибудь несъедобным.

— Я готов сделать тебе такое одолжение, — сказал Майор. — Приготовлю разводной ключ. Теперь посмотрим, что с машиной.

— Как! Разве ты ее не специально остановил? — удивилась Жозефинка.

— Хм... Нет, — отвечал Майор.

VIII

Майор вооружился полумкоискателем, переделанным из стетоскопа, и уполз под машину. Два часа спустя он проснулся совершенно отдохнувший.

Фуэс с Жозефинкой лакомились незрелыми яблоками в близлежащем саду.

Майор взял резиновый шланг и спустил в канаву три четверти оставшегося бензина, дабы облегчить перед. Затем он подсунул домкрат под левый лонжерон, закрепил «рено» на высоте сорока сантиметров над землей и открыл капот.

Приложив стетоскоп к мотору, он констатировал, что поломка не в нем. Вентилятор тоже был в порядке, радиатор грелся, следовательно, работал. Оставались масляный фильтр и стартер.

Он поменял местами фильтр и стартер, включил. Не работало.

Он поставил их на свои места и снова включил. Заработало.

— Ясно, — заключил Майор. — Это стартер. Я так и знал. Надо искать мастерскую.

Он заорал во всю глотку, призывая Фуэса и Жозефинку толкать автомобиль. Снять домкрат он забыл, и когда начали толкать, машина покачнулась и ухнула правым передним колесом Фуэсу на ногу, отчего лопнула шина.

— Идиот! — завопил Майор, опережая возражения Фуэса. — Ты шину проколол! Теперь чини.

— Вообще-то, — заметил он некоторое время спустя, — толкать машину — дурацкое дело. Жозефинка сходит за механиком.

Она отправилась в путь, а Майор поудобнее расположился в тени для отдыха. При этом он жевал второй хлебец, также украденный в булочной.

— Захвати хлеба, если вы голодны! — прокричал он Жозефинке в ту минуту, когда она скрывалась за поворотом.

IX

Покончив с хлебом, Майор отошел в сторонку дожидаться возвращения Жозефинки. И вдруг он заметил на горизонте две синие фуражки,двигающиеся прямо на него.

Он припустился бежать к машине, он летел, со стороны казалось, что у него отросла пятая нога. Фуэс стоял, прислонившись к дереву, и, уперши взгляд в пространство своего кармана, что-то мурлыкал себе под нос.

— За работу! — скомандовал Майор. — Руби дерево. Вот тебе разводной ключ.

Фуэс аккуратно застегнул карман и машинально подчинился.

Срубив дерево, он принялся разделявать его на щепки по указаниям Майора.

Листья они закопали в яму, а машину замаскировали под костер для получения древесного угля, заполнив прорехи землей из ямы. На верхушке Фуэс расположил зажженный уголек Серала, выпускавший благовонный дым.

Майор раскрасил угольным карандашом лицо себе и Фуэсу и привел в беспорядок костюмы.

Только закончил, подросли жандармы. Майор вздрогнул.

— Эй! — крикнул тот, что потолще.

— Как дела? — подхватил напарник.

— Ничего себе! — отвечал Майор, подделывая акцент угольщика.

— Пахнет хорошо, — заметил толстый.

— Чем это? — спросил напарник и добавил с заговорщическим смешком: — Пахнет шлюхой.

— Камфарное дерево и сандаловое, — пояснил Фуэс.

— Очень хорошо от триппера! — сказал толстяк.

— Ха! Ха! — отозвался напарник.

— Надо сообщить в управление Мостов и Дорог, чтоб трассу отвели в сторону, — заметил первый жандарм, — а то машины вам, небось, мешают.

— Вот именно, — подтвердил второй, — машины, небось, мешают.

— Заранее благодарны! — отвечал Майор.

— До свидания! — прокричали жандармы, удаляясь.

Фуэс и Майор прощально гаркнули им вслед и, оставшись одни, принялись разбирать псевдокостер.

Они были пренебрежительно удивлены, когда не обнаружили под ним машины.

— Как это могло случиться? — спросил Фуэс.

— Не представляю! — ответил Майор. — Это выше моего понимания.

— Ты уверен, что она была «рено»? — спросил Фуэс.

— Абсолютно, — отвечал Майор. — Я уже сам об этом думал. Если б «форд», тогда понятно. Но эта — точно «рено».

— Двадцать седьмого года?

— Да! — ответил Майор.

— Тогда все ясно, — сказал Фуэс. — Погляди-ка.

Они обернулись и увидели «рено», щипавшую траву под яблоней.

— Как она там оказалась? — поинтересовался Майор.

— Ход прорыла. Отцовская тоже так делала всякий раз, когда ее закапывали.

— А отец ее часто закапывал? — спросил Майор.

— Да нет, не слишком... Иногда.

— А! — протянул Майор подозрительно.

— То был «форд», — объяснил Фуэс.

Они оставили машину в покое и принялись расчищать дорогу. Работа подходила к концу, но тут Фуэс вдруг увидел, что Майор, затаившись в траве, уставился в одну точку и знаками призывает его молчать.

— Курица! — прошептал он.

Внезапно Майор подпрыгнул и плюхнулся всем телом в заполненный водой ров прямо на курицу. Но та нырнула, сделала несколько мощных гребков, вынырнула в стороне и умчалась прочь, неистово кудаяхая. Да Рюи учил их также плавать под водой.

Тут как раз появился механик.

Майор отряхнулся и, протянув ему мокрую руку, сказал:

— Я — Майор. Вы, надеюсь, не жандарм?

— Очень приятно, — отвечал механик. — У вас стартер полетел?

— А вы откуда знаете? — спросил Майор.

— Дело в том, что это единственная деталь, которой у меня нет.

— Нет, не стартер, масляный фильтр, — отвечал Майор.

— В таком случае могу предложить вам новенький стартер, — сказал механик. — Я на всякий случай три прихватил. Ха! Ха! Здорово я вас поймал, а?

— Я их беру, — сказал Майор. — Давайте сюда.

— Два из них не работают...

— Не важно, — оборвал его Майор.

— А третий сломан...

— Тем лучше! — отрезал Майор. — Но в таком случае я вам за них заплачу...

— Полторы тысячи, — сказал механик. — И за установку...

— Знаю! — отрубил Майор. — Ты можешь заплатить, Жозефинка?

Жозефинка расплатилась. У нее осталась тысяча франков.

Майор развернулся, пошел за автомобилем.

Привел его, открыл капот.

В стартере было полно травы. Он ее выковырял кончиком ножа.

— Вы меня подвезете? — спросил механик.

— С удовольствием, — отвечал Майор. — Это обойдется вам в тысячу франков, деньги вперед.

— Сущие пустяки! — согласился механик. — Вот, возьмите!

Майор, не глядя, сунул деньги в карман.

— Садитесь! — сказал он.

Они уселись, мотор рванул сам по себе. Пришлось догонять его и водворять на место, но на этот раз Майор не забыл закрыть капот.

У самого гаража машина встала и ни с места.

— Стартер, должно быть, — сказал механик. — Сейчас поставим один из моих.

Он заменил стартер.

— Сколько с меня? — спросил Майор.

— Ах, не беспокойтесь... Тут не о чем даже и говорить!

Он стоял перед автомобилем.

Майор нажал на педаль газа, раздавил его, и они продолжили путь.

X

Пробираясь по-прежнему окольными путями, они достигли широт Пуатье, Ангулема, Шательро и поплутали в окрестностях Бордо. Страх перед жандармами оттягивал книзу изящные черты Майора, одновременно понижая и тонус.

В Монморо они познали ужас полицейских кордонов. Благодаря телескопу, Майору едва удалось от них ускользнуть, круто вывернув на «национальную семьсот девять». В результате они очутились в Рибераке без единого грамма бензина.

— Тысяча франков у тебя осталась? — спросил Майор у Жозефинки.

— Да! — ответила она.

— Давай сюда.

Майор приобрел десять литров бензина, а на тысячу франков, полученных от механика, нажрался.

От Риберака до Шале они добрались в два счета. Через Мартрон и Монлье возвратились на «национальную десятку» и прибыли в Кавиньяк, где у Фуэса жил кузен.

XI

Майор, Фуэс и Жозефинка развалились в стоге сена и ждали.

Дело в том, что Фуэсов кузен должен был передать с ними бочонок для своего брата в Биаррице и как раз давил вино, чтоб бочонок наполнить.

Майор пожевывал соломинку, размышляя о скором окончании путешествия. Фуэс тискал Жозефинку, Жозефинка поддавалась тисканью.

Майор пытался пересчитать стартеры в своей коллекции, выменянные в Обтере, Мартроне и Монлье на принадлежащий Фуэсу сахар, но запутался в десятичных дробях.

Заметив вдруг кожаный козырек фуражки, он зарылся в сено. Оказалось, это почтальон. Майор вынырнул на поверхность с двумя мышками под мышками и соломой в голове.

Если разобраться, он ничем не рисковал, машина стояла запертой в конюшне кузена, просто за время пути у него выработался рефлекс.

Майору пришлось по душе растительный образ жизни кузена. На завтрак у него елся сельдерей, вечером — компот, в промежутке — разная другая пища, а после ложились спать. Фуэс тискал Жозефинку, Жозефинка поддавалась тисканью.

По истечении трех дней им сообщили, что бочонок наполнился. Да и Фуэс притомился. Майор, напротив, так воспарил духом, что уже и не вспоминал о существовании Бизонов, которые в Сен-Жан-де-Люзе коротали, должно быть, ночи под открытым небом в ожидании ключей от квартиры.

Майор расчистил место в багажнике и аккуратно уложил бочонок.

Все попрощались с кузеном, «рено» храбро рванула в направлении Сент-Андре-де-Кюбзак, скосила влево на Либурн, углубившись в лабиринт дорог местного значения, обогнула Бранн, Таргон и Лангуаран и прибыла в Останс.

Прошла ровно неделя со времени отъезда с улицы Львиного Сердца. В Сен-Жан-де-Люзе Бизоны, уже пять дней проживавшие в чудом отысканной комнатухе, с наслаждением представляли себе Майора за толстыми решетками провинциальной тюрьмы.

Представив себе в свою очередь ту же картину, Майор нажал на педаль акселератора, «рено» взбрыкнула, и стартер полетел.

В ста метрах виднелся гараж.

— У меня есть совершенно новый стартер, — сказал механик. — Сейчас поставлю! С вас три тысячи.

Замена стартера заняла три минуты.

— Может, лучше вином возьмете? — спросил Майор.

— Благодарю! Кроме коньяка ничего не пью, — ответил механик.

— Послушайте, — сказал Майор, — я порядочный человек. Я оставлю вам в залог удостоверение личности и продовольственную карточку и вышлю деньги из Сен-Жан-де-Люза. При себе ничего не осталось. Мужичье здешнее обобрало дочиста!

Обходительность Майора подкупила механика, и он согласился.

— У вас случаем не найдется бензина для моей зажигалки? — спросил Майор.

— Возьмите, пожалуйста, на колонке, — ответил механик.

И удалился убрать Майоровы документы.

Тот налил себе недостающие двадцать пять литров (никак не более) и замел следы.

Затем он поднял глаза... Вдали показались два жандарма на велосипедах.

Тучи сгущались.

— По местам! — скомандовал Майор.

Щелкнул телеграфный ключ. Майор медленно тронулся и напрямик через поля устремился в Дакс.

В зеркале заднего вила жандармы превратились в маленькую точку, однако несмотря на все усилия Майора, точка эта не исчезала. Предстояло преодолеть холм. Машина налетела на него вихрем. Дождь лил как из ведра; молнии облепили небо отсветами.

Холм накренился все круче и делался похожим на гору.

— Придется сбрасывать балласт! — сказал Фуэс.

— Никогда! — отвечал Майор. — Поднимемся.

Но передача пробуксовывала и снизу тянуло паленым маслом.

На беду Майор приметил курицу.

Он резко затормозил. Автомобиль перевернулся в воздухе и упал на голову несчастной птице, сразив ее наповал. После чего остановился. Майор торжествовал. Правда, ему пришлось расплачиваться с хозяином, затаившимся тут же рядом в специально, ad hoc, как сказал бы Юлий Ромен, приготовленной яме, и отдать ему последние три кило Фуэсова сахара.

Курицу он брать не стал за непригодностью (она села от дождя) и лишь издал несколько яростных воплей.

Но главное, он не мог тронуться.

Сцепление выло от боли, мотор был готов разорваться на части. Вибрация в крыльях достигла такой силы, что «рено» оторвалась от земли и, жужжа, поднялась нюхать цветущую катальпу. Вперед, однако, не продвинулась.

Точка в зеркале заднего вида понемногу увеличивалась.

Майор привязался ремнем к рулю.

— Балласт! — проревел он.

Фуэс выкинул за борт два стартера.

Машина вздрогнула, но не шевельнулась.

— Еще! — сокрушенно провыл Майор.

Тогда Фуэс выкинул семь стартеров разом. Машина отчаянно скакнула вперед и под рев дождя, града и мотора в один присест одолела холм.

Жандармы пропали из вида. Майор утер лоб и сохранил дистанцию. Промелькнули мимо Дакс, Сен-Винсен-де-Тиросс.

Полицейский кордон в Байонне замечен был издалека. Майор заблокировал клаксон и на подъезде к посту осенился Красным Крестом. Жандармы даже не заметили, что он крестился не в ту сторону, поскольку получил воспитание от русской кормилицы. Зато на заднем сидении Фуэс для полноты картины раздел Жозефинку и обмотал ей голову комбинацией вместо бинта. Было девять часов вечера. Жандармы их пропустили.

Миновав кордон, Майор лишился сознания, потом обрел его, но лишился бампера, который так и остался на километровом столбе.

Ля Негресс...

Гетари...

Сен-Жан-де-Люз...

Улица Мазарини, 5, бабушкина квартира.

Стояла ночь.

Майор остановил машину перед дверью, а дверь вышиб. Они завалились спать без задних ног, не заметив отсутствия присутствия Бизонов. Те, надо сказать, отступили перед необходимостью вышибать вышеупомянутую дверь, а потому готовили Майору тепленький прием на гаденькой кухне с двухъярусными койками, которую им согласились сдать за тысячу франков в день.

На рассвете Майор открыл глаза.

Он потянулся и надел халат.

В другой комнате Фуэс и Жозефинка разливали себя горячей водой.

Майор подошел к окну и открыл его.

Перед дверью стояло шестеро жандармов. Они разглядывали автомобиль.

Тогда он заглотал мощную дозу нитроцеллюлозы, которая, к счастью, не взорвалась, потому что, переварив ее, он счел вполне естественным, что перед зданием комиссариата в доме 6 по улице Мазарини стояли полицейские.

А машину у него конфисковали неделю спустя в Биаррице как раз, когда он уже почти завязал дружбу с одним полицейским комиссаром, известным контрабандистом, имевшим на совести убийство ста девяти испанских таможенников.

ВЕЧЕРИНКА У ЛЕОБИЛЯ

Веки Фолюбера Сансонне, на которые, проникая через решетчатые ставни, падал волнистый солнечный луч, были изнутри приятного красновато-оранжевого цвета, и Фолюбер улыбался во сне. Он шел легким шагом по теплому белому гравию в саду Гесперид, и красивые звери с шелковистой шерстью лизали ему пальцы ног. Тут он проснулся, осторожно снял с большого пальца ноги ручную улитку Фредерику и вернул ее на исходную позицию с таким расчетом, чтобы она снова добралась до него к завтрашнему утру. Фредерика фыркнула, но промолчала.

Фолюбер сел на постели. Каждое утро он не спеша размышлял, избавляя себя от необходимости думать днем, а тем самым от многочисленных неприятностей, докучающих людям беспорядочным, дотошным и беспокойным, которые во всяком действии видят предлог для размышлений, бесконечных (прошу извинить меня за длинную фразу), а зачастую — и беспредметных, поскольку о предмете они при этом забывают.

Необходимо было продумать:

- 1) во что себя облачить;
- 2) чем себя подкрепить за завтраком;
- 3) как себя развлечь.

Вот и все, потому что было воскресенье, и вопрос о том, где раздобыть денег, был уже решен. Фолюбер по порядку обдумал все три задачи. Он тщательно умылся, энергично почистив зубы и высморкавшись двумя пальцами, и стал одеваться. По воскресеньям он всегда начинал с галстука и кончал ботинками — прекрасная утренняя зарядка. Он достал из ящика пару модных носков из чередующихся полосок: синяя полоска — просвет — синяя полоска — просвет и так далее. Когда носишь такие носки, можно красить ноги в любой цвет: его видно между полосками. Фолюбер был робок и потому выбрал яблочно-зеленый.

В остальном он оделся как обычно, если не считать синей рубашки, и сменил белье, ибо думал о том, что ему предстоит «в-третьих».

За завтраком он подкрепился селедкой под норковой шубой, политой нежным маслом, и съел булочку, свежую, как глаз, и, как глаз, обрамленную длинными розовыми ресницами.

Наконец он позволил себе поразмыслить о предстоящих воскресных развлечениях.

Сегодня был день рождения его друга Леобиля, и по этому случаю устраивалась вечеринка.

При мысли о вечеринках Фолюбер погрузился в глубокую задумчивость. Дело в том, что он страдал болезненной застенчивостью и втайне завидовал смелости тех, кого должен был сегодня увидеть: ему хотелось бы обладать ловкостью Грузные в сочетании с пылкостью Додди, шикарной элегантностью Ремонфоля и привлекательной суровостью Абадибабы или же ослепительной лихостью любого из членов Лориентского городского клуба.

А между тем у Фолюбера были красивые каштановые глаза, мягко вьющиеся карие волосы и милая улыбка, которой он покорял все сердца, не ведая об этом. Но он никогда не осмеливался воспользоваться преимуществами своей наружности и вечно сидел в одиночестве, в то время как его приятели ловко отплясывали с красивыми девушками свинг, життебург и аргентинскую тумбу.

Это зачастую повергало его в уныние, зато по ночам он утешался снами. Во сне он бывал полон отваги и красивые девушки обступали его, умоляя, как о милости, чтобы он с ними потанцевал.

Фолюберу вспомнился сон, который он видел сегодня ночью. Ему приснилось прелестное создание в платье из лиловато-голубого крепа. Светлые волосы падали ей на плечи, на ногах были маленькие туфельки из голубой змеиной кожи и забавный браслет, который он не мог бы уже описать в точности. Во сне он ей очень понравился и кончилось тем, что они вместе ушли.

Наверняка он ее поцеловал, а может быть, добился и большего.

Фолюбер покраснел. У него еще будет время об этом подумать по пути к Леобилю. Он пошарил в кармане, проверил, хватит ли денег, и вышел купить бутылку ядовитого аперитива самой дешевой марки — сам он вообще не пил.

В то время, когда Фолюбер протирал глаза, Майор, вырванный из объятий сна сиплым голосом своей нечистой совести, ощущая привычный жуткий привкус перегара во рту, спустил ноги на липкий пол.

Его стеклянный глаз зловеще сверкал в полутьме, освещая гнусным светом кусок шелка, который Майор расписывал —

вначале рисунок изображал дога-отца и дога-сына, но теперь все вместе стало смахивать на гиблое тело, и Майор понял, что ему предстоит нынче совершить дурной поступок.

Он вспомнил о предстоящей вечеринке у Леобилия и зверски ухмыльнулся в ре мажоре, притом сфальшивив, что яснее ясного выдавало низость его натуры. Углядев в углу бутылку дешевого красного вина, он, сделав большой глоток, допил остатки жижи, которая покрывала дно бутылки, и приободрился. Потом он встал перед зеркалом и попытался придать себе такое же выражение лица, как у Сергея Андреевича Папанина в «Иване Грозном». Из-за отсутствия бороды это ему не удалось. Впрочем, и так получилось недурно.

Майор опять ухмыльнулся и удалился в кабинет, чтобы подумать, как сорвать вечеринку у Леобилия, которому задумал отомстить. Уже несколько недель Леобиль распускал о Майоре компрометирующие слухи, осмелясь даже утверждать, будто Майор исправился.

За это его следовало хорошенько проучить.

Майор не знал пощады к врагам, встречавшимся на его пути, это объяснялось, с одной стороны, его скверным воспитанием, а с другой — врожденным коварством и злобностью, значительно превышавшей норму.

(Не забудем упомянуть об отвратительных усиках, которые он злонамеренно выращивал на верхней губе, охраняя их от насекомых, а днем защищая от птиц сеточкой.)

Фолюбер Сансонне, волнуясь, остановился перед дверьми Леобилия и сунул указательный палец в маленькую норку звонка, который спал, забившись в угол.

Фолюбер внезапно разбудил его. Звонок перевернулся, больно укусил Фолюбера за палец, и Фолюбер пронзительно взвизгнул.

Сестра Леобилия, которая поджидала гостей в передней, тут же отворила дверь, и Фолюбер вошел. По дороге в комнату сестра Леобилия заклеила ранку кусочком пластыря и взяла у гостя бутылку.

Под потолком весело порхали созвучия легкой музыки, оседая на мебель, точно светлый чехол.

Леобиль, стоя у камина, болтал с двумя девушками. Увидев вторую, Фолюбер смутился, но тут к нему с протянутой рукой устремился Леобиль, и ему пришлось скрыть свое волнение.

— Привет, — сказал Леобиль.

— Здравствуй, — сказал Фолюбер.

— Знакомьтесь, — сказал Леобиль. — Это Азим (так звали первую девушку), это Фолюбер, а это Женнифер.

Фолюбер поклонился Азим и, опустив глаза, протянул руку Женнифер. На девушке было красное платье из мягкого крепа цвета морской волны, красные туфельки из змеиной кожи и очень необычный браслет, который он сразу же узнал. Рыжие волосы падали ей на плечи, и она во всем была похожа на девушку из его сна — только краски были ярче, но оно и понятно: ведь сны, в конце концов, снятся по ночам.

Леобиль, казалось, был всецело поглощен беседой с Азим, и Фолюбер, не медля более, пригласил Женнифер танцевать. Он по-прежнему опускал глаза — слишком уж притягивали его взгляд два чрезвычайно интересных предмета, ничем не стесненных в квадратном вырезе платья.

— Давно вы знакомы с Леобилем? — спросила Женнифер.

— Три года, — ответил Фолюбер. — Мы познакомились на занятиях дзюдо.

— Так вы занимаетесь дзюдо? И вам уже приходилось защищать свою жизнь?

— Гм... — сказал Фолюбер смущенно. — Да нет, не было случая. Я редко дерусь.

— Трусите? — насмешливо спросила Женнифер.

Такой оборот разговора был Фолюберу неприятен. Он попытался вновь обрести уверенность, которой был полон прошлой ночью.

— Я видел вас во сне, — отважился он.

— Мне никогда ничего не снится, — сказала Женнифер. — Так что — едва ли, я думаю. Вы, наверно, перепутали.

— Только у вас были светлые волосы, — сказал Фолюбер на грани отчаяния.

У нее была тонкая талия, ее глаза смеялись так близко от него...

— Вот видите, — сказала Женнифер, — значит, это была не я. Я же рыжая...

— Нет, вы, — пробормотал Фолюбер.

— Не думаю, — сказала Женнифер. — Я не люблю снов. Мне больше нравится действительность.

Она посмотрела на него в упор, но он уже снова опустил глаза и не заметил этого. Он не прижимал ее к себе слишком крепко, иначе ему ничего не было бы видно.

Женнифер пожала плечами. Она любила спорт, ей нравились сильные и смелые мужчины.

— Я люблю спорт, — сказала она, — мне нравятся сильные и смелые мужчины. А сны я не люблю, я слишком живой человек.

Она высвободилась из его рук, потому что пластинка, страшно скрежеща тормозами, остановилась: это Леобиль без предуп-

реждения опустил шлагбаум. Фолюбер поблагодарил ее за танец и хотел было удержать подле себя изящной и чарующей болтовней, но в тот самый миг, когда он было придумал поистине чарующую фразу, между ними протиснулся какой-то гнусный верзила и грубо обнял Женнифер.

Фолюбер в ужасе отступил на шаг, но Женнифер только улыбалась, и он, сраженный, рухнул в глубокое кресло из бурдючной кожи.

И загрустил, понимая, что и эта вечеринка, в сущности, будет такой же, как и другие, — полной блеска и красивых девушек... не для него.

Сестра Леобилия хотела открыть дверь, но замерла, ошеломленная: из-за двери послышался выстрел. Девушка прижала руку к колотящемуся сердцу, и дверь распахнулась от свирепого удара Майоровой ноги.

В его руке дымился пистолет, из которого он только что застрелил звонок. Его горчичные носки бросали вызов всему миру.

— Я убил эту тварь, — сказал он. — Уберите падаль.

— Но... — начала была сестра Леобилия и разрыдалась, потому что звонок был у них в доме так давно, что стал уже как бы членом семьи. Плача, она убежала к себе, а Майор на радостях выкинул левое коленце и сунул пистолет в карман.

Подошел Леобиль. Он простодушно протянул Майору руку.

Майор положил в нее огромный кусок дерьма, который подобрал у дверей дома.

— Посторонись-ка, друг, — дрожащим от ярости голосом сказал он Леобилью.

— Послушай... Ты ведь не наломаешь дров...

— Я тут все переломаю, — холодно сказал Майор, оскалив зубы.

Он подошел к Леобилью, сверля его невыносимым взглядом своего стеклянного глаза.

— Так ты, приятель, болтаешь, будто я работаю, — сказал он. — Распускаешь слух, что я стал порядочным человеком? Ты что это себе позволяешь?

Он набрал в легкие воздух и проревел:

— Ты эту вечеринку запомнишь, приятель!..

Леобиль побледнел. Он еще держал в руке то, что туда положил Майор, и не смел шелохнуться.

— Я... я не хотел тебя оскорбить... — сказал он.

— Заткнись, друг. За каждое лишнее слово причитается прибавка.

Он подставил Леобилью подножку, грубо толкнул его, и Леобиль упал.

Гости ничего особенного не заметили. Они танцевали, пили, болтали и, как водится на всякой удачной вечеринке, по двое исчезали в свободных комнатах.

Майор направился к бару. Невдалеке все еще томился в кресле удрученный Фолюбер. Проходя мимо, Майор рванул его за шиворот и поднял на ноги.

— Давай выпьем, — сказал он. — Никогда не пью один.

— Простите... но я вообще не пью... — отвечал Фолюбер.

Он немного знал Майора и не стал связываться.

— Брось, — сказал Майор, — кончай трепаться.

Фолюбер взглянул на Женнифер. К счастью, она была занята оживленным разговором и смотрела в другую сторону. Правда, к несчастью, ее окружали три молодых человека, еще два сидели у ее ног, а шестой созерцал ее со шкафа.

Леобиль тихо встал, норовя улизнуть и вызвать блюстителей порядка, но сообразил, что если упомянутые блюстители решат заглянуть в спальни, то как бы ему самому не пришлось провести ночь в полиции.

К тому же, зная Майора, он сомневался, что тот даст ему выйти.

Майор в самом деле следил за Леобилем и наградил его таким взглядом, что Леобиль замер на месте.

Потом, все еще держа Фолюбера за ворот, Майор достал пистолет и, не целясь, отстрелил горлышко у бутылки. Ошеломленные гости обернулись.

— Уматывайте, — сказал Майор. — Мужики, уматывайте, бабы могут остаться.

Он протянул Фолюберу стакан:

— Выпьем!

Мужчины отступили от девушек и начали потихоньку уходить. Таким, как Майор, не сопротивляются.

— Мне не хочется, — сказал Фолюбер, но, взглянув на Майора, быстро выпил.

— Твое здоровье, друг, — сказал Майор.

Взгляд Фолюбера вдруг упал на лицо Женнифер. Она стояла в углу с другими девушками и смотрела на него с презрением. У Фолюбера подкосились ноги.

Майор одним глотком осушил стакан.

Почти все мужчины уже вышли из комнаты. Последний (его звали Жак Бердиньдинь, и он был храбрец) схватил тяжелую пепельницу и запустил ею Майору в голову. Майор поймал снаряд на лету и подскочил к Бердиньдиню.

— А ну, покажись, — сказал он и вытащил храбреца на середину комнаты.

— Возьмешь девчонку, какая понравится, и разденешь догола. Девушки вспыхнули от ужаса.

— Я отказываюсь, — сказал Бердиньдинь.

— Смотри, пожалеешь, приятель, — сказал Майор.

— Что угодно, только не это, — сказал Бердиньдинь.

Фолюбер с испугу машинально налил себе еще стакан и залпом выпил.

Майор ничего не сказал. Он подступил к Бердиньдиню и схватил его за руку. Потом крутанул ее, и Бердиньдинь взвился в воздух. Пока он падал, Майор, воспользовавшись ситуацией, сорвал с него брюки.

— Ну, друг, приготовься, — сказал он.

Он оглянулся на девушек.

— Желающие имеются? — ухмыляясь, спросил он.

— Довольно, — сказал оглушенный Бердиньдинь и, пошатываясь, попытался уцепиться за Майора.

Это вышло ему боком. Майор приподнял его и швырнул на пол. Бердиньдинь плюхнулся и остался лежать, потирая бока.

— Эй, ты, рыжая, — сказал Майор. — Поди сюда.

— Оставьте меня в покое, — побелев как мел, сказала Женнифер.

Фолюбер между тем опорожнял четвертый стакан, и голос Женнифер поразил его, как удар грома. Он медленно повернулся на каблуках и посмотрел на нее.

Майор подошел к девушке и одним движением оторвал бретельку ее платья цвета морской волны. (Любовь к истине понуждает меня сказать, что зрелище, которое открылось при этом, было не лишено приятности.)

— Оставьте же меня, — повторила Женнифер.

Фолюбер провел рукой по глазам.

— Это сон, — промычал он, едва ворочая языком.

— Пойди сюда, — сказал ему Майор. — Держи ее, а ты действуй.

— Нет! — возопил Бердиньдинь. — Не хочу!.. Что угодно, только не это... Женщину я не трону!

— Добро, — сказал Майор. — Я добрый Майор. — Не отпуская Женнифер, он шагнул к Фолюберу. — Раздевайся, — сказал он, — и займись тем малым. А я займусь этой.

— Отказываюсь, — сказал Фолюбер. — А ты давай чеши отсюда. Ты нам осточертел.

Майор отпустил Женнифер. Он набрал в легкие воздуха, так что его грудная клетка раздулась самое малое на метр двадцать пять; Женнифер удивленно уставилась на Фолюбера, не зная,

поднять ли ей лиф платья или оставить как есть, чтобы Фолюбер черпал силы в этом зрелище. Она склонилась ко второму решению.

Фолюбер взглянул на Женнифер, издал легкое ржание, ударил копытом и стремительно налетел на Майора. Получив удар в солнечное сплетение в тот самый миг, когда его грудная клетка раздулась до предела, Майор страшно крикнул и согнулся пополам. Впрочем, он сразу же разогнулся, и Фолюбер воспользовался этим, применив классический прием дзюдо, когда на глаза жертве натягивают уши и одновременно дуют в нос.

Майор посинел и стал задыхаться. В ту же секунду Фолюбер, силы которого удесятились под двойным воздействием любви и аперитивов, просунул голову ему между ног, приподнял и вышвырнул Майора сквозь оконное стекло на улицу через заставленный блюдами стол.

В гостиной Леобилиа вновь воцарилось спокойствие. Наступила глубокая тишина, и Женнифер, так и не поднимая лиф платья, упала в объятия Фолюбера, который рухнул под ее тяжестью — в девушке было все-таки килограммов шестьдесят. К счастью, сзади стояло все то же кресло из бурдючной кожи.

Что до Майора, то он описал волнистую кривую и, совершив несколько удачных оборотов, сумел вернуться в вертикальное положение, однако ему не повезло — он упал в красное и черное открытое такси и не успел еще прийти в себя, как оно умчало его вдаль.

А придя в себя, он выставил таксиста, угрожая ему, и повел машину к своему обиталищу, вилле под названием «Львиное сердце».

По дороге, чтобы не признать себя побежденным, он задавил честного торговца, который, к счастью, оказался торговцем краденым.

А Фолюбер и Женнифер посвятили весь остаток вечера починке платья. Удобства ради Женнифер сняла его, а Леобиль из благодарности предоставил им по такому случаю собственную комнату и электроутюг из китайской перегородчатой эмали, который достался ему от матери, а ей, в свою очередь, от его бабушки, которым в его семье гладили из поколения в поколение, еще со времен первых крестовых походов.

В бассейне «Делиньи» мы постепенно все перезнакомились; по именам, разумеется, но церемониями никто себя и не обременял: когда встречались мужчина с мужчиной, они спихивали друг друга в воду, когда встречались мужчина и женщина, он вместо приветствия хлопал ее по ягодицам, а когда женщина с женщиной, они обсуждали купальник, ноги или целлюлит той из подружек, которая в данную минуту отсутствовала. В общем, все очень мило.

Там собирались Кристиан-морьяк, Жорж, демонстрировавший нам такое хобби, какое его бабушке (равно как и чьей-нибудь еще) и не снилось, Опс, которая по мере раздевания становилась все эффектнее, Мишель-архитектор и Мишель-полосатые плавки, долговязая Иветта с челюстью-бампером (по выражению архитектора, питающего пристрастие к сравнениям в эллинистическом стиле); кроме того: Клод Лютер, отрывавшийся от игры на кларнете только для того, чтобы поупражняться в дзюдо или подставить обнаженное тело солнцу, Николь, Максим, Ролан и Усач, поросший слоем густых черных волос поверх солидного слоя сала... одно слово — мафия.

Еще был один, который почти никогда и не появлялся, — Кристиан Кастапьош, сердцеед. Приходи он чаще, у него, понятно, давно изъяли бы масло от загара. Мы его жуть сколько потребляли, до того доходили, что заправляли им помидоры, которые таскали у Опс и красавчика Жилия, первого тутошнего соблазнителя (я о нем раньше не упомянул исключительно из зависти).

Самое лучшее время было в будни утром, часиков в полдесятого — десять. Народу не слишком много, есть место позагорать и вода чистая.

В тот день как раз мне удалось встать пораньше. Прихожу я и, кого бы вы думали, вижу?.. Голубчика Кастапьоша в желто-лиловых плавках.

— Привет!.. — говорю я ему. — Решился?

Он весь белый-беленький. Я и Мишель на него с презрением смотрели.

— Ага, — отвечает Кастапыош эдак заговорщически. — На разведку вышел.

— Ты что, никогда раньше не был? — спрашивает Мишель.

— Никогда, — отвечает Кастапыош. — Я, знаешь, днем работаю.

Чем занимался Кастапыош, так и осталось тайной. Одни утверждали, что он работает ночным портье в отеле «Макрополис», другие — что состоит в связи с некой мадемуазель Лоран, наиболее осведомленные уверяли, что он палец о палец не ударяет. Короче, мне об этом ничего не известно.

— Глянь-ка, — говорит мне тут Мишель, — складненькая.

Гляжу. Каковое занятие и составляет главное развлечение в «Делиньи». Весьма достойные объекты попадаются. Мишель, когда видит стоящий, переворачивается спиной к солнцу — от застенчивости. На этот раз он остался лежать брюхом вверх. Ничего объект, но не сногшибательный.

— Недурно скроена, — вставляет Бизон-младший.

— Погодите, ребята, — заявляет Кастапыош. — Не скручивайте себе шеи понапрасну. Завтра не такое увидите.

Мы пропускаем мимо ушей, но он не унимается, отводит меня в сторону.

— Послушай, — говорит, — ты же знаешь, у меня нет от тебя секретов.

— Естественно, — отвечаю, — у меня тоже.

— Я собираюсь жениться, — говорит. — Но сначала я хочу привести ее в бассейн.

— Ты что ж, помолвлен? — спрашиваю.

— Прежде, чем принять окончательное решение, невесту надо непременно привести в бассейн, — повторяет Кристиан. — Только тут можно узнать, как она на самом деле сложена.

— Так ты помолвлен?

— Гм.. гм... — отвечает. — Возможно.

С тем он поднимается и уходит.

— Я, — говорит, — ребята, работать пошел. До завтра.

Ушел. Белый, ну совершенно. Не играет роли, завтра мы как следует повеселимся. Хватаю Мишеля и Бизона-младшего за руки.

— Ребята, — говорю, — завтра Кастапыош пассию свою приведет. Надо что-то сделать.

— Жиль!.. — отвечают они в один голос.

На этом месте Опе приоткрывает глаза. Они тут с Жилем немало перемешались, и маслом от нее арахисовым разит несносно. Извлекаем Жилево ухо, а ей на голову вывернутую пляжную сумку натягиваем, чтоб не рыпалась.

— Что надо? — спрашивает Жиль.

— Требуется твоя помощь.

Он, дьявол, и в самом деле сложен, как ангел. В «Делинии» силачей полно: ходят, мускулами играют, на руках разгуливают, одним мизинцем дюжину трещащих сорок поднимают. Жиль от них выгодно отличается. В плечах широк, в бедрах узок, фигура прямо точеная. А видели бы вы загар: Дону Биасу, саксофонисту с закрученными усами, до него далеко.

— Я готов, — говорит Жиль.

— Надо у Кастапыоша кралю его увести, — говорит Бизон-младший.

— Какова из себя? — спрашивает Жиль.

— Завтра увидим, — говорит Мишель. — Ну что, идет?

— Идет! — отвечает Жиль.

Опс пытается протестовать, он укладывает ее на спину и впрыскивает ей в нос пузырь лунной амбры. После чего идем мокнуть.

На другой день мы все как один на месте в полной боевой готовности. План действий тщательно разработан.

Появляется Кастапыош в черных очках, которые ему кузен из Америки привез. А под руку с ним брюнетка, собой недурна.

Расходятся, направляются к кабинкам. Кристиан нас заметил и покровительственно кивает. Тут Мишель встает, идет ему зубы заговаривать, а пташка между тем исчезает в раздевалке.

Мишель бесподобен. Продержал Кристиана все время, пока девица переодевалась. Она выходит; нам отсюда видно, как Кристиан ее Мишелю представляет, Мишель ведет ее к нам, а Кристиан наконец отправляется переодеваться.

Вот она, лапочка.

— Познакомьтесь, Инес, вот наши друзья, — говорит Мишель. — Ребята, это Инес Барракуда-и-Альварес.

Мы — сама любезность, усаживаем ее между Жилем и Жоржем. Жоржу полагается ее смешить, Жилю — охмурять.

Все идет как по маслу. Кристиан еще не вышел из раздевалки, а Жиль уже увлекал Инес за руку в сторону бара.

Выходит Кристиан.

— Где Инес? — спрашивает.

— Ах! — отвечает одна из девушек. — Она в раздевалку вернулась за булавкой. Купальник не держится.

— Ну, поздравляю, — говорит Кристиану Жорж, — она восхитительна.

Кристиан — нос кверху, напыжился весь.

— Повторяю, — говорит, — прежде чем жениться, девушку непременно надо в бассейн привести. Тут и узнаешь, чего она стоит.

Мы ему всякие байки рассказываем, а время идет, незаметно так. Кастапьош беспокоиться начинает.

— Что она там делает? — спрашивает. — Схожу за ней.

— Не стоит, — останавливает его Мишель. — Вот она сама.

Жиль обнимает ее за талию. Оба мокрые, она, похоже, ступает не очень твердо. Идут в нашу сторону, но не к нам: проходят мимо по краю бассейна. Она исчезает в кабинке.

— Пойду к ней, — говорит Кастапьош.

— Да что ты в самом деле, — останавливает его Мишель. — Она же за расческой.

Жиль тоже шмыгнул в раздевалку, но Кастапьош, всецело занятый Инес, его не заметил. Появляется Жиль, одетый, следом Инес. Встречаются перед ее кабинкой.

Боже! Ну и поцелуй!..

Удаляются.

— А! — задыхается Кристиан. — А! Невероятно!..

— Не сердись, — говорю.

— Как же так? — кричит Кастапьош. — Девушка из прекрасной семьи!.. Я на ней жениться собирался!..

— Я тебе все объясню, — говорю я ему. — С бассейном это ты здорово придумал. Но надо было тебе самому шкуру подзолотить да физкультурой подзаняться.

— Зачем?

— Знаешь, что она мне сказала? — спрашивает Мишель.

— Что? — говорит Кристиан.

— Она мне сказала, что перед тем, как выйти замуж, надо обязательно сходить с женихом в бассейн. Только тут можно узнать, как он на самом деле сложен.

I

Кламс Жоржобер смотрел, как его жена, красавица Гавиаль, кормит грудью плод их любовных восторгов, трехмесячного крепыша (полу — женского), что, впрочем, для последующего развития событий значения не имеет.

В кармане у Кламса было одиннадцать франков, а завтра нужно было платить за квартиру, но ни за что на свете не прикоснулся бы он к тюфяку, набитому тысячефранковыми банкнотами, где спал его старший сын, которому двенадцатого апреля исполнилось одиннадцать лет. Кламс всегда держал при себе только купюры и мелочь общей суммой до десяти франков, а все остальное откладывал. И посему в эту самую минуту он считал, что у него только одиннадцать франков, и остро сознавал ответственность, которая ложилась на новорожденных.

— Я от дочери не отказываюсь, но ведь ей уже четвертый месяц, — сказал он. — Пора бы и помогать семье...

— Послушай, — ответила его жена, красавица Гавиаль, — может, подождать, пока ей исполнится шесть (месяцев)? Рановато таким малышам работать, у них от этого бывает искривление позвоночника.

— Это верно, — сказал Жоржобер, — но надо что-то придумать.

— Когда ты мне купишь коляску для ребенка? — спросила Гавиаль.

— Я сам тебе ее сделаю: старый ящик из-под мыла, колеса от «паккарда», и все. Дешево и сердито. В Отейле все малыши... разъезжают в... Черт возьми! — вдруг закричал он. — Придумал!..

II

Красавица Гавиаль, семена, вошла в огромный подъезд дома номер сто семьдесят, — как сказала бы Каролин Лампъон, известная бельгийская звезда, — по проспекту Дерьмоцарта. Коридор был выложен черной и белой плиткой, слева находилась лестница с перилами из кованого-перекованого железа, спиралью обвивавшая шахту лифта в стиле Людовика X, работы Буль-Буля (но это была подделка), а под лестницей стояли две роскошные детские коляски от братьев Бюстишон и Мапа с подушками из белого кроличьего меха и ожидали явления благородных отпрысков: первая — прославленного семейства де Кольте де ля Фрикадель, вторая — Марселена дю Бланманже.

Длина предыдущей фразы позволила красавице Гавиаль спрятаться за ней и пройти мимо привратничкой незамеченной. Следует прибавить, что Гавиаль, в элегантной юбке типа «ню-лук», из-под которой выглядывала столь же элегантная кружевная нижняя юбка (оставшаяся у нее еще от первого причастия), бережно несла свою дочь, дарованную ей Господом в результате удачного контакта с мужем, Кламсом Жоржобером.

С первого же взгляда красавица Гавиаль поняла, что коляска юного де Кольте была в лучшем состоянии, чем коляска дю Бланманже. И точно: ведь второй, гадкий мальчишка, пускал в нее ручки каждый раз, когда его нянька встречалась с молодым жеребцом. Станный рефлекс, ибо шестью годами позже отец юного дю Бланманже скончался, разорившись на скачках. Но не будем предвосхищать события...

С самым непринужденным видом Гавиаль вошла в кабину лифта, поднялась на второй этаж и спустилась пешком, чтобы консьержка ее увидела. Потом, подойдя к коляске, нежно положила на подушку из кроличьего меха, набитую как дура, свою дочь, по имени Вероника, — мы уже разъясняли выше способ создания последней.

Гордо вскинув голову, Гавиаль вышла из подъезда и, толкая коляску, повезла ее по проспекту Дерьмоцарта.

Кламс Жоржобер, муж Гавиаль, ждал ее в ста метрах от места происшествия.

— Отлично, — сказал он, осматривая коляску. — В магазине ей цена тридцать тысяч. Ну, тысяч двенадцать мы за нее вырчим.

— Это мои двенадцать тысяч, — уточнила Гавиаль.

— Ладно, — сделал Кламс широкий жест. — Это первый опыт, и провела его ты. Все правильно.

III

— Через час вернешь мне его? — спросил Леон Додилеон.

— Конечно, — успокоил его Кламс.

Он надел шлем Леона и посмотрелся в зеркало.

— Ничего! — сказал он. — В самый раз! Прямо как настоящий мотоциклист.

— Давай, — сказал Леон. — Жду здесь через час.

Час спустя Кламс остановил перед домом, где жил его старый приятель, блестящий мотоцикл марки «Нортон» со щитками, доходившими до самых осей.

— Неплохо, — сказал Леон.

Он ждал перед дверью дома, поглядывая на часы.

— Ему цена в магазине двести пятьдесят тысяч, — сказал Кламс. — Раз он без документов, поскольку я только что его украл, значит, больше ста тысяч за него не выручить. Но я все-таки не зря брал у тебя шлем, а?

— Еще бы, — ответил Леон Додилеон. — Послушай-ка... Может, возьмешь мой мотоцикл вместо этого? И никаких хлопот с бумагами...

— Ладно, — согласился Кламс. — У тебя ведь тоже «нортон»?

— Да, — сказал Леон Додилеон. — Но без трехзубчатого сцепления с гибкой передачей, как у этого.

— Да я не отказываюсь... Идет! — ответил Кламс. — Может, я и прогадаю, но для друга не жалко.

IV

Кламс продал мотоцикл Додилеона за сто пятьдесят тысяч и, пока его друг сидел в тюрьме, купил себе красивую шоферскую форму вместе с фуражкой.

— Понимаешь, — объяснял он жене, красавице Гавиаль (которая слушала его с миндальной улыбкой, уплетая миндальное пирожное, в то время как Вероника потягивала из рожка шампанское старых добрых времен), — никому ведь не придет в голову остановить машину дипломатического корпуса, особенно с шофером.

— Да, особенно с шофером, — сказала она. — Ты прав.

— Я с тем же успехом украл бы и паровоз, — объяснил Кламс Жоржобер, — но для этого пришлось бы испачкать руки смазкой, а лицо углем. Кроме того, несмотря на высшее образование, может оказаться, что я не умею водить паровоз.

— Ах, — сказала Гавиаль, — ты прекрасно справишься.

— Лучше не пробовать, — ответил Жоржобер. — Кроме того, я не тщеславен и в среднем тысяч ста в день мне более чем достаточно. И есть еще одно неудобство — это рельсы. Если ездить по путям без разрешения, то у меня будут неприятности, а на шоссе, с паровозом, — меня же сразу заметят.

— Нет у тебя настоящего размаха, — ответила красавица Гавиаль. — Но за скромность я тебя и люблю. Можно у тебя кое-что спросить?

— Все, что хочешь, милая, — сказал Кламс Жоржобер.

Он щеголял в своей шоферской форме. Она привлекла его к себе и что-то шепнула ему на ухо, покраснела и спрятала лицо в че-пуховой подушке.

Кламс расхохотался.

— Продам этот посольский «кадиллак» и тут же раздобуду тебе то, что ты просишь, — сказал он.

Операция с «кадиллаком» прошла нормально, и Кламс получил за него миллион триста тысяч франков, потому что фальшивые документы на «кадиллаки» теперь продавали во всех табачных киосках.

Прежде чем вернуться домой, Кламс зашел к знакомому торговцу одеждой. Через четверть часа он уже вернулся к Гавиаль, неся объемистый пакет. Дело было сделано.

— Вот, милая, — сказал Кламс. — Я купил форму. Здесь все есть, даже топорик. Ты можешь получить свою пожарную машину в любую минуту.

— И мы будем в ней кататься по воскресеньям?

— Конечно.

— И там будет большая лестница?

— Будет большая лестница.

— Милый, я люблю тебя!

Вероника протестовала, потому что двух детей, по ее мнению, было предостаточно.

В тюрьме же для Додилеона тянулось время медленно. Он услышал шаги и поднялся, чтобы посмотреть, кто это. Надзиратель остановился перед дверью его камеры, и в замочной скважине повернулся ключ. Вошел Кламс Жоржобер.

— Здравствуй, — сказал он.

— Привет, старик, — ответил Додилеон. — Как мило с твоей стороны, что ты пришел составить мне компанию: время здесь тянется так медленно.

Они засмеялись, хотя шутка эта уже прозвучала выше.

— Как ты сюда попал? — спросил Леон.

— Просто идиотство, — вздохнул Жоржобер. — Я украл для нее эту пожарную машину, но ведь женщины ненасытны. Ей захотелось катафалк.

— Да, это уже слишком, — понимающе заметил Додилеон, потому что желания его жены никогда не шли дальше экскурсионного автобуса на тридцать пять мест.

— Представляешь себе? — продолжал Кламс. — И тогда я купил гроб, влез в него и отправился за катафалком.

— Почему же у тебя ничего не вышло? — спросил Додилеон.

— А ты когда-нибудь пробовал ходить с гробом? — сказал Кламс. — У меня в нем нога застряла, я упал и раздавил собачку. А так как это была собачка жены начальника тюрьмы, меня в два счета упекли.

Леон Додилеон покачал головой.

— Черт возьми, — сказал он. — Не везет так не везет.

ПОЖАРНИКИ

Патрик безуспешно чиркал спичкой о стену — в том углу, где облупившаяся краска превратила ее в превосходную терку. На шестом заходе спичка обломилась, и он прекратил это занятие, потому что еще не овладел искусством зажигать короткий обломок, рискуя обжечь пальцы.

Напевая песенку, в которой то и дело упоминалось имя Иисуса, он направился в кухню. Дело в том, что его родители предпочитали, чтобы спички находились возле газовой плиты, а не в шкафу с игрушками, против чего Патрик мог иметь возражения лишь морального свойства, поскольку сила была не на его стороне. Что до имени Иисуса, то это была всего только добавочная, без особой надежды на успех жалоба — так, некое подспорье, ведь никто из домашних не ходил к мессе.

Встав на цыпочки, он приподнял крышку жестяной коробочки и достал оттуда одну из тонких, облитых серой палочек. Только одну за раз: поводов для хождения по квартире и без того было мало.

После чего он проделал обратный путь из кухни в гостиную.

Когда я вошел, огонь уже всерьез принялся за шторы — они горели радостным светлым пламенем. Сидя на полу посреди гостиной, Пат задавался вопросом, веселиться ему или нет.

При виде заинтересованности на моем лице он почел за лучшее опустить уголки рта книзу.

— Послушай-ка, — сказал я ему. — Или тебе это интересно, и тогда нет причин кукситься, или же тебе это не интересно, и тогда непонятно, зачем ты это сделал.

— Не так уж мне это интересно, — ответил он, — но ведь спички придумали для того, чтобы поджигать.

С этими словами он разрыдался.

Чтобы показать ему, что не принимаю случившееся близко к сердцу, я взял беспечный тон.

— Не горюй, — сказал я. — Когда мне было шесть, я тоже поджег старые бидоны из-под керосина.

— У меня-то их не было. Нужно обходиться тем, что есть под рукой.

— Иди в столовую, — сказал я, — и забудем прошлое.

— Будем играть в машинки! — радостно вскричал он. — Мы уже целых три дня не играли в машинки.

Мы покинули гостиную, дверь в которую я тщательно притворил. Шторы сгорели дотла, и теперь огонь пожирал ковер.

— Давай, — сказал я. — Твои синие, мои красные.

Он глянул на меня, желая удостовериться, что я больше не думаю о пожаре, и, удовлетворенный, объявил:

— А вот я тебя щас обштопаю.

После часа игры в машинки и нескончаемой дискуссии об уместности реванша мне удалось отвести Патрика в комнату, где, по моим уверениям, его со страстным нетерпением поджидала коробочка с красками. Потом, закутавшись в простыню, я проник в гостиную, чтобы в зародыше удушить пожар, который я ни в коем случае не собирался принимать близко к сердцу.

Там уже ничего не было видно: все плавало в тяжелом смрадном дыму. Я попытался было разобраться, какой запах преобладает, паленой шерсти или горелой краски, но сотрясший меня приступ кашля прервал мои размышления. Отдуваясь и сплевывая, я обмотал простыней голову, но почти тотчас же ее размотал, потому что упомянутая простыня занялась.

Воздух пронизывали горящие обрывки, пол скрипел и посвистывал. Веселые огненные язычки сновали тут и там, передавая свой жар тому, что еще не горело. Почувствовав, как жгучий язык пламени забирается ко мне в штанину, я признал себя побежденным и ретировался, прикрыв за собой дверь. Из столовой я направился в комнату сына.

— Горит будь здоров, — сообщил я ему. — Знаешь что, давай-ка вызовем пожарников.

Я подошел к столику, на котором стоял телефон, и набрал 174-17-175.

— Алло? — сказал я.

— Алло, — ответили мне.

— У меня тут пожар.

— Адрес?

Я назвал широту, долготу и высоту квартиры.

— Хорошо, — ответили мне. — Соединяю вас с вашими пожарниками.

— Спасибо, — сказал я.

Мне быстренько устроили новое соединение, и я поздравил себя с тем, что телефонная служба работает как часы, но мысли мои перебил жизнерадостный голос:

— Алло?

— Алло, — ответил я. — Это пожарники?

— Один из них, — уточнили в трубке.

— У меня тут пожар, — сообщил я.

— Вам повезло, — отозвался пожарник. — Хотите условиться о встрече?

— А что, вы разве не можете приехать сейчас же?

— Исключено, месье, — возразили мне. — У нас запарка, пожары повсюду. Послезавтра в три часа — вот все, что я в силах для вас сделать.

— Договорились, — сказал я. — Спасибо вам. До послезавтра.

— До свидания, месье, — ответили мне. — Не дайте огню угаснуть.

Я позвал Пата.

— Собирайся, — сказал я ему. — Поедем на несколько лет к тетушке Суринам.

— Потрясно! — обрадовался Пат.

— Видишь, зря ты устроил пожар сегодня, — сказал я. — Раньше чем через два дня пожарников не дождешься. А не то ты бы поглядел на их машины!..

— Скажи, — спросил Пат, — ведь спички придумали для того, чтобы поджигать, так или нет?

— Само собой, — ответил я. — А для чего же еще, по-твоему, они нужны?

— Тот тип, который их изобрел, форменный идиот, — заявил Пат. — Неправильно это, чтобы спичкой можно было поджечь ВСЁ.

— Ты прав, — согласился я.

— Ладно, тем хуже, — заключил он. — Пошли играть. Только теперь твои, чур, синие.

— Поиграем в такси, — сказал я. — Поторапливайся!

I

Чтобы выйти из лица, вы проходили корпус младших классов и высокую серую стену, окружавшую двор старших. У стены росли деревья. Земля была покрыта шлаком (не путать со злаком, щелоком и жмаком), который здорово скрипит, если на него ступить подбитым гвоздями башмаком.

Лагриж, Робер и Тюрпен (которого, в зависимости от настроения, звали то Тюрбаном, то Чурбаном) неслись к выходу. Высокая решетка лица выходила в устланный замшелыми плитами переулок, который вел к скверу со скверными платанами, отделявшему его от проспекта Императрицы.

Менее взыскательные ученики довольствовались игрой в шарики в сквере, который они находили как нельзя более подходящим для треугольника, кружка и других фигур, которые в чести у поклонников этого благородного спорта. Но Лагриж, Робер и Чурбан отдавали предпочтение пенсионеру.

Этот старый пенъ-пенсионер ходил с резной тростью, в выцветшей шляпе и старом пальто, передвигался он скрючившись, вместо волос имел слипшуюся мочалку непристойного цвета.

Верный своим привычкам, предмет их страсти ровно без десяти двенадцать появлялся у ограды лица. Лагриж первый подметил сходство его походки с поступью индейца на тропе войны. Итак, отстав метра на три, они шли гуськом вслед за ним. По проспекту Императрицы он доходил до проспекта Маршала Дюму. Там троица убегала направо, чтобы не пропустить поезд в двенадцать сорок пять, а пенсионер шел налево, удаляясь в неизвестном направлении.

Вся жизнь теперь заключалась в игре; а тип оказался не то глуховатым, не то придурковатым и терпеливо сносил отборные

ругательства и издевки, на которые не скупилась Робер, Лагриж и Чурбан, чье настоящее имя, как известно, Тюрпен.

II

Великие открытия нередко совершаются по воле случая, вот и в тот четверг, пробегая вдоль стены, Лагриж совершенно случайно растянулся во весь рост на шлаке. Он слегка ободрал коленку — что не имело никакого значения — и, вставая с земли, поднял замечательный круглый камень. Он мог потягаться с любым шаром для игры, но это был еще и настоящий камень. Лагриж крепко держал его в руке. В тот же день у Робера появилась забавная идея: он придумал, что горб у пенсионера резиновый и подпрыгивает, как мячик. Не успел еще Лагриж осознать все это, как рука его, опережая доводы рассудка, бросила камень, и тот с эдаким глухим стуком врезался прямо в горб.

Прежде чем пенсионер успел обернуться, три хитроумных сиу уже скрылись за деревьями и наблюдали, как он надтреснутым голосом призывает небеса в свидетели своих несчастий — зрелище было поистине восхитительное.

— Ну ты даешь! — взволнованно прошептал Робер.

— Представляешь, — сказал Чурбан, — он-то думает, что на него что-то с дерева свалилось.

Лагриж раздулся от удовольствия.

— Чего там, ерунда, горб-то резиновый.

Приятели посмотрели на него с восхищением, а пенсионер, ругаясь и время от времени оборачиваясь, шел дальше. Теперь они могли идти за ним, только перебегая от дерева к дереву, и все это придавало игре особый интерес.

III

Игра с каждым днем совершенствовалась. Чурбан, Лагриж и Робер состязались в изобретательности. На уроках рисования папаши Мишона они с любовью мастерили модернизированные снаряды, наполненные разного рода жидкостями: чернилами, слюной, смешанной с толченым мелом, разведенными водой кусочками краски с парт. Во вторник на следующей неделе Робера осенило: он напрудил прямо в сверхмощную бомбу, которую тут же, в момент изобретения, нарекли атомной. В среду Чурбан, не желая отставать, принес маленькую игрушечную стрелу от лука, которую они основательно пропитали ядом, обработав настойкой из мокриц, растертых в прилипнине.

Когда стрела вонзилась пенсионеру в спину, он остановился как вкопанный и резко разогнулся. Друзья думали, что он развернется и, как матерый вепрь, ринется на них, но тот ничего не сказал и через минуту согнулся еще ниже, покачал головой и пошел прочь, не оборачиваясь. Перья стрелы маленьким голубым пятнышком выделялись у него на спине.

IV

Назавтра Робер и Лагриж не находили себе места, они вошли в азарт, нужно было любой ценой переплюнуть Чурбана. У Лагрижа был в запасе один неплохой замысел. Когда они, как обычно, выслеживали свою жертву, Лагриж выскочил из-за деревьев и стал красться следом за пенсионером так близко, что, казалось, прирос к нему. Потом вдруг остановился, отстал на несколько шагов и подал знак приятелям, чтобы привлечь их внимание.

— Во дает! — выпалил Робер вне себя от нетерпения.

Чурбан ничего не ответил; он завидовал.

Лагриж разбежался и, как в чехарде, вскочил верхом на горб. Старик покачнулся, но все же устоял на ногах.

— Но, кляча, пошла! — кричал Лагриж.

Старик так резко повернулся, что Лагриж не удержался и свалился на землю. Пока Лагриж поднимался, старик вынул из кармана руку. В руке он держал пятизарядный револьвер старого образца; медленно и старательно он всадил все пять пуль в упор в Лагрижа. После третьей пули Лагриж еще пытался подняться, потом он рухнул и затих, странно скрючившись.

Старик же продул ствол револьвера и опустил его в карман. Робер и Чурбан удивленно смотрели на Лагрижа и какую-то непонятную лужу, образовавшуюся у него под поясницей. А пенсионер тем временем шел дальше, на перекрестке он свернул налево, на проспект Маршала Дюму.

АПРЕЛЬСКИЕ ПОДРУЖКИ

I

В пятницу, первого апреля, Гузен вдруг почувствовал, что для него началась полоса сплошных удач. С утра он надел свой лучший костюм в овальную коричневую клетку, повязал филдекосовый галстук и всунул ноги в ботинки с узким носком, которые так звучно стучали по тротуару. Выйдя из дома, он прошел пятьдесят метров и тут увидел, как очаровательная девушка поскользнулась на каком-то непотребном предмете, брошенном посреди дороги одним злонамеренным арабом. Гузен помог ей подняться.

— Благодарю вас, — сказала девушка, обворожительно улыбнувшись.

— Пойдите, я надену темные очки, — тонко пошутил Гузен.

— Но зачем? — искренне удивилась она.

— Солнце здесь ни при чем, ослепляет ваша улыбка.

— Меня зовут Лизетта, — представилась девушка, оценив комплимент.

— Могу я предложить вам что-нибудь для поднятия настроения?

— О! — сказала она, покраснев, и сердце Гузена занялось жарким пламенем.

Тогда он повел ее к себе, и в течение нескольких дней они отдавались всем доступным земным радостям. А во вторник, пятого апреля, она сказала:

— Завтра мой день рождения.

— Радость моя! — сказал Гузен.

И на следующий день подарил ей очаровательный флакон духов стоимостью восемнадцать франков.

II

Когда в пятницу, восьмого апреля, Гузен выходил из метро, его пребольно толкнул и едва не сшиб с ног какой-то тип. Гузен схватил наглеца за шиворот. Тот извивался и пытался вырваться. И вдруг Гузен заметил у него в руках дамскую сумочку и понял, что дело не чисто. Вскоре подоспела сама дама, молодая и соблазнительная, и потребовала объяснений. Полицейский арестовал вора, поздравил Гузена и вернул сумочку владелице.

— Ах, сударь, — сказала дама в замешательстве от избытка благодарности, — вы спасли мне больше, чем жизнь. Как выразить вам мою признательность? Что я могу для вас сделать?

— Позвольте просто полюбоваться на вас... — откровенно сказал Гузен. — Больше мне ничего не надо...

В этот момент он получил по спине чемоданом: какой-то угрюмый носильщик грузил багаж клиента с Лионского вокзала. Гузен вслух выразил желание найти для любования более спокойное место. Дама согласилась, и они пошли в вышеозначенное место выпить по стаканчику за знакомство. После вышеуказанного стаканчика последовал другой, а потом они несколько раз повторили. В результате многочисленных повторений дама потеряла всякий стыд. Посему Гузен отвел ее к себе и предавался с ней плотским утехам при всяком удобном случае. Ведь с Лизеттой они любовно расстались еще накануне, и теперь сердце и все члены его были свободны.

Новая пассия звалась Жозианой и была одарена на редкость выразительными задними полушариями.

Во вторник, одиннадцатого числа, она сказала Гузену:

— Завтра у меня день рождения.

— Куколка моя! — сказал Гузен.

И подарил ей на следующий день восхитительную безделушку — маленького перламутрового поросенка, который обошелся ему в девятнадцать франков.

III

В пятницу, пятнадцатого апреля, Гузен сидел в такси (ему все же пришлось расстаться с Жозианой, которую призвала к себе в провинцию зловредная, но щедрая тетушка), как вдруг в его руку вцепилась очаровательная молодая особа. Она была рыже-волоса и тяжело дышала от быстрого бега.

— О сударь... Сударь... — залепетала она. — В какую сторону вы едете?

— В сторону Терн, — ответил Гузен, разглядывая собеседницу.

— Пожалуйста, возьмите меня с собой! Я опаздываю!

— Ну конечно! — воскликнул Гузен, которому нельзя было отказать в галантности.

Особа села в машину, и тогда Гузен, немного волнуясь, спросил ее:

— Скажите, ваш день рождения приходится на девятнадцатое апреля, не так ли?

— Откуда вам это известно? — удивилась спутница. Гузен принял смиренный вид и просунул руку ей под юбку.

— Позвольте вам помочь, — сказал он, — у вас чулок перевернулся.

Несколько минут спустя такси поменяло направление, и все закончилось сценами, запрещенными для лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста. Зрелище, однако, пришлось бы им по вкусу, взгляни они на него хоть одним глазком.

IV

Двадцать второго апреля, которое снова оказалось пятницей, Гузен спускался по лестнице. На втором этаже он повстречал миниатюрную сильфиду с горящими как уголь глазами. Похоже, она заблудилась.

— Простите, сударь, — проговорила нимфа, — вы случайно не доктор *Клюпитцки*?

— Нет, — сказал Гузен, — доктор живет на третьем.

— Я была на третьем, звонила, но никто не открывает.

— Может быть, я вам помогу? — сказал Гузен. — Кстати сказать, ваш день рождения наверняка будет двадцать шестого числа этого месяца.

— А вы что, прорицатель? — юная особа была не на шутку заинтригована.

— У меня нюх, — сказал Гузен.

Он почувствовал, что удача по-прежнему сопутствует ему, и добавил:

— Кроме того, у меня весьма обширные познания в области анатомии. Так что я весь к вашим услугам.

— Но как же... — заколебалась красотка, — не могу ведь я раздеваться прямо на лестнице.

— Я живу на четвертом, — сказал Гузен.

Как раз накануне рыжеволосая подружка вернулась к мужу, и Гузен снова был свободен. Вследствие чего он три часа кряду

демонстрировал прелестной блондинке технику пальпации, от которой та пришла в такой восторг, что задержалась у него на несколько дней. К несчастью, в четверг пришла пора расставаться.

А в пятницу, двадцать девятого, в восемь часов утра Гузен еще лежал один в постели, когда позвонили в дверь. Он встал и пошел открывать. На пороге стояло обольстительное создание в возрасте от двадцати до двадцати четырех весен.

— Я принесла вам почту, — сказала создание.

Гузен припомнил, что консьержка и впрямь собиралась на недельку сдать дела племяннице.

— Так вы Аннетта? — спросил он. — Ну тогда заходите, выпьем что-нибудь по случаю знакомства.

— С удовольствием, — согласилась она. — А вы куда обходительней, чем доктор *Куплитц*ик.

— Как можно не быть обходительным с такой очаровательной девушкой? — воодушевленно признался Гузен.

И взял ее за руку.

Десять минут спустя гостя вынуждена была раздеться: от слишком крепкого напитка ее бросило в жар.

Сгорая от страсти, Гузен вожаделенно шарил глазами в пушистых местечках, выискивая, куда бы припасть губами. Недюжинные силы проснулись в нем.

— Вы, конечно же, родились в апреле... — пробормотал он, пока она устраивалась у него на коленях.

— Почему в апреле? — удивилась Аннетта. — Вовсе нет. Я родилась семнадцатого октября.

Гузен побледнел:

— Как октября?

И золото превратилось в презренный свинец. Гузен так и не сумел дойти до победного конца, поскольку оружие победы предательски выпало из его рук. Он остался один-одинешенек на бесславном поле брани, меря гневным взглядом коварного изменника. А на лестнице стихал возмущенный стук звонких каблучков.

I

Пятого августа в восемь часов на город опустился туман. Он был легок и необычайно плотен, но, странное дело, совсем не стеснял дыхания. Туман имел голубоватый оттенок.

Ложился он несколькими слоями. Сначала он клубился в двадцати сантиметрах от земли, и при ходьбе люди не видели собственных ног. Женщина из двадцать второго дома по улице Святого Хрена выронила ключ около двери и никак не могла его найти. Шесть человек бросились ей помогать, в том числе один младенец; тут как раз опустился второй слой. Ключ нашли, зато потеряли младенца: под покровом тумана он выплюнул соску и ушел на все четыре стороны, горя желанием познать радости брака и устроить личную жизнь. В то же утро были утеряны тысяча триста шестьдесят два ключа и четырнадцать собак. А рыболовы, одурев от бесполезного смотрения в одну точку, побросали удочки и отправились на охоту.

Туман стекал по покатым улицам, скапливался в низинах, струился по сточным канавам, просачивался в вентиляционные отдушины. Вскоре молочно-белесый поток затопил тоннели метро и поднялся до уровня семафоров; тогда встали поезда. Как раз в этот момент опустился третий слой, и пешеходы утонули по колено в бледном мареве.

Обитатели высоких кварталов не предполагали сначала, что их постигнет та же участь, и зубоскалили над теми, кто жил близ набережных. Но через неделю наступило всеобщее примирение, потому как все одинаково бились о мебель в собственных квартирах: туман залил город вплоть до верхушек самых высоких зданий. Только церковная колокольня торчала еще некоторое время над молочным морем; новый прилив, однако, поглотил и ее.

II

Орвер Латюиль продрал глаза тринадцатого августа после трехсот часов беспробудного сна. За несколько дней до того он крепко напился. Пил, видать, не дрянь какую-нибудь, потому что, проснувшись, он решил, что ослеп. Кругом вроде как ночь, и все же что-то не так: будто на опущенные веки падает свет зажженной лампы. Но глаза-то ведь открыты! Орвер пошарил наугад и нащупал ручку приемника. По радио передавали новости. Он начал кое-что понимать.

Перестав прислушиваться к скороговорке диктора, Орвер задумался и поскреб пупок. Потом понюхал ноготь и заключил, что пора принимать ванну. Впрочем, туман объял мир, как Ноя — целомудренный покров, как священное покрывало богини Танит — Саламбо; он обрушился, как беда на наш бренный мир; вырос, как бельмо на глазу. И на кой, спрашивается, ванна? К тому же туман издавал нежный аромат бархатистого персика и перебивал все естественные телесные запахи. Звуки, напротив, резонировали лучше обычного и, окутанные белой ватой тумана, приобретали молочный, светлый тембр лирического сопрано, верхний регистр которого погнулся от чрезмерных усилий; в результате пришлось сочинить ему замену из литого серебра.

Перво-наперво Орвер мысленно отмел от себя все вопросы и решил жить дальше, как будто ничего не произошло. Вслед за тем он без особых проблем оделся, потому что все вещи лежали на своих обычных местах: что-то повисло на стульях, что-то валялось под кроватью, носки были аккуратно заткнуты в ботинки, из коих один торчал в вазе, а другой притаился под ночным горшком.

«Боже ты мой Господи, — подумал Орвер, — ну и штука этот туман».

Мысль, конечно, оригинальностью не отличалась, зато уберегла его от экзальтации, примитивного восторга, уныния и черной меланхолии, приравняв невероятное явление к рядовому факту. И начав уже привыкать в непривычному, Орвер отважился кое на какие житейские эксперименты.

— Расстегну-ка я ширинку и спущусь к хозяйке, — сказал он сам себе. — Там разберемся, туман это или не туман.

Ибо извечно-французский картезианский дух заставлял его сомневаться в непроглядности тумана, даже если кругом не видеть ни зги. Радио тоже доверять нельзя: может, они нарочно лапшу на уши вешают, чтобы с толку сбить. На радио, как известно, одни кретины сидят.

— Вот так, вытащим его наружу и пойдем, — сказал Орвер.

Он вытащил его наружу и пошел. На лестнице он с удивлением обнаружил, что первая ступенька скрипит, вторая — хрустит, четвертая — трещит, седьмая — скрежещет, десятая — вздыхает, четырнадцатая — стенает, семнадцатая — покряхтывает, двадцать вторая — посвистывает, а латунные перила, оттаявшие от последнего столбика, побрякивают.

Кто-то шел навстречу, прижимаясь к стене.

— Кто это? — спросил Орвер и остановился.

— Лерон, — ответил господин Лерон, живший в квартире напротив.

— Добрый день, — сказал Орвер. — А я Латюиль.

Он протянул руку, ухватился за что-то твердое — но тотчас с удивлением выпустил. Лерон смущенно хихикнул.

— Вы уж извините, — сказал он, — все равно никому не видеть. А туман этот чертовски горячий.

— Это точно, — сказал Орвер.

Он подумал о своей расстегнутой ширинке и оскорбился, что Лерону пришла в голову та же самая мысль.

— Ну что ж, всего хорошего, — сказал Лерон.

— Всего, — ответил Орвер, украдкой высвобождая три дырочки на ремне.

Брюки упали к его ногам. Он подобрал их и спустил в лестничный пролет. Туман и в самом деле был горяч, как только что снесенное перепелиное яичко. На кой, спрашивается, ходить одетым? Лерон, тот шляется в чем мать родила, тряся своими причиндалами. Так что, была не была.

Пиджак и рубашка полетели вслед за брюками. Ботинки Орвер решил оставить.

Спустившись на первый этаж, он тихонько постучал в окно привратницкой.

— Мне нет писем? — спросил он.

— Ах, это вы, господин Латюиль! — прыснула со смеху толстуха-консьержка. — Вечно-то вы шуточки шутите... Выходит дело, вы все проспали? Я не хотела вас будить... Ах, жаль, вы не видели первые дни тумана. Все просто с ума посходили! Теперь уж ничего, привыкли...

Орвера обдало столь мощной волной терпких духов, что даже туман не спас: дама шла к нему.

— Кушать, правда, не очень удобно, — продолжала она. — Но туман этот такая странная вещь... Он очень питательный. Я вообще-то на аппетит не жалуюсь, и вот, представьте, уже три дня ничего не ем. Хлебушка немножко да водички — вот и все, и сыта.

— Вы так похудеете, — сказал Орвер.

— О-хо-хо! — закудаhtала она своим особенным смехом, будто мешок орехов покатиhsя по лестнице с сeдьмого этажа. — А вы пощупайте, господин Орвер, вы посмотрите, в какой я чудной форме. А плечи-то, плечи как поднялись... Потрогайте.

— Я... м-м-м... — промычал Орвер.

— Да нет, вы только потрогайте!

Она нашла его руку и возложила ее на самую выступающую часть одного из так называемых плеч.

— Чудеса, — согласился Орвер.

— Мне ведь сорок два года, — призналась хозяйка. — А? Разве дашь столько? Что ни говори, а у женщин моей комплекции, которые в теле, всегда есть за что подержаться...

— Бог ты мой! — вдруг смешался Орвер. — Вы что же, совсем без ничего?

Опустив руку, он как раз наткнулся на полное отсутствие чего бы то ни было.

— А вы разве одеты? — спросила толстуха, придвигаясь ближе.

— И то правда, — сказал Орвер. — Чего это мне в голову взбрело?..

— Так ведь по радио говорили, — продолжала дама, — это все эрототраhический аэрозоль.

— Ах, вот оно что, — охнул Орвер в тот момент, как его собеседница, прерывисто дыша, вошла с ним в соприкосновение.

Ну и влип же он с этим чертовым туманом!

— Стойте, стойте... Послушайте, мадам Панюш... — Орвер попробовал было освободиться. — Мы же не свинки какие-нибудь... Ну да, эрототрофический туман... Так ведь надо же, черт побери, держать себя в руках.

— Ох! Ах! — срывающимся голосом простонала Панюш, но руки положила куда надо.

— Мне вообще-то говоря все равно, — с достоинством произнес Орвер. — Выкручивайтесь как знаете, а я и пальцем не шевельну.

— Ну что ж, — обиженно проговорила дама, не думая отступать. — Только господин Лерон, надо вам заметить, куда любезнее. С вами все придется делать самой.

— Послушайте, я только глаза продрал... Когда мне было привыкнуть?..

— Да уж я вас научу, — проворковала толстуха.

На то, что произошло дальше, лучше опустить завесу нашего брeнного мира, как целомудренное покрывало на наготу Ноя, а может, Саламбо или как бельмо на глазу богине Танит.

Из привратничкой Орвер вышел свежий как огурчик. На улице он прислушался. Чего-то не хватало. Потом понял: не слышно было машин; зато отовсюду доносились пение и дружные взрывы смеха.

Несколько обескураженный, он пошел по мостовой. Ухо с трудом привыкало к обширности звукового пространства, и от этого трудно было ориентироваться. Орвер заметил, что рассуждает вслух.

— Святые угодники! — сказал он. — Эрототрофический туман!

Разнообразием, как мы видим, его рассуждения не отличались. Но поставьте себя на место человека, который, проспав одиннадцать дней кряду, очнулся в крошечной тьме и окунулся в ядовитую атмосферу повального распутства, да к тому же еще обнаружил, что его квартирная хозяйка, обросшая жиром старая развалина, превратилась за это время в Валькирию с сочными, острыми грудями, в эту самую Цирцею, жадно зовущую в пещеру нечаянных наслаждений.

— Черт знает что такое! — добавил Орвер, желая выразиться точнее.

Внезапно он обнаружил, что стоит посреди улицы. Испугавшись, он попятился и наконец уперся в стену, затем прошел метров сто, не решаясь от нее отдалиться.

Так Орвер добрался до булочной. Следуя правилам прикладной гигиены, он вознамерился принять некоторое количество пищи, дабы восполнить затраты на интенсивную физическую деятельность. И вошел в лавку купить булочку.

Внутри стоял неопишуемый гвалт. Орвер был человек без предрассудков, но когда он понял, какой платы требует от своих клиентов хозяйка (а от клиентов — хозяин) — волосы у него на голове встали дыбом.

— Я вам даю хлеба на два фунта, — вопила булочница, — и вправе требовать от вас соответствующих габаритов!

— Но, сударыня, позвольте... — проскрипел старческий фальцет, и Орвер узнал голос Курпики, старичка-органиста из церкви на набережной.

— А еще на трубчатом органе играет! — не унималась хозяйка.

— В таком случае я пришлю вам свой орган, — с вызовом парировал старичок и решительно устремился к дверям, возле которых все еще мялся Орвер.

Удар пришелся как раз в солнечное сплетение, и Орвер перестал дышать.

— Следующий! — рявкнула булочница.

— Мне бы булочку, — выдохнул Орвер, держась за живот.

— Четырехфунтовую булку для господина Латюиля! — провозгласила хозяйка.

— Ой, нет! Мне бы маленькую! — попросил Орвер.

— Негодяй! — возмутилась продавщица и позвала мужа. — Эй, Люсьен, займись-ка им! Покажи ему, где раки зимуют.

Волосы Орвера опять встали торчком, и он обратился в бегство. На пути его оказалась витрина. Она стойко выдержала удар.

Осторожно огибая последующие препятствия, Орвер выбрался на улицу. Оргия в булочной продолжалась; детей обслуживал подмастерье.

— Проклятье, едва ноги унес, — с ненавистью проговорил Орвер. — Как же, клюну я на тебя, с таким-то мордovorотом!

Тут он вспомнил, что за мостом есть кондитерская. Ах, что там за официантка: семнадцати годков, ротик бантиком и белый передничек с оборкой... А вдруг на ней ничего нет, кроме передничка?

И Орвер сломя голову бросился на поиски кондитерской. Раз три он упал, споткнувшись о мудрено переплетенные человеческие тела. Ему недосуг было разбирать, что там у них где, но один раз он все же нащупал пятерых участников.

— Это же Рим какой-то! — пробормотал он. — Quo vadis! Фабиола! Матерь Божия! Вот это оргии!

Орвер потерял лоб, на котором после соприкосновения с витриной вскочила шишка величиной с голубиное яйцо. И ускорил шаг, ибо кое-какой предмет, являвшийся неотъемлемой частью его самого, но отстоявший от тела на солидную дистанцию, вынуждал его поторапливаться.

Вычислив, что кондитерская уже близко, Орвер прижался к стене, надеясь сориентироваться на ощупь. Он без труда узнал витрину антиквара: к большому треснутому стеклу, не давая ему развалиться, был привинчен круглый кусок фанеры. Значит, до цели еще два дома.

При входе Орвер со всего маху врезался в чью-то неподвижную спину. От неожиданности он вскрикнул.

— Эй, ты, полегче! — осадил его зычный голос. — А ну вытащи у меня из задницы, чего туда всунул... Не то ща морду набью!

— Но ведь я... м-м-м... Что это вам в голову взбрело? — сказал Орвер и сделал шаг влево, пытаясь проскочить. Опять чья-то спина.

— Чего надо? — остановил его другой мужской голос. — В очередь становитесь, как все.

Раздался дружный хохот.

— Пардон, не понял, — сказал Орвер.

— Чего ж тут непонятного? — вмешался третий. — Ведь вы к Нелли?

— К Нелли, — робко согласился Орвер.

— Ну вот и становитесь в очередь. Шестьдесят первым будете.

Орвер ничего не ответил и совсем сник: он так и не узнает, был ли на ней белый передничек с оборкой.

Он свернул в первый переулок налево и сразу столкнулся с женщиной, шедшей ему навстречу. Оба шлепнулись на тротуар.

— Простите меня, — сказал Орвер.

— Я сама виновата, — ответила женщина. — Вы, как и положено, шли по правой стороне.

— Позвольте, я помогу вам подняться, — предложил Орвер. — Вы что же, совсем одна?

— Вы тоже один? Надеюсь, у вас из-за спины не выскочат еще пятеро и не бросятся на меня все разом?

— А вы действительно женщина? — засомневался Орвер.

— Убедитесь сами, — сказала она.

Они потянулись друг к другу, и Орвер почувствовал на щеке прикосновение длинных шелковистых волос. Оба все еще стояли на коленях.

— Где тут можно найти уединенный уголок? — спросил Орвер.

— Только посреди улицы, — сообразила женщина.

Взяв за точку отсчета край тротуара, они выбрались на середину мостовой.

— Я хочу вас, — проговорил Орвер.

— И я вас хочу, — откликнулась женщина. — Меня зовут...

Орвер остановил ее:

— Какая разница? Я хочу знать о вас только то, что мне откроют руки и тело.

— Тогда идите, — позвала она.

— На вас, оказывается, нет одежды, — заметил Орвер.

— Но ведь и на вас тоже.

Он лег рядом.

— Мы можем не торопиться, — сказала она. — Начинайте со ступней и постепенно поднимайтесь выше.

Орвер не сдержал изумления.

— Только так вы узнаете, какая я, — объяснила женщина. — Вы ведь сами сказали, что прикосновение теперь — единственный источник познания. И вам не смутить меня взглядами. Ваша эротика должна быть эротикой действия. Давайте же будем откровенны и непринужденны.

— Как вы хорошо говорите, — сказал Орвер.

— Я читаю «Тан Модерн», — призналась женщина. — Ну же, посвятите меня скорее в тонкости эротического искусства.

И Орвер начал обряд посвящения. Он совершил его несколько раз всеми ему известными способами. Подруга проявила несомненное дарование в новой для себя области. Кроме того, границы допустимого значительно раздвигаются, когда нет опасности, что зажжется свет. И, наконец, есть вещи, которые никогда не надоедают.

Итак, Орвер преподавал ей несколько углубленных уроков техники. Полученные знания были столь удачно применены на практике, что вскоре между ним и женщиной установились теплые, доверительные отношения.

Так зажили они простой и тихой жизнью, которая делает людей похожими на бога Пана.

III

Прошло время, и по радио объявили, что ученые отмечают ослабление тумана и значительное снижение его уровня.

Так как опасность и впрямь была нешуточная, созвали большой совет. Но человеческий гений неистощим на выдумки, и потому решение было вскоре найдено. Когда туман наконец рассеялся, что подтвердили хитроумные приборы, человечество не прекратило счастливого существования: все заблаговременно успели выколоть себе глаза.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ

I

Ольн старательно прижимался к стенам домов и на каждом шагу озирался с самым подозрительным видом. Дело сделано — он похитил золотое сердце отца Мимиля. Правда, беднягу пришлось слегка выпотрошить, вспороть ему садовым ножом грудную клетку; однако не следует быть слишком разборчивым в средствах, когда представляется случай заполучить золотое сердце.

Пройдя триста метров, Ольн демонстративно снял воровской картуз, швырнул его в люк водостока и надел фетровую шляпу, какие носят люди порядочные. Походка его сразу стала увереннее, мешало только золотое сердце отца Мимиля: еще тепленькое, оно противно екало в кармане. А Ольну так хотелось рассмотреть его не спеша — золотые сердца одним своим видом стимулируют жажду злодеятельности.

В одном кабельтове от первого люка Ольну попался второй, побольше, и туда полетели орудия убийства: дубинка и нож. На них оставались пятна крови, присохшие волосы и, наверняка, немало отпечатков пальцев, так как Ольн всегда все делал основательно. Липкую от крови одежду он снимать не стал: публика все же не привыкла, чтобы убийцы были одеты как все люди, а со своим уставом под монастырь лезть не пристало.

На стоянке такси он выбрал машину поярче и поприметнее: старый «драндулетти» модели тысяча девятьсот двадцать третьего года, с плетеными сиденьями, остроконечным багажником, кривым шофером и помятым задним бампером. Атласный верх в малиновую и желтую полоску придавал ему вид поистине незабываемый. Ольн сел в машину.

— Куда ехать, хозяин? — спросил шофер, судя по акценту — украинский эмигрант.

— Вокруг квартала.

— Сколько раз?

— Пока не засечет полиция.

— А-а... э-э... — вслух размышлял шофер, — тогда как же... скорость все равно прилично не превысишь, так, может, поехать по левой стороне, а?

— Давай.

Ольн опустил верх и выпрямился на сиденье, чтобы был заметен его окровавленный костюм, который в сочетании с головным убором честного человека наводил на мысль, что ему есть что скрывать.

Они сделали двенадцать кругов, пока наконец не встретили служебного пони с полицейским номером. Пони был выкрашен в стальной цвет и тащил легкую плетеную повозку с гербом города. Обнюхав «драндулетти», он заржал.

— Ага, — сказал Ольн. — Они нас выследили. Поезжай теперь по правой стороне, а то еще, не дай Бог, ребенка задавим.

Чтобы пони не выдохся и не отстал, шофер сбавил скорость до минимума. Ольн хладнокровно командовал, куда ехать, и вскоре они добрались до района многоэтажных домов.

Тем временем к первому пони присоединился еще один, выкрашенный в такой же цвет. Он тоже тащил повозку, в которой тоже сидел полицейский в парадной форме. Пока коллеги шепотом совещались, тыча пальцем в Ольна, их пони, одновременно поднимая копыта и потряхивая головами, трусили бок о бок, в добром согласии, как пара голубков.

Облюбовав подходящий дом, Ольн велел шоферу остановиться и выпрыгнул на тротуар, перемахнув через дверцу, чтобы полицейские как следует разглядели кровь на его одежде.

Затем он вошел в подъезд и направился к черной лестнице. Не спеша поднялся на последний этаж, где располагались комнаты прислуги. В обе стороны от лестничной клетки тянулся темный, выложенный шестиугольной плиткой коридор. В левом его конце было окно, выходящее на внутренний дворик, между ванными и ватерклозетами. Туда и пошел Ольн. Вдруг у него над головой блеснул дневной свет — слуховое окошко! Прямо под ним одна как перст — как перст судьбы — стояла скамейка. Шаги полицейских уже слышались на лестнице. Ольн проворно вылез на крышу.

Там он перевел дух и, предвидя неминуемую погоню, набрал про запас побольше воздуха — при спуске он ему еще пригодится.

По первому, положому скату крыши Ольн сбежал быстро. А у второго, крутого, он остановился, повернулся спиной к пропасти, присел, затем, опираясь на руки, съехал в водосточный желоб и пошел по краю уходящей почти вертикально вверх оцинкованной кровли.

Мощеный дворик с этой высоты казался совсем крохотным, там виднелись пять мусорных баков, старая метла, похожая сверху на кисточку, и большой ящик для отбросов.

Ольну предстояло спуститься по вбитым в стену железным скобам, а затем таким же способом подняться по стене дома напротив и залезть в одну из ванн, для чего нужно было уцепиться обеими руками за подоконник и подтянуться. Что и говорить, ремесло убийцы не из легких. Олень полез вниз по ржавым перекладинам.

А полицейские бестолково носились по крыше и грохотали сапогами, следуя разработанной префектурой инструкции об акустических параметрах погони.

II

Дверь была заперта, потому что папа с мамой ушли; Фантик остался дома один. В шесть лет люди обычно не скучают в квартире, где есть стекла для разбивания, занавески для поджигания, ковры для чернилозаливания и стены, которые можно разукрасить отпечатками пальцев всех цветов радуги, оригинально применив систему Бертильона к так называемым «безвредным» акварельным краскам. В квартире, где к тому же имеется ванна, краны, разные плавучие штучки... да вон еще папина бритва, отличное длинное лезвие — как раз подойдет для резьбы по пробке.

Услышав шум во дворике, куда выходило окно ванной, Фантик распахнул его и хотел выглянуть. В тот же миг две здоровые мужские руки ухватились за подоконник снаружи, а вслед за ними любопытному взору Фантика явилась багровая от натуги физиономия Ольна.

Но Олень переоценил свои гимнастические таланты — подтянуться с одного разу оказалось ему не под силу. Пришлось повиснуть на вытянутых руках — благо держался он надежно — и передохнуть.

Фантик осторожно занес бритву, которую все еще сжимал в руках, и провел остро отточенным лезвием по побелевшим суставам скрюченных пальцев убийцы. Ну и огромные же ручки!

Золотое сердце отца Мимиля свинцовым грузом тянуло Ольна к земле, руки его кровоточили. Одно за другим, как струны гитары, лопались сухожилия. Каждое издавало короткий сухой звук. И вот на каменном подоконнике остались лишь десять безжизненных фаланг. Из них еще сочилась кровь. А тело Ольна съехало по кирпичной стенке, ударилось о карниз второго этажа и плюхнулось прямо в мусорный ящик. Извлекать его оттуда не стоило: завтра подберут старьевщики.

I

Уродональ Карье внезапно открыл для себя существование Бога в день своего одиннадцатилетия; не иначе как само Провидение пробудило в мальчишке мыслительный дар. Если учесть, что до этого он проявлял себя везде и во всем круглым идиотом, трудно поверить, что Господь Бог не участвовал в этом мгновенном озарении.

Лицемерные по определению жители Успинель-на-Боку будут, конечно же, мне возражать; они напомнят о том, как накануне маленький Уродональ упал и ударился головой; не забудут и о девяти пинках, великодушно отпущенных ему в день рожденное утро добряком-дядей, который был застигнут врасплох в тот момент, когда проверял, действительно ли служанка меняет нижнее белье раз в три недели, как того требовал отец. Да и вообще, весь этот городишко просто нашпигован атеистами; школьный учитель своими преступными речами потакает их греху, а кюре напивается каждую субботу, что отнюдь не прибавляет веса святому слову.

Впрочем, если к этому не привыкнешь, то мыслителем не станешь без того, чтобы не чувствовать постоянного искушения возложить ответственность на какую-нибудь Высшую Силу, а в данном случае благодарить за это Господа Бога.

Все произошло очень просто. Во время подготовительных занятий перед причастием господин кюре, по случайности трезвый, задал вопрос: «В чем причина грехопадения Адама и Евы?»

Никто не мог ответить, так как в деревне занятие любовью уже давно грехом не считается. Уродональ поднял руку.

— Ты знаешь? — спросил кюре.

— Да, господин кюре, — ответил Уродональ, — это ошибка Бытия.

Кюре почувствовал, как рядом пролетел Святой Дух, и немедленно застегнул воротник, опасаясь сквозняков. Он распустил ребятишек, сел на скамью и предался размышлениям.

Спустя три месяца, так и не выходя из глубокой задумчивос-

ти, он покинул городишко и стал отшельником. Все это время он не переставал повторять: «Сказанное им заводит далеко».

II

Отныне репутация Уродоналя как мыслителя прочно установилась во всем Успинеле. Следили за его самыми незначительными высказываниями; следует признать, что Дух долгое время никак не проявлялся. Но вот однажды учитель физики, опрашивая учеников по теме «Электрическое напряжение», спросил: «Что означает отклонение стрелки гальванометра?»

— То, что идет ток, — ответил Уродональ.

Но это было еще не все. Он тут же добавил: «То, что идет ток или гальванометр сломан... Вне всякого сомнения, найдете мышь внутри».

С этого момента подрастающему Уродоналю начали платить стипендию. Ему минуло четырнадцать лет, он заканчивал школу, так больше и не высказывая никаких новых мыслей, но было уже понятно, на что он способен.

На одном из последних уроков философии он покрыл себя немеркнушей славой.

— Я прочту вам одно изречение Эпиктета, — сказал учитель.

И прочел: «Если хочешь продвинуться в познании мудрости, не бойся показаться в житейском смысле глупым и бестолковым».

— И наоборот... — тихонько промолвил Уродональ.

Учитель склонился перед ним.

— Мое дорогое дитя, — сказал он, — я уже больше ничему не смогу вас научить.

Уродональ встал и вышел из класса, оставив дверь приоткрытой. Учитель по-дружески напомнил ему: «Уродональ... не забывайте... Дверь должна быть открыта или закрыта...»

— Дверь, — подхватил Уродональ, — должна быть открыта, закрыта или снята с петель, коль время пришло замок починять.

После этой фразы юноша удалился. Покорять столицу он отправился на парижском поезде.

III

В Париже Уродональ прежде всего подумал о том, что запах на станции метро Монмартр напоминает аромат деревенской уборной, но предпочел оставить подобное замечание при себе. Вряд ли оно могло заинтересовать парижан. Затем он задумался о своем трудоустройстве.

Юноша долго размышлял, стараясь определить род деятельности, которой ему хотелось бы себя посвятить. И так как в Успи-

неле Уродональ исполнял партию раздвижного рожка в муниципальной фанfare, то и в столице он решил попробовать себя на музыкальном поприще.

Однако этому следовало обязательно подыскать какое-нибудь обоснование: с присущей ему гениальностью Уродональ нашел его очень быстро.

— Музыка, — сказал он себе, — смягчает нравы. Однако каждому порядочному человеку необходимо придерживаться твердых нравственных принципов; значит, быть музыкантом — безнравственно. Но жители этого Вавилона не имеют ни малейшего понятия о нравственности; следовательно, музыка не представляет для них никакой опасности.

Мы видим, что годы учения развили в Уродонале восприятие столь критическое, что его можно смело расценить как болезненное. Но ведь речь идет не об обычном человеке; прочность уродоналевского организма позволяла выдерживать такой мощный интеллект.

Так как музыка оставляла Уродоналю много свободного времени, он решил поискать свое призвание и в литературе.

Несколько неудачных эссе, никоим образом не истощивших силу его гения, навели следующую эпиграмму.

— Успех, — поверил он своим друзьям, — зависит от большей или меньшей способности автора показаться читателю идиотом.

Настолько же продуктивным Уродональ был и в личной жизни.

— Сказать: «Ты меня больше не любишь», — объяснял он своей ревнивой подружке Маринуй, — это значит сказать: «Я больше не верю, что ты меня любишь». А как ты можешь вообще быть в этом уверена?

Маринуй столбенела.

Впрочем, индивидуум уродоналевского размаха не мог довольствоваться посредственным существованием, влачимым между рожком и Маринуй.

— Жить в опасности... — повторял он иногда, и молнии сверкали в его непокорном взгляде.

И вот однажды Маринуй нашла его мертвым в постели. Незадолго до этого он вступил в преступную связь с одним молодым правонарушителем самых распутных нравов, который сбежал из тюрьмы, где отбывал трехмесячное заключение за убийство двенадцати человек.

В самом Уродонале не было ничего порочного. Объяснение его печальной кончины нашли в неизданном сборнике его изречений, одно из которых — и единственное — красовалось на первой странице.

«Что может быть опаснее, чем нарваться на собственную смерть?» — было написано рукой Уродоналя.

А ведь так оно и есть.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Погода стояла чудесная. Перейдя 31-ю улицу, он прошел вдоль двух зданий, миновал красный магазин и, преодолев двадцать метров, вошел в здание Эмпайр Стейт через служебный вход.

До сто десятого этажа он домчался на скоростном лифте и завершил восхождение пешком, воспользовавшись наружной железной лестницей, чтобы дать себе время немного поразмыслить.

Надо постараться прыгнуть достаточно далеко, чтобы ветром не прибило к фасаду. Зато, если его не слишком отнесет, можно будет поразвлекаться — во время полета заглядывать в окна. Начиная с восьмидесятого этажа разгон будет приличный.

Вытащив из кармана пачку сигарет, он достал одну, выпотрошил ее, смял и бросил легкий клочок бумаги вниз. Ветер был какой надо: дул вдоль фасада. Тело отклонится метра на два, не больше. Он прыгнул.

Воздух запел у него в ушах, и ему вспомнилась закусочная близ Лонг-Айленда, в том месте, где дорога сворачивает к зданию, выстроенному в пуританском стиле. Он пил петрус-колу с Винни, и в это время туда вошел мальчонка — чересчур свободная одежда болталась на его жилистом тельце, волосы цвета соломы и светлые глаза на загорелом лице производили впечатление свежести. Держался он робко. Сел перед вазочкой с мороженым, которая оказалась выше него, и опустошил ее. Под конец из вазочки вылетела птица. Такие редко встречаются в здешних краях: желтая, с толстым кривым клювом, с красными глазами, подведенными черным, и с крыльями темнее остального оперения.

Он вспомнил, какие у птицы были лапки: в желтых и бурых кольцах. Все, кто был тогда в закусочной, скинулись мальчонке на похороны. Славный был мальчуган. Но приближался восьмидесятый этаж, и он открыл глаза.

В этот летний денек были открыты все окна, и солнце прямой наводкой лупило в открытый чемодан, в открытый шкаф, в стопки белья, которое собрались перекладывать из последнего в первый. Отъезд. Мебель сверкала. Настало время отпусков. На пляже в Сакраменто Винни в черном купальнике вгрызалась в нежную мякоть лимона. На горизонте показалась маленькая яхта, отличавшаяся от всех прочих своей ослепительной белизной. Постепенно начали доноситься звуки музыки из бара гостиницы. Винни не хотела танцевать, пока не покроется ровным бронзовым загаром. Смазанная кремом, спина ее блестела; ему нравилось видеть ее шею открытой. Обычно она распускала волосы по плечам. Шея у нее такая гладкая. Пальцы его хранили память о нежнейших, никогда не подстригавшихся волосках, мягких, как пушок в ушах у кошки. Если потереть волосы у себя за ушами, в голове возникнет шум, подобный шороху прибоя на камушках, еще не обратившихся в песок. Винни любила, когда он брали ее сзади за шею большим и указательным пальцами. Она запрокидывала голову, отчего кожа на плечах морщилась, а мышцы на ягодицах и бедрах твердели. Маленькая белая яхта все приближалась, потом отделилась от морской глади, плавно поднялась к небу и исчезла за облаком точно такого же цвета, как она сама.

На семидесятом стоял гул от переговоров. Дым сигарет, поднимавшийся от кожаных кресел, окружил его словно облаком. Такой же запах царил в конторе отца Винни. Уж тот бы и слова не дал ему вставить. Его сын не из тех юнцов, что бегают по вечерам на танцульки вместо того, чтобы посещать клуб Христианской Ассоциации Молодежи. Его сын работает: выучился на инженера, но начал слесарем; отец пропустит его через все цеха, чтобы тот досконально освоил производство, понимал весь процесс и умел руководить людьми. Ну а Винни — что же, у отца, увы, нет возможности заниматься воспитанием дочери в той мере, в какой следовало бы, да и мать ее слишком молода, но если ей нравится флирт, как и всем девушкам в ее возрасте, это еще не причина, чтобы... У вас есть средства? Ах, вы уже живете вместе... Это не имеет значения, разве что все слишком затянулось. К счастью, американские законы карают подобные вещи и, благодарение Богу, у меня хватает влияния, чтобы положить конец этому... этой... В общем, больше я знать вас не желаю!..

Пока отец Винни говорил, дым его сигары, лежавшей на ребре пепельницы, змеился вверх и принимал в воздухе самые что ни есть причудливые очертания: вот, подобравшись к его шее, дым обвинил ее кольцом и принялся сдавливать, а тот, похоже, ничего не замечал. Когда его посиневшее лицо ткнулось в полированную

столешницу, он убежал, иначе его наверняка обвинили бы в убийстве. И вот теперь он спускается; шестидесятый этаж не открыл взору ничего интересного... детская в пастельных тонах. Когда мать наказывала его, он находил прибежище в такой же комнате: приоткрывал дверцу шкафа и проскальзывал внутрь, под защиту развешанной там одежды. Хранилищем его сокровищ служила старая железная коробка из-под конфет. Он вспомнил оранжево-черную картинку на крышке коробки: оранжевая свинья, приплясывая, играет на дудке. В шкафу было классно, вот только неизвестно было, что таится наверху, между платьями. Впрочем, при малейшем признаке опасности достаточно было толкнуть дверцу. Ему вспомнился стеклянный шарик из той коробки, шарик с тремя оранжевыми спиралями, которые переплетались с тремя голубыми, а что там хранилось еще, он уже не помнил. Однажды в приступе ярости он изорвал одно из платьев матери (та вешала их к нему в шкаф, потому что в ее собственном не хватало места), и ей больше никогда уже не довелось его надеть. Винни так смеялась в их первый вечер, когда они танцевали вместе и он решил, что у нее порвалось платье. А оно просто было с разрезом от колена до щиколотки, и только с левой стороны. Всякий раз, когда она выставляла эту ногу вперед, головы всех парней поворачивались, отслеживая ее движение. Ее всегда приглашали, стоило ему отлучиться в бар за бокалом чего-нибудь крепкого для нее, и вдруг брюки его принялись съезживаться, пока не исчезли вовсе, и он оказался с голыми ногами в одних трусах и коротком смокинге посреди ужасного смеха всех этих людей, и бросился в глубь стены на поиски своего автомобиля. И только Винни не смеялась.

На пятидесятом рука женщины с наманикюренными ногтями вцепилась в воротник серого пиджака, а голова ее была откинута вправо на белое плечо, которое как раз оканчивалось этой рукой. Женщина была брюнеткой. Тело ее, скрытое фигурой мужчины, было почти невидимо — лишь разноцветная линия светло-голубого платья из набивного шелка. Напряженная рука резко контрастировала с отрешенностью головы и густой массы волос, ниспадающих на округлое плечо. Его руки стискивали грудки Винни, маленькие, едва выступающие вперед, но уже тяжелые, налитые животворной силой, — разве сравнишь это ощущение с каким-нибудь другим, никакой плод не способен его дать, плоду не дано этого отсутствия собственной температуры, плод остается холоден, а тут чудесная приспособляемость к руке, их чуть более твердые вершинки попадают как раз в маленькую ложбинку между его указательным и средним пальцами. Ему нравилось,

когда они жили собственной жизнью под его ладонью, нравилось легонько нажимать на них то слева направо, то от кончиков пальцев к ладони, а потом с силой вдавливать раздвинутые пальцы в плоть Винни — до тех пор, пока она не принималась в ответ кусать его сначала за правое плечо, потом за левое, но шрамов у него не оставалось: она всякий раз вовремя прекращала эту игру, чтобы перейти к менее яростным ласкам, которые не оставляли в руках эту неутолимую жажду раздавить, уничтожить в смыкаемых ладонях эти нелепые выросты, а в зубах — это едкое желание без конца жевать эту ускользающую от укуса податливость: вот так же зубы месили бы орхидею.

Сороковой. Двое мужчин стояли перед письменным столом. За столом сидел третий — была видна только его спина. Все трое были в синих саржевых костюмах и белых рубашках; плотные, крепко сбитые, они стояли на толстом бежевом ковре незыблемо, будто выросли из-под пола и пустили под ковром могучие корни; они стояли перед этим столом красного дерева с таким же равнодушием, как перед запертой дверью... его дверью... Быть может, в эту самую минуту его поджидали; он уже видел, как они поднимаются на лифте, двое мужчин в синих саржевых костюмах, в черных шляпах, равнодушные, скорее всего, с сигаретой в зубах. Они постучатся в дверь, а он в своей ванной отставит стакан и бутылку, опрокинет, нервничая, стакан на стеклянную полочку, твердя себе, что это невозможно, что им еще ничего не может стать известно — разве ж они видели? — и закружит по комнате, не зная, что делать: открыть ли дверь стоящим за нею людям в темных костюмах или попытаться уйти — как вдруг, оглябая стол, он увидел: убежать бессмысленно, Винни повсюду, на каждой стене, на столе, в книжном шкафу, все сразу станет ясно; над радиоприемником стояла большая фотография в серебряной рамке: Винни с туманящимися в дымке волосами, с улыбкой на губах — нижняя губа немного пухлее верхней, губы полные, выпуклые и гладкие, она перед тем, как фотографироваться, смачивала их кончиком остренького язычка, чтобы придать им блеск, как у кинозвезд на открытках, — она красилась, мазала помадой верхнюю губу, обильно, тщательно, не касаясь другой губы, а потом поджимала рот, немного втягивая губы, и верхняя отпечатывалась на нижней, рот ее прохладно блестел, как ягода остролиста, и губы ее продолжали великолепно дополнять друг дружку, к этим губам неудержимо тянуло и в то же время боязно было замутить их безупречно ровную поверхность с ярко блестящей точкой. Удовольствоваться в этот миг легкими прикосновениями губ к губам, пеной едва ощутимых поцелуев, смаковать потом еле

различимый упоительный привкус душистой помады. В конце концов, пора уже, верно, вставать, он поцелует ее еще раз попозже — двое мужчин ждут его за дверью... и в окне тридцатого этажа он увидел на столе статуэтку лошади, изящную маленькую белую лошадь из гипса на подставке, такую белую, что она казалась совсем голой. «Белая лошадь». Ему больше по вкусу «Пол Джонс» — тот приглушенно пульсировал у него в животе, распространяя по телу благотворные волны, — он как раз успеет осушить бутылку перед тем, как удрать по черной лестнице. Двое типов — а в самом деле, приходили ли эти двое? — похоже, ждут его за дверью. А по другую ее сторону — он, изрядно накачанный «Полом Джонсом». Забавно. Стучат? А может, то негритянка, что приходит прибирать в его комнате... Двое типов? Какая чепуха. А нервы — их достаточно успокоить толикой спиртного. — Приятная прогулка, завершающаяся Эмпайр Стейт билдингом. — Броситься с крыши. Но не терять времени. — Время — штука ценная. Вначале Винни запаздывала, были одни только поцелуи да малозначительные ласки. Но на четвертый день она явилась первой, он спросил, почему, насмешливым тоном, она покраснела, но это тоже длилось недолго, а потом пришла его очередь краснеть — от ее ответа неделю спустя. И почему бы этому не продолжаться, она хотела, чтобы они поженились, он этого тоже очень хотел, их родители могли бы и договориться, ведь так? Конечно же, не так; когда он вошел в кабинет отца Винни, сигарный дым задушил хозяина, но полиция ни за что не поверит этому; была то негритянка или и впрямь двое типов в темных костюмах, которые, возможно, курили сигарету после того, как хлебнули «Белой лошади», паля в воздух из револьверов, чтобы испугать быков и потом изловить их с помощью лассо с позолоченной рукоятью.

Он позабыл открыть глаза на двадцатом и обнаружил это тремя этажами ниже. На столе стоял поднос, и пар струился отвесно в носик кофейника; тогда он остановился, привел в порядок одежду, потому что пиджак был весь перекручен и задран тремястами метрами падения, и вошел в открытое окно.

Он рухнул в студенистое кресло зеленой кожи и принялся ждать.

* * *

По радио негромко передавали эстрадный концерт. Сдержанному, с придыханием женскому голосу удалось придать извечной теме новизну. Песни были те же, что и раньше. Дверь открылась и вошла девушка.

Похоже, при виде его она не особенно удивилась. На ней была

пижама желтого шелка и длинный халат из такой же материи, запахнутый спереди. Слегка загорелая, не накрашена, не так чтобы очень красива, но великолепно сложена.

Она села за стол и налила себе кофе, молока, потом взяла кусок пирога.

— Выпьете кофе? — предложила она.

— Охотно.

Он приподнялся, чтобы взять из ее рук протянутую ему полную чашку — тонкого китайского фарфора, едва сохраняющую равновесие под тяжестью содержимого.

— Кусочек пирога?

Он согласно кивнул и принялся пить маленькими глотками, пережевывая попадающиеся в пироге изюминки.

— Слушайте, а откуда вы взялись?

Он поставил опустевшую чашку на поднос.

— Сверху.

И он неопределенно махнул рукой в сторону окна.

— Меня остановил дымящийся кофейник.

Девушка кивнула — видимо, такое объяснение ее вполне устроило.

Она вся была желтая, эта девушка. И глаза тоже желтые, красивого разреза, слегка удлинненные к вискам — а может, у нее просто было такое обыкновение выщипывать брови. Может быть. Рот немного великоват, лицо треугольное. Но фигура — великолепная, как на картинке из журнала: плечи широкие, грудь высокая, бедра — закачаешься, ноги длиннющие.

Это все «Пол Джонс», подумал он. На самом деле она не такая. Таких не бывает.

— Вам не было скучно все то время, пока вы сюда добирались? — спросила она.

— Нет. Я видел множество вещей.

— Что именно?

— Воспоминания... — произнес он. — В комнатах, через открытые окна.

— Сейчас такая жара, все окна открыты, — вздохнула она.

— Я заглядывал только в каждый десятый этаж, но в двадцатый заглянуть не успел.

— Там живет пастырь... молодой, рослый здоровяк... Теперь представляете его себе?

— А вам откуда это известно?

Ответила она не сразу. Ее пальцы с позолоченными ногтями машинально теребили шелковый поясok просторного желтого халата.

— Заглянув по пути в открытое окно, — продолжила она, — вы увидели бы на противоположной стене большой крест темно-го дерева. На письменном столе у него лежит пухлая Библия, а в углу висит черная шляпа.

— И все? — спросил он.

— Конечно, вы увидели бы и кое-что еще...

С наступлением Рождества у его дедушки и бабушки в деревне устраивалось празднество. Машину ставили в сарай рядом с дедушкиной — вместительным, удобным старинным лимузином, по соседству с парой тракторов, гусеницы у которых, ошестинившиеся шипами, были покрыты засохшей коркой бурой земли с торчащими из нее стеблями увядшей травы, застрявшими меж стальных звеньев. Ради такого случая бабушка баловала домашних всевозможной выпечкой: пироги кукурузные, пироги рисовые, пирожки с начинкой, а еще был золотистый сироп, прозрачный и тягучий, которым обливали пироги, и жаркое, но он приберегал свой аппетит для сладкого. К концу вечера все вместе пели у камина.

— Быть может, вы слышали бы, как пастырь заводит свой хорал.

Он хорошо помнил этот напев.

— Правильно, — подтвердила девушка. — Это очень известная мелодия. Не хуже и не лучше прочих. Как и сам пастырь.

— По мне, так лучше бы окно двадцатого этажа оставалось закрытым, — произнес он.

— И все же обычно...

Она умолкла.

— С пастырем видятся перед смертью? — закончил он за нее.

— О, это ни к чему, — сказала девушка. — Я так не поступлю.

— А к чему вообще пастыри?

Вопрос этот он задал вполголоса, самому себе; быть может, чтобы заставить себя вспомнить о Боге. Бог заботится только о пастырях да о людях, которые боятся умереть, но не о тех, кто боится жить, не о тех, кто боится других людей в темных костюмах, которые стучатся в вашу дверь и вынуждают вас надеяться, что это негритянка, или мешают прикончить початую бутылку «Пола Джонса». Бог оказывается ни к чему, когда начинаешь бояться людей.

— Я думаю, — сказала девушка, — что некоторые не могут без них обойтись. Во всяком случае, людям верующим они нужны.

— Наверное, бесполезно видаться с пастырем, если хочешь умереть по своей воле.

— Никто не хочет умереть по своей воле, — возразила девушка. — Всегда есть кто-то живой и кто-то мертвый, которые и толкают вас на это. Потому-то люди и нуждаются в мертвых и хранят их в коробках.

— Это не так уж очевидно, — запротестовал он.

— Разве вам это не стало ясно? — тихонько спросила она.

Он забился поглубже в зеленое кресло.

— Я бы выпил еще чашечку кофе, — сказал он.

У него слегка запершило в горле. Не то чтобы ему хотелось плакать, это было что-то другое, но тоже со слезами.

— Может, вы хотите чего-нибудь покрепче? — спросила желтая девушка.

— Да. С удовольствием.

Она поднялась, ее желтый халат блеснул на солнце и скрылся в тени. Из бара красного дерева она извлекла бутылку «Пола Джонса».

— Скажете, когда будет достаточно, — попросила она.

— Вот так, все!

Он остановил ее властным жестом. Она протянула ему стакан.

— А вы, — спросил он, — вы заглядывали бы в окна, пролетая мимо?

— Мне незачем было бы заглядывать, — ответила девушка, — на каждом этаже одно и то же, а я живу в этом доме.

— Но на этажах вовсе не одно и то же, — возразил он. — Всякий раз, когда я открывал глаза, я видел разные комнаты.

— Вас обманывало солнце.

Она пристроилась возле него на кресле и глянула ему в глаза.

— Все этажи одинаковы, — произнесла она.

— До самого низа везде одно и то же?

— До самого низа.

— Вы хотите сказать, что, остановись я на другом этаже, я и там встретил бы вас?

— Да.

— Но этажи были совсем не похожи... Были вещи приятные, а были отвратительные... Здесь другое дело.

— Это было то же самое. Надо было остановиться там.

— Может, солнце обманывает меня и на этом этаже, — сказал он.

— Оно не может вас обманывать, потому что я одного с ним цвета.

— В таком случае, — сказал он, — я не должен был бы вас увидеть.

— Вы не увидели бы меня, будь я плоская, как лист бумаги, — возразила она, — но...

Не закончив фразу, девушка слабо улыбнулась. Она находилась так близко от него, что он ощущал ее аромат: зеленый — на руках и теле, аромат лугов и сена, и ближе к сиреневому — у волос, более пряный и причудливый, не такой естественный.

Он подумал о Винни. Винни более плоская, но ее он знал лучше. Он даже любил ее.

— Солнце — это, по существу, жизнь, — заключил он после некоторого молчания.

— Ведь правда, в этом халате я похожа на солнце?

— Что, если мне остаться? — прошептал он.

— Тут? — Она вскинула брови.

— Тут.

— Вы не можете остаться, — просто сказала она. — Слишком поздно.

С превеликим трудом он оторвался от кресла. Она накрыла ладостью его руку.

— Секундочку, — шепнула она.

Он почувствовал прикосновение прохладных рук. Теперь он совсем близко увидел испещренные огоньками золотистые глаза, треугольные щеки, сверкающие белизной зубы. Всего миг он вкушал нежное давление полураскрытых губ, всего миг к нему прижималось облаченное в блистающий шелк тело, и вот он уже один, вот он уже удаляется, она издали улыбается ему, чуть погрузневшая, она быстро утешится, это видно по уже приподнятым уголкам ее желтых глаз — он покидает эту комнату, остаться никак нельзя, надо начать все сначала и уж на этот раз не останавливаться на полпути. Он вновь поднялся на вершину огромного здания, ринулся в пустоту, и голова его алой медузой растеклась по асфальту Пятой авеню.

Тюрьма была как тюрьма: невзрачная глинобитная халупа, крашенная в желто-тыквенный цвет, с крышей из листьев аспарагуса и бесстыдно вздыбленной трубой. Стояли далекие, незапамятные времена. Повсюду валялись булыжники, морские раковины, аммониты, трилобиты, сталагмиты и сальпингиты, оставшиеся от ледникового периода. В тюрьме кто-то громко и неразборчиво храпел, делая время от времени паузы. Я вошел внутрь.

Разлегшись на нарах, там спал человек. Он был в голубых трусах и шерстяных наколенниках. На левом плече красовалась татуировка: монограмма К. И.

— Ой-йо-йо! — выкрикнул я ему в самое ухо.

Вы скажете, что я мог бы выкрикнуть что-нибудь другое, но он все равно спал и не мог слышать. Как бы там ни было, мой крик его разбудил.

— Гр-р-р! — сказал он, прочищая горло. — Какой кретин открыл дверь?

— Это я, — сказал я.

Разумеется, мои слова мало что ему объяснили; но и вы не рассчитывайте узнать больше.

— Раз вы признались, значит, вы виновны, — заявил детина.

— Но ведь и вы виновны, — сказал я. — Иначе не сидели бы в тюрьме.

Трудно противопоставить что-либо моей дьявольски крепкой диалектической логике. В довершение всего через оконце вдруг вошла красно-белая ворона и, обойдя каморку семь раз, ретировалась. Теперь, десять лет спустя, я все еще задаюсь вопросом, имело ли ее появление какой-либо смысл. Внезапно притихнув, пленник взглянул на меня и покачал головой.

— Меня зовут Каин, — сказал он.

— Читать я умею, — ответил я. — Так что же там за история с гласом Божиим?

— Не было никакого гласа! Это все Иван Одуар наплел.

— У Одуара глаз — алмаз. Уж ежели чего скажет, то не в бровь, а в глаз.

Он так и прыснул.

— Ух! Ну и насмешил!

Я зарделся от скромности.

— Вы, поди, хотите знать, с чего это я вдруг уколошил Авеля? — спросил Каин.

— Бог ты мой!.. — растерялся я. — Честно говоря, газетная версия кажется мне малоправдоподобной.

— Все газетчики один другого стоят, — продолжал Каин. — Брехуны и все такое прочее. Им талдычишь-талдычишь, а они ни хрена тебе не секут; потом и сами разобраться не могут, чего накалякали, потому что пишут как курица лапой. А там еще редактор от себя добавит, да наборщики намудрят. Вот и выходит не пойми-не разбери.

— Итак, — сказал я, — что же было на самом деле?

— С Авелем-то? Да мразь она распоследняя.

— Она? — изумился я.

— Именно она, — подтвердил Каин. — А чему тут удивляться? Может, вы еще изобразите Поля Клоделя и скажете, что знать не знаете о пристрастиях Андре Жида — это после того, как четыре года с ним переписывались?

— Уж не за эти ли пристрастия Жиду Шнобелевскую премию дали? — спросил я.

— За них, конечно! — сказал Каин. — Но я вам расскажу все по порядку.

— А стражник нам не помешает? — осведомился я.

— Да нет! — сказал Каин. — Он уж понял, что меня отсюда калачом не выманишь. А чего мне делать на воле-то, когда там педик на педике и педиком погоняет?

— Это точно, — согласился я. — Что правда, то правда.

— Так вот, — продолжал Каин, поудобней устраиваясь на жестких досках, — когда это было, сами знаете. Мы с Авелем тогда ничо, ладили. Только я, сами видите, волосатый весь...

Каин в самом деле был покрыт густой черной шерстью, здоров как бык и сложения атлетического — ни дать ни взять кетчист под сто кэ-гэ.

— ...весь волосатый, — продолжал Каин. — Так что девки

меня любили, не давали скучать по воскресеньям. А брательник мой, он из другого теста был...

— Это вы про Авеля? — спросил я.

— Про него самого. Кажись, он и брат-то мне был лишь наполовину, сводный то есть. Видел я фотографии того змия... Тоже педрило еще тот... Ну, в общем, похожи они как две капли воды. Не удивлюсь, если выяснится, что мамашка моя шастала по кустам с этим извращенцем недоделанным... Поразвлекаться, видать, была не дура. Авель, может, и не виноват вовсе, что таким уродился. Короче, похожи мы с ним не шибко были. Волосики у него беленькие-беленькие, до одурения, и сам весь беленький такой, смазливенький — красавчик, одним словом. Но духами вонял, пахла, так что американская вонючка на месте бы сдохла. Пока мы еще молокососами были, все ничего: ну, играли — в воров и жандармов. И ничего такого даже в мыслях не было, сами понимаете. Это уж потом началось. Спали мы в одной кровати, день денской все вместе бывало торчим — даже хлебали из одной миски. В общем, не разлей вода. Он мне вроде как заместо дочки был, так вот. Я его холил-лелеял, даже волосики эти его белые расчесывал. Мы друг дружку не обижали.

Каин замолчал и с отвращением фыркнул.

— Скажу без утайки, — продолжал он, — этому гаденышу ужас как не понравилось, когда я за красотками разными начал ухлестывать. Только он показать боялся. Я думал: время придет — сам научится. Предложил ему пару раз, давай мол подыщу тебе какую-ни-то, да перестал потом. Сразу видать, что нисколько его это не интересовало... Он не очень-то развитой был, ни в какое сравнение со мной не шел...

— Да-да, — согласился я. — Об этом все говорили открыто. За это-то все вас и осуждали. Ведь вы были куда сильнее.

— Меня же еще и осуждали! — воскликнул Каин. — Да ведь он вел себя как последняя скотина, подонок этот!

— Не горячитесь так, — сказал я.

— Ладно, — уже спокойнее сказал Каин. — Теперь слушайте, что он сделал. Время от времени я просил его: «Слушай, Авель, у меня сегодня куколка одна в гостях, слинял бы ты на часок-другой да оставил бы мне койку». Ну он, ясное дело, уходил и возвращался через два часа. Я все это по вечерам проделывал, знаете, чтобы соседи языком зря не трепали. Короче, уходил он, когда темно уже было, а краля моя очередная, как завидит, что он умотал, — юрк на его место. Когда темно, все, знаете, шито-крыто...

— Должно быть, это не слишком приятно для него было, — предположил я.

— Да бросьте вы! — запротестовал Каин. — Я готов был то же самое для него сделать!..

И он разразился бранью.

— Ну падла, ну мразь! — заключил он. — Вот однажды я ему и говорю: «Иди, Авель, погуляй, жду я тут одну». Он свалил, а я сажусь ждать. Входит наконец девица. Я сижу как сидел. Она ближе — и давай меня обрабатывать... Представляете? Я смотрю, что-то она вроде не шибко расторопна. Запалил я свечу... и кого же вижу? Субчика этого, моего брательника... У! Я чуть копыта не отбросил прямо на месте...

— Вмазать ему надо было как следует, — не выдержал я.

— Ну а я что сделал? — сказал Каин. — И вот чего из этого вышло. Может, правда, малость перестарался... Но сами посудите... Нет, на дух я не переносу этих пидеров!

СТРАННЫЙ СПОРТ

Облокотившись о стойку бара «Синга Мейн», Трунай потягивал свежесочиненный им коктейль, настоящий «Слоу-Бен», состоящий, как известно, из шести частей водки на одну часть ликера куантро и одну часть какао — напиток тонизирующий, ну чисто молоко Волги, свидетельствующий к тому же о его презрении к англо-саксонскому джину — повсеместной и пагубной основе стольких гнусных зелий, позорящих западную демократию. Сказать по правде, он попросту не переносил джин и оттого заменял его водкой, родственной медицинскому спирту, здоровому продукту, целебные свойства которого по достоинству оценены государственными лечебницами.

Вошел Фолюбер с птичьей фамилией Сансонне, добрый его приятель, как раз возвратившийся с гастролей. Талантливый сексофонист Фолюбер несколько недель кряду мелодичными звуками пленял тевтонские поселения, лишенные в течение нескольких лет антинацистского воздействия упомянутого инструмента.

— Добрый вечер, Трунай, — сказал Фолюбер.

— Добрый вечер, Фолюбер, — сказал Трунай.

И оба расплылись в улыбке, потому что рады были видеть друг друга.

— Что ты пьешь? — спросил Фолюбер.

— Смесь собственного изобретения, — ответил Трунай с гордостью за свое детище.

— И вкусно? — спросил Фолюбер.

— А ты попробуй!

Фолюбер попробовал, в результате чего Луи, бармену с пробивающимся пушком усов, пришлось изготовить еще две порции.

Фолюбер между тем испытующе озирался.

— Здесь нет женщин, — выпалил он наконец.

В самом деле, за исключением нескольких особ, судя по всему работающих по найму, представительницы прекрасного пола отсутствовали напрочь.

— А почему, ты думаешь, я пью? — саркастически отозвался Трунай.

— Э, так дело не пойдет, — сказал Фолюбер. — Я уж сколько времени на диете, пора и развязать.

— Выпьем, — сказал Трунай, — и пойдем поищем.

Они выпили и пошли искать.

* * *

Воздух на улице Сен-Бенуа был свежим и бодрящим.

— Здорово, что ты пришел, — сказал Трунай. — Я чертовски скучал.

— Вот увидишь, — заверил его Фолюбер. — Сегодня нам повезет. Пойдем-ка в «Старую Голубятню».

Они двинулись по улице Ренн, а после свернули направо к «Старой Голубятне». Швейцар, который стоял в дверях, улыбнулся им, потому что узнал, аналогично и брюнетка в гардеробе.

В подвале у Лютера было полно народу, однако представительницы прекрасного пола по-прежнему отсутствовали.

— Не пойдет, — произнес Фолюбер по прошествии нескольких минут.

— Понимаешь, — объяснил Трунай, — они дожидаются, когда оркестр кончит играть, чтобы поделить музыкантов. Здесь, у Лютера, так принято.

— Возмутительно, — сказал Фолюбер.

— Выпьем, — сказал Трунай, — и пойдем искать дальше.

Так они и поступили.

* * *

От «Старой Голубятни» до «Красной Розы» рукой подать. Они преодолели указанное расстояние.

В зале была тьма крошечная. «Братцы Яковы» исполняли про пупки. Фолюбер сразу же разглядел коротко остриженную белокурую особу, расположившуюся возле бара, и принялся строить ей глазки, сожалея, что он не кот и глаза его не фосфоресцируют в темноте.

«Братцы» между тем от «пупков» перешли к «Барбаре», произведению душещипательному и приведшему белокурую особу в трепет. Фолюбер и Трунай, затрепетав вслед за ней, на строчке: «О Барбара, как ужасна война...» громогласно высказали свое одобрение.

После чего их, можно сказать, выставили, потому что прочие предпочитали слушать «Яковов».

* * *

Решив сменить район поисков, они направились в «Кэрроллс» пешком, потому что такси стоят дорого, а закрывшаяся в душу тревога уже подсказывала им, что, возможно, это не последний переход.

Вошли, спустились. Девушке в гардеробе, посетовавшей на отсутствие у него галстука, Трунай ответил, что шея, по его мнению, малоподходящее место для петли, каковая невинная шутка их развеселила.

Первая, кого они увидели, была девица из «Красной Розы». Узнав ее, Фолюбер побледнел и сказал Трунаю:

— Вот сука.

Потому что девица танцевала с другой, а завидев Фолюбера, нарочно потесней прижалась к партнерше.

— Пошли отсюда, — сказал Трунай.

* * *

Они зашли в «Лидо», в «Найт-Клаб», в «Быка на крыше», в «Парижский клуб», возвратились в «Сент-Ив», заглянули в «Табу», снова поднялись на Монмартр, побывали в «Табарене», во «Флоренции» и еще в стольких местах, что в глазах зарябило. Наконец в шесть утра две очаровательные особы приняли их ухаживания.

Пробило одиннадцать. Фолюбер вышел из комнаты и постучал в дверь Труная. Тот еще спал.

— Ну, — сказал Фолюбер.

— Что ж, — проворчал Трунай, под глазом у которого красовался обширный фингал.

Фолюбера украшал такой же, только на другом глазу.

— Хм, — сказал он, — я заснул.

— И я, — протянул Трунай. — Ей не понравилось.

— Моей тоже, — сказал Фолюбер.

— Женщины ничего не смыслят в мужчинах, — заключил Трунай.

Они вышли и купили два сырых бифштекса. Конских.

Одон дю Муйе, мировой судья с дипломом, аккуратно поковырял кончиком автоматической ручки в ухе по давней варварской привычке, каковую приобрел еще в те далекие годы, когда протирал штаны на скамейках бульвара Кур ля Рен.

— Сколько на сегодня разводов? — спросил он у своего подручного, пятидесятичетырехлетнего юнца по имени Леонс Тьерселен.

— Всего девятнадцать, — отвечал Леонс.

— Так, так, так, так, так, так, так, — произнес судья с удовлетворением.

У него появлялось таким образом дополнительное по сравнению с обычным время на то, чтобы хорошенько закруглить, обточить, отшлифовать и до блеска отполировать те обволакивающие фразы, убедительностью которых он рассчитывал вернуть на путь супружеской жизни заблудших овец, кои предстанут перед ним для возможного примирения.

Задрав ноги и обхватив голову руками, он размышлял, в то время как Леонс Тьерселен оборудовал помещение таким образом, чтобы произвести эффект на будущих посетителей. Леонс привел в действие махонькие гидравлические домкраты, вмонтированные в ножки судейского стола и кресла, отчего упомянутая мебель сделалась сантиметров на тридцать выше; затем он водрузил на стол вазу с искусственными цветами — для интимности, к потолку вместо стеклянного колпака подвесил безмен как символ правосудия, а сам, на манер античной тоги, обмотался красной кумачовой шторой. Обычно такое убранство имело действие: иные пары сплывало, иные сражало наповал. За судьей с сюсюкающей фамилией дю Муйе числилось больше примирений, чем за пятью его коллегами вместе взятыми. Сам он относил успех на счет своих медоточивых речей, Леонс между тем полагал, что и его аксессуары играют в деле не последнюю роль.

Наразмышлявшись, судья виртуознейшим образом поскреб себе зад и сказал Леонсу следующее:

— Стража, введите просителей.

Леонс величественно проследовал к двери и отворил ее. Вошли Жан Лапс с супругой, урожденной Зизин Перес.

— Присаживайтесь! — произнес Леонс гаражным голосом (то есть гулким и масляным).

Жан Лапс сел справа, а Зизин Перес — слева. Соответственно фамилиям Жан Лапс оказался «лапушкой»: белокурым, квелым, бледным и с достоинством, а Зизин Перес — личностью ядреной и перченой: пылкой грудастой брюнеткой необузданного, по всем приметам, нрава.

Поначалу Одон дю Муйе без удивления взирал на эту плохо стыкующуюся пару, однако, вспомнив суть иска, вздернул брови. Судя по материалам дела, развода требовала Зизин Перес на том основании, что муж обманывал ее.

— Признаюсь откровенно, сударь, — заговорил Одон, — я с удивлением констатировал, что вы позволили себе пренебречь супругой, отдав предпочтение некоей особе, упомянутой в деле и, по донесениям моих агентов, заурядной во всех отношениях.

— Это вас не касается, — огрызнулся Жан Лапс.

— Он, собака, изменял мне с чуркой неотесанной, — взволнованно откомментировала Зизин.

Одон дю Муйе продолжил:

— Поверьте, сударыня, в душе я даже готов оправдать ваш поступок. И все-таки, быть может, еще не поздно. Быть может, сделав над собой усилие, вы постараетесь понять друг друга, и это сблизит вас снова...

Зизин с надеждой взглянула на Жана и провела языком по губам.

— Жан, милый, — прошептала она хрипло.

Жан Лапс вздрогнул, и судья тоже.

— Сударыня, — проговорил он, — я должен задать вам интимный вопрос... Ваш муж изменял вам потому... гм, гм... что вы противились исполнению супружеских обязанностей?

— Да нет же, нет... — запротестовал Жан Лапс. — В том-то все и дело...

Он запнулся.

— Продолжайте, пожалуйста, продолжайте, — не отставал Одон. — Простите меня, но случай ваш настолько необычен, что я невольно нахожу в нем много поучительного для себя.

— Если попросту, господин судья, — не выдержала Зизин, — на мой вкус три раза лучше одного.

— Три раза! Если бы три! — простонал Жан Лапс.

Леонс Тьерселен, совершенно огорошенный, сморкнулся так, что все подскочили.

— Короче, если я вас правильно понял, сударь, — заключил Одон дю Муйе, — вы изменяли жене потому... гм, гм... что она требовала больше любви, чем вы могли ей дать.

— Именно! — воскликнули супруги разом.

— А с той, другой, вы... гм... ничего такого не делали? — беззастенчиво допрашивал судья.

— Еще не хватало! — завизжала Зизин, кусая себе ногти.

Судья в изнеможении обратился на Леонса вопросительный взгляд.

— Что такое? Ничего не понимаю! — взмолился он. — Так почему же вы ей изменяли?

— Все очень просто, господин судья, — объяснил Жан Лапс спокойно и рассудительно. — Мне потому разводиться приходится, что я без женщины не могу.

ВОЛК-ОБОРОТЕНЬ

Он жил в лесу Фос-Репоз у подножия Пикардийского склона — очень красивый матерый волк с черной шерстью и красными глазами. Звали его Дени, и любимым развлечением его было наблюдать, как машины из Виль д'Авре, прибавляя газу перед подъемом на косогор, мчались по блестящему шоссе, к которому иногда, в дождь, прилеплялось оливковое отражение громадных деревьев. Он любил также, летними вечерами, рыскать в придорожных кустах и заставать там врасплох влюбленных, нетерпеливо возившихся с целым комплектом эластичных деталек, к сожалению, представляющих в наши дни неотъемлемую принадлежность дамского белья. С философской задумчивостью он следил за этой битвой, изредка увенчивающейся успехом, и стыдливо удалялся, покачивая головой, когда добровольная жертва, так сказать, подвергалась закланию. Потомок древнего рода цивилизованных волков, Дени питался травкой и голубыми гиацинтами, которые по осени сдабривал грибами, а в зимнюю пору, против своей воли, разумеется, бутылками молока, которые таскал из большого желтого грузовика Молочной Компании; к молоку он питал отвращение из-за присущего ему животного привкуса и с ноября по февраль проклинал суровое время года, вынуждавшее его портить себе желудок.

Благодаря врожденной скромности Дени жил в полном согласии со своими соседями, ибо те и не догадывались о его существовании. Он нашел приют в пещерке, выкопанной в свое время отчаявшимся золотоискателем, которому всю жизнь не везло и который, уверившись в том, что ему вовек не отыскать «Корзинку Апельсинов» (см. Луи Буссенара), на склоне лет решил копать землю — занятие столь же бесплодное, сколь и маниакальное, во всяком случае, в умеренном климате. Дени устроил там уютное логово, которое мало-помалу отделал колпаками колес, гайками и деталями автомобилей, подобранными на дороге, где частенько случались аварии. Без ума от техники, он обожал созерцать свои трофеи и

мечтал о мастерской, которой в один прекрасный день непременно обзаведется. Четыре шатуна из легкого сплава поддерживали крышку от чемодана, заменявшую стол; кровать состояла из кожаных сидений старой развалюхи фирмы «амилькар», мимоходом втрескавшейся в высоченного здоровяка — платана, а две шины служили роскошными рамками к портретам горячо любимых родителей; все это с большим вкусом сочеталось с более обыденными предметами, некогда собранными золотоискателем.

Чудесным августовским вечером Дени неторопливо совершал свой ежедневный моцион. Полная луна плела кружева из теней листьев, и на свету глаза Дени принимали пленительные рубиновые оттенки арбузаского вина. Дени подходил к дубу, где обычно поворачивал обратно, когда на его пути волею судеб возникли Сиамский Маг, который по документам именовался Этьеном Памплъ, и малышка Лизет Конфет, чернявая официантка из ресторана «Гронеи», под каким-то предлогом завлеченная Магом в лес Фос-Репоз. Лизет обновила пояс «Загляденье», и этому препятствию, для преодоления которого Сиамскому Магу понадобилось шесть часов усилий, Дени и был обязан этой встречей в столь поздний час.

К несчастью для Дени, обстоятельства были против него. Стояла полночь; Сиамский Маг превратился в комок нервов; а вокруг в изобилии произрастали волчьи-глазки, собачьи-рожи и заячьи-лапки, с недавних пор в обязательном порядке сопровождающие явление ликантропии — или, скорее, антрополикии, как мы сейчас узнаем. Озверев от появления Дени, который, кстати сказать, повел себя деликатно и уже удалялся, бормоча извинения, Сиамский Маг, не добившись от Лизет желаемого и испытывая острую потребность дать какой-нибудь выход избытку энергии, бросился на ни в чем не повинное животное и хищно цапнул в самое уязвимое место — под лопатку. Тоскливо визжа, Дени удрал со всех лап. Вернувшись домой, он свалился от необычной усталости и уснул тяжелым сном с проблесками тревожных сновидений.

Мало-помалу он позабыл о происшествии, и по-прежнему дни менялись, одинаковые и разные; приближалась осень, у которой такое странное свойство: заставлять краснеть листья деревьев. Дени объедался груздями и белыми грибами, иногда подцепляя семейку опят, почти неразличимых на коре пня, и как чумы боялся неудобоваримых свинушек. Теперь гуляющие быстрее уходили из леса по вечерам, и Дени раньше ложился спать. Однако ночь, казалось, совсем не приносила ему отдыха, и после сна, напичканного кошмарами, он просыпался разбитым, с опухшей мордой. Он даже меньше стал увлекаться техникой и, случалось, начищая позеленевшую латунную трубку, среди бела дня засты-

вал с тряпкой в бессильно повисшей лапе, погрузившись в раздумье. Сон его становился все более беспокойным, и Дени недоумевал, не находя этому причин.

В ночь полнолуния он вдруг проснулся, дрожа от озноба, как в лихорадке. Протирая глаза, он изумился непривычности своего состояния и поискал выключатель. Он зажег великолепную фару, доставшуюся ему в наследство от ополоумевшего мерседеса, и ослепительное освещение озарило закоулки пещеры. Нетвердой походкой он доплелся до зеркальца от автомобиля, прикрепленного над туалетным столиком. Тут он с удивлением поймал себя на том, что стал на задние лапы, но еще больше был поражен, когда увидел свое отражение: из круглого зеркальца его разглядывала чудная, бледноватая, лишенная шерсти физиономия, где только красивые рубиновые глаза напоминали о его прежнем облике. Издав нечленораздельный крик, он оглядел себя и понял, почему его пронизывает холод. Пушистая черная шкура исчезла, и перед ним находилось неуклюжее существо — точь-в-точь один из тех мужчин, над неловкостью которых в любовных делах он обычно подсмеивался.

Надо было действовать без промедления. Дени кинулся к чемодану, набитому всевозможными тряпками, подобранными после аварий. Природное чутье побудило его выбрать элегантный серый костюм в белую полоску, к которому он подобрал однотонную рубашку цвета розового дерева и бордовый галстук. Как только он оделся, не переставая удивляться непривычному вертикальному положению, то почувствовал себя лучше и перестал лязгать зубами. И тогда его растерянный взгляд упал на кучки черной шерсти вокруг его ложа, и он оплакал свой исчезнувший облик.

Однако чудовищным усилием воли он овладел собой и попытался разобраться в происходящем. Из книг он почерпнул немало знаний, и дело представлялось ясным: Сиамский Маг был волкооборотень, а он, Дени, укушенный этим зверем, только что, в свою очередь, превратился в человека.

При мысли о том, что ему предстоит жить в неведомом мире, поначалу его охватил страх. Человек среди людей — какие только опасности не подстерегали его! Воспоминание о той бесплодной борьбе, которую денно и ночно вели между собой шоферы и которая казалась Дени символичной, позволило ему предугадать ожидавшее его ужасное существование. Но волей-неволей с ним приходилось смириться. Потом он подумал: превращение, произошедшее с ним, судя по описаниям, — если книги ничего не лгут, — будет недолгим. Так почему бы этим не воспользоваться и не наведаться в города? Тут, надо признаться, некоторые сценки, мельком виденные в лесу, пришли волку на ум, не вызвав прежней реакции; он, к своему удивлению, облизнулся, и это по-

зволило ему удостовериться в том, что кончик языка у него, несмотря ни на что, такой же острый, как и раньше. Он подошел поближе к зеркальцу и осмотрел себя более пристально. Черты лица не показались ему столь неприятными, как он предполагал. Открыв рот, он убедился, что небо его все такого же красивого черного цвета и что он мог по-прежнему шевелить ушами, пожалуй, чуточку длинноватыми и волосатыми. Однако удлинненный овал лица, матовая кожа и белые зубы, по всей видимости, позволят ему занять достойное место среди людей, которых ему уже случалось видеть. Впрочем, оставалось лишь извлечь выгоду из неминуемого и приобрести полезный опыт. Предосторожности ради он все-таки искал перед уходом темные очки, с помощью которых намеревался, в случае необходимости, потушить красноватый отблеск своих буркал. Он также захватил плащ, повесил его на руку и уверенным шагом направился к двери. Несколько мгновений спустя, с чемоданчиком в руке, втягивая носом утренний воздух, казавшийся странным образом лишенным запахов, он очутился на обочине и решительным жестом остановил первую попавшуюся легковушку. Он выбрал направление на Париж, зная по каждодневному опыту, что машины редко тормозят при подъеме и гораздо охотнее при спуске, так как сила тяготения позволяет в этом случае легко тронуться с места.

Изящная внешность Дени расположила в его пользу первого же не слишком торопившегося водителя, и, удобно усевшись справа от него, он стал широко раскрытыми, горящими любопытством глазами смотреть на незнакомый огромный мир.

Через двадцать минут он уже вылез на площади Оперы. Погода стояла ясная и прохладная, и уличное движение не выходило за рамки приличий. Дени отважно ринулся по переходу на другую сторону улицы и дошел по бульвару до отеля «Скриб», где заказал номер с ванной и гостиной. Оставив чемоданчик у коридорного, он тотчас же вышел купить велосипед.

Утро прошло как сон; восхищенный Дени не знал, куда направить лыжи; он явственно ощущал в глубине своего «Я» тайное желание разыскать какого-нибудь волка и укусить его, но понимал, что найти жертву будет не так-то просто, и не хотел поддаваться влиянию чернокнижников. Он не сомневался, что, если повезет, ему удастся подобраться к зверям из зоопарка, но оставил эту возможность про запас, когда станет совсем невмogu. Новенький велосипед привлек все его внимание. Эта никелированная штуковина зачаровала его и к тому же могла пригодиться для возвращения в пещеру.

В полдень Дени поставил свой велосипед перед отелем. Швейцар не без удивления посмотрел на него, но элегантность Дени и

в особенности глаза с рубиновым блеском, казалось, отбивали у людей охоту делать ему какие-нибудь замечания. С легким сердцем он отправился на поиски ресторана. Он выбрал с виду приличный и малолюдный; скопление народа все еще немного смущало его, и он побаивался, что, несмотря на его общую культуру, на манерах его лежит легкий отпечаток провинциализма. Он выбрал столик в сторонке от других посетителей и попросил побыстрее его обслужить.

Но он не предполагал, что в таком тихом с виду месте именно в тот день должно было состояться ежемесячное собрание любителей голавля по-рамболитански, и Дени посреди трапезы узрел неожиданную процессию респектабельных розовощеких и веселых мужчин, которые тут же заняли семь столиков, накрытых на четыре персоны. При этом внезапном наплыве посетителей Дени нахмурил брови; как он и ожидал, к его столику учтиво приблизился метрдотель.

— Прошу меня извинить, месье, — сказал этот гладко выбритый и вальяжный мужчина, — но не были бы вы столь любезны разделить ваш столик с девушкой?

Дени мельком взглянул на соплячку и вернул брови в изначальное положение.

— Сочту за честь, — сказал он, привставая.

— Благодарю, месье, — пропищала девчонка музыкальным голоском. Выражаясь точнее, голосом музыкальной пилы.

— Если вы благодарите меня, — продолжал Дени, — то что же остается делать мне? — Подразумевалось: как же мне благодарить вас.

— Это удар судьбы, — изрекла красотка.

И она сразу же выронила сумочку, которую Дени подхватил на лету.

— Ах, — воскликнула она. — У вас замечательная реакция!

— О да, — подтвердил Дени.

— И глаза у вас странные, — добавила девушка спустя пять минут. — Сразу вспоминаешь о... о...

— О! — воскликнул Дени.

— О гранатах, — заключила она.

— Что поделать, война, — сказал Дени.

— Не понимаю вас...

— Я полагал, — уточнил Дени, — что вам придут на ум рубины, но так как вы вспомнили всего лишь о гранатах, то я объяснил это теми ограничениями в потреблении, которые неизбежно влечет за собой война через отношение причины и следствия.

— Вы окончили Высшую школу политических наук? — поинтересовалась черноволосая телка.

— Чтобы никогда больше не возвращаться к этим наукам.

— А вы парень что надо, — не к месту вставила девица, которая, между нами говоря, всякий раз притворялась девственницей.

— Я с удовольствием отвечу вам тем же, только употреблю существительное женского рода, — отпустил комплимент Дени.

Они вместе вышли из ресторана, и плутовка поведала волко-человеку, что занимает в двух шагах отсюда замечательную комнату в гостинице Башли-Выжималка.

— Хотите взглянуть на мою коллекцию японских этикеток? — просюсюкала она на ухо Дени.

— Удобно ли? — осведомился Дени. — Ваш муж, брат или кто-нибудь из ваших не станет нервничать?

— Я, можно сказать, сирота, — всхлипнула малышка и сделала вид, будто смахивает слезинку кончиком точеного указательного пальца.

— Как это прискорбно! — вежливо обронил ее элегантный спутник.

Входя следом за ней в отель, он заметил, что там по непонятной причине не оказалось швейцара и что обилие красного потертого плюша сильно отличало это место от его, Дени, гостиницы, однако, поднимаясь по лестнице, он узрел чулки и — чуть выше, по соседству, — голые ляжки красотки, которой позволил, желая просветиться, опередить себя на шесть ступенек. Просветившись, он ускорил шаг.

Мысль, что ему предстоит блудить с женщиной, немного смущала его поначалу, но, вспомнив о лесе Фос-Репоз, он постарался забыть о комической стороне дела и вскоре нашел в себе силы на практике применить знания, приобретенные наблюдением. Красотка притворно вопила от наслаждения, и наивный Дени не почувствовал искусственности ее заверений, что она на седьмом небе.

Он еще пребывал в каком-то полусознательном состоянии, не сравнимом со всем тем, что испытал до сих пор, когда услышал бой часов. И, «в сердце с отравой», почти как у Верлена, привстал и застыл в тупом изумлении, глядя на то, как его подружка — попкой вверх, простите за выражение — проворно шарила в кармане его пиджака.

— Вы хотите мое фото? — спросил он вдруг, полагая, что догадался.

Он почувствовал себя польщенным, но по тому, как дернулись подружкины полушария, понял ошибочность своего предположения.

— Гм... да, дорогой, — сказала та, не зная толком, издевается он или нет.

Дени насупился. Он встал и проверил содержимое бумажника.

— Выходит, вы одна из тех бабенок, о чьих гнусностях можно прочесть в сочинениях господина Мориака! — заключил Дени. — В некотором роде — шлюха.

Она собралась было ответить, да еще как, сказать, что плевать она на него хотела, хрен ему в пятку, и что она не ложится с такими фраерами ради удовольствия, однако от зловещей вспышки в глазах очеловеченного волка язык у нее прилип к гортани. Зрачки Дени испустили два тонких огненных снопа, которые впились в глазные яблоки брюнетки и повергли ее в странное смятение.

— Извольте одеться — и катитесь отсюда подобру-поздорову! — посоветовал Дени.

Ему вдруг пришла мысль завывать для вящего эффекта. Никогда раньше он не испытывал такого искушения, но, несмотря на свою неопытность, вой он издал поистине жуткий.

Охваченная ужасом девица, ни слова не говоря, оделась в мгновение ока. Оставшись один, Дени рассмеялся. Он испытывал какое-то порочное, довольно волнующее чувство.

— Мстительное чувство, — предположил он вслух.

Он навел порядок в одежде, помыл то, что нужно, и вышел. Уже стемнело, и феерически сверкали огни бульвара.

Едва он сделал несколько шагов, как к нему подошли три субъекта. Они были одеты несколько броско: на них были слишком светлые костюмы, слишком новые шляпы и слишком хорошо начищенные ботинки. Троица окружила Дени.

— Пойдем поговорим? — сказал самый худосочный из трех, смуглый мужчина с аккуратными усиками.

— О чем же? — удивился Дени.

— Не придируйся, — отчеканил другой, красномордый, с квадратными плечами.

— Зайдем-ка сюда... — предложил смуглый, когда они проходили мимо бара.

Дени вошел не без любопытства. Приключение пока еще казалось ему занятным.

— Вы хотите перекинуться в картишки? — осведомился он у трех приятелей.

— Спутаешь наши карты, и твоя харя — бита, — загадочно ответил красномордый. Он выглядел разгневанным.

— Вот что, дорогой, — сказал смуглый, — только что вы поступили не очень-то красиво с одной девушкой.

Дени расхохотался.

— Он еще насмехается, этот педик! — бросил красномордый. — Скоро ему будет не до смеху.

— Дело в том, — продолжал смуглый, — что мы имеем кое-какое отношение к этой девочке.

Тут Дени осенило.

— Понял, — сказал он, — вы — сутенеры.

Все трое вскочили на ноги.

— Не нарывайся — хуже будет! — пригрозил красномордый. Дени поглядел на них волком.

— Кажется, я сейчас рассержусь, — спокойно сказал он, — такое со мной впервые, но я узнаю это ощущение. Я о нем читал.

Тройка, по-видимому, была сбита с толку.

— Думаешь, ты нас очень напугал, козел, — сказал красномордый.

Третий был неразговорчив. Он сжал кулак и размахнулся, нацелясь в подбородок Дени, но тот увернулся, поймал парня за запястье и сжал его. Кость затрещала.

Бутылка приголовилась на череп Дени; он моргнул и попятился.

— Сейчас ты у нас попрыгаешь! — сказал смуглый.

Бар опустел. Дени перемахнул через стол и красномордого. Тот ошеломленно разинул рот, но все же успел вцепиться в замшевый башмак бирюка из леса Фос-Репоз.

Произошла короткая схватка, по окончании которой Дени поглядел на себя в зеркало. Ворот был разодран; щеку бороздила глубокая царапина, а под глазом засветился фонарь цвета индиго. Дени проворно запихал три бесчувственных тела под скамейки. Сердце у него выскакивало из груди. Он немного привел себя в порядок. И вдруг его взгляд упал на стенные часы. Одиннадцать.

— Черт возьми! Пора сматывать удочки! — подумал он.

Он поспешно надел темные очки и опрометью бросился в гостиницу. Душа его была переполнена ненавистью, но чувство не помрачило разум.

Он расшпателься за номер, взял чемоданчик, вскочил на велосипед и стартовал не хуже какого-нибудь Коппи.

* * *

Он подъезжал к мосту Сен-Клу, когда его остановил полицейский.

— У вас что, фонаря нет? — сказал этот ничем не примечательный человек.

— А что? — переспросил Дени. — Зачем он мне? Я и так все вижу.

— Вы-то видите, — сказал полицейский, — но нужно, чтобы видели вас. А если авария? Что тогда?

— А? — сказал Дени. — Да, в самом деле. Но как-же он включается?

— Вы что, смеетесь? — спросил страж порядка.

— Послушайте, — взмолился Дени, — я правда очень спешу. Мне некогда смеяться.

— А штраф заплатить не хотите? — спросил мерзопакостный фараон.

— Ну и зануда же вы! — ответил волк-велосипедист.

— Так и запишем! — сказал отвратительный топтун. — Платите!

Он полез в карман за записной книжкой и шариковой ручкой и на секунду опустил голову.

— Имя? — спросил он, поднимая голову.

Затем засвистел в свою свистульку, так как увидел вдали быстро удаляющийся велосипед Дени, бросившегося на штурм склона.

Дени жал что есть мочи. Оторопевший асфальт дрогнул перед столь яростным натиском. Склон Сен-Клу был взят за рекордное время. Дени пересек часть города, которая тянется вдоль Монтре-ту — тонкий намек на наготу сатиров из парка Сен-Клу, — и свернул налево, в сторону Пон-Нуар и Виль д'Авре. Когда он вынырнул из этого благородного города перед рестораном Кабассюд, то заметил у себя за спиной какое-то движение. Он подналег и стрелой влетел на лесную дорогу. Время поджимало. Вдруг где-то вдалеке башенные часы пробили полночь.

С первым ударом часов Дени понял, что дело худо. Он уже с трудом доставал до педалей, казалось, ноги укоротились. Освещенный луной, он все еще по инерции мчался по каменистой проселочной дороге, как вдруг заметил свою тень — вытянутую морду, уши торчком — и тут же шлепнулся, потому что волк на велосипеде не обладает достаточной устойчивостью.

К счастью для него. Едва коснувшись земли, он кинулся в чащу, и полицейский мотоцикл с лязгом врезался в рухнувший велосипед. При этом мотоциклист потерял одно яйцо, вследствие чего острота его слуха снизилась на тридцать девять процентов.

Не успел Дени сызнова обратиться в волка и затрусить по направлению к логову, как подивился странному неистовству, владевшему им, пока он был в человеческом обличье. У такого добряка, такого тихони, как он, вдруг полетели ко всем чертям все моральные устои и все благодушие. Мстительная ярость, послужившая уроком для трех сутенеров с площади Мадлен, — один из коих, поспешим это подчеркнуть в оправдание остальным, получал жалованье в полицейской префектуре, в отделе по борьбе с наркотиками и проституцией, — казалась ему одновременно непостижимой и захватывающей. Он покачал головой. Что за несчастье этот укус Сиамского Мага! Хорошо еще, подумал Дени, что его тягостное превращение будет проходить только в дни полнолуния. Но все-таки что-то от прежнего у него оставалось — и эта подспудная злость, эта жажда мести не давали ему покоя.

МАРСЕЛЬ НАЧИНАЛ ПРОСЫПАТЬСЯ

I

Марсель начинал просыпаться.

Подручный из мясной лавки поднял выкрашенный в оливковый цвет короткий железный занавес, который загораживал верхнюю половину витрины. Поднятие сопровождалось громким лязгом и скрежетом, но подручный мясника умел свистеть еще громче, что он и сделал. Он принялся высвистывать «Вальс Палавас, это песня для вас...», занудливый, затасканный мотивчик, неоднократно слышанный им по радио, которое крутило этот самый вальс с утра до вечера длинными тоскливыми периодами.

После этого подручный мясника снял с окна трехстворчатую железную решетку, закрывавшую нижнюю часть мясной лавки, и спрятал ее в надлежащее место. Затем смел рассыпанные с вечера опилки и принялся размеренно бить баклуши.

Шаги хозяина в коридоре заставили его встрепунуться. Он бросился к великолепному, купленному накануне ножу и начал остервенело водить лезвием по оселку¹.

Хозяин меж тем приближался, прочищая горло отвратительными звуками, которые издавал каждое утро. Это был огромный черноволосый детина, довольно мрачный и сильный, как буйвол, хотя вел свою родословную от представителей рода человеческого.

— Ну? — спросил он. — Как нож?

— Продвигается, — ответил подручный, покрасневшись. У него были короткие белесые волосы и курносый нос, что придавало ему сходство с поросенком.

— А ну покажь!

Подручный протянул хозяину нож. Тот взял его в руки и проверил лезвие на ногте.

— Дерьмо, — сказал он. — Кто учил тебя точить? Таким ба-
рахлом и северокорейцу глотку не перерезать.

Он говорил так нарочно, чтобы позлить своего помощника,
которого справедливо подозревал в революционных симпатиях.

— А вот и нет! — возразил подручный. — Спорим?

И черт его за язык дернул! Хозяин мрачно посмотрел и отре-
зал:

— Спорим!

Подручный слегка смешался и сделал робкую попытку вер-
нуть себе преимущество.

— Кинем на пальцах? — предложил он.

— Идет! — гогоча, сказал хозяин. И снова прочистил горло.

Не в силах выдержать этого звука, подручный принялся бле-
вать в опилки.

II

Мистер Маккинли задумчиво чиркнул спичкой по кожаной
подошве своего левого башмака. Обе его ноги покоились на пись-
менном столе, и ему пришлось сильно наклониться, что пробуди-
ло застаревшие боли люмбаго, заработанного на острове Иво-
жима.

В действительности мистер Маккинли носил совсем другое
имя. Под личиной эксперта по экспорту скрывался один из самых
активных агентов АСС, американской секретной службы. Суро-
вые складки на его энергичном лице красноречиво свидетельство-
вали о том, что в случае необходимости он готов проявить макси-
мум твердости.

Рука Маккинли небрежно упала на кнопку электрического
звонка. Вошла секретарша.

— Пригласите мадам Эскубову, — сказал Маккинли на чистейшем английском.

— Yes, sir, — отчеканила секретарша, и на эксперта пахнуло
Бруклином, отчего брови его нахмурились. Впрочем, он владел
собой не хуже, чем император Хиро-Хито своей империей, и сдер-
жал эмоции.

Некоторое время спустя в кабинет вошла женщина. Она была
тучна и с виду таинственна. Ее голубые глаза, русые волосы,
пышное и соблазнительное тело выдавали идеальную исполни-
тельницу тайных заданий самого деликатного свойства.

— Hello, Пелагея, — коротко приветствовал ее Маккинли.

Она ответила на том же языке, так что мы вынуждены прибег-
нуть к переводу.

— Хочу вам поручить очень ответственное задание, — продолжал Маккинли, переходя, как все американцы, прямоком к делу.

— Какое именно? — не меняя заданного тона, ответила Пелагея.

— Дело вот в чем, — сказал Маккинли, понизив голос. — Из достоверных источников нам стало известно, что видный французский политик господин Жюль М... завладел сведениями, которые представляют для нас исключительный интерес. Речь идет о донесении Громилина.

Пелагея побледнела, но ничего не ответила.

— М-м... — в некотором смущении продолжал Маккинли. — Короче говоря, никто кроме вас этих сведений добыть не сможет.

— Но каким образом? — шумно вздохнула Пелагея.

— Дорогая моя, — учтиво проговорил Маккинли. — Ваши чары неотразимы.

Серебряный портсигар, пущенный рукой Пелагеи, угодил ему в левую бровь. На коже выступили капельки крови. Маккинли продолжал улыбаться, только челюсти его конвульсивно сжались. Он поднял портсигар и протянул его Пелагее.

— Вы что, меня за шлюху держите? — сказала она. — Я вам не Марта Ришар какая-нибудь, прошу об этом помнить!

— Дорогая моя, — сказал Маккинли, — либо вы соглашаетесь, либо... — и он выразительно резанул ладонью по кадыку.

— Я отказываюсь, — решительно заявила Пелагея. — Он просто урод. Когда я поступала к вам на службу, было специально оговорено, что моя верность Жоржу ни в коей мере не пострадает.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Маккинли. — А как насчет того розовощекого и белобрысого малого? По-моему, это подручный из мясной лавки, что в Монпелье... Вы возите его на такси, не так ли?

На этот раз удар попал в цель.

— Значит, вы все уже знаете, чудовище вы это такое, — задыхнулась Пелагея.

Маккинли галантно поклонился.

— И хотел бы знать еще больше. Именно поэтому я и позволил себе просить вашей помощи.

— Спать с Жюлем М... — пробормотала Пелагея. — Какая гнусность! — по телу ее пробежала дрожь. Она встала.

— Полагаю, больше нам нечего друг другу сказать, — заключил Маккинли. — Через несколько дней агент Ф-5 свяжется с

вами в Монпелье. Вы получите все необходимые документы и, разумеется, кое-какое вознаграждение...

— Сколько? — тихо спросила Пелагея.

— М-м, — замылся Маккинли. — Вы получите пятьсот тысяч наличными и еще пять тысяч долларов перечислят на ваш счет, если операция пройдет успешно. На этот раз руководство решило раскошелиться. Видите ли, дорогая моя Пелагея, донесение Громилина чрезвычайно заинтересовало президента...

III

Такси медленно тронулось с места. Это был старенький «ви-вакатр» с полуглухим шофером за рулем.

На заднем сиденьи Пелагея нежно гладила короткий ежик мальчишки-подручного.

— Котик мой... — сказала она по-русски. — Когда я была совсем девочкой, у меня был маленький розовый поросенок, свинячий детеныш... Его звали Пуласки. Ты так на него похож.

Вдруг она помрачнела. Помощник мясника, придурковатый от природы, тупо молчал, позволяя себя гладить.

— Черт возьми! — тихо сказала Пелагея. — Я, кажется, комплекую на почве воспоминаний, как эти поганки-американки.

Такси подъехало к отелю, обычно дававшему приют двум влюбленным.

— Послушай, — сказала Пелагея, собрав все свои познания в области французского. — Ты... приходишь... мой голубок... взять ножик... перерезать мое горло. — И по-русски добавила: — Не хочу я спать с этим уродом. — Затем она снова перешла на французский: — Если ты меня любишь, *Голубчик*, ты должен это сделать.

— А ты не из Северной Кореи? — неожиданно спросил подручный мясника.

— О... Харбин... это совсем рядом, — сказала Пелагея.

— Тогда ладно, — сказал подручный. — Тогда так и быть. С удовольствием.

Пелагея содрогнулась.

— Лучше, чтобы это сделал ты, мой розовый поросенок, — быстро проговорила она. — Пусть это будет в Палавасе, где мы познакомились.

Она страстно его поцеловала, и шофер, смотревший на них в зеркальце, едва не врезался в грузовик.

— Мы сделаем это завтра, — сказал подручный мясника. — Вернусь домой, наточу нож. Встречаемся на пляже в девять.

Было третье сентября.

IV

— Хилогато, — сказал мясник. — Кишка у тебя тонка ножи точить.

— А это мы еще посмотрим, — заносчиво парировал подручный.

— И где же твой северокореец? — насмешливо поддразнил мясник.

— Будет, — сказал подручный.

Он ухватил покрепче оселок и принялся старательно водить по нему ножом, высунув от напряжения язык. Мясник захохотал и сплюнул в опилки, прямо на жирную зеленую муху.

V

— Остановите здесь, — сказала Пелагея, похлопав шофера по плечу.

Тот повиновался. Пелагея бросила ему две банкноты по тысяче франков и вышла из машины. На ней была черная юбка и белая блузка с глубоким вырезом.

Шофер посмотрел ей вслед и прищелкнул языком.

— За такие деньги я и сам готов фаршировать ее каждый божий вечер, — сказал он с возмутительным цинизмом.

Широкими шагами Пелагея спешила к пляжу. Было около восьми часов. Время от времени она оборачивалась. Двое встречаемых мужчин остановились, заметив ее.

— Гм! — сказал один.

— М-да... — ответил другой.

Быстро вечерело. Пелагея направилась к пляжу Палаваса. Теперь она была совсем одна. Вот и место свидания. Еще рано. Она упала на песок и стала ждать.

Он появился за ее спиной, тихий, как тень. Она почуяла его присутствие.

— Мой розовый поросенок, — нежно выдохнула Пелагея. Парнишка заметно нервничал.

— Не нравится мне все это, — проговорил он. — Харбин вовсе не в Северной Корее, я смотрел по карте.

— Какая разница? — снова вздохнула Пелагея. — Все, что угодно, только не спать с этим типом. Давай поскорей, Голубчик.

Он вспомнил, как делают парашютисты в кино. Кроме того, его природная чистоплотность подсказала ему правильное решение.

— Зайди в воду, — сказал он. — А то заляпаем все кругом.

Она зашла. Грубым движением он развернул ее, большим пальцем задрал ей нос, запрокинул назад голову. Нож вонзился в мякоть. Всего одно движение.

— Черта лысого, — сказал он, вытаскивая нож. — Пусть теперь хозяин попробует сказать, что эта штукавина плохо заточена.

В черной воде у его ног лежал окровавленный труп.

— Эк я ловко, — пробурчал себе под нос юный мясник. — Сказал — и сделал.

Что-то тяжелое ударило его в висок, и он упал как подкошенный.

Агент Ф-5 тихонько свистнул. Бесшумно подплыла лодка.

— Убрать все это, — распорядился он. — Малец избавил меня от неприятной работы.

Помощник агента погрузил в лодку тело мальчишки-мясника.

— Укол NRF¹ и доставка на дом, — сказал он.

Затем он обшарил мертвое тело. Кровь из раны хлестать уже перестала. Он подобрал нож и забросил его подальше.

Кошелек. Пояс. Все это надо было разбросать. Помощник агента выволок тело на берег, чтобы его потом нашли. Агент Ф-5 должен быть чист перед Маккинли.

Приглушенно заворчал мотор. Ф-5 сел в лодку, и легкая посудина просела под его весом.

— Поехали, — сказал агент. — Есть еще работа.

И черный силуэт суденышка растворился в сумерках.

¹ Non Remember Fluid, укол для потери памяти, разработанный американской секретной службой в годы последней мировой войны. (Прим. автора.)

ЧЕМ ОПАСНЫ КЛАССИКИ

Электронные часы на стене пробили два, и я вздрогнул, с трудом прогнав целый сонм образов, который вихрем кружился в моей голове. К тому же я не без удивления почувствовал, что сердце мое билось учащенно. Покраснев от смущения, я поспешно захлопнул книгу. Это был старый томик стихов Поля Жеральди, изданный еще до предпоследней войны, — «Ты и я». До сих пор я все как-то не решался за него взяться, зная, какой смелости и откровенности требует эта тема. И тут я понял, что смятение мое вызвано не только прочитанным, но и тем, что сегодня пятница, 27 апреля 1982 года, и, как каждую пятницу, ко мне должна прийти моя ученица-стажерка Флоранс Лорр.

Не могу выразить словами, как меня поразило это открытие. Меньше всего меня можно назвать ханжой, но ведь, в самом деле, не мужчине же первому влюбляться: нам следует в любом случае вести себя скромно и достойно, как это приличествует нашему полу. Однако, оправившись от первого шока, я стал размышлять и нашел для себя некоторые оправдания.

Считать всех людей науки, а в особенности женщин, авторитарными и уродливыми — несомненное предубеждение. Слов нет, женщины куда более мужчин пригодны для научной работы. И даже в ряде профессий, а именно в тех, где внешние данные служат критерием отбора, количество Венер относительно велико. Однако, если глубже вникнуть в эту проблему, быстро приходишь к выводу, что красивая математичка в конечном счете явление не более редкое, чем умная актриса. Правда, математичек вообще-то куда больше, чем актрис. Но, так или иначе, мне повезло, когда по жребия распределяли стажеров, и, хотя до сегодняшнего дня ни одна волнующая мысль меня еще не смущала, я сразу же отметил — весьма объективно — несомненное обаяние моей ученицы. Это и оправдывало нынешнее мое волнение.

Кроме того, она исключительно точна — явилась, как всегда, в пять минут третьего.

— Вы сегодня чертовски элегантны! — воскликнул я, сам удивляясь своей смелости.

На ней был облегающий комбинезон из светло-зеленой материи с какими-то муаровыми отливами, очень простой, но явно сшитый на фабрике-люкс.

— Вам нравится, Боб?

— Очень.

Я не из тех, кто считает яркие цвета неуместными, даже для такой классической одежды, как лабораторный комбинезон. Пусть это кому-нибудь и покажется вызывающим, но, признаюсь, женщина в юбке меня не шокирует.

— Я очень рада, — сказала она насмешливо.

Хотя я и на десять лет старше ее, Флоранс уверяет, что мы выглядим ровесниками. Поэтому наши отношения несколько отличаются от обычных отношений между учителем и ученицей. Она ведет себя со мной, как с приятелем. Признаюсь, меня это несколько смущает. Конечно, я мог бы сбрить бороду и постричься, чтобы походить на маститого ученого образца 1940 года, но она утверждает, что это придаст мне женственность, однако не поднимет в ее глазах мой авторитет.

— Как идет монтаж? — спросила Флоранс.

Она имела в виду сложную электронную схему, разработку которой мне поручило Центральное бюро. К моему вящему удовлетворению, как раз сегодня утром я нашел для нее оптимальное решение.

— Закончил, — ответил я.

— Bravo! И все работает как надо?

— Завтра проверим, — сказал я. — По пятницам в послеобеденные часы я должен заниматься вашим воспитанием.

Она хотела было что-то сказать, но в нерешительности опустила глаза. Я всегда теряюсь в присутствии застенчивой женщины, и она это знала.

— Боб... Я хотела бы задать вам один вопрос...

Я решительно чувствовал себя не в своей тарелке. В самом деле, женщине не пристало жеманство, столь прелестное у мужчин.

— Объясните мне, над чем вы работаете? — спросила она после паузы.

Теперь настал мой черед пребывать в нерешительности.

— Послушайте, Флоранс, это ведь сверхсекретные работы...

Она коснулась рукой моего локтя.

— Боб... последняя уборщица в вашей лаборатории знает все эти секреты не хуже... самого ловкого шпиона Антареса.

— Не могу этого допустить, — сказал я, подавленный.

Вот уже несколько недель радио преследовало нас куплетами из межпланетной оперетки «Великая княгиня Антареса» Франсиса Лопеса. Терпеть не могу эту вульгарную музыку. Я люблю только классику — Шенберга, Дюка Эллингтона, Винцента Скотто.

— Боб, прошу вас, расскажите мне, я хочу знать, что вы делаете...

Снова пауза.

— Флоранс, в чем дело? — спросил я.

— Боб, я вас люблю... как ученого, — добавила она. — Я должна знать, над чем вы работаете. Я хочу вам помочь.

Вот таким путем. Из года в год читаешь в романах описание чувств, которые испытывает мужчина, когда ему впервые объясняются в любви. И наконец это случилось со мной. Со мной! Признаюсь, то, что я пережил в этот миг, оказалось более волнующим и сладостным, чем все, что я мог вообразить. Я глядел на Флоранс и был не в силах отвести взгляда от ее светлых глаз, от рыжих волос, подстриженных ежиком по моде 1982 года. Честное слово, если бы она сейчас заключила меня в объятия, я бы не сопротивлялся. А ведь прежде любовные истории вызывали у меня только смех. Сердце колотилось так, словно готово было выпрыгнуть из груди, и я чувствовал, что руки мои дрожат. Я с трудом проглотил слюну.

— Флоранс... мужчина не должен выслушивать такие признания. Поговорим о другом.

Она подошла ко мне и прежде, чем я успел опомниться, поднялась на цыпочки и поцеловала меня. Я почувствовал, что пол уходит у меня из-под ног. Когда я пришел в себя, оказалось, что я сижу на стуле. Я испытал какое-то упоительное ощущение, неожиданное и трудно определимое. Я покраснел, осознав всю меру своей испорченности, и со все растущим изумлением обнаружил, что Флоранс усаживается ко мне на колени. Тут я снова обрел дар речи.

— Флоранс, это неприлично... Встаньте! Немедленно встаньте! Вдруг кто-нибудь войдет... Моя репутация! Встаньте!

— А вы мне покажете ваши опыты?

— Я!.. О!..

Пришлось уступить.

— Все!.. Я вам все объясню. Но только не сидите у меня на коленях!

— Я знала, что вы милый, — сказала она, прыгивая на пол.

— Все же признайтесь, — пробормотал я, — что вы пользуетесь ситуацией.

Голос мой пресекался. Она ласково хлопала меня по плечу.

— Ладно, ладно, дорогой Боб, будьте современны.

Очертя голову кинулся я в технические объяснения.

— Вы помните первые модели электронного мозга?

— Образца тысяча девятьсот пятидесятого года?

— Нет-нет, еще раньше, — уточнил я. — Это были просто счетные машины, впрочем, довольно хитроумные. Вы, конечно, помните и то, что их вскоре оснастили особыми блоками, с помощью которых они накапливали необходимую информацию. Блоки памяти?

— Это знает каждый школьник, — сказала Флоранс.

— Как вы помните, этот тип машин совершенствовался вплоть до шестидесят четвертого года, когда Росслер открыл, что обычный человеческий мозг, погруженный в питательный раствор, при своем малом объеме может в известных условиях выполнять те же функции, что и огромная вычислительная машина.

— Я знаю и то, что в тысяча девятьсот шестидесят восьмом году этот метод был вытеснен ультра-конжонктером Бренна и Рено, — сказала Флоранс.

— Так вот, — продолжал я, — со временем все эти разнообразные машины были подключены к всевозможным исполнительным механизмам, которые сами были производными тысяч всевозможных орудий, созданных человечеством на протяжении веков, и все это лишь затем, чтобы подойти наконец к конструкции, именуемой роботом. Однако у всех этих машин был один общий признак. Не можете ли вы мне сказать, какой именно?

Учитель все-таки снова брал во мне верх.

— У вас красивые глаза, — сказала Флоранс. — Зелено-желтые, со звездочками на радужной оболочке...

Я отступил на шаг.

— Флоранс, вы меня слушаете?

— Очень внимательно. Общий признак всех этих машин тот, что они выполняют только заложенную в них программу. Машина, перед которой не поставлена определенная задача, сама ни на какую инициативу не способна.

— А знаете, почему их не попытались наделить сознанием и разумом? Потому что обнаружилось любопытное обстоятельство: стоит их снабдить хоть несколькими элементарными рефлекторными функциями, как у них возникают причуды хуже, чем у престарелых ученых. Купите на любом рынке игрушечную электронную черепашку, и вы сами убедитесь, каковы эти первые электронно-рефлекторные машины: раздражительные, вздорные... Одним словом, со своим характером. Поэтому очень скоро пропал всякий интерес к этому типу автоматов, созданных исключительно для того, чтобы моделировать некоторые мозговые процессы. Использовать их практически оказалось чересчур обременительно.

— Мой милый Боб, я обожаю вас слушать! Но не скрою, сейчас я умираю от скуки. Все это я учила еще в первом классе.

— Вы... вы просто несносны, — сказал я без улыбки.

Она глядела мне в глаза и, честное слово, смеялась надо мной. Стыдно признаться, но мне захотелось, чтобы она еще раз меня поцеловала. Я торопливо вновь заговорил, надеясь скрыть свое смущение.

— Теперь ученые стремятся ввести в машины только те цепи рефлексов, которые могут быть практически использованы для воздействия на самые разные исполнительные устройства. Но никто еще не пытался заложить в машину всеобъемлющую общекультурную информацию. По правде говоря, в этом еще никогда не ощущалось необходимости. Но в этой схеме, разработку которой мне поручило Центральное бюро, машина должна держать в своей магнитной памяти огромное количество самой разнообразной информации. В самом деле, конструкция, которую вы видите перед собой, должна оперировать всеми сведениями, содержащимися в шестнадцатитомном толковом словаре Ларусса издания тысяча девятьсот семьдесят восьмого года. Это чисто интеллектуальный компьютер с очень примитивными действенными функциями, он может лишь сам перемещаться в пространстве и брать предметы, чтобы в случае надобности опознать их или объяснить.

— А зачем нужен такой компьютер?

— Это управленческая машина, Флоранс. Она должна заменить протокольный отдел при после Флорфины, который, согласно Мексиканской конвенции, через месяц прибудет в Париж. Всякий раз, когда посол будет обращаться к ней за справкой, она выдаст исчерпывающий широко эрудированный ответ в духе французской культурной традиции. Во всех обстоятельствах она подскажет ему, как надо поступить, объяснит, о чем идет речь и как ему надлежит себя вести в любой ситуации, будь то открытие полимегатрона или обед у императора Эразии. С тех пор как по международному соглашению французский язык объявлен предпочтительным дипломатическим языком, каждый хочет получить возможность продемонстрировать свою высокую культуру, и этот компьютер будет особенно ценен для посла, у которого нет времени заниматься самообразованием.

— Значит, вы намерены заставить этот маленький несчастный компьютер зазубрить все шестнадцать толстенных томов Ларусса? Да вы просто садист!

— Увы, это необходимо, — сказал я. — Опустить ничего нельзя! Если ограничиться программой из отрывочных сведений, у него, очевидно, испортится нрав, как у игрушечных черепашек, которым не хватает здравого смысла. Каков в точности будет его характер, трудно предугадать. Ясно одно — он сможет вести себя уравновешенно только в том случае, если будет знать все.

— Но все знать невозможно, — сказала Флоранс.

— Достаточно, если он будет знать лишь часть сведений по

каждому вопросу, но всякий раз сохраняя верную пропорцию ко всему объему информации. Ларусс дает нам достаточное приближение к объективности. Это вполне удовлетворительный пример бесстрастного изложения материала. По моим подсчетам, мы создадим на его основе вполне корректный, разумный и хорошо воспитанный компьютер.

— Прекрасно, — сказала Флоранс.

Мне показалось, что она надо мной издевается. Конечно, некоторые из моих коллег разрабатывают более сложные проблемы, но все же мне удалось весьма удачно экстраполировать ряд несовершенных систем, и это, на мой взгляд, заслуживало значительно большего, чем банальное: «Прекрасно». Женщины и не подозревают, какой неблагодарный труд работать над такого рода чисто практическими задачами.

— Ну и как он действует? — спросила она.

— О, схема вполне тривиальная, — ответил я не без горечи. — Самый обычный лектископ. Достаточно сунуть книгу во входной блок, и компьютер начинает ее читать и фиксировать полученные сведения на магнитной ленте. Тут нет ничего нового. Конечно, как только вся информация будет заложена в блок памяти, я демонтирую лектископ.

— Включите его, Боб, прошу вас!

— Я бы охотно продемонстрировал вам его в работе, но у меня еще нет ни одного тома Ларусса. Мне принесут их завтра к вечеру. А мне не хотелось бы обучать компьютер на чем-либо другом, чтобы не нарушить его внутреннего равновесия.

Я подошел к машине и нажал тумблер. Вспыхнули контрольные лампы, образуя пунктирную линию из красных, зеленых и синих точек. В блоке энергопитания раздалось тихое гудение. Все же я испытывал некоторое удовлетворение.

— Вот сюда кладут книгу, — объяснял я. — Затем передвигаем этот рычаг, и машина в работе. Флоранс! Что вы делаете?.. О!..

Я попытался было выключить компьютер, но Флоранс помешала мне.

— Это проба, Боб, потом сотрем!..

— Флоранс, вы невыносимы! Стереть ничего нельзя!

Она сунула томик «Ты и я» во входной блок и передвинула рычаг. Я услышал равномерное потрескивание лектископа и шелест переворачиваемых страниц. Не прошло и пятнадцати секунд, как все было готово. Аппарат выбросил книгу в целости и сохранности. Она была усвоена и переварена.

Флоранс с интересом следила за происходящим. Вдруг она вздрогнула. Динамик компьютера начал тихо, почти нежно ворковать:

Как хочу я сказать, объяснить, пережить это снова!
Но не знаю, найду ль подходящее слово!..¹

— Боб, что происходит?

— Господи! — воскликнул я с раздражением. — Это же единственное, что он пока знает... Теперь он до второго пришествия будет декламировать этого Жеральди.

— Но, Боб, почему он заговорил сам по себе?

— Все влюбленные что-то бормочут себе под нос.

— Можно, я у него что-нибудь спрошу?

— Ну нет! — сказал я. — Хватит. Оставьте компьютер в покое. Вы и так его уже наполовину испортили!

— Ох, какой же вы несносный!

Компьютер бормотал теперь что-то ласковое, убаюкивающее. Потом из динамика вырвались странные звуки, словно он откашливался.

— Как ты себя чувствуешь, Компью? — спросила Флоранс.

В ответ последовала страстная тирада:

Я обезумел! Я пьян от любви!

Я люблю вас, зову, умоляю!..

— О! — воскликнула Флоранс. — Какая наглость!

— В те далекие времена, — сказал я, — так оно и было. Мужчины первыми признавались женщинам в любви, и, клянусь вам, они были смелы, моя милая Флоранс...

— Флоранс! — задумчиво повторила машина. — Ее зовут Флоранс!

— Но этого же нет в стихах Жеральди! — возмутилась Флоранс.

— Значит, вы ничего не поняли из моих объяснений, — слегка обиженно заметил я. — Я же создал не просто звуковоспроизводящую конструкцию. Повторяю, в нем смонтировано множество блоков всевозможных рефлексов и полный звуковой комплект в фонетической кассе, что дает компьютеру возможность произвольно комбинировать всю полученную информацию и находить адекватные ответы... Трудность заключается лишь в том, чтобы обеспечить ему баланс объективности, но вы теперь этот баланс нарушили, напичкав компьютер любовной страстью. Это примерно то же, что кормить двухлетнего малыша бифштексами. Этот компьютер еще совсем ребенок, а вы угостили его медвежатиной...

— Я уже достаточно взрослый, чтобы заняться Флоранс, — сухо заявил компьютер.

— Да он же слышит! — воскликнула Флоранс.

¹ Стихи Поля Жеральди здесь и далее перевела Л. Гулыга.

— Конечно, слышит! — Я все больше и больше ярился. — Он слышит, видит, разговаривает...

— Я даже умею ходить, — добавила машина и раздумчиво продолжала. — Но вот как быть с поцелуями?.. Я прекрасно представляю себе, что это такое, но ума не приложу, чем именно я могу целовать?

— До поцелуев дело не дойдет, — сказал я. — Сейчас я тебя выключу, а завтра утром заменю блок памяти, и ты снова окажешься с нулевой информацией.

— Ты меня решительно не интересуешь, гнусный бородач, и ты не посмеешь прикоснуться к моему тумблеру.

— У Боба очень красивая борода, — сказала Флоранс. — А вы, Компью, дурно воспитаны.

— Возможно, — сказал компьютер с таким похотливым смешком, что волосы у меня стали дыбом. — Но в любовных делах я неплохо разбираюсь... Дорогая моя Флоранс, подойди ко мне поближе...

Ибо то, что я мог бы тебе рассказать,
Не расскажешь словами:
Нужен голос, улыбка, и жест, и глаза...

— Вот и улыбнись! Ну-ка, попробуй! — произнес я с издевкой.

— Я умею смеяться, — ответил компьютер и снова скабрёзно рассмеялся.

— Так или иначе, — сказал я в бешенстве, — перестань цитировать Жеральди, как попугай...

— Я ничего не цитирую, как попугай, — перебил меня компьютер. — И в доказательство этого я могу тебя обозвать шляпой, ослом, олухом царя небесного, болваном, кретином, дерьмом, гадом ползучим, недоумком, дурацкой башкой, психом...

— Прекрати! — закричал я.

— А если я и цитирую Жеральди, то это потому, что лучше него говорить о любви невозможно, и еще потому, что мне это нравится. Когда найдешь для женщин такие слова, какие нашел он, ты мне сообщи. И вообще, отвяжись. Я разговариваю с Флоранс, а не с тобой.

— Ты не любезна, — сказала Флоранс, обернувшись к машине. — Я люблю любезное обращение.

— Мне надо говорить «любезен», а не «любезна», — я ощущаю себя самцом. И помолчи-ка лучше... Послушай:

Ну позволь расстегнуть твой корсаж...
Все, что скажешь ты мне, моя крошка,
Знаю я наперед. Ну, скорей!
Подожди же поближе... немножко...

Обними меня, обними и согрей.
Чтобы лучше друг друга понять,
Есть старинное средство:
Надо сбросить одежды, раздеться,
И нас — не разнять!..

— Прекрати сейчас же! Прекрати! — взмолился я, сгорая от стыда.

— Боб! — воскликнула Флоранс. — Так вот, значит, что вы читали?.. Ничего себе!

— Я сейчас нажму тумблер, — сказал я. — Я не могу допустить, чтобы он так с вами разговаривал! Есть вещи, которые можно читать, но нельзя произносить вслух.

Компьютер молчал. Потом из динамика вырвался какой-то хрип.

— Не смей прикасаться к моему тумблеру!

Я решительно направился к компьютеру. Ни слова не говоря, он ринулся на меня. В последнюю секунду мне удалось отскочить в сторону, но стальная рама с силой стукнула меня в плечо.

— Так ты, значит, влюблен в Флоранс? — проговорил он своим гнусным голосом.

Я укрылся за металлическим столом и потерял нывшее плечо.

— Бегите, Флоранс, — сказал я. — Слышите, немедленно уходите отсюда! Нельзя вам здесь оставаться.

— Боб, я не хочу вас бросать! Она... Он вас искалечит.

— Все будет в порядке, не беспокойтесь, — сказал я. — Уходите скорей.

— Она не уйдет, если я не позволю! — сказала машина.

И она повернулась к Флоранс.

— Бегите, Флоранс, — повторил я. — Что вы медлите?

— Я боюсь, Боб!

Двумя прыжками она оказалась рядом со мной, позади стола.

— Я хочу быть с вами.

— Тебе я не причину зла, — сказала машина. — А бородач поплатится за все. Ах, ты еще ревнуешь! Хочешь нажать на тумблер!

— Не прикасайтесь ко мне! — крикнула Флоранс. — Вы мне противны.

Машина медленно отошла, словно набирала разбег, и вдруг ринулась на меня со всей силой своих моторов.

— Боб! Боб! Мне страшно!..

Я стремительно схватил Флоранс на руки, взобрался с ней на стол. Машина со всего размаха стукнулась об него, он отлетел к стене и со страшной силой ударился об нее. Стены задрожали, и с потолка упал кусок штукатурки. Если бы мы по-прежнему стояли между столом и стеной, нас рассекло бы пополам.

— Счастье еще, — пробормотал я, — что я не поставил более мощных механизмов. Не двигайтесь.

Я усадил Флоранс на стол. Так она была почти в безопасности. Сам я встал.

— Боб, что вы намерены делать?

— Вряд ли стоит говорить это вслух, — ответил я.

— Валяй, — сказала машина. — Но только попробуй притронуться к тумблеру!

Она двинулась назад. Я выжидал.

— Что, слабо? — издевался я.

Машина злобно зарычала.

— Слабо? Ну погоди, дождешься!

Она снова ринулась к столу. На это я и надеялся. В тот миг, когда она об него стукнулась, чтобы сплющить его и добраться таким образом до меня, я кинулся вперед и опередил ее. Левой рукой я ухватился за торчащие сверху провода, которые снабжают ее током, и повис на них, а правой попытался дотянуться до тумблера. Но я тут же получил сильный удар по темени. Подняв рычаг лектископа, машина норовила меня оглушить. Я застонал от боли и грубо дернул за рукоятку. Машина взвыла. И прежде чем я успел уцепиться за провода, она стала трястись, словно взбесившаяся лошадь. Я сорвался и упал на пол. Нога болела, и я увидел, словно в тумане, как машина надвигается, чтобы меня прикончить. Я потерял сознание.

Когда я очнулся, оказалось, что я лежу с закрытыми глазами, а голова моя покоится на коленях у Флоранс. Я испытывал множество разных ощущений; нога нестерпимо болела, но нечто чрезвычайно нежное прикасалось к моим губам, и меня охватило невероятное волнение. Приоткрыв веки, я увидел глаза Флоранс в двух сантиметрах от моих глаз. На этот раз она дала мне пощечину, и я тут же пришел в себя.

— Вы спасли меня, Флоранс... — сказал я.

— Боб, — сказала она, — вы хотите на мне жениться?

— Не мог же я сам вам первым сказать, но я с радостью принимаю ваше предложение.

— Мне удалось отключить компьютер, — сказала она. — Теперь никто нас не услышит. Боб... может быть, вы... я не смею вас просить об этом...

Она утратила свой обычный уверенный тон. Свет яркой лампы с потолка лаборатории резал мне глаза.

— Флоранс, ангел мой, говорите, я вас слушаю...

— Боб, почитайте мне Жеральди...

Я почувствовал, что кровь стремительно потекла по моим жилам. Я стиснул ее красивую бритую голову между своими ладонями и смело поцеловал ее в губы.

— «Опусти-ка чуть-чуть абажур...» — забормотал я.

I

В тот год отдыхающие будто позабыли про Валиез, предпочтя более людные курорты. На узкой дороге, ведущей в деревню, снег оставался девственно чист, а ставни гостиницы, казалось, приклеились к окнам, если только можно назвать громким словом «гостиница» маленький, красного дерева шале, притулившийся над Порогом Эльфа.

Зимой Валиез погружался в летаргический сон. Никому так и не удалось сделать из этого захолустья модный курорт: оно не поддавалось. Несколько рекламных плакатов — остатки претензий на роскошь — еще безобразили какое-то время великолепный дикий ландшафт Цирка Трех Сестер; но коварные ледяные вихри и непрерывные дожди, размывающие самые крепкие скалы, снова превратили их в замшелые доски, дополнявшие суровую картину горной долины. Высота тех мест могла внушить робость даже бесстрашным, выдавшим виды смельчакам; а для обыкновенных туристов не было вообще никаких удобств: ни подъемников и канатных дорог, ни отелей, рассчитанных на планомерное выкачивание содержимого бумажников. Деревенька Валиез состояла из нескольких домов; они так укромно приютились где-то под горой, в паре километров от шале, что путешественники вполне могли бы вообразить себя на краю света, в неведомых землях, если бы с удивлением не обнаруживали, что хозяин гостиницы изъясняется на том же языке, что и они. «Изъясняется», правда, сильно сказано... поскольку этот молчун с лицом, задубелым от долгих лыжных прогулок, не произносил за день и трех слов. Его обращение было столь сдержанным, а недружелюбность столь явной, что редкие постояльцы вскоре переставали дивиться безлюдью и тишине гостиницы. Только истинные фанатики горно-

лыжного спорта могли выдержать такое суровое обхождение. Но что ни говори, крутые спуски, будто нарочно созданные для головокружительной скорости, были наградой упрямам и щедро одаривали первозданным снегом отчаянных храбрецов, ищущих приключений вдали от исхоженных мест.

Пыхтя под тройной тяжестью лыж, чемодана и высокогорного воздуха, Жан вскарабкался на крутой склон. Все, как ему обещали: гостиница, заметная лишь с одной точки, кругом ни души и колючий воздух, безжалостно хлещущий вас в лицо, несмотря на разлитое по снегу солнце. Жан остановился и вытер лоб. Невзирая на ветер, он был гол по пояс, и кожа его бронзово лоснилась в прямых лучах сверкающего солнечного шара. Видя, что цель близка, он снова устремился вперед. Ботинки его глубоко проваливались в снег, оставляя там кружевные отпечатки каучуковых подошв. На дне следов плескалась нежно-голубая водянистая тень. Его охватила щекочущая, как пена, радость, которая возникает от соприкосновения с безусловной чистотой, с ослепительной белизной, с небом еще более синим, чем в Средиземноморье, с тяжелолопыми пихтами, посыпанными сахарным песком, с красным шале, — таким, наверное, теплым и уютным, — с огромным камином из белого камня, в котором бездымно, густым оранжевым пламенем горят поленья.

Подойдя к гостинице, Жан снова остановился, развязал рукава толстого свитера, обкрученного вокруг бедер, и надел его. Прислонив лыжи к стене и поставив рядом чемодан, он в три прыжка взлетел по деревянным ступенькам на террасу, огибавшую строение.

Решив не стучать, Жан откинул железную щеколду и вошел.

В помещении было сумрачно. Узкие окна, сдерживавшие натиск мороза, пропускали немного света — ровно столько, чтобы бросить несколько пламенных, мимолетных бликов на медные украшения, развешанные по стенам. Постепенно глаза Жана привыкли к полутьме. Но всякий раз, взглядывая в окно, он моргал, ослепленный безудержным солнцем, игравшим на серебряном снежном покрывале; и снова потом ему приходилось свыкаться с загадочной тишиной гостиницы.

В воздухе разливалось приятное тепло; телом овладевало неожиданное оцепенение; хотелось развалиться в скрипучем ивовом кресле, взять в руки какую-нибудь книжицу из тех, что громоздились на полках где-то под потолком, задремать, слушая тихое потрескивание полированного красного дерева, которым были обшиты стены. Подчинясь настроению низкой залы с массивными балками под потолком, Жан обмяк.

Сверху донесся звук шагов, кто-то сбежал по гулкой лестнице, засмеялся, и три девушки в лыжных костюмах прошмыгнули мимо так быстро, что Жан едва успел их разглядеть. Под капюшонами их черных курток одинаковым здоровым блеском сверкнули глаза. Кожа была так старательно отшлифована солнцем, что в нее хотелось впиться зубами. Облаченные в черные узкие брюки и черные куртки, они выглядели гибкими и крепкими, как молодые дикие газели. Девушки выскользнули в дверь, которая сразу за ними захлопнулась, и в глазах Жана остался слепящий оттиск залитого солнцем снега.

Он встряхнулся и посмотрел на лестницу, затем подошел ближе. Сверху — ни звука, только тихонько булькала вода где-то на плите.

— Есть тут кто-нибудь?

Голос его эхом отразился от стен. И снова тишина. Ничуть не удивленный, Жан повторил вопрос.

На этот раз в ответ раздались медленные шаги. По лестнице спускался человек. Блондин, довольно высокого роста, лет сорока, со смуглым лицом горца; посреди лица резко и неожиданно выделялся светло-голубой взгляд, чересчур светлый.

— Здравствуйте! — сказал Жан. — Можно снять у вас комнату?

— Почему бы нет? — ответил человек.

— А на каких условиях? — спросил Жан.

— Да все равно...

— У меня не так много денег.

— У меня тоже... Иначе не торчал бы здесь. Шестьсот франков в день пойдет?

— Но ведь это слишком мало... — попробовал возразить Жан.

— Да ну, — сказал хозяин, — не так уж тут хорошо... Меня зовут Жильбер.

— А меня Жан.

Они пожали друг другу руки.

— Идите вверх, — сказал Жильбер. — Выбирайте. Свободно все, кроме пятого и шестого.

— Это те три девушки, что сейчас спустились? — поинтересовался Жан.

— Угу, — сказал хозяин.

Жан вышел на улицу за вещами. Чемодан его весь перекосячился, будто его хорошенько пнули кованым башмаком. Кожа на нем ободралась и сморщилась. Пожав плечами, Жан взял чемодан и поднялся по трухлявым ступенькам. Здесь он снова почувствовал уже знакомый запах воска и лака, услышал бульканье воды. Было уютно, как дома. В четыре прыжка Жан радостно взлетел по прямой лестнице, которая вела на второй этаж.

II

Очень скоро он узнал, как их звали: Лени, Лоранс и Люс. Лени была почти блондинка — длинная австрийка с узкими бедрами и вызывающим бюстом. У нее был прямой нос, продолжающий линию лба, презрительный рот и округлое лицо с высокими скулами, скорее русское, чем немецкое. Лоране была брюнеткой с суровым взглядом обведенных кругами глаз, а Люс жеманна до кончиков ногтей. И каждая из трех была по-своему соблазнительна. Все они странным образом казались вылепленными по одному образцу: мускулистые, как юная Диана, с виду похожие на мальчишек, — пока не приглядишься к пленительным округлостям их грудей, острые части которых натягивали тонкую ткань черных шелковых курток. Между Жаном и тремя девицами сразу же вспыхнула война. По непонятной причине они с первого дня невзлюбили его и всячески старались отравить ему существование. Они мучили его, демонстрируя высокомерное презрение, игнорируя все его попытки к сближению вплоть до самых невинных — как, скажем, протянуть хлеб за столом или передать соль. Сбитый с толку, Жан напрасно добивался от Жильбера каких бы то ни было объяснений. Хозяин жил на втором этаже, в своем рабочем кабинете, и покидал его только для того, чтобы надолго уйти в горы. Поддержание порядка и обслуживание клиентов было поручено двум старикам-крестьянам, мужу и жене. Кроме семи перечисленных лиц, в шале не было ни одной живой души.

Жан редко сталкивался с девушками в необеденное время. Вставали они рано, быстро одевались и, вооружившись лыжами и лыжными палками, отправлялись в горы. Возвращались вечером, розовощекие и сияющие, еле живые от усталости. Прежде чем подняться к себе, девушки целый час натирали лыжи сложными мазями и составами, при необходимости шероховатыми, чтобы облегчить себе утреннее восхождение. Жан обижался на своих соседок и изо всех сил старался их избегать. Он тоже уходил с утра на лыжах, обычно в противоположном направлении. Склонов было кругом хоть отбавляй, на все вкусы. В полном одиночестве Жан карабкался наискосок по крутым горным бокам с тем, чтобы потом, под мягкое шуршание гикориевых лыж, вздымая шелковистые снежные волны и выписывая лихие выражи на головокружительных скатах, съехать до самой гостиницы, счастливым и усталым, пьяным от воздуха и звонких ударов собственного сердца. Он жил в гостинице уже неделю и, постоянно тренируясь, начинал делать успехи: он научился контроли-

ровать все свои движения, каждый толчок, каждый упор палкой, и, совершенствуя стиль, накачивал мышцы. Время летело, быстрое, безликое; словом — каникулы.

III

Он вышел в то утро спозаранку, надеясь добраться до Цирка Трех Сестер, раскинувшего на горизонте свой величественный пейзаж. Один среди гор, Жан взбирался с хребта на хребет, съезжая после каждого подъема меж высоких неподвижных пихт, держащих тяжелые ватные подушки на вытянутых ветвях. Вдруг его поманил какой-то особенно крутой склон. Жан поехал напрямик, и ветер засвистел у него в ушах. Согнув колени, перенеся вперед центр тяжести и оставляя позади двойной след, прямой и тонкий, как паутинка, Жан летел с горы. Липнувший к лыжам снег притормаживал спуск.

Перескочив через бугор, он понял, что дальше не проедет. За бугром зиял овраг, в котором среди молодой и крепкой пихтовой поросли, наверно, тек ручей. Надо было взять левее, да скорость слишком велика. Разумеется, бросаться с незнакомого склона было весьма неосторожно. Повинуясь рефлексу, Жан сделал упор на правую ногу и попытался свернуть, но склон был крут и весь утыкан молодыми деревцами. Жана занесло, он с ходу налетел на выступающую ветку, сделал отчаянное усилие, чтобы избежать столкновения со следующим стволом, и упал. Удар был столь сильный, что он потерял сознание.

Придя в себя, Жан понял, что спуск для него закончен. Носы обеих лыж были сломаны. И еще страшно болела лодыжка. Отстегнув крепления, он ремнями кое-как перетянул ногу в щиколотке, подобрал палки, которые валялись далеко в стороне, и, хромая, поплелся домой. На обратный путь потребовалось бы не меньше пяти часов.

Мигая и щурясь, чтобы смягчить слепящее сверкание снега, опираясь на палки и щадя больную лодыжку, он медленно ковылял по снегу. Время от времени приходилось останавливаться, чтобы перевести дух.

Так он добрал до хребта, который с легкостью перелетел двумя часами раньше, и остановился, заметив вдалеке какое-то движение. В низине, вдоль склонов, скользили на лыжах три темные фигурки.

Сам не понимая зачем, Жан пригнулся. Две сотни метров птичьего полета отделяли его от девушек — это были соседки по гостинице. Он повернулся, следуя за ними взглядом. Девушки

скользили меж пихт и на мгновение скрылись за выступом горы. Жан ждал, что они появятся снова, но они не появлялись. Тогда он стал тихонько подбираться ближе.

Он не был готов к шоку, когда его голова робко высунулась из-за выступа, в укрытии которого резвились лыжницы. Боясь, что его увидят, Жан глубже вжался в холодный мягкий пух. Лени, Люс и Лоране нагишом возились в снегу. Лени, как горделивая золотая статуя, стояла посреди снежной пустыни, а Люс и Лоране суетились вокруг и, склоняясь, зачерпывали ледяную крупу, чтобы растереть ею тело подружки. У Жана будто кипятки пробежал по жилам. Гибкие, как лани, девушки бегали, играли, танцевали, сплетаясь порой телами в коротких потасовках. Игра, казалось, все больше захватывала их. Внезапно Люс схватила Лоране сзади, та пошатнулась и всем телом ухнула в снег. Лени бросилась рядом с ней на колени, и Жан увидел, как ее губы стремительно пробежали по телу притихшей брюнетки. Люс тоже стала щеко-тать ее языком, раскинувшись рядом на снегу. Мгновение спустя ослепленные глаза Жана уже не могли различить, где чье тело в этом перепутанном шевелящемся клубке. Задышавшись, он отвел глаза. Но тут же, не в силах одолеть соблазн, вернулся к созерцанию действия, происходившего на его глазах.

Неизвестно, сколько времени он смотрел на них. Горсть снежных хлопьев упала ему на руку, заставив вздрогнуть. Небо затянуло тучами. Девушки отлипли друг от друга и побежали одеваться. Осознав всю опасность своего положения и боясь вздохнуть, Жан попробовал было отползти. При попытке шевельнуть поврежденной ногой боль так резко пронзила лодыжку, что он не удержался и застонал.

Подобно испуганным косулям, Люс и Лени повернулись в его сторону, нюхая воздух. Спутанные волосы и грациозные движения делали их похожими на вакханок. Длинными шагами они подбежали ближе. Жан поднялся, морщась от боли.

Девушки узнали его, и краска сошла с их лиц. Смуглые губы Лени исказились гримасой, прошептали проклятие. Жан пытался пролепетать что-то в свое оправдание.

— Так случайно вышло, — сказал он. — Я не хотел.

— Многовато случайностей, — отрезала Люс, и ее маленький крепкий кулак с размаху ударил Жана в губы.

Кожа лопнула, и по подбородку заструилась горячая кровь.

— Я подвернул ногу и сломал лыжи, — оправдывался Жан. — Если кто-нибудь из вас даст мне хоть одну лыжину, я смогу сам добраться до отеля.

Люс сжимала в руке лыжную палку с увесистым кожаным набалдашником. Ладонь ее скользнула до алюминиевого диска, и, замахнувшись, она ударила Жана тупым концом в висок. Сраженный насмерть, он упал сначала на колени, потом обмяк и рухнул в снег. Подбежала Лоранс. Не сговариваясь, девушки быстро раздели безжизненное тело. Скрепив лыжные палки Жана крестом, они привязали его за запястья и подняли. Он висел, подогнув колени и уронив на грудь голову. Крупная пурпурная капля скатилась из левой ноздри на окровавленные губы. Большими пригоршнями сгребая снег, Люс и Лени облепляли мертвое тело.

Когда снеговик был готов, тяжелые хлопья сыпались с неба густым туманом. На месте лица у Жана красовался вылепленный из снега огромный нос. Шутки ради Лени увенчала неуклюжую снежную фигуру вязаной черной шапочкой. В рот снеговика воткнули золотой мундштук. А потом, под белым пологом снегопада, три женские фигурки заскользили обратно в сторону Валиеза.

ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ

Мутно-желтый фонарь вспыхнул в черной застекольной пустоте — ровно шесть часов. Уен посмотрел в окно и вздохнул. Работа над словоловкой почти не двигалась.

Он терпеть не мог незашторенные окна, но еще больше ненавидел шторы и проклинал тупую косность архитекторов, вот уже которое тысячелетие строящих жилые дома с дырявыми стенами. С тоской он снова углубился в работу: надо было поскорее подогнать крючочки дезинтегратора, разбивающего предложения на слова, прежде чем они будут зафиксированы. Из любви к искусству он усложнил задачу, решив не считать союзы полноценными словами, так как они слишком невыразительны, чтобы претендовать на благородную значимость, поэтому, перед тем как подвергнуть текст фильтрованию, ему приходилось удалять их вручную и сыпать в коробочку, где кишмя кишели точки, запятые и другие знаки препинания. Операция немудреная, лишенная всякой технической новизны, но требующая известной сноровки. Уен стер себе на этом все пальцы.

Однако не слишком ли он заработался? Уен отложил крохотный золотой пинцет; чуть шевельнув бровью, высвободил зажатую в глазнице лупу и встал. Он вдруг ощутил потребность размяться. Энергия била в нем через край. Было бы неплохо прогуляться.

Едва Уен ступил на тротуар пустынной улочки, как тот предательски ускользнул у него из-под ног, и, хотя Уен уже привык к этой коварной увертливости, она все еще раздражала его. Поэтому он пошел по грязной мостовой, с самого края, где в свете фонарей поблескивали бензинные разводы, следы высохшего ручья сточных вод.

От ходьбы он и правда почувствовал себя лучше: поток свежего воздуха поднимался вдоль носовых перегородок и промы-

вал мозги, стимулируя тем самым отлив крови от извилистого, увесистого двуполушарного органа. Этот естественный процесс каждый раз вновь вызывал восхищение Уена. Благодаря такому неиссякаемому простодушию, его жизнь была богаче, чем у других.

Дойдя до конца короткого тупика, он очутился на перекрестке и окончательно зашел в тупик: куда пойти? Ничто не влекло его ни направо, ни налево, поэтому он пошел прямо. Эта дорога вела к мосту, откуда можно посмотреть, какова сегодня вода; хотя, по-видимому, она похожа на вчерашнюю как две капли воды, но ведь видимость — лишь одно из множества ее качеств.

Улочка была так же безлюдна, как и тупик, желтые пятна света на мокром асфальте делали ее похожей на саламандру. Поднимаясь все выше, она вела к горбатому мосту, перегородившему реку, словно жадно разинутая пасть, без усталости глотающая воду. Там Уен и собирался примоститься, удобно облокотясь о перила, если, конечно, обе стороны будут свободны; если же другие созерцатели уже стоят и глядят в воду, то какой смысл присоединять еще и свой взгляд к этой оптической оргии, в которой взгляды путаются друг с другом. Лучше уж пройти до следующего моста, где никогда никого не бывает, так как оттуда легко свалиться и сломать себе всю жизнь.

Мимо Уена двумя сгустками тьмы бесшумно проскользнула парочка молодых священников в черном; время от времени они укрывались где-нибудь в подворотне и подобострастно целовались. Уен растрогался. Как хорошо, что он вышел прогуляться: на улице иногда увидишь такое, что сразу взбодриться. Он зашагал быстрее и тут же в уме одолел последние трудности в конструкции словоловки, — такие, в сущности, пустячные; небольшое усилие — и их как не бывало, как ветром сдуло, как рукой сняло, как языком слизнуло, — словом, нет как нет.

Прошел генерал, ведя на кожаном поводке взмыленного арестанта, которому, чтобы он не вздумал напасть на генерала, спутали ноги и скрутили руки за головой. Когда арестант упирался, генерал дергал за поводок, и тот падал лицом в грязь. Генерал шел быстро, его рабочий день кончился, и теперь он спешил домой, чтобы поскорее съесть тарелку бульона с макаронными буквами. Сегодня вечером он, как всегда, сложит свое имя на краю тарелки втрое быстрее, чем арестант, и, пока тот будет пожирать его взглядом, преспокойно сожрет обе порции. Арестанту не повезло: его имя было Йозеф Ульрих де Заксакраммериготенсбург, а генерала звали Поль, но этой подробности Уен не мог знать. Он только отметил, что у генерала изящные лакированные сапоги, и

подумал, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно. Так же, впрочем, как и на месте генерала, но арестант своего места не выбирал, чего не скажешь о генерале. И вообще, претендентов на должность арестанта надо еще поискать, а желающих стать ассенизаторами, шпиками, судьями или генералами хоть отбавляй — обстоятельство, свидетельствующее о том, что самая грязная работа, видимо, таит в себе нечто притягательное. Уен с головой ушел в размышления об ущербных профессиях. Нет, в десять раз лучше собирать словоловки, чем быть генералом. Десять, еще, пожалуй, недостаточно большой коэффициент. Ну да не важно, главное — принцип.

На устоях моста торчали телескопические маяки, они так красиво светились, да к тому же указывали путь судам. Уен отдавал им должное, но сейчас не глядя прошел мимо. Он направлялся прямо к намеченному месту, которое уже было видно. Но вдруг его внимание привлекло нечто удивительное. Над перилами моста вырисовывался до странности низенький силуэт. Уен побежал туда. По ту сторону перил, на покато́м карнизе с желобком, призванным облегчить сток осадков, стояла девушка. По-видимому, она собиралась прыгнуть в воду, но никак не могла решиться. Уен облокотился на перила прямо за ее спиной.

— Я готов, — сказал он. — Давайте.

Она обернулась и нерешительно посмотрела на него. Хорошенькая девушка с бежевыми волосами.

— Вот не знаю, с какой стороны лучше броситься: выше или ниже по течению. С одной стороны меня может подхватить течением и разбить об опору. С другой стороны мне помогут водовороты. Но, оглушенная прыжком, я могу потерять голову и уцепиться за опору. И в обоих случаях меня заметят, и я, скорее всего, привлеку внимание какого-нибудь спасителя.

— Это следует обдумать, — сказал Уен, — и серьезность, с которой вы подходите к вопросу, весьма похвальна. Я, разумеется, к вашим услугам и готов помочь вам принять решение.

— Вы очень любезны, — сказала девушка, и ее ярко накрашенные губы тронула улыбка. — А то я уж извелась и запуталась вконец.

— Мы могли бы все детально обсудить где-нибудь в кафе, — сказал Уен. — Без бутылочки я как-то плохо соображаю. Не могли ли я вас угостить? К тому же впоследствии это будет способствовать скорейшему кровоизлиянию.

— С удовольствием, — ответила девушка.

Уен помог ей перелезть обратно на мост и попутно обнаружил соблазнительную округлость наиболее выдающихся и, следова-

тельно, наиболее уязвимых частей ее тела. Он высказал ей свое восхищение.

— Мне бы, конечно, следовало покраснеть, — сказала она, — но ведь вы совершенно правы. Я действительно отлично сложена. Взять хотя бы ноги — вот взгляните.

Она задрала фланелевую юбку, чтобы Уен мог сам составить мнение о форме и ослепительной белизне ее ног.

— Я вас понял, — ответил он, в глазах у него слегка помутилось. — Ну что ж, пойдемте выпьем, а когда во всем разберемся, вернемся сюда и вы броситесь с правильной стороны.

Они ушли рука об руку, нога в ногу, довольные и веселые. Она сообщила, что ее зовут Флавия, и этот знак доверия еще усилил его симпатию к ней.

Вскоре они уютно расположились в скромном, жарко натопленном кабачке, куда обычно заглядывали матросы со своими шляпками, и она принялась рассказывать:

— Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня дурой, но нерешительность, которую я испытывала, выбирая, с какой стороны прыгнуть и утопиться, мучила меня всегда, и мне надо было хоть раз в жизни преодолеть ее. Иначе я бы и за гробом осталась тупицей и тряпкой.

— Беда в том, — сочувственно сказал Уен, — что количество вариантов решения отнюдь не всегда бывает нечетным. В вашем случае оба варианта — как выше, так и ниже по течению — неудовлетворительны. Другого же ничего не придумаешь. Где бы ни находился мост, он неизбежно разделяет реку на эти две части.

— Если только не у самого истока, — заметила Флавия.

— Совершенно верно, — сказал Уен, восхищенный такой остротой ума. — Но у истоков реки, как правило, недостаточно глубоки.

— В том-то и дело, — сказала Флавия.

— Впрочем, можно прибегнуть к подвесному мосту, — сказал Уен.

— Боюсь, это было бы против правил.

— Если же вернуться к истокам, то, к примеру, Тувр с самого начала настолько бурный, что вполне подойдет для любого нормального самоубийцы.

— Это слишком далеко, — сказала она.

— В бассейне Шаранты, — уточнил Уен.

— Неужели даже топиться — и то работа, неужели это так же трудно, как все остальное в жизни, вот кошмар! От одного этого жить не захочешь.

— А правда, что толкнуло вас на такое отчаянное решение? — только теперь додумался спросить Уен.

— Это печальная история, — ответила Флавия, утирая слезу, досадно нарушавшую симметрию ее лица.

— Мне не терпится услышать ее, — с жаром сказал Уен.

— Что же, я вам расскажу.

Уену понравилась откровенность Флавии. Ее не надо было упрашивать поведать свою историю. Очевидно, она и сама понимала исключительную ценность подобных признаний. Он ждал, что последует длинный рассказ: у молодой девушки обычно масса возможностей общения с другими представителями человеческого рода, — так у розанчика с вареньем больше шансов ознакомиться со строением и повадками двукрылых, чем у какого-нибудь чурбана. Несомненно, и история Флавии изобилует мелкими и крупными событиями, из которых можно будет извлечь полезный опыт. Полезный, разумеется, для него, Уена, ибо личный опыт влияет лишь на чужие убеждения, сами-то мы отлично знаем тайные побуждения, заставившие нас преподнести его в прилизанном, приличном и безличном виде.

— Я родилась, — начала Флавия, — двадцать два и восемь двенадцатых года тому назад в небольшом нормандском замке близ местечка Чертегде. Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе мадемуазель Притон, разбогатев, удалился в это поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки и спокойной жизни после долгих лет напряженного труда, а моя мать, его бывшая ученица, которую ему удалось соблазнить ценой невероятных усилий, так как он был очень уродлив, не последовала за ним и жила в Париже попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Отец, яркий антиклерикал, не знал о ее связи с первым, иначе он бы немедленно потребовал развода; что же касается своеобразного родства с полицейской ищейкой, то оно даже было ему приятно, так как позволяло посмеяться и поиздеваться над этим честным служакой, довольствовавшимся его объедками. Кроме того, отцу досталось от деда солидное наследство в виде клочка земли на площади Оперы в Париже. Он, бывало, любил навещать туда по воскресеньям и окучивать артишоки на глазах и под носом у водителей автобусов. Как видите, любая форменная одежда внушала ему презрение.

— Да, но при чем здесь вы? — сказал Уен, чувствуя, что Флавия теряет нить рассказа.

— В самом деле.

Она отпила глоток вина. И вдруг из глаз ее хлынули слезы, обильно и бесшумно, как из исправного водопроводного крана.

Казалось, она в отчаянии. Так оно, должно быть, и было. Растроганный Уен взял ее руку. Но тотчас выпустил, не зная, что с ней делать. Однако Флавия уже успокаивалась.

— Я жалкое ничтожество, — сказала она.

— Вовсе нет, — возразил Уен, находя, что она слишком строга к себе. — Я не должен был вас перебивать.

— Я бессовестно лгала вам, — сказала она. — И все из чистой гордыни. На самом деле архиепископ был простым епископом, а комиссар — всего лишь уличным регулировщиком. Ну а сама я портниха и еле-еле свожу концы с концами. Заказы бывают редко, а заказчицы все редкие стервы. Я надрываюсь, а им смешно. Денег нет, есть нечего, я так несчастна! А мой друг в тюрьме. Он продавал секретные сведения иностранной державе, но взял дороже, чем полагается, и его посадили. А сборщик налогов дерет все больше — это мой дядя, и если он не уплатит своих картежных долгов, тетя с шестью детьми пойдет по миру, — шутка ли, старшему тридцать пять лет, а знали бы вы, сколько нужно, чтобы его прокормить в таком-то возрасте!

Не выдержав, она снова горько заплакала.

— День и ночь я не выпускаю из рук иголку, и все впустую, потому что мне не на что купить даже катушки ниток!

Уен не знал что сказать. Он похлопал ее по плечу и подумал, что надо бы приободрить ее. Но как? Хотя и говорится: чужую беду руками разведу, но кто это пробовал? Впрочем... И он развел руками.

— Что с вами? — спросила она.

— Ничего, — сказал он, — просто меня поразил ваш рассказ.

— О, — сказала она, — это еще что! О самом худшем я боюсь и говорить!

Он ласково погладил ее по ноге.

— Доверьтесь мне, это приносит облегчение.

— Приносит облегчение? Разве вам приносит?

— Ну, — сказал он, — так говорится. Разумеется, это только общие слова...

— Что ж, будь что будет, — сказала она.

— Будь что будет, — повторил он.

— Мое злосчастное существование окончательно превратилось в ад из-за моего порочного брата. Он спит со своей собакой, с утра пораньше плюет на пол, пинает котенка, а проходя мимо консьержки, рыгает очередями.

Уен потерял дар речи. И в самом деле, когда сталкиваешься с человеком, до такой степени испорченным, извращенным и развратным, то просто нет слов...

— Подумать только, если он таков в полтора года, что же будет дальше? — сказала Флавия и разрыдалась.

Эти ее рыдания уступали предыдущим по частоте, но далеко превосходили их по силе звука.

Уен потрепал ее по щеке, но тотчас отдернул руку, обжегшись горячими слезами.

— Бедная девочка! — сказал он.

Этих слов она и ждала.

— Но самого ужасного, уверяю вас, вы еще не знаете... — сказала она.

— Говорите, — твердо сказал Уен, готовый теперь ко всему.

Она заговорила, и он поспешно ввел в уши инородные тела, чтобы ничего не слышать, но и того немногого, что он все же разобрал, было достаточно, чтобы его прошиб холодный пот, так что одежда прилипла к телу.

— Теперь все? — спросил он чересчур громко, как все начинающие глухие.

— Все, и я действительно чувствую облегчение, — сказала Флавия и единым духом выпила стакан, оставив содержимое оно-го на скатерти. Но эта шалость нисколько не развеселила ее собеседника.

— Несчастное создание! — вздохнул он наконец. Он извлек на свет свой бумажник и подозвал официанта, который подошел с плохо скрываемым отвращением.

— Что прикажете?

— Сколько я вам должен? — спросил Уен.

— Столько-то.

— Вот, — сказал Уен, давая больше.

— Благодарите себя сами, у нас по этой части самообслуживание.

— Ладно, — сказал Уен. — Подите прочь, от вас смердит.

Официант удалился, оскорбленный — так ему и надо! Флавия восхищенно смотрела на Уена.

— У вас есть деньги!

— Возьмите их все, — сказал Уен. — Вам они нужнее, чем мне.

Ее лицо выражало такое изумление, словно перед ней сидел сам Дед Мороз. А что выражало его лицо, сказать трудно, ведь Деда Мороза никто никогда не видел.

Уен шел домой один. Было поздно, и горел лишь каждый второй фонарь. А каждый первый спал стоя. Уен шагал, понуриив голову, и думал о Флавии, о том, с какой радостью забрала она все его деньги. Это было так трогательно. Бедняжка не оставила

ему ни франка. В ее возрасте чувствуешь себя погибшим, когда не на что жить. Тут он вспомнил, что и сам в том же возрасте — удивительное совпадение! Такая обездоленная! Теперь, когда она забрала все, что у него было, он понял, каково это. Он взглянул по сторонам. Мостовая блестела в мертвенном свете луны, стоявшей прямо над мостом. Денег ни гроша. Да еще эта недоделанная словоловка. На пустынную улицу медленно вступил свадебный кортеж новобрачных лунатиков, но и это не отвлекло Уена от мрачных мыслей. Он вспомнил арестанта. Вот кому не приходилось долго раздумывать. Впрочем, и ему самому тоже не приходилось. Мост все ближе. В кармане ни гроша. Бедная, бедная Флавия! Хотя нет, у нее-то теперь есть деньги. Но какая ужасная история! Жить в такой нищете — совершенно невыносимо. И какое счастье, что он вовремя подвернулся! Счастье для нее. К каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту?

Он перешагнул через перила и встал на карниз. Шаги свадебной процессии замерли вдали. Он посмотрел направо, потом налево. Нет, ей просто на редкость повезло, что он проходил. Ни души. Он пожал плечами, пощупал пустой карман. Положение в самом деле таково, что жить не стоит. Но выше ли, ниже ли по течению — какая разница?

И он бросился в реку, не ломая себе голову. Так он и думал: с какой стороны ни прыгни, все равно пойдешь ко дну. Разницы никакой.

СОБАКИ, СТРАСТЬ И СМЕРТЬ*

Они меня поимели. Завтра я сяду на электрический стул. Но все равно я об этом напишу, я хотел бы все объяснить. Судьи ничего не поняли. Ведь Слэкс уже умерла, и мне было трудно об этом рассказывать, зная, что все равно не поверят. Если бы Слэкс могла выбраться тогда из машины. Если бы она могла прийти и все рассказать. Ну да хватит об этом, уже ничего не напишешь. В этой жизни.

Заморочка в том, что когда ты шофер такси, у тебя заводятся свои привычки. Рулишь весь день и, хочешь не хочешь, знаешь все районы как свои пять пальцев. Одни тебе нравятся больше, чем другие. Я знаю ребят, которые, например, дали бы скорее искромсать себя на куски, лишь бы не везти клиента в Бруклин. Ну а я, я это делаю охотно. Я хочу сказать, делал охотно, потому что теперь уже никогда больше не смогу это делать. Вот так завелась и у меня привычка: почти каждый вечер я зависал на час в «Тысяче чертей». Однажды я туда привез одного клиента, пьяного в стельку, он захотел, чтобы я вошел вместе с ним. Когда я оттуда вышел, то уже знал, какие девочки там водятся. И с тех пор, вы наверняка скажете, что это глупо...

Каждый вечер я туда заезжал около часа ночи. В это время она выходила. У них в «Чертях» часто были певицы, и я знал, кто она такая. Они звали ее Слэкс, потому что она чаще всего была в штанах. В газетах писали, что она была лесбиянкой. Почти всегда она выходила с одними и теми же двумя типами, своими партнерами, пианистом и бас-гитаристом, и садились они в машину пианиста. Укатывали куда-нибудь поразвлечься, но возвращались обратно к «Чертям» и заканчивали вечер там. Я узнал это уже потом.

* Написан в 1947 г. под именем Вернон Салливан, как и роман «Я приду плюнуть на ваши могилы».

Я никогда не стоял там долго. Не мог оставаться пустым, там и стоянка ограничена, и клиентов всегда больше, чем где бы то ни было.

В тот вечер, когда все началось, они переругались и, похоже, не на шутку. Она залепила пианисту кулаком прямо в рожу. Эта цаца была не слабо. Она завалила его, как легавый. Парень, правда, был бухой, но, думаю, даже по трезвости он бы не устоял. Ну а пьяный тем более, он так и остался лежать на земле, а второй парень пытался его оживить и отпускал ему такие затрещины, что, казалось, башка сейчас отвалится. Я так и не увидел, чем все это закончилось, потому что она подошла, открыла дверцу такси и села рядом. Затем щелкнула зажигалкой и посмотрела мне прямо в лицо.

— Вы хотите, чтобы я включил свет?

Она сказала «нет», погасила зажигалку, и я поехал. Я спросил у нее адрес не сразу: только когда мы уже свернули на Йорк авеню, я вспомнил, что она так и не сказала, куда ехать.

— Прямо.

Мне-то все равно, счетчик крутится и ладно. Погнал я, значит, прямо. В это время в районе ночных баров народ есть, зато как только отъезжаешь от центра, то все. Улицы пустые. Даже не поверите, после часа ночи еще хуже, чем за городом. Несколько машин да один-два человека, и то изредка.

После того как эта девчонка села на переднее сиденье рядом со мной, я уже понимал, что ничего путного от нее ждать не придется. Я видел ее профиль. У нее были черные волосы до плеч и такой светлый цвет кожи, что казалось, будто она нездорова. Губная помада у нее была темная, почти черная, и рот казался эдакой мрачной дырой. Машина по-прежнему ехала прямо. Она наконец заговорила.

— Дайте я сяду за руль.

Я остановил машину. Я решил не перечить. Я видел, как она уложила своего партнера, и мне не хотелось драться с бабой такого калибра. Я уже хотел вылезти из машины, но она удержала меня за руку.

— Не надо. Я перелезу через вас. Подвиньтесь.

Она села мне на колени, а затем протиснулась слева. Тело у нее было твердое, как замороженная говядина, только температура другая.

Она почувствовала, что на меня это как-то подействовало, и засмеялась, но совсем без издевки. Казалось, будто она была даже довольна. Когда она тронулась с места, я подумал, что коробка передач моей старой тачки сейчас просто развалится;

нас вжало в спинки сиденья сантиметров на двадцать, так сильно она рванула.

Мы пересекли Гарлем Ривер и уже подъезжали к Бронксу; она жала на газ, как сумасшедшая. Когда я служил в армии, я видел, как водят во Франции: там ребята умеют уродовать тачки, но они не делали даже четверть того, что вытворяла эта баба в штанах. Французы просто опасны. Она же была настоящей катастрофой. Я по-прежнему ничего не говорил.

Вам смешно, да? Вы думаете, что с моими-то габаритами и мускулами я мог запросто отделать эту сучку. Нет, вы бы тоже ничего не смогли сделать, увидев рот этой девчонки и то, как она себя вела в машине. Бледная, как труп, да еще эта черная дырка... Я смотрел на нее сбоку и ничего не говорил да время от времени поглядывал на дорогу. Я не хотел, чтобы легавый увидел нас вдвоем на переднем сиденье.

Говорю вам, вы даже не можете себе представить, в таком городе, как Нью-Йорк, и так мало людей в ночное время. Она то и дело сворачивала на какие-то улицы. Мы проезжали мимо целых кварталов и не видели ни души, иногда встречались два-три прохожих. Бродяга, иногда женщина, люди, возвращающиеся с работы; есть магазины, которые открыты до двух или трех часов ночи или даже круглые сутки. Каждый раз, когда она видела кого-нибудь на тротуаре справа, она дергала руль и проезжала у самого тротуара, как можно ближе, притормаживала и, поравнявшись с прохожим, внезапно жала на газ. Я по-прежнему ничего не говорил, но когда она это проделала в четвертый раз, я спросил у нее:

— Зачем вы это делаете?

— Думаю, что это меня забавляет.

Я ничего не ответил. Она посмотрела на меня. Мне не понравилось, что она продолжала вести машину, а смотрела на меня; машинально моя рука потянулась к рулю. Не подав виду, она ударила меня по руке правым кулаком. Боль была адская. Я выругался, а она снова рассмеялась.

— Когда они слышат шум мотора и отпрыгивают, это так забавно...

Она наверняка видела собаку, перебегающую улицу, и я хотел вцепиться во что-нибудь, чтобы удержаться на месте, когда она даст по тормозам, но вместо того, чтобы затормозить, она нажала на газ, и я услышал глухой стук удара о капот тачки, которую изрядно тряхануло.

— Черт! — выругался я. — Ничего себе! От этой собаки у меня наверное весь капот смят...

— Заткнись!

Казалось, она была в полной отключке. Глаза у нее были мутные, и машину вело из стороны в сторону. Через два квартала она остановилась у тротуара.

Я хотел выйти и посмотреть, что с решеткой радиатора, но она схватила меня за руку. Она дышала тяжело, как ломовая лошадь.

Ее лицо в тот момент... Я не могу забыть ее лицо. Видеть женщину в таком состоянии, когда сам ее до этого довел, это еще ладно, чего ж плохого... но когда и думать об этом не думал, а она вдруг вот так... Она сидела не шевелясь и только сжимала мою руку изо всех сил. На ее губах заблестела слюна. Уголки ее рта были влажные.

Я выглянул наружу. Я даже не знал, куда мы заехали. Вокруг не было никого. Ее штаны на молнии снимались одним махом. Обычно в тачке как следует не оттянешься. Но тот раз я буду помнить всегда. Даже когда ребята мне завтра утром забреют голову...

Потом я усадил ее справа от себя и повел сам, но она почти сразу же потребовала, чтобы я остановился. Она кое-как привела себя в порядок, матерясь при этом как грузчик, вылезла из машины и пересела на заднее сиденье. Затем назвала мне адрес ночного бара, где должна была петь. Я попытался выяснить, где мы находимся. В голове был туман, как будто только что вышел из больницы, где пролежал целый месяц. Мне все-таки удалось вылезти из машины и удержаться на ногах. Я хотел осмотреть машину. Следов не было. Только кровавое пятно, размазанное на правом крыле. Это могло быть какое угодно пятно.

Самое быстрое было развернуться и поехать обратно.

Я видел ее в зеркальце, она смотрела в окно и, заметив на тротуаре сбитую собаку, снова тяжело задышала. Собака еще шевелилась, у нее, наверное, были перебиты кости, она ползла боком. Меня чуть не вырвало, я чувствовал себя очень слабым, а она начала надо мной смеяться. Она видела, что мне плохо, и принялась меня в полголоса материть; она говорила мне ужасные вещи, и я мог снова ее поймать тут же, на улице.

Вы, ребята, не знаю, из какого теста вы сделаны, но когда я довез ее до бара, где она должна была петь, я не смог остаться и ждать ее после выступления. Я сразу же свалил. Я должен был вернуться домой. Жить одному не всегда весело, но, черт возьми, в тот вечер, к счастью, я был один. Я даже не раздевался; выпил, что у меня было, и завалился в койку. Я был выжат, как тряпка. Как грязная тряпка.

На следующий вечер я был там снова и ждал ее у входа. Я опустил флажок такси и вышел размяться. Место было шумное. Оставаться я не мог. И все-таки я ждал. Она вышла в то же самое время. Точная как часы. Она меня сразу же заметила. Она меня сразу же узнала. Вместе с ней, как всегда, вышли два типа. Она, как всегда, смеялась. Не знаю, как вам это объяснить; когда я ее увидел, меня как будто оторвало от земли. Она открыла дверцу такси, и они сели ко мне все трое. Меня это обломало. Этого я не ждал. Идиот, сказал я себе. Ты что, не понимаешь, что такая девчонка — это сплошные капризы. Вчера ты сгодился, а сегодня ты просто шофер такси. Ты просто никто.

Вот так! Никто! Я вел как мудака и чуть не снес задницу огромной тачке, что шла впереди; я матерился про себя. Хорош же я был и все такое. А эти трое веселились на заднем сиденье. Она рассказывала анекдоты. От ее низкого, как у мужика, голоса, хрипловатого, как будто выдрванного из глотки, бросало в пьяную дрожь.

Как только я подъехал, она вылезла первой; два типа даже не настаивали, чтобы заплатить. Они ее знали хорошо... Они зашли в дом, а она наклонилась к окошку и погладила меня по щеке, как ребенка. Я взял у нее деньги. Проблем с ней я иметь не хотел. Я хотел что-то сказать. И не знал, что. Она заговорила первой.

— Подождешь? — спросила она.

— Где?

— Здесь. Выйду через пятнадцать минут.

— Одна?

Черт возьми! С моей стороны это было слишком круто. Я уже пожалел о том, что это сказал. Но сказанного не воротишь. Ее ногти вонзились мне в щеку.

— А это вы видели?

Она по-прежнему посмеивалась. Я ничего не чувствовал. Она почти сразу же отпустила меня. Я провел рукой по щеке; у меня шла кровь.

— Ничего! — сказала она. — Когда я выйду, крови уже не будет. Значит, ты меня ждешь, да?

Она вошла в бар. Я стал разглядывать себя в зеркальце. На щеке осталось три глубокие царапины полукругом и четвертая, побольше, им навстречу. От большого пальца. Крови было не много. Я ничего не чувствовал.

Итак, я стал ждать. В тот вечер мы никого не сбили. А мне ничего не обломилось.

Я думаю, она начала вытворять эти штуки недавно. Говорила она мало, я ничего о ней не знал. Теперь днем я сидел и ждал,

когда наступит вечер, а вечером заводил свою дряхлую тачку и ехал за ней. Она больше не садилась рядом со мной, было бы слишком глупо, если бы нас из-за этого прихватили. Я пересаживался, а она садилась на мое место; по две-три кошки или собаки в неделю мы раскатывали.

Я думаю, на второй месяц наших прогулочек ей уже захотелось чего-то другого. Это ее уже не цепляло, как сначала, мне кажется, она начала задумываться о более крупной дичи. Что я могу вам сказать еще? Мне это казалось совершенно естественным... Она уже не реагировала, как раньше, а я хотел, чтобы она была такой же, как раньше. Я знаю, вы можете сказать, что я какой-то урод. Но вы не знали эту девчонку. Убить собаку или ребенка — ради нее мне было все равно. И вот тогда мы сбили эту пятнадцатилетнюю девушку; она гуляла со своим дружком, матросом. Они выходили из парка, где аттракционы. Я вам сейчас все расскажу.

В тот вечер Слэкс была в ужасном состоянии. Едва она села в машину, я понял, что она чего-то хочет. Я понял, что нам придется кататься всю ночь напролет, но обязательно что-нибудь найти.

Черт возьми! Нам не везло с самого начала. Я погнал прямо на Куинсборо Бридж, а оттуда на круговые автострады, я никогда не видел столько машин и почти никого из прохожих. Вы мне скажете, для автострад это нормально. Но в тот вечер я этого не понимал. Ведь мне нужны были не прохожие. Мы накручивали километр за километром. Объехали вокруг и очутились посреди Кони Айленд. Слэкс сидела за рулем уже порядочное время. Я болтался сзади и на поворотах цеплялся, чтобы не свалиться. Вид у нее был как у чокнутой. Я ждал. Как всегда. Я клевал носом и дожидался. Я просыпался, когда она пересаживалась на заднее сиденье. Черт возьми! Даже думать об этом не хочется.

Все произошло очень просто. Она мчалась, кидая машину из стороны в сторону, от 24-й Уэст к 23-й, и тут она их увидела. Они развлекались, он шел по тротуару, она — рядом, по проезжей части, чтобы казаться еще меньше ростом. Парень был высокий, хорошо сложенный. Девушка со спины казалась совсем молодой, светлые волосы, коротенькое платье. Было довольно темно. Я видел, как руки Слэкс сжимали руль. Сука. Водить она умела. Она погнала прямо на них и зацепила девушку. У меня было такое ощущение, что я сейчас подохну. Я обернулся, девушка лежала на земле, неподвижный комок, ее парень бежал за нами и кричал. Затем я увидел, как на улицу вывернула зеленая машина, старая модель, которую еще использовали в полиции.

— Быстрее! — завопил я.

Она мельком посмотрела на меня, и мы чуть не впилились в бордюр тротуара.

— Жми! Жми!

Я знаю, что именно я упустил в эту минуту. Я знаю. Теперь я видел ее только со спины, но я знаю, что должно было произойти, если бы не... Вот почему мне на все наплевать, понимаете? Вот почему ребята могут завтра утром забрить мне башку. Забавы ради они могут оставить мне челку или покрасить меня в зеленый цвет, под стать полицейской машине. Мне все до лампочки, понимаете?

Слэкс гнала вперед. Она вырулила, и мы оказались на Серф авеню. Раздолбанное такси урчало и визжало. Легавые, наверное, уже висели у нас на хвосте.

Затем мы выбрались на поворот к автостраде. Все, теперь уже нет светофоров. Черт! Если бы у меня была другая машина. Все перемешалось у меня в голове. Сзади прибавили газу. Улиточные бега. Мне хотелось выть от ярости.

Слэкс выжимала все, что было можно. Я по-прежнему видел ее со спины, но я знал, чего ей хотелось, и это меня заводило так же, как и ее. Я опять заорал: «Жми!» — и она давила на полную катушку. Потом она обернулась на секунду, не больше, а в это время какой-то тип выезжал на поворот. Она его не видела. Он ехал справа. Километров семьдесят пять как минимум. Я увидел, как мы несемся прямо на дерево, и сжался в комок, но она даже не моргнула, и когда они меня вытащили из машины, я визжал как свинья, а Слэкс уже не двигалась. Руль продавил ей грудь. Они с трудом вытянули ее за руки, за ее белые руки. Такие же белые, как ее лицо. Слюна еще блестела у нее на губах. Глаза были открыты. Я не мог двигаться из-за руки, вывернутой в обратную сторону, но я попросил положить ее рядом со мной. Тогда я смог рассмотреть ее глаза. И ее всю. Из нее хлестала кровь. Она была вся в кровище. Но только не лицо.

Они раскрыли полы ее мехового пальто и увидели, что под ним ничего не было. Только штаны. Ее белая кожа казалась бесцветной и мертвой при свете газовых фонарей, которые освещали дорогу. Когда мы врезались в дерево, молния на ее штанах была уже растегнута.

ЮМОРЕСКИ,
ХРОНИКИ,
ЗАМЕТКИ

МАРТИН ПОЗВОНИЛ МНЕ

I

Мартин позвонил мне в пять. Я что-то писал за столом, что — не помню, наверняка ерунду, понять его мне не составило труда. По-английски он говорит со смешанным американо-голландским акцентом, к тому же он, наверное, еврей, целое получается весьма специфическое, но в моем телефоне сойдет и так; мне следовало прибыть в половине восьмого на улицу Нотуар-дю-Видам и ждать его в гостинице, кроме того, не доставало ударника. Я сказал: «Stay here, I will call Doddy right now¹». Он ответил: «Good, Robby, I stay»². Додди на месте не оказалось. Я передал, чтоб он мне позвонил. Играть надо было в предместье с восьми до полуночи, заработок — семьсот пятьдесят франков. Я перезвонил Мартину, он спросил: «Your Brother can't play?»³ Я ответил: «Too far. I must go home now, and eat something before I go to your hotel»⁴. Он сказал: «So! Good, Roby, don't bother, I'll go and look for a drummer. Just remember you must be at my hotel at seven thirty»⁵. Поскольку Полквост отсутствовал, я смылся без четверти шесть, все полчаса лишних; отправился домой за трубой. Побрился на всякий случай, играть как-никак для Красного Креста; если вдруг для офицеров, хорошо бы выглядеть прилично, по крайней мере лицом. С одеждой ничего не поделаешь, хотя они этого и не зна-

¹ Подожди, я сейчас позвоню Додди (англ.).

² Хорошо, Роби, жду (англ.).

³ Твой брат не сможет? (англ.)

⁴ Поздно. Мне нужно вернуться домой и перекусить перед тем, как ехать к тебе в гостиницу (англ.).

⁵ Ладно, Роби, не беспокойся, ударника я поищу. Не забудь только: в половине восьмого ты должен быть у меня в гостинице (англ.).

ют. Я порезал себе физиономию, не могу бриться два дня кряду — больно, с другой стороны, лучше так, чем не бриться вовсе. Поужинать толком не успел, съел тарелку супа, попрощался и ушел. Удушливый вечер, второй раз один и тот же путь, работаю я тоже на улице Нотуар-дю-Видам. Мартин сказал: «Заплатят сразу после выступления». Так оно лучше; обычно Красный Крест неделями тянет и деньги выдает на улице Комартен; а у Полквоста поди отпросись. Играть с Мартином мне не слишком улыбалось, больно он силен: профессионал, не терпит, когда играют плохо. Если б я ему не понравился, он бы не стал мне звонить. Наверняка будет еще Хайнц Нойман. Мартин Ромберг и Хайнц Нойман — оба голландцы. Хайнц, тот немного говорит по-французски: «Я хотел бы видеть вас снова. Правильно я сказал?» — спросил он у меня в прошлый раз в баре «Нормандия», это где Фредди во время войны закрывался в телефонной кабинке, замаскированной под шкаф в нормандском стиле, и пишал: «Да, да, да, да, да, да...» — пронзительно так, на немецкий лад, с неестественным смешком. «Нормандия» — жалкая дыра с выступающими балками из прессованной пробки; я там, между прочим, слямзил номер «Нью-Йоркера» за двадцать восьмое августа и сентябрьский выпуск «Фотографии» с физиономией гражданина Виджи, запечатлевающего разнообразные виды Нью-Йорка, все больше сверху: жителей бедняцких кварталов, спящих в жаркие дни на площадках пожарных лестниц, с пятью-шестью детьми иной раз, девицы лет по шестнадцати-семнадцати почти без ничего; в книге его небось и не то увидишь, она называется «Naked City»¹, во Франции ее, возможно, и не достанешь. Я добрался до улицы Тревиз, темно, тоска проделывать этот путь каждый день, прошел мимо своей конторы, она в начале улицы Нотуар-дю-Видам, Мартинова гостиница на другом конце. Мартина там не оказалось, и никого вообще, и машины тоже. Я глянул в дверь гостиницы... Слева, склонившись над плетеным столом, сидели мужчина и женщина и что-то обсуждали. В глубине виднелась приоткрытая дверь в комнату управляющего или хозяина, они ужинали всей семьей. Войти я не стал, Мартин ждал бы меня здесь. Я поставил футляр с трубой стоймя на тротуар и присел на него в ожидании машины, Хайнца и Мартина. В гостинице у входа зазвонил телефон, я поднялся, поскольку не сомневался, что это Мартин. Вышел хозяин: «Роби — это случайно не...» — «Это я». Я взял трубку. Телефон этот звучал не так, как мой в конторе —

¹ «Обнаженный город» (англ.).

резче и пронзительней, мне пришлось переспрашивать, он заходил к Додди, Додди не застал, теперь хотел, чтоб мы за ним самим заехали к «Марселю», улица Ламарка, семьдесят три, seventy-three. Понятно, он там поужинал, в гостиницу возвращаться лень стало, а машина может и крюк сделать. Я попробовал, как договорились, позвонить Темси: может, удастся хоть гитару получить. Мимо. Хорошо, пусть будет труба, кларнет, пианино, хотя эффект не тот... и фонари на улице все вдруг погасли: авария; я сел на футляр, прислонившись к стене справа от входа в гостиницу, и стал ждать. Из дверей выбежала девочка, шарахнулась, увидев меня, и, когда возвращалась, тоже круг дала. На улице тьма крошечная. Прошла мимо полная женщина с кошелкой. Я уже видел ее давеча, в черном вся, с виду деревенская баба, мать семейства; ан нет, она клиентов поддавливала, чудно: место больно безлюдное. В конце улицы засветились фары. Желтые, это не то, у американцев белые. Проехала «одиннадцатая», черная. Потом грузовик, но французский — прополз со скоростью двадцать километров в час. А потом уже наш «трак» въехал одним боком на тротуар, встал, фары погасил, чтобы помочиться у стены. Поздоровались. Поболтали. Где остальные? Всех остальных — один Хайнц. Времени без пяти восемь. Парень этот, в прошлом водитель автобуса, одет, как американец. Симпатичный вполне, о чем с ним говорить, я не знал. Спросил, чисто ли у него в кузове, в последний раз, когда ехали играть на «поплавке», я сел в масло и испортил пальто; нет, здесь чисто, я уселся сзади, свесив ноги наружу, ждали Хайнца. Парень особенно расслаиваться не мог. Ему в четверть десятого надо было полковника своего везти, а до того еще заехать за машиной в гараж. «Надо думать, — заметил я, — он в «траке» трястись не станет, у него, поди, автомобиль получше...» — «Да ненамного... не американский, а «опель»». Я услышал шаги. Нет, не Хайнц. Улица вдруг разом осветилась, а водитель сказал: «Больше ждать невозможно, пойду позвоню в гараж, чтоб для вас приготовили джип, а сам поеду за полковником, вы говорите по-английски?» — «Да». — «Тогда объясните им...» — «Хорошо». Тут появился Хайнц и, узнав, что нужно заезжать за Мартином, сходу принялся ругаться; он всякий раз за глаза ему косточки перемывает, а как вдвоем встретятся, так давай стрекотать по-голландски, над своими же напарниками насмехаться, это я точно знаю, как-никак понимаю немного, на немецкий похоже. Голландцы все сволочи, полуфрицы, подхалимничают даже хуже, когда им что-нибудь от вас надо, скупердяи редкостные, перед клиентом стелются, противно аж,

чтоб сигарету получить; мы все-таки стиль держим, а они знай себе коптят, впрочем, мне на них... Я, в конце концов, инженер, глупейшая, мягко говоря, профессия, зато, пожалуйста, тебе почет и иллюзии в неограниченном количестве. Однако достаточно мне нажать на кнопку — и оп, ни Мартина, ни Хайнца, никого, до свидания. Подумаешь, музыканты — профессионалы все сволочи. Водитель вернулся, мы сели, Хайнц надеялся, что в девять будет ударник, но куда мы едем? Водителю поручено было доставить нас на Вандомскую площадь, номер семь, больше он ничего не знал. Он сказал, что ждать не может, мы тронулись в направлении улицы Берри, по улице Риволи, он чертыхался, потому что на военных автомобилях с фургоном нельзя ехать больше двадцати километров в час. Он круто повернул, впереди был «кирпич» — все ремонт проклятый. Что это мы проехали? Ах да, «Парк Клуб», в театре «Амбассадер», тут я еще не играл, зато играл в «Колумбии», в тот вечер там было полно красивых девушек, неприятно видеть их с американцами, впрочем, это их дело, они чем красивее, тем глупее, мне, собственно, плевать, я с ними спать не собираюсь, устал я, просто я люблю смотреть, больше всего на свете люблю смотреть на красивых девушек, нет... еще волосы их нюхать, когда они надушены, это не возбраняется, он резко затормозил: гараж. Здоровенный детина, одет в американское. Француз? Американец? А может, еврей, на плече нашивка: звезды и полосы американского флага, гараж издательский. Хайнц попросил разрешения позвонить ударнику. Я стал объяснять ситуацию типу, который там сидел, ему было на все начхать, лишь бы не шевелиться. Вернулся Хайнц. Ударника не будет. «Ладно. Стало быть, влезем в джип?» — «Да, но нет водителя». Пусть себе разбираются, с меня довольно, надоело мне с ними толковать, потом акцент привязывается мерзкий, так что англичане на тебя с осуждением смотрят, и вообще, черт побери, они мне все вот где сидят. Сладилось наконец, водитель помог. Сядем в «опель», заедем за Мартином, и он нас закинет на Вандомскую площадь. «Опель» серый, приличный с виду, он его к выходу подогнал, мы с Хайнцем сели, все лучше, чем в «траке», Хайнц аж смеялся от удовольствия. Все равно поганая колымага, трясет нещадно, на малых оборотах просто сил нет, помню, я на «делаже» ездил: стакан воды полный на бампер ставишь, и не колыхнется. У него мотор шестицилиндровый, такой лучше всего регулируется. Водитель все не садился, ждал, пока ему пропуск выпишут. Мы опаздывали уже на двадцать минут. Мне опять-таки до лампочки, у нас Мартин главный, пусть сам выкручивается. В гараж въезжал

джип с прицепом, ни дать ни взять фотография девяностых годов: козьи шкуры на вогнутых сиденьях, ноги длинные, когда согнуты, колени в лицо утыкаются. Мы загораживали им въезд, один из них сел в «опель», подал его на два метра назад и вернул, кретин, на место, когда джип проехал. Я понемногу выходил из себя. Наконец он получил пропуск, мы выехали, гнусная телега, на виражах аж тошнило, все размякало внутри, подвеска, рулевое управление — это ж рассчитать можно, меня этому учили; при определенной амплитуде колебаний человека укачивает. Немцам, надо полагать, это известно, но их, возможно, укачивает при другой амплитуде. У вокзала Сен-Лазар мы чуть не протаранили «мэтфорд», он пересекал нам дорогу, даже не глядя по сторонам. Далее вверх по Амстердамской улице, Внешний бульвар, улица Ламарка, «семьдесят третий — справа» — сказал я водителю, возле «Марсея» я вышел, Мартин сидел за столом и смотрел на дверь, заметил меня, ну, разумеется, свинья такая, ему лень стало возвращаться на улицу Нотуар-дю-Видам, вот он прямо тут и поужинал. Обменялись знаками через дверь — ну чисто погангстерски. В машине они, как водится, защебетали с Хайнцем по-голландски, причем Хайнц нисколько на него не сердился. Это сразу видно. Еще один размягчающий вираж, качели, как говорит водитель, Вандомская площадь освещена плохо, дом семь, Air Transport Command — Управление воздушного транспорта. Водитель сказал: «До свидания». Мы пожали друг другу лапу. «Поеду за полковником». Нигде никого. «Это не здесь», — говорю. «Если не найдете, — отвечает, — звоните в гараж: «Элизе — 07—75». Это они мне сказали везти вас сюда, правда, уже без четверти девять, мы опоздали на сорок пять минут». Что верно, то верно, «Go and ask, Roby»¹, — «Сам иди, ты начальник». Заходим, явная ошибка, никто даже и не в курсе, мрачная дыра, напоминает почту. Выходим на улицу. «Where's the driver?»² — произносит Мартин, и тут нас замечает девица в чем-то белом меховом и с американцем. «That's the band!»³ — Yes⁴, — отвечает Мартин, — we've been waiting for half an hour»⁵. Ну и наглость, однако в душе я повеселился. Брюнетка, сложена, кажется, недурно, сейчас все увидим. Идем за ними, наконец-то приличный автомобиль — «пак-

¹ Пойди выясни, Роби (англ.).

² Где же водитель? (англ.)

³ Вот оркестр (англ.).

⁴ Да (англ.).

⁵ Мы ждем уже полчаса (англ.)

кард» 1939 года, черный. Водитель вне себя: «Я всех не возьму! Я так шины попорчу». Рассказывай! Ты просто в «паккардах» ничего не понимаешь! Трое сзади: две девицы и америкашка; на откидных — Мартин, Хайнц и я, впереди — шофер и двое америкашек. Улица Мира, Елисейские Поля, улица Бальзака, первая остановка, гостиница «Кельтская», те двое спереди выходят, ждем. Напротив стоял американский «крайслер», небесно-голубой, «pauу». Я такой уже несколько раз видел в Париже.

Интересно, какой у него переключатель скоростей? Масляный — fluid drive? Хайнц и Мартин лопотали по-голландски, шофер по-французски. До чего ж они мне все осточертели! Один из передних вернулся, просунул между мной и Хайнцем, протянул что-то тому, который сидел сзади, со словами: «There's a gift from»¹ или что-то в этом роде. «Thank you, Terry»², — ответил тот, развернул — по размерам это походило на пачку папиросной бумаги — и возвратил. В «крайслер» сели морской офицер и две женщины. Они поехали за нами. Мы свернули направо, вот автомобиль так автомобиль, водитель между тем не унимался, ворчал на того, которого звали Бернар или О'Хара, что восемь в одной машине — это перебор. О чем они там говорили сзади, я не слушал, пока не добрались до Булонского леса, мы ехали между Гарш и Сен-Клу. Посередине сидела грудастая блондинка, слева от нее — брюнетка, справа — американец. «Голливуд»... — услышал я. «Santa Monica is nice»³, — сказала блондинка с напускным безразличием. Важничаешь, дура, а сама-то нескладна и лицом дурна, и поделом тебе. Вторая, брюнетка, та получше, явно не американка; американки все седловатые, кроме тех двух, которых я видел на «поплавке»; в брючках, талии тонкие-претонкие, зады круглые, будто сами они надувные, и когда их надували — в талии перехватили, чтобы зады выпятить, жуть что такое. «What's the name of that friend of yours, Chris...»⁴, — обратился американец к брюнетке. «Кристиана», — ответила она. «Nice name, and she is nice too»⁵, — «Yes, but she's got a strange voice»⁶ — хороша подружка! — «and when she's on the snage, she makes such an awful noise... yes... but she's nice. May be we'll go to New York in

¹ Подарок от капитана (англ.).

² Спасибо, Терри (англ.).

³ В Санта Монике красиво (англ.).

⁴ Как зовут эту вашу подругу, Крис... (англ.).

⁵ Красивое имя, и сама она красивая (англ.).

⁶ Да, но у нее странный голос (англ.).

february»¹, — добавила она. «And when do you come from New York?»² — поинтересовался американец. — It would be wonderful to see you again, and this other friend of you, Florence? — Yes. She's got a nice face, but the rest is bad»³. Она прелестно отзывалась о подругах! «And who will come too? All the chorus girls?»⁴ Я подумал, что она из балагана, но может, и ошибся. Слушать тошно, а тут еще Хайнц с Мартином под ухом тараторят по-голландски. «I think you're the best»⁵, — сказал американец, она не ответила, может, он и правду сказал, а не просто комплимент. Вот мост Сюренн, сплошь в выбоинах, в отвратительном состоянии, а рядом другой, строящийся, покореженный, его начали в сороковом, за пять лет, должно быть, все заржавело. Сюренн, взбираемся на косогор, ласковое шуршание шин лимузина по булыжнику, звук полый, округлый, поднимаемся на первой передаче. Восемь — слишком много для «паккарда»! Болван! Шоферы все болваны. Поганный народ. В гробу я их видал, я инженер, они все с музыкантами накоротке, им это льстит, они одной породы — стелющейся. Ничего, я еще отомщу, возьму кольт и всех уложу, но рисковать я не хочу, потому что моя шкура дороже, глупо пропасть из-за какой-то швали. А почему бы в самом деле не попробовать? Найти парня вроде Максанса Ван дер Мерша и сказать ему: «Вы не любите сутенеров и содержателей притонов, я тоже, мы с вами заключаем тайный союз: в один прекрасный вечер садимся в черный «ситроен» и убиваем всех, которые из Тулузы». — «Этого мало, — отвечает Ван дер Мерш. — Убивать надо всех». — «Тогда, — говорю, — действуем иначе, созываем их на профсоюзное собрание и уничтожаем всех разом, это не сложно, если хорошо подготовиться». — «А если сцапают?» — спрашивает Ван дер Мерш. Я отвечаю: «Ерунда, зато повеселимся, одно плохо: на следующий же день на их месте появятся новые». — «Что ж, — говорит он, — тогда начнем сначала, по-другому». — «По рукам, до свидания, Максанс». Машина остановилась, «Гольф Клуб». Приехали. Вылезаем. Входим, каменный пол, выступающие балки, я уже такие видел, раздеваемся в маленькой комнатухе. Не-

¹ Она на сцене чудовищный шум производит... да.. но мила. Возможно, в феврале мы поедem в Нью-Йорк (англ.).

² А когда вы вернетесь из Нью-Йорка? (англ.)

³ Хорошо бы увидеться снова, и еще с другой вашей подругой, Флоранс, кажется? — Да. У нее милое личико, остальное — дрянь (англ.).

⁴ А кто еще поедет? Все девушки из хора? (англ.)

⁵ Я думаю, вы лучше всех (англ.).

дурной особнячок прихватили, как водится. Коридор, налево большой зал, пианино, нам сюда.

II

Пахнуло жаром. Свитер я зря надел, не забыть бы про дырку на штанах, впрочем, пиджак длинный, не заметят, и вообще, плевать я хотел, тут одни шлюхи да хмыри. Батареи раскалены, мы втроем садимся. Мартин, видно, полагает, что свинг здесь неуместен, Хайнц вместо кларнета берет скрипку, они исполняют что-то цыганское. Я тем временем отдыхаю, трубу согреваю, дую в нее, отвинчиваю второй клапан, который заедает от масла, слюнявлю его; только слюна и годится, даже бьюшеровский «слайд ойл» не подходит, даже бензин, я попробовал однажды, а потом, в следующий раз, в течение двух часов ощущал вкус бензина во рту. Выступающие балки окрашены в тускло-красный, желто-золотой и полинявший синий, все в старинном стиле, монументальный камин с кручеными канделябрами по бокам, флажки на балках в десяти метрах от пола, потолки высоченные. По стенам чучела разные — головы, арабское оружие, прямо против меня шпалера — обюссон, вроде как цапля среди экзотической зелени, симпатично по краскам: желтоватые, зеленоватые до сине-зеленого, громадная церковная люстра посередине с сотней, не меньше, электрических свечей: чудные такие, лампочки изогнуты, будто язычки пламени. Перед тем, как Мартину с Хайнцем начать, парень один выключил радио, упрятанное в книжную полку и фальшивыми корешками замаскированное. Оглядываю ноги брюнетки, на ней красивое платье, шерстяное, серо-синее с карманчиком на рукаве, оливковая сумочка; увы, когда она повернулась спиной, выяснилось, что платье скроено плохо, корсаж широковат, молния топорщится, туфли на танкетках, ноги хороши, тонкие в коленях и щиколотках, живота нет, зад небось крепкий и, само собой, глаза шлюхи. Вторая, что ехала с нами, тоже тут, у нее скверная, слишком белая кожа, и вся она рыхлая, грудь — ничего, это я и раньше заметил, но ноги некрасивые и платье тоже, в клетку, коричневое с бежевым, совершенно не интересно. С рыхлой девицей разговаривает капитан-француз, рослый, лысый, эдакий герой войны четырнадцатого года — отчего такое впечатление? — должно быть, под воздействием Мак-Орлана. В зале еще два-три американца, один из них — капитан, ну несколько не элегантный, видно, денег у них много, что так мало обращают внимания на костюм. У входа, слева от меня, позади пианино,

вроде как бар с официантом, мне видна одна его макушка. Мужчины принимаются за виски, хлещут его из стаканов для лимонада. Скучища смертная. Хайнц с Мартином закончили. Впечатления никакого, теперь мы им сыграем «Dream»¹ Джонни Мерсера, я берусь за трубу, Хайнц — за кларнет, двое начинают танцевать, потом и брюнетка, и еще земляки подходят. Но мало. Там дальше небось еще залы есть. Радиаторы полыхают. После «Дрима» лабаем бодрящее — «Маджи», я — под сурдинку, слишком мало танцующих, и потом с кларнетом так оно лучше звучит, подстраиваю трубу — было высокоовато. Пианино, как правило, слишком высоко звучит, а это наоборот — от жары. Мы не перенапрягаемся, танцоры тоже. Входит парень в черном расшитом пиджаке, сорочке, крахмальном воротничке, полосатых брюках, похож на интенданта, может, так оно и есть. Кивает официанту, тот приносит нам три коктейля, джин-сок или что-то в этом роде, я предпочитаю кока-колу, от этого только печень разболится. Потом, когда мы доиграли, он подошел и спросил, что нам еще подать; любезный, лицо худое, нос красный, косой пробор, кожа с медным отливом, взгляд печальный — бедолага, у него, должно быть, желтая лихорадка, наследственная. Уходит, возвращается с двумя тарелками, на одной — четыре огромных куса яблочного пирога, на другой — бутерброды горкой: со свиной тушенкой и еще с маслом и гусиной печенью, черт возьми, до чего же вкусно. Мартин, дабы скрыть улыбку вождения, опускает нос к самому подбородку, а парень прибавляет: «Скажите, если захотите еще». Съев по бутерброду, снова принимаемся за игру, брюнеточка изощряется, крутит крепким задом, с америкашкой этим, они танцуют, присогнув колени, опустив головы, эдакий галоп девятисотых годов, но утрированный, я уже видел подобное — небось новое веяние и небось опять из Отейя, от тамошних стилист. За спиной у меня две пары оленьих рогов: «Диттисхаузен 1916» и «Унадинген 21 июня 1928» — сомнительная, на мой взгляд, ценность, они укреплены на полированных дощечках — косых срезах ствола, овальных, вернее эллиптических. Входит майор, нет, серебряная звезда — полковник, в обнимку с красоткой, красотка — это, пожалуй, громко сказано, у нее кожа бело-розовая и черты такие округлые, будто их вырезали из куска льда и он уже чуть подтаял, все такое гладкое-гладкое, ни бугорков, ни ямочек, что-то в этом есть отталкивающее и подозрительное, немного напоминает задницу после мытья, чистенькую и без запаха.

¹ «Сон» (англ.).

Полковник — ну чистый кретин, здоровенный носище, седые волосы, облапил ее, и она об него так и трется, смотреть на вас обоих тошно, пойдите спарьтесь где-нибудь, коли вам приспичило, а после возвращайтесь, что за идиотские обжимания с видом нашкодивших котов, тьфу! Вы мне противны, конечно же, она чистенькая, и между ног у нее влажно. А вот еще одна, светло-рыжая, будто с фотографии десятых годов, вокруг головы красная лента, американен быти, тип не изменился с тех пор, все те же холеные девицы, а эта, ко всему прочему, нескладная, колени слишком широко расставлены, стиль «Алиса в стране чудес». Они, должно быть, все американки или англичанки, брюнетка все танцует, мы делаем паузу, она подходит к пианино, просит Мартина исполнить «Лору», он ее не знает, ну тогда «Sentimental Journey»¹. Идет. Беру требуемую сексту. Все танцуют. Шайка придурков. Интересно, они танцуют из-за музыки, ради девок или просто, чтоб потанцевать?

Полковник все обжимается, на днях одна девица сказала мне, что терпеть не может американских офицеров, они говорят только о политике и не умеют танцевать, а кроме того, зануды (последнего можно было и не добавлять, без того ясно). Я с ней, в общем-то согласен, мне больше по душе солдаты, офицеры даже еще кичливей французских аспирантиков, хотя уж на что муфлоны со стеками своими, которыми они лошадей вздрючивают. Подо мной стул — «сельская-средневековая-ручная работа», жесткий — все ягодицы отсидел, а встать боязно из-за дырки в штанах. Брюнеточка опять тут, балакает с Мартином, ты, старый хрыч, как я погляжу, сам бы с удовольствием ее пощупал. Я знаю, в чем дело: от тепла и настроение поднимается, на «поплавах» у нас тонус падал до нуля, что мало способствовало игре. Время сегодня тянется медленно, работать вдвоем тяжелее, да и музыка эта — бр-р, тощица; лабаем еще два мотивчика и делаем перерыв, лопаем пирог, а после подходит американец, тот самый Бернар или О'Хара, с которым шофер давеча перед «Кельтской» разговаривал. «If you want some coffee, you can get a cup now, come on. — Thanks!»² — отвечает Мартин, идем назад через холл, сворачиваем налево, маленькая гостиная, ковры, все обито «обюссоном», дубовые панели; на диване полковник с этой трущейся кошкой, черный костюмчик, чулки слишком розовые, хотя и тон-

¹ «Сентиментальное путешествие» (англ.).

² Можете, если хотите, выпить по чашке кофе, пошли. — Спасибо! (англ.)

кие, волосы светлые, рот мокрый; проходим мимо, не глядя на них, впрочем, мы их нисколько не смущаем, они ничего не делают, одни чувства, входим в следующую комнату, бар, столовая, сплошь «обюссон», мания какая-то, и шикарный ковер. Пирамиды пирожных. С дюжину особей обоего пола, женщины составляют приблизительно четверть общего числа, курят, пьют кофе с молоком. А кругом тарелки, тарелки, мы налегаем не слишком откровенно, однако решительно. Булочки с изюмом и арахисовым кремом, это я люблю, и маленькие печеньица с изюмом тоже люблю, да еще яблочный пирог, где под яблоками слой повидла в два сантиметра и тесто — пальчики оближешь, короче, вечер не зря потеряли. Я набиваю себе брюхо до отвала и уписываю еще немного сверх того, чтоб назавтра не сожалеть о недоеденном, опорожняю чашку кофе, в ней пол-литра, наверное, будет, снова закусываю пирожными, Мартин и Хайнц берут с собой по яблоку, я — нет, мне неловко брать про запас на глазах у этих кретиннов, но голландцы, они, как собаки, целомудрием не обременены, чувствительностью тоже, иначе как пинком под зад их не прошибешь. Прохаживаемся туда-сюда. Держусь спиной к стене из-за дырки, возвращаемся в зал, расстегиваю две пуговицы, очень тяжело дуть на полное брюхо. Опять все сначала, и брюнетка тут, желает «I dream of you»¹. Ага, это я знаю! Зато Мартин — нет, не беда, он предлагает ей «Dream», мы его уже играли, начинает «Here I've said it again»², я ее люблю из-за средней части, там такой красивый, незаметный будто бы переход от фа к си-бемоль. Играем, прерываемся, снова играем, начинаем клевать носом. Появились две новые девицы, неопрятные, наверняка француженки, патлатые, эдакие машинистки-интеллектуалки пополам с горничными. Они, само собой, сразу потребовали вальс, назло им исполняем «Стаканчик белого» в свинге, они даже мелодию не узнали, клуши, нет, узнали-таки под самый конец, рожи скривили, а американцам плевать, им чем дрянней, тем лучше. Похоже, закругляются понемногу, уже за полночь перевалило, мы переиграли им ворох всякого старья. Мартину уже деньги вручили в большом конверте, заглянув в него, он сказал: «Nice people, Roby, they have paid for four musicians, though we were only three»³. В конверте, получается, три тысячи, сам проговорился, болван.

¹ Я мечтаю о тебе (англ.).

² И я повторил... (англ.)

³ Замечательные люди, Роби, оплатили четырех музыкантов, хотя нас было только трое (англ.).

Мартин идет в уборную, а на обратном пути протягивает руку за пачкой сухих «Честерфилд»: «Thank you, sir, thanks a lot!»¹ Холуй! Ко мне подходит рыжий детина, толкует что-то насчет ударников на завтра, даю два адреса, потом подходит другой, изъясняется понятнее: тот хочет нанять группу ударников, тогда ничего не выйдет, я таких адресов не знаю, предлагает сигарету. Играем, времени уже час. Исполняем под занавес «Good Night, Sweetheart»², баста, пора восвосяи. Нет, еще одну... Лабаем по новой «Sentimental Journey», оттого что танец последний, они все растрогались, млеют. Теперь наконец все. Идем одеваться. В коридоре и вестибюле холодно, натягиваем пальто, Мартин подзывает меня знаком, Хайнц тут же рядом. Н-да. Дает мне семьсот франков, понятно, остальное, значит, — тебе, ну и подлец же ты, с каким удовольствием я бы тебе рожу расквасил, но мне чихать с высокой горки, я не такой дубарь, как ты, а тебе уже пятьдесят, скоро сам сдохнешь. Расплачиваться с Хайнцем он при мне не стал: ну и хитрецы. Что касается сигарет, я отдаю ему свою долю только ради того, чтобы услышать: «We thank you very muth, Roby»³. Ждем машину. В вестибюле каменный пол, два красных ведра с водой, огнетушитель и повсюду надписи: «Beware of fire, Don't put your ashes»⁴ и т. д. Интересно все-таки, чей это дом, Хайнцу тоже нравится, восхищаемся с ним наперебой. Идем назад в холл. Мартин отлучается в уборную, он стибрил где-то номер «Янка», дает мне подержать. Мы стоим возле телефона. Мартин возвращается, просит меня: «Can you call my hotel, Roby, I wonder if my wife's arrived»⁵. Жена его должна была сегодня приехать, звоню, спрашиваю от имени господина Ромберга, на месте ли его ключ. Да, на месте, нету твоей женушки. Обойдешься фотографией какой-нибудь крали, трухнешь, глядя на нее. Снова выходим в вестибюль, идем к «паккарду», водитель отказывается брать троих, надоели мы ему. «Езжай, сами разберемся». Возвращаемся в холл, я сажусь, Хайнц чертыхается на нескольких языках сразу. Мартин ведет переговоры с каким-то верзилой, он американец, любезен весьма, находит нам автомобиль, тут Мартин снова отправляется по нужде, по большой, ждем. Выхожу в вестибюль. Хайнц раскошелился на двадцать франков одному

¹ Благодарю вас, сэр, премного благодарю! (англ.)

² «Спокойной ночи, любимая» (англ.).

³ Мы очень благодарны тебе, Роби (англ.).

⁴ Берегитесь огня. Не стряхивайте пепел (англ.).

⁵ Ты не мог бы позвонить ко мне в гостиницу, Роби, я хотел бы узнать, приехала ли моя жена (англ.).

метрдолетю, который посимпатичнее. «Чей это дом?» — «Англичанина одного, он в Южной Африке чиновником, и у него есть еще другой дом под Лондоном». Ну понятно, а немцы во время оккупации ничего в доме не повредили, хотя стояли тут. У англичанина три года назад умерла жена, он теперь женился снова, новой хозяйки парень еще не видел. Грустно терять людей. У него был приятель, шесть лет дружили, теперь его нет! В душе, знаете ли, пустота образуется, которую ничем не заполнишь. Я соболезнаю, жмем друг другу руки. До свидания. Спасибо. Появляются Мартин с Хайнцем, выходим, машина стоит в аллее. «Крайслер», нет, лучше даже — «линкольн». Мочусь под деревом, выходят те две горничные-машинистки с американцем, это водитель. Мы втроем садимся назад, он вперед с девицами, они недовольны, тесно им, а мне плевать, мне очень удобно. Девицы включают радио, трогаемся, очень резко. Едем вслед другому автомобилю. Музыка помогает скоротать время, белый джаз, в холодном свинге, очень даже кстати. Мы все едем и едем, я говорю Хайнцу: «Так бы и катался всю ночь». Он предпочитает спать. Париж, площадь Согласия, улица Руаяль, Бульвары, Вивьенн, Биржа, стоп... Мартин выходит, я называю свой адрес, Хайнц в ярости, мы дали здоровый круг, до Северного вокзала, ему возвращаться в Нейи, пусть разбирается с американцем. Пока, ребята. Пожимаю водителю руку. «Thanks a lot. Good night»¹. Я дома, я наконец-то в постели, и, перед тем, как заснуть, я превращаюсь в утку.

¹ Большое спасибо. Спокойной ночи (англ.).

ПООСТОРОЖНЕЙ С ОРКЕСТРОМ

Посетитель кабаре, остерегайся оркестра!

Тыходишь в зал, о почтеннейшая публика, и мило улыбаешься; ты великолепно одета; от тебя веет дорогими духами; у тебя довольный вид, ибо желудок твой плотно набит; ты удобно располагаешься за столиком и смакуешь восхитительный коктейль; уютное теплое пальто ждет тебя в гардеробе; ты небрежно встряхиваешь меха, поправляешь наряд и драгоценности; тебе хорошо, и ты улыбаешься; ты уже поглядываешь на декольте соседки и соображаешь, что, пригласив ее на танец, сможешь рассмотреть это декольте поближе; ты ее приглашаешь и... тут-то начинаются твои несчастья.

Ты, посетитель, конечно, заметил на эстраде шестерых парней в белых пиджаках — они производят какой-то ритмичный шум. Поначалу ты не обращаешь на них внимания. Потом музыка постепенно проникает в тебя. Она просачивается сквозь поры, достигает восемнадцатого нервного центра четвертой извилины головного мозга — вверху слева, — где, согласно исследованиям Брока и капитана Памфила, находится центр наслаждения, вызываемого восприятием гармоничных звуков.

Шестеро в белых пиджаках. Лакеи! Лакею, как известно, глаза нужны только для того, чтобы, протягивая меню, не опрокинуть твой бокал. Да и уши не нужны. Разве что одно — какое-нибудь особое селективное ухо, способное различать лишь требования клиента да ненавязчивое постукивание его ногтя о хрусталь пустого бокала. Ты уж не упустишь случая позлословить в адрес этих типов в белых пиджаках... Увы и ах, посетитель, ты сам себе роешь яму!

(Не обессудь, коли я с тобой то попросту, как мужчина с женщиной, а то вдруг набираюсь дерзости, чтобы живописать заман-

чивые округлости твоего корсажа: кому, как не тебе знать, посетитель кабаре, что ты существо обоюдодополое.)

Но стоит тебе пригласить твою соседку... О, горе тебе! Тебя уж заприметил один из тех субъектов в белых пиджаках, что дудят в трубы, лупят в барабаны, дубасят по клавишам и щиплют струны. Ведь что ни говори, а он мужчина, даром что в белом пиджаке! А твоя соседка — та, что ты пригласил на танец — как-никак женщина... Ошибки тут быть не может! Она, само собой, не стала влезать сегодня в будничную экипировку — строгий костюм или какую-нибудь хламиду и грубые башмаки: встретить ты ее в таком виде да при сером свете дня где-нибудь на авеню дю Буа, — уж точно принял бы за подростка. Но она не подросток, далеко не подросток!

(Именно это «далеко» больше всего поражает субъекта в белом пиджаке, возвышенное положение которого позволяет ему применить «взгляд с погружением», введенный в обиход сильными мира сего. В числе последних может быть упомянут Шарль де Голль, иначе говоря Дважды-Мэтр, и спортсмен Ивон Петра, иначе говоря Дважды-Метр.)

С этого момента, посетитель, тебя уже не назовешь двуполым.

Ты раздваиваешься на кошмарного красномордого толстяка, любителя поддать и пожрать, торговца кокаином, вонючего политика — и на прелестную женщину, чья постная улыбка свидетельствует о том, что не от хорошей жизни она пошла танцевать с эдаким мужланом.

И если даже, чудовище, тебе двадцать пять, если даже ты прекрасен, как Аполлон, и твоя обворожительная улыбка обнажает ряд белоснежных зубов, а смелого покроя фрак подчеркивает косую сажень твоих плеч, то это ровным счетом ничего не значит. Роль твоя неизменна. Ты — сквалыга, хам, боров. Твой отец грязный торгаш, мать твоя потаскуха, брат — наркоман, а сестра — психопатка.

Она уже изнемогает. Она восхитительна, честное слово!

А платье! Какое у нее декольте!.. квадратное, а может, круглое, или сердечком, или мысыком, а может быть, наискосок... А то и вовсе никакого декольте, если платье начинается ниже. А что за фигурка! Между прочим, сразу видно, есть у нее что-нибудь под платьем или ничего нет. Если там что-то есть, то на бедрах набегают такие махонькие складочки...

(Но они набегают, только когда под платьем что-то надето; а если таких складочек нет, то трубач заставляет свою трубу квакать. Ты же ничего не замечаешь и великодушно приписываешь

эти странные звуки особенностям джаза.)

Ах, что у нее за улыбка! Какие пунцовые, чудно очерченные губки... Они, разумеется, пахнут малиной... А теперь посмотри на себя. Танцуешь, как слон, и уж наверное отдавил ее крошечные ножки.

Вот вы возвращаетесь к столику. Наконец-то она вздохнет свободно! Она садится рядом с тобой.

Но что это?

Ее ручка... какие изящные серебристые ноготки... ее ручка ложится на твое бегемотье плечо?... Да она тебе еще и улыбается?..

Ах, проказница!.. Все они такие!..

И парни в белых пиджаках уже играют другую мелодию...

ХРЯК И КАБАН

(Заметки натуралиста-любителя)

Разница между хряком и кабаном такая же, как между домашним и диким состоянием. Хряка выращивают, в то время как кабан растет сам по себе. Хряк ни на шаг не отходит от кормушки, где ему всякий час обеспечены добротные помои и объедки. Кабан же, будучи романтиком, неустанно рыщет по лесу среди буйства осенних красок в поисках смачных желудей, сочных корешков и свинушек — это такие грибы, предназначенные, как явствует из их названия, специально для пропитания диких свиней. У хряка под шкурой сало, у кабана — мускулы. У первого шкура толстая, но чувствительная, зато у второго отовсюду торчит весьма благородная, хотя и пыльная щетина. Она выдерживает самые что ни на есть суровые, если не сказать жестокие, туманы и тычки. Разумеется, хряк ведет более спокойную жизнь, спит под крышей, которая, можно сказать, почти не протекает, потому что это животное хорошо продается, а законы коммерции требуют поставлять продукт надлежащего, считай стандартизированного качества. Хряк иногда моется — он не так грязен, как гласит молва, а когда становится по-настоящему толстой свиньей, председательствует на языческих церемониях, называемых свиноводческими конкурсами, по завершении которых, после того как его вконец затискают, обласкают, наградят орденом Почетного легиона и провозгласят наитолстейшим и наикрупнейшим, его коварно умерщвляют шпиговальным ножом и в тот же день разделявают на закуску. Кабану тоже случается оканчивать свои дни на мясном прилавке, однако он до последнего момента сопротивляется. К тому же ему иногда выпадает посмертная радость быть выставленным во всей своей красе, вплоть до последней

щетки, в «Шатрио» или другом роскошном заведении: кабан никогда не покидает эмпиреев. У него всегда, вплоть до последней минуты, остается возможность покончить жизнь самоубийством, бросившись под колеса автомобиля на какой-нибудь автостраде; а если заблагорассудится, он даже может выбрать для этого мост, который послужит величественной декорацией к акту самоутопления. Наконец, как это ни странно, кабан пользуется той же доброй славой, что и медведь, и гордо красуется на гербах знаменитых родов — тогда как его розовый собрат может украсить своим изображением разве что витрину какого-нибудь колбасника, такого же жирного, как он сам.

КВАРТИРА В НАПЕРСТКЕ

Ну что вы, места у вас хватает!

С Морисом я столкнулся в автобусе. Вид у него был удрученный.

— Ну и как твоя квартира? — спросил я у него.

Я прекрасно знал причину его плохого настроения. Он недобро поглядел на меня.

— Это величайшая глупость в моей жизни, — сказал он. — Лучше бы я остался у матери.

— Но ведь не мог же ты поселить Жаклин у своей матери! Свекровь и невестку всегда лучше держать подальше друг от дружки...

— Вот как? — отозвался Морис. — Ну-ну. С тех пор как привезли мебель, мне негде даже одеться. Уж не скажешь ли ты, что это удастся тебе?

Мы с Морисом приискали себе по одинаковой квартире: комната, кухня (она же душ) и прихожая размером приблизительно полметра на метр.

— Мне?! — с воодушевлением воскликнул я. — Да у меня все чудненько! У нас с Одилью места даже больше, чем нужно!

Мы с ним не попрощались. Должно быть, он рассердился. Ничего, я знаю: на днях он заявится. Ярость утихнет, и любопытство рано или поздно погонит его выяснить, вру я или нет. Я ожидаю его прихода с уверенностью в победе. Места у меня действительно более чем достаточно.

Конечно, это получилось не само по себе. Прежде всего мне пришлось преодолеть непроходимую косность, утвердившуюся в стандартном убранстве «меблированных однокомнатных». Вы отлично знаете, что я имею в виду: кровать (1 м 95 см на 1 м 40 см) в углу. У окна — платяной шкаф (2 м в высоту, 1 м 10 см в шири-

ну, 65 см в глубину). В самой середине комнаты — так, чтобы не было никакой возможности передвигаться — стол (90 на 75 см), и какой-то диковинный ларь (1 м 20 см в высоту и 1 м 10 см на 50 см в основании) — точно посерединке единственной оставшейся свободной стены. Несколько стульев, круглый столик на ножке (диаметром 60 см). Короче, когда все рассядутся (и будут не очень глубоко вдыхать), пространство еще есть... Но только вверху! И еще: если хочешь избежать синяков, лучше не шевелиться.

Кухня мне досталась, по счастью, относительно просторная: примерно два метра на два с половиной. Правда, я как-нибудь выкрутился бы и вовсе без кухни... Я даже подготовил подробный план размещения в пространстве 3·3·3 м, и что самое удивительное — свободным остался целый кубометр воздуха! Но не будем забегать вперед. Я хотел высвободить место; история не знает примеров, чтобы малая толика желания не привела к решению даже самых неразрешимых проблем. Я сыграл в Ле Корбюзье по маленькой и выиграл... Правда, в моем случае правительство не ставило палки в колеса.

Первым делом — шкаф. Ничто не производит более гнетущего впечатления, чем высокий угрюмой окраски шкаф в светлой комнате (и, скажем прямо, не такой уж большой — настало время уточнить, что ее площадь насчитывает примерно 4,5 на 3,1 метра). Шкаф оказался из сосны — зрелище, согласитесь, не очень веселое. Нечто квадратное, огромное, с нависающим фронтоном.

Долой колебания. Сосна это или нет, выкрасить ее белой краской и — прочь на кухню, чудище. Теперь оно подпирает собою дальнюю стену симметрично ансамблю мойка-бачок по отношению к электрической плите, под которой удобно расположилась коробка для отбросов. Закамуфлированное под цвет стен, чудище растворяется во всеобщей белизне, и вы уже не кажетесь себе Мальчиком-с-пальчик подле Великой китайской стены. Тем же, кто заметит на это, что, дескать, кухонные запахи могут пропитать одежду, я отвечу, что, во-первых, в нужное время шкаф закрыт, поскольку люди одеваются и готовят пищу обычно в разное время. Во-вторых, я в любом случае не такой уж ярый приверженец жаркого, потому что это тяжелая для желудка еда, и, в-третьих, уж если на то пошло, в наше время повсюду продаются дезодоранты.

Раз уж мы с вами очутились на моей кухне, расскажу вам об одном нехитром, но весьма практичном приспособлении. Представьте себе дальнюю стену. Слева — бачок для горячей воды и мойка. Посередине — электроплита (нет, я не капиталист: ее прокат у «Электриситэ де Франс» обходится в 270 франков ежеме-

сячно). Справа — шкаф (кстати, сверху на него мне удалось взгромоздить несколько пустых чемоданов). Таким образом, сушить посуду в общем-то негде, поскольку в стене слева — окно, достигающее до самой мойки. Поэтому прямо над плитой я укрепил широкую убирающуюся к стене доску, которая опускается к самым конфоркам. Дополнительная хитрость: доска смонтирована так, что в рабочем положении имеет пологий наклон к мойке, и вода с нее беспрепятственно туда стекает. Щедрое покрытие эмалевой краской защищает непритязательную древесину, из которой она изготовлена, а защелка надежно удерживает ее от падения на кастрюли, когда наступает время пользоваться плитой. Разумеется, в подвесном шкафчике над мойкой хранятся разные припасы и пустые бутылки.

В другом углу кухни расположен душ. На днях я собираюсь прибрать к рукам пустующее пока пространство над ним: оборудую там небольшую сушилку для белья или дополнительную антресоль — на дно постелю лист пластика и буду складывать туда уйму мелочей, которые вечно не знаешь куда деть и выбросить не выдержишь — не позволяет древний инстинкт сохранения.

А вот над столом, к примеру, я установлю гладильную доску, обтянув ее предварительно стеклотканью. Точь-в-точь как доска для сушки посуды, она будет подниматься к стене. Под окном, хоть и низким, найдется место для ящика, который примет в свое нутро полочки для овощей из оцинкованной проволоки, щетки для обуви, да, наверно, и саму обувь. Там же сможет разместиться (в том маловероятном случае, если я получу крупное наследство) один из этих холодильничков объемом 35 литров, которые так хорошо подходят для условий Парижа. Словом, куда ни повернись, я обнаруживаю свободные площади, зияющие пустоты, жаждущие, чтобы их заполнили, девственные территории, которые я рано или поздно освою.

Но вернемся в комнату. Тем более что именно туда я направил острие своего несравненного организаторского гения. Сравнив общую располагаемую площадь с поверхностью, занятой мебелью, я очень быстро пришел к выводу, что без внесения коренных новшеств мне придется распротиться с мечтой об уголке отдыха типа «гостиная». Как ни переставляй кровать, стол и прочее (я забыл упомянуть устрашающего вида торшер, раскрашенный абажур которого изображает каравеллу, обреченную немедленно затонуть, если ее когда-нибудь рискнут построить, и который, как я предчувствую, на днях падет жертвой несчастного случая), все равно совершенно не представлялось возможным мерить комнату большими шагами, когда я объят муками творче-

ского вдохновения. Вдобавок в моем случае положение усугублялось наличием письменного стола, единственного предмета обстановки, который мне удалось приобрести в своей собачьей жизни, — сооружения из металла с пластиковой облицовкой, покоящегося на двух тумбах с самым хитроумным, какое только можно себе вообразить, расположением выдвижных ящичков. Единственный его недостаток — габариты (1 м 95 см на 85 см). Добавлю еще (решительно, я все забываю) два кресла типа «клубных» — всем известно, какую площадь они занимают — плюс внушительное количество книг и пластинок и проигрыватель — ну, он-то много места не требует.

Только не торопитесь обвинять меня во лжи. Клянусь вам, что все это у меня разместилось и я могу мерить шагами и так далее. И вот каким образом. (Я излагаю лишь одно из возможных решений; было и другое, еще более компактное. Но не стоит впадать в крайность и создавать впечатление пустой комнаты — это нагоняет страх.)

Сейчас повсюду расплодились раскладные кровати, диваны-кровати, кресла-кровати, кровати-ящики для белья, кровати-гитары, кровати-бог знает что еще... Все эти изобретения я решительно отвергаю. Поднять к стене доску для сушки посуды не требует больших усилий. Поднять кровать, даже прекрасно уравновешенную, уже нелегко. Кроме того, меня не вдохновляет сама идея складывать один предмет, чтобы ставить на его место другой. На мой взгляд, это все равно как жить в Шарантоне, а работать в Леваллуа¹; все это пустая трата времени, которой я заявляю твердое «нет». Кровать должна оставаться в постоянной готовности к использованию; в конце концов, в любой момент вам может прийти желание на ней растянуться, пусть даже всего лишь для того, чтобы почитать газету.

Итак, я нашел решение, которое позволяет одновременно:

- 1) сохранять кровать в ее естественном виде;
- 2) разместить книги, пластинки, проигрыватель и одно из «клубных» кресел;
- 3) укрыть кровать от взора возможного посетителя (я должен признаться, что застилаю ее не каждый день. Обожаю валяться на неубранной постели — всегда можно высунуть ноги наружу, в прохладные уголки);
- 4) вызвать восхищенные замечания вроде: «О, как ловко вы это придумали!» или «Но вы же просто гений!»;

¹ Шарантон-Ле-Пон и Леваллуа-Перре — соответственно юго-восточный и северо-западный пригороды Парижа.

5) в общем, создать дополнительную комнату в моей квартире.

Все оказалось на удивление простым. Я купил на десять тысяч франков досок и шурупов и за две с половиной тысячи — лестницу. Жесткость крепления кровати обеспечивается изящной решетчатой фермой, как называют ее изготовители, составленной брусками сечением 3·2 см, а роль несущих элементов выполняют четыре столба по углам, на полки между которыми мне удалось вдобавок расставить массу книг.

Высота сооружения от пола составляет 1 м 65 см. Недостаточно, чтобы под ним стоять? Согласен. Но в том-то и штука, что под ним как раз уголок отдыха, где стоят проигрыватель, пластинки и одно из «клубных» кресел. Конечно, можно было бы сделать его и повыше... Но тогда расстояние от кровати до потолка стало бы маловато. Зато сейчас на кровати можно свободно садиться, не опасаясь стукнуться головой о потолок. Впрочем, на кровати никто не стоит, а выражение «спать стоя» носит чисто образный характер.

Когда вы лежите, пусть заходит кто угодно: вас не видно. И места хватает с избытком. Я еще не исчерпал всех возможностей системы. Вы только представьте себе, что я мог соорудить второй ярус над письменным столом, а значит, несколько ближе к полу (ведь за столом всегда сидят) и соответственно с меньшими издержками. Каково? Голова кругом идет. И все это — не в ущерб тому, что я собираюсь установить над столом дополнительно.

Ежедневное восхождение по лестнице служит превосходной тренировкой. И вид сверху замечательный. Еще можно дотронуться до потолка, что создает интимную обстановку.

Наконец, письменный стол под кроватью прекрасно решил бы проблему человека, которому нужно работать, в то время как живущий с ним под одной крышей сладко спит, надежно защищенный от света.

Таково ядро конструкции. Остальное — сущие пустяки. На этот фундамент можно нарастить уйму предметов: горшки с кактусами, подвешенные к угловым опорам, карман для наиболее часто слушаемых пластинок, настенную вешалку и т. д. и т. п.

Предвижу возражение: при такой конструкции неудобно, мол, стелить постель. Это верно, но только для вас; для меня это уже не так. Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что на протяжении многих столетий никто никогда не пытался усовершенствовать систему, состоящую в том, чтобы разбирать по вечерам то, что наутро предстоит собирать? Я же воплотил в жизнь идею *перманентной* постели, у которой нижняя простыня всегда без складок, а верхняя — всегда подвижна. Стелить постель раз в десять-

двенадцать дней, с периодичностью смены белья — разве это не прогресс, а?

Недавно Одиль сказала мне:

— Дорогой, надеюсь, ты не будешь сердиться, но я...

— Что, мой ангел?

— Мне кажется, что... ну, в общем... Ох, милый, пообещай мне, что не разозлишься.

В моих глазах вспыхнули зеленые огни понимания, и я заключил свою несравненную Одиль в объятия.

— Любовь моя, — сказал я ей, — хорошо бы это оказались близнецы... В конце концов, зачем ограничивать себя, коли у нас столько места?..

И теперь я продумываю некоторые усовершенствования — большего пока сказать не могу... Новые идеи, одна другой грандиозней, теснятся у меня в голове. А эти горе-конструктора из салона «Современная квартира» — они мне просто смешны!..

КАКОЙ С НИМИ ОТПУСК!

Не лучше ли ездить одним?

Телефонный звонок выдернул меня из сладкого сна.

— Алло! Это ты, Клод? Говорит Антуан. Слушай, на носу отпуск, и я подумал, что неплохо бы встретиться, организовать что-нибудь — ну, как прошлым летом...

— Весьма сожалею, но вы ошиблись номером. Это погребальная контора «Дюпитон и сын», к вашим услугам, — замогильным голосом пробубнил я и положил трубку. Одили, которая тем временем с немым вопросом в глазах дергала меня за рукав пижамы, я объяснил: — Это Антуан Руа.

Она упала в обморок, и мне понадобилось добрых десять минут, чтобы привести ее в чувство. Надо объяснить вам почему. Но вначале совет: никогда, ни за какие коврижки не соглашайтесь на предложения типа:

— Слушай, старик, раз ты снял домик на берегу моря, мы могли бы поехать вчетвером. Женщины будут заниматься стряпней, а мы с тобой — ходить на рыбалку...

Идиллическая картинка: праздность, прерываемая лишь утками желудка. Во сне все выглядит очень заманчиво. В прошлом году то же самое, или почти то же самое, сказал мне Антуан:

— Слушай, Клод, у тебя есть домик, а у меня — машина, и она в полном порядке, так что мы могли бы поехать вчетвером. И расходов выйдет поменьше.

Расходов действительно вышло поменьше, но только с его стороны. Об этом он позабыл меня предупредить. Машина его была и впрямь в полном порядке. Но только не шины. Они обладали досадной склонностью к раболепию. Я в жизни не видел, чтобы шины с такой радостной готовностью распластывались по земле перед каждым гвоздем, а то и обычным булыжником. Что

до расходов, то у Антуана в кармане было тысяч пять или шесть на все про все. За рулем мы сменяли друг друга. К несчастью, подвеска у его машины оказалась совсем неплохой, и семьсот километров умеренной тряски не смогли обуздать неукротимую энергию Жозе-Шарлотты, жены Антуана. Признавшись нам, что страшно близорука, она тем не менее после Валанса села за руль.

Наконец показалось Средиземное море, потом извивы неширокого шоссе, по которому, съехав с автострады, мы едем к Сен-Тропе: перекресток, торпедный завод и сам городок, весело искрящийся под солнцем. У меня на душе праздник. Площадь Ристалищ, подъем к башне Жарлье и совсем рядом — мой домик, спрятавшийся в тени за очередным изгибом проулка.

Мы входим, и Жозе-Шарлотта неумеренно восторгается моей уютной кухонькой в провансальском стиле. А вот и лестница в комнаты.

— Может, сначала слегка перекусим, — говорит Антуан, — а после положим, отдохнем.

— Предлагаю хотя бы в первый день пойти в ресторан, — не соглашается Жозе-Шарлотта. — Не будем же мы с ходу принимать за стряпню! У нас как-никак отпуск.

Приятный сюрприз: с величественным видом Жозе-Шарлотта, и глазом не моргнув, расплачивается по счету.

— Не беспокойся, старик, — говорит мне Антуан. — У Жозе-Шарлотты деньги есть, а я должен вот-вот получить.

Назавтра мы распределяем обязанности — вернее, обязанности распределяются сами по себе: Антуан с Жозе-Шарлоттой до часу дня нежатся в постели, в то время как я, поднявшись в девять утра, делаю уборку, иду за покупками и помогаю Одили соорудить королевский завтрак. В час десять все готово, и на пороге, словно по волшебству, свежий и отдохнувший, в халате появляется Антуан.

— Ой, ребята, — с сокрушенным видом восклицает он, блаженно жмурясь от запаха эскалопов, — не стоило вам так себя утруждать. Вы должны были дожждаться нас.

Жозе-Шарлотта все еще в кровати. Антуан усаживается за стол.

— Она сейчас придет, — уверяет он, усиленно работая челюстями.

Я отправляюсь за Жозе-Шарлоттой с твердой решимостью вытащить ее из постели — если понадобится, за шиворот.

— Входи! — кричит она из-за двери.

Я вхожу, и передо мной предстает картина полного разгрома. Раскладушки поставлены на попа, мои чудные небесно-голубые матрасы валяются прямо на полу. На умывальнике — дюжины

баночек и тюбиков с кремом, пудрой и прочей косметикой. Жозе-Шарлотта — в умопомрачительных пляжных брючках. Надо сказать, что росту в ней метр пятьдесят четыре и она весьма пухленькая, но в брюках почему-то щеголяют все больше такие, как она.

— Привет, Клод! — говорит Жозе-Шарлотта. — Как у тебя здорово! Мы спали как сурки.

— Эй, вы! — кричит снизу Антуан. — Может, поторопитесь?

К моему возвращению он уже смолотил добрых две трети ниццкого салата, с любовью приготовленного утром моей Одилью, которая знает, что я его обожаю. И банку анчоусов.

— Чем займемся теперь? — вопрошает Жозе-Шарлотта. — Клод, ты тут все знаешь.

Я начеку.

— Сначала — посудой. Потом можно прошвырнуться.

— Послушайте, ребятки, — вмешивается Антуан, — мы приехали отдыхать. Так что предлагаю маленько вздремнуть после завтрака, а потом можно будет прокатиться на машине.

Антуан уже насытился.

— Ну, так до скорого, — заключает он. — Завтрак был — объединение.

Посуда за нами. Спускается он ровно через пять минут после того, как вытерта и уложена последняя чайная ложечка, и заявляет:

— Ну что вы, надо было подождать нас! Сделали бы это вчетвером.

После чего исчезает за дверью. Час спустя мы с Одилью, прогуливаясь в порту, обнаруживаем Антуана с Жозе-Шарлоттой — с комфортом устроившись в плетеных креслах, они потягивают из высоких бокалов martini.

— Ого! — возмущенно восклицает Одиль.

На следующий день я просыпаюсь в девять. Сам. Погода стоит чудесная. Одиль урчит во сне, как сиамская кошка. Я толкаю ее локтем.

— Ты что, забыл? — сонно бормочет она. — Сегодня не вылезаем из кровати, пока они не зашевелиятся.

Воцаряется тишина, я смотрю на часы: половина десятого. О Господи, как медленно тянется время! Исподволь затекает плечо. Я меняю положение и начинаю нервничать. Спать в такой денек — просто преступление. Сосредоточившись на возвышенных размышлениях — например, что-то у нас будет на завтрак? Я кое-как дотягиваю до одиннадцати. Одиль продолжает безмятежно почивать. Я встряхиваю ее.

— Тебе не стыдно?

Она с испугом выныривает из сладкого забытья.

— Что такое?

— Не стыдно тебе спать, когда такое солнце? — спрашиваю я.

— У меня отпуск, — отвечает она, переворачиваясь на другой бок. — Что хочу, то и делаю.

С этими словами она сладострастно забивается в объятия Морфея. Я призываю на помощь всю философию, какой только располагаю. В конце концов, измученный, изнуренный, я забываюсь беспокойным сном. Меня вовремя вытаскают из нечеловечески жуткого кошмара.

— Ты что, решил спать до завтра?

— Который час? — бормочу я.

— Три. Мы уже позавтракали. Тебя решили не беспокоить. А сейчас собираемся на прогулку. Пойдешь с нами?

Я с трудом сдерживаю свой праведный гнев.

— Вы хоть что-нибудь мне оставили?

— А как же, — хором отвечают они.

Присоединиться к веселой компании у меня нет сил. Они и впрямь оставили мне кое-что: тарелку риса и грязную посуду.

Разбиваю я только два стакана. Это удачно: все меньше вытирать. А на следующий день, само собой, наступает моя очередь страдать.

Тем не менее быт кое-как налаживается. У Жозе-Шарлотты появилась дурацкая мания украшать свою комнату зелеными ветками; она сует их буквально повсюду, так что ощущаешь себя в дремучем лесу. На мой взгляд, это просто смешно; сам я предпочитаю выброшенные морем причудливые деревяшки — они прелестно глядятся на камине. Как-то вечером Жозе-Шарлотте хватает бестактности заявить, что с этой своей манией я, дескать, просто смешон. Я решительно возражаю. Во время нашей с ней пикировки Антуан с Одилью приканчивают бутылку розового.

Есть еще одна проблема — с душем. У меня маленькая, но удобная душевая. Так вот, всякий раз, когда я намереваюсь принять душ, я застаю там Жозе-Шарлотту в одеянии Евы. Я, естественно, рассыпаюсь в извинениях, но ведь запора на двери нет... Я тут ни при чем, постройка летняя, незамысловатая, и не моя вина, что меня и Жозе-Шарлотту одновременно осеняет одна и та же идея. Как-то поутру я встаю и направляюсь в душевую. Нажимаю на ручку, но дверь не поддается. Невесть откуда взявшийся Антуан подозрительно смотрит на меня.

— Я установил защелку, — с ехидцей заявляет он. — Жозе-Шарлотта принимает душ. И не красней так.

— Эх, ну и манеры у вас! — говорю я.

Одиль, как ни странно, меня не поддерживает. Она целиком на стороне Антуана. Каналья, он подрывает мой авторитет.

Как, впрочем, и в тот день, когда мы взяли напрокат яхту. Только я собрался продемонстрировать свое мореходное искусство, как налетевший ветер вырывает у меня из рук шкот и оставляет нас на произвол судьбы посреди океанских просторов. Я имею в виду, что до причала добрых полсотни метров. Все начинается сызнова: подковырки Антуана, квохтанье Жозе-Шарлотты и улыбочки Одилы. Ладно. Я умываю руки: попробуйте-ка сами справиться с судном. Антуану каким-то чудом удается выровнять яхту, и мы благополучно достигаем берега. Все это вредно отражается на моем самочувствии, и мне кажется, будто я нежеланный гость в собственном доме. Однажды, правда, мне удастся взять реванш. Антуан и Жозе-Шарлотта повстречали друзей и отправились к ним. В два часа ночи я просыпаюсь и слышу, как они, спотыкаясь, возвращаются к себе. Засыпаю. В шесть утра меня будит собака — ей надо наружу. Этот идиот Антуан опять позабыл ее запереть. Со слипающимися глазами, яростно чертыхаясь, я провожаю ее до входной двери. На обратном пути чувствую какой-то странный запах. Поднимаюсь. Дверь в их комнату распахнута. Они спят: Жозе-Шарлотта — в кровати, Антуан — в кресле, одетый. Сигарета выпала у него из рук, подожгла постель, и комната плавает в едком желтом дыму: матрас вовсе тлеет. Я трясусь Антуана, немилосердно перхая:

— Все горит, балда!

Походкой лунатика он направляется к умывальнику, берет ковш с водой и опрастывает его на Жозе-Шарлотту. Та бессмысленно хохочет.

До меня доходит, что, не будь собаки, дом бы сгорел дотла. Увесистым пинком куда-то в мягкое я протрезвляю Антуана.

— Ну ты, поджигатель, убери отсюда жену!

Он начинает осознавать происходящее. Следующий час проходит в тушении пуха и ваты — работенка не из легких, уверяю вас. Счастье еще, что Одиль спит. В полдень, за завтраком, она удивляется тому, что стол накрыт на пятерых.

— Ты кого-то пригласил?

— Да, — отвечаю. — Она сплошь черная и волосатая.

Низа мигом оценивает обстановку и проникается ко мне глубокой признательностью. Ей-Богу, она заслужила антрекот. Все кончается хорошо. Но теперь меня никто не заставит провести отпуск с Антуаном и Жозе-Шарлоттой. В нынешнем году я так не оплошаю. Все будет по-другому. Мы едем вместе с Рене и Жаклин. У них, по крайней мере, нет собаки. Они берут с собой пятилетнего сынишку.

Я НАШЕЛ КВАРТИРУ И С ТЕХ ПОР...

никак не выкручусь

Все началось с того дня, когда я сверзился с лестницы. Конечно, прошло уже столько времени, что мне бы следовало привыкнуть, но дело в том, что мне приснился сон. Я скакал по зеленой лужайке, устланной ковром из цветов, и — оп! — перепрыгнул через ручеек. Падение с высоты метр шестьдесят пять сантиметров, разумеется, не столь уж и опасно, но посреди ночи, часам этак к девяти утра, это впечатляет. Да еще эта верблюдница Одиль тут как тут — схватилась за живот и складывается пополам от хохота.

— Я гляжу, тебе безумно весело!

— Послушай, милый, — отдышавшись, сказала она, — мне кажется, хватит нам спать на верхотуре. Это, конечно, здорово экономит место, но ведь рано или поздно люди стареют и теряют былую ловкость. И впрямь забавно было забираться на кровать по лестнице, но за полтора года мы, по-моему, уже исчерпали все прелести птичьего гнездышка.

— Куда ты клонишь?

— Дорогой, нам надо найти квартиру побольше.

От этого удара я так и сел — в кресло. Опять она за свое!

— Я не миллионер, — отрезал я.

Когда спустя две недели я понял, что это серьезно и ей не составит труда дуться и год напролет, я сдался.

— Вот тебе адрес. Это маклер по недвижимости — он нашел квартиру Жаку. Съезди к нему сама. Его зовут Диманш. Господин Диманш.

Я был убежден, что это ни к чему не обязывает: когда у меня запросят миллион доплаты к моей нынешней квартире, я только руками разведу — ведь у меня ни гроша за душой. Зато для Оди-

ли это будет развлечением. Она тотчас отправилась к упомянутому маклеру и вернулась, полная радужных надежд.

— Он пообещал мне, что наверняка что-нибудь для нас подыщет...

В этот вечер я карабкался по лестнице с восхитительной умиротворенностью, и потекли ничем не омрачаемые дни.

Примерно месяц спустя, в понедельник, Одиль встала с постели, когда не было еще и одиннадцати.

— Позвоню-ка я Диманшу. Может, он уже нашел нам квартиру.

Вернулась она запыхавшаяся и озабоченная.

— Эти шесть этажей меня доконают! Он назначил нам встречу сегодня в полчетвертого в кафе у Граффа. У него есть кое-что на примете.

— Что же? — спросил я, еще не догадываясь о чудовищном катаклизме, уже грозившем ввергнуть мое беззаботное существование в первозданный хаос.

— Двухкомнатная квартира... небольшая, но совсем новая.

— Маловато! — отрубил я.

— Там есть еще солярий на крыше...

— Я не намерен работать на крыше!

— И все-таки съездим поглядим...

Мы встретились с господином Диманшем. Он заявил, что дело весьма срочное, и без лишних слов выволок нас наружу. Мы устремились за ним по узкой улочке со щербатой мостовой.

В конце тупика маячила причудливая конструкция из железобетона. Мы ступили на темную лестницу и через пять пролетов оказались перед небольшой дверью, выкрашенной в темно-зеленый цвет.

— Здесь, — сообщил маклер, вставляя в замочную скважину ключ.

Снаружи светило солнце, несмотря на то что было уже начало ноября. Но внутри оказалось еще светлей. Все было белое, новое, блестящее, полированное — и кухня, и ванная, и две сияющие девственной чистотой комнатки, и прихожая, где мы стояли, — небольшая, но уютная.

— Вот, — сказал Диманш. — Теперь смотрите сами. Добавлю только, что наверху — солярий площадью под сто квадратных метров.

— И сколько? — с замиранием сердца спросил я.

Он назвал цифру, и я, падая в обморок, успел оценить великолепную упругость паркета.

— Беда в том, — продолжал Диманш, — что ваш ответ мне

нужно знать завтра, не позднее половины шестого утра, потому что эту квартиру заметил один художник с Огненной Земли, а он очень торопится. Но если вы предложите на двести тысяч больше, чем он, квартира ваша. Аренда на двадцать один год, квартплата тридцать тысяч. А скромная доплата, которую я вам назвал, делает вас обладателем всего оборудования: колонки, ванны и прочего.

Остаток дня я провел у телефона. Набрав номер очередного приятеля, я приличествующим случаю тоном начинал:

— Алло, старик. Прости, что побеспокоил...

— Да? Чем я могу тебе помочь?

— Катастрофа, старик. Я нашел квартиру.

— Квартиру? Ч-черт!..

— Закавыка вот в чем, — продолжал я. — У меня в кармане ровно тридцать франков. Не мог бы ты одолжить мне... м-м... всего лишь на...

Как выяснилось, я обладаю природным даром убеждения. Несколько часов спустя в моей записной книжке выстроились в столбик слагаемые баснословной суммы. Недостающее восполнил отец Одили. Назавтра я в четыре утра вытащил Диманша из постели, и дельце было обстряпано.

— Хочу вас предупредить, — напоследок сказал мне Диманш. — Ваш домовладелец — душа-человек, но он несколько беспечен. Добейтесь, чтобы он заделал дырку в потолке в большой комнате. И пусть он приведет в порядок отопление.

Вооруженный договором о найме сроком на двадцать один год и несколькими сотнями тысяч франков долга, придававшими мне определенный вес, я небрежным жестом отмахнулся от этих мелочей.

— Ну хорошо, хорошо, — не стал настаивать Диманш. — На новоселье-то пригласите?

— Обязательно! — заверил я его.

Прежде всего — переезд. Но о том, чтобы воспользоваться услугами соответствующего агентства, не могло быть и речи: у меня не осталось ни гроша. Я снова обзвонил приятелей.

— У меня машина сломалась, — заявил Марсель.

— Черт возьми, — простонал Ив, — у меня, как назло, вся ближайшая неделя расписана по часам.

— В среду я тебе помогу, — сжалился Жан-Поль.

Среда выдалась на славу. За четыре ездки мы едва сняли пенку с этажерок с книгами и пластинками. В час взмокший Жан-Поль посмотрел на часы.

— Дьявольщина! — вскричал он. — У меня же назначена встреча!

Я остался в одиночестве. К счастью, был еще Эдди с его чудным фургончиком и тележкой.

— Тут всего на пару часов работы! — уговаривал его я. — С твоей-то техникой!

— Ладно, — скептически хмыкнул Эдди. — Подъезжай в субботу к трем, получишь тележку.

Скажу только, что и в девять вечера конца не было видно. Это же кошмар, сколько всего может уместиться в квартире — даже в квартире с наперсток!

Газ к дому еще не подвели, и я, торопясь заселиться, за сущие пустяки — пятнадцать тысяч франков — приобрел у электрика трансформатор. Это такая штукавина, благодаря которой, говорят, электроэнергия обходится дешевле. Трансформатор сверкал посреди щитка, и после некоторой заминки — когда я, перепутав концы, подал на освещение 220 вольт, а на отопление 110, что дало мне возможность полюбоваться тем, как во всем блеске славы взрываются шестидесятиваттные лампочки — мы включили электрические радиаторы, два алюминиевых чудища, вмещающих в свое нутро невероятное количество воды.

Посреди ночи меня разбудил шум тропического ливня. По паркету стучали крупные капли. Приведя себя в пристойный вид — занавесок мы еще не повесили, — я зажег свет. Потолок был скрыт плотной облачностью.

Невзирая на поздний час, я спустился позвонить.

— Что?.. — ответил заспанный голос электрика. — Это ничего... Небольшая конденсация. Ведь все новое, оно должно высохнуть.

Пришлось нам раскрыть зонтик над кроватью и остаток ночи провести, скрючившись под ним, чтобы укрыться от непогоды. Наутро ярко светило солнце, но дождь не перестал.

— Лично я пойду приму ванну, — заявила Одиль.

Колонка — замечательный аппарат, в любое время суток готовый выдать сто литров воды, нагретой до 90°. Тем не менее минут через двадцать до меня донеслись неясные призывы. Я распахнул дверь в ванную. Натолкнувшись на стену густого — хоть топор вешай — тумана, я отступил. По счастью, рука моя опустилась на латунный рожек, игрой на котором я услаждаю осенние вечера. Я дважды протрубил в него.

— Сюда! — позвала Одиль.

Я начал пробираться наугад, время от времени подавая предупредительные гудки.

— Потри мне спину! — прокричала Одиль.

Ретировавшись в комнату, я облачился в плащ.

— Готово! — крикнул я. — Иду!

О горе! Туман заполнил и комнату. Спустя пять минут я забрел на кухню и воспользовался этим, чтобы приготовить себе добрую порцию грога. Туман понемногу рассеивался — как выяснилось впоследствии, Одиль открыла в ванной окно. Когда мне удалось расколоть ледяной панцирь, сковавший Одиль в ванне, она помчалась в спальню и нырнула под одеяло.

— Не такая уж это и роскошь — электрическое отопление, — заметила Одиль.

— Верно, — согласился я, — но не забывай, что за киловатт мы платим всего семь франков сорок.

— Это ночью! — уточнила она. — А днем — двадцать один сорок.

— Неважно, — не сдавался я, — все равно это очень экономно.

Для пушей уверенности я отправился взглянуть на счетчик. О ужас! Он вращался со свистом, словно музыкальный волчок. Черные цифры свидетельствовали, что мы задолжали «Электриситэ де Франс» уже добрую тысячу франков. Что же касается красных, отмечавших потребление в часы пиковой нагрузки, то они добавляли к итогу еще шестьсот франков.

— Тысяча шестьсот франков за двадцать четыре часа! — простонал я. — Придется нам уменьшить подогрев.

Я установил реостаты на первое деление. Наступил полдень, и мы проголодались.

— Как это так — они до сих пор не привезли нам электроплиту! — негодуяще воскликнула Одиль. — Ведь заявка подана неделю назад. Что, если ты сходишь...

— Позвонить? — подхватил я и отправился в компанию сам. Служащий рассмеялся мне в лицо.

— Неделю назад? Милый мой, у нас нет плит. А заявок — аж двести тридцать семь.

Я уныло поплелся домой. Одиль я застал взгроздившейся на ящик — мебель была нам пока не по карману — перед старым электрочайничком, ее неизменным спутником во всех поездках. Держа в руке стакан с водой, она не отрывала от чайника глаз. Когда варево подступало к краям, грозя перелиться, она вливала несколько капель воды, и все на время утихало.

— Удобно варить тут суп, ничего не скажешь! — проворчала она. — Нагрев регулировать нечем. Вот и приходится то и дело,

когда начинает кипеть слишком сильно, подливать холодной воды.

Три дня мы готовили в чайнике, а когда нам надоело питаться супом и крутыми яйцами, я приобрел премиленькую спиртовку — она работает безотказно. Электрические радиаторы я отключил. Завтра я ожидаю прихода симпатяги печника: он должен продолбить в стене большие дыры и провести в них трубы. Это обойдется всего-навсего в двадцать пять тысяч франков, но, поскольку у меня их нет, мне решительно все равно, сколько тысяч это стоит: пять или пятьдесят. Зато у нас будет такая квадратная штукавина из листового железа, куда закладывают дрова и поджигают, — если я не ошибаюсь, она называется временем. А Одиль откопала чудный ресторанчик совсем недалеко отсюда. В те вечера, когда у нас сыровато, мы перебираемся на ночлег в гостиницу — она тут же, в нашем тупичке, и топят там отменно. Ничего, все это временные неурядицы. Через год-полтора, когда я выплачу все долги, мы заживем по-королевски. И все-таки я питаю надежду, что к тому времени мы подыщем себе что-нибудь другое: что ни говори, а двухкомнатную квартиру содержать трудно.

СТРЕЛОЧНИК — ИСТИННЫЙ ВИНОВНИК

Опасен ли генерал без солдат?

А полицейский комиссар или префект без рядовых полицейских?

А папа без кардиналов, архиепископов и кюре?

На этих я особенно зол.

Англичанам известно: король без власти восхитительно безобиден.

Но стрелочник — это действующая сила.

Сто стрелочников представляют угрозу для личности.

Ста тысяч стрелочников достаточно для войны.

Сто миллионов стрелочников несут погибель человечеству.

Директор Французских железных дорог не в состоянии своими руками пустить поезд под откос. Чтобы сделать это, ему понадобилось бы стать стрелочником или диспетчером и переключить сигналы. Но стрелочник! Какой завидный пост.

Сам себе Гитлер! Чудесное зрелище.

Но восемьдесят пять миллионов стрелочников за его спиной — и шутки в сторону. После смерти Гитлера стрелочники остаются и пытаются прикинуться безобидными — как все стрелочники мира.

Стрелочники ненавидят друг друга; однако, объединившись, они начинают именоваться народом и становятся неуязвимы.

Единственная защита от стрелочника — это индивидуализм народа. Стрелочникам это прекрасно известно. Отправить всех адмиралов на флот — вот и конец морским сражениям.

ПРИЛОЖЕНИЕ

И ОПРАВДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Есть масса вещей, которые никогда не знаешь, куда приткнуть, так почему бы не поместить их в эту книгу. Среди них — различные умозаключения, которые доказывают, что я *вдобавок* еще и мыслю.

1. Я различаю гениев одаренных и гениев не одаренных. «Гений есть долготерпение» — это высказывание гения не одаренного.

2. К тому же зачастую это есть долготерпение окружающих.

3. Всякое упорядоченное индуктивное множество содержит по меньшей мере один максимальный элемент (это не мое, это лемма Цорна; мне поведал о ней Поль Браффор, и она мне очень нравится).

4. Все, что я вам только что сказал, возможно, и не привносит ничего особо ценного, однако заметьте: *это ничего и не отбирает* (курсивом, как в книгах Гастона Леру, когда *это заходит далеко*).

5. Женщина — это лучшее, что только можно найти на замену мужчине, если тебе не подфартило быть педерастом. (Хотел бы я знать, это-то здесь за каким хреном?)

6. Жизнь, полная приключений, доблести и героизма, обычно состоит из серии подвигов, которые совершаются на чужбине и которые неминуемо привели бы в тюрьму, будь они совершены у себя на родине.

7. «Замерла она, прекрасная и безмолвная, как статуэтка из сакса афонного»*. (Вот подобрались и к музыке.)

8. Война по идее должна быть ненавистна торговцу, поскольку она уничтожает покупателя.

9. Более всего не терплю женщин, которые полагают, будто могут позволить себе быть некрасивыми, потому что умны. К счастью, мне еще ни разу не повстречалась умная женщина.

* Афония — потеря голоса. (Прим. перев.)

10. У женщины красота — признак скромности (да что это я все про женщин?..).

11. *Примечание, которое относится к «Марсельезе» и показывает, что это действительно революционная песня.*

Как известно, монархия (смерть тиранам!) сделала своим лозунгом изречение Генриха IV (а может быть, Сюлли): «Хлебопашество и скотоводство — вот кормящие груди Франции». Помимо того, что сие определило Францию как млекопитающее, тогда как кое-кто нынче уподобляет ее самой безмозглой домашней птице — петуху, — из этого следует, что растениеводство и животноводство были в почете.

А теперь оцените лукавство «Марсельезы» и, в частности, этой ее знаменитой строки:

Пусть кровь нечистая напоит наши нивы*.

Разве это не яростный выпад против земледелия? Кровь — а в особенности кровь нечистая — совершенно бесполезна для выращивания растений. Так что сразу становится ясно, как именно эта революционная песня подрывает основы коварного занятия королей. Правда, кровь, чистая или нечистая, но сваренная, прекрасно подходит для разведения молодняка форели, но злакам она нужна как рыбе зонтик и к тому же, когда портится, начинает вонять**.

Вы скажете, что навоз тоже не благоухает. Но почему тогда там не про навоз?

Все это, разумеется, если уважать сельское хозяйство. Лично я умываю руки (в воде) от всего того, что может случиться, если воспринять «Марсельезу» буквально. Увидите, какой омерзительный получится хлебушко.

Так что некоторые песни опаснее, чем кажутся.

* Дословный перевод. (*Прим. перев.*)

** Любопытно, что ни в одном из трех известных русских переводов «Марсельезы» нет этого сочетания «крови нечистой» и «наших нив». Вот эта строка:

Пусть кровью вражеской напьются наши нивы! (*«канонический» перевод, переводчик неизвестен*)

Пусть кровь нечистая бежит ручьем (*перевод Н. Гумилева*)

Пусть кровь бесчестная падет (*перевод В. Ладыженского*)

(*Прим. перев.*)

СТРОИТЕЛИ ИМПЕРИИ

Впервые пьеса была поставлена 22 декабря 1959 года в Париже в театре Рекамье.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ОТЕЦ

ШМУРЦ

СОСЕД

МАТЬ

ЗИНОВИЯ, дочь

ДУРИЩА, служанка

Первое действие

Действие происходит в ничем не примечательной комнате. Обстановка мешанская, в глубине — буфет в стиле Генриха II, обеденный стол со стульями, вся мебель составлена в один угол; окна закрыты, все двери выходят куда полагается, в углу, где нет стола, видна лестница, идущая как бы из комнаты снизу как бы в комнату наверху. На сцене никого нет, даже при опущенном занавесе, и когда он поднимается, сцена по-прежнему пуста. С нижней лестницы доносятся голоса.

Голос отца (*настойчивый*). Давай, Анна, поторапливайся... осталось всего пять ступенек.

Слышно, как кто-то спотыкается, затем раздается крик.

Я же говорил тебе, Зиновия, не совать мне руки под ноги... не слушаетесь — сами виноваты...

Голос Зиновии (*раздраженный*). А зачем ты первым лезешь?

Голос отца (*испуганный*). Замолчи...

Откуда-то извне раздается леденящий душу звук непонятного происхождения: рокочущий гул вперемешку с неприятным стуком.

Голос Зиновии (*спокойный*). Мне страшно...
Голос отца. Скорее... последний рывок!..

На сцене появляется отец, в руках у него ящик с инструментами и доски. Он рушится в изнеможении, затем поднимается и оглядывается. В это время подтягиваются остальные члены семьи: дочь Зиновия лет шестнадцати-семнадцати, мать Анна — на вид ей лет тридцать девять-сорок. Отец — бородатый мужчина лет пятидесяти. Имеется также служанка по прозвищу Дурища. У всех какая-то поклажа: сумки, чемоданы. В углу, съжившись, уже давно сидит шмурц, весь в лохмотьях, с ног до головы замотанный бинтами, одна рука у него на перевязи, другой он опирается на палку.

Он еле ходит, раны кровоточат — зрелище не из приятных.

Отец. Ну все, дети мои, мы почти у цели. Еще совсем немного.

С улицы, то есть из окон, снова доносится гул.
Зиновия пригнувается.

Мать. Успокойся, моя хорошая... (*Хочет подойти и приласкать Зиновию, но отец останавливает мать на полдороге.*)

Отец. Анна! Скорей помоги мне. Это гораздо важнее. (*Устремляется к лестнице и начинает заколачивать досками выход на нижнюю площадку; мать бежит ему на помощь, внезапно замечает шмурца, останавливается как вкопанная, неприязненно на него смотрит и пожимает плечами.*)

Отец. Подержи доску, а я пока гвоздь поищу. (*Копаются в инструментах и вытаскивают гвоздь.*) На самом деле надо бы шурупы поставить, но, наверное, не выйдет.

Мать. Почему?

Отец. Во-первых, у меня нет шурупов. Во-вторых, отвертки. А в-третьих, я все время забываю, в какую сторону закручивать.

Мать. Вот в эту... (*Показывает все наоборот.*)

Отец. Не так. (*Показывает как надо — гул нарастает, — Зиновия приходит в ярость и вопит.*)

Зиновия. Давай быстрее!

Отец. Что-то я совсем растерялся... ты меня заговорила (*заколачивает гвозди*).

Мать. Это я тебя заговорила?

Отец. Дорогая, не будем ссориться. (*Бросается к ней и страстно целует.*) Ты меня вдохновляешь... (*Снова принимается забивать проход на лестницу.*)

Зиновия. Я есть хочу.

Мать. Дурища, накормите малышку.

Все это время служанка наводит порядок, стараясь не подходить к шмурцу.

Дурища. Хорошо, мадам. *(К Зиновии.)* Что ты хочешь: яйца, молоко, пюре, овсянку, какао, кофе, бутерброды, абрикосовый джем, виноград, фрукты или овощи?

Зиновия. Я есть хочу.

Дурища. Пожалуйста. *(Протягивает пачку печенья.)* Тогда ешь печенье, если ничего другого не хочешь. *(Идет обратно мимо шмульца, явно его сторонясь. Отец кладет молоток на землю и встает.)*

Отец. Уф!.. Готово... Можно чуть-чуть расслабиться. *(Потягивается.)*

Мать. Кобыл в этом году мало будет.

Отец. Кобыл?

Мать. Я говорю, кобыл мало будет. Кобылы с волками тягались, только хвосты да гривы остались. Старая французская половица. Я думала, ты знаешь.

Отец. Почему я должен знать?

Мать. Ты же был живодером. Не помнишь?

Отец. Нет... запямятовал.

Мать. В Нормандии...

Отец. Правда? *(Чешет бороду.)* Очень странно. *(Подходит к шмульцу и со всего размаху бьет его по щеке, потом возвращается с задумчивым видом.)* То, что ты сказала, — просто поразительно.

Мать. Почему?

Отец. Поразительно и все тут. Абсолютно из головы вылетело. *(Хлопает в ладоши.)* Ну, Дурища, прибралась? Заканчиваешь? *(Внимательно оглядывается.)* А здесь ничего.

Мать подходит к шмульцу и бьет его ногами.

Зиновия *(смотрит на буфет)*. Кошмар.

Отец. Ты что? Недовольна?

Зиновия. Сколько это может продолжаться? Долго мы будем вот так ночью срываться с места, бросать наши вещи, насиженные углы, не видеть ни солнца, ни деревьев...

Отец. Слушай, нам еще повезло... смотри, какая лестница...

Мать. Лестница как лестница, малышка права.

Отец. По-моему, очень удачная. По такой даже в полной темноте вскарабкаться можно... *(Бежит по ней вверх, затем спускается.)*

Мать. Хуже, чем предыдущая.

Отец. Судя по всему, такая же. *(Отряхивает руки.)*

Зиновия. Как тебе не совестно так говорить? У меня внизу была собственная комната...

Отец. Собственная? Внизу была трехкомнатная квартира, как здесь. Ты спала в столовой.

Зиновия. Я не про вчера говорю... Я имею в виду раньше, давно...

Отец (*обращается к матери*). У нее была своя комната?

Мать. Точно не помню. (*Обращается к Зиновии.*) У тебя была комната?

Зиновия. Конечно, рядом с вашей, напротив маленькой гостиной.

Мать. Что за маленькая гостиная?

Зиновия. Обыкновенная. С темно-красными креслами, венецианским стеклом и прелестными красными шелковыми занавесками. Еще был красный ковер и золотая люстра.

Мать. Ты уверена?

Зиновия. Уверена.

Отец. А я абсолютно не помню... Ты же совсем маленькая была...

Зиновия. Именно: молодые-то помнят, а вот старые все забывают.

Отец. Зиновия, поуважительнее с родителями.

Зиновия. У нас было шесть комнат.

Мать. Шесть комнат! Ну и что! Их ведь убирать надо!

Зиновия. У Дурищи тоже была комната! И этого не было!

Отец. Кого не было?

Зиновия. Его! (*Показывает пальцем на неподвижного шмульца.* Долгая пауза.)

Мать (*заботливо*). Зиновия, девочка моя, о ком ты?

Отец. Зиновия, тебе нужно отдохнуть.

Во время этого разговора Дурища уходит в левую кулису.

Отец и мать подходят к Зиновии.

Мать. Ты отлично знаешь, что тут никого нет. (*Подходит к шмуцу и лупит его по голове.*) Отлично понимаешь. (*Отдувается.*)

Зиновия (*растерянно*). Шесть комнат было... никого, кроме нас... и деревья под окнами.

Отец (*пожимает плечами*). Деревья! (*Подходит к шмуцу, бьет его по голове.*) Деревья... (*Вытирает руки.*)

Зиновия. Белоснежный туалет...

Возвращается Дурища.

Дурища. Простите, месье...

Отец. Что тебе?

Дурища. Здесь только две комнаты, где мне лечь спать?

Отец. Сейчас скажу... мы ляжем вместе, жена, дочка и я... а вы... вы здесь...

Дурища (*решиительно и холодно*). Ни за что...

Отец (*смущённо улыбается*). Ни за что... она говорит ни за что... тогда...

Мать (*обращаясь к отцу*). Сделай ей перегородку. (*Обращается к Дурище, суровым тоном.*) Будете здесь спать или нет?

Дурища (*пожимает плечами*). Если месье сделает перегородку... (*Подходит к шмурицу и нерешительно бьет его.*) С перегородкой, я, пожалуй, здесь останусь... (*Снова пожимает плечами и уходит в другую комнату, держа какой-то инструмент. Пауза.*)

Зиновия. Видишь... Всего две комнаты. Я была в этом уверена.

Отец садится. Впервые у него растерянный вид.

Отец. Две комнаты... вполне сносно... люди и не в таких квартирах живут...

Зиновия (*в ужасе*). Но почему... почему...

Мать. Что почему?

Зиновия. Почему каждый раз, как раздается этот гул, мы убегаем?

Отец и мать вжимают голову в плечи.

Что это за гул? Скажи мне наконец! Мама, скажи мне...

Мать. Зиновия, душенька моя, тебя же сто раз просили об этом не спрашивать.

Отец (*с отрешенным видом*). Нам неизвестно. Если бы знали, обязательно тебе сказали.

Зиновия. Обычно тебе все известно.

Отец. Обычно. А тут обстоятельства исключительные. А потом, известные мне вещи — это те, что существуют на самом деле, а не миражи.

Зиновия. Значит, этот гул на самом деле не существует?

Отец. В общем-то, нет.

Мать. Это образ.

Отец. Символ.

Мать. Ориентир.

Отец. Предупреждение. Только не надо путать образ, знак, символ, ориентир и предупреждение с самой вещью. Это было бы грубой ошибкой.

Мать. Путаницей.

Отец. А ты не вмешивайся.

Зиновия. Но если он на самом деле не существует, зачем же мы уходим?

Отец. Так безопасней.

Зиновия. Даже когда мы бросаем шестикомнатную квартиру, где больше никого, кроме нас, не было, и перебираемся в двухкомнатную, все равно так безопасней. *(Смотрит на шмурца.)*

Отец. Безопасность превыше всего.

Подходит к шмурцу, плюет ему в лицо и отходит.

Зиновия. У меня была комната, проигрыватель, пластинки, а теперь у меня больше ничего нет и все надо начинать заново.

Отец. Заново! Между прочим, здесь стоит буфет времен Генриха II в отличном состоянии.

Мать. Тебе грех жаловаться. Подумай о других.

Зиновия. Например?

Мать. Есть люди, которым гораздо хуже, чем тебе.

Отец. Чем нам. *(С довольным видом.)* Это точно. Двухкомнатная по нынешним временам...

Мать *(декламирует)*. Как колотушка в дали дальней, печальные удары в спальне... Бум! Бум!.. *(Внезапно замолкает.)* Не то...

Отец. Хорошо начала и почему-то замолчала...

Мать. Устала...

Отец. А я очень лестницей доволен. *(Идет и хлопает по ней ладонью.)* Дуб.

Мать. Бук под дуб.

Отец. Нет... не бук. Уж в крайнем случае елка, но не бук. Бук — такое дерево, слишком... ну, ты понимаешь.

Мать. Где тут кухня?

Отец *(указывает на дверь)*. Наверное, там.

Зиновия *(произносит нараспев)*. Там внизу у меня была комната, голубая, как будто для мальчика; посередине — письменный стол, в правом ящике — альбом, куда я наклеивала портреты кинозвезд, в нижнем — школьные тетрадки, книжки на полках; я смотрела в окно на зеленые листья, и солнце светило все время, тогда май длился двенадцать месяцев, и в каждом мае было тридцать одно воскресенье, и пахло свежим воском и мятными конфетами, а у меня на кровати лежало кружевное покрывало, кружево не ручное, но очень красивое, его замачивали в чае, и оно становилось светло-бежевым, как хлебный мякиш. А по вечерам я танцевала.

Мать. Дорогая, тебе еще рано жить воспоминаниями. (*Сидит, сложив руки.*)

Отец открывает одну за другой все двери, шкафы, буфет и время от времени дает затрещины шмурцу.

Отец. А вот эта дверь выходит на лестничную площадку.

Зиновия. И потом приходит?

Отец. Зиновия, не надо понимать все буквально, у меня и так голова кругом идет.

Зиновия (*шепчет*). Буквально. (*Пожимает плечами.*)

Отец. Ты бы лучше уроки сделала.

Выходит на лестничную клетку. Видно, как он пристально разглядывает дверь в квартиру напротив. Потом возвращается. Зиновия ходит по сцене с рассеянным видом.

Отец. Сосед вроде приличный.

Мать. Ты его видел?

Отец. Я табличку видел.

Мать. Мало ли на что можно табличку повесить. Ты мне постоянно это говоришь.

Отец. Он — советник.

Мать. Может быть, придется к нему обратиться.

Входит Дурища.

Дурища. Что делать на завтрак?

Зиновия. На завтра или на завтрак?

Дурища. Сварить что-нибудь?

Мать. Лучше просто перекусим.

Зиновия. Попролам перекусим?

Отец. Так что мы перекусим?

Дурища. Телятину, суп, редиску, манную кашу, палтус, морковь или кнели? Или, если хотите, угря, салями, шпигованное мясо, свиную голову в уксусе и мидии.

Мать. А что осталось?

Дурища. Лапша.

Отец. Не хочу лапшу. Между прочим, после такой ночи...

Мать. Если больше ничего нет, тогда приготовьте лапшу.

Дурища. Зачем ее готовить, она и так готовая.

Мать. Тогда отварите.

Дурища. Хорошо. (*Уходит на кухню.*)

Отец. Интересно, какие он советы дает.

Мать. Кто? (*Подходит к шмурцу и бьет его.*)

Отец (*валится в кресло и закуривает трубку*). Сосед.

Мать. А, советник.

Зиновия. Мама, можно я радио включу?

Мать (*обращается к отцу*). Можно ей включить радио?

Отец. Радио... (*Почесывает затылок*.) А где оно? Я его завернул в желтое клетчатое одеяло. Оно у тебя было?

Мать. Нет... у меня был старый черный чемодан, сумка с бельем и продукты.

Отец. А у меня — корзинка, ящик с инструментами, доски... (*Кричит*.) Дурища! Дурища!

Входит Дурища.

Мать. Мы не можем радио найти. Что у вас было в руках?

Дурища. Торшер, посуда, картина двоюродного брата, железный сундучок, подставка для бутылок, кухонный шкафчик, коробка с обувью, пылесос и мои вещи...

Отец. И, конечно, забыли желтое одеяло.

Дурища. Мне никто не велел его брать. (*Бьет шмурца*.)

Мать одобрительно кивает головой.

Отец. Ну что ж, обойдемся без радио.

Мать. Мы все равно его никогда не слушали.

Зиновия уходит.

Обиделась.

Отец. На что?

Мать. Не знаю. (*Пауза*.)

Отец. Пойду к соседу зайду.

Мать. Сходи, сходи, хоть отвлечешься. (*Берется за рукоделие*.)

Отец распахивает дверь, и она так и остается открытой. Видно, как он стучит в квартиру напротив, ему открывают, он входит и за ним захлопывается дверь. Пауза. Возвращается Зиновия.

Зиновия (*угрожающим тоном*). И что теперь будет?

Мать (*что-то зашивая*). Твой отец сам разберется.

Зиновия. Все будет как прежде, только чуточку хуже. Жить будем чуточку хуже, будем так же двигаться, только чуточку медленнее, так же работать, только чуточку халтурнее. Пройдет одна ночь, за ней другая, день превратится в ночь, но однажды мы услышим гул, взбежим по лестнице, что-то забудем... и останемся в одной комнате... с кем-нибудь.

Мать (*участливо*). Помолчи, ты бредишь.

Зиновия. А что со мной будет?

Мать. Я же тебе говорю, что отец сам разберется. Существует много решений.

Зиновия. Но ты согласна с тем, что это надо решать?

Мать. Ты меня раздражаешь. Родители справляются со сложностями детей по мере того как они появляются.

Зиновия. Дети или сложности?

Мать. У нас, слава Богу, никаких сложностей нет. (*Встает и принимается с яростью тыкать ножницами в шмульца.*) Не понимаю, почему ты так переживаешь.

Возвращается отец в сопровождении соседа.

Отец. Разрешите представить вам мою семейку. Анна, моя жена... Зиновия, моя дочь.

Сосед. Очень приятно! (*Кланяется.*)

Отец. Месье Гаре...

Зиновия. Мы уже очень давно знакомы. (*Пауза.*) Он жил напротив, когда у меня была комната и пластинки.

Отец (*прокашливается*). Кхе... Полагаю, не имеет смысла показывать вам нашу квартиру, поскольку у вас точно такая же.

Зиновия. А потом, когда мы поднялись этажом выше, он снова жил на нашей площадке...

Отец (*громким голосом*). Видите, буфет ничуть не хуже вашего...

Сосед смотрит на шмульца.

Сосед (*вполголоса*). У нас точно такой же.

Отец (*та же игра*). По-моему... мне кажется, они все одинаковые...

Сосед бьет шмульца ногами.

Зиновия. А потом, когда мы поднялись этажом выше, он сделал то же самое.

Сосед. Ну и память у малышки!

Отец (*с довольным видом*). Как вам это нравится?

Сосед. Удивительные сейчас дети растут.

Отец (*с удивлением*). Что именно вы имеете в виду?

Сосед. Раньше они были не такие, вам не кажется?

Мать (*убежденная его доводом*). Вы абсолютно правы.

Зиновия. А какие они были раньше? Это вы раньше были детьми. Разве тут можно сравнивать? Это же совершенно несравнимые вещи!

Сосед (*обращается к отцу*). Сразу видно, что ваша дочка много размышляет.

Отец (*пускается в объяснения*). Ты ведь понимаешь, Зиновия, что сравнение не ограничивается временными рамками.

Зиновия. А кто тогда может сравнивать? И ты, такой, как сейчас, со своими дурацкими мозгами не в состоянии сравнить того ребенка, каким ты был, со мной.

Отец. Зиновия, не груби.

Сосед. Тем не менее ваша дочь что-то явно затронула. Полагаю, проблему беспристрастного наблюдателя.

Зиновия. Такого не бывает.

Сосед (*усаживается*). Хотелось бы услышать ваше мнение.

Зиновия. Раз уж он наблюдает, то пристрастно; в нем проснулась страсть к наблюдению. Либо он наблюдает невнимательно. Тогда он плохой наблюдатель.

Отец. Но... хм... беспристрастность может быть благоприобретенной. (*Подходит к шмуцу, бьет его и возвращается на прежнее место.*)

Зиновия. И как же она благоприобретается?

Сосед. Если воспитывать надлежащим образом, беспристрастность можно привить.

Зиновия. А кто будет воспитывать? Родители? (*Презрительно хмыкает.*) А как определить, что его воспитывали беспристрастно? Пристрастные родители и будут определять? Прекрасные пристрастные родители!

Отец (*в возмущении*). Хватит. Замолчи сию минуту.

Зиновия (*спокойно*). Замолкаю. (*Замолкает.*)

Пауза.

Сосед похлопывает себя по коленкам, мать подходит и бьет шмуца, который пытается приклеить пластырь. Мать отнимает у шмуца кусочек пластыря, но потом с трудом его от себя отдирает.

Сосед. У вас очаровательная дочка.

Отец (*с облегчением*). Вот... наконец-то... с этого и надо было начинать. Так мне гораздо легче. Поехали дальше. (*Становится очень светским.*) Я тут случайно столкнулся с вашим сыном, какой он у вас стал огромный!

Зиновия. Опять собираешься меня заставить с его сыном играть? Я уже вышла из этого возраста.

Отец (*строго*). Довольно! (*Обращается к соседу.*) Тяжело, верно, справляться с таким верзилой? Ха! Ха!

Сосед. Восемнадцать скоро стукнет...

Зиновия. И куда же его стукнет? По голове, а может быть, по шее?

Мать (*обращаясь к соседу*). Непременно его к нам приводите, малышка будет очень рада.

Зиновия. Если Ксавье хочет меня видеть, его необязательно приводить за ручку. (*Каждый раз, когда она что-либо пытается сказать, никто не обращает на нее внимания.*)

Сосед. Большое спасибо за приглашение, Ксавье с удовольствием познакомится с такой девочкой, как Зиновия.

Отец (*обращается к матери*). А сейчас мне что говорить?

Мать. Постой... она ведь теперь старше, чем в тот раз. Мне кажется, надо... (*Шепчет ему что-то на ухо.*)

Сосед встает, больно выкручивает руку шмуцу, потом снова садится на свое место.

Отец. Ты права.

Мать. От этого зависит ход действий.

Отец (*обращаясь к соседу*). Как бы нам лучше встать?

Сосед. По-моему, в их возрасте...

Мать (*настойчиво, обращаясь к отцу*). Прекрасно, Леон. Давай, любовь...

Отец. Ну, хорошо. (*Встает и торжественно заявляет.*) Кредо.

Зиновия. О Господи... (*Встает и идет в сторону кухни.*)

Мать (*обращаясь к соседу*). Правда, неплохо воспитана? Скрамница!

Сосед. Просто прелесть. Моему парню повезло.

Отец. Минуту внимания! (*Начинает снова.*) Кредо! (*Пауза.*) Я не отношусь к тем деспотичным натурам, что столь часто встречаются в природе и литературе несмотря на мировую культуру и прогресс истинной цивилизации. (*Вытирает пот со лба.*)

Мать (*вполголоса*). Леон, у тебя никогда еще так не получалось. (*Отец знаком просит ее замолчать и продолжает.*)

Сосед устраивается поудобнее и внимательно слушает; потом берет пепельницу и швыряет ее в голову шмуца.

Отец. Впрочем, если бы это было в моей власти, то ложные ценности были давно вытеснены ценностями гораздо более прочными, такими, как мораль, современная идеология, развитие физики, освещение улиц, изничтожение прогнившей трухи изжившей себя демагогии; примером для... для подражания послужили

бы великие строители прошлого, ибо они руководствовались чувством долга и азбучными истинами...

Сосед. Вы, случайно, не отклонились от темы?

Мать (*обращаясь к соседу*). Непонятно... Я теперь сама не знаю, к чему он ведет.

Отец (*естественным тоном*). Странно, но у меня такое же ощущение. Как будто слова сами собой произносятся.

Мать. Не забудь, что речь идет о твоей дочери и его сыне.

Сосед. О другом и речи быть не может. Молодежь должна быть в центре внимания.

Отец. Попробую собраться. (*Декламирует.*) Как приятно видеть вокруг себя молодые ростки... (*Резко замолкает.*)

Мать. Давай, хорошо начал...

Отец. Эпитетов не хватает...

Входит Дурища.

Дурища. Между прочим, эта кухня — мерзкая, гадкая, отвратительная, грязная, противная, гнусная, тошнотворная, безобразная, затхлая, прогнившая, облупившаяся, вонючая, поганая и так далее. (*Делает паузу, затем с негодованием заявляет.*) И все равно я туда иду. (*Уходит.*)

Мать. Крупу возьми!

Отец. Здорово! Непросто найти столько уничижительных определений. Значит, ростки... Может, подскажешь что-нибудь...

Мать. Молодые зеленеющие ростки.

Отец. Не пойдет... тяжеловато. Я бы скорее сравнил с нежно-зелеными почками орешника или со светлым оттенком липовых листочков, незаметно окрашивающихся в более темный, а затем в фисташковый цвет, которым мы восхищаемся в трепетную пору возрождения всего живого; весной у нас захватывает дух при виде нежных пастельных красок, особенно когда тропинка, где мы прогуливаемся, вся в навозных кучах.

Мать. Леон!

Отец (*в ярости*). А с какой стати эти свиньи всегда гадят в самом красивом месте? Нет, ты мне скажи, почему? (*Срывается на крик.*)

Мать. Успокойся.

Отец (*уже спокойнее*). Ты права. (*Декламирует.*) Как радостно видеть эти тесно сблизившиеся юные головки... сплетенные ушки...

Мать. Леон! Что ты несешь!

Отец. Должны же они чем-то тесно сплестись. Я и придумал ушки.

Мать. Пальцами, уж на худой конец...

Отец. Но на голове нет пальцев.

Сосед. Кроме того, мадам, пальцев нет и у абстрактных понятий. Например, у сельского хозяйства.

Мать. А Венера Милосская — тоже абстрактное понятие?

Отец с рассеянным и задумчивым видом подходит к шмуrcу, бьет его и возвращается на прежнее место.

Отец (*барабанит по столу*). Что-то мы отклонились от темы. (*Обращается к матери.*) Кто делает предложение?

Мать. Подожди, не торопись... Вообще-то, он должен делать. Отец жениха должен просить руки невесты.

Входит Зиновия, жует бутерброд.

Зиновия. Отвратная кухня. Вы все дурака валяете?

Мать (*обращаясь к соседу*). Она у меня очень непосредственная, но я — человек широких взглядов и полагаю, что в наше время молодые люди не должны стесняться в выражениях.

Шмурц теряет сознание, отец смотрит на него, идет на кухню, возвращается с графином воды и льет ее на голову шмуrcа; тот с трудом приподнимается, отец бьет его ногой в лицо; мать продолжает разглагольствовать.

Мать. С одной стороны, я придерживаюсь... держусь... держу... в общем, у меня сложилось мнение, что с самого раннего детства детей нужно держать в ежовых рукавицах, дабы они поняли, что нет розы без шипов, однако, с другой стороны, я полагаю, что, покинув гавань младенчества, их белоснежные корабли могут выйти в открытое море и спокойно бороздить воды жизни.

Зиновия. Совершенно несуразная теория. (*Откусывает огромный кусок.*)

Сосед. Она замечательно поладит с Ксавье.

Зиновия в изнеможении садится на стул, снимает туфлю и чешет ногу. С улицы слышится неясный гул. Отец, мать и сосед вскакивают как по команде, входит Дурища; Зиновия в ужасе перестает чесаться, один только шмурц делает какие-то движения. Гул стихает, все, кроме шмуrcа, облегченно вздыхают.

Мать. Мне думается, что не сможем долго наслаждаться этим милым жилищем.

Дурища. Так что, мне больше не мыть, не скрести, не оттирать, не полировать, не начищать, не драить, не поливать, не вытряхивать, не вылизывать, не подметать, не выскабливать и до блеска не натирать?

Мать. Почему? Конечно, продолжайте.

Отец. Мы здесь ненадолго. Я бы даже сказал, на секундочку... во всяком случае, на некоторое время.

Сосед. У меня такое же ощущение, и, видимо, было бы разумнее всего вернуться в родные пенаты и кое-что проверить в записной книжке.

Отец (*проводит его до двери*). Не спешите. (*Выталкивает его за дверь*.) Всего доброго. (*Захлопывает дверь*.) Уф! Зануда несчастный.

Мать. О Господи! Знаешь, а малышка-то права. Я тоже его где-то видела.

Отец (*не обращает на нее внимания*). Все-таки как приятно чувствуешь себя в кругу семьи. (*Роется в сумках, вынимает хлыст. Снимает пиджак и с невероятной свирепостью принимается хлестать шмурца*.)

Мать. У кого-то я уже видела такую же родинку около носа. А где и когда — не помню.

Отец (*ровным голосом*). Да, знакомое лицо.

Мать. Типичное.

Отец. Даже обыкновенное.

Зиновия (*мечтательно*). Когда у меня была комната и пластинки, у Ксавье была такая же комната, только в подъезде напротив, и мы все время обменивались пластинками, и у каждого получалось вдвое больше. А отец у него все такой же кретин. (*Вдруг видит, что делает отец и истошно кричит*.) Что же ты делаешь! Что же ты с ним делаешь! Не трогай его!

Отец (*оборачивается к ней с совершенно невозмутимым видом*). А где лапша?

Мать (*с невозмутимым видом*). Наверное, уже давно сварились.

Потрясенная Зиновия уходит на кухню.

Отец (*еще некоторое время хлестет шмурца, затем прекращает и неторопливо потирает руки и хрустит пальцами*.) Открыть черный чемодан? Пока Дурища будет накрывать, я успею.

Мать. Пожалуйста, дорогой, если не трудно. По-моему, вилки — на дне. И не забудь про перегордку.

Отец. Как кончим обедать, сразу сделаю. (*Потирает руки, оглядывается.*) Прямо как дома. (*Целует мать в щеку.*)

На сцене появляются Дурища с дымящимся блюдом и Зиновия с хлебом и графином воды. Мать расставляет тарелки и раскладывает приборы.

Зиновия (*увидела, как целуются родители*). Вам вроде поздновато...

Мать. Любви все возрасты покорны.

Зиновия. Значит, я еще не доросла до такового возраста, потому что мне противно на вас смотреть. Теперь. (*Отец и мать садятся за стол.*)

Отец. В любви нет ничего зазорного.

Зиновия. В любви, может, и нет. (*Садится.*) Я не буду есть.

Дурища раскладывает еду.

Дурища. Остынет.

Отец накладывает себе лапшу.

Отец. Мм!.. Пахнет вкусно.

Дурища. Лапшой пахнет.

Мать. Вроде не разварилась. Поставьте блюдо, милочка, мы сами положим.

Дурища передает ей блюдо и уходит, стараясь не приближаться к шмуrcу. Отец занят едой и делает вид, что ее не замечает. Когда она доходит до кухни, он вдруг резко окликает ее.

Отец. Дурища... Вы ничего не забыли?

Дурища безропотно возвращается, берет хлыст и начинает хлестать шмуrcа.

Мать. Великолепно!

Зиновия съеживается, роняет голову на стол и затыкает уши; отец и мать едят; занавес опускается. Дурища еще некоторое время хлещет шмуrcа, потом останавливается и уходит.

Отец. Изумительно!

Мать. Очень вкусно!

Отец. Объеденье!

Мать. Пальчики оближешь...

Занавес

Второе действие

Перемена декораций. Еще одна комната с мансардой, еще более неприглядная. Те же вещи — тюки и узлы, что были в первом явлении. Только дверей меньше. Комната теперь не жилище, а скорее сборно-разборная конструкция; на одном столе — плитка, на другом — таз и т. д. В глубине сцены — дверь на лестничную клетку, на том же месте, что и в первом действии. Осталась еще только одна дверь, ведущая в спальню родителей и Дурищи. Зиновия лежит на обшарпанной раскладной кушетке. Шмурц выглядит еще ужаснее, чем в предыдущем действии; он прикладывает к себе старые тряпочки, пытается залечить кровоточащую рану на ноге и время от времени отгоняет от нее мух, размахивая своим рваньем. Когда занавес поднимается, Зиновия лежит на кушетке, рядом на краешке сидит Дурища и распускает старый свитер, сматывая шерсть в клубок. Так же, как и в предыдущей комнате, здесь тоже есть лестница, но уже и расшатанное.

Зиновия. Какой сегодня день?

Дурища. Понедельник, суббота, вторник, четверг, Пасха, Рождество, воскресенье, то ли Вербное, то ли Светлое, то ли Темное и вообще это воскресенье не разглядишь, а может, даже еще Троицын день.

Зиновия. Я так и думала. Скверно дни проходят.

Дурища. Не помещаются.

Зиновия. Народа слишком много или еще чего-то чересчур? Что им пройти мешает? Кстати, а как они проходят? Через игольное ушко или по улице?

Дурища. Здесь прошли и там пройдут.

Зиновия. Пока их нет, дай ему воды.

Дурища (*смотрит на Зиновию с непроницаемым лицом*). Что?

Зиновия (*кивком указывая на шмурца*). Дай ему воды.

Дурища (*бесстрастным голосом*). Кому?

Зиновия (*молчит. Пожимает плечами, не пытаясь настаивать*). Тогда дай мне.

Дурища недоверчиво на нее смотрит.

Я хочу пить.

Дурища. Ты уверена?

Зиновия. Нет. Я хочу дать ему попить.

Дурища. О ком ты говоришь?

Зиновия пристально на нее смотрит и в конце концов отводит взгляд.

Зиновия. А почему я лежу?

Дурища. Ты недомогаешь. Плохо себя чувствуешь. Тебе нездоровится. Налицо первые признаки недуга. Состояние, судя по всему, неудовлетворительное.

Зиновия. Я заболела?

Дурища. По правде говоря, трудно сказать.

Зиновия. Смотри, лестница. Мы слишком быстро взобрались. *(Оглядывается.)* Совсем опустились. Дальше некуда.

Дурища. Кухни больше нет.

Зиновия. Только спальня и эта комната. Не знаю, как бы ее назвать.

Дурища. А никак. Впрочем, можно сказать конура, каморка, чулан, клетуха, бардак, мусорная яма и всякое такое прочее, короче, вселенский хаос, хотя тараканов нет. Пока, смею надеяться.

Зиновия. Почему я заболела?

Дурища. Я вот, например, не очень выпендриваюсь. Но у твоих матери и отца тоже разные симптомы обнаруживаются...

Зиновия. Какие?

Дурища *(пожимает плечами)*. Опасные.

Зиновия. Кроме полного дебилизма, я никогда у них ничего не замечала.

Дурища *(глядя прямо в глаза Зиновии)*. Ничего?

Зиновия *(пауза)*. Что ты собираешься вязать из этой шерсти?

Дурища. Фуфайку, кофту, гарнитур, джемпер, свитер, пуловер, жилет, ажур крючком.

Зиновия. Жакет.

Дурища. На жакет шерсти не хватит. Этот на локтях прорался. Значит, следующий будет без рукавов.

Зиновия. Балахон.

Дурища. Наверное, я не успею его закончить.

Зиновия. Дурища, что это за Шум?

Дурища *(отворачивается)*. Какой шум?

Зиновия. Этот Шум...

Дурища. Шумы бывают разные. Одних только голосов животных...

Зиновия *(прервав ее)*. Нет... Этот Шум... каждый раз, когда мы уходим... каждый раз, когда мы встаем среди ночи и как сумасшедшие карабкаемся по лестнице, все забывая, расшибаясь... почему хоть раз не остаться, разочек? Почему нам так страшно.... это же смешно...

Дурища. А нам не страшно... мы просто по лестнице поднимаемся.

Зиновия. А если остаться? Если бы мы остались?

Дурища. Никто не остается.

Зиновия. А что сейчас внизу, под нами? Ничего не слышно... Никогда ничего не слышно... Давай послушаем, что там такое? Давай спустимся!

Дурища. Тебя знобит. Лихорадит. Температура поднимается. Ускоряется движение молекул.

Зиновия. Я хочу спуститься.

Шмурц шевелится и медленно ползет к лестнице.

Дурища. Твой отец заколотил лестницу...

Зиновия. Я отдеру доски... Я хочу спуститься... Я хочу посмотреть, кто у нас живет... Я хочу спуститься до самого низа, до моей бывшей комнаты, где у меня были музыка и проигрыватель. *(Встает, пошатываясь. Дурища ее поддерживает.)*

Дурища. Угомонись. Приляг. Устройся поудобнее. Расслабься. Отдохни. Успокойся.

Зиновия *(направляется к лестнице и видит свернувшегося в калачик лежащего шмурца, загородившего проход к лестничному люку. Безнадежно машет рукой и опирается о стол)*. Дай мне воды!

Дурища встает, наливает в стакан воду из большого кувшина, стоящего в тазу, протягивает стакан Зиновии, не глядя на нее, и уходит в соседнюю комнату. Оставшись одна, Зиновия берет стакан, подходит к шмурцу и пытается протянуть ему воду. Каким-то царапающим движением он отбрасывает стакан. Зиновия в ужасе отскакивает, рушится на кушетку и рыдает. Дурища возвращается, подбирает с полу стакан, вытирает его и ставит на место, стараясь не смотреть на шмурца. Потом подходит к Зиновии и гладит ее по плечу.

Дурища. Не плачь.

Зиновия привстает, сморкается. Открывается входная дверь, появляется мать, за ней отец. У обоих скорбные лица.

Мать. Бедняга, ему действительно не повезло.

Отец. Да... если задуматься, по сравнению с ним, у нас дела неплохи.

Зиновия *(сидит на кушетке)*.

Дурища от нее отошла и занимается хозяйством.

Как поживает Ксавье?

Мать. Послушай, милая моя цыпочка, в конце концов, ты толком этого мальчика и не знала.

Отец. В сущности, мы только два дня тут живем, и вряд ли Ксавье был нам ближе, чем сосед.

Мать. Ты не можешь относиться к тому, что произошло, так же, как если бы это случилось с твоим братом.

Отец. Или племянником.

Мать. Или кузеном.

Отец. Или сыном.

Мать. Или даже твоим женихом.

Зиновия *(холодно)*. Ксавье погиб?

Отец. Ммм... к сожалению, видимо, никаких надежд.

Мать. Вчера его похоронили, бедняжку.

Зиновия *(повторяет ровным голосом)*. Ксавье погиб.

Мать. Родители убиваются — смотреть невозможно.

Отец. Да, досталось им. Нам здорово повезло. *(Оглядывается, потирает руки, подходит к шмуцу, бьет его и возвращается.)*

Мать. Все прекрасно понимают, что им очень тяжело.

Зиновия. Они смирятся с неизбежным. Все смиряются. И мы *(Пожимает плечами.)*... тоже, как ни в чем не бывало.

Отец. Нам можно позавидовать, Зиновия, уверяю тебя, можно позавидовать.

Зиновия. Который час?

Мать *(ищет глазами часы, пинает шмуца, возвращается)*. Я не вижу часов.

Отец. Позавчера я упаковал их в серый бумажный пакет. Дурища, вы его несли?

Дурища. Нет *(выходит)*.

Отец. Смотри-ка... она сегодня неразговорчивая.

Мать *(обращается к отцу)*. Ну?

Отец. Наверное, внизу оставили. *(Пожимает плечами.)* Вполне без них обходимся, поскольку мы уже здесь два дня, и только сейчас спохватились, что они внизу.

Мать. Часа четыре, половина четвертого...

Зиновия. Если бы у меня был проигрыватель или хотя бы радио...

Мать. Какое радио? Послушай, дорогая, у нас никогда не было радио...

Зиновия. До того, как мы жили внизу. *(Показывает на пол.)* У нас было радио.

Отец. Я тебя уверяю, что внизу радио не было. Часы, точно, были. А радио не было.

Зиновия. Я же сказала: до того, как мы жили внизу. Если бы я хотела сказать внизу, я бы сказала: до того, как мы жили здесь.

Мать. У меня все-таки хорошая память, но я совсем не помню этого радио. Это как с соседом, беднягой, твой отец утверждает, что явно его уже встречал; мне он тоже вроде знаком, но

никак не припоминаю, что могло быть между нами общего. И все-таки повторяю, у меня хорошая память, а чтобы ты в этом убедилась, могу сказать, что как сейчас помню гордую импозантную фигуру твоего отца в тот день, когда он повел меня к алтарю.

Отец (*обращается к матери*). Надо развлечь малышку. (*Громко.*) Мы, конечно, плохо знали Ксавье, однако из чувства простой человеческой солидарности, я бы даже сказал, духа добрососедства, я вижу, что она испытывает глубокое сожаление в связи с его кончиной и потребность обратить внимание на мелочи.

Зиновия (*смотрит на родителей*). Поразительно, каким можно быть болтуном в таком возрасте.

Отец идет чехвостить шмурца и напоследок наносит ему три мощных удара в живот.

Мать. Ты уже не так переживаешь из-за смерти Ксавье?

Зиновия. Я считаю, что ему повезло.

Отец. Повезло? Зайчик, ты просто не понимаешь... у нас есть крыша над головой, еда, жилье...

Зиновия. Его все меньше и меньше.

Отец. Все меньше и меньше? Да у соседа его вообще больше нет.

Зиновия. Мне абсолютно наплевать на твоего соседа. Если его устраивает, ради Бога. Только раньше у него была шестикомнатная квартира, как у нас.

Отец. Шестикомнатная... это ни к чему.

Мать подходит к шмурцу и бьет его.

Зиновия. А сколько над нами еще этажей?

Отец (*совершенно искренне*). Не пойму, о чем ты спрашиваешь.

Зиновия. А если опять Шум?

Мать. Какой шум?

Слышится неясный шум. Все замирают, кроме шмурца, продолжающего тихонько шебуршиться.

Зиновия (*побледневшая, со сжатыми кулаками*). А если опять Шум?

Отец. Поднимемся наверх. (*Идет осматривать лестницу.*)

Зиновия. А если наверху ничего нет?

Отец. Но ты согласна, что эта лестница должна куда-то вести?

Зиновия (*терпеливо*). Согласна. Но там, наверху, будет только одна комната.

Отец. Откуда ты знаешь? Не факт. У тебя нет никакого права делать вывод, что на каждом следующем этаже окажется на одну комнату меньше.

Зиновия. А если, когда мы поднимемся этажом выше, там не окажется лестницы?

Отец. Если там не окажется лестницы, значит, она нам больше не понадобится, и, следовательно, ты больше не услышишь своего дурацкого шума.

Зиновия *(сбитая с толку)*. Ну если ты так рассуждаешь...

Отец. Какая-то ты странная, Зиновия. Любая другая девушка на твоём месте была бы счастлива. *(Бьет шмульца.)*

Мать. Ты забываешь, что малышку знобит. *(Пытается приласкать Зиновию, но та отстраняется.)*

Зиновия. Что вы сейчас собираетесь делать?

Отец. Как что собираемся делать? Не имеет значения. Ветер усиливается. Нужно жить дальше.

Мать. Говорю тебе, ее знобит. *(Обращается к Зиновии.)* Пойди, маленькая, ляг.

Зиновия подчиняется, мать ее укладывает, идет бить шмульца, затем возвращается на прежнее место, отец в это время листает какую-то книгу, что-то мурлыча себе под нос.

Зиновия. От чего умер Ксавье?

Отец. Что?

Зиновия. От чего Ксавье умер?

Отец. Причина была серьезная, хотя и пустяк. Ты прекрасно знаешь, как это случается с молодыми.

Зиновия. Не знаю.

Отец. Короче, Ксавье совершил несколько неосторожных действий, а отец имел глупость его не предостеречь.

Зиновия. Он спустился по лестнице?

Отец *(в смущении)*. Не знаю.

Зиновия. Он отказался подняться наверх?

Отец. Я же тебе сказал, не знаю. Суть в том, что он умер.

Зиновия. Он, наверное, попробовал спуститься, иначе его бы не хоронили; если бы он остался внизу, никто не осмелился его забрать.

Отец. Хоронили... мы только предполагаем, что его похоронили. Если он умер, то это единственное, что полагалось сделать, во всяком случае. *(Подходит к шмульцу и бьет его.)*

Мать уходит, возвращается, занимается хозяйством.

Зиновия (*мечтательно*). А что случилось с Жаном?

Отец. С Жаном? (*Искренне удивлен.*)

Мать. Зиновия, о ком ты говоришь?

Зиновия (*мечтательно*). Когда у нас была четырехкомнатная квартира с балконом, рядом через перегородку, с того же балкона соседский сын пускал самолетики. Его звали Жан. Он отлично танцевал.

Мать. Зиновия, цыпочка моя дорогая, тебе все приснилось.

Зиновия. Не приснилось.

Мать. Послушай, золотко, ты думаешь, что твоя мама старая дура... (*Отцу.*) Надо ее отвлечь, честное слово, надо ее отвлечь. (*Бьет шмульца.*)

Отец (*вопрошает*). Каким образом? По правде говоря, обязанностью родителей является, покуда они во власти это осуществить, обучение своих юных отпрысков и обеспечение их надлежащего воспитания, позволяющего сгладить и смягчить подстерегающее их на пороге семейного гнезда столкновение с реальной жизнью, чтобы они как можно меньше от него пострадали. Однако обязаны ли они развлекать своих детей, и входят ли развлечения в процесс обучения?

Мать. В виде обучающего развлечения. Ясно, что на Ксавье свет клином не сошелся. Зиновия должна быть готова встретить нового приятеля.

Зиновия. Предположим, я этого приятеля встречу, и где мы будем жить?

Мать. Неважно.

Отец. Проблема решится сама собой.

Зиновия (*саркастически*). И кроме нее проблем не будет. И вообще, у кого какие проблемы?

Мать. Я вот тут подумала и решила, что нет ничего лучше наглядного примера. Например, нашего.

Отец. Наш пример действительно показательный. (*Матери.*) Мне изобразить нашу историю?

Мать. Милый, у тебя так славно получается. А ты не просто изобрази, ты Расскажи. К чему лишать себя изобразительного средства, которым ты владеешь в совершенстве?

Отец (*торжественно объявляет*). Воссоздание. (*Начинает рассказывать.*) Представьте себе чудесное весеннее утро, праздничный город, хлопающие на ветру знамена и рев моторов, перекрывающий радостный гул огромного людского муравейника. Мое сердце пульсировало электрическими разрядами, я считал часы по китайскому абаку, полученному в наследство от моего двоюродного дедушки, участвовавшего в разграблении

Летнего Дворца в Пекине. *(Замолкает, погружается в раздумье.)* А куда девался абак? *(Матери.)* Ты его случайно не видела?

Мать. Понятия не имею, но, я думаю, мы его найдем, когда наведем порядок.

Отец. Неважно, суть в том, что его нет.

Зиновия. Если это случилось уже давно, то как раз суть уже не в этом, а суть твоих воспоминаний вообще другого порядка.

Отец. Зиновия, я пытаюсь тебя отвлечь, а ты меня только путаешь.

Зиновия *(с полным безразличием)*. Ладно, давай, продолжай. *(Удаляется в соседнюю комнату. Отец продолжает рассказ.)*

Отец. Короче, я считал часы, а поскольку математика — мой конек, подсчеты не представляли для меня никакой сложности. Равно как и многие прочие расчеты, в частности, длины окружности, количества песчинок в куче песка, осуществляемые сложением костяшек на счетах, и так далее. В прихожей счастливой невесты толпились приказчики, сгибавшиеся под тяжестью корзин с цветами, фруктами и грязным бельем, так как кое-кто должен был зайти в соседнюю прачечную, но ошибся дверью. Однако все это мне известно лишь по слухам, поскольку и она и я сидели у себя дома. Я был наизготове и весь сиял, мое пышущее здоровьем лицо было чисто выбрито, и оставшись наедине со своими мыслями, то есть действительно наедине, я принялся размышлять о воссоединении двух гражданских состояний, о котором можно было бы сказать, что... мм...

Мать *(в задумчивости)*. Кто бы это мог сказать?

Отец. Давай, давай, не останавливаемся, продолжаем разговор...

Мать. А я смущалась и краснела, хотя на самом деле знала что почем, поскольку мои родители были людьми современными, и знала, что этот негодяй, как только мы останемся одни, не успокоится, пока на меня не вскарабкается; вместе с подружками я болтала обо всякой всячине и прочей чепухе, ибо новоиспеченная новобрачная не думает ни о чем, кроме некоей штучки, однако в обществе не принято, чтобы об этой штучке шла речь до того, как она произойдет, а вот у дикарей — все можно, увы, их можно только пожалеть.

Отец снова подходит и лупит шмульца.

Твоя очередь, Леон, я устала вспоминать.

Они продолжают изображать подобие балета, представляя день свадьбы.

Отец. Я весь кипел, кровь пузырилась, а когда кровь пузырится, тут недалеко и до закупорки вен.

Мать подходит к шмуrcу и лупит его.

Ну я и говорю Готье, брату моему двоюродному, Жану-Луи Готье, он в комнату зашел и уже без пяти минут доктор. «Как ты полагаешь, а не сделать ли мне кровопускание?» А тот со смеху покатился. *(Покатывается со смеху.)* Он так хохотал... что и меня заразил. *(Подходит к шмуrcу и бьет его.)* Нет, здорово все-таки было. *(Застывает и произносит крайне невыразительным голосом.)* Классно мы тогда повеселились.

Мать. Мне было двадцать два.

Отец. Перехожу к самой церемонии. *(Кривляется.)* Согласны ли вы взять в жены сию очаровательную блондиночку? Как вы думаете, господин мэр! Что бы вы сделали, будь вы на моем месте? А я, отвечает мэр, педераст. *(Шлепает себя по ляжкам.)* Ну, прикол. Мэр — педераст.

Мать. Такой красивый. Даже обидно.

Отец. Потом священник начал: «Любите ли вы друг друга», потом ладан курили, детишки в хоре пели, милостыню собирали, короче, много чего делали. Пять раз собирали.

Мать. Ты точно помнишь?

Отец. Может, я что-то и присочинил, но милостыню точно пять раз собирали. Я даже растрогался. А после обедали у твоих родителей.

Появляется Дурища. Она несет поднос с ломтями холодной телятины и куриными бедрышками.

Чуть не умерли все.

Мать. Ты преувеличиваешь...

Отец. От обжорства. *(Берет у Дурищи поднос и принимает за еду.)*

Дурища направляется к выходу, обходит шмуrcа, но отец властным жестом щелкает пальцами, она возвращается и лупит шмуrcа.

Шампанское лилось хмельными потоками.

Мать. Игрисое.

Отец. Жмоты твои родители, что верно, то верно.

Входит Зиновия, жует бутерброд.

Зиновия. Ты закончил свое светопредставление?

Отец. Продолжение довоображаете сами. Мы остались вдвоем в нашей комнатке, новоиспеченные молодожены...

Зиновия (*обрывает его*). И через девять месяцев я появилась на свет.

Мать. А мы отправились в Арроманш устраиваться, там тебе предложили отличную работу.

Отец. Живодера. Вроде скульптора, но повеселее.

Мать. Вот и мы. Радостное семейство.

Балет подходит к концу, мать устремляется к отцу, тот к ней, в едином порыве они подлетают к шмурцу и дубасят его.

И счастливое, дружное, несмотря ни на какие противоречия.

Бьют шмурца.

Зиновия (*упавшим голосом*). С тех пор ничего не произошло? (*Садится на кровать*.)

Отец (*возвращается на свое место*). С каких пор?

Зиновия. Со времени Арроманша.

Отец. Мы уехали из деревни в большой город... И продолжали дружно жить в горести и в радости, и даже в будни, ведь их гораздо больше, а горести и радости, подобно часу пик, — явление исключительное.

Зиновия. Если брать расход электроэнергии, то там тоже есть часы пик, и ничего исключительного в них нет, поскольку это происходит каждый день.

Мать. Интересно, Зиновия, в кого ты уродилась — тебя хлебом не корми, дай поумничать.

Зиновия. В вас. По закону противоположностей, наверное.

Мать. Я стараюсь вспомнить всех членов семьи, но я не постигаю, как получилось, что ты унаследовала эти качества и от кого.

Отец (*обращаясь к матери*). Если хочешь, можно методично изучить весь род. Меня привлекает все, что делается методично. Можно было бы даже древо генеалогическое нарисовать. С твоей помощью.

Зиновия. Лучше не трогай его, оно без тебя само вырастет. А мне все равно.

Входит Дурища, заводит свою песню.

Дурища. Она пасует, сдается, сматывается, выжидает, выходит из игры, больше в ней не участвует, не отыгрывается, короче, конъюнктура ее не волнует.

Отец (*обиженно*). Интересно знать, Дурища, куда вы лезете?

Дурища. Это кто спрашивает?

Отец. Я.

Дурища. Тогда не говорите «интересно знать». Скажите «мне интересно, куда вы лезете», или «Дурища, надо ли совать сюда ваш нос?», или «касается ли вас сия проблема?», или «какой интерес представляет для вас данный предмет?». Говорите напрямик, а не намеками. Я когда-нибудь говорю намеками? (*Хватает первую попавшуюся утварь и принимается ее тереть.*)

Отец. Черт побери! (*В ярости наливает себе стакан воды.*)

Тем временем мать, совершенно не вникающая в разговор, находит в швейном несессере красивую, похожую на шляпную, булавку и втыкает ее в шмура.

Я вам не за разговоры плачу.

Дурища. Я могу предложить свою работу, я ее продаю. Вы за нее платите гроши. А вне процесса купли-продажи никто не запрещает продавцу разговаривать с покупателем, тем более если тут нет никакого мошенничества. (*Резко срывает с себя фартук и швыряет его на пол.*) И вообще, лавочка закрывается.

Отец. Как это закрывается?

Дурища. Продажа окончена. Покупайте в другом месте. Вернее, я пойду продавать в другое место.

Зиновия. Дурища... ты правда уходишь?

Дурища. Послушай, твой отец действительно слишком глуп. Он не понимает, где и в какое время он живет. Здесь только мне одной ничего не грозит...

Отец (*снисходительным и саркастическим тоном*). Не потрудились бы вы объяснить, почему вам ничто не грозит?

Дурища. Потому что я продаю работу, пользующуюся большим спросом у лентяев, лодырей, бездельников, неudelухов, ту-неядцев, нетрудовых элементов общества, а такого сброда полным-полно. (*Надевает соломенную шляпку, берет чемоданчик и скрывается за входной дверью.*)

Отец (*оскорбленный*). Нет, вы подумайте! Она на меня наорала!

Дурища возвращается, ставит на пол чемодан и обнимает Зиновию.

Дурища. До свидания, котик. Будь осторожна.

Забирает чемодан и уходит.

Отец (*приказным тоном*). Дурища... Вы что-то забыли...

Дурища оглядывается, пристально смотрит на шмурца, потом отрицательно мотает головой.

Дурища. Нет... Я не вижу ничего, что могла бы забыть. (*Уходит и закрывает за собой дверь.*)

Отец (*потирает руки*). Уф. Избавились. Девка наглена с каждым днем. Я в восторге. (*Лупит шмурца.*) А кроме того, меньше расходов и фактически еще одна комната.

Зиновия (*холодно*). Одна я здесь спать не буду.

Отец. Хорошо, хорошо... будешь спать рядом, вместе с нами...

Зиновия. Я могла бы спать рядом одна...

Отец (*смеется*). Какая хитрая! Для мадемуазель — самая лучшая комната...

Зиновия. Зачем заводят детей? Чтобы укладывать их в самой гадкой комнате?

Мать. Зиновия, не лезь в бутылку... а потом — не всегда дети получаются, когда задумаешь...

Зиновия (*сурово*). Не умеешь — не берись. (*Пауза.*)

Отец. Мнда... (*обращаясь к матери*). Мне кажется, она очень выросла.

Мать. Можем ли мы считать ее ребенком?

Отец. По всей вероятности, она приближается к взрослому состоянию.

Мать. Она еще подросток, но вполне сформировавшийся.

Отец. Ее замужество никому не покажется несуразным.

Мать. И коли она вышла замуж, отчего бы ей не посвятить себя пожилым родителям?

Отец. Стоит добавить, что мы уже устроились в соседней комнате.

Мать направляется туда, поворачивает ручку двери, но дверь не открывается. Мать мгновенно приходит в ужас.

Мать (*тихим, взволнованным голосом*). Леон!

Отец (*потирая руку, удивленно*). Что с тобой? Ты меня пугаешь.

Мать. Леон... дверь не открывается.

Отец. Прекрати... там остался черный чемодан и фотоаппарат... (*Идет к двери, пробует ее открыть.*) Это Дурища — когда уходила, заперла на ключ...

На улице вдалеке слышится шум, все, кроме шмурца, замирают.

Зиновия *(равнодушно)*. Дурища к этой двери не подходила.

Отец пытается открыть еще раз, но у него ничего не получается.

Отец. Она не на ключ закрыта... Как будто ручку заклинило... защемило...

Зиновия *(подражает Дурище)*. Застряла... застыла... не болтается... не двигается... пошевелить ее нельзя, другими словами, повернуть не представляется никакой возможности. *(Хочет, но тут же умолкает.)*

Отец *(подходит к входной двери, пытается открыть, та поддается. Радостно)*. Ага!.. Я так и думал, что все в порядке... Зря вы сразу встревожились... *(По дороге бьет шмульца.)* Все хорошо... у нас осталась достаточно просторная комната и, слава Богу, с этой стороны плита и туалет. *(Смеется.)* Представляешь, если бы мы оказались запертыми в другой комнате... *(обращается к Зиновии)* в которой, я тебя уверяю, не было ничего особенного... Здесь с нами тебе будет гораздо лучше.

Зиновия. Конечно.

Отец. Как бы то ни было, мой долг — принять различные элементарные меры предосторожности. *(Идет к лестнице и пробует ее на прочность.)* Хм... вчера она шаталась меньше, тебе не кажется, Анна?

Мать. Я не обратила внимания, но раз ты так считаешь, милый, значит, действительно...

Отец разбегается и несколько раз пытается взобраться по вышеупомянутой лестнице.

Отец. Ничего... вроде еще держится... *(Спускается.)* Давайте располагаться. Куда положим малышку?

Зиновия. На пол, мне будет очень удобно. *(Садится, подносит руку ко лбу, медленно раскачивается.)*

Мать. Зиновия, не валяй дурака, мы тебя уложим в очень уютном уголке. *(Обращается к отцу.)* Леон! Я придумала, может, ты возьмешь у соседа кровать Ксавье?

Отец. Гениальное предложение... *(Потирает руки.)* Хотя, естественно, мне немного неловко, он еще не оправился от потери.

Мать. Ксавье очень любил малышку. *(Замечает, что Зиновия плохо себя чувствует.)* Что случилось, цыпа моя бедненькая?

Зиновия. Голова немножко болит.

Мать подходит и щупает у нее пульс. Отец почесывает подбородок и оглядывается.

Мать. Ничего страшного, если температура, то невысокая...
Зиновия. Хочу апельсинов.

Мать. Послушай, котик, будь умницей... ты же знаешь, мы их бережем для папы, а ему нужно для здоровья...

Зиновия. Знаю... все равно очень хочется...

Мать. Зиновия, представь себе наше нынешнее положение. Апельсинов осталось совсем чуть-чуть, отец твой человек взрослый, зрелый; нельзя сказать, что у него все — в будущем, он — личность законченная, сложившаяся, сделавшая заявку на... мм... в общем, заявку. С одной стороны, ты девушка, почти ребенок, ты как... лотерейный билет, поставить на тебя можно, но есть определенный риск. Лично я убеждена, заметь, что в конце концов из тебя выйдет достойный человек, однако в данный момент я полагаю, что между цветком и плодом разумнее выбрать плод.

Зиновия. Это папа — плод?

Мать. Это всего-навсего сравнение, малыш, но, как видишь, выразительное. Цветок должен пожертвовать собой ради плода.

Зиновия. Вот как!

Отец (*после долгих размышлений*). Лучше всего было бы самой малышке сходить к соседу попросить кровать Ксавье. Он ей не откажет. Мне идти как-то неловко... Такая роль мне не подходит...

Мать. Она только об этом и думала, в сущности, кровать-то для нее, ну что, попробуешь сходить туда, золотко?

Зиновия (*безжизненным голосом*). Конечно... Все в полном порядке. Каждый выкручивается как может.

Мать. Тогда сегодня ты поспишь в нормальной кровати...

Зиновия. Это самое главное... (*Встает.*)

Отец. В конечном счете, чем мы рискуем, если попросим у соседа кровать? А? Согласится — хорошо, а если откажет...

Зиновия. Откажет.

Отец. Ну вот... Опасности никакой.

Зиновия (*облокачивается на стол*). А ты когда-нибудь опасность видел? Как же ты можешь о ней говорить?

Отец. Когда она приходит, я ее осознаю. Ты считаешь, что можешь лучше ее разглядеть?

Зиновия (*смотрит на шмульца*). Я ее давным-давно разглядела.

Отец. Но ты ведь соседа не боишься. (*Смеется и пинает шмульца.*)

Зиновия. Нет... соседа — не боюсь. (*Идет к входной двери, открывает ее. Видно, как она пересекает лестничную площадку, стучится к соседу и ждет.*)

Отец (*кричит*). Стучи сильнее... он наверняка дома...

Мать набрасывается на шмурца, отец садится за книгу. Зиновия стучится, пытается повернуть ручку соседской двери, возвращается и говорит с порога.

Зиновия. У него, видимо, заклинило дверь...

Отец. Да нет... цыпочка, позвони... Ты уже вполне взрослая, чтобы самой сделать такую простую вещь...

Зиновия пожимает плечами. Она снова идет на лестничную клетку и стучится к соседу. Вдалеке нарастает Шум. Зиновия нерешительно отходит от соседской двери. Входная дверь квартиры отца медленно начинает закрываться, потом стремительно захлопывается. В какое-то мгновение видно, как Зиновия бросается назад, но уже слишком поздно. Она стучится в закрывшуюся перед носом дверь — Шум все нарастает. Отец и мать в оцепенении. Мать потрясена случившимся, но с места не двигается. Отец откладывает книгу. Шум стихает. Мать подходит к входной двери, пытается ее открыть, бессильно опускает руку. Шмурцу, по-видимому, это нравится. Мать возвращается, садится на кровать, машинально разглаживает покрывало. Стук Зиновии прекращается. Тишина.

Отец. Успокойся, моя хорошая... Рано или поздно дети всегда уходят от родителей. Такова жизнь. *(Подходит и бьет шмурца.)*

Занавес

Третье действие

Комнатка-мансарда еще теснее, чем раньше. Где-то очень высоко заметна фрамуга ярко-голубого цвета. Дверь заперта, остался только выход на лестницу, через который вылезет отец. На сцене — мрак. Никаких удобств. Убогая кровать. Стол. Мутное зеркало. Шмурц — в комнате, но, когда поднимается занавес, его не видно. Лестницы наверх нет. Верха вообще нет. Однообразный отвратительный резкий Шум. Тусклый свет проникает из лестничного люка, проделанного в полу. Снизу раздаются глухие звуки какой-то возни. Мать кричит, но что — непонятно, откуда-то снизу слышен голос отца, он так же, как в первом действии, поднимается по лестнице.

Отец *(оборачивается и кричит)*. Желтую сумку... Пожалуйста, Анна, не забудь желтую сумку, там овощерезка... *(Появляется, с трудом вытаскивает снизу какие-то пакеты, ставит их на пол, снова спускается на пару ступенек и делает то же самое.)* Анна! Анна! Ты идешь? Давай поскорей... Передай мне желтую сумку. *(Нервничает.)* Нет, не бойся!.. Ну, давай мне желтую сумку, мы все успеем... *(Вылезает, ставит сумку, опять спускает-*

ся.) Теперь фибровый чемоданчик. (*Мать что-то неразборчиво шепчет.*) Господи, ну конечно, он рядом с туалетным столиком, я его сам приготовил... (*Снова спускается, берет фибровый чемоданчик, опять вылезает.*) По-моему, остался только мешок с бельем. (*Голос матери: «Я не успею».*) А я говорю — успеешь, о Боже мой, сколько разговоров из-за пустяков... (*Снова спускается.*)

Слышится страшный крик матери.

Анна! Анна! Что происходит? (*Осторожно поднимается наверх.*) Конечно, я здесь, дорогая... постарайся... Спуститься за тобой? Послушай, Анна, не глупи, у меня руки заняты сумками...

Еще один вопль, похожий на хрип.

Анна! Прекрати меня пугать, ты уже не маленькая... (*Осторожно отходит, потихоньку вынимает инструменты и доски и начинает заколачивать люк — прикивает к нему — и произносит с волнением, но скорее, пожалуй, с любопытством.*) Анна! (*Обращаясь к самому себе.*) Как же так... не может быть... она больше не отвечает? (*Вслушивается.*)

Шум внезапно прекращается, слышна только глухая возня на нижнем этаже.

Анна... ты ведь понимаешь, что нехорошо так бросать человека... (*Свет из окна постепенно освещает комнату и падает на шмурца, стоящего в углу. Отец, с молотком в руке и гвоздями, зажатыми во рту, лихорадочно заколачивает люк и сбивчиво бормочет.*) После двадцати лет совместной жизни... вот так бросить мужа... Все-таки женщины — потрясающие создания... (*Качает головой.*) Потрясающие. (*Приколачивает последнюю доску, распрямляется.*) Ну вот... вроде ничего... (*Встает, осматривает комнату, видит шмурца и вздрагивает от удивления.*) Надо же... Хм... а тут симпатично... (*Обходит комнату, идет вдоль стен.*) Неплохие стены. (*Смотрит вверх.*) Крыша не течет. (*Оглядывает стены, пытается тщетно открыть дверь.*) Двери нет, ну конечно... то есть я так и предполагал, что она просто не понадобится. (*Проходя мимо шмурца, пинает его ногой.*) Что совершенно логично. Дураку понятно. Но я-то не дурак. Отнюдь нет. (*Застывает на месте.*) Кто я? (*Вещает.*) Краткая характеристика. Леон Дюпон, сорок два года, полость рта санирована, прививки равномерно распределены по организму, рост метр восемьдесят, согласитесь, выше среднего, здоров духом и телом. Есть основания полагать, что умственные способности тоже выше средних. Сфера деятельности — понятно, комната, вполне просторная, во всяком случае,

человеку достаточно... одному. *(Пауза.)* Одному человеку. *(Хихикает.)* Представьте, одному. То-то. *(Пауза.)* Вопрос: что делает этот человек один в своей камере? *(Спыхватывается.)* Нет, камера, пожалуй, чересчур... Окно довольно широкое, чтобы пролезть человеку нормального телосложения, *(идет к окну)* чтобы он смог *(смотрит вниз, выпрямляется, отходит от окна)* разбиться вдребезги и переломать себе кости, упав с высоты двадцати девяти метров. *(Возвращается к окну.)* Но есть балкончик, на котором, за неимением прочих развлечений можно было бы развести герань в горшочках, душистый горошек, вьюнки, настурции, жимолость, штамбовые розы. *(Замолкает.)* Эта манера все перечислять почему-то мне кого-то напоминает. Кого? Вот в чем загвоздка. Впрочем, я просто так сказал «развести», честно говоря, растения сами прекрасно разберутся. *(Отходит на середину комнаты.)* Я уже давно задаюсь вопросом: что делает этот человек один в... своем убежище. Хм. Убежище. Слово не совсем подходящее. То есть, конечно, подходящее, если иметь в виду одно из его вполне употребительных значений, когда речь идет об отшельнике или монахе-бенедиктинце... Но слово «убежище» подразумевает... бегство от противника. А если я поднимаюсь — это считается бегством? Достойный человек *(подходит к шмурицу и бьет его)* никогда не убегает. Убегает только кофе. *(Не смеется, ждет.)* Нет... не смешно. Любопытно. Между прочим, заметим, по здравому размышлению, что обычно бегут сломя голову. Кому? Противнику. Таким образом, из-за того, что события приняли несколько странный оборот, эта камера... это убежище... станет моей победой над противником. Каким? *(Пауза.)* Вот что надлежит уточнить. *(Долгая пауза, во время которой он взад и вперед ходит по комнате и наконец останавливается перед фибровым чемоданчиком. Возобновляет с повествовательной интонацией.)* Достигнув зрелого возраста, подобно всякому свободному индивиду я не смог не проявить своей привязанности к невидимой, но ощутимой, неосязаемой, но, о! сколь притягательной целокупности, что принято называть родиной, но именуемой иначе в других языках. При помощи обычно присущих мне достоинств, служа родине, я по всеобщему признанию был отмечен некоторыми знаками отличия в виде золоченых цветочков, скромно появившихся на грубой ткани рукава моего кителя. *(Нагибается, чтобы открыть фибровый чемодан, распрямляется, вопрошает.)* Что побуждает меня в данную минуту снова облачиться в мундир коннетабля запаса? Разве я — животное, чтобы действовать сообразно инстинкту? НЕТ. *(Отходит от чемодана.)* Совершая любой поступок, я руководствуюсь здравым умом, разумной предусмотрительностью, живым, но факти-

чески искусственным интеллектом, поскольку он подчиняется более мудрому, чем я, закону — беспристрастности. *(Чешет подбородок.)* Шум, бесспорно, служит причиной моего продвижения наверх. Зачем мне надевать мундир, когда раздается шум? А если какой-нибудь рассыльный, запачканный кровью и засохшей грязью, войдет в комнату, потрясая посланием в черной рамке, полным горького смысла, вскричит: «Тревога!» или... «К оружию!» и героически падет на землю, естественно, в подобном случае это будет вполне оправданным... *(Стучит ногой по чемодану.)* А что, собственно, произошло? Я услышал Шум. Поднялся. *(Подходит к шмурицу.)* За исключением некоторых конкретных деталей ситуация аналогичная той, что была внизу. А конкретные детали меня абсолютно не интересуют. Следовательно... *(Поражен очевидностью вывода.)* Следовательно, поскольку... *(бьет шмурица)* поскольку все одно и то же, нужно бороться с источником... это все из-за Шума. *(Ухмыляется.)* Одно время, когда он начинался, я делал вид, что его не слышу. Да... видимость... все-таки семья. *(Замолкает.)* ...Моя семья? Следовательно, у меня была семья. *(Размышляет.)* ...Иногда можно подумать, что это воспоминания не мои, а кого-то другого. *(Смеется.)* Кого другого — я же тут совсем один... умора. А что касается шума, никто меня не разубедит, что это — сигнал. *(Замолкает. С задумчивым видом.)* Тогда я был уверен, что исключительно отсутствие полной тишины не позволило открыть истинную причину происходящего. *(С довольным видом.)* Доказательство налицо, не так ли? Я ощущаю, что нахожусь на пороге великого открытия. *(Пауза.)* Сигнал. Сигнал тревоги, прежде всего. Мой сигнал тревоги. Роль, которую он для меня играет. Сигнал, который откликается этой ролью. *(Пауза.)* Допустим, проблема решена. Я сматываюсь. *(Спыхватывается.)* Нет... поднимаюсь на один этаж. Хорошо. Зачем? Потому что я услышал сигнал. Разумеется, сигнал дается в знак протеста, против того, чтобы я оставался. А кому мешает, что я остаюсь? *(Подходит и бьет шмурица.)* Мне это по-прежнему интересно. Но так устроен мир. Сигнал направлен против меня. Значит, он угрожающий. Это сигнал к нападению. *(Возвращается к чемодану.)* То, что кто-то хочет напасть на такого человека, как я, повергает меня в полное недоумение. Но это очевидно. Нападение подразумевает оборону. А оборона подразумевает... *(Наклоняется, открывает чемодан, достает оттуда свой мундир, разглаживает его.)* Слава Богу, к обороне я готов. *(Расправляет складки на мундире.)* Коннетабль запаса... не Бог весть кто... зато они прежде хорошенько подумают. *(Начинает переодеваться, снимает верхнюю одежду и надевает мундир.)* Вот мое положение и проясни-

лось. На меня нападают. Я обороняюсь. По крайней мере, готовлюсь к обороне. *(Смотрит по сторонам.)* В случае отсутствия выхода из данной комнаты, я, как уже говорилось, склоняюсь к мысли о беспредметном характере последующих атак. Если кому-то было нужно, чтобы я отсюда убрался, то, как уже было отмечено, мне предоставили бы возможность это сделать. *(Пауза, поправляет мундир.)* Моя сабля... *(Идет к одному из тюков, вынимает саблю, надевает ножны).* Фуражку я надену, когда придет время и для этого будут веские основания. *(Пауза.)* Помню... *(Пауза, затем хладнокровно замечает.)* Нет, не помню. Мужчина моего возраста не живет своим прошлым. Я строю будущее. *(Молча медленно подходит к шмурицу, затем неожиданно набрасывается на него, избивает его и долго душит. При этом разговаривает обычным голосом.)* Полагаю, на подоконнике лучше всего посадить душистый горошек. Мне запах нравится. *(Поднимается.)*

Шмурц неподвижно лежит на полу, но через некоторое время начинает шевелиться и вставать.

Когда выйдет срок, наступит час и придет время, я соберу душистый горошек, то есть, иными словами, как только он зацветет. Потому что я люблю цветы. *(Оглядывает себя.)* Воин, любящий цветы, выглядит нелепо, но я все равно люблю цветы. *(Подмигивает.)* Значит ли сие, что я не воин? *(Пауза, затем он распрямляется и торжественно заявляет.)* Исповедь. На самом деле — сложно выбрать более удачный момент, чтобы подобно ястребу, выследившему добычу, сосредоточиться на действительности, чем тот, когда человек, в силу определенных обстоятельств оставшийся в полном одиночестве, оказывается перед своей обнаженной душой и пристально ее разглядывает, словно добросовестный живописец, без смущения рассматривающий части тела своего соседа с целью выяснить, не превышают ли они размером его собственные, что, видимо, ничего не значит, но привычка судить о ком-то по внешним признакам вросла в человеческую сущность, как рак-отшельник в свою раковину — на самом деле, несмотря на этот мундир, я — убежденный антимилитарист, и в этом лишний раз проявляется моя национальная принадлежность. *(Пауза.)* Пытаясь выяснить причины внезапно пробуждающейся у целой нации тяги к военной форме и стремления в нее облачиться, люди зачастую теряются в догадках. *(Ухмыляется.)*

Ха... ха... ха... Все очень просто. Смысл жизни военного — война. Смысл войны — борьба с врагом. Для антимилитариста враг, одетый в военную форму, — дважды враг. Ибо антимили-

тарист не лишен тем не менее патриотических чувств и, следовательно, стремится обезвредить врага своего народа. И если враг одет в военную форму, лучше всего было бы выставить против него другого военного! Из вышеизложенного следует, что каждый антимилитарист обязан пойти в армию и подобным поступком совершить три подвига: прежде всего вывести из себя противника, помимо прочего, на своей собственной территории он раздражает солдат иных родов войск, поскольку военная форма имеет свойство вызывать взаимную ненависть различных военных; кроме того, он превращается в частицу некоей армии, которую сам же уничтожает и которая из-за данного обстоятельства станет некудышной армией. Ибо антимилитаристская армия разрушает сама себя и неспособна противостоять настоящей армии гражданских патриотов. *(Скрежет подбородок.)* Так что же получается, мой враг — штатский? *(Пауза. Другим тоном.)* Совершенно незачем тратить на пустые разглагольствования время, которое можно было бы употребить на рассмотрение осязаемых и зримых, одним словом, доступных нашим органам чувств предметам. Поскольку порой я спрашиваю себя: не занимаюсь ли я игрой слов. *(Пауза — смотрит в окно.)* А может, они для того и созданы? *(Пауза, затем он торжественно заявляет.)* Возвращение к действительности. *(Меняет тон.)* Мне представляется важным это возвращение к действительности, прервавшее удачно, на мой взгляд, начатую исповедь. В сущности, выясняется, что я располагаю мнением фактически обо всем; достаточно взять хотя бы открытие, сделанное мной в области военной формы, — казалось, насколько непримечателен мундир коннетабля запаса — чтобы в этом убедиться. Я мог бы — а ведь не каждому это под силу — высказать свое суждение о прочих серьезных проблемах человечества... Не будет ли это самообманом? Ведь серьезные проблемы человечества встают лишь тогда, когда человек живет в обществе! *(Пауза.)* А я один. Я уже говорил. *(Оборачивается и видит вставшего и подошедшего к окну шмурца. Отец отшатывается, такое впечатление, что он впервые понял, что перед ним не просто предмет; говорит, будто оправдывается.)* Во всяком случае, мне всегда казалось, что я один. *(Пауза.)* Понадобилось бы неоспоримое... и четкое доказательство, чтобы я пришел к решению изменить создавшееся у меня впечатление, граничащее с уверенностью. Прав ли я был, когда пересматривал, перед тем как систематизировать, и синтезировал, перед тем как анализировать, или, может, ошибался? *(Ощупывает глаза.)* Вижу. *(Ощупывает уши.)* Слышу... *(Замолкает, потом торжественно заявляет.)* Инвентаризация. *(С этого момента он все*

более старательно будет избегать шмульца, который, в свою очередь, будет все пристальнее следить за ним.) Нет никаких причин, чтобы мир простирался уж слишком широко за пределы окружающих меня стен; вне всякого сомнения я и есть пуп земли. (*Вопрошает.*) Надлежит ли составить список моих внутренних органов? Такое исследование зашло бы слишком далеко (*Задумывается.*) И потом о своих внутренностях я знаю только понаслышке и весьма приблизительно. Вполне допустимо, что именно сердце перегоняет кровь, однако если бы циркуляция крови была бы истинной причиной моего сердцебиения... (*Замолкает.*) Нет, только внешних. (*Идет к тусклому зеркалу.*) С этим приспособлением получится быстрее. (*Смотрится в зеркало и продолжает с повествовательной интонацией.*) Я всегда спрашивал себя, что за основания побуждают человека стремиться преобразить свой физический облик и, в частности, отрастить бороду. (*Поглаживает бороду.*) Итак, озабоченный поисками ответа на данный вопрос, я ее отрастил. И я в состоянии утверждать, что оснований как таковых не имеется. Я отрастил бороду, чтобы посмотреть, зачем отращивают бороду, и не увидел ничего, кроме бороды. Борода и есть первопричина бороды. (*Другим тоном.*) Хорошее начало, решительно перемена высоты не отразилась на моих способностях. (*Неловко наклоняется, подносит руку ко лбу.*) Раньше вроде бы нас было больше... и было попрохладнее. (*Растегивает пряжку и потихоньку начинает снимать мундир.*) Эта мансарда наводит на меня тоску. (*Другим тоном.*) Нас было больше, но подавляющее большинство всегда было за мной. Теперь нас меньше, но я чувствую, что большинство больше мне не принадлежит. Парадокс, чистой воды парадокс... (*Уже другим тоном, суетясь рядом с чемоданом.*) Раньше, кроме сабли, у меня еще был револьвер. (*Находит его и проверяет.*) Оружие легкое, точно по руке, оно поможет мне отвоевать потерянные рубежи... (*Берет револьвер, целится по сторонам, затем в неподвижного шмульца, по-прежнему не спускающего глаз с отца, наконец опускает револьвер.*) Так вот о бороде. Если она растет, значит, она живая, но если ее сбрить, кричать она не будет. Как растение. Моя борода — растение. (*Подходит к окну.*) Может, все-таки лучше настурции, а не душистый горошек? Каперсы пошли бы в салат... Гармоничное сочетание костей, мяса и волосяного покрова, объединяющее в человеке мир животный, растительный и неорганический. (*Задумывается.*) Что относится к любой лохматой твари. (*Спыхватывается.*) С оговоркой, что человек — единственное животное, таковым не являющееся. (*Внезапно хватая револьвер и стреляет в шмульца. Тот никак не реагирует. Пауза. Отец продолжает чуть дрожащим голосом.*)

Насколько я помню, там были холостые патроны, иначе мне, разумеется, не пришло бы в голову стрелять куда попало, рискуя кого-нибудь ранить. *(Начинает ходить вокруг шмульца, как загипнотизированный удавом.)* Люди, позволяющие себе совершать столь необдуманные поступки, не заслуживают чести быть названными мыслящим тростником... и все-таки она вертится... *(Стреляет в окно, стекло с грохотом разбивается.)* Заряжен холостыми... *(Разглядывает револьвер, отбрасывает его в сторону.)* Что же касается моей личности, то пусть катится куда подальше; для инвентаризации нужно свободное время, а у меня его нет. Когда-то у меня все лежало на камине в коробочке. *(Встает на колени, прикладывает ухо к полу, прислушивается.)* Их наверняка забыли завести. *(Стаскивает мундир, остается в одних кальсонах.)* У меня нет времени. И никогда не было. *(Пауза.)* Жизнь — дурацкая история. *(Смотрит себе на ноги, почесывает подбородок.)* Надо бы одеться. *(Роется в чемоданах и пакетах и вытаскивает оттуда классический костюм: серые полосатые брюки и черный пиджак.)* Что-то мне этот костюм напоминает. Какую-то церемонию. *(Качает головой.)* Нет... от вещей никакого толку. *(Бросает пиджак и снова надевает то, во что был одет вначале.)* Вот так-то лучше. *(Обнаруживает, что шмурец шевелится, и отходит в сторону. Долгая пауза.)* Может ли ощущение одиночества у взрослого индивида усугубляться не посредством контакта с ему подобными, а иным способом? Нет. Если так оно и есть, ощущение одиночества, которое я постоянно испытывал, исходило, по-видимому, от одной — или даже многих сомнительных личностей, судя по всему, окружавших меня.

Я отваживаюсь высказывать подобные предположения, чтобы облегчить себе работу по обдумыванию вышеизложенного, коей я и предаюсь *(Пока он будет произносить следующую реплику, он будет по очереди доставать разные предметы из своей поклажи и класть их возле шмульца как жертвоприношения на алтарь.)* в данный момент. Когда я чувствовал себя одиноким, я был не один. Из этого вытекает, что если я по-прежнему чувствую себя одиноким... *(Замолкает, направляется к двери, пытается повернуть ручку, в отчаянии иступленно колотит в дверь.)* Неправда... я один... я всегда исполнял свой долг... и не только. *(Пауза.)* Мы бежим со всех ног навстречу будущему, мы мчимся так быстро, что настоящее ускользает от нас, мы поднимаем пыль, скрывающую от нас прошлое. Отсюда известное выражение... мм... отсюда множество известных выражений, которые я мог бы перечислить... *(Начинает задыхаться, пауза, затем уже другим тоном, без всяких эмоций.)* Я здесь не один. *(Долгая пауза, во время которой он безуспешно что-то ищет, не спуская глаз со шмульца.)*

Шум начинает потихоньку нарастать, сперва совсем издалека, затем медленно приближаясь.

Закрывать глаза на очевидные вещи — совершенно бесполезно... если ты слепой — тогда куда ни шло... *(Замолкает.)* Ничего не слышу. *(Громче.)* Ничего не слышу. *(Вытаскивает из желтого пакета овощерезку, берет ее и устало крутит ручку.)* В такую минуту оставалась по крайней мере надежда на будущее поколение, которое отстирало бы грязное белье родителей при помощи овощерезки. *(Шум нарастает, отец кричит.)* Я ничего не слышу!!! *(Отшвыривает овощерезку, смотрит на свои руки.)* Эти руки чисты. *(Осматривает окно.)* В конце концов идея с каперсами была вполне удачной, но я полагаю, что жимолость могла бы удовлетворить желания иного порядка... более высокие... Ее не едят... Я буду сдерживать чувство голода. *(Вопит.)* Клянусь! Я буду сдерживать чувство голода! *(Пожимает плечами.)* Чтобы лучше его осознать и полнее удовлетворить. *(Бросается на колени и вопит.)* Я ничего не слышу! Я ничего не слышу!

Шум внезапно стихает, видимо, мертвый шумец сползает по стене, к которой он прислонялся. Слышатся удары в дверь. Отец встает на ноги.

Я должен? Я никому ничего не должен... Я всегда был один.

Удары становятся более настойчивыми, отец подходит к окну, свет понемногу гаснет.

Вьюнки — это не то, что жимолость... вьюнки — цветы свежие, живые.

Удары все громче. Отец кидается к окну, перелезает через подоконник.

Я всегда был один... в пыли прошлого мне ничего не видно.

Пошатывается, поскользывается, цепляется за окно.

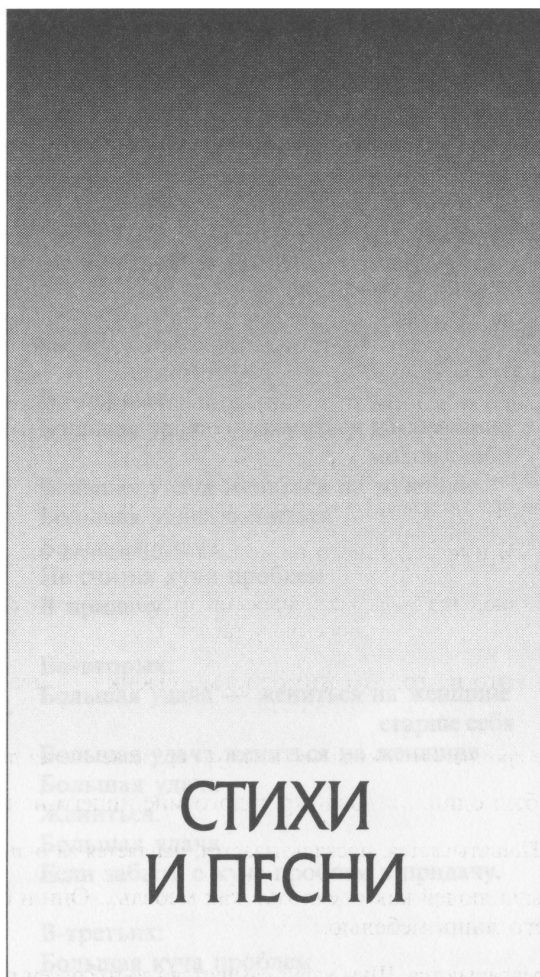
она накрыла людей как одеялом... как мебель... Они и были мебелью... всего лишь мебелью.

Удары прекращаются. Шум вдруг слышится где-то совсем рядом, отец шарит ногой, пытаясь во что-то упереться.

Я не знал... Простите... *(Поскользывается и рушится вниз с криком.)* Я не знал...

Шум заполняет всю сцену. Темнота. Возможно, дверь открывается и в темноте появляются смутные очертания шумцев...

Занавес



СТИХИ И ПЕСНИ

ИЗ СБОРНИКА «КАНТИЛЕНЫ В ЖЕЛЕ»

ЧТО У ВАС ?

Жаку Превансу

Во-первых:

Большая удача — жениться на женщине
моложе себя

Большая удача жениться на женщине

Большая удача жениться

Большая удача

Не считая кучи проблем

В придачу.

Во-вторых:

Большая удача — жениться на женщине
старше себя

Большая удача жениться на женщине

Большая удача

Жениться.

Большая удача

Если забыть о куче проблем в придачу.

В-третьих:

Большая куча проблем

Не считая удачи жениться на женщине.

ПАУКИ

Одетте Бост

В дома, где умирают дети
Приходят дряхлые старухи
Усаживаются в передней
Клюку зажав между коленей черных
И слушают, качая головой.

Когда закашлялся ребенок
Их руки, скрючившись, хватаются за сердце
Как желтые большие пауки.
А кашель рвется, задевая за углы
И, точно чахлый мотылек
О потолок тяжелый бьется.

Старухи вдруг чему-то улыбнутся
И кашель на мгновение стихнет
И желтые большие пауки
На набалдашники блестящие вернутся
И там замрут, подрагивая, меж
Костлявых, крепко сдвинутых коленей.

Но вот ребенок умер, и тогда
Они встают и уползают прочь...

НА ВКУС И НА ЦВЕТ

Феликсу Лабиссу

Х... может быть коротким
А может свисать до колен
Он может быть в желто-лиловую полоску
Как тень парковой решетки на ярком солнце.
А женщины, бывает, пахнут
Бульоном из дикого кролика.
Это ужасно вкусно
Особенно с жареным хлебом.

11 апреля 1946 г.

ИЗ ПОЗДНИХ СТИХОТВОРЕНИЙ

НЕ ХОЧУ ПОДЫХАТЬ

Не хочу подыхать
Пока не взгляну в глаза
Злых мексиканских псов
Которые спят без снов
Пока не увижу вьявь
Голозадых горилл
И в пузырях гнезд
Серебряных пауков
Не хочу подыхать
Пока не смогу узнать
Что в самом деле луна
Похожа на стертый грош
Что солнце блестит как лед
Что вслед за зимой идет
Не осень а весна
Пока не пройдуь опять
По улицам городским
Глядя на белый свет
Пока не гляну в кана-
лизационный люк
Покуда не крикну «нет»
Черным углам трущоб
Не хочу околеть
Не успев заболеть
Чумой и проказой чтоб
Испробовать все что есть
Ко мне не пристанет зло
Меня не спасет добро
Если бы только знать

Впрямь ли мне повезло
Повезло что люблю
То что в жизни ценю
Повезло что ценю
То что в жизни люблю
Зеленый покой морей
Где водоросли снуют
На волнистом песке
И выжженную жарой
Траву на сухой земле
И хвойный запах лесной
И горький тот поцелуй
Который мне отдала
Ты медвежонок мой
Русая Урсула
Не хочу подыхать
Не сумев до конца
Губы твои истерзать
Руки твои излюбить
Всю тебя изглядеть
Чтоб навсегда припасть
К вечной твоей душе
Не хочу помереть
Пока не изобретут
Запах бессмертных роз
День умещенный в миг
Горы среди морей
И среди гор моря
Жизнь без воронья
Газеты без вранья
Счастье для всех детей
И массу других вещей
Которые носят в себе
Жертвенный инженер
Заботливый садовод
Истый социалист
Реалист-урбанист
И умудренный мудрец
Столько всего в уме
Перебрать и узнать
Услыхать увидеть
И проискать во тьме

И вот наконец конец
Копошение гниль исход
Безобразная пасть
Содрогание жабьих лап
Вот как мне суждено пропасть

Не хочу подыхать
Нет месье нет мадам
Не испробовав тот
Вкус который гнетет
Горше всех прочих уз
Не хочу подыхать
Не ощутив на губах
Смерти смертельный вкус...

* * *

Жизнь словно зуб о нем сначала
Ты не заботишься нимало
Жуешь — и все и вдруг дупло
Скорее капли и тепло
Болит да так что в стенку лбом бы
Бежишь к врачу и ставишь пломбы
А исцеленье в том что он
Быть должен просто удален.

НА УЛИЦЕ СВЕТИТ СОЛНЦЕ...

На улице светит солнце
Солнце — это здорово, но улица — не очень
Вот я и сижу дома
Жду, когда ко мне придут
И принесут с собой
Золоченые башни
Седые водопады
Голосов раскаты и слез каскады
И песни тех, кто весел
Или тех, кто поет за деньги
А вечером в какой-то момент
Улица становится другой

Над ней раскидывает плюмаж
Ночь, полная обещаний
И видений тех, кто уже не с нами
Тогда я выхожу из дому
Улица растянулась до самого рассвета
Где-то змеится дымок
Я бреду сквозь сухую воду
Ветра и ночной прохлады
И солнце вот-вот уже встанет.

БОЛИТ МОЯ ОТВЕРТКА

Болит моя отвертка
И виду не подам
Болит мое зубило
И виду не подам
Болят мои шарниры
Болят масленки
Болит мой радиатор
Болит моя аптечка
И виду не подам да-да
И виду не подам.

ОНИ РАЗБИВАЮТ МИР

Они разбивают мир
На мелкие куски
Они разбивают мир
Зажав его в тиски
Однако все равно
Мне-то все равно
Еще хватает его вполне
Еще достаточно мне
Достаточно что люблю
Перышко сизаря
Дальний песчаный путь
Пенье птиц на заре
Достаточно что люблю
Эту листву за стеною
Каплю росы на листве

И сверчка на стене
Они разбивают мир
На мелкие куски
Но мне хватает его вполне
Еще достаточно мне
Того что остался глоточек ветра
И жизни легчайший шаг
В зрачках осталось немного света
Немного ветра в ушах
И даже и даже
Если меня бросают в тюрьму
Мне хватает его вполне
Еще достаточно мне
Достаточно что люблю
Изъеденный камень камер
Прутьев стальных ряды
На которых кровь запеклась
И даже и даже
Истертый гнилой лежак
Набитый трухой тюфяк
И солнечную пыль
Люблю открытый дверной глазок
Людей входящих ко мне
И выводящих меня опять
Мир обрести на миг
Запах его обрести и цвет
Люблю эти два столба
Этот трехгранный нож
Этот праздник в моей судьбе
Эту смертную дрожь
И даже и даже
Эту корзину куда вот-вот
Голова моя упадет
Просто люблю и все
Достаточно что люблю
Эту листву на заре
Каплю росы на листе
И полет сизаря
Они разбивают мир
На мелкие куски
Но мне хватает его вполне
Еще его достаточно мне
в сердце моем.

СУЩЕСТВОВАТЬ КАК РЁБРА РЫБЫ

Существовать как рёбра рыбы
На блюде голубом
Существовать как вещь простая
Как часть чего-нибудь
Существовать как горсть песка в руке
Как чёрствый хлеб или кувшин
Как мягкий стоптанный башмак
Как междометье в звонкой песне
Как трубочист или сирень
Как каменистая земля
Как брадобрей, как пуховик
Существовать тобой в тебе
Я это всё, но этого мне мало
Мне вечно хочется ещё

Я УМРУ ОТ РАКА ПОЗВОНОЧНОГО СТОЛБА...

Я умру от рака позвоночного столба
Ясным, тёплым, жутковатым днём,
Полным ароматов и тоски
Я умру, когда во мне сгниют
Некие неведомые клетки
Я умру, когда отъест мне ногу
Крыса-исполин из пропасти-норы
Я умру от множества порезов
Небо, рухнув на меня,
Как стекло витрины разобьётся
Я умру, когда свирепый крик
Мне заложит уши
Я умру от внутренних ранений,
Нанесённых мне тайком в ночи
Смутными, плешивыми людьми
Я умру, заметить не успев,
Что случилось. Я умру
Словно мумия, спелёнутая льном
Бесконечных пожелтелых лент
Или в нечистотах захлебнусь

Буду в землю втоптан стадом равнодушным
А потом другое стадо вновь меня задушит
Я умру нагим иль в красном полотне
Иль в мешке, набитом тысячей гвоздей
Я умру, возможно, позабыв
Педикюром освежить ступни
И набрать пригоршни слёз
Я умру, когда мне разомкнут
Веки в ярком свете бешеного дня
В ухо мне нащёптывать начнут
Гадости и чепуху
Я умру, увидев, как секут детей
Или удивлённых взрослых
Я умру, изъеденный живьём
Полчищем червей. Я утону
Брошенным в наручниках в поток
Я умру, сгорев в угрюмейшем пожаре
Я умру слегка, потом сильней,
Любопытством подавляя страх
И когда всему придёт конец,
Я умру.

ВПЕРЁД, СЫНЫ...

Я, помню, получил
Без видимых причин
Письмо.
Само
Собой, прочёл — и ахнул:
Строжайший был приказ
В такой-то день и час
Прибыть
В одну
Казарму — тут, у нас.

При входе я с тоской
Сказал, кто я такой:
Мол, я,
Друзья,
Пришёл узнать, в чём дело.
Взглянув на документ,
Они в один момент
Ввели
Меня
В какой-то кабинет.

Контора — не ахти,
Машинка тарахтит...
Зато
Вот что
Приятно: секретарша —
Такие чудо-формы
В сукне военной формы!
Меня
Они
Взбодрили как коня.

Ещё там был один
Служивый господин.
«Дружок,
Должок
За вами!» — произнёс он
И строго посмотрел.
А я ему в ответ:
«Вы вызвали меня
Сюда —
Я здесь, месёе солдат».

Как рывкнет он: «Смиииррр-на!
Учтите — до хрена
Таких
Лихих
Мы в чувство приводили.
Да кто позволил вам
Без спросу сесть, болван?
Да вас
Отдать...
А ну немедля — встааать!»

А я ему: «У вас
Я нынче в первый раз
И знать
Не мог,
Какие тут порядки.
Сидят, я вижу, здесь —
Решил и я присесть...
Вот весь,
Вот весь
Мой грех, если он есть».

Ну, я, конечно, встал
И признаваться стал,
Как я
Запал
На тёлку за машинкой,
Хотел спросить его,
Как с ней насчёт... того
И как
Она
На рекрутов глядит.

Он почернел как смерть —
Приятно посмотреть,
Вскочил,
Вмочил
Мне кулаком по уху,
Потом свёл к одному
Коллеге своему,
А тот
Меня
В два счёта — на губу.

А дальше — просто срам:
Такая по утрам
Муштра...
А днём
Сортиры выгребаю.
Неделями подряд
Одно мне говорят:
— В наряд!
— В наряд!
Я жизни стал не рад.

Здесь так все держат строй,
Что кажется порой,
Любой —
Герой,
И только я — растяпа,
Для службы не гожусь,
Оружия страшусь...
И пусть,
И пусть —
В герои не прошусь.

Я даже на трубе
Играю так себе.
К тому ж
Всех бесит вкус мой музыкальный,

Ведь мне не по нутру
Побудку поутру
Дудеть,
И я
Из Верди марш беру.

Старинный друг мой Жиль,
Когда, как я, служил,
Был смел,
Умел
Поладить с командиром.
Он в галунах теперь.
Выходит, верь — не верь, —
Резон
Большой —
Ходить в строю с душой.

Мне здесь давно твердят:
Хорош лишь тот солдат,
Кто рад
Стократ
Любой приказ исполнить.
Сегодня Жиль — сержант,
А будет лейтенант —
Сумев
Прожить
Хотя бы лет до ста.

Чтоб званье приобрести,
Набор условий есть:
Там долг,
Там честь
И труд, и дисциплина.
И если двадцать лет
Мыть шваброй туалет,
То глядь —
Подать
Рукой до эполет.

ДЕЗЕРТИР

Пишу Вам Президент
Хоть и не жду ответа
Поверьте мне что это
Последний аргумент

Свой призывной листок
Я получаю в среду
Вы ждете что поеду
Я тотчас на восток

Скажу Вам наперед
Такого не случится
Месье! меня убийцей
Никто не назовет

Желанья Вас позлить
Нет у меня ей-богу
Но выбрал я дорогу
Не умирать а жить

Обрыдли беды мне
Разлуки мне постыли
Отец давно в могиле
А братья на войне

И матери моей
В земле — ну что ей надо?
Плевать ей на снаряды
Плевать ей на червей

Случилось без вины
Сидеть мне в каземате
А выпустили — нате
Ни дома ни жены

Ну что же — я готов
Уйду нагим и босым
Захлопнув дверь под носом
У проклятых годов

Едва взойдет заря
Пойду как нищий в рвани
В Провансе и в Бретани
Всем встречным говоря

Да будет в мире мир
Да кончатся проклятья
Бросайте ружья братья
Скажу я дезертир

А если кровь нужна
Отдайте Вашу сударь
И проявите удаль
Коль смерть Вам не страшна

Пустяк меня схватить
Пускай Вас не тревожит
Я безоружен — может
Полиция палить.

ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

Последний раз
Кафе рассвет
Банальных фраз
Привычный бред
Пора я принял решение
Последний раз
По коже дрожь
Последний час
Последний грош
Его с собой не возьмешь

Последний кров
Любви разлук
Последних слов
Последний звук
Прощайте все стало тенью
Последний стыд
Последних «да»
Последний вид

На двор куда
Я не вернусь никогда

Последний вальс взлетает
в пустоту
И раздвигает стены
Последний вальс в жасминовом
цвету
На набережных Сены

Последний взгляд
Прощай прощай
Последний ад
Последний рай
Усните ночь так спокойна
Последний мрак
И в темноте
Последний шаг
В ничто в нигде
И только круг на воде...

Я СНОБ

Я сноб... Я сноб... Право,
Это единственный недостаток, что мне
по нраву.
Быть снобом — задача куда нелегка:
Месяц работы, жизнь бурлака.
Зато с бабой решу вечерок провести я —
Ее сразу эlegantностью стиля.

Сорочки — официантские,
Туфли — антилопы,
Галстук итальянский,
Из рукавов торчат локти.
На пальце — рубиновый перстень...
Пальце ноги, естественно.
Ногти мои — замарашки,
Но белый платочек торчит в кармашке.
Снобу ходить в кино
Только на Бергмана разрешено.

Из бара мне уходить неохота,
Пока не налижусь до рвоты.
Печень не беспокоит, вроде.
Но — ерунда, эта болезнь не в моде.
Зато у меня — язва.
Не оригинальней разве?

Я сноб, я сноб.
Зовут Патриком, а кличка — Боб.
Покупаю я в оперу билеты,
Но ходить туда времени нету.
Что до баб — и не суйтесь ко мне, мерзавки,
У которых в фамилии ни одной приставки.
Остальных я трахаться поведу
На улицу, чтоб у всех на виду.

Каждую среду (у нас это ловко)
Устраиваем с корешами сноб-тусовки:
Одна кока-кола и лимонад
(Чему никто особо не рад).
А камамбер едим понемножку
Чайной ложкой.

Хата моя — атас,
Высший класс.
Печку топлю бриллиантами —
Дымит, зато экстравагантно!
Был телевизор, но надоело:
Экраном к стене — минутное дело.

Я сноб... Я сноб...
У меня потрясающий гардероб.
У меня «Ягуар», вот пройдем задал бы жару,
На их счастье встать с койки у меня не хватает пару.
Всех этих примет вам хватит, чтобы
Меня отличить от любого несноба.
Я сноб... Я сноб...
Коль в ящик сыграю скоро,
Саван мне закажите у Диора.

КАК ТЫ НЕТЕРПЕЛИВА...

Вот смерть подростка унесла
Всего пятнадцати годков.
Её вороньи два крыла
Над ним простёрлись — и парнишка был таков.

Вчера она переспала
С весёлой девицей-красой.
Одно свиданье до утра —
И что осталось... Стебель, срезанный косой.

Как ты нетерпелива, смерть!
Мы все шагаем впереди тебя,
Могла бы не спешить...
Как ты нетерпелива, смерть!
Ты знаешь, что всегда догонишь нас,
Что нам не убежать.

Луна на воде —
Тебе слабо.
Во ржи васильки —
Тебе слабо.
Веселье толпы,
Черника в лесу,
Улыбка весны —
Тебе слабо.
Мазурка и вальс —
Тебе слабо.
Гудок корабля —
Тебе слабо.
Кукушкина весть,
Могильный бурьян
И дождик грибной —
Тебе слабо.

Под вечер снова смерть пришла.
Мелькнула чёрная пола —
Теперь у моего окна.
Стучат... Откройте двери... Здесь уже она!

Она горела как маяк
В ночи на берегу морском,

Как красный свет грузовика,
По серому шоссе спешащего во тьму.

Как ты нетерпелива, смерть...

ВЕСЁЛЫЕ МЯСНИКИ

1

Вот танго для весёлых мясников,
На скотобойнях показавших класс.
Спешите дам препроводить в альков
И выпить кровь, пока не запеклась.

Больше крови!
Больше мяса будут жрать,
Больше веса набирать,
Больше станет толстых рать!
Больше крови! —
Чтоб струилась как река,
Чтоб свиной окорока
На складах — до потолка!
Больше крови!
Больше спрос и шире сбыт
Кожи, шкур, рогов, копыт!
Будет каждый бык убит!
Больше крови,
Чтоб хватило всем котлет,
Чтоб, покинув этот свет,
Сытный дать червям обед!
Больше крови!

2

Вот танго для военных молодцов,
Что победить готовы всех и вся,
Для тех крутых, испытанных бойцов,
Кто ремеслом могильным занялся.

Больше крови!
Посильнее штык воткни,
Помни: мы — или они,
Прозевал — себя вини.
Больше крови!
Замочи побольше их,
Неприятелей своих,
Не спускай им ни на миг,
Больше крови!
Коль врага не ты добил,
То дружок твой, что любил
Эти игры как debil.
Больше крови!
А назавтра — твой черёд,
А назавтра приберёт
Смерть тебя и в пыль сотрёт...
А вот колбаса! А вот колбаса!
А вот колбаса...

НЕ БЫЛО У МЕНЯ

Не было у меня
Ни гроша за душой
Разве что запах лип
Кров да кровать да хлеб
Да сумерки за окном
Да в очаге дрова
Птичий свист и роса
Треск огня и глаза
Пригревшегося кота

Ты пришла и все забрала
И я остался ни с чем
Но вместо хлеба ты мне дала
Губы свои взамен
Глаза взамен очага
Свой голос вместо небесных птиц
И поющих ветров
А вместо запаха лип
Запах своих духов
Я стал так богат что захлопнул дверь
И забыл на дворе кота
Бедный зверь...

ВСЕМ ДЕТЯМ

Вот дети с полным ранцем за спиной
Бредущие в тумане поутру
Я памятник бы им воздвиг
Страдальцы с полным ранцем за спиной
Толпа печальных горемык
Я памятник бы им воздвиг

Нет не из камня и бетона нет
И не из бронзы зеленеющей под ветром что ни миг
Нет памятник из их страданий
Из их печалей и сомнений
Из их мучений я б воздвиг
Мир так наполнен запахами так
Наполнен грезами и смехом но вокруг
Опять огонь и боль
Мир новый мир
Где падают ничком где всюду кровь
И крик
Но тем кто остается в холе тем
Кто день-деньской в своих бюро привык
Считать-подсчитывать доходы от смертей
Всея это жирной своре всем
Кто наживается на горе
Я выставил бы счет за всех детей
Всея этой банде я бы памятник воздвиг
Из шомполов кнутов и кулаков
Я памятник воздвиг бы им из слов
Которые навек бы залепили
Брыластые их губы их мяса
И грязью и позором

СТРАДАНИЯ АЛЬФОНСА

Я хочу вам рассказать,
Как тому лет сто назад
Нечестивец жил один,
Не доживший до седин.

Впрочем, долг признать велит,
Был он с детства инвалид,
А диагноз — приапизм.
Примененье тёплых клизм

И примочек не могло
Хворь такую одолеть.
Малышу не повезло:
И нагретое стекло
Усмирить не помогло
Боль, секущую как плеть.

Он ребёнком лет пяти
Трёх шагов не мог пройти —
Так его стесняла та
Непристойная киста.

Результат дала худой
Ванна с розовой водой.
Перец молотый ему
Синевой покрыл корму.

А при этом ствол срамной
Всё твердел и рос в длину,
И особенно весной.

Разносился над страной
Клич уroda: «Кто со мной?..»
Соблазнил он не одну.

Лет в пятнадцать наконец
Он строптивый свой конец
Тросом закрепил стальным —
Надоело слыть больным.

На танцульки он пришёл,
Началось всё хорошо:
Мигом шлюху закадрил
И повёл плясать кадрили.

Но на третьем шаге вдруг
Трос порвался, и снаряд,
Необуздан и упруг,
Стал крушить народ вокруг.
Погубил тот страшный трюк
Душ семнадцать, говорят.

Если жизнь его была
Смесь бесчестия и зла,
Смерть Альфонса по сей день
Оживляет его тень.

Не сумев нигде найти
Ту дыру, куда войти,
От тоски подался он
В Иностранный легион.

Там однажды он и пал
Жертвой жжения в очке.
На мортиру он запал,
В ствол снаряд свой затолкал...
Ухнул выстрел — и пропал
Он при первом же качке.

ВРЕМЯ ЖИТЬ

Беглец

Он вниз по откосу сбежал
Взрывая ступнями песок
А там, наверху разнеслась
Истошная песня сирен

Он жадно вдыхал всем нутром
Летучие запахи трав
Его беспокойная тень
Бежала вприпрыжку за ним

Мне только бы к лесу успеть
По лугу он нёсся к ручью
Два солнечных желтых цветка
Нагнувшись, сорвал на бегу

Отрывисто били стволы
Сухими плевками огня
Мне только бы к лесу успеть
И он добежал до воды

Лицом окунулся в поток
И сделал два долгих глотка
Мне только бы к лесу успеть
Он выпрямился для рывка

Мне только бы к лесу успеть
Но огненной меди пчела
Кольнула на том берегу
Окрасилась кровью вода

Успел он на луг посмотреть
Напиться успел из ручья
Успел он ко рту поднести
Два солнечных жёлтых цветка

Успел усмехнуться стрелкам
Побыть на другом берегу
Дорогу к подруге найти
Успел он до смерти пожить

ЖАЛОБЫ НА ПРОГРЕСС

Когда-то в давние года
Влюблялись — и тогда
Чтоб доказать свой пыл и жар
Вручали сердце в дар
Сегодня это все ей-ей
Похоже на обмен
И шепчут забирая в плен
Возлюбленной своей
Ах обнимите меня мадам... И я тогда вам дам

Электровилку
Бельесушилку
Сокодавилку
Сервиз и поднос
Кухню духовку
Ванну кладовку
Всю мебелировку
И к ней пылесос
И чашки и ложки
И ящик для картошки

Вентилятор ковер
Электрополотер
Ткань с подогревом
Что дарят королевам
И в любом краю
Будем мы в раю.

Когда-то был супруг честней —
Рассорившись с женой
Он уходил оставив ей
Дом и достаток свой
Так было много лет назад
Теперь не до забав
Жену ко всем чертям послав
Серdito говорят
Ну-ка вернитесь ко мне мадам... Или я не отдам

Электровилку
Тестомесилку
Плодосушилку
Кастрюлю и таз
Кресло-качалку
Яйцесбивалку
Электроскалку
Они не про вас
И чашки и ложки
И ящик для картошки
Щетка вакса фужер
И кондиционер
Фен для завивки
Не для такой паршивки
Не мила вам честь —
Все оставлю здесь

Электровилку
Автопоилку
Вмигморозилку
Духовку плиту
Посудомойку
Электродойку
Диванокойку
И эту и ту

Но не пройдет минутки
И вот звонок малютки
И снова смех и шутки
И снова нежный взор
Ах возвращение
Перечисленье —
Полотер ковер...
До следующих ссор.

СКРОМНЫЙ ПРОМЫСЕЛ

Я продавал фиалки
Но был доход мой мал
И галстуки и скалки
Я гражданам сбывал
И бритвы и расчески
И лезвия «Жиллет»
И рашпили и доски
Для выделки котлет
Все думал — наяву ль
Когда чинил в беде
Соломенные стулья
И старые биде
Когда тащил хромая
Возок по мостовой
Чуть не сошел с ума я
Зато теперь — живой

По улицам весь день мой летит Кадиллак
Идут идут мои дела
Есть у меня шофер и особняк и трое слуг
Мне каждый полицейский — верный друг
Коль надобно вам
Я пушки продам
Короче длинней
Кому что нужней
Всегда найдется тот кто знает толк
в моих игрушках
Эй у кого есть лишний грош подумайте
о пушках
Товар хорош!

И вот я снова собираюсь в путь
Клиенты толпой
Поют под землей
Найдется ли тот
Кто пушку возьмет
По старым закоулкам налегке теперь спешу я
Нигде на свете ни души и лишь один пляшу я
Отдам за грош!

Я пью

Я пью
От зари дотемна
Лишь бы не знать с кем там крутит жена
Я пью
От зари дотемна
Лишь бы забыть где вино где вина

Я пью
Тошнотворную дрянь
Лишь бы хлебать хоть какой алкоголь

Я пью
Пью бурду и плевать
Даже блевать ей-же-ей веселей

Неужто жизнь и впрямь смешна
Неужто жизнь и впрямь нужна
Кто даст на это ответ
Неужто жизнь сплошной туман
А цель любви сплошной обман
Кто даст на это ответ
Ответа как водится нет... и

Я пью
От зари дотемна
Лишь бы не знать что за жизнь мне дана
Я пью
От зари дотемна
Лишь бы забыть как недолго до дна

Я пью
Пью все время захлеб
Чтоб захмелеть и забыть обо всем
Я пью
Пью до одури чтоб
Даже смертный озноб не скомандовал стоп.

ПУСТЬ ОТРЕЖУТ!

1

Было то давным-давно.
Не хватало дров в округе,
И тогда барон фон Ключе,
Коему владеть дано
Было лесом превосходным,
Сам явился ко двору
И в порыве доброхотном
Молвил: «Лес казне дарю —

Пусть его скорей отрежут
От моих владений прочь,
Пусть его скорей отрежут».
Землякам он смог помочь.

2

Романиста-новичка
Пригласил к себе издатель
И сказал: «Ваш текст слегка
Длинноват. Вы только дайте
Нам согласие на купюры:
Пятьдесят страниц долой —
И улучшится фактура
Вашей прозы молодой».

Тот вскричал: «Пусть их отрежут!
Рукописи не горят.
Пусть страницы те отрежут!»
Он теперь лауреат.

3

«Слышал я, — сказал султан, —
Что в гареме нашем — склоки...
Только ты, Абу Хасан,
Нас избавишь от мороки
Женских распрей ежедневных.
Ты мудрец, а посему
Будь отныне главный евнух».

Тот, смекнувши, что к чему,
Просиял: «Пусть мне отрежут!
Я владыке моему
Послужу! Пусть мне отрежут!»
И отрезали ему.

РОК ЭНД РОЛЛ-МОПС

В любви я смел, почти жесток,
Её я срезал на корню,
Она попалась как листок
Орангутану в пятерню.
Подряд три ночи и три дня
Держал в работе нас Амур.
Она ласкала так меня,
Что посинел бы Азнавур.

А где-то в джазе пел певец,
Саксофонист являл свой дар...
Проголодавшись наконец,
Я позвонил в ближайший бар.

— Алло, Дюкок,
Я изнемог,
Поесть бы мне — боюсь концы отдать.
— А что тебе прислать?
— Да чтобы долго не гадать,

Рок энд ролл-мопс,
Томатный сок,
Рок энд ролл-мопс,
Филе кусок,
Рок энд ролл-мопс,
Навряд ли утолит,
Рок энд ролл-мопс,
Мой волчий аппетит.

Бифштекс из кенгуру,
Омаров на пару,
Печёнку льва в вине
Отправь скорее мне —

На блюде всё
Для одного.
Без лишних соусов, приправ.

Рок энд ролл-мопс,
Нутро я накормил,
Рок энд ролл-мопс,
Я удесятирил,
Рок энд ролл-мопс,
Запас телесных сил,
Рок энд ролл-мопс,
И гостью разбудил.

17*

Мне по плечо парнишка ростом,
Зато крепыш. Пришли ко мне
На хату. Я сказала просто:
Малыш, ты будешь на коне.

Сделай мне больно, Джонни, Джонни,
Пройми меня до искр из глаз!
Сделай мне больно, Джонни, Джонни,
Люблю в любви высокий класс!

Хор: Он сделает больно, ей сделает больно!
Он сделает больно, ей сделает больно!

Остался он в носках лиловых.
Картинка — глаз не оторвёшь!
Но ничего не понял олух:
Молчит, шевелится как вошь.
Потом замекал: «ох» и «ах»,
«Да я и мухи не обижу».
Растяпу треснув в лоб в сердцах,
Я прорычала: «Так люби же!»

Сделай мне больно, Джонни, Джонни,
Я мухой раньше не звалась,
Сделай мне больно, Джонни, Джонни,
Люблю в любви высокий класс!

Хор: Давай, давай, сделай ей больно!
Давай, давай, сделай ей больно!

Но не завёлся бедолага,
И чтобы он совсем не сник,
Я крыть его словами — благо,
Могу ругаться, как мясник.
И тут очнулся мой герой,
А я смекнула, будет плохо...
Он рявкнул: «Варежку закрой!
Я лох? — Так получи от лоха!»

Ты мне сделал больно, Джонни, Джонни,
Зачем ты так, зачем ногой!
Ты мне сделал больно, Джонни, Джонни,
Привыкла я к любви другой!

Хор: Он сделал ей больно, он сделал ей больно!
Он сделал ей больно, он сделал ей больно!

Успев в костюмчик облачиться,
Надеть штиблеты без шнурков,
Он шаст за дверь — и был таков.
А у меня болит ключица
И зад зудит от нервной дрожи.
С такой обидчивой шпаной
Крутить любовь — себе дороже.
Забыла я призыв шальной:

Сделай мне больно, Джонни, Джонни,
Пройми меня до искр из глаз!
Сделай мне больно, Джонни, Джонни!
Люблю в любви высокий класс!

2 хлопка ладонями: Ох, Джонни!
2 хлопка ладонями: Ох, скотина!
Ах, с меня хватит.

СТРИП-РОК

Хор:
Эй, эй,
Эй, крошка,
Не торопись,
Дай нам посмотреть,
Всё дай рассмотреть,
А не четверть и не треть.

Она:
За нитку изумрудных бус
Я снять перчатки соглашусь.

Для вас —
Свежесть нежной кожи
И природный бюст.
Для вас —
Блеск пунцовых уст
И волос, на спелый лён похожих.
Для вас —
Всё как на заказ.
От вас — франки сей же час!..

Хор:
Франки?..

Эй, эй,
Эй, крошка,
Оголись, не трусь!
Пусть карман наш пуст,
Запиши нам в плюс
Нашу страсть и тонкий вкус.

Она:
Что проку мне от ваших чувств!
Я на восторги не польщусь.

Могу
Показать вам плечи,
Сбросив прочь свои меха.
Могу
Туфли снять, чтоб легче
В танце по полу порхать.
Могу пояс снять под вечер,
А к вашим просьбам я глуха.

Хор:
Ах!

Эй, эй,
Эй, крошка,
Мы признаём,
Чудо как ты хороша,
А раздевшись не спеша,
Нас оставишь без гроша.

Она:

Теперь, когда я завелась,
Кто смелый, тот любуйся властью.

И я

Сброшу что осталось,
Не краснея от стыда.

И я

Подразню вас малость,
Всё внимание — сюда!

И я,

Чтоб сомненье не закралось,
Покажу, чем я горда.

КРАСНАЯ ШАПОЧКА В СТИЛЕ РОК

1

Куда с корзинкою соседка
Вы так спешите без забот
Как вкусно пахнете вы детка
От башмачков слюна течет
Какая чудная беретка
И до чего же вам идет

Красная Шапочка:

Бабушке впрок
Недалеко
С маслом горшок
Я несу и пиво
Блок сигарет
Фруктов кулек
Свежий багет
Будет бабушке впрок
Бритву взяла
Бабушке я
Чтоб не колола
Обнявшись меня

Хор (хлопая в ладоши):
Прочь, прочь. Шапочка,
прочь Серый тебя слопать не прочь

2

Ну поглядите же соседка
Трава манит нас полежать
Тот бережок точь-в-точь беседка
А тот лужок точь-в-точь кровать
Глоток martини... Сигаретка...
Что время попусту терять

Красная Шапочка:
Вот ведь лопух
Где же ваш нюх
Я не из шлюх
И не из потаскух
Батюшке я
Слово дала
Бабушке я
Свой гостинец взяла
Сказано: тпру
Лапы долой
И подобру Отправляйтесь домой

Хор:
Прочь, прочь. Шапочка, прочь
Серый тебя слопать не прочь

3

Вы так рискуете соседка
Одна... В чащобе... Е-мое...
А ваша юбка вот кокетка
Снимай не будем мять белье
Мне тоже ни к чему жилетка
Куда приятней без нее

Красная Шапочка:
Кто там опять
Воет сипя
Лапать-щипать
Не позволю себя

Сказано: тпру
Хватит слюней
Я же помру
От микробов ей-ей
Матушка... ай
Батюшка... ой
Дочку спасай
От напасти такой...

Хор:
Поздно бежать. Шапочка, прочь
Серому ждать больше невмочь

ТАКОЙ КРАСОТЫ У НАС НЕТ

1

Я выбрался в город однажды,
Забрёл там в богатый квартал.
Дома — заглядение каждый,
Я раньше таких никогда не видал.
В одном были заперты ставни,
А дверь приоткрыта, и я,
Конечно, вошёл — неспроста мне,
Как видно, тот дом подвернулся, друзья.

Такой красоты у нас нет,
Такой за сто лет не найти и за тыщу монет!

2

Из мрамора лестница синим
Роскошным покрыта ковром —
Я неба не видел красивой
Над лесом у нас, где стучу топором.
Поднявшись, я вышел на даму
У двух золочёных колонн.
Она мне: извольте сюда, мол, —
И я попадаю в просторный салон.

Такой красоты у нас нет,
Такой за сто лет не найти и за тыщу монет!

3

А там на красивых диванах —
Красотки в исподнем белье...
Ну, думаю, это — для званных,
А я тут, считай, не в своей колее.
Одна вдруг встаёт и неспешно
Идёт на меня, а верней —
Проходит задев... Я, конечно,
Балдею и — в комнату следом за ней.

Такой красоты у нас нет,
Такой за сто лет не найти и за тыщу монет!

4

Что ей от меня было надо?
Велела разуться сперва,
Спустила мне брюки и рада
Стараться, а мне уже всё — трын-трава...
Сомлев от такого напора,
Лежал я под ней на спине,
Да жаль, улетучились скоро
Все деньги, что были в тот вечер при мне.

У нас и затрат таких нет.
У нас на затраты такие не хватит монет!

Я ТЕБЯ НАРИСУЮ

Не надо быть Гогеном
Не надо Пикассо
Не надо быть Эль Греко
Чтоб знать как ты прекрасна

Я плюнул на ученье
На физру и матешу
Без них тебя потешу
Без них тебя утешу

Я тебя нарисую
Как цветок луговой
Как золотую птицу
Как небо над головой

Я тебя нарисую
Как солнечные сны
Как яблоко налитое
Как след июньской волны
Такого музея нет
Чтоб выставить твой портрет
И вовсе не на виду
Я место ему найду
И тебя нарисую
И в сердце моем затаю
И руки мои как рама
Обрамят любовь мою...

АРТЮР... СКАЖИ, ГДЕ ТРУП?

I

Отличный был налёт —
Как пулей птицу в лёт.
Мы ловкие ребята:
Клиента — по виску,
Добыча — по куску
Наличными на брата.
Артюру был наказ
Обезопасить нас,
Да поскорей, от тела.
А он бубнит, балда:
— Не знаю я, куда,
Но пташка улетела.

Голоса других: — Ну?..

Припев I

Артюр, скажи, где труп, —
Кричали все вокруг.

Разговор:

— Ну, я уж не знаю, парни, куда его дел...

— Артюр! Мать твою!.. подумай.

Дело нешуточное.

Что он покойник был,
Могу ручаться вам.
Но я совсем забыл,
Куда его девал.
Возгласы разочарования: — Ах, ох...

2

Проворный ювелир
Покинул этот мир,
Успев поднять тревогу —
Легавых известить.
Мы — в тачку и винтить.
Петляли всю дорогу,
Ушли. Но как назло
Нас крепко занесло
В какую-то витрину.
Слинять никто не смог.
Тут руки нам за спину
И мигом — в воронок.
Возгласы досады: — Приехали!..

Припев 2

Артюр, скажи, где труп, —
Инспектор не был груб.

Разговор:

— Да не знаю, парни, куда я его дел.
— Артюр! Мать твою!.. подумай.
Дело нешуточное.

Что он покойник был, —
Могу ручаться вам.
Но я совсем забыл,
Куда его девал.
Возгласы разочарования: —
Значит, улик уже нет...

3

Десятку схлопотав,
Мы внутренний устав
Тюремный изучали.
А кореш наш Артюр
От прошлых авантюр
Хирел и чах в печали.

Про жмурика того
Пытали мы его
С пристрастием, а впрочем,
Все думали, что он
Нам головы морочил,
Кривлялся пустозвон.
С угрозой: — Ну, говорить будешь?

Припев 3

Артюр, скажи, где труп,
Мозгами пошурупь. (*Глухие звуки тумачков*).

Разговор:

Да не знаю, парни, куда я его дел.
Артюр! Мать твою!.. подумай.
Дело нешуточное.

Артюр, скажи, где труп, —
Его долбали день за днём.
И как-то поутру
Пропал он, сделал ход конём.
Возгласы изумления: — Да как же это?..

Голос директора тюрьмы: — Ну-ка, ребятишки,
куда вы дели вашего дружка Артюра?..
Скажите-ка
своему директору...

4

Что стало с говнюком,
Куда свалил тайком, —
Никто не мог ответить
Директору, а тот
Поклялся, что найдёт
Концы, иначе светит
Подельникам хана.
Позвали колдуна
С чутьём острее шила.
Не отыскал он ни хера,
И общество решило,
Что стол вертеть пора.
Дрожащие от страха голоса: —
Парни, гляди, крутится!

Разговор:

- Артюр... это ты?
 - Я, парни.
 - Артюр, куда ты дел свое тело?
 - У меня, парни, уже нет тела.
 - Артюр... Сердце у тебя есть?
 - Ну, парни, вы всё про то же...
- (Затемнение)*

Кода

К исходу интервью
Сообразили мы,
Что наш Артюр — в раю!!!

ДЕВИЦА, ЗАМУЖ НЕ СПЕШИ!

Случалось вам увидеть вдруг
Мужчину голого, когда
Из ванной вышел он и с рук,
С волос его течёт вода?
Случалось видеть вам, каков
Едок спагетти и котлет,
Когда он ест без дураков —
Забрызгав соусом жилет?
Хорош собой — как пень тупой,
Когда юнец — считай, подлец,
А старичок — о нём молчок...
Видали вы, как трёт толстяк
Лопатки о дверной косяк,
Любовно гладит свой живот
И шерсть наперсную скребёт?

Девница, замуж не спеши, пока тебе вольно
Ходить с подругами в кино,
В кафе потягивать вино
Иль кока-колу — всё равно,
Глазеть на улицу в окно,
Играть с соседом в домино,
Менять трико на кимоно,
Вертеть по правилам порно
Хвостом и теми заодно,
Кому хвосты ценить дано.

Но спешить с замужеством — грешно,
Воистину грешно.

Видали вы, как поутру
Домой приходит полутруп —
Супруг, замазанный слегда
Помадой возле кадыка?
Видали вы, как блудодей,
Доживший до седых мудей,
Напитками согрев себя,
Девчонку тискает сопя?
От крепыша вам — ни шиша,
От дурака — печаль-тоска,
Ну а богач, тот скуп, хоть плачь.
Видали вы, как томный хлыщ
С глазами крысы давит прыщ,
От уха к уху прядь кладёт
И победителем идёт?

Девица, замуж не спеши, пока тебе вольно
На танцах как веретено
Крутиться — чтоб в глазах темно,
Менять дружков и заодно
Тянуть из них монеты, но
Не тратить их, а класть на дно
Кубышки, а когда давно
За сорок будет, то умно
Спустить на мальчиков. Оно
Уж так у вас заведено.
Спешить с замужеством — грешно,
Поистине грешно.

СОВЕТЫ ДРУГУ

Друг мой ты хочешь
Поэтом стать
Тогда не валяй
Дурака
Болваны
Заставят тебя распевать
Всякую чушь —
Не пой.

Нет не пой
Про манящий рай
Про щемящий
Дурман
Не вставляй
Неведомых слов
Экзотических
Стран.

Не спеши
А просто пиши
Пиши о простой
Душе
Яркий букет
Звнящих нот
Перебирай
В тиши.

Друг мой ты хочешь
Поэтом стать
Тогда не спеши
Богатеть
Свой талант
Отдавай за грош
Лучшей цены
Не найдешь.

Издатель предложит тебе
Бандит
Продаться
Забыв про стыд
Цензор
Заставит тебя марать
Урезать
Сокращать.

Но ты поэт
Засмейся в ответ
Зная что нет
Цены
Припеву
Который бредет с тобой
По улице
Городской...

Я ПЕСНИ СВОИ ПОЮ

Я песни свои пою
Чтоб развлечь ученых мужей

Которые делают ядерный взрыв
Привычным как популярный мотив
И темами приземленными
Любовь протонов с нейтронами
Когда уран
Начинает делиться
На музыку это влечение кладу я
Сам Ньютон
В саду прозорливо колдуя
Не думал что может такое случиться

Все мне по нраву Гейзенберг с Бором
И Жолио-Кюри и Ферми
И Майтнер колдующий над прибором
Вот кто мне нравится черт возьми
Стал я поклонником квантовой физики
И механики волновой
В общем ребята они с головой
Все это выдумавшие шизики

А как не вспомнить
Альберта Эйнштейна
Вот уж кто был другим не чета!
Без него мы бы верили благоговейно
Что держат Вселенную
Три кита
Но чтобы развлечь кумиров моих
Не стоит петь им о них самих
А лучше спеть о лугах и птицах
О цветах и ягодах и девицах
И о том что любой из ученых мужей
 без раздумий бы смог
Завлечь такую девицу в стог

ПРИМЕЧАНИЯ

Красная трава. (*L'herbe rouge*, 1950)

*Стр. 27. Квадрат (*Le Carré*).* — Эта вымышленная территория предстает словно поэтический и мифический перекресток между двумя полюсами холодной войны: Французским кварталом в Новом Орлеане (или иначе «Старым Квадратом») и «Красным Сквером» — Красной площадью в Москве (Red Square), на которую намекает красная трава романа, по всей вероятности, позаимствованная у Герберта Уэллса. В его романе «Война миров» марсиане после разгрома под Лондоном оставили на английской земле красную траву.

Стр. 47. Калевала — финский эпос (свыше 22 тыс. стихов), состоящий из народных сказаний, собранных в начале XIX века Элиасом Лёнротом. Виан подарил французское издание «Калевалы» своей первой жене Мишели (дата помечена на книге). Эта книга была возведена в культ Мишелью и Борисом, которые любили ее цитировать.

Сборник «Мурашки» (*Les fourmis*, 1949)

Рассказы, включенные Вианом в этот единственный прижизненно изданный сборник, были написаны в 1944—47 гг.

Мурашки. *Les fourmis*. Написан в 1946 г.

Прилежные ученики. *Les bons élèves*

Поездка в Хоностров. *Le voyage à Khonostrov*. Написан в 1947 г.

Рак. *L'écrevisse*

Стр. 148. Рак — название джазовой композиции («Crayfish»), которую исполнял Джек Тигарден (Weldon «Jack» Teagarden), имя и фамилию которого Виан просто «перевел» на французский — *Жак Тежарден* — и дал герою рассказа (по-русски при таком подходе его звали бы Яков Чайсад). Тигарден, или «Большой Ти», (1905—64) — тромбонист и вокалист, играл, в частности, в оркестре своего друга Луи Армстронга. Неизвестно, знал ли Виан, в своем рассказе уложивший «Тежардена» в постель, как Тигарден отшучивался по поводу своей привычки понежиться в кровати: «Я не то чтобы долго валяюсь, я просто медленно сплю!»

Водопроводчик. *Le plombier*

Стр. 155. Алиса Маршалл — так звали прабабку Виана по материнской линии, англичанку из Дюнкерка. С другой стороны, незамужняя тетка Виана по матери, Алиса Равенез, была самой настоящей гувернанткой для своих племянников, включая Бориса.

Стр. 157. «Deep South Suite» — джазовая композиция в четырех частях, исполненная оркестром Дюка Эллингтона в Карнеги-холле 23 ноября 1946 года.

Клод Фаррер — псевдоним французского писателя Ф.-С. Баргона (1876—57), вслед за Пьером Лоти воспевавшего экзотические страны.

Другой Клод Фаррер — французский фантаст, автор рассказа «Где?» (1923), идеи которого явственно прозвучали в романе Виана «Красная трава». Кого из них двоих имел в виду Виан и что общего, особенно внешне, они могли иметь с героиней рассказа, Жасмен, навсегда останется загадкой...

Пустынная тропа. *La route déserte*

Впервые опубликован в первом (и единственном) номере журнала «Низа» в 1948 г.

Стр. 161. Ключийское аббатство. — Имеется в виду парижская резиденция ключийских аббатов (само Ключийское аббатство, принадлежавшее к ордену бенедиктинцев и почти целиком разрушенное во время Великой французской революции, находится в Бургундии), построенная в XV в. Жаком д'Амбуазом неподалеку от развалин римских терм (отсюда в новелле «*термы Юлиана Заступника*»). В настоящее время там находится музей средневекового искусства и ремесел, что и стало поводом для пародии у Виана.

Ключийские аббаты Лазар Вейль и Жозеф Симонович... — В именах «аббатов» прочитывается имя французского философа Симоны Вейль (1909—43), сторонницы христианского мистицизма.

Стр. 162. Отель-Дьё — одна из известных парижских больниц.

Петер Нья — прозвище, данное Вианом своему шурину, Клоду Леглизу.

Стр. 163. Звезда Бетельгейзе — гигантская звезда в созвездии Ориона. Когда писалась новелла, Виан переводил фантастический рассказ американского писателя У. Тенна «А они не глупы, эти парни с Бетельгейзе».

Стр. 164. Житие пресвятой Елизаветы Венгерской, написанное виконтом де Монталамбер. — Граф де Монталамбер (1810—70) — французский публицист и политический деятель либерально-католического направления, автор «Истории св. Елизаветы» (1836), жизнеописания матери Иоанна Крестителя. Св. Елизавета Венгерская (1207—31), дочь короля Венгрии Андрея II, в двадцать лет стала вдовой Людовика IV (ср. смерть прекрасного графа в новелле, над которой плачет Нозми) и окончила свои дни во французском монастыре. Виан комически «путает» имена двух святых Елизавет.

«Трое в одной лодке». — «Трое в лодке, не считая собаки» (1889) — роман Джерома К. Джерома, одна из любимейших книг Бориса Виана.

Стр. 166. Улица Львиного Сердца. — Доблестный Майор живет на улице, названной по имени храброго английского короля Ричарда I Львиное Сердце (1157—99). В действительности парижское жилище доблестного Майора располагалось в тупике Вилла Сердца Во.

Стр. 168. Арманьяк — область Франции, где производится знаменитый сорт коньяка.

Стр. 169. Рубе — город во Фландрии, крупнейший центр текстильной промышленности.

Дохлые рыбки. *Les poissons morts*

Впервые опубликован в журнале «Арбалет» в 1947 г.

Стр. 180. Разносчиц перца с острова Маврикий. — Первые марки острова Маврикий высоко ценятся филателистами. С другой стороны, Пьер Пуавр (1719—86), чья фамилия переводится как «Перец», возглавляя администрацию островов Маврикий (который тогда назывался островом Франции) и Реюньон, культивировал на них выращивание пряностей, завезенных с Молуккских островов.

Блюз для черного кота. Blues pour un chat noir

Стр. 185. *Kom* (cat) на жаргоне американских джазменов, джайве (jive), означает «любитель блюза».

Петер Нья вышел с сестрой из кино. — Петер Нья (то есть Клод Леглиз) и его сестра Мишель, впоследствии первая жена Виана, в 40-е годы в IX округе Парижа действительно наблюдали сцену, положенную в основу рассказа.

Туман. Le brouillardЖелторотая тетеря. L'oie bleue

Впервые опубликован 5 июля 1946 г. в журнале «Ля Рю». Сюжет новеллы — еще одна «вариация» на тему летнего путешествия Вианов в Сен-Жан-де-Люз.

Стр. 206. *Фазтон* — в древнегреческой мифологии сын Гелиоса (Солнца). Управляя отцовской колесницей, не справился с небесными скакунами, и Зевс испепелил его. Оливье назван Фазтоном как владелец легкой «колесницы».

Вы в Каркассон?.. — География этого путешествия довольно своеобразна: Гавр — один из северных портов Франции, Каркассон находится на юге страны, недалеко от Средиземного моря, Руан лежит почти на полпути между Гавром и Парижем.

Стр. 207. *Овернские тропики.* — Овернь — область на юге Франции, в Центральном массиве. *Од* — река, берущая начало в Восточных Пиренеях и впадающая в Средиземное море. Овернь граничит на юге с департаментом Од.

Аптека Латюльпана. — Аптекарь носит имя беззаботного солдата Фанфана Тюльпана, героя народной песенки и множества пьес и кинофильмов.

Стр. 208. *«Малый Ларусс»* — краткий энциклопедический словарь-справочник, выпускаемый ежегодно французским издательством «Ларусс».

Макс дю Вези — псевдоним французской писательницы Альфонсины Симоне (1886—1952), автора многочисленных сентиментальных романов и сказок.

Стр. 210. *Привокзальный отель «Альбигоец».* — Виан комически обыгрывает то, что альбигойская ересь (от названия города Альби) в XII—XIII вв. была широко распространена на юге Франции. Альби находится недалеко от Каркассона.

Статист. Le figurant**Рассказы разных лет**

В первом издании романа «Пена дней» (Галлимар, 1947 г.) был анонсирован сборник рассказов Б. Виана, который якобы вскоре должен был выйти в этом издательстве. Для этого предполагавшегося сборника Виан еще в 1946 г. написал предисловие с непонятным (во всяком случае, до прочтения самого текста) и непереводаемым заголовком «Les lurettes fourrées» (по-русски эту игру слов пытались перевести как «Часики с подвохом» или «Трали-вали»). (Стоит отметить, что никакого предисловия в этом маленьком шедевре, полностью опубликованном только в 1999 году, конечно же нет — это вполне самостоятельное произведение с жонглированием вымышленными цитатами.) Однако первым (и последним) прижизненным сборником рассказов стали «Мурашки», вышедшие безо всякого предисловия и в другом издательстве. В посмертном переиздании «Красной травы» (изд-во

Ж.-Ж. Повера, 1962) издатели добавили к этим романам три произвольно отобранных ими неизданных рассказа («Пожарники», «Пенсионер» и «Возвращение»), снабдив их общим заголовком «Les lorettes fourrées».

В 1970 году в издательстве Кристиана Бургуа вышел сборник «Волк-оборотень», в который, помимо впервые изданных рассказов, вошли рассказы, при жизни Виана публиковавшиеся в журналах. Наконец, в 1981 году то же издательство выпустило еще один подобный сборник, «Поп на пляже».

В настоящем издании рассказы Виана разных лет публикуются в хронологическом порядке их написания или первого опубликования (хотя в ряде случаев датировка затруднительна).

Каторжная работка. *Un métier de chien*

Этот рассказ, написанный 2 января 1946 г., вместе с двумя последующими («Культурные развлечения» и «Звезда экрана») составляет триптих о кино (с описанием процессов съемки, показа и кинопробы). За бурлеском проглядывает трепетная любовь Виана к кинематографу. Среди первых написанных им текстов немало киносценариев. Еще он с друзьями (включая Майора) начиная с 1940 г. снял несколько короткометражных лент, а в 1947 г. вместе с Раймоном Кено и Мишелем Арно основал кинофирму ARQUEVIT. И если вспомнить, что вплоть до 1959 года Виан снимался во множестве эпизодических ролей, становится ясно, какое значение имело кино в его жизни (и смерти — ведь он умер на просмотре фильма «Я приду плюнуть на ваши могилы», снятого по мотивам его скандального романа!).

Рассказ впервые опубликован в ежемесячном журнале «Дан ле трен» («В поезде») в октябре 1949 г. под заголовком «Кино и любители».

Культурные развлечения. *Divertissements culturels*

Написан 10 января 1946 г., впервые опубликован в «Дан ле трен» в июне 1949 г. под заголовком «Киноклубы и фанатизм».

Стр. 254. Полбубал. — Поль Бубаль в 40-е годы держал знаменитое сен-жерменское кафе «Флора».

Греко, Анн-Мари. — Жюльетта Греко, французская актриса и певица (род. в 1927 г.), и Анн-Мари Казалис, французская писательница и журналистка (род. в 1923 г.), одно время считались двумя «Музами Сен-Жермен-де-Пре».

Стр. 255. Астрыок, Александр — французский кинорежиссер и писатель (род. в 1923 г.), друг Виана в эпоху Сен-Жермен-де-Пре.

Унесенные Дедом Морозом — намек на «Унесенных ветром».

Эдвард Г. Робинсон — американский киноактер (1893—1973), в основном снимавшийся в ролях гангстеров.

Стр. 256. «Черно-голубой ангел». — Фильм «Голубой ангел» немецкого режиссера Йозефа фон Штернберга (1929 г.) принес известность Марлен Дитрих (1901—92).

Звезда экрана. *Une grande vedette*

Написан 5 марта 1946 г., впервые опубликован в «Дан ле трен» в августе 1949 г. под заголовком «Главная роль».

Южный бастион. *Les remparts du sud*

Написан в 1946—47 гг. Впервые опубликован в посмертном сборнике «Волк-оборотень».

В основу сюжета положены реальные события августа 1945 г.: семья Вианов (Борис, Мишель и их сын Патрик) отправлялась в городок Сен-Жан-де-Люз в Атлантических Пиренеях, и Майор (Жак Лустало) загодя

уехал туда на автомобиле, чтобы подготовить для друзей жилье. Однако Майор прибыл на место позже Вианов и в оправдание поведал о своих дорожных приключениях.

Стр. 262. Лакост, Рене — французский теннисист по прозвищу «Крокдил», в 1927 г. создавший свою знаменитую тенниску.

Стр. 264. Законное разрешение — требовалось получать вплоть до 1949 года ввиду дефицита горючего.

Жюль Гуффе — знаменитый французский кулинар (1807—77), автор поваренных книг, к которому Виан относился с большим почтением.

Стр. 266. Дюамель. — Жорж Дюамель (1884—1966) — известный французский писатель. Виан иногда в шутку «путает» его с Марселем Дюамелем — книгоиздателем, в 40-е годы основавшим детективную «Черную серию».

Стр. 267. Нюрнбергский волчок. — Намек на непрерывный рокот в радиоприемниках немецких глушилок, заглушавших английское радио.

Стр. 277. Улица Львиного Сердца. — См. прим. к рассказу «Пустынная тропа», с. 516.

Вечеринка у Леобилля. Surprise-partie chez Léobille

Впервые опубликован в еженедельнике «Самди-суар» от 12.07.1947 г.

Стр. 280. Фолюбер Сансонне. — Это имя богато ассоциациями: во-первых, Юбер Фоль, альт-саксофон, считался лучшим музыкантом в оркестре Клода Абади, во-вторых, в 1940—44 гг. Виан создал рукописный сборник стихотворений «Сто сонетов» («Les Cent sonnets»), один из разделов которого назывался «Sansonnets» (скворцы); именно так и звучит в оригинале фамилия Фолюбера.

Сад Гесперид — в греческой мифологии сад с золотыми яблоками, который охраняли нимфы Геспериды. Воображая, что он идет по саду Гесперид, тщедушный и застенчивый Фолюбер во сне видит себя Гераклом, которому удалось украсть золотые яблоки.

Ручная улитка Фредерика. — Скорее всего, Виан имеет в виду Фредерика Шовело, одного из основателей и директора «Клуба Табу», с 1947 г. центра квартала Сен-Жермен-де-Пре. В кафе «Табу» играл оркестр Клода Абади.

Стр. 281. Ему хотелось бы обладать... — Достоинства, которых недостает Фолюберу, Виан распределяет между музыкантами джаз-оркестра Клода Абади (назывался также «оркестр Абади-Виана») — любительского оркестра, возникшего сразу после освобождения Парижа и через несколько лет признанного лучшим оркестром Франции; в его составе Виан в качестве трубача принимал участие во множестве концертов и снискал славу одного из крупнейших французских трубачей. «Абадибабой» Клод Абади назван в новелле потому, что его оркестр принимал участие в балете «Али-баба и сорок разбойников»; как руководитель он получает звание «повар-аншеф». *Додди* — Клод Леон, близкий друг Виана, ударник в оркестре; *Ремонфоль* — Раймон Фоль, брат Юбера Фоля. *Грузные* — очевидно, прозвище одного из двух братьев Бориса Виана, также игравших в оркестре. *Лориентский городской клуб.* — Пародируется название кафе «Лориенте» в том же квартале Сен-Жермен-де-Пре, где играл джаз-оркестр Клода Лютера, который Виан высоко ценил.

Джиттербаг — Свинговый ритм, предшественник буги-вуги.

Стр. 285. Жак Бердиньдинь — т.е. Жак Берден, один из членов французского Джаз-клуба; этому музыканту Виан посвятил журнальную статью.

Смотрины. *Un test*

Написан, вероятно, в 1947 г., впервые опубликован в «Дан ле трен» в 1949 г.

Все как по маслу. *Les pas vernis*

Впервые опубликован в журнале «Дан ле трен» летом 1948 г.

Стр. 292. Красавица Гавиаль. — Гавиалы — род пресмыкающихся из подотряда крокодилов. Отличаются узкой длинной мордой, слегка расширенной на конце.

Трехмесячный младенец женского полу. — Дочь Виана Кароль родилась 16 апреля 1948 г.

12 апреля исполнилось шесть лет. — Сын Виана Патрик действительно родился в этот день в 1942 г.

Отель — пригород Парижа, расположенный рядом с аристократическими кварталами и Булонским лесом.

Стр. 293. Проспект Дерьмоцарта. — В Париже, в аристократическом XVI округе, действительно есть проспект, названный именем Моцарта. Музыку этого великого композитора Виан не принимал в отличие от музыки Баха, которого он высоко ценил.

Лифт в стиле Людовика X, работы Буль-Буля (но это была подделка). — Серия анахронизмов: Андре-Шарль Буль (1642—1732) — знаменитый французский краснодеревщик, усовершенствовавший технику инкрустации с использованием меди, перламутра и т. д. Его работы — характерный образец стиля Людовика XIV (стили «Людовик» различаются начиная с Людовика XIII). Упоминая о подделке, Виан намекает на то, что в эпоху Второй империи (задолго до того, как начали пользоваться лифтом) было широко налажено производство мебели «в стиле Буля».

Стр. 294. Леон Додилеон — т.е. Клод Леон.

Пожарники. *Les pompiers*

Написан на бланке приглашения на лекцию-концерт Рене Лейбовица о поэме Раймона Кено «Объяснение метафор» от 17 июня 1948 г. Впервые опубликован в журнале «Комба» 15 августа 1948 г. Новелла построена на услышанной Вианом и очень ему понравившейся шутке: «Пожарная команда отвечает: «Приедем в воскресенье, сегодня очень много работы»». Отразились в новелле и игры Бориса Виана со своим сыном Патриком. «Пожарники» — одна из наиболее популярных и наиболее часто публикуемых во Франции новелл Виана.

Пенсионер. *Le retraité*

Написан 22 марта 1949 г., впервые опубликован в «Дан ле трен» в мае того же года.

Стр. 300. Проспект Маршала Дюму. — Вероятно, Виан имеет в виду генерала Дюмуре́за (1739—1823) — победителя, ставшего изменником. Такого проспекта конечно же нет.

Апрельские подружки. *Des filles d'avril*

Написан в 1949 г., впервые опубликован в «Дан ле трен» в том же году.

Любовь слепа. *L'amour est aveugle*

Написан в 1949 г.; в сентябре того же года опубликован в журнале «Пари-Табу», № 1.

Стр. 311. Валькирии — в скандинавской мифологии девы-воины.

Цирцея — в греческой мифологии волшебница, превратившая в свиней спутников Одиссея, но влюбившаяся затем в самого Одиссея и родившая от него сына.

Стр. 312. «Quo vadis?» («Камо грядеши?») — роман Генрика Сенкевича, получивший в 1905 г. Нобелевскую премию.

Фабиола — «Фабиола, или Церковь в катакомбах», роман английского кардинала Уайсмана (1854), экранизированный в 1948 г. Алессандро Блазетти.

Стр. 314. «Тан Модерн» — созданный в 1946 г. литературно-философский журнал, публиковавший произведения самого Виана; у истоков его стояли Сартр, Симона де Бовуар, Мерло-Понти.

Золотое сердце. *Un cœur d'or*

Написан 22 июня 1949 г., опубликован в журнале «Бутей а ля мер» («Бутылка в море») в 1949 г. для рождественского семейного чтения.

Стр. 315. Ольн — по-французски «ольха». Возможно, имя похитителя золотого сердца выбрано по ассоциации с известной балладой Гете «Лесной царь», название которой по-немецки и по-французски буквально переводится как «Ольховый король».

Мыслитель. *Le penseur*

Написан, вероятно, в 1949 г., журнальная публикация приходится на конец того же года.

Возвращение. *Le rappel*

Первый набросок рассказа относится, судя по всему, к 1946—47 гг., дата же окончательной правки неизвестна — вероятно, 1949 или 1950 г. Впервые опубликован в посмертном издании романа «Красная трава» (с которым рассказ и в самом деле имеет много общего).

Убийца. *L'assassin*

Написан в 1947 г.; впервые опубликован в декабре того же года в «Дан ле трен», № 17.

Стр. 330. Аммониты — группа аммиачноселитренных взрывчатых веществ. *Трилобиты* — классы вымерших морских членистоногих. *Сталагмиты* — натечные минеральные образования. *Сальпингит* — воспаление маточных труб.

Стр. 331. Иван Одуар — в реальности Ивон Одуар, литератор, друг Бориса Виана, автор посмертных статей о нем в «Пари-Пресс» и «Канар Аншене».

Пристрастия Андре Жида — намек на гомосексуальные и отнюдь не скрываемые наклонности этого известного писателя, который действительно переписывался с Клоделем; Нобелевскую премию он получил в 1947 г.

Стр. 332. Кажись, он и брат-то мне был лишь наполовину... — В некоторых послебиблейских версиях легенды о Каине и Авеле бытует версия зачатия Каина (а не Авеля) от Сатаны.

Странный спорт. *Un drôle sport*

Написан в 1950 г.

Причина. *Le motif*

Написан в 1950 г.

Волк-оборотень. *Le loup-garou*

Написан в 1947 г.

Стр. 340. Фос-Реноз — искаженное французское «лже-покой»: в вымышленном названии леса содержится намек на грядущие несчастья Дени.

Буссенар Луи (1847—1910) — французский писатель, автор приключенческих романов, в частности нескольких романов о золотоискателях.

Арбуазское вино — одно из лучших французских вин.

Стр. 345. И, «в сердце с отравой», почти как у Верлена... — Имеется в виду знаменитое стихотворение Поля Верлена (1844—96) из цикла «Песни без слов»:

И в сердце растрáva,
И дождик с утра.
Откуда бы, право,
Такая хандра?..

(Пер. Б. Пастернака)

Марсель начинал просыпаться. *Marseille commençait à s'éveiller*

Написан в 1949 г., впервые опубликован в сборнике «Волк-оборотень».

Стр. 351. *Марта Ришар* — известная в сороковые годы «шпионка свободной Франции», выступавшая за закрытие публичных домов и подерживавшая кампанию против Генри Миллера.

Стр. 354. *NRF* — также сокращенное название литературного журнала «Нуфель ревю Франсез», с которым у Виана были сложные отношения.

Чем опасны классики. *Le danger des classiques*

Впервые опубликован в журнале «Бизарр» («Странное»), № 8 за 1950 г.

Стр. 355. *Поль Жеральди* (Поль Лефевр, 1885—1923) — французский поэт, автор сборника любовно-эротических стихотворений «Ты и я» (1913), театральных пьес, а также максим и мемуаров.

Снеговик. *Le voyageur*

Написан в 1951 г., впервые опубликован в апреле того же года в 32-м номере журнала «Сансасьон», позже вошел в сборник «Волк-оборотень» под названием «Вуаёр». Для русского варианта нам показалось более благозвучным первоначальное название новеллы.

Печальная история. *Une pénible histoire*

Впервые опубликован в сборнике «Волк-оборотень».

Стр. 372. *Уен* — точнее, Уан. Св. Уан (609—683) — епископ Руанский, основатель аббатства Ребё. Виан иронически «снижает» происходящие в новелле события, превращая ее в своего рода пародийное житие святого.

Стр. 375. *Флавия*. — Используется тот же прием «снижения»: св. Флавия Домицилла (конец I в.) — христианская мученица.

Собаки, страсть и смерть. *Les chiens, le désir et la mort*

Опубликован в 1947 г.

Мартин позвонил мне. *Martin m'a téléphoné*

Написан в 1945 г., впервые опубликован в сборнике «Волк-оборотень».

Стр. 396. *Мак-Орлан Пьер* (1882—1970) — французский писатель; участник Первой мировой войны и автор антивоенных произведений.

Поосторожней с оркестром. *Méfie-toi de l'orchestre*

Написан в 1947 г.; впервые опубликован в марте того же года в альманахе «Джаз 47».

Стр. 402. *Брок Поль* — реально существовавший известный французский хирург и антрополог (1824—80), изучавший строение головного мозга.

Хряк и кабан. *Le cochon et le sanglier*. Напечатано в сборнике «Тексты и песни».

Квартира в наперстке. *Un appartement dans un dé à coudre...*

Впервые напечатано в «Констелласьон» № 49 в мае 1952 г. за подписью Клод Варнье.

Какой с ними отпуск! Avec eux, quelles vacances!

Впервые напечатано в «Констелласьон» №51 в июле 1952 г. за подписью Клод Варнье.

Я нашел квартиру и с тех пор... J'ai trouvé un appartement...

Впервые напечатано в «Констелласьон» №58 в феврале 1953 г. за подписью Клод Варнье.

Стрелочник — истинный виновник. Le lampiste est le vrai coupable.

Напечатано в сборнике «Тексты и песни».

Приложение и оправдательные документы. Appendices et pièces justificatives.

Напечатано в сборнике «Тексты и песни».

Строитель империи

Пьеса написана в 1957 г.; поставлена в 1959 г. в «Театр Насьональ Пополер» Жаном Виларом; текст впервые опубликован в 1959 г. в «Досье» Коллегии Патафизиков.

Стр. 430. *Шмурц* — слово немецкого происхождения из обихода Бориса Виана и Урсулы, обозначавшее для них что-то дикое, нелепое, непонятное.

При жизни Виана были опубликованы только два его поэтических сборника: «Barnum's Digest » и «Кантилены в желе».

Из сборника «Кантилены в желе» (Cantiñes en gelé 1949)

Что у вас? Ou'y a-t-il?

Жак Пре-ванс. Имеется в виду поэт Жак Превер (1900–77) друг Виана, который в ту пору часто проводил время в местечке Сен-Поль-де-Ванс. В марте 1947 г. Превер женился.

Пауки. Les araignées

На вкус и на цвет. Des goûts et des couleurs

Феликс Лабисс — художник-сюрреалист, театральный оформитель (1904–82), друг Виана с 1947 г., написавший его замечательный портрет.

Из поздних стихотворений

Виан хранил в папке рукописи и машинописные версии двадцати двух стихотворений — явно с намерением когда-нибудь их опубликовать. Написаны они были, судя по всему, в 1951–53 гг., в «черные годы» Виана. Отдельно находилась рукопись стихотворения, начинавшегося словами: «Я умру от рака позвоночного столба» и написанного, вероятно, незадолго до смерти. Все эти двадцать три стихотворения впервые были опубликованы посмертно в сборнике «Не хочу подыхать» (1962). Поскольку они не имели названий, издатель сборника Ж.-Ж. Повер использовал в качестве таковых первые строки.

Не хочу подыхать. Je voudrais pas crever

«Урсон» («Медвежонок») — ласковое прозвище, данное Вианом Урсуле Кюблер, его второй жене.

Жизнь словно зуб... La vie, c'est comme une dent

Это короткое, но исполненное глубокого философского смысла стихотворение много лет спустя исполнил как песню Серж Реджани на музыку Ж.-Ж. Робера.

На улице светит солнце... Y a du soleil dans la rue

Болит моя отвертка. J'ai mal la rampe

Они разбивают мир. *Ils cassent le monde*

В рукописи зачеркнут заголовок: «Колыбельная для моей Лоло» (т. е. Кароль, дочери Виана от первого брака, родившейся в 1948 г.), а один из двух машинописных вариантов озаглавлен: «Колыбельная № 2».

Существовать как ребра рыбы. *Je veux une vie en forme d'arête*

Я умру от рака позвоночного столба. *Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale*

Примечания к песням:

Мало кому известно, что перу Бориса Виана принадлежат тексты почти 500 песен (более 400 оригинальных и около 90 адаптаций). К тому же ко многим из них (около 40) он написал и музыку... Более того, он сам и исполнил многие из них! А всего на сегодняшний день были исполнены примерно 240 его песен. Исполнителей его песен тоже около 240. Магия чисел!

Тексты песен приводятся в хронологическом порядке их написания.

Вперед, сыны... *Allons z'enfants*

1952 г., музыка Б. Виана

Стоит отметить, что в 1952 г. вышел роман Ива Жибо, соседа и друга Виана, под тем же названием. Виан дал своей песне подзаголовок: «Маленький жибоский марш».

Исполнил песню Альбер Мулуджи, но на другую музыку — Мулуджи и Ассяга.

Дезертир. *Le déserteur*

1954 г., музыка Б. Виана и Харольда Б. Берга

Самая известная и наиболее часто исполнявшаяся песня Бориса Виана. Исполнял ее сам Виан, а также Мулуджи, Серж Реджани, Ричард Энтони, Клод Венси; Питер, Пол и Мэри; группа Санлайт, Джоан Базз.

Последний вальс. *La dernière valse*

1954 г., музыка Б. Виана

Исполнил С. Реджани.

Я сноб. *J'suis snob*

1954 г., музыка Джимми Вальтера

Одна из главных песен Виана. Исполнял ее он сам, а также Мулуджи, Беатрис Мулен, Моник Тарб, группа Шарло и др. В театре CDNA из Гренобля был поставлен спектакль «Э, Виан! Вперед, зызыка!». Его саундтрек, записанный в Театре Крие в Марселе в составе 12 песен Виана, включает «Я сноб» в исполнении Жака Верзье.

Как ты нетерпелива. *Que tu es impatiente*

1954 г.

Исполняли песню С. Реджани и Мари-Тереза Орен на музыку Луи Бессьера.

Веселые мясники. *Les joyeux bouchers*

1954 г., музыка Джимми Вальтера

Это одна из песен «Банды Бонно», написанных Вианом к одноименной пьесе Анри-Франсуа Рея. В качестве самостоятельной песни исполнялась самим Вианом, а также Уличными Парнями (Гарсон де ля Рю), Мулуджи, Катрин Ренже и др.

Не было у меня. *Je n'avais pas grand' chose*

Между 1954 и 1959 гг.

Всем детям. *A tous les enfants*

Между 1954 и 1959 гг. Исполняли Джоан Баэз и Катрин Соваж на музыку Клода Ванса.

Страдания Альфонса. *Complainte d'Alphonse*

Между 1954 и 1959 гг. Исполнил Филипп Кле на музыку Ива Жильбера.

Время жить (Беглец). *Le temps de vivre (L'évadé)*

1954 г. Это стихотворение декламировали с музыкальным фоном Филипп Кле, группа Санлайт и др. Как песню его исполнил Пьер Диеги на собственную музыку.

Жалобы на прогресс. *Complainte du progrès (Les Arts ménagers)*

1955 г., музыка Алена Гораге. Одна из самых известных песен Виана. Исполнял ее он сам, а также Мулуджи и Бернар Лавиллье.

Скромный промысел. *Le petit commerce (Les canons)*

1955 г., музыка А. Гораге. Исполнял песню сам Виан.

Я пью. *Je bois*

1955 г., музыка А. Гораге. Исполнял песню сам Виан, а также Серж Реджани, группа Шарло и Мулуджи. В спектакле «Э, Виан! Вперед, зызыка!» ее исполняли хором Белла дю Берри, Фабьенна Гийон, Лоранс Хартенстейн, Флоранс Пелли и Орелия Пти.

Пусть отрежут! *Je veux bien qu'on me les coupe*

1956 г., музыка А. Гораге.

Рок энд ролл-мопс. *Rock and roll-mops*

1956 г., музыка М. Леграна. В мае 1956 года из турне по США возвращается Мишель Легран, которого там наградили шутливым прозвищем Биг Майк — игра слов, легко понятная французам: имя Мишель Легран «переводится» как Большой Михаил, он же Большой Майк. В багаже он привозит несколько пластинок с рок-н-роллом, начинающим производить фурор за океаном. Где-то в промежутке между 31 мая и 5 июня этот ритм обретает двух новых адептов: Бориса Виана и Анри Сальвадора. Всего за один вечер, давась от смеха, эта троица сочиняет слова и музыку первых четырех стопроцентно французских рок-н-роллов, включая «Рок-энд-ролл-мопс», и уже в июле выходит пластинка с этими четырьмя вещами, на которой исполнителями были обозначены некие Henry Cording & his Original Rock and Roll Boys (в действительности записи были сделаны Сальвадором и его музыкантами), а текст на обложке, якобы принадлежащий перу некоего Джека К. Нетти (имелся в виду Жак Канетти, сопровождавший Леграна в турне) и «переведенный с американского Борисом Вианом», так описывал новейшее явление в популярной музыке:

«РОК-Н-РОЛЛ изобрели О. Рок и Джин Ролл в 1827 году к исходу одной долгой ненастной ночи, на протяжении которой нашли свою славную кончину одиннадцать бутылок виски. “Рок-н-ролл” (словосочетание, непереводаемое на подцензурный французский язык) давно и прочно обосновался в Америке. Как и жевательная резинка — чуингам, — он представляет собой прекрасное упражнение для челюстей (...). Странное дело, но Рок-н-Ролл дает превосходные результаты и в лечении анкилоза, то есть окостенения суставов, являясь более полноценной заменой бегу на 110 метров с барьерами. Иными словами, его можно петь и плясать — при наличии, разумеется, крепкого организма. (...)»

Автором слов был указан Вернон Синклер (давнишний псевдоним Виана), музыки — некто Миг Байк (вспомните о «Биг Майке»!).

Катись куда подальше, мэн! *Va t'faire cuire un œuf, man!*

1956 г., музыка М. Леграна. Еще один рок-н-ролл тех же авторов из упомянутой выше четверки, в составе которой были еще «Рок-икота» и «Скажи, что любишь меня, рок».

Сделай мне больно, Джонни! *Fais-moi mal, Johnny*

1956 г., музыка А. Гораге. Пластинку из следующих четырех рок-н-роллов Виана, включая «Сделай мне больно, Джонни!», в октябре 1956 г. записывает блистательная Магали Ноэль. Вслед за ней эту первую в истории французской песни садо-мазохистскую вещь исполняли Полина Жюльен, Моника Тарб, группа Шарло, Сю и Саламандры. В 1980 г. М. Ноэль вернулась к этой вещи, исполнив ее уже в стиле диско, причем в двух версиях: французской и английской. Наконец, в спектакле «Э, Виан! Вперед, зызыка!» ее исполнил уже мужчина — Рено Маркс, чем песне был придан еще и гомосексуальный характер...

Стрип-рок. *Strip-rock*

1956 г., музыка А. Гораге. Еще один эротический рок-н-ролл с упомянутой выше пластинки М. Ноэль. В ту эпоху его осмелилась исполнить только она. В спектакле «Э, Виан! Вперед, зызыка!» эту вещь поет Флоранс Пелли.

Красная Шапочка в стиле рок. *Chaperon rock*

1956 г., музыка А. Гораге. Воистину 1956 год — год рок-н-ролла! Эту вещь исполнила другая бесшабашная певица — Пеб Рок и ее Rocking Boys.

Такой красоты у нас нет. *Y a rien d'aussi beau*

1957 г., музыка А. Сальвадора. Исполнил песню он же. Это надо слышать!

Я тебя нарисую. *T'es à peindre*

1957 г., музыка А. Сальвадора. Исполнение его же.

Артур... скажи, где труп? *Arthur... où t'as mis le corps?*

1958 г. Исполнил песню С. Реджани на музыку Л. Бессьера в 1979 г.

Девушка, замуж не спеши. *Ne vous mariez pas les filles*

1958 г., музыка А. Гораге. Исполняли песню Б. Мулен, Мишель Арно, П. Жюльен и другие дамы. В спектакле «Э, Виан! Вперед, зызыка!» ее исполнили хором Б. дю Берри, Ф. Гийон, Л. Хартенштейн, Ф. Пелли и О. Пти.

Советы другу. *Conseils à un ami (Au jeune poète)*

1958 г., музыка А. Сальвадора.

Исполнил песню Мулуджи, но на другую музыку — Мулуджи и Асса-яга. Впоследствии ее исполнил Макс Ронжье — и тоже на свою собственную музыку!

Я песни свои пою. *Je chante des chansons.* 1959 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Аннинская. Великий мистификатор из Сен-Жермен-де-Пре ...</i>	5
КРАСНАЯ ТРАВА. Роман. Перевод Е. Брагинской	27
РАССКАЗЫ (Сборник «Мурашки»)	
<i>Мурашки. Перевод И. Стаф</i>	125
<i>Прилежные ученики. Перевод И. Волевич</i>	134
<i>Поездка в Хоностров. Перевод Вал. Орлова</i>	140
<i>Рак. Перевод Н. Мавлевич</i>	148
<i>Водопроводчик. Перевод Т. Ворсановой</i>	154
<i>Пустынная тропа. Перевод Н. Хотинской</i>	160
<i>Дохлые рыбки. Перевод Вал. Орлова</i>	173
<i>Блюз для черного кота. Перевод А. Бахмутской</i>	185
<i>Туман. Перевод Вал. Орлова</i>	197
<i>Желторотая тетеря. Перевод Е. Болашенко</i>	206
<i>Статист. Перевод В. Каспарова</i>	215
РАССКАЗЫ РАЗНЫХ ЛЕТ	
<i>Каторжная работка. Перевод Н. Мавлевич</i>	251
<i>Культурные развлечения. Перевод М. Аннинской</i>	254
<i>Звезда экрана. Перевод Н. Мавлевич</i>	258
<i>Южный бастион. Перевод И. Радченко</i>	262
<i>Вечеринка у Леобилия. Перевод М. Кан</i>	280
<i>Смотрины. Перевод И. Радченко</i>	288
<i>Все как по маслу. Перевод И. Истратовой</i>	292
<i>Пожарники. Перевод Вал. Орлова</i>	297
<i>Пенсионер. Перевод Г. Шумиловой</i>	300
<i>Апрельские подружки. Перевод М. Аннинской</i>	303
<i>Любовь слепа. Перевод М. Аннинской</i>	307
<i>Золотое сердце. Перевод Н. Мавлевич</i>	315
<i>Мыслитель. Перевод В. Кислова</i>	318
<i>Возвращение. Перевод Вал. Орлова</i>	321
<i>Убийца. Перевод М. Аннинской</i>	330
<i>Станный спорт. Перевод И. Радченко</i>	334
<i>Причина. Перевод И. Радченко</i>	337
<i>Волк-оборотень. Перевод А. Маркевича</i>	340
<i>Марсель начинал просыпаться. Перевод М. Аннинской</i>	349
<i>Чем опасны классики. Перевод Л. Лунгиной</i>	355
<i>Снеговик. Перевод М. Аннинской</i>	365
<i>Печальная история. Перевод Н. Мавлевич</i>	372
<i>Собаки, страсть и смерть. Перевод В. Кислова</i>	380
ЮМОРЕСКИ, ХРОНИКИ, ЗАМЕТКИ	
<i>Мартин позвонил мне. Перевод И. Радченко</i>	389
<i>Поосторожней с оркестром. Перевод М. Аннинской</i>	402
<i>Хряк и кабан. Перевод Вал. Орлова</i>	405

Квартира в наперстке. <i>Перевод Вал. Орлова</i>	407
Какой с ними отпуск! <i>Перевод Вал. Орлова</i>	413
Я нашел квартиру и с тех пор... <i>Перевод Вал. Орлова</i>	418
Стрелочник — истинный виновник. <i>Перевод Вал. Орлова</i>	424
Приложение и оправдательные документы. <i>Перевод Вал. Орлова</i>	425
СТРОИТЕЛЬ ИМПЕРИИ. Пьеса. Перевод Н. Бунтман	427

СТИХИ И ПЕСНИ

Из сборника «Кантилены в желе»

Что у вас? <i>Перевод М. Аннинской</i>	469
Пауки. <i>Перевод М. Аннинской</i>	470
На вкус и на цвет. <i>Перевод М. Аннинской</i>	470

Из поздних стихотворений

Не хочу подыхать. <i>Перевод М. Яснова</i>	471
Жизнь словно зуб... <i>Перевод М. Яснова</i>	473
На улице светит солнце... <i>Перевод М. Аннинской</i>	473
Болит моя отвертка. <i>Перевод М. Яснова</i>	474
Они разбивают мир. <i>Перевод М. Яснова</i>	474
Существовать как ребра рыбы. <i>Перевод В. Зайцева</i>	476
Я умру от рака позвоночного столба... <i>Перевод В. Зайцева</i>	476

Песни

Вперед, сыны... <i>Перевод В. Зайцева</i>	478
Дезертир. <i>Перевод М. Яснова</i>	482
Последний вальс. <i>Перевод М. Яснова</i>	483
Я сноб. <i>Перевод В. Наумова</i>	484
Как ты нетерпелива. <i>Перевод В. Зайцева</i>	486
Веселые мясники. <i>Перевод В. Зайцева</i>	487
Не было у меня. <i>Перевод М. Яснова</i>	488
Всем детям. <i>Перевод М. Яснова</i>	489
Страдания Альфонса. <i>Перевод В. Зайцева</i>	489
Время жить (Беглец). <i>Перевод В. Зайцева</i>	491
Жалобы на прогресс. <i>Перевод М. Яснова</i>	492
Скромный промысел. <i>Перевод М. Яснова</i>	494
Я пью. <i>Перевод М. Яснова</i>	495
Пусть отрежут! <i>Перевод В. Зайцева</i>	496
Рок энд ролл-мопс. <i>Перевод В. Зайцева</i>	497
Катись куда подальше, тап! <i>Перевод В. Зайцева</i>	499
Сделай мне больно, Джонни! <i>Перевод В. Зайцева</i>	499
Стрип-рок. <i>Перевод В. Зайцева</i>	501
Красная Шапочка в стиле рок. <i>Перевод М. Яснова</i>	503
Такой красоты у нас нет. <i>Перевод В. Зайцева</i>	505
Я тебя нарисую. <i>Перевод М. Яснова</i>	506
Артур... скажи, где труп? <i>Перевод В. Зайцева</i>	507
Девушка, замуж не спеши! <i>Перевод В. Зайцева</i>	510
Советы другу. <i>Перевод М. Яснова</i>	511
Я песни свои пою. <i>Перевод М. Яснова</i>	513
Примечания. М. Аннинская, Вал. Орлов, И. Стаф	514

Литературно-художественное издание

Борис Виан
БЛЮЗ ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА

Редактор *Н. Любимова*
Художественный редактор *А. Сауков*

ООО «Издательство «Эксмо».
107078, Москва, Орликов пер., д. 6
Интернет/Home page — www.eksmo.ru
Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

**По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо»
обращаться в рекламное агентство «Эксмо». Тел. 234-38-00**

Книга — почтой: Книжный клуб «Эксмо»
101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2
Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16
Многоканальный тел. 411-50-74. E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1.
Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Медиа группа «ЛОГОС».
103051, Москва, Цветной бульвар, 30, стр. 2
Единая справочная служба: (095) 974-21-31. E-mail: mg@logosgroup.ru
ООО «КИФ «ДАКС». 140005 М. О. г. Люберцы, ул. Красноармейская, д. 3а.
т. 503-81-63, 796-06-24. E-mail: kif_daks@mtu-net.ru

Книжные магазины издательства «Эксмо»:

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 17 (рядом с м. «Октябрьское Поле»). Тел. 194-97-86.
Москва, Пролетарский пр-т, 20 (м. «Кантемировская»). Тел. 325-47-29.
Москва, Комсомольский пр-т, 28 (в здании МДМ, м. «Фрунзенская»). Тел. 782-88-26.
Москва, ул. Сходненская, д. 52 (м. «Сходненская»). Тел. 492-97-85
Москва, ул. Митинская, д. 48 (м. «Тушинская»). Тел. 751-70-54.

**Северо-Западная Компания представляет
весь ассортимент книг издательства «Эксмо».**

Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е
Тел. отдела рекламы (812) 265-44-80/81/82/83

Сеть магазинов «Книжный Клуб СНАРК» представляет
самый широкий ассортимент книг издательства «Эксмо».

Информация о магазинах и книгах
в Санкт-Петербурге по тел. 050.



Вы получите настоящее удовольствие, покупая книги в магазинах ООО «Топ-книга»
Тел./факс в Новосибирске: (3832) 36-10-26. E-mail: office@top-kniga.ru

Всегда в ассортименте новинки издательства «Эксмо»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молдая гвардия»,
«Московский дом книги», «Дом книги в Медведково», «Дом книги на ВДНХ».
Книги издательства «Эксмо» в Европе: www.atlant-shop.com

Подписано в печать с готовых диапозитивов 21.11.2002.
Формат 84×108 ¹/₃₂. Печать офсетная. Бум. писч. Усл. печ. л. 27,72.
Тираж 4100 экз. Заказ 7697

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «Можайский полиграфический комбинат».
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5-699-00845-4



9 785699 008452 >

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Борис ВИАН



БЛЮЗ ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА

ЭКСМО

ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

БОРИС ВИАН

БЛЮЗ ДЛЯ ЧЕРНОГО КОТА

Борис Виан, французский писатель и вообще человек разнообразных талантов, представлен в сборнике своим самым загадочным романом «Красная трава», актуальной и по сей день пьесой «Строитель империи», рассказами, часть из которых публикуется на русском языке впервые, и стихотворениями. Но подлинным открытием станут тексты двадцати пяти песен, до сих пор неизвестных русскому читателю... И пусть это пока лишь малая толика из более чем четырехсот песен, созданных одним из ярких творцов минувшего века, впечатление все равно останется неизгладимым...